КОНТИНЕНТ

2012 КОНТИНЕНТ КАНТЫНЕНТ KONTINENS KONTINENTAS KONTYNENT KONTINENTS CONTINENT MANDER KONTINENT КОНТИНЕНТ

№153

ИЗБРАННОЕ 1974–1992

ТОМ ТРЕТИЙ

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

153

2012, № 3
июль — сентябрь

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И. И. Виноградов

Издатель:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “КОНТИНЕНТ”»

Адреса редакции: ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
ул. Плющиха, д. 33, кв. 76

E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(499) 248-50-50

Internet: www.magazines.russ.ru/continent/
http://continent-rus.ru/

Рукописи не принимаются

Материалы, присланные по электронной почте, не рассматриваются

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала “Континент”»
© Название журнала «Континент» — В. Е. Максимов

Главный редактор

Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Марина АДАМОВИЧ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Ирина ДУГИНА
Евгений ЕРМОЛИН
Николай ЗЛОБИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Адам МИХНИК
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Валерий СОЙФЕР
Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

АВСТРИЯ
Елена ВОРОНЦОВА
Buchengasse 133/2/32
1100, WIEN, OSTERREICH
☎/fax 0043-1-607-30-23

БОЛГАРИЯ
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ
Лев УКЕЛЬСОН
Wertachstraße 11,
86153 AUGSBURG, BRD
☎/fax (821) 41-77-08

ИЗРАИЛЬ
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ
Александр и Татьяна
СЕРГИЕВСКИЕ
69 via Palestro
00185 ROME, ITALIA
☎/fax (+39) 064-463-249

КАНАДА
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША
Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek
nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Ul. Przylesna, 12
05-077 WARSZAWA, POLSKA
☎ (22) 425-40-87; (22) 498-06-95
w_olbrych@op.pl

США
Марина АДАМОВИЧ
315 Oak Street
Garwood NJ 07027
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS,
FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

ШВЕЙЦАРИЯ
Анастасия ВИНОГРАДОВА
Chemin des Fontanettes 2
1807 BLONAY, SWITHERLAND
☎/fax (21) 53-53-463

Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА
15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Избранное «Континента»
1974 – 1992

Том третий
1982 – 1986

От редакции 13
Памяти Натальи Горбаневской (1936 – 2013) 14

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ
Это не просто слова
Из книги «Переменная облачность» 17

Александр и Лев ШАРГОРОДСКИЕ
Сказка Гоцци 23

Вадим ДЕЛОНЕ
Заметки к автобиографии 41

Семен ЧЕРТОК
Палыч 45

Ирина РАТУШИНСКАЯ
В двух неделях от «навсегда» 57

Галина ВИШНЕВСКАЯ
«Леди Макбет Мценского уезда» 61

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Евгений НАКЛЕУШЕВ
Снова восемнадцатый век! 71

Александр ЗИНОВЬЕВ
Нашей юности полет. *Главы из книги о природе сталинизма* 78

Наум КОРЖАВИН
А был ли Сталин-то?
Очерки о психологическом развитии советского большевизма 95

Александр ЗИНОВЬЕВ
Не все мы диссиденты. *О социальной оппозиции в советском обществе* 122

Раиса БЕРГ
Варвары на обломках цивилизации. 133

Эдуард КУЗНЕЦОВ
О том, как меня Сахаров обогрел. 144
Милован ДЖИЛАС
Горбачев: предостережение 152

ЗАПАД – ВОСТОК

Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Трагедия свободы 156
Ричард ПАЙПС
Партия, разъедаемая коррупцией
Глава из книги «Выжить недостаточно» 165
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН
Идеологические проблемы берлинских городских туалетов
Реальные факты из области политической фантастики 173
Николас БЕТЕЛЛ
Советская диверсия в Западной Европе 186
Валерий ВАЛЮС
Несколько переплетенных тем. 195

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Здислав РУРАЖ
Откровенно говоря. 207
Адам МИХНИК
Пушкин и русские глазами польского писателя 211
Барбара ТОПОРСКАЯ
Живаго — свидетель эпохи 221

ИСТОКИ

Герман АНДРЕЕВ
Какую Россию уничтожили большевики? 231
Николай УЛЬЯНОВ
Замолчанный Маркс 248
Энцо БЕТТИЦА
Большая охота на тигра-крестьянина 265
Нина МУРАВИНА
Судьба алакаевских соседей Ленина 280
Александр ХАХУЛИН
Новичок 307

Иосиф ДАРСКИЙ
Шаляпин и Горький 315
Татьяна Александровна МИЛЛЕР, урожд. НЕКЛЮДОВА
Воспоминания. 336
Иосиф ИЦКОВ
Одна из первых жертв Сталина 367

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Махмет КЕРЕЙ
Как я стал строителем газотрубопроводов 373
Рафаэль ШАПИРО
Заметки о стройке века 388
Александр ШАТРАВКА
Если ты болен свободой. *Отрывок из книги* 400
Игнатий ШЕНФЕЛЬД
Наследник из Калькутты. 415
Александр ХАХУЛИН
Умерщвление таланта 423
Махмет КУЛМАГАМБЕТОВ
Возвращенцы. 427
Валерий СОЙФЕР
Принципиальность» Лысенко 441
Борис КАМЕНЕЦКИЙ, Александра АЛЕКСАНДРОВА
Исповедь женщины 444

ФИЛОСОФИЯ

Йосеф ШКВОРЕЦКИЙ
Жгучая тема 450
Герман АНДРЕЕВ
Два пророка: Карл Маркс и Федор Достоевский 461
Михайло МИХАЙЛОВ
Достоевский против Канта 475
Вацлав БЕЛОГРАДСКИЙ
Бегство из птидэпэ 483

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Ален БЕЗАНСОН
Второе молчание Церкви 491

Яков ВИНЬКОВЕЦКИЙ
Врата рая 498

Амос ОЗ
Тень, свет и любовь. 502

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Василий АКСЕНОВ
Отвечая на ответ
Заметки новичка на американской художественной сцене 506

ИСКУССТВО

Владимир ТЕТЕРЯТНИКОВ
Профессорская вакханалия вокруг русской культуры
Еще одна коллекция фальшивых русских икон. 515

Семен ЧЕРТОК
Урок Эйзенштейна 531

Гавриил ГЛИКМАН
Шостакович, каким я его знал 555

Иосиф ДАРСКИЙ
«La Battaglia di Milano». 575

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Владимир МАКСИМОВ
Колонка редактора 585

НАША АНКЕТА

Интервью с Максимом Шостаковичем. 594

Балерина. *Интервью с Натальей Макаровой*. 598

«Простите им, ибо не ведают, что творят...»
Беседа с Армандо Валъядаресом 606

Интервью с Оливье Клеманом 610

НАША ПОЧТА

Письмо в редакцию журнала «Континент» 620

Избранное «Континента»

1974 – 1992

Том третий

1982 – 1986

От редакции[1]

Когда этот том был уже сверстан, пришло известие о внезапной смерти Натальи Горбаневской. Отдавая скорбную дань памяти этой замечательной мужественной женщины, по-детски открытого и по-взрослому мудрого поэта, мы не можем не поразиться некоторому знаменательному совпадению. Слова прощания с Натальей Горбаневской прозвучат со страниц тома, который мы давно уже решили открыть ее стихами.

Случайно ли это символическое совпадение?

Думается, нет. Наталья Горбаневская была страстной сторонницей и почитательницей журнала с самого его возникновения, а уже в 1976 году (вскоре после эмиграции) пришла в него в качестве незаменимого сотрудника. «Континент» прочно связан с именем Горбаневской: она не только работала в нем начиная с 7-го номера и была правой рукой Владимира Максимова; Наталья Евгеньевна оставалась нашим другом и автором все эти годы — когда у перебравшегося в Москву журнала началась новая жизнь.

Мы предоставляем слово людям, хорошо знавшим и любившим Наталью Горбаневскую, — редакции польской «Газеты Выборча», польскому прозаику и журналисту Ежи Помяновски и российскому поэту и публицисту Юрию Кублановскому.

---

[1] О принципах построения томов нашего парижского «Избранного» см. предисловия «От редакции–2012» в №№ 151 – 152 (№№ 1 и 2 за 2012 год).

ПАМЯТИ НАТАЛЬИ ГОРБАНЕВСКОЙ (1936 – 2013)

Наталья Горбаневская была одним из семерых участников демонстрации 1968 года на Красной площади, протестовавших против введения войск Варшавского договора в Чехословакию. Ей единственной из организаторов этой акции удалось избежать ареста до декабря 1969-го — скорее всего, потому что была матерью двоих детей, младшему из которых в тот момент было всего три месяца. В течение нескольких месяцев на свободе она успела подготовить книгу «Полдень» — сборник документов, связанных с манифестацией на Красной площади и последующими за ней процессами ее участников, а также несколько номеров «Хроники текущих событий». «Хроника» была первым в СССР самиздатом, информирующим о репрессиях и диссидентском движении.

Следствие, которое велось против Горбаневской и закончилось в 1970 году, признало ее психически больной. С диагонозом «шизофрения» ее упекли в психиатрическую больницу в Казани — ту, которой она, по собственному признанию, боялась больше всего. Знала это гиблое место по опубликованным в самиздате рассказам заключенных там диссидентов. Вышла оттуда в 1972 году. Помогло то, что Горбаневская была известна на Западе, ее книга о демонстрации 68-го года была переведена на многие языки. К тому же приближался Мировой конгресс психиатрии в Мексике, накануне которого советские психиатры старались затушевать самые известные компрометирующие случаи преследования диссидентов с помощью фальшивых диагнозов.

В 1975 году Наталья Горбаневская эмигрировала на Запад и поселилась в Париже, где французские врачи подтвердили отсутствие у нее каких-либо психических заболеваний.

Наталья Горбаневская рассказывала, что выучила польский язык, читая журнал «Пшекруй». Но говорить по-польски начала благодаря пластинкам с песенками Эвы Демарчик, которые появились в Москве на Арбате, когда в столице проходила Неделя польской культуры. В годы эмиграции была членом редколлегии выходящего в Польше по-русски ежемесячника «Новая Польша». В 2005-м году приняла польское гражданство. За переводы польской литературы удостоена награды польского ПЕН-клуба (1992). Лауреат Премии им. Ежи Гедройца.

* * *

Горькая весть о смерти Натальи Горбаневской поразила всех читателей, всех, кто восхищался этой незаурядной и мужественной женщиной, одной из самых выдающихся советских диссиденток. В 1968-м она вышла на Красную площадь в числе нескольких отчаянно убежденных демонстрантов, чтобы выразить протест против нападения войск Варшавского договора, возглавляемых кремлевской армией, на Чехословакию, отстаивавшую человеческое достоинство на всей нашей, советской и подчиненной Кремлю, территории.

Наталья Горбаневская была не только исключительным поэтом. Она была голосом свободной России, но также и голосом Польши, тогда еще связанной по рукам и ногам. В свободной Польше она получила гражданство и орден Признательности европейского центра «Солидарность». Была доктором honoris causa университета им. Марии Склодовской-Кюри в Люблине. Поддержкой и опорой, автором и членом редколлегии «Новой Польши», — издания, задуманного во имя диалога и согласия польской и российской интеллигенции.

Превосходно переводила польских писателей — от Хенрика Сенкевича до Чеслава Милоша. С уважением относилась ко всем, кроме националистов, неважно — в Москве или в Варшаве. Была автором замечательных переводов поэзии и прозы лучших голосов наших современников. Возглавляла жюри литературной премии центральной Европы «Angelus».

Умерла так внезапно, что никто из нас в этот момент не может в полной мере выразить ту глубокую скорбь, которая охватила Польшу и ту Россию, будущее которой возможно только благодаря явлению в ней такой личности, как Наталья Горбаневская, благодаря присутствию ее духа и творчества.

Ее влияние и ее страсть не пройдут бесследно, они останутся среди нас.

Ежи Помяновски
Газета Выборча N 279, 30/11/2013
Перевод с польского Анны Радзивон

* * *

Наталья Горбаневская превосходный поэт, один из первых свободных поэтов послесталинского времени, стоящий у истоков российского поэтического самиздата. Помню ее стихи еще 61-го – 62-го годов, когда доходили они до меня, в ту пору только начинающего робкого стихотворца, в бледной машинописи на папиросной бумаге... «О бедный Барток, что ты натворил...», — эти строки были в ту пору столь же популярны, сколь и «Пилигримы» Иосифа Бродского...

Но Горбаневская стоит еще и у истоков серьезного политического самиздата. Я имею в виду, например, «Хронику текущих событий» или ее книгу, посвященную оккупации советскими войсками Чехословакии, — «Полдень».

Наташа была приводным ремнем любого дела, в которое она поверила, — будь то «самиздат», будь то Польша (а она была настоящей пылкой полонофилкой), будь то уже на Западе, в эмиграции, журнал «Континент». Без нее, без ее ежедневных рабочих усилий, я уверен, журнал бы в своем высоком художественном и политическом качестве не состоялся. Она была, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец — и редактор текстов, и их корректор, и собиратель. Владимир Максимов был энергичный стратег и политический практик. А она — та рабочая лошадка, на которой всё и держалось.

Мировоззренчески Наташа сформировалась в годы послеоттепельного и оттепельного диссидентства. Я не буду говорить о том, что разделяло наши взгляды — мои почвеннически-солженицынские и ее сахаровско-демократические: это разные оттенки одного большого смысла. А смысл этот — свободолюбие.

Я нередко вспоминаю свою первую поездку во французскую провинцию как раз по делам «Континента» и именно вместе с Натальей Горбаневской. Это был овеянный легендарной римской героикой южнофранцузский Ним. Поздним вечером после выступления мы шли с Наташей по совершенно безлюдной набережной, и вдруг нам навстречу выплыл лебедь с невероятным необычнейшей формы клювом... Тогда и сложилось вот это стихотворение, посвященное ей:

От кленовой разлапины,
далеко перетлевшей во мгле,
уцелевшие крапины
на чужой полулевой земле,
утопающей в зелени
и слепящей в щелях жалюзи, —
то к античной расщелине
притулимся в замшелой грязи,
то лекалом бездонного
нас канала потянет под мост,
где на клюве у лебедя сонного
костяной громоздится нарост.

Тридцать лет той поездке, той встрече с волшебным лебедем...
До свидания, Наташа!

Юрий Кублановский
6 декабря 2013. Москва

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ

Это не просто слова

Из книги «Переменная облачность»

* * *

Этот день никогда не кончится
или кончится слишком рано.
Час за часом вскачь, точно конница
от Урала до океана.

День прощания, день несказанных
и ненужных слов. Разговора
не начнется в сквознячных скважинах
непрокашливающегося горла.

Развеваясь гривами по ветру,
по волнам, подернутым чернью,
час за часом уходят под воду
на последней заре вечерней.

* * *

Ничего нет, ничего нет — ничего не будет.
Шутка

Ни из цилиндра, ни из-под плаща
отнюдь не извлечете зайца за уши,
когда его там нет. Прополощa
потертый плащ, едва еще сияющий

местами уцелевшей мишурой
и блестками, в каморке за кулисами
маг-фокусник поплачет над собой,
зачесывая волоски на лысину

и лысину скрывая под цилиндр.
Уж под крыльцо ему троллейбус подано.
И, хлопнув аккуратный децилитр,
он покидает цирк, арену, родину.

классическая баллада

И одно молчанье сказало другому:
— Давай помолчим.
И долгим-долгим был путь их до дому
под небом чужим.

И серые улицы на полурассвете
замолкли тож.
И адрес их на измятом конверте
попал под дождь.

И расплывались чернила молча
там, под мостом.
И вдруг другое взвыло по-волчьи:
— А где ж он, дом?!

И одно молчанье сказало другому:
— Ничего, помолчи.
Пускай все длиннее наш путь до дому
и пропали ключи.

Пускай огоньком болотным, мороча,
отплывает этаж,
мы его догоним, но только молча,
и дом этот — наш.

И другое молчанье по-волчьи молчало,
как из-под куста.
А путь перепутал концы и начала
и сбился, и стал,

и долго по сторонам озирался,
пытаясь найтись,
но все в то же распутье глаз упирался,
все в ту же слизь

болотную, смесь воды и метана
— и огоньков.
И другое подумало: — Я устало, —
но без слов.

И стала река, подернута пленкой
внезапного льда,
словно стол, покрытый клеенкой,
а не вода.

И одно молчанье ничего не сказало,
а другое: — Ах!
Но — уста ему тут же связала
любовь, не страх.

Потресканные губы стянула
тоненьким льдом.
И тут же очко светофора мигнуло,
и рядом был дом.

* * *

Ну что, хлопотливая ласточка,
куда ты летишь хлопотать?
Домой, бесцензурная весточка,
привет от меня передать.

Скажи, что на пядь под землею
и с глоткой, набитой землей,
жива и дышу, замерзаю,
но все же не до смерти злой.

Скажи, что, глаза растворивши,
песку и подзолу набрав,
я вижу, я все еще вижу,
беспамятство смерти поправ.

Скажи, что уже не надеюсь
на встречу, но, сколько жива,
не сдамся и не охладею,
и это не просто слова.

С тревогой и прискорбием
поздравляем наших читателей
*с новым **1984** годом*

* * *

Муха бедная в янтарь
ненароком залетела.
Орвелловский календарь
оборвался до предела.

Бедной мухе в янтаре
не вздохнуть, не трепыхнуться.
А на нарах в январе
в тесноте не повернуться.

Орвелловский переплет
в тихой печке пламя лижет.
Муха бедная поет,
но никто ее не слышит.

Н. Горбаневская

Третья страница обложки «Континента», № 38

стихотворение, первоначально написанное по-польски

А верлибры —
их-то я клеить могу хоть по-французски и даже
по-польски.
Как колибри,
запорхают, неся ко мне в клювике славу, а то и какие
копейки.
Только хмурюсь,
сомневаясь, сумеет ли бедный стишок ну в каком-нибудь,
скажем, Подольске,
не рифмуясь,
любовной ли, детской размах сообщить колыбельке.

* * *

Милый, милый, не назвать,
не позвать, не произнесть,
и в гранитную кровать
клочьями ложится весть.

Милый, милый, не придешь,
не приснишься, не прискачешь
и сквозь уличный галдеж
не докрикнешь, не доплачешь.

Милый, милый, ты — один,
а меня, прости, так много,
как в кудрях моих седин
и как ангелов у Бога.

* * *

Хорошо в январе на заре,
прогулявши всю ночку без памяти,
при последнем ночном фонаре
по афишам учить тебя грамоте.

Хорошо не зевать, не в кровать
возвращаться — отдельно, вместе ли,
но еще и еще открывать
просыпанье небесной пестряди.

Хорошо на заре — не в снегу,
но хотя бы в нестаявшем инее —
о своем умолчать (не солгу),
твоего не припомнить имени.

* * *

В какой я завернула лес
и буреломный, и сквозной,
оврага дальнего отвес
заманивает крутизной,

сухими комьями земля
босые ноги ранит в кровь,
и, руки за спину ломя,
жесток кустарника конвой.

В какой конец я забрела
земли, в какой незнамый край,
как дивны, Господи, дела
Твои — не все, не эта страсть,

ломящаяся сквозь кусты
безлиственные напролом...
Ты, Боже, смотришь с высоты,
а мы не смотрим, мы живем.

* * *

Сроки мои не пробили,
крутится мое мобиле,
словно и впрямь перпетуум.
Шальную меня и отпетую
отпевать не приходится.
Подсохнет мокропогодица,
застолбенеет распутица,
и гиацинт распустится
сквозь сутолоку и сумятицу
в Страстную Пятницу.

1983, № 36

АЛЕКСАНДР И ЛЕВ ШАРГОРОДСКИЕ

Сказка Гоцци

Ему часто снился один и тот же сон.

На черной гондоле он плывет к Дворцу Дожей, чтобы просить политическое убежище. По зеленой воде всю ночь он плывет вдоль Гран Канале, мимо Ка д'Оро и Ка Резоннико, где жили когда-то знатные венецианцы, те самые, из которых выбирали дожей, мимо дома Гольдони, в пьесах которого играла его мама, мимо Гритти Палас Отель, в красных стенах которого живал Хемингуэй и где он тоже сможет жить, если ему предоставят это самое убежище.

Он снимет тогда тот номер, где писал и пил Хэм, будет перечитывать «За рекой в тени деревьев», смотреть на лагуну, и официанты в белых мундирах с витыми золотыми погонами, словно адмиралы флота, будут обслуживать его.

А из дворца напротив выйдет Мирандолина, молодая, похожая на его маму, и будет полоскать белье и звонко смеяться.

И он поможет ей нести корзину...

Так плыл он ночной Венецией, и концерт для гобоя с оркестром звучал в его сердце.

Уже с лагуны он видел Антонио Вивальди, который сбегал по белым ступеням церкви Санта Мария делла Пиета, приветственно махал ему, приглашая пристать и, сложив тонкие ладони, кричал.

— Чао, Антонио, — кричал ему Вивальди. Потому что его, как и блестящего маэстро, звали Антонио, Антон Гоц звали его.

— Буонджорно, Антонио, — улыбался Вивальди.

— Буонджорно, маэстро, — отвечал Антон Гоц.

— Не гобой ли там у тебя в футляре? — интересовался Вивальди.

— Гобой, маэстро, — скромно отвечал Гоц.

— Не сыграешь ли нам что-либо из Вивальди? — говорил маэстро.

Гондола покачивалась.

Гоц брал футляр, доставал из него инструмент, прикладывал к губам и начинал играть концерт для гобоя с оркестром.

Откуда каждый раз брался оркестр, — он объяснить не мог.

Эти знакомые надоевшие морды появлялись прямо из лагуны, откуда-то из-за острова Джудекка, верхом на пюпитрах, а мерзавец Вайнштейн плыл

на своей дирижерской палочке и дирижировал своим толстым, корявым, как лопнувшая сарделька, пальцем.

Эта сарделька не дирижировала, а как бы грозила Антону, и смычки грозили, и даже старый контрабас.

Он не мог уплыть от коллектива даже во сне. Даже когда играл соло, — они не исчезали, хотя были совершенно не нужны.

И лишь когда он прятал гобой, весь оркестр синхронно тонул на рейде Сан-Марко, и только палочка Вайнштейна мерно покачивалась на воде.

— Неужели я написал такую божественную музыку? — вытирал слезы Вивальди.

— Вы, маэстро, вы! Может, хотите что-нибудь из «Времен года»?

И маэстро всегда просил одно и то же.

— Пожалуйста, «Весну», — говорил он и садился на ступеньки.

И Гоц начинал играть «Примаверу». Вивальди вытирал кружевным манжетом легкие слезы.

Все, что написал старый маэстро для гобоя, исполнял ему Гоц.

И каждый раз после этого Вивальди приглашал его в свой оркестр, в церковь Санта Мария делла Пиета.

— Ты будешь концертмейстером, Антонио, — обещал он ему.

— Скузи, — извинялся Гоц, — не могу.

— Перке? — удивлялся маэстро.

— Это невозможно, — разводил руками Гоц.

— Ты получишь тысячу дукатов, — обещал Вивальди.

— Дело не в зарплате, — отвечал он.

— Ты можешь стать прокуратором, — продолжал Вивальди, — даже дожем. Никто в Венецианской республике не играет так, как ты, и во всей Италии нет музыканта, подобного тебе.

— Что толку, — говорил Гоц, — ведь я живу в Советском Союзе...

Этот сон снился ему всегда перед поездками за рубеж, причем только в капиталистические страны. Когда же они ехали в Болгарию или там в ГДР, ему не снилось ничего...

Гондола волновала его. Потому что реализовать свой сон он не мог — не в смысле встречи с Вивальди, а в смысле убежища. Останься он — и никогда больше не увидел бы он Ирину. А зачем ему нужна была свобода без любви?...

Он не мог ее бросить — ни когда был в Амстердаме, ни в Мельбурне, ни в Севилье.

Но когда вернулся из Токио, то узнал, что она бросила его. Она уехала с Бергером в Израиль.

— Неужели ты не могла оставить меня до Японии? — только проговорил он.

А что еще можно было сказать?..

Ему было так плохо, что даже Вивальди не мог он играть.

И в следующую поездку решил остаться. Вместе с гобоем — больше никого не было у него во всем этом мире...

Маршрут их турне был продуман как был специально. Три звезды сияли на его пути — Париж, Рим, Венеция. В каком бы из этих городов вы не остались? Гоц остался бы во всех трех.

Но он начал с французской столицы — там начались гастроли.

В первый же вечер весь Париж рукоплескал ему. Потому что в зале был «весь Париж».

На банкете были устрицы. Женщины в мехах. Брат испанского короля. Какая-то дама его поцеловала, говорили, жена министра. Потом спорили, какого. Его называли гениальным. Паганини гобоя. Вундеркиндом, хотя ему было под сорок. Он плыл в духах Ив Сен-Лоран. И, наконец, в голову ударило французское шампанское.

И тут же захотелось убежища, просить убежища, но он не знал, у кого. Жена министра куда-то исчезла, их импрессарио был пьян, брат короля уехал в Испанию.

Пока он искал глазами «у кого», остался один оркестр.

Ему стало тошно, и он протрезвел. По залу мелькала лысина Вайнштейна.

— Не вздумайте собирать бутерброды, — предупреждал он, — и вино из рюмок не сливать. Мне хватит лондонской истории.

Он запихал в рот сэндвич с моцареллой и баклажаном.

— Репетиция в десять!..

Они спускались по широкой лестнице. Гоц вдруг схватился за мраморные перила: внизу, раскинув руки и улыбаясь прямо ему, стоял Айсурович. Лет десять назад они вместе играли у Рошаля, но вот уже пять лет как Айсурович жил на Западе.

«Только не хватало встречи с эмигрантом», — подумал Гоц.

Только бы никто не заметил.

— Старик! — заорал снизу Айсурович и простер к нему руки, — вот мы и встретились.

Он был в белом льняном костюме. На шее — коричневый шелковый фуляр.

Антон бросился к нему и, чтобы заткнуть рот, поцеловал прямо в губы.

— Сука, — горячо зашептал он, — что ты орешь?!

— Семь лет не виделись, — шумел Айсурович.

— С акцентом, — шептал Гоц, — говори с акцентом!

Их окружили оркестранты.

— Это кто? — поинтересовался Вайнштейн.

— Мишель, — представил Антон, — швейцарец.

— Вы говорите по-русски? — поинтересовался Вайнштейн.

— Нымног, — с грузинским акцентом ответил Айсурович.

— Был на наших концертах в Ленинграде, — объяснил Антон, — и вот специально приехал сюда.

— То-то лицо знакомо, — промямлил Вайнштейн.

— Очынь лублу класычэскы музык, — опять произнес Айсурович.

Вайнштейн вздрогнул.

— У вас странный акцент, — заметил он.

— Жынэвский, — объяснил Айсурович.

Вайнштейн подозрительно посмотрел на Гоца.

— Напоминает наш кавказский, — заметил он.

— Не сказал бы, — возразил Гоц.

Потом они пошли в «Доминик».

— Скотина, — все время повторял Антон, — ты с каким акцентом говорил?!

— Другого не знаем, — извинился Айсурович. — А в чем дело?

— А в том, — объяснил Гоц, — что ты уже здесь, а я еще там.

— Идиот, — заметил Айсурович, — я играл с Вайнштейном в одном оркестре, в кинотеатре «Титан»!

— Ты думаешь, он тебя узнал?

— Мне как-то все равно, — заметил Айсурович.

— Ты думал о себе там, — вздохнул Гоц, — ты думаешь и здесь.

— К сожалению, — вздохнул Айсурович, — мне здесь не о ком больше думать!

Он заказал старого вина.

— У меня много денег, Гоц, — сказал он, — и мы будем закусывать лягушками. Как тебе там живется?

— На провокационные вопросы не отвечаем, — улыбнулся Антон, — а как тебе тут играется?

— Чудесно, старик. Я играю с большим успехом.

Принесли яства. Все было диковинное. Антон не знал, как подступиться.

— Ешь руками, — приказал Айсурович, — чего церемониться, мы в Париже.

Он подкладывал ему кальмара, устриц, осьминога, гусиные печенки. И старое вино вливалось в него ручьем.

— Ты где играешь? — поинтересовался Антон.

— На бирже, — ответил Айсурович.

Старое вино, жена министра, кальмары — все смешалось в голове Гоца.

— Там что, неплохой оркестр? — спросил он.

— Отличный! — крякнул Айсурович.

— К-кто дирижер?

— Башли, — ответил Айсурович, осушая очередной бокал, — слышал такого?

— Н-нет...

— А-а, — протянул он — выдающийся! Лучший на сегодняшний день.

Айсурович громко расхохотался.

— Фазан в вине! — заказал он.

— А духовики вам нужны? — спросил Антон.

— Очень, — сказал Айсурович, — нам все нужны, и инженеры, и химики.

— Как? — не понял Гоц.

— Так, — ответил тот, — у нас все играют. Из музыкантов я один.

Гоц недоуменно смотрел на Айсуровича.

— Запад, старик, — разъяснял тот, — свобода. Кто хочет, тот и играет.

Приплыл в вине фазан.

— Ешь руками, — орал Айсурович, — ты в Париже!

— А ты? — спросил Гоц.

— И я. Но я тут остаюсь, а ты возвращаешься.

— Кто тебе сказал? — хотел выкрикнуть Антон, но сдержался.

— Если ты вернешься туда, — шептал Айсурович, — ты будешь последним идиотом.

Антон обнял Айсуровича.

— Венчик, — торжественно заявил он, — я остаюсь.

Айсурович осоловело глядел на него.

— Ну и дурак, — сказал он.

Антон не понял.

— П-почему? — поинтересовался тот.

— Надо быть последним кретином, чтобы вернуться туда.

— Так я ж хочу остаться!

— Вот и дурак, — вновь повторил Айсурович. Он был пьян и походил на фазана в вине.

— В каком случае я дурак? — настаивал Гоц, — если останусь или если уеду?

— Если не будешь есть фазана! Париж, Гоц, создан для того, чтоб оставаться!. Пришел, увидел, остался — вот что такое Париж. Но остаться, Гоц, — это полдела, если оставаться, то со скандалом!

— Почему? — не понял он.

— Тогда, старик, к тебе придут импрессарио! У тебя будут турне. И слушатель!

Гоц не любил скандалов.

— Разве я заиграю хуже, если останусь тихо? — спросил он.

— Может, и лучше. — ответил Айсурович. — Играть ты, может, будешь и лучше. Но тебя будут слушать хуже! Все дело в слушании.

— Это как?

— А так, — рявкнул Айсурович, — что лучше играть плохо, но остаться со скандалом, чем хорошо, но без! Я остался без! Где я играю? На бирже! А Шмуклер?

— Он в Париже? — удивился Гоц.

— От его афиш некуда деться. Его рожа щурится со всех домов. А все потому, что он въехал на грандиозном скандале.

И в это время в окружении полуголых красавиц в ресторан вошел Шмуклер.

— Антохер, — заорал он, завидев Гоца, — в Париже?! С ума сошел!

— П-почему? — не понял Антон.

— Потому что надо быть идиотом, чтоб эмигрировать!

— Я еще не эмигрировал, — оправдывался Гоц.

— И правильно сделал! Не хрена тебе здесь шаландаться! Ты привык к обожанию, идущему из зала, и к корзинам цветов!

— А здесь этого, что ли, нет?

— Антохер, — ласково сказал Шмуклер, — пойми простое: когда ты дуешь в свою дуду в советском фраке, браво орут таинственной русской душе, а не пейсатому еврею. И жена министра целует великую державу, а не твою жидовскую морду! Как только ты пересекаешь навсегда границу, твоя таинственная русская душа улетучивается, и министерскую жену ты не поцелуешь даже в затылок.

— Но ты же целуешь, — ухмыльнулся Айсурович.

— Потому что я не музыкант, — сказал Шмуклер, — я боюсь скрипки, и скрипка боится меня. Я торговец, Айсурович. Я могу продать себя. Там, Антохер, надо продаваться, здесь — продавать! Ты не умеешь ни того, ни другого.

— Но я умею дуть, — сказал Гоц. — Никто не дует в дуду так, как я!

— А вот мы сейчас это проверим, — сказал Шмуклер. Он схватил Антона за руку и потянул на улицу.

— Сейчас ты увидишь цену себе.

Он поставил его на углу, протянул гобой.

— Дуй!

— Зачем?

Шмуклер сорвал шляпу с головы одной из красавиц и бросил ее к ногам Гоца.

— Играйте, маэстро!

Он кинул в шляпу десять франков.

— Играйте, маэстро, и ослепляйте парижан вашей музыкой. И вы увидите ваше будущее.

И Антон заиграл.

Он играл Вивальди. Тот самый концерт, из сна.

И так хорошо, что даже Шмуклер прослезился. И даже его полуголые девицы. Но люди шли мимо, не останавливались, куда-то торопясь и спеша.

Может, за билетами на его концерт.

Когда Антон кончил, Шмуклер и Айсурович устроили овацию. Девицы лобызали его. В шляпе лежало десять франков.

— Шмуклер прав, — протянул Айсурович, глядя на жалкую монету.

— Не слушай его, Антохер! — завопил Шмуклер, — ты играл, как молодой бог! И я не отпущу тебя в это болото! Идем!

— Куда? — спросил Гоц.

— В полицию. Тут за углом участок.

— Прямо сейчас?!!

— Ты мало ждал?

— Но я еще не созрел, — растерялся Гоц.

— Сорок лет плюют в лицо, — и он еще не созрел!

Они подхватили его под локти и поволокли в участок.

— Я не созрел, — отбивался он, — дайте подумать...

Участок оказался закрыт: полицейские бастовали. И они пошли пить! И пили всю ночь. И обсуждали, как остаться со скандалом. Они думали над чем-нибудь грандиозным. К утру было решено, что Гоц на завтрашнем концерте в зале Плейель вместо Вивальди исполнит государственный гимн Израиля!

— Вот это будет бомба, — сказал Шмуклер.

— Во всяком случае работа в Израиле тебе будет обеспечена, — заметил Айсурович.

Гоц задумался.

— Может, мне на всякий случай сыграть тогда и гимн Франции? — поинтересовался он.

— Это не скандал! — ответил Шмуклер, — из всех гимнов только гимн Израиля — это скандал!

Антон взял гобой, и в первых лучах парижского утра понеслись звуки «Атиквы». Последние пары танцевали под гимн...

На репетицию он опоздал. Лысина Вайнштейна пылала.

— Где вы были? — строго спросил он.

— Я разучивал гимн, — ответил Гоц.

Никогда еще он не затыкал так пасть Вайнштейну.

Тот молчал до обеда... И весь концерт неотрывно смотрел на Антона и приторно улыбался.

«Атикву» Гоц так и не сыграл. Он не любил скандалов...

После концерта, еще не остывших, их посадили в автобус.

Через окно Антон видел, как метались Шмуклер и Айсурович и делали ему какие-то знаки.

— Швейцарцы? — ухмыльнулся Вайнштейн.

— Любители классической музыки, — развел руками Гоц.

Утром они въезжали в Рим.

Привет, Тит. Чао, Веспасиан. Салют, Феллини.

Слева поплыл Колизей.

«Лучше здесь умереть гладиатором, — подумал Гоц, — чем концертмейстером там».

— Буонджорно, Италия, — запел он, — буонджорно, Мария!

Это была модная песенка.

Когда он въезжал в эту страну, на душе всегда становилось удивительно спокойно — от красных стен, от зеленых ставен, от неба и арок. Здесь все пахло. Запах истории мешался с запахом хвои, и сердце его начинало насвистывать пастораль.

Он понял, что само Провидение не дало ему остаться во Франции и что его земля бежит сейчас под колесами.

Камни Терм Каракаллы горели в римской жаре, казалось, площадь Испании расплавилась и плыла по Тибру, а они сидели на античной сцене в зимних фраках и играли Вивальди.

Гоца всегда это бесило — фрак в любую погоду! Когда ему дадут убежище, — подумал Гоц, — он будет играть на гобое в рубашечке с открытым воротом и короткими рукавами.

Рим не только рукоплескал. Он ликовал. Он кричал. В зале творилось такое, будто они были не музыканты, а гладиаторы, и он гобоем прибил льва. Пышность банкета напоминала времена Цезаря. С ним чокался потомок Борджиа. Тряс руку Карло Понти. Его бывшая жена. И, наконец, опять кто-то чмокнул в лоб. Он вздрогнул — это был крестный отец Каморры, неаполитанской мафии, специально прибывший на концерт на белоснежной яхте.

И вновь ударило шампанское. На этот раз итальянское.

Снова до боли захотелось убежища.

Ничто иное, как шампанское, почему-то толкало его к этому акту. Он начал думать, к кому бы обратиться, но пока искал, все нужные смылись. Крестный умчался назад, к Санта-Лючии, Понти — к молодой жене, его бывшая жена — к детям в Швейцарию, и остались одни постные лица солистов государственного оркестра.

Вайнштейн говорил опять что-то насчет бутербродов, вина, завтрашней репетиции и языка за зубами.

Гоцу захотелось опустить свой гобой на лысину Вайнштейна, но что мог сделать хрупкий старинный инструмент с хорошо забетонированной головой.

И Гоц впервые пожалел, что не играет на контрабасе...

— Прошу не опаздывать! — добавил Вайнштейн и выразительно посмотрел на Антона.

— Хорошо, — ответил Гоц, — я не опоздаю.

Он одернул фрак, взял инструмент и пошел в Квестуру.

Он даже не думал, что идет просить убежище. Он просто уходил от коллектива, от лысины Вайнштейна. Он думал, что завтра он не придет ни в десять, ни пять минут одиннадцатого, ни в одиннадцать! А в полдень он позвонит.

— Я задерживаюсь, — скажет он.

— Где? — услышит он хайский вопль Вайнштейна. — Где?!!

— В Италии, — ответит он. И добавит: — Чао!

Гоц шел по Риму, по виа Кондотти, и думал, что вот, через минут двадцать этот город станет его, и он станет Антонио, Антонио Гоцци, и это будет сказка. Он будет учить язык Петрарки, свободно сидеть в шумных пиццериях, играть этим добрым людям Вивальди, просто так, от доброты сердечной, будет пить «Фраскатти» и любить смуглых синьорин, которые никогда не будут от него уходить. И куда — к Бергеру!!!

Гоц чувствовал, как наливались его мускулы, увеличивался рост, расправлялись плечи, голубели глаза, белела кожа, и он ощущал себя человеком Возрождения, восставшим рабом!

Так он вошел в Квестуру.

— Буонджорно, Италия, — поздоровался он с полицейским.

Полицейский положил руку на пистолет.

— Скузи, — сказал он.

— Буонджорно, Мария, — улыбнулся Антон. Полицейский несколько отступил.

— Вы кто? — спросил он.

— Гобоист, — ответил Гоц.

Полицейский не понял. Он знал все о «Красных бригадах», о «Прима линеа», о баскских террористах. О гобоистах он не слышал ничего.

— Это что еще за организация? — глаза его насторожились.

— Камерный коллектив Союза, — ответил Гоц. Полицейский щелкнул затвором. Сейчас его уже насторожили два слова — «камерный» и «союз».

— Тайный? — спросил он.

— Что? — не понял Гоц.

— Союз!

Гоцу такое в голову не приходило.

— Да вроде нет, — ответил он.

— А почему тогда камерный?

— Потому что нас немного.

— Сколько?

— Около двадцати.

— Конкретнее!

— Девятнадцать.

Полицейский записал.

— Чем занимаетесь?

— Вивальди, — ответил Гоц, — Скарлатти, Марчелло.

Полицейский начал что-то вспоминать. Вивальди и Скарлатти он не знал. Но на окружного судью Марчелло действительно недавно было совершено покушение.

— Так это вы убили Марчелло? — спросил полицейский.

— А разве его убили?

— Будто вы не знаете!

— Даже если это и так, — ответил Гоц, — даже если его и убили, это было два века назад! Как я мог его убить?

— Вот из этой штучки, — полицейский указал на футляр, где лежал гобой.

— Разве можно убить из гобоя? — удивился Гоц и потянулся к гобою.

— Не трогать! — приказал полицейский и взял гобой. Такого рода «автомат» он видел впервые.

Полицейский направил гобой в потолок и начал нажимать на клапаны. Гобой не стрелял.

— Как стреляет эта штука? — спросил он.

— Возьмите в рот, — посоветовал Гоц.

Полицейский подозрительно покосился на Антона и сунул гобой в пасть.

— Теперь дуйте!

Тот раздул щеки и задул. Странные звуки заполнили Квестуру. Полицейский перестал дуть.

— Не стреляет, — обиженно сказал он.

Гоц иронично взглянул на стража.

— А скрипка стреляет? — спросил он. — А тромбон?

Про скрипку полицейский промолчал.

— Про скрипку не скажу, — протянул он, — а из тромбона, по-моему, стрелял, и в нашего прокурора.

Музыкальная тематика начинала надоедать Гоцу.

— Сеньор, — сказал он, — гобой — музыкальный инструмент, для которого писал великий итальянский композитор Вивальди. Если хотите, я вам с удовольствием сыграю что-нибудь.

И он вновь заиграл концерт из своего сна.

Полицейский слушал внимательно. Ему вспомнилось детство. Сицилия. Лимонная роща. Кармелла в белом воздушном платье. И как он плакал, когда катер увозил его с острова.

— Это-таки оружие, — сказал потом он, — оно стреляет прямо в сердце. Зачем вы пришли сюда, сеньор?

Итальянское шампанское покинуло голову Гоца.

— Я советский музыкант, — сказал он.

— Очень приятно, — ответил полицейский, — а я — Марио. Вы бы что-нибудь хотели?

Антон понял, что на трезвую голову он остаться не может. Даже без скандала.

— Шампанского, — попросил он. Марио развел руками.

— К сожалению, в Квестуре запрещено пить, — объяснил он, — но утром мы пойдем ко мне, и я угощу вас дивным вином.

— Утром будет поздно.

— То есть вы хотите сейчас?

— Да.

— И ради этого пришли?

— Н-нет, — ответил Антон.

— А ради чего?

— Я, — убежище опять уплывало от него, — я хотел бы вас пригласить на концерт...

На репетицию он пришел раньше других. Но Вайнштейн, который явился почти час спустя, все равно подозрительно посмотрел на него.

— Что-то вы слишком рано, — проворчал он.

Вайнштейн боялся Гоца. В этой поездке это был единственный музыкант, у которого в России не осталось заложников.

И если б Гоц, упаси Бог, остался в Италии, то он бы навсегда остался в России. Его б не выпустили даже в монгольские степи...

И поэтому вдруг он заулыбался Гоцу. А после репетиции обнял.

— Вы играете, как волшебник, Гоц, — сладко произнес он, — я думаю взять вас с собою в Грецию.

«В Элладу ты поедешь без меня», — подумал Антон.

На вечернем концерте какой-то полицейский все время махал Антону, и Вайнштейн просто не мог дирижировать. И вообще зал был полон полицейских. Ему было не по себе.

— Гоц, — спросил он, — что у вас общего с полицией?

— Я убил Марчелло, — сознался Антон.

— Как? — крякнул тот.

— Из гобоя...

После концерта Гоца окружили полицейские.

Вайнштейн думал звонить в посольство. Но, увидев, что Марио распахнул перед Антоном дверцу машины с надписью «Полиция», взмахнул палочкой — и весь оркестр бросился на помощь. Быстрее всех, на кривых ногах, несся Вайнштейн.

— За что? — спросил он у Марио.

— За Марчелло, — ответил тот.

— Это недоразумение, — не слушал Вайнштейн, — товарищ Гоц крупный музыкант, политически выдержан. Морально устойчив. Вы взгляните на его характеристику. — Он выхватил листок: — Товарищ Гоц, тысяча девятьсот сорок пятого года рождения, является...

— И не только за Марчелло, — добавил Марио, — но и за Скарлатти. И за Вивальди, — и он распахнул заднюю дверцу: — Прошу и вас.

— Меня?! — завизжал тот.

— Да.

— Я никого не убивал.

— Вы убили наповал всех нас, — ответил Марио, — всю Квестуру.

Весь оркестр мчался в неизвестном направлении в полицейских машинах. В головной машине сидел Вайнштейн и выл, как сирена.

Римляне кидались в стороны.

— Вы разбудите Рим, — предупредил Марио, — вот вам телефон, звоните.

— Куда?

— Куда хотите.

— Я хочу в Грецию!

— Вначале шампанское, — предупредил Марио.

Они пили у него дома, в Альбано, на берегу озера. Потом запели. Итальянцы — «Белла, чао», Вайнштейн — гимн Советского Союза. Оркестранты встали. Марио стал их усаживать.

— Куда вы? Еще рано.

Ему удалось их усадить.

Тогда Вайнштейн затянул «Интернационал». Члены партии вскочили. И Марио тоже.

— Мы танцевали под него на Сицилии, — объяснил он.

И тут шампанское снова ударило в голову Гоца. И не надо было далеко ходить. Он склонился к уху Марио.

— Ты знаешь, зачем я вчера приходил? — спросил он.

— За шампанским! — ответил Марио, — и чтобы пригласить на концерт.

— Нет, — возразил Антон, — я хотел попросить...

Он запнулся.

— Все, что угодно, — закричал Марио, — проси!

— Тихо, — оборвал его Гоц, — не шуми.

— Проси! — гремел Марио, — для тебя ничего не жалко!

«Интернационал» прервался. В доме повисла тишина. Вайнштейн перестал дышать.

— Ну, проси, — шумел Марио, — итальянская полиция к твоим услугам!

Весь оркестр смотрел на Гоца, будто он был дирижер. Вайнштейн начал молитву.

— Шма Исраэл, — произнес он.

Гоц долго молчал.

— Передайте, пожалуйста, соль, — наконец, вежливо попросил он.

Всю дорогу в Венецию Вайнштейн нежно целовал Гоца, а недалеко от Вероны сообщил, что будет рекомендовать его на свое место дирижера.

— Знаете, Гоц, я уже стар. И моя палочка по праву принадлежит вам. Только у меня к вам просьба — не просите больше соли. Вы не представляете, как она повышает давление...

В Венеции Гоц понял, что убежище он попросит здесь. Потому что здесь — родина Вивальди. Не зря во сне он плыл именно по этому городу. Не зря качалась гондола на волнах...

Венецию он не мог понять, схватить. Она уплывала от него в каналы, в лагуну, в море, и лишь белые мраморные колонны вставали из воды и уходили в небо.

В первый же вечер он взял гондолу и поплыл в свой сон.

Все было так, как приснилось, — зеленая вода, и Ка д'Оро и Гритти Палас Отель. Наконец, он заметил белую Санта Мария делла Пиета.

Небывалое волнение охватило его. Он встал в гондоле и стал ждать, когда из массивных дверей появится старый маэстро и попросит сыграть что-нибудь из Вивальди.

Но старый мастер не вышел. Было тихо, и только на фронтоне молодая Мадонна оплакивала своего Сына...

Гоц достал гобой и заиграл концерт.

И опять на ступеньках не появился маэстро, не снял парик и не пригласил его к себе.

— Вы божественно играете, — сказал гондольер, — во всей Венеции нет музыканта, подобного вам.

Вечер спустился на Венецию. Гоц взглянул на статного гондольера, и ему показалось, что перед ним старый маэстро.

— Вы Вивальди? — сказал он.

— Вивальди, — ответил гондольер, — переезжайте в Венецию. Я буду бесплатно катать вас на гондоле.

— Не могу, маэстро, — вздохнул Гоц.

— Почему? — удивился гондольер.

— Я из Советского Союза.

Гоц понял, что пора просыпаться. Но он не спал...

Вечером Гоц пошел в гетто. Говорили, что оно первое в мире. Они принимали евреев, эти венецианцы, когда их гнали изо всех стран. Может, они примут и его? Ведь никто так блестяще не играет Вивальди...

Он прошел по площади Нового гетто, мимо колодца, мимо синагоги, где почему-то играли дети, и спустился в лавку.

Толстая красивая женщина в синем платье продавала хрусталь, муранское стекло, пепельницы и вазы из оникса, и на всем была или звезда Давида, или менора.

— Я еврей, — почему-то сказал Гоц.

— Очень приятно, — ответила женщина.

— Много евреев в Венеции? — поинтересовался он.

— Тысяча, — ответила она.

— Я буду тысяча первым, — улыбнулся он, — тысяча и один еврей! Разве это не сказка?!

— Тогда вам подойдет этот хрусталик на шею, — предложила женщина.

— А что это в нем? — спросил Антон.

— Это «ХАЙ».

— ХАЙ? Что это «ХАЙ»?

— Хай — это жизнь, — ответила она.

— Жизнь — это мне подходит, — сказал Гоц.

— Если вы возьмете две жизни, — женщина мягко улыбалась, — я вам сделаю скидку.

— Почему бы и нет, — произнес он, — две жизни лучше, чем одна.

Он заплатил за две жизни и вышел на площадь Нового гетто.

Смеркалось. Красные облака плыли над красными домами.

Они уплывали из Венеции, а ему не хотелось. Он вернулся в лавку.

— Сеньора, — спросил он, — где здесь Квестура?

— Квестура, — сеньора немного удивилась, — в двух шагах, на той стороне канала.

Поднявшись из лавки, он увидел ее. Она отражалась в темнеющей воде. Он мог быть там через минуту.

Но вначале Гоц все-таки решил выпить шампанского. Без удара в голову идти в Квестуру он не мог.

— Сеньора, — он в третий раз очутился в лавке, — у вас есть шампанское?

— Нет, — ответила сеньора, — но у меня есть к нему бокалы.

— Но мне надо шампанское.

— Неужели вы будете его пить из бутылки? — поинтересовалась женщина, — вы взгляните на бокалы, их только что доставили из Мурано. Они едва остыли. И потом, такого цвета давно не поступало...

Гоц выбрал багровый бокал с позолотой.

— А шампанское, — добавила женщина, — вы купите у табачника, по дороге в Квестуру...

Шампанское он взял самое дорогое, в бирюзовой бутылке с длинным лебединым горлом.

Гоц шел в Квестуру и подливал из бирюзовой бутылки в багровый стакан золотое шампанское.

Наконец, оно ударило. И как! Недаром оно было дорогое.

— В самый раз, — подумал он и решил войти в Квестуру. Дверь была прямо перед глазами, прямо вот, в двух шагах! Но эти два шага был канал. Он обежал его по каменному мостику с черной решеткой, и она оказалась почти в одном шаге. Но тоже за каналом.

Тогда Гоц рванул налево, вернее, канал вел его туда. Он вел его минут двадцать. Квестура была почти на горизонте.

Он побежал обратно, но канал уводил его, не давая приблизиться. Это был странный город: не Гоц выбирал дорогу, а дорога диктовала ему. Он бегал, как пес. С моста на набережную и снова на мост. Забегал в подворотни, тупики, на мостки, дважды чуть не свалился в воду и, наконец, оказался на Пьяцца Сан-Марко.

Красная колокольня улетала в багряное небо. Зажигались фиолетовые фонари. Гондолы качались на фоне Сан-Джорджо.

Ноги его гудели, и он сел в кафе. Это был «Флориан». Здесь сиживал Гёте. Писала Жорж Санд. Дремал Стравинский.

Меж столов сновали адмиралы с подносами.

«Может быть, здесь бывал и старый маэстро», — подумал Гоц.

— Простите, — обратился он к «адмиралу», — за каким столиком сидел Вивальди?

«Адмирал», не задумываясь, показал, за каким. Гоц пересел и заказал «капуччино» Средь нарядной толпы летали голуби. Принесли кофе и счет. На счете было тринадцать тысяч.

— Позвольте? — встрепенулся он. — За что?!!

— Пять — за кофе и восемь — за Вивальди, — объяснил официант.

Гоцу полегчало.

Оркестр из трех стариков играл мелодии 40-х годов. Антон любил их. В эти годы он родился. Прилетел голубь и сел на стол.

Гоц угостил его «капуччино».

Ему было хорошо за столиком великого маэстро. И он подпевал оркестру.

— Скузи, сеньор, — остановил он официанта, — где здесь Квестура?

— О-о, это далеко. Вам придется взять гондолу, дотторе.

«Дотторе» пересчитал лиры. Шампанское, бокал для шампанского, столик Вивальди — в кармане почти ничего не звенело. Когда платили двадцать долларов за концерт, гондолы, видимо, в виду не имелись...

Он зашагал в Квестуру пешком.

Шел он долго, под венецианским вечерним небом, под свежевыстиранными панталонами и простынями, колыхавшимися над ним.

Многочисленные кошки дружелюбно мяукали ему, и немцы, которые, казалось, были всюду, кивали друг другу белыми головами на красных шеях, и в воздухе летало «я», «я»...

Квестура напоминала мираж — она то приближалась, то отдалялась, но ни разу Гоц не оказался у ее дверей. К ней нельзя было подойти. К двери можно было только подплыть. А плавать Гоц не умел. Он метался вдоль канала и смотрел на отражение двери, плавающее в воде.

У моста, в тельняшке и широкополой соломенной шляпе с красной лентой, сложив на мощной груди загорелые руки моряка, стоял гондольер.

— Ля го́ндола, — повторял он, — ля го́ндола...

Вот уже полчаса он наблюдал за Гоцем.

— Сеньор, — окликнул он, — что-нибудь случилось?

— Мне надо туда, — почти в панике указал Гоц на ту сторону канала.

— Ногами здесь не помочь, — ответил гондольер и прыгнул в свою гондолу, — давайте руку.

Он протянул свою сильную ладонь Гоцу.

— Тридцать тысяч — и будете там.

— Тридцать тысяч! — ужаснулся Гоц. — Тут же плыть секунда!

— Я беру за час, — объяснил гондольер, — и плыви куда хочешь, — уна ора — транта миля!

— Мне ж не кататься, — воскликнул Антон, — мне ж уб... — Но спохватился. — А, черт с тобой! Давай уна ора — транта миля! Только престо!!!

Он неловко перековылял в гондолу, устало уселся на резную банкетку, покрытую красным бархатом, гондольер встал на корму, уперся длинным веслом и запел.

— Скажите, девушки, подружке вашей, — выводил гондольер, — что в мире всех она милей и краше...

Голос гондольера успокаивал Гоца.

Гондольер пел баркароллу, «Санта Лючию», Леонкавалло, арию Риголетто. Никто еще не отправлялся за убежищем под звуки «бель канто».

«Именно так должен отправляться музыкант», — подумал Гоц.

Он достал багровый бокал и бирюзовую бутылочку.

— Прего, сеньор, — он протянул гондольеру шампанское, — за музыку!

Тот с удовольствием выпил. Затем выпил Гоц.

Потом они пили за оперу, за Карузо, за Джузеппе Верди!

— ...И вот я умираю, — заливался гондольер. Он перешел к Пуччини.

— Чуть выше, — попросил Гоц, — «и вот я умираю».

Гоц запел, гондольер подхватил, и они пели вместе, обнявшись и стоя на корме.

Белые головы из черных гондол поворачивались в их сторону.

— «Я», «я», — доносилось из гондол.

На мосту Риальто Гоц вдруг увидел Вивальди. Тот улыбался ему и пел что-то свое.

— Белла, чао, белла, чао, белла, чао! — пел Вивальди и весело махал ему рукой, высунувшейся из кружевного манжета.

А из-под моста вдруг выплыла гондола, и ему показалось, что в ней сидит Вайнштейн.

— Ерунда, — подумал Гоц, — просто все лысины мира похожи.

Это была явная галлюцинация — Вайнштейн ни за что на свете не взял бы гондолу. Трента миля — уна ора!

Он был дикий жмот. За все годы он не позволил себе даже чашечки «ристретто» стоя, а не то что за столиком Вивальди!

Да к тому же лысина, сидевшая в гондоле, пела, а Вайнштейн не пел даже на собственной свадьбе.

Гоц успокоился. Уплыл сеньор, похожий на Вайнштейна, растаял на мосту Вивальди, а Квестуры все не было.

Время от времени она, правда, появлялась вдали, но тут же таяла, как Вивальди... Гоц перестал петь.

— Сеньор, — сказал он, — если через десять минут мы не будем в Квестуре, мне там делать нечего. Все выветрится, — он постучал по голове.

Гондольер с удивлением смотрел на Гоца.

— Странный вы турист, — сказал он, — первый, кто смотрит в Венеции Квестуру. Как-никак, это не самая большая достопримечательность. Там нет ни Тьеполо, ни Веронезе. Ее не строил Сансевино. Она омерзительной архитектуры — ни лоджий, ни колонн. К тому же плохо пахнет.

— Хотите, — предложил он, — я отвезу вас на Мурано?

— Мурано, — равнодушно повторил Гоц. Хмель покидал его.

— Или Бурано? — сказал гондольер.

Антон махнул рукой.

— Вези, — ответил он, — все равно — Мурано, Бурано...

Он был уже абсолютно трезв.

Мурано было далеко, Бурано еще дальше, и Гоц чуть было не опоздал на концерт.

Они сидели на сцене изумительного зала, где золото спорило с бархатом, а жемчуг с горностаем.

Публика была такой богатой, что, казалось, в зале сидели одни дожи с дожихами, или как их там.

В зале сидели дожи и дожихи, а на сцене — жидожские морды.

Все ждали выхода дирижера.

На красочном плафоне летали ангелы и мадонны. Дирижер не появлялся. Раздались аплодисменты. Вайнштейн любил эти первые робкие

хлопки. Он всегда ждал их. И после он подтягивал живот и выпрыгивал на сцену, как барс.

Аплодисменты усиливались, но барс не выпрыгивал.

В голове Гоца вдруг проплыла гондола с лысиной на борту, и он с ужасом увидел, что лысина плыла в сторону Квестуры...

Зал уже волновался. Аплодисменты стали сильнее и нетерпеливее. Никто не знал, что же предпринять.

И, наконец, из-за кулис вышел человек.

Это был не Вайнштейн. Это был какой-то офицер, совершенно не похожий на Вайнштейна и без палочки.

Он приблизился к авансцене, поднялся на возвышение, откуда обычно дирижируют, и объявил довольно странную программу.

— Вайнштейн, — торжественно произнес он. — Политическое убежище!

Такого концерта они еще не играли. Зал онемел. Оркестр тоже.

И вдруг, все вместе, не сговариваясь, не репетируя, они заиграли траурный марш Шопена, как бы провожая себя в последний путь.

И даже дожи в зале догадались, что больше никогда не услышат этих жидожских рож.

Крылатый лев летал над лагуной...

В ту же ночь их сажали на специально зафрахтованный самолет. По дороге в аэропорт он попросился в туалет. Он еще на что-то надеялся.

— В Москве! — сказали ему.

При посадке их трижды пересчитали. Затем задраили двери. Самолет взлетел, навсегда оставляя под собою Мурано, Бурано, недоступную Квестуру, столик Вивальди и песнь гондольера.

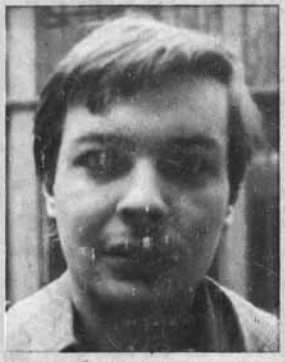
Гоц смотрел в иллюминатор и, когда пересекли границу, — уснул. Ему приснилась Венеция. На черной гондоле он подплывает к дворцу. Навстречу выходит дож — и Гоц вежливо просит его передать ему соль...

1984, № 41

ОСТАНОВИЛОСЬ СЕРДЦЕ...

13 июня в Париже скончался Вадим Делоне. Он уснул — и не проснулся: остановилось сердце.

Он и сейчас, умирая, после лет, вместивших многое: тюрьму, лагерь, эмиграцию, — все еще был очень молод. Всего 35 лет. И совсем юным Вадим Делоне



вступил на путь протеста. Юношеские выступления с полузапретными стихами привели его к общественным действиям. В январе 1967 года вместе с Владимиром Буковским, Виктором Хаустовым, Евгением Кушевым, ныне покойным Ильей Габаем Вадим демонстрирует на Пушкинской площади, протестуя против ареста друзей.

25 августа 1968 года Вадим Делоне — в числе семи демонстрантов, вышедших на Красную площадь, чтобы публично протестовать против ввода войск в Чехословакию. «Я понимал, — сказал он на суде, — что за пять минут свободы на Красной площади я могу расплатиться годами лишения свободы». Так и сталось, но ни разу в жизни Вадим не жалел об этих пяти минутах свободы, о своем звездном часе.

Эмиграция давалась ему тяжело — всеми мыслями и чувствами он оставался там, в России, с друзьями в «малой» и «большой зоне». За семь с лишним лет, казалось, он так и не нашел себе места в западной жизни — и, быть может, только теперь, когда уже не услышишь его ласкового, по-французски картавого голоса, не увидишь его теплой, дружеской улыбки, становится очевидным, какое особое место занимал он в нашей здешней жизни, какую незаполнимую пустоту он за собой оставил.

«Континент»
«Русская мысль»

Обратная сторона обложки «Континента», № 37

ВАДИМ ДЕЛОНЕ

Заметки к автобиографии

Посвящается И. Белогородской

Эпиграфы

1

Господи, пусть минует меня чаша сия.

Евангелие от Матфея.

2

Если Ты меня не отлучил
От земли ничтожной и кровавой,
Дай мне, Боже, сил, немного сил,
Не прошу, чтоб чаша миновала.
Не прошу, я всю пройду до дна
Чашу горя, злобы и позора.
Наплевать, что светит мне луна,
Все равно — что небо иллюзорно.

3

Пройдя подъем горы наполовину,
Он понял вдруг — ни шагу не шагнуть.
Просил воды, своих просил и римлян,
Неспешно продолжавших долгий путь.
Им крест не несть, звучала просьба глухо,
Злорадный смех пронесся по рядам,
И кто-то уксусом насыщенную губку
Ему, глумясь над болью, передал.

Что-то в белых снегах беспокойное,
Что-то в беглых словах непристойное.
Просыпаюсь с утра — и не хочется жить.
Вечерами я пьян — хоть не хочется пить.

Наказал меня Бог даже больше, чем мог, —
Все, чем жил я, — отнял, а меня уберег.
Так зачем я Ему, да и мне белый свет,
Лучше снова в тюрьму или под пистолет.

Только знаю — за что меня Бог наказал,
Я когда-то кричал и в ночи повторял,
Что, мол, чашу свою до конца я допью,
Мол, чужие грехи и свои искуплю.

За свободу, — кричал, — я и жизнь вам отдам,
Хоть в Сучан посылай, хоть сейчас в Магадан.
Я не буду молчать, я не стал подлецом, —
А ворье и конвой мне смеялись в лицо.

Словно ветром меня в лагеря понесло,
Никогда не жалел я о дерзости слов.
И вернулся сюда, где этапов не ждут,
Где считают года на копейки минут,
Где уюты блюдут, городят города,
Где других узнают, а себя никогда.

Я вернулся сюда, как из мира теней,
Думал — все отстрадал, думал — пой, мол, да пей,
Но в глазах суета беспокойных снегов,
Лай собак и барак и тоска вечеров.
Я бы кинулся в крик — там остались друзья —
Только губы твои утешали меня.

Но за гордость мою Бог настиг, наказал,
И тебя у меня просто взял и отнял.
Как прикладом в висок, глухо грянул звонок,
Эх, зачем не за мной вы пришли на порог.

Тихо Богу твержу: я смирился, поверь,
Пусть минует ее эта чаша теперь.
Бог смеется в лицо, подшутив надо мной,
Как смеялось ворье, как смеялся конвой.

* * *

Только галки вязнут в грязных тучах,
Только снег скрипит по крышам ржавым.
Ничему тюрьма нас не научит,
Кроме чувства жалости, пожалуй.

Тихих слов никто не скажет на ночь,
День сосулькой оборвется в вечность,
И твои мечты разгонит напрочь
Тенью по стене скользнувший вечер.

Лишь шаги охранников у двери,
Чем твоя душа там только дышит.
Я с тобой, поверь мне, ну поверь мне,
Даже если слов моих не слышишь.

Я представить пробую, я мучусь,
Что за сны тебе сегодня снятся.
Стены комнат стен тюрьмы не лучше,
В час, когда бессильем жутким смят ты.

Только галки вязнут в грязных тучах,
Только снег к окошкам липнет, липнет.
Я впервые проклинаю участь —
Ни уйти, ни броситься, ни крикнуть.

* * *

Как страшно, что у дней моих названья
Такие же, как тяжких дней твоих.
Мелькают их пустые очертанья,
Как под ногами плиты мостовых.

Нелепа календарных чисел смета,
И невпопад явление весны.
Мечусь я от заката до рассвета,
Как от стены и снова до стены.

Прошу о жизни — нет — мне отвечают,
Прошу о смерти — отвечают нет.
У проходной тюрьмы меня встречают
И просят: предъявите документ.

* * *

Быть жертвой родины—куда нелепей честь.
Я мог бы уберечь тебя от боли.
Теперь друзей по пальцам перечесть,
Тем более оставшихся на воле.

Так о каких еще привычках речь,
К чему взывает строчек бестолковость.
Какая новость — жизнью пренебречь.
Срок лагерей — какая это новость.

Так что ж мы ждем, пока придет конвой,
Как смерти ждет задумчиво подранок.
Не лучше ли махнуть на все рукой
И родину считать за полустанок.

И то, что не уехал, верно, грех,
Пусть кто-то усмехнется, осуждая.
Я молча подымаю руки вверх
И все же этот край не покидаю.

Как знать, где потеряешь, где найдешь.
С кошмаром снов страшней всего бороться.
Слова стучат по дну души, как дождь
Стучит по дну засохшего колодца.

Все кончено, судьба слепа, как чёрт,
Которому огонь спалил глазницы.
Мне снова предъявляют ложный счет,
И кажется, придется согласиться.

Все кончено, душа моя слаба,
Отчаянье в виски мои стучится,
Как будто сумасшедший по столбам
По телеграфным, чтобы дозвониться.

А ты в тюрьме, и больше силы нет
Ни бросить, ни закончить строки эти,
Прости, что не увез тебя от бед,
Но лишь перед тобою я в ответе.

Все кончено, судьба слепа, как чёрт,
Которому костер спалил глазницы.
Я никогда не брал ее в расчет,
И это отольется мне сторицей.

1983, № 37

СЕМЕН ЧЕРТОК

Палыч

Многих, с кем хорошо был знаком в России, я забыл. Многих. А Палыча помню.

Сначала мы его испугались. До сих пор редакция жила более или менее спокойно. Наш главный редактор, еще в 30-е годы работавший в ЦК комсомола, видимо, сам поверил в идеи интернационального братства и дружбы народов, которые излагал на собраниях рядовым комсомольцам. Возможно, поэтому очередные указания ЦК партии по укреплению кадровой политики он игнорировал. Но, скорее всего, в этом тоже проявлялось его удивительное упрямство: он все хотел делать наоборот. Если кому-нибудь из нас нужно было съездить в Ленинград или Ташкент — действительно по редакционному делу или под предлогом служебной надобности по своим делам, — следовало сказать шефу: «Очень не хочется мне сейчас ехать...» И тогда раздавалось категорическое: «Ехать надо срочно, завтра же...»

Как бы то ни было, жили мы сравнительно спокойно. Мы радовались тому, что можем писать статьи об актерах и актрисах, операторах и художниках, режиссерах и композиторах, статьи, в которых не требовалось хвалить мудрую политику, гордиться выдающимися достижениями и убеждать читателей в конечной победе. Нам дозволялось быть не слишком идеологическим органом.

Почему?

Есть статистика: чем жизненный уровень в стране ниже, тем больше любят там кино. В СССР любят кино, как нигде в мире, а из нашего журнала миллионы читателей узнавали о новых ролях актеров, планах режиссеров и о новинках кино, в том числе и зарубежного, и идеологическая функция журнала заключалась в том, чтобы помочь людям уйти от неурядиц, несправедливостей и нехватки продуктов в несуществующий и фальшивый мир экрана. Поэтому, если на первой полосе журнала стояло имя космонавта или передовика производства, призывающего кинематографистов создавать фильмы, нужные народу, это считалось достаточным.

Порой мы со страхом спрашивали друг друга: долго ли продержится наш оазис? И вот случилось.

Центральный комитет партии постановил внимательно относиться к письмам трудящихся, в журнале решили создать отдел писем и во главе его поставить нового сотрудника Ивана Павловича Дитенко, полковника в отставке. Никто его еще не видел, но зато все знали, что такое полковник в отставке. Выслужившие срок солдафоны возглавляли спецотделы и отделы кадров в тысячах учреждений, писали несуразные малограмотные доносы на сослуживцев и соседей, обвиняя их в нелояльности и моральной нечистоплотности, следили за правильностью кадровой политики своих начальников и успешно проваливали любое конкретное дело, которое им иногда поручали.

Внешность Дитенко подтвердила наши худшие опасения: синий костюм с длинными лацканами и рукавами, почти до конца закрывающими пальцы, три ряда засаленных орденских планок, белая нейлоновая рубашка и узкий черный галстук, застегивающийся сзади на железных крючках. Из воротничка торчал кадык на худой шее, нос с горбинкой и черный пролетарский чуб. Темное скуластое лицо украшали три передних золотых зуба.

Когда он заговорил, стало еще страшнее: косноязычие его было замешано на сильном украинском акценте. Так говорят надзиратели в концлагерях, участковые милиционеры и руководители Центрального Комитета партии, забывшие украинский и не выучившие русский.

Мы обходили кабинет нового сотрудника стороной и стали осторожнее в коридорных анекдотах, а когда на ближайшей редакционной летучке Дитенко поделился соображениями о просмотренных им за первые дни работы фильмах, приуныли даже самые бездумные оптимисты. То неуловимое и очень грозное, что с тяжелой руки Ленина стало называться партийностью в литературе и искусстве, повисло над нашей редакцией траурным облаком. И уйти некуда: во-первых, в других местах не лучше, во-вторых, там от своих евреев не знают, куда деться.

Мы продолжали ходить на работу, брать глубокомысленные интервью у актрис и искать в посредственных фильмах то, чего там никогда не было, постепенно привыкая к тому, что в одной из комнат находится чужеродное тело, вытеснить которое не удастся. Особенно допекал нас Дитенко бесконечным цитированием классиков марксизма-ленинизма.

Сочинения Ленина он знал наизусть и шпарил их при каждом удобном и неудобном случае, а нам оставалось выслушивать до конца не только сами не имевшие никакого современного смысла цитаты, но и комментарии Дитенко, объяснявшего или оправдывавшего с помощью этих цитат текущие события: вторжение в Чехословакию, замену партийного руководства в Грузии, экономическую реформу или, наоборот, отмену этой предполагавшейся реформы. Когда изредка кто-нибудь из тех, кто недавно закончил институт и помнил ходячие цитаты, без которых нельзя сдать ни один экзамен, по наивности поправлял Дитенко, тот вскакивал из-за стола, с выражением неотложности и важности дела входил в кабинет главного редактора, украшенный, как и все подобные кабинеты, портретом Ленина и покрытыми

пылью бордовыми корешками десятков томов его сочинений, безошибочно брал один из них, быстро находил нужную страницу и торжествующе возвращался на место. Три золотых зуба впереди поблескивали в снисходительной улыбке:

— Значит, так. Еще раз повторяю. Владимир Ильич указывает...

Указательный палец Дитенко начинал делать сложные геометрические фигуры, а мы мечтали о том, как бы не нашелся еще один знаток ленинского наследия: спор с первым продолжался полчаса.

Тратить время на все это было скучно и жалко, но мы стали замечать, что это зло — единственное. День шел за днем, неделя за неделей, и вроде бы ничего в нашей жизни не менялось. Официальные партийные речи Дитенко произносил только на собраниях, где и положено их произносить, да и там ограничивался общими фразами, никого не задевая лично. В ответах читателям и в вышестоящие инстанции старался выгородить коллег и редакцию; к нему стали потихоньку привыкать и даже иногда советовались по делам, когда надо было, не покривив душой, найти формулировку, которая отвела бы удар, не взбеленив начальство.

А начальства было много: министр кино, его заместители, Союз кинематографистов и его обидчивые секретари, сами ставящие фильмы или пишущие на них рецензии, и два отдела ЦК партии: культуры и пропаганды и агитации, к которым иногда прибавлялся руководящий звонок из международного отдела, с их заведующими, замами, завсекторами и многочисленными инструкторами, чья работа оценивалась по единственному признаку: кто первым обнаружит в книге, фильме, спектакле, журнальной книжке или газетном номере идеологическую неточность, лучше всего такую, чтобы можно было намекнуть на диверсию. Это оправдывало пайки, бесплатные санатории «повышенного типа», командировки за границу и талоны на пыжиковые шапки и болгарские дубленки За такие привилегии и мать родную можно обвинить в потере классового чутья и идеологической бдительности. И Иван Павлович, всю жизнь прослуживший армейским политработником, оказался нам просто необходим. Он не вмешивался в то, что мы писали, да и не всегда понимал смысла написанного, но десятилетиями выработанный инстинкт самосохранения помогал ему замечать опасность там, где мы ее не видели. Он смотрел на текст глазами наших будущих цензоров, и с его помощью мы делали исправления так, чтобы суть осталась прежней, а придраться было бы не к чему.

А уж там, где требовалось посоветоваться или составить письмо, касающееся обмена квартиры или установки телефона, Дитенко оказался незаменим: никто теперь не начинал этих хлопот, не обсудив предварительно с ним все детали.

Так незаметно и довольно быстро Дитенко стал «своим». И когда через несколько месяцев его поставили во главе редакционной парторганизации, мы окончательно убедились, что полковник в отставке не только не мешает нам, но даже и помогает.

Нас стали миновать пропагандистские совещания районного и городского масштаба, идеологические инструктажи, собрания активов, вся эта отнимающая так много сил и времени болтовня. Раньше нам приходилось ходить на эти совещания по очереди, и фокус заключался в том, чтобы, отметившись при входе, незаметно уйти. Теперь вместо нас всюду ходил закаленный тридцатилетней службой в политорганах Дитенко, с армейской дисциплинированностью отсиживая многочасовые доклады и прения об обострении идеологической борьбы на современном этапе. Никто больше не упрекал нас за то, что мы манкируем, не являемся, пропускаем, опаздываем или сбегаем. Вероятно, ему самому не было тяжко участие в этих говорильнях, а нас он выручил необыкновенно, и жить нам стало намного спокойнее.

Потом оказалось, что редакцию больше не включают в список организаций, сотрудники которых в дни выборов в верховные советы СССР и РСФСР, в местные органы власти, а также районных судей и заседателей, называются агитаторами, а в обычные дни — дружинниками. Палычу, — так мы за глаза, а потом и в глаза стали называть Дитенко, — удалось доказать, что наша малочисленная редакция выполняет слишком важную и ответственную политическую функцию, чтобы отвлекать ее сотрудников на то, что могут сделать другие, не способные к той исключительной деятельности, которая была доверена нам.

Еще больше обрадовало нас сообщение о том, что отныне мы не обязаны два раза в году — 1 мая и 7 ноября — демонстрировать на Красной площади перед стоявшими на мавзолее Ленина руководителями партии и государства свою преданность и верность. Когда дело подошло к очередной демонстрации, Палыч объявил:

— Мы посылать представителей не будем, у нас слишком маленький коллектив. Пойду я как секретарь партийной организации.

...При желании и он мог бы не терять день на многочасовое утомительное хождение в колоннах с флагами, транспарантами и плясками на многочисленных стоянках. Но этого Палыч не мог позволить сам себе: брала свое многолетняя привычка. Только раньше он ходил за себя, а теперь за нас всех.

Рассказы вернувшихся из зарубежных командировок сотрудников о том, что за границей нет очередей и есть куры, он слушал молча, но с особым вниманием, время от времени спрашивал: «Да? Да? Так?...» — и потом долго сидел молча, повернув голову к окну и постукивая карандашом по крышке стола.

Кинематографисты любят устраивать фестивали, и в редакцию приходили приглашения для поездок на такие киносмотры в братских, дружеских странах, а Союз кинематографистов начал устраивать туристические поездки и на разлагающийся Запад — то в Грецию, то во Францию, а то и в Америку. Есть ли у советского человека бóльшая мечта, чем поездка за пределы родины? Эта честь доверяется немногим избранным, а остальные до конца жизни своей смотрят на них как на особо отмеченных. Но даже для них, доверенных и проверенных счастливчиков, эта мечта осуществима лишь в том случае,

если они получат письменную характеристику треугольника — руководителя учреждения, секретаря парторганизации и председателя месткома, утвержденную партийным собранием и заверенную райкомом партии.

Когда черновик такой характеристики впервые принесли на подпись Палычу, он не оставил от него камня на камне. Малограмотные и не согласованные между собой вставки, переносы и зачеркивания испещрили любительский текст, превратившийся в его руках в подлинно партийный документ с чеканными формулировками и застывшими определениями: морально устойчив, идеологически выдержан, скромен в быту, активно участвует в общественной жизни, пользуется авторитетом, может быть рекомендован для туристической поездки в Народную Республику Болгарию с... 19.. года на 12 (двенадцать) дней.

Палыч сам пошел со своим произведением в райком, где заседала комиссия по характеристикам для выезда за границу, состоящая из старых большевиков на пенсии, полковников в отставке и крашеных под светлых блондинок райкомовских дам в строгих темных костюмах и белых нейлоновых блузках. И, конечно, одного представителя «органов». Канонический железобетонный текст и внешний вид секретаря парторганизации популярного журнала с тех пор безошибочно делали свое дело: ни отказов, ни задержек с утверждением характеристик не было. Мы еще раз убедились, что под внешностью отставного недотепы скрываются мужицкая хитрость, доброе сердце и опыт кадрового политработника, знающего правила партийной игры.

И каждый раз Палыч ездил с характеристикой сам: не хотел нарушать впечатление от созданного его пером образа. В Госкино и Союзе кинематографистов, посылавших нас на фестивали и в турпоездки, это оценили: мы сразу стали благонадежными, защищенными от подозрений круглой печатью райкома партии. Что было написано в скрепленном ею тексте, даже не читали — сама печать служила гарантией.

Но, хотя характеристики для райкома он давал всем одинаково хорошие, или, как они назывались на бюрократическом языке, положительные, цену каждому из нас он знал подлинную.

К шефу Палыч сначала относился как к командиру в армии: советовался по каждому пустяку, угадывал каждое желание и беспрекословно исполнял. Потом пообвык, пообтерся, раскусил слабости шефа и позволял себе спорить, не соглашаться и нередко выходил победителем. Спорил очень напористо, приводил случаи из жизни и примеры из истории партии. Своими победами в спорах очень гордился.

Нам трудно было выслушивать Палыча, когда он пускался в пространные оценки просмотренных фильмов, но зато его реплики о текущих событиях вдруг поражали своей некондовостью:

Палыч приходил в редакцию задолго до нас и свой рабочий день начинал с чтения газет. Он брал у секретарши целую пачку изданий, отличающихся друг от друга только заголовками, и прочитывал их от корки до корки, что-то подчеркивая и выписывая. С утра в редакции были только он, секретар-

ша и помощница Палыча, говорливая и неглупая Глаша Сосман. Когда мы пришли, Глаша рассказала, что Палыч, читая газеты, вдруг спросил у нее:

— Читала в «Правде» статью? Называется «Русский характер». Вот тэбэ и на. Русский характер.

Глаша удивилась:

— А что, Иван Павлович, тут особенного?

— То есть как?..

Он подошел к ее столу и, рубя правой рукой воздух перед самым ее носом, спросил:

— А могла бы быть статья под названием «Узбекский характер»? А украинський? А еврэйський? А татарський? Могла бы? Нет, нет, ты мэне кажи, могла бы появиться в «Правде» статья «Еврэйський характер»? Да или нет? Не могла бы появиться такая статья! Только «Русский характер». Это что? Интернационализьм? Нет, это великодержавный шовинизьм. Так или не так?..

Он еще долго возмущался, а успокоившись, сказал:

— В ЦК на это обратят внимание, им влетит под пэрвое число, это политическая ошибка, вот так.

В Палыче шел внутренний процесс, который мы замечали не только по его высказываниям, но и красноречивому молчанию. Так было и когда шеф одарил его заграничной поездкой — на фестиваль документальных фильмов в Лейпциг. Палыч вернулся сумрачным и впечатлениями от поездки не делился. Как будто и не ездил. Пытались расспрашивать — ничего не вышло.

Спорить с ним было почти бесполезно. Своих оппонентов он не слышал. Рубил правой рукой воздух, как будто шашкой смахивал голову собеседника, и поминутно спрашивал его: «Так или не так?» И, не дожидаясь ответа, продолжал. «Не так» быть просто не могло. Упрям он был необыкновенно, но на него никто не сердился, молча слушали и тут же забывали.

Менял Палыч свое мнение редко, очень не скоро, но зато основательно и бесповоротно.

Ему явно все больше и больше нравился дух кино, невозможная в армии относительная свобода мнений и нравов, споры на редакционных летучках, которые он вел с ожесточением и страстью, но непонятно, с кем именно.

Как-то мы пристали к нему с просьбой отвоевать один рабочий день, чтобы поехать на дальнюю экскурсию: в субботу выезжаем, в понедельник возвращаемся, а вместо этого понедельника отработаем в какую-нибудь из суббот. Мы знали, что шеф на это не пойдет, поскольку сам он в экскурсиях не участвовал, и надежда была только на Палыча. Через пару дней Палыч сказал:

— Значит, так. Проведем это через партсобрание.

— Но шеф будет возражать.

— А это зависит от вас. Вы же знаете, что шеф всегда и всюду опаздывает на пять минут. Приходим без пяти десять. В десять ровно открываем собрание. В десять ноль четыре голосуем. Повторяю, все зависит от вас.

...Палыч открыл собрание ровно в десять и сказал, что сам будет председательствовать. Возражений не было. В десять ноль четыре собрание едино-

душно проголосовало за то, чтобы рабочий день перенести с понедельника на субботу в связи с производственной необходимостью. Когда в десять ноль пять шеф появился в дверях с обычным извинением за опоздание, Палыч сказал:

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, мы переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня — о дисциплине...

Шеф понял, что его провели, но спорить счел для себя невыгодным, сделал вид, что ничего не случилось.

Тридцать лет в штабах и политотделах полков, дивизий и корпусов сидели нерассуждающие тупые манекены, готовые немедленно донести, настучать, оговорить. Тридцать лет незлобивый, упорный и наблюдательный человек тщательно скрывал свое мнение, молчал, когда хотелось говорить, и говорил только то, что было положено. И вдруг, сам того не предполагая, под старость лет приобрел собеседников, получил возможность рассуждать вслух и перестал бояться, что не получит очередного звания, а то и вылетит из армии. И впервые в жизни он стал ходить на работу не для прохождения службы, а для удовольствия. А когда редакция выезжала на экскурсии: в Суздаль, Соловки, Кижи, — Палыч и совсем преображался: становился душой общества, балагурил, бегал в магазин за колбасой и «поллитрой» и помогал таскать саквояжи девицам.

Редакция была пишущей, и у многих выходили книги. Один из первых экземпляров дарили Палычу с теплой надписью. Он очень этим гордился, внимательно прочитывал книгу и говорил:

— Прочитав. Ну, что же, есть спорные положения, без этого не бывает. Так или не так? Не во всем тебя поддерживаю, но в целом книга хорошая, нужная. Ты, смотри, не забудь включить гонорар в членские взносы, чтобы комар носу не подточив, а то знаешь, завистников сколько. Вот так...

Впрочем, его дружба с журналистами и кинокритиками не переходила установленные им самому себе границы. Подарки, которые обычно привозят из-за границы тем, кто оформляет поездки, не брал, за исключением жевательной резинки для внука. Никогда не участвовал в редакционных попойках: в такие дни уходил из редакции загодя. И вообще не пил. Как ему удавалось сохранить себя в армии от черного беспробудного пьянства — уму непостижимо. Но удалось. Как удалось не стать антисемитом. Как удалось сохранить многие человеческие черты, которые редко встретишь у выслужившего срок отставника.

В отличие от нас, живших гонорарами, Палыч получал твердую сумму — военную пенсию и ползарплаты (получив полную, он терял бы пенсию), называемые им «окладом содержания». В обеденный перерыв при общих походах в соседнюю столовку «Полет», называемую посетителями в зависимости от степени интеллигентности отравиловкой или тошниловкой, не позволял, чтобы за него платили: вынимал потертый кошелек со многими отделениями и тщательно отсчитывал сумму. Если у кассирши не хватало сдачи хоть копейки, терпеливо ждал. К деньгам и денежным расчетам относился очень серьезно, но не завидовал тем, у кого гонорары измерялись

тысячами, а уважал их: считал, что зря деньги не платят. Было в этом что-то крестьянское, сохраненное с деревенского детства. Не забывал повторять: «Членские взносы платите точно, горят на мелочах».

Когда мы рассказали Палычу, как Госконцерт обирает гастролирующих за рубежом советских артистов и музыкантов, он постучал пальцем по столу, посмотрел в окно и ответил:

— Дел много, руки до всего не доходят, разберутся и с этим.

— Кто?

— В ЦК. Заработанное надо отдавать, а не отбирать, это же ясно.

— А как же продразверстка, продналоги, раскулачивание, реквизиции, конфискации?

— Это нужно было для спасения революции, а в сталинское и хрущевское время сделали много ошибок. Сейчас их исправляют...

Но иногда Палыч оказывался проницательнее и умнее нас всех. Жил он в новостройке на окраине Москвы, откуда автобусы ходили редко. Палыч очень этим возмущался и как-то сказал:

— Ну, вот, дождались!

Оказалось, что пассажиры, прождав морозным утром на ветру автобус полтора часа (это был ранний час, когда торопились на заводы рабочие), там же на остановке сочинили жалобу в ЦК, которую подписала вся очередь — пятьсот человек. Через несколько дней автобусов стало столько, что они ходили пустыми, а все районное начальство: и КГБ, и райисполкома, и райкома партии — полетело с работы.

— Для чего это сделали? — не поняли мы. — Чтобы рабочие поверили в то, что партия о них заботится?

Палыч даже поморщился:

— Причем тут рабочие? Да и не в автобусах дело. Это ЧП, которое разбиралось в ЦК. Пятьсот подписей! Коллективный протест! Понятно или нет? Сегодня из-за автобуса, завтра из-за колбасы, сегодня письмо, завтра демонстрация — ведь уже организовались; а послезавтра...

Что может быть послезавтра, Палыч не пояснил, но добавил: — Вы же ж умные хлопци...

Но еще чаще высказывания Палыча о внутренней и внешней политике, которые он делал ежедневно, поражали заскорузлостью. Расстаться с идеей мировой революции ему было трудно. Как и с некоторыми другими иллюзиями. Одной из них был Центральный комитет партии. Отдельных его работников, в том числе и высокопоставленных, Дитенко оценивал вполне самостоятельно и иногда довольно критически. Но само сочетание этих трех слов вызывало в нем трепет и благоговение. Центральный комитет партии. Ее штаб. Ее коллективный и непогрешимый разум. Как для католиков Папа. Палыч не придавал слишком большого значения личностям в истории, но Центральный комитет партии для него не персонифицировался. Это был Храм. Святая святых. И это сочеталось с тем, что отдельные решения ЦК он считал ошибочными, преждевременными или неполными.

К ним относились решения партии по еврейскому вопросу и об Израиле. Он переживал за то, что советское вооружение ржавеет в арабских арсеналах и что оно используется против маленького, защищающего себя народа. Когда началась Шестидневная война, Дитенко и не подумал скрывать свои симпатии и антипатии. Нас он о них не спрашивал — проявлял такт. Но победе Израиля радовался так, как будто она касается его лично.

Когда после войны палестинские террористы стали подкладывать бомбы на рынках и автобусных станциях, Палыч позвал к себе в комнату трех редакционных евреев и заявил, как продуманное и решенное:

— Голду Меир пора снимать з работы.

— Почему?

— Потому что она нэ обэспэчила разгром террористив.

— А что она должна была сделать?

Палыч выдержал паузу, посмотрел на нас как воспитатель на неразумных детей и объяснил:

— Значит, так. В плэн не брать. Это во-первих. Во-вторых: усих, кто в тюрьмах, расстрелять нэмэдленно, к утру. Собакам собачья смэрть. Так или не так?

Палыч никак не ожидал, что мы не согласимся с его предложением. Он расстроился и сказал:

— Из-за таких слюнтяев, как вы, и погибают люди. Она их расстрелять не может, а они убивать людей могут. Пусть уходит на пэнсию, если не может. Не о чем мне из вами разговариваты...

Когда Палыч сердился, его украинский акцент становился сильнее.

Позже, когда началась эмиграция евреев, да и не только евреев, из СССР, Палыч сказал:

— Ну, что же, принципиальная политика партии и правительства вэрная: желающие могут уезжать. Но проводится она нэвэрно, и это идет во вред нашему государству. Зачем же одной рукой разрешать, а другой чинить препятствия? Если муж хочет уйти к другой, его же ж не удэржишь силой, а если удэржишь, кому от этого польза? Никому. Разве может быть хорошим гражданином СССР человек, который хочет уехать в капиталистическую страну? Пусть едет, и ему, и нам будет лучше. Да и сколько уедет? Ну, сто тысяч...

Заметив, что цифра показалась нам сильно заниженной, Палыч поправился: — Ну, миллион. Ну и что? Людей у нас мало, что ли?..

Палычу мы доверяли, были с ним достаточно откровенны, настолько, что рассказать без него новый антисоветский анекдот, — а их на неделе появлялось два-три, — считалось просто неинтересным.

Как-то Палыч заявил, что все писания Солженицына — это антисоветчина и что правильно сделали, выслав его: у нас ему не нравится, пусть поживет там.

— А вы, кроме «Одного дня Ивана Денисовича», что-нибудь читали?

— Нет, и не буду.

— Как же вы можете судить о его книгах, не прочитав их?..

Палыч пустился в спор, но как-то нехотя, скоро умолк и через несколько дней попросил принести «Архипелаг ГУЛаг».

Прочитав, не сказал ни слова. Мы знали эту его реакцию и ценили ее.

Однажды случилось необыкновенное. Мы не могли этому поверить и еще и еще раз заходили в комнату Палыча, чтобы убедиться в этом. Дитенко пришел на работу... в джинсах. Он оставался в синем пиджаке с орденскими планками, белой нейлоновой рубашке и узком черном галстуке, но надел джинсы. Такие же, какие были на нас. И хотя через два дня их опять сменили старые брюки от синего костюма, мы почувствовали, что тот внутренний процесс, который шел в Палыче все эти годы, нашел свое внешнее выражение.

Ничто не вечно в этом мире. Менялся не только Палыч. Менялась обстановка. Нашему оазису приходил конец. У чиновника из отдела культуры ЦК остался без работы приятель — автор брошюр о пользе физзарядки и, следовательно, писатель. Чиновник усиленно искал ему место, а тут наш шеф подошел к пенсионному возрасту да еще его угораздило на какой-то дискуссии с участием иностранцев высказать о каком-то фильме мнение, противоположное официальному. Сделал он это исключительно из духа противоречия, оказавшегося на сей раз сильнее обычной осторожности, но этого было достаточно.

Чуткие к общественным переменам сотрудники редакции поняли, что пора разбегаться. Кто смог, сделал это сразу. Остальных по одному выперли потом. Палыч воспринял изменение ситуации как направленное против него лично: рушился мир, в котором ему было интересно жить и где он чувствовал свою необходимость для других.

Дитенко понимал, что наша последняя наивная надежда связана с ним, и ему хотелось оправдать ее. Но бороться с лицом, только что назначенным на должность, — все равно, что бороться с самой должностью, и опытный Дитенко знал это. Лично ему не грозило ничего: со своей фамилией, внешностью, биографией и должностью секретаря парторганизации он мог не беспокоиться за свое будущее в редакции.

Но то, что происходило вокруг, он переживал тяжело: один за другим уходили те, с кем он прожил вторую молодость, лучшие годы своей жизни. Он хотел помочь нам и ощущал свое бессилие. И наконец решился на крайнее средство.

Дитенко сказал нам об этом спокойно и почти торжественно:

— Я поеду в ЦК.

Узнав номер телефона, он впервые в жизни позвонил в дом, где помещалось то неосязаемое, что олицетворяло для него ум, честь и совесть нашей эпохи. Прекрасно знающий партийную и советскую иерархию, Палыч решил пренебречь ее ступенями: миновал райком и горком со всеми их секторами и отделами, Госкино и Союз кинематографистов и пошел прямо туда, где решались судьбы не только кино — всей страны, всех двухсот семидесяти миллионов.

Наутро, когда мы молча расселись вокруг Палыча, он сказал только одну фразу: «Мы проиграли». На расспросы отвечать не стал, а когда на него насели, тихо произнес:

— Он на мэне кричав. Вот так.

И все же его следующий шаг был для нас неожиданным. Побродив несколько дней по опустевшей и притихшей редакции, Палыч написал заявление об увольнении. Объяснил это болезнью внука, который нуждается в уходе.

Мы не хотели, чтобы Палыч приносил такую жертву. Кроме всего прочего, мы знали, что его дочь зарабатывает мало, и его зарплата была той добавкой к полковничьей пенсии, которую он тратил на внука. Но Дитенко был непреклонен и ссылками на внука лишал нас всех аргументов. Мы были для него чужими и плохо понятными людьми, постепенно стали коллегами, превратились в товарищей, а затем и единомышленников. По-другому он поступить не мог.

Прошло несколько лет. Я не встречал Палыча и ничего не знал о нем. Перед каждым Новым годом посылал ему поздравительную открытку и не всегда получал ответную. Собравшись переехать в Израиль, сначала хотел сообщить об этом всем, кого хорошо знал, в том числе и Дитенко, а потом решил первым никому не звонить: кто захочет попрощаться, знает мой адрес и телефон. Из тех, кто работал со мной в редакции, одни позвонили тут же, другие ушли в кусты. Звонка Палыча я не ждал: тридцать предыдущих лет из жизни не вычеркнешь. Те, кто позвонили или пришли ко мне, сделали это, как только узнали новость, а разрешения на выезд я ждал несколько месяцев, и потом уже новых звонков не было. Коллеги из Госкино и Союза кинематографистов исчезли почти поголовно: одни и в самом деле считали меня изменником родины; другие так не думали, но опасались обвинений в том, что они поддерживают связь с изменником родины.

И вдруг за два дня до отъезда телефонный звонок, знакомый, давно не слышанный мною голос с украинским акцентом:

— Здравствуй. Значит, так. Говорит Иван Павлович. Хочу сказать следующее. Почему ты мне нэ звонив (он сделал ударение на «ты»), я знаю — боявся, шо не стану с тобой разговаривать. А почему я тебе не звонив, ты нэ знаешь. Я хотел выяснить, не подвел ли ты партийную организацию, товарищей, коллектив. Сегодня мне сказали, что перед подачей документов ты с работы уволился. Верно? Так это было? Ну, вот. Кто теперь придерется? Уезжает просто гражданин по своему личному желанию, к коллективу и парторганизации никакого отношения не имеет. Так или не так? Я же лично твой поступок не осуждаю и не поддерживаю — дело это твое. Рыба ищет, где глубже, а чоловик, сам знаешь, где лучше. Так или не так? Ну, будь здоров и успехов тебе. Вот так...

И Палыч повесил трубку.

1984, № 41

«ДЫША ОСТРОЖНЫМИ НОЧАМИ...»

Бестолковый приемник короткими плещет волнами.
Ничего не слыхать — приговор, а на сколько? кому?

Это строчки из стихов Ирины Ратушинской. Прильнувшие на родине к приемникам сквозь остервенелый визг заглушки расслышали нынче приговор:

— на сколько? — СЕМЬ и ПЯТЬ, семь лет лагеря строгого режима и пять лет ссылки, максимальная кара по ст. 70 ч. I;

— кому? — молодой киевской поэтессе Ирине Ратушинской.

СЕМЬ ЛЕТ ЛАГЕРЯ ЖЕНЩИНЕ — этого не было давно, с мрачной памяти украинских процессов 1972-1974 гг. Но, хоть и теперь дело шло в Киеве, похоже, что жестокость приговора — уже не «местная специфика» украинского КГБ, а часть планомерного ужесточения репрессивной политики, рассчитанной на окончательное удушение всякого не запланированного свыше движения души, на окончательную изоляцию или застращивание всех, о ком писала Ирина Ратушинская: «...не по здешним порядкам не знающий плача и страха»... ха»...

Ирина не сомневалась в своем будущем: «через год, дыша острожными ночами...» — для суда такое, вне сомнения, дает в переводе на их суконный язык: «...сознавала преступность своих действий». Переводить поэзию на прозу (да еще такую!) уже преступно, но когда это переводится еще раз, в цифры — повторим: СЕМЬ и ПЯТЬ, — мы знаем, **кто** преступник.

А «преступление» Ирины — несколько публикаций стихов и очерков, буквально несколько, не наберешь и полдюжины на ту дюжину лет, на которые молодая женщина, как в своих стихах, «переменит на пайку паек — да тряпье на отрепье».

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ тюрьмы, лагеря и ссылки — за свободный полет пера, за свободный порыв души. Да не оставят они ее **и в мрачных пропастях земли.**

«КОНТИНЕНТ»

ИРИНА РАТУШИНСКАЯ

В двух неделях от «навсегда»

* * *

Нет, мне не страшно: через год,
Дыша острожными ночами,
Я доживу до той печали,
Назвать которую — исход.

Петух проплачет мне свободу,
А здесь — коленями в грязи —
Мои сады роняют воду
И воздух севера сквозит.

И как нести чужой планете
Едва не слезы — как домой...
Неправда, страшно, милый мой!
Но сделай вид, что не заметил.

* * *

Почему
Половина побегов — во сне?
(О, не бойся — не настигают!)
Темнота пересохла. Дожить бы!
Но в завтрашнем дне —
Половина другая.

От живых, что холодными пальцами правят судьбой,
Из ловушки зеркал,
Что, как устрицы, жадные створки
Приоткрыли — беги!
Не печалься, что там — за тобой.
За тобой ничего.
Вот они уже рвутся на сворке!

По пустыне асфальта,
По тверди —
Нестынущий след
Оставляя,
Сбиваясь,
Защиты просить не умея, —
Мы уходим, бежим, задыхаемся...
Нет
Впереди Моисея.

* * *

Ах, какая была весна!
Весь апрель — под знаком вокзала.
Как преступно она дрожала —
Вкось заброшенная блесна!

Деревянную крестовину
Вышибала настежь — луной,
Шла бессонными мостовыми —
Тень раздваивала за мной.

Как в объятьях душила, бестия,
Как лечила — не умирай!
Ни России — ни вьюг — ни Пестеля —
Вот он, твой завещанный край!

Узнаёшь ли — листок с оскоминой,
Старой музыки бледный круг,
Смех соленый да свет соломенный —
Не разнять окаянных рук!

Как вступала свирель приливами,
Как отлив горчил — не беда —
До чего мы были счастливыми
В двух неделях от «навсегда»!

Как отважно читали повесть
С эпилогом про сладкий дым...
Он ушел, тот весенний поезд.
Слава Богу, ушел живым.

* * *

Не исполнены наши сроки,
Не доказаны наши души,
А когда улетают птицы,
Нам не стыдно за наши песни.
Мы бредем сквозь безумный город
В некрасивых одеждах века,
И ломают сухие лапки
Наши маленькие печали.
Безопасные очевидцы —
Мы не стоим выстрела в спину.
Мы беззвучно уходим сами,
Погасив за собою свечи.

Как мы любим гадать, что будет
После наших немых уходов!

Может, будут иные ночи —
И никто не заметит ветра?
Может, будет холодным лето —
И поэтов наших забудут?
И не сбудутся наши слезы,
И развеются наши лица,
И не вспомнятся наши губы,
Не умевшие поцелуя!

Неудачные дети века,
Мы уходим — с одним желаньем —
Чтобы кто-нибудь наши письма
Сжег из жалости, не читая.

Как мы бережно гасим свечи —
Чтоб не капнуть воском на скатерть!

* * *

Кому дано понять прощанье —
Развод вокзальных берегов?
Кто может знать, зачем ночами
Лежит отчаянье молчанья
На белой гвардии снегов?
Зачем название — любовь?
А лучше б не было названья.

* * *

Бестолковый приёмник короткими плещет волнами.
Ничего не слыхать —
Приговор, а на сколько? кому?
Лишь стеклянного столика хрупкая твердь между нами —
Да растрепанный ангел грустит в сигаретном дыму.

И кого он сумеет сберечь —
Несмышленая птаха —
Неумело пернат,
Темноглаз не по здешним краям,
Не по здешним порядкам не знающий плача и страха —
Неуказанно чей беспризорник
И чей савояр!

И кому он слетит на плечо —
Между дверью и цепью?
С кем поделит удушье
И в свой молчаливый черед
Переменит на пайку паек —
Да тряпье на отрепье —
Да ажурную штопку оград на простой переплет?

И зачем он ввязался в кошмар,
Где снега без ответа,
Где с рожденья до казни одно выбирают из двух?
Он не знает, он спит —
Заслоняясь ладошкой от света...
Он привык под помехи.
Не нужно прикручивать звук.

1983, № 35

ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ

«Леди Макбет Мценского уезда»

Однажды летом 1965 года Дмитрий Дмитриевич мне сказал, что на киностудии Ленфильм планируют снимать фильм-оперу «Катерина Измайлова» и что он будет счастлив, если я соглашусь сниматься в главной роли. Моему ликованию не было границ: я столько лет мечтала создать образ Катерины, что это стало смыслом, целью моей жизни. И если бы в то время мне сказали, что она будет моей последней партией и после нее я перестану петь, я бы на это пошла.

Я взяла в Большом театре отпуск на весь сезон и жадно кинулась работать над долгожданной ролью.

Прежде чем дать мне клавир оперы, Дмитрий Дмитриевич своей рукой вписал в мою партию верхнюю строчку над уже напечатанной строкой во многих местах оперы. Мне же не сказал ни слова, не просил петь именно этот вариант. Я, конечно, выучила то, что он написал, даже не зная, что это — из его первой редакции оперы. Для меня всегда авторитет Шостаковича был настолько безоговорочным, что, если бы после моего концерта или спектакля он сказал мне о черном, что это белое, я бы, не рассуждая, ответила: «Да, Дмитрий Дмитриевич, это так», — потому что знала, что он видит лучше меня, что есть главное в моем искусстве. Я всегда брала ноты, которые он мне давал, и беспрекословно выполняла все в них написанное.

Шостакович не любил говорить о своих сочинениях и никогда не объяснял исполнителям значение, смысл тех или иных музыкальных фраз, будто боялся слов, боялся, что слова могут разрушить его внутреннее музыкальное видение. Он всегда предоставлял право артистам интерпретировать его сочинения, но тем бóльшая ответственность ложилась на их плечи. [...]

Я с волнением ждала первой встречи с оперной героиней. Но что это? Открыв клавир, я буквально с первых минут почувствовала, как волна жалости и сострадания заполнила всю мою душу и нет в ней места осуждению. Я почувствовала, что задыхаюсь, изнемогаю от лавины всепожирающей страсти, любовного восторга и девической нежности, переполняющих музыкальный язык героини-убийцы. Господи, да что же это такое? Откуда, из чего родился этот музыкальный образ? Шостакович, которому глубоко от-

вратительно всякое насилие, не то что убийство, не только не осуждает эту женщину, но со всей страстью своего огромного темперамента сочувствует ей, сострадает, отдает ей всю красоту чувств, на какие только способен, и заражает нас любовью к ней. И вдруг на первой странице клавира — надпись, которая вначале прошла мимо сознания: «*Посвящается Нине Васильевне Шостакович*». Так вот оно что! Ведь в то время Нина была его невестой! Дмитрию Шостаковичу было только 24 года, когда он начал сочинять «Леди Макбет», и он был безумно влюблен в свою будущую жену, о чем невольно и рассказал в своей опере!

Если бы не встреча с Ниной, я уверена, образ Катерины был бы написан иначе. Но Шостакович был творцом, который писал всегда о том, что перечувствовал и пережил сам, а так как налетела, захлестнула первая настоящая любовь, то он и наградил героиню оперы всеми чертами, которые хотел видеть в любимой женщине. Он хотел, чтобы так же, без оглядки, его любила Нина, чтобы была готова на все ради него. Он оправдывает все преступления Катерины. Все сметай со своего пути!.. Ради любви можно все... потому что это любовь к нему. Он хочет вырвать свою героиню из вязкой трясины купеческого быта, дать ей крылья, чтобы улетела... опять же с ним. И за безрассудность страсти, стихийность чувств, мы, не рассуждая, идем за этой могучей молодой женщиной и забываем все ее злодеяния, когда она в любовном экстазе, разливаясь голосом, как река, поет: «Поцелуй меня так, чтобы кровь к голове прилила, чтоб иконы с киота посыпались!.. Ах, Сережа!..»

И как Шостакович ненавидит, презирает ее любовника Сергея! Этот махровый, галантерейный ухажер с «чувствительной» душой с самого начала мешает ему, — он, как мальчишка, к нему ревнует. С первого же появления его Шостакович внушает своей любимой Кате, что перед ней — ничтожество. А каким слизняком, подонком композитор представляет его на каторге!

До «Леди Макбет» в творчестве Шостаковича не было женщины, и, конечно, Катерина — это самобытная русская баба, не героиня лесковской повести, это Нина. Я всем нутром чувствую его неистовую страсть к ней. Была она, видно, натурой незаурядной и очень сильной, коль вызвала в нем такой взрыв страстей. А он, обладающий темпераментом сокрушающей силы и обостренным нервным восприятием, искал именно такой страсти. Мы всё это слышим во всех любовных сценах оперы.

«Леди Макбет Мценского уезда» представляется мне самым достоверным и ярким автопортретом композитора, написанным им в самую счастливую пору его жизни. Здесь он такой, каким сотворил его Бог: молодой гений, удивительно сочетающий в себе могучий интеллект, утонченный талант и хлещущий через край темперамент, пишет без оглядки, как хочет, как чувствует. Все в опере открыто — и огромный масштаб страстей, и блестящий юмор, который потом стал злым. Нет еще над ним дубины, от которой ему придется увертываться всю жизнь.

Я часто говорила Дмитрию Дмитриевичу, что он должен, обязан написать еще хотя бы одну оперу. На что он всегда отвечал, что, пока «Леди Макбет» не пойдет в России, никакой другой оперы писать не будет. Было впечатление, что он дал себе зарок и что если он напишет новую оперу, то «Леди Макбет» никогда уже при его жизни не пойдет на сцене.

После разгрома оперы в 1936 году ощущение униженного в нем художника не оставляло Шостаковича до конца жизни. Мы и представить себе не можем, во что бы еще мог вылиться его гений, если бы невежественные, но облеченные большой властью люди не исковеркали его души.

Работая над новым произведением, Дмитрий Дмитриевич никогда не показывал набросков. Никто не знал, что и как он пишет, пока сочинение не было окончено, и никогда ничего не переделывал. Единственный раз он изменил своему правилу, сделав вторую редакцию «Леди Макбет». В отделе агитации и пропаганды ЦК партии (там решаются все вопросы, связанные с искусством в СССР, — не правда ли, интересное название отдела?) ему сказали, что если он согласится на переделку оперы и перемену названия, то ее разрешат к постановке в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, а если нет, то... Ведь властям для того важно было получить другую редакцию, чтобы не пришлось признаваться в бандитизме 1936 года и чтобы показать всем, что «критика» была справедливой, раз композитор ее принял.

Эта опера была болью Дмитрия Дмитриевича всю жизнь. С нею связана самая большая его любовь и самое большое унижение его таланта. Ему страстно хотелось, ему необходимо было увидеть ее на сцене! И он пошел на компромисс — сделал вторую редакцию, опера получила другое название: «Катерина Измайлова», — и 8 января 1963 года в Москве, в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, состоялась ее премьера.

Во второй редакции подверглась упрощению оркестровка, исчезло оркестровое вступление ко второму акту, а также оркестровый эпизод в любовной сцене второго акта; упрощены вокальные партии и многое другое. Почти половина текста оперы переделана, что придало некоторым сценам другой смысл в сравнении с первоначальным замыслом. Таких переделок в опере много. Что и говорить — Федот, да не тот! К сожалению, фильм-опера был снят по этому исправленному тексту. [...]

В музыке Шостаковича настолько ярко и зримо вырисовываются все персонажи, что, сидя за роялем и разучивая партию, я уже видела все мизансцены моей будущей роли. Правда, когда я впервые увидела в клавире вписанные Дмитрием Дмитриевичем высоченные фразы в предельно драматически напряженной сцене порки Сергея, а потом, в сцене отравления старика, — в темпе, на «форте» по нескольку раз повторяющиеся си-бемоли второй октавы, — признаюсь, у меня закружилась голова и заныло

под ложечкой: я испугалась. Но тут же сказала себе: стоп! Не паникуй и проанализируй, почему это так написано. Писал-то не кто-нибудь, а Шостакович.

Почему на такой высокой тесситуре построены фразы: «Ах, Борис Тимофеевич, зачем ты от нас ушел!.. На кого ты нас с Зиновием Борисовичем покинул? Что мы с Зиновием Борисовичем делать без тебя теперь будем...» Да потому что она не поет, а голосит — как голосят по покойнику деревенские бабы. Это обычай и порядок такой. Она еще и отравила, убила старика, так тем истовее должна «убиваться» — люди смотрят, и тем выше забирать голосом. Ведь это же гениальная находка композитора в партии Катерины! И сразу я ухватила вокальный прием, нужную — белую — окраску звука, и то, что казалось невыполнимым, стало простым и ясным.

И таких мест в опере немало. Например, в первой арии первого акта — два раза ход с си-бемоля первой октавы сразу на си-бемоль второй октавы, не меняя темпа и на «пиано»: «Только я одна тоскую, только мне одной свет не мил...» Здесь нужно вокально мыслить большими фразами, а не отдельными нотами — ведь в этих фразах такая безысходность, что впору удавиться. Конечно, если это петь как вокализы, то ничего не получится. Нужна психологическая подкладка, второй план роли, неважно, о чем поет героиня, а важно, о чем она в это время думает. Тогда придет и краска, и нужный вокальный прием. Конечно, для такой роли артистка должна иметь безотказную сценическую и вокальную технику, распоряжаться своим голосом, как инструменталист — инструментом. Иначе за это дело не берись — сорвешь голос. Ну, да ведь такие роли — для снайперов.

Опера Шостаковича — реалистична и очень национальна: она именно русская. И ее вокальный язык удивительно логичен и естественен. Я не знаю другой оперы с такой эмоциональной открытостью; а сложностью, жизненностью характеров, всем огромным масштабом страстей ее можно сравнить только с операми Мусоргского. В ней такое стремительное развитие действия, что публика в театре порою задыхается, не успевает пережить одно событие, как уже наваливаются другие; музыкальные антракты красноречивее всяких слов. Вероятно, именно поэтому в фильме-опере не чувствуется длиннот, какие есть во всех классических операх, снятых на пленку. Создается впечатление, что опера написана специально для кино.

Так же, как у Мусоргского, не только главные персонажи, но и эпизодические роли выписаны невероятно ярко и выпукло. Чего стоит одна феерическая сцена «задрипанного мужичка», длящаяся всего лишь около двух-трех минут! Вся в едином летящем, захлебывающемся темпе — от жалоб на свою несчастную планиду и страстного желания вдрызг напиться до случайного раскрытия, им же, страшного преступления — убийства — и стремительного бега в полицию, выливающаяся в музыкальный антракт.

Дмитрий Дмитриевич говорил:

— В полицию, подлец, побежал, — радуется, что с доносом бежит... гимн доносчикам... Это гимн всем доносчикам!..

Я часто пела арии из оперы в своих концертах — и с фортепьяно, и с оркестром. Какие в них богатейшие залежи мелодий и какие благодарные задачи перед певицей! Широкая кантилена, с любовной истомой, жажда нехитрого бабьего счастья в арии второго акта «Жеребенок к кобылке торопится, котик просится к кошечке...» А в любовных сценах с Сергеем, как река, прорвав плотину, вырвалась запертая за семью замками любовь и понесла героиню, сметая все на своем пути. Убийство свекра, мужа проходит мимо нее, не задевая души, ибо, ослепленная страстью, не ведает она, что творит. Сколько нежности, девической трепетности в музыкальных фразах этой убийцы, обращенных к Сергею на каторге: «Сережа, хороший мой... Наконец-то...»

Совершенно другая окраска голоса — мертвая, без вибрации — нужна в арии на каторге. Оскорбленная Сергеем, Катерина замерла, застыла в отчаянье, в предчувствии его измены. В этой гнетущей тишине, когда время, кажется, остановилось, вдруг тоскливо звучит английский рожок и голос одинокой, несчастной женщины, машинально произносящей какие-то слова: «...Не легко после почета да поклонов перед судом стоять...»

А когда приходит прозрение и она понимает, что она сделала, лавина оркестрового вступления к ее последнему монологу обрушивает на нее небо. Здесь — разрешение всего образа Катерины. Это ее публичное одиночество и дорога в ад. Она идет, и стонет, и воет... И кричит она не людям, а всему пространству. Здесь впервые — и ужас перед содеянным, и проклятие себе, и, как единственный выход, — смерть. Но нет в ее душе раскаяния, и до конца она остается сама собой, — кончая жизнь самоубийством, увлекает с собой и свою соперницу.

Это лето я, Слава, Б. Бриттен и П. Пирс отдыхали в Армении, в Дилижане. С нами была пианистка Аза Амитаева, концертмейстер в консерваторском классе Славы, наш близкий друг. И я по несколько часов каждый день в течение целого месяца работала с нею над оперой Шостаковича. Десятки раз пропевала ее полным голосом от начала и до конца и хорошо ее впела. Я знала, что пережил с нею в свое время Дмитрий Дмитриевич, и мне хотелось показаться ему в моей партии во всем блеске, на какой я только была способна. Аза, прекрасная пианистка, была буквально влюблена в эту оперу.

Слава звал Азу Осей. Она — дагестанка, жгучая брюнетка с усиками над верхней губой. В Дилижане она жила в одном доме с нами. Однажды Слава заглянул в ее комнату, увидел ее спящей да как закричит: «Иосиф Виссарионович!» Она взлетела на кровати, ничего со сна не соображая, а он хохочет: «Йоська!.. Ося!.. Ты же на Сталина жутко похожа!..» Так с тех пор все и стали звать ее Осей.

И вот Ося и я идем от нашей дачи в Жуковке на дачу Дмитрия Дмитриевича. Я волнуюсь страшно и потому молчу. А Оська рядом причитает:

— Ой, Галя, я боюсь. У меня от страха живот болит...

— Ну и молчи! У меня не только живот болит, у меня все внутри трепыхается...

Да и в самом деле — такую оперу мне петь, а ей играть — самому Шостаковичу! Мы хоть и друзья с Дмитрием Дмитриевичем, но, как говорится, дружба дружбой, а служба службой. Все волновались перед Шостаковичем. И Слава волновался, как никогда и ни перед кем.

Я начала петь. Дмитрий Дмитриевич не останавливал, не делал никаких замечаний. Но вижу, что, как только я подхожу к трудным местам, он вдруг то пальцы начнет кусать, то встает, нервно ходит по комнате, берет папиросы, потом спохватывается, что нельзя закурить, садится снова... Его нервозность передается мне... Хорошо, что в таких случаях я всегда внутренне собираюсь, как перед затяжным прыжком, и пою даже лучше, чем в спокойном состоянии. Но вот он сел, опустил голову и, закрыв лицо рукою, стал просто слушать... Сцена порки Сергея с высоченной для певицы тесситурой... Причитания Катерины над покойником-стариком... Когда я в полную силу заголосила, Дмитрий Дмитриевич резко выпрямился в кресле, широко раскрыл глаза...

Появление призрака... Наконец, сцена ареста Катерины с высоким финальным до-диез: «Ах, Сергей, прости меня!..» И — тишина. Пауза кажется мне невыносимой. Сердце бешено колотится в груди. Нервное лицо Дмитрия Дмитриевича подергивается, и я боюсь смотреть на него. Почему он молчит?.. Может, что-то не так?.. И вдруг слышу:

— Знаете, Галя, многое из того, что вы сейчас спели, я никогда не слышал.

— Как так, Дмитрий Дмитриевич? Я не понимаю...

— Многие фразы моей оперы я слышу в голосе сегодня впервые, и потому, вы меня извините, я очень волнуюсь...

— Но это невозможно, Дмитрий Дмитриевич...

— Когда я это написал, то все певицы отказались петь, — говорили, что боятся сорвать голос, и мне пришлось переделать вокальную партию. А в ваш клавир я вписал ее в ее первоначальном виде. Я не надеялся, что вы споете, но я знал, что вы обязательно попробуете. Вот ведь, оказывается, можно спеть... Можно спеть... Значит, вот как это звучит... Ах ты, Боже мой, Боже мой! Я так и представлял... Спасибо вам, Галя, спасибо...

Листает партитуру, и руки у него трясутся... Попросил еще раз спеть сцену порки Сергея и поголосить. Я повторила, и он все улыбался своей удивительно светлой, детской улыбкой.

Так вот оно что! Через тридцать лет он сейчас впервые слышит в женском голосе тот эмоциональный накал, что переполнял его душу, когда, будучи почти юношей, разрываемый страстями, он писал эту сильнейшую в опере сцену. Я не смела смотреть на него, боялась спугнуть, смутить его своим присутствием. А он был весь во власти воспоминаний — казалось, будто вся жизнь его в эти минуты проходит перед его внутренним взором.

Мы с Осей молчим, смотрим в разные стороны, стараясь скрыть друг от друга волнение. У меня сжалось горло от слез. И, боясь показать ему, что плачу, стала кашлять, делая вид, что чем-то поперхнулась и оттого — слезы... Мне мучительно хотелось кинуться к нему, утешить, сказать все слова, что так и рвались из моего сердца. Но это был великий Шостакович! — я не посмела. Я могла только молча, беззаветно любить его, поклоняться ему. А как нужны ему были порой простые слова!

Я приехала со Славой в Ленинград накануне начала съемок и только теперь увидела артиста, играющего роль моего любовника Сергея, — Артема Иноземцева: в фильме, кроме меня, все роли играют драматические актеры. Режиссер фильма Михаил Шапиро решил снимать фильм с середины, со сцены в постели, — видно, для скорейшего знакомства партнеров, так сказать, для преодоления психологического барьера. Придя утром в павильон, я оказалась перед огромной двуспальной кроватью и под обстрелом любопытных глаз. Я же «для первого знакомства» вооружилась до зубов: надела на себя длинную юбку, две пары толстых штанов, шерстяные чулки и, к изумлению юнцов, окруживших постель, не отстав от века, храбро полезла под одеяло на жаркую пуховую перину. Туда же вслед за мною в полном обмундировании, т. е. в брюках, правда, без сапог, нырнул и мой любовник Сергей. Для пущей безопасности я проложила между нами еще барьер из толстого ватного одеяла, после чего объявила, что для съемки любовной сцены мы готовы. Включили юпитеры.

Съемку начинали с крупных планов, и со всех сторон кровати толпились режиссер, ассистенты, представители дирекции студии «Ленфильм»... все с серьезными озабоченными лицами, четко понимая основную задачу: меньше секса, меньше голого тела в опере, где столько сцен происходит в постели, — у всех перед глазами маячила статья «Правды» тридцатилетней давности. Теперь же, когда опера идет в народные целомудренные массы, не просыхающие от пьянства, нужно держать ухо востро. В стране, как говорит статистика, полностью ликвидирована неграмотность и писать умеют все, а самое главное — знают, куда... На мне была ночная кофта, открывающая руки выше локтя, а на нем — рубаха с длинными рукавами, и мы лежали укрытые ватным одеялом, выпростав наружу руки, чтобы будущие зрители не подумали, что мы — не приведи Господь! — под одеялом обнимаемся...

— Приготовиться!.. Галина Павловна, у вас оголилось плечо, прикройте его рубашкой... подтяните одеяло на грудь... Так, теперь хорошо. Артем, не прикасайтесь к ней... Эт-т-о что такое?! Что за рубаха на нем? В этой грубой дерюге он выглядит самцом! Мы не должны оскорблять эстетические чувства народа! Поменять на другую... Так, теперь в порядке... Приготовиться! Артем, отодвиньтесь в сторону... Галина Павловна, у вас опять оголилось плечо, прикройтесь!.. Начали! Фонограмма! Съемка!.. Стоп! Сто-о-оп!! Где помреж? Куда вы смотрели? У него расстегнулась рубашка... Запороли те-

перь пленку... Почему?.. У него же грудь во-ло-са-та-я!!! Какой ужас! Обрить немедленно, мы делаем фильм не для сексуальных маньяков, а для трудящихся масс!...

Тут же вытянули из-под одеяла пригревшегося было Иноземцева, и с тех пор раз в неделю, точно с поросенка, сбривали щетину с его груди, а потом и со спины, когда пришло время съемок сцены порки. Когда он заново весь прорастал, то кололся из-под рубашки как еж. Чтобы не совращать строителей коммунизма, не искушать их взоры, устремленные в светлое будущее, картинами земной плотской страсти, для самой длинной сцены «про любовь» перенесли Катерину и Сергея из разогретой постели под цветущие яблони в саду, для «теплой, дружеской беседы» лунной ночью, где нас тогда не то что искусали, а просто изгрызли огромные рыжие комары.

Тогда же на «Мосфильме» снимали «Анну Каренину», и мне наши постановщики рассказали почти трагический случай. Делали пробные съемки, и режиссер решил снять Анну обнаженной — только со спины! — в ее грехопадении, в сцене с Вронским. Артистка согласилась обнажиться. Все совершалось в глубочайшей тайне, поздно вечером, когда студия «Мосфильма» почти опустела, присутствовали только режиссер, оператор и двое актеров. Декорации в павильоне были поставлены заранее, свет установлен, осталось только включить рубильник. В тишине все заняли свои места. Дали полный свет, актриса сбросила с себя пеньюар... Вронский заключил ее в объятия, и вдруг... раздался страшный грохот, крик и откуда-то сверху свалилась вниз советская гражданка средних лет! Оказывается, стоя на высокой лестнице, она протирала прожектора и не слышала, как вошли четыре заговорщика в полутемный павильон. Когда же в тишине неожиданно включился яркий свет, осветивший голую женщину в объятиях мужчины, она, не поверив в возможность такого непотребства на «Мосфильме», решила, что началось светопреставление и, закричав истошным голосом: «Господи помилуй!» — повалилась вниз вместе с лестницей, чудом не свернув себе шеи.

К сожалению, постановщикам «Катерины Измайловой» при создании фильма пришлось не раз задуматься о таких советских гражданах и гражданках, падающих с потолка, — и не только в вопросах, на сколько сантиметров можно оголить шею артистке, но, что самое губительное, и при озвучивании фильма. Главный герой оперы — оркестр — плохо слышен, и его приглушили сознательно, чтобы не раздражать зрителей, как мне объяснил звукооператор, чтобы музыка не мешала (!) им слушать текст оперы. У постановщиков главной заботой было не раздразнить аппетит вроде бы уже сытого, дремлющего чудовища, не всколыхнуть застывшее болото и не дать «разгневанным народным массам» поднять вокруг оперы новую кампанию травли: «Чей хлеб едите, товарищ композитор и прочие товарищи, деятели советской культуры?..»

Когда фильм вышел на экран, я стала получать массу писем, и среди них много с возмущением, что в Советском Союзе показывают народу оперу, где

женщина спит в постели с мужчиной. Однажды, надеясь посмешить Дмитрия Дмитриевича, я рассказала ему, что какой-то инженер написал мне: «Как же вы, такая знаменитая артистка, мать семейства, могли позволить себе подобное бесстыдство!» Каково же было мое удивление, когда я увидела его реакцию: у него болезненно передернулось и покраснело лицо. Казалось, что́ могут значить для великого Шостаковича чьи-то дурацкие разглагольствования?..

Я пожалела, что сказала ему.

Снимали мы фильм около восьми месяцев. Я снова подолгу жила в моем любимом Ленинграде, создавала долгожданную роль, работала с милыми, приятными людьми. В первых числах сентября съемки были закончены, и вдруг хватились, что не снят крупный — финальный! — план: тонущих Катерины и ее соперницы Сонетки. Всю сцену мы сняли в городе Николаеве под Одессой, на широкой реке, где я уже «утопилась». Теперь же нужно было лезть в воду Финского залива под Ленинградом, когда температура воды 8° по Цельсию. На крупный план дублершу не поставишь, но не лишать же фильм сильнейшего эпизода!.. Кстати, его, такого яркого в повести Лескова, в сценарии фильма не было, чтобы еще раз не подчеркивать жестокость характера героини, но я настояла, чтобы его включили, и вот теперь нужно было рискнуть принять ледяную ванну.

Начинался кадр с гладкой поверхности воды, из которой вдруг появляются, казалось бы, уже утонувшие Сонетка и Катерина. Увидев уплывающую соперницу, она догоняет ее, наваливается на нее всем телом и снова увлекает с собою под воду... Снимали на большой глубине, и на специальном плоту рядом с киноаппаратурой стояли в полной готовности четверо профессиональных спортсменов-пловцов, чтобы кинуться нам на помощь, спасать, если что-то случится. Намазали нам тело жиром, надели толстое шерстяное белье. Когда мы обе, в тяжелой арестантской одежде, в платках, плюхнулись в ледяную воду, ощущение было жуткое... Холод продирал до костей, намокшая толстая шинель, как камень, тянула ко дну... Пришлось несколько раз репетировать: нужно было уйти под воду и сосчитать про себя — ей до пяти и вынырнуть на поверхность, мне же до десяти и тоже вынырнуть, затем догнать ее, и снова с нею уйти под воду, и снова считать до десяти... Для оперной певицы эпизод не такой уж простой. Наконец, сняли первый дубль

— Вылезайте скорее, нужно камеру перезаряжать!

— Если вылезу, то никакие силы обратно меня в воду не загонят, — будем в воде ждать!.. Скорее!

Уцепившись руками за плот, мы старались не шевелиться, чтобы под одеждой не менялась вода. Наконец, сняли второй дубль. Мы пробыли в воде 40 минут, и съемки «Катерины Измайловой» закончились.

Тут же в автобусе, раздев догола, нас растерли спиртом. Для верности я выпила залпом полбутылки водки, и меня отвезли домой. Я проспала целые сутки и не то что не простудилась после ледяной ванны, но даже и не чихнула!

Если сделать скидку на плохое озвучивание, то фильм в результате получился прекрасный... Герберт фон Караян, посмотрев его, сказал в то время, что считает его лучшей из всех экранизаций опер. К сожалению, в России он теперь не выходит на экраны — из-за меня. Но за границей советский «Экспортфильм» им торгует... Слава купил его мне. В начале фильма, как всегда, перечисление действующих лиц и их исполнителей. Против имени героини, Катерины Измайловой, — пусто, н-и-ч-е-г-о... Артистки не было, нет и не будет. Но, позвольте, а трудящиеся народные массы?.. А где же..? А..?

Оруэлловский «Скотский хутор» не фантазия, он есть, и над ним ярко сияют кремлевские звезды. И я жила там... я выжила... я оттуда...

1985, № 43

ЕВГЕНИЙ НАКЛЕУШЕВ

Снова восемнадцатый век![1]

[...] Около 1820 года, когда Онегин уселся за книги, русские едва начинали пробовать собственный голос в литературе, продолжая, в основном, подражать и учиться у Запада. Значит, *чужой ум*, который без толку пытался присвоить себе Евгений, принадлежал Западу, и к западной литературе относится уничтожающая характеристика Пушкина:

Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна...

Опрометчиво было бы приписывать Пушкину то, что лишь столетие спустя выразил Освальд Шпенглер: осознание глубинной исчерпанности творческой энергии западной культуры уже ко времени наполеоновских войн.

Разумеется, далеко не все и в наше время согласны с тем, что думал Шпенглер и о чем догадывался Пушкин. Многие далеко еще не утратили энтузиазма по поводу комплекса социально-политических идей, окончательно сложившихся на Западе не позднее XVIII века и устаревшего уже для Пушкина. Им представляется даже, что комплекс этот продолжает претерпевать бурное развитие и, во всяком случае, имеет неограниченные перспективы претворения в социальную жизнь — вне зависимости от условий пространства, времени и национальной индивидуальности.

Указанный оптимизм питаем отнюдь не фактами. Последствия применения западных социально-политических идей в огромном мире за пределами Запада были, как правило, катастрофичны. Можно показать, привлекая представления общей теории систем, что эти катастрофы были закономерны.

Системники делят системы на «жесткие» и «дискретные» (я предпочитаю говорить о системах «интегрированных» и «дифференцированных»).

---

[1] Эта статья – ответ на не названное выступление в эмигрантской печати Валерия Чалидзе. В настоящем издании все конкретные элементы этой полемики мы опускаем. — *Прим. ред. — 2012.*

В первых изменение одного элемента влечет за собой изменение в остальных частях системы. В системах второго типа, напротив, отдельные элементы связаны между собой не прямо, а через посредство их отношений к среде. Иными словами, они являются независимыми единицами, образующими систему благодаря тому, что обладают рядом общих черт. Нетрудно догадаться, что наиболее «дискретными» (или дифференцированными) социально-политическими системами являются социумы западного типа. В XVII – XVIII веках на Западе была разработана программа радикальной «рационализации» местных социумов, т. е. их конструктивного *упрощения*, отталкивавшегося от идеи «равенства» людей друг другу. Так вот, предложенная Западом программа социально-политической рационализации была обречена на провал на подавляющей части земного шара, поскольку степень дифференцированности западных социумов уникальна. В интегрированных системах упрощение не способно быть конструктивным, так как только дифференцированные системы позволяют осуществлять комбинаторику и отбор собственных элементов, тогда как системы интегрированные легко дезорганизуются при выпадении даже одного звена. Когда, тем не менее, идея «социального равенства» была принята под давлением авторитета Запада в огромном большинстве стран современного мира, это привело местные социумы к деструктивному *переупрощению* («*деградации*», или «*примитивизации*»), предельным выражением которого стали тоталитарные режимы.

Что же питает неукротимый оптимизм либералов-западников?

Во-первых, конечно, успех Запада — на собственной его территории. Экономический, научный, социальный и пр. подъем Запада последних столетий настолько впечатляющ, что понятия «культура» и «западная культура» стали почти синонимами. Правда, и тут имеются определенные «но». Шпенглер полагает даже, что всё целое западной культуры приходит с началом XIX столетия к истощению своих жизненных потенций и уступает место *цивилизации*, т. е. мертвой, бездушной сумме механически усвояемых знаний, навыков и умений, которой в принципе можно обучить и робота, и обезьяну.

Во-вторых, неотразимое обаяние для великого множества умов обнаруживает западный «рационализм». Последний есть не просто вера во всемогущество человеческого разума. «Разум», как понимает его рационализм, целиком тождествен своей формально-логической способности. Рационализм, таким образом, убежден в том, что реальность организована чисто структурно и со смыслами можно играть, как с кубиками. Рационализм не желает серьезно принимать во внимание то, что в мире, наряду с конечной членимостью, существует и континуальный (непрерывный, или *бесконечно* членимый) аспект. Между тем, от Зенона Элейского (с его парадоксами о «невозможности» — с точки зрения формально-аналитического рассмотрения — движения в непрерывном пространстве) и до современной теории множеств раз за разом демонстрировалось, что формальная логика, мягко говоря, не вполне компетентна при вступлении в область бесконечного. Более того, в мире существует еще и момент целостности (нечленимости, своего рода «точечности» объек-

тов, с точки зрения структурной безусловно протяженных!), только недавно принятый во внимание общей теорией систем и чреватый собственными неисчерпаемыми парадоксами. И, того более, сами излюбленные рационализмом структуры обнаруживают, наряду с надежной пространственной статичностью, момент временной текучести, достигающей взаимного превращения противоположностей (точнее, противонаправленностей). Всё наиболее глубокое в греческой философии — и вся специфика индийской и китайской мысли, как и новой «неклассической» науки — протекает у «рационалиста» меж пальцев. Остающееся до того узко, шизоидно-формально и оторвано от тропического изобилия реальности, что становится оскорбительно карикатурным в своей претензии на «разумность»!

Но это-то и привлекает к западному «рационализму» вечных юнцов, не способных ориентироваться в неистощимой парадоксами жизни, «нескладных умников», которые были бы жалки сами себе, когда бы не возможность заменить подлинное отношение к жизни на формальную с нею игру по «разумным» якобы правилам.

В XVIII веке западный «рационализм» достиг пика самовыражения. Это было непревзойденное в своей механической операбельности мировоззрение. С ним рванулись вперед семимильными шагами прикладные науки и техника. Одновременно же не столь поддающаяся механизированию социальная мысль принялась выживать из ума, рождая резвых монстров. Философия торжественно объявила о самоликвидации посредством открытия «вещей в себе» и неразрешимости вопроса о бытии или небытии Бога. То была триумфальная катастрофа, ибо она высветила до дна основную строительную идею знаковой системы европейской культуры: закон исключенного третьего. Дальше рваться было некуда и незачем. Оставалось почивать на лаврах, отделывая второстепенные детали, в ожидании конца внутренне завершившейся культуры.

По иронии психологии культурного самоощущения, как раз такие эпохи культурного оцепенения кажутся самыми бурно развивающимися. Понадобился гениальный аутсайдер, сын чуждой Западу и только сбоку прилепившейся к нему культуры, которой вовсе не время было умирать, чтобы заметить и обеспокоиться остановкой навязанного ему культурного ритма:

И устарела старина,
И старым бредит новизна...

Никто на Западе не ощущал столь отчетливо «на всех различные вериги» (т. е. цепи). Для консерваторов здесь цепи стали «осознанной необходимостью» и, таким образом, — свободой! Свободолюбцам цепи казались чисто внешними — и вот-вот готовыми распасться, хотя распасться они могли теперь только с культурой. Как водится, платить за столь бодрые иллюзии предстояло в первую голову аутсайдерам. Дороже всех заплатила — и продолжает до сих пор платить — Россия. [...]

Но что нам все эти унылые исторические частности, когда с XVIII века к услугам нашим ошеломительно простое, ясное (если дисциплинированно

принимать его шоры) и веселое мировоззрение! Панацеей к излечению всех российских бед является для некоторых наших правозащитников воспитание в массах и начальстве уважения к законности. Это говорится в эпоху, когда почтение к формальной законности стремительно снижается уже и в странах, еще недавно служивших ее бастионами. Когда от Италии до США популярнейшие киногерои берут суд и расправу над злом в собственные руки и им начинают уже подражать — при почти поголовном сочувствии публики — совсем не герои[2]. Утверждать, что представления упомянутых героев и негероев юридически абсурдны, значит ломиться в открытые ворота. Западная юриспруденция логически выверена в своих принципах почти в той же степени, как геометрия, и заслуживает той же степени почтения. Но, когда под ногами у нас проваливается при землетрясении земля, геометрия, при всей своей академической почтенности, теряет практический интерес. Как донести до «рационалистов» ту старинную мудрость, что истина — хотя бы с одного боку — должна быть *конкретна*?

«Вечные» истины — драгоценное достояние человечества, но они вечны только как отношения в абстрактных концептуальных пространствах, а на практике их приходится запирать иногда в сундук на долгие столетия, как случилось это в средневековой Европе с классическим римским правом. Если этого не делают, как не сделали в Византии, закон способен достичь высшей степени формального совершенства, но его отношение к реальности приобретает отчетливый оттенок бреда. Законодатели времен Юстиниана со всей серьезностью обсуждали дилемму: как следовало бы поступить, если бы осуществление закона поставило под угрозу само существование Вселенной? — и ответили со всей решительностью: «Да свершится закон, и да погибнет Вселенная!» «Вечные» истины права статичны, а история периодически демонстрирует — хотя и неизъяснимым для рационализма образом, — что она имеет место не только в пространстве, но даже и во времени, и не в том, удобном и безобидном, что Аристотель рекомендовал трактовать «по аналогии с пространством», но в том самом, что способно преображать наличное бытие в нечто, никогда ранее не бывавшее.

Более того, существуют обширные районы земного шара, где высокая культура и гуманное правосудие развивались вне всякой связи с формальным правом римского типа. И даже в сознательном *противоречии* с юридическим формализмом. В классическом Китае, с его уникальной по своей ясности и трезвости социальной мыслью, все школы права сошлись в том, что гуманность, милосердие и справедливость несовместимы с идеей кодифицированного закона — «фа», — и разошлись только в том, что следует предпочесть: гуманность закону или закон гуманности. Династия Цинь, попытавшаяся сделать ставку на кодифицированный закон, запятнала себя ужасающими преступлениями против культуры и человечности и оставалась проклятой в китайской традиции вплоть до эпохи Мао. Сменившая

[2] Автор вспоминает здесь «Дело Геца» — человека, стрелявшего в нью-йоркском метро в напавших на него хулиганов. — *Прим. ред.-2012.*

Цинь просвещенная династия Хань сделала официальной идеологией конфуцианство, резко враждебное идее кодификации закона, — и осталась в памяти китайцев синонимом истинной культурности и гуманизма.

О мертвящем характере формального закона, о несовместимости его с духом русской культурной традиции заговорили в XIX веке славянофилы, понятия не имевшие о борьбе китайских идеологических школ. И они были правы, так же, как и древние китайцы: в условиях *интегрированных* социальных систем (каковыми являются в большей или меньшей степени почти все социумы за пределами Запада) юридический формализм *обречен* идти рука об руку с тиранией и социальной деградацией. К счастью, в современных условиях формальная законность ассоциируется с западным о ней представлением. Но что если в один непрекрасный день наши власти зауважают закон на естественный для них циньский лад? [...]

Совершенным воплощением «рационалистического» кредо является у вышеупомянутых правозащитников их решительное предпочтение реформы перед революцией. Им пытались возразить, что зло лежит в самой природе тоталитарной системы. Тщетно. В системе последовательного «рационализма» зло есть понятие запредельное, мифологическое и смехотворно наивное. Уже во времена злосчастного спора об отношении к новорожденному дарвинизму было открыто, что наука — это высшее воплощение «рационального» мировоззрения — *не способна формулировать оценочные суждения*. Да и как иначе — ведь оценки предполагают ориентацию на цели, «конечные причины», изгнанные из естествознания еще Галилеем вместе с телеологией и прочей вненаучной «мистикой» в этом роде. Оценки упираются, в конечном счете, в Господа Бога как единственное свое оправдание, — а как прийти к Богу от статичного A=A?! Нет такого пути и быть не может, — прав был премудрый Кант. Но от открытия несовместимости научности с искусством оценок пострадал, конечно, не авторитет науки — как можно! — а статус оценок. Последние, выпав из рамок научных приличий, стали для образованной публики париями. [...]

Мне тоже представляется разумным, что, коль скоро находится возможность, люди должны и критиковать и требовать законности. Но я решительно не согласен, что любого рода координация, регуляция и закон *по идее* своей *конструктивны*, а *преднамеренное зло не существует в природе человека*.

Стоит принять эту радостную аксиому, и нам станет не о чем спорить, и мы вступим в бодрый и бравый мир, где все проблемы разрешимы просветительством и откуда, между прочим, придется выкинуть бóльшую часть великой литературы всех времен и народов как бред буйных дикарей. Не знаю, как это доказать людям, которые ухитрились не заметить этого сами, прожив бóльшую часть своей жизни в СССР, — но преднамеренное зло очень даже *существует* и составляет главную идею СССР, как и любого другого тоталитарного режима. [...]

Я хотел бы также обратить читательское внимание на то, что деструктивные тенденции лежат в природе вещей, включая социальные отношения. Замечательно, что физика (единственная, строго говоря, современная наука

об объективной реальности) сумела до сих пор обнаружить в природе только тенденцию к снижению порядка — закон возрастания энтропии — и ничего в противовес ему. Тоталитарные режимы воплощают собой тенденцию к социальной деградации, и «диалог между правительством и обществом» возможен только в форме «диалога» между пожирателем и пожираемым. [...]

Природа тоталитарного режима слишком разрушительна, и приходится опасаться, не слишком ли много уже досталось нашему народу житья в условиях этой политической структуры. Многим, надо думать, известно, как катастрофически расцвел в стране алкоголизм, как выросла смертность во всех возрастах. Нравится это или нет радетелям «эволюции», в распоряжении нашего народа осталось совсем не долгое время.

Невозможно отрицать, что со смертью Сталина в стране начали происходить весьма и весьма значительные изменения. Но подпадают ли они под категорию эволюции? Ведь государственная структура страны в принципе не изменилась ни на йоту. Что касается свободы, то ее ничуть не больше, чем в худшие годы сталинизма. Свобода есть независимость действия, *гарантируемая правовыми институтами*, — то, чего в СССР нет и в рамках тоталитарной системы не будет. Выросла — и очень существенно — ничем не гарантируемая *воля*, наподобие той, за которой бежали в дикую степь наши предки. Эта воля выросла потому, что тотальная несвобода, навязываемая стране правящим режимом, есть нечто, до того неестественное и не отвечающее чаяниям подавляющего большинства населения, что никакая «стабильная политическая структура» не способна эту несвободу удерживать. Необходим еще постоянный *героизм* начальства в злодействе. Беззаветный и всежертвенный, — вспомним, сколько начальственных голов слетело в классическую эпоху режима при товарище Сталине. Слава Богу, для такого героизма отечественное начальство слишком устало, износилось и перетрусило. Это внушает, конечно, большие надежды на будущие структурные преобразования. Но никак не в рамках эволюции.

Кстати, о начальстве. Когда-то все мы, грешные, думали, что советские вожди — дураки. Но иные авторы пришли теперь к выводу, что они не только сильны, но и умны! Как обосновывается это эпохальное открытие? Оказывается, дело в том, что «советская система есть искусно сконструированная крепость со многими линиями обороны...» и прочими достижениями стабилизирующе-пресекновительной государственной механики. Воистину, как говаривал Эйнштейн, «теория определяет факты, которые мы можем видеть». Позавидуешь простодушным русским мужикам старого времени, которые, без всяких теоретических ухищрений и даже простой грамоты часто не знаючи, отлично умели, в отличие от многих наших образованных современников, понимать: «Дурное дело — нехитрое». Пресекновительная — не конструктивная — по идее своей тоталитарная государственность есть именно *дурное дело*. Я не знаю более глубокой теории тоталитарного государства, чем та, которую создал в IV веке до н. э. Шан Ян, китайский теоретик кодифицированного закона: «*Когда законы страны ясны, государю не надобны умные*

люди»! Более того, в такой стране надобность быть умным отпадает и для самого государя. Что только способствует всё новым блистательным победам такого государства: «*Когда армия применит средства, которых противник устыдился бы, — она непременно окажется в выигрыше!*» Какая голубая наивность отличает наших авторов от старинных русских мужиков и стародревнего Шан Яна. Ну, можно ли всерьез аргументировать, что товарищ Сталин был умный человек — потому что победил всех своих супротивников! [...]

Видимо, уместно здесь напомнить ту избитую истину, что реальность, извините, неисчерпаема. Отсюда следует, что нет и не может быть общественно значимой идеологии, отталкивающейся прямо от реальности, а не от той или иной ее исторически ограниченной модели. Одной из таких идеологий является так называемый *реализм* с его корнями в механицизме и рационализме XVII и XVIII столетий и неотъемлемым от него безбожием. Именно этот «реализм» заставляет некоторых «диссидентов» почтительно относиться к достижениям советской государственной механики и умственным доблестям сконструировавших эту механику вождей. Что служит одним из ярких свидетельств тому, насколько ныне «реализм» выжил из ума и оторвался от реальности.

Стремительное по историческим масштабам выживание из ума «реализма» связано, надо думать, с безбожием, лишающим его всяких, кроме ближайшей выгоды, ориентиров, руля и ветрил. Ограниченность человека обрекает на конечность любую, даже пытающуюся ориентироваться на бесконечность Бога, идеологию. Но боговдохновенное мироощущение, по крайней мере, стыдится этой своей ограниченности, по крайней мере, пытается вырваться из нее, тогда как «реализм» самодовольно выпячивает ее вперед, как свое самое замечательное достижение.

Не считаться с реальностью невозможно, но именно благоговение перед ее бездонностью обусловливает у всех ее творческих преобразователей благочестивое дерзновение. Умеренность рождается в культурах, исчерпавших меру собственного творческого дара, когда все дальнейшие реформаторские поползновения в сумме своей обречены становиться скорее разрушительными, чем созидательными. Вот когда становятся неоценимы компромиссы, ибо, как известно из механики, в правильной (т. е. уравновешенной) системе сил сумма векторов равна нулю!

До сих пор мы, русские, при всех бывших у нас в прошлом великих культурных достижениях, остаемся в политическом отношении почти первобытными варварами. Что, конечно, очень печально для данного дня, но обнадеживает на замечательное будущее. Позвольте мне верить, что своеобразие нашей истории, необъятное разнообразие культурных влияний, которым мы подвергались, стоя на перекрестке всей Евразии, смелость нашего религиозного реализма не останутся втуне. И не навязывайте нам ваш давно исчерпавший себя западный восемнадцатый век!

1985, № 45

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ

Нашей юности полет[1]

Главы из книги о природе сталинизма

Намерение

Название этой книги взято из песни, которую советские люди пели в сталинские времена («Сталин — наша слава боевая. Сталин — нашей юности полет. С песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет»). Пел и я эту песню вместе со всеми, несмотря на то, что ненависть лично к Сталину и ко всему тому, что тогда связывалось с его именем, была всепоглощающей страстью моей юности. Я пел эту песню и не чувствовал в ней фальши. Я чувствовал в ней что-то другое, гораздо более страшное, чем фальшь, а именно — всесокрушающий ураган великой истории. В этой книге я хочу рассказать немного о том, как осознавался и ощущался этот исторический ураган некоторыми представителями моего поколения, вовлеченными в него, — о том, чем был сталинизм для нас.

Слово «сталинизм» употребляют во многих различных значениях. Для меня сталинизм — это эпоха становления, формирования нового, коммунистического общества. Это — юность реального коммунизма. В эту эпоху происходило формирование социального строя страны, ее экономики, формы власти и управления, идеологии, культуры, а также объединение многочисленных народов в единое государство, короче говоря — происходило формирование всех основных явлений коммунистического общества как целого. [...]

Сталинская эпоха

Сталинская эпоха ушла в прошлое, осужденная, осмеянная, оплеванная и окарикатуренная, но не понятая. А между тем всё то, что вырвалось наружу в хрущевское время, было накоплено, выстрадано и обдумано в сталинское время. Всё то, что стало буднями советской жизни в брежневское

[1] См. также письмо Доры Штурман в редакцию журнала «Континент» в разделе «Наша почта» настоящего тома.

время, вызрело в сталинское время. Сталинская эпоха была юностью советского общества, периодом превращения его в зрелый социальный организм. И хотя бы уже поэтому она заслуживает чего-то большего, чем осуждение: она заслуживает понимания.

Понимание не есть оправдание. С точки зрения понимания, причины настоящего лежат в прошлом. С точки зрения оправдания или осуждения, никакой связи между прошлым и настоящим нет — прошлое не повинно в настоящем. Рассматривать историю в категориях оправдания и осуждения — значит исключать всякую возможность ее понимания.

Стало привычным штампом рассматривать сталинскую эпоху как эпоху преступную. Это — грубое смешение понятий. Понятие преступности есть понятие юридическое или моральное, но не историческое и не социологическое. Оно по самому смыслу своему неприменимо к историческим эпохам, к обществам, к целым народам. Рабовладельческое общество и феодальное общество не были преступными, хотя многое, происходившее в них, можно рассматривать как преступления. Сталинская эпоха была страшной и трагической эпохой. В ней совершались бесчисленные преступления. Но сама она как целое не была преступлением. И не является преступным общество, сложившееся в эту эпоху, каким бы плохим оно ни было на самом деле. Трагичность сталинской эпохи состояла в том, что в тех исторических условиях сталинизм был закономерным продуктом Великой Революции и единственным способом для нового общества выжить и отстоять свое право на существование. Трагичность сталинской эпохи состояла в том, что она навеки похоронила надежды на идеологический земной рай, построив этот рай на самом деле. Она обнажила подлинную страшную сущность многовековой мечты человечества.

После короткой и ожесточенной вспышки интереса к сталинской эпохе и ее разоблачительства наступило равнодушие к ней. Есть много причин, порождающих в совокупности эту тенденцию к забвению своего недавнего прошлого. Среди них — радость избавления и страх повторения. Этот страх напрасен. Такая эпоха неповторима: общественный организм, как и любой другой живой высокоразвитый организм, переживает юность лишь однажды. А избавление иллюзорно. Сталинская эпоха в самом существенном своем содержании вошла в нашу плоть и кровь навечно — она породила нашу сегодняшнюю реальность и носителей ее. Она породила будущее. Так что уклониться от внимания к ней и от ее беспощадной объективной оценки все равно не удастся.

На Западе выходят бесчисленные книги о гитлеровской Германии, Гитлере и его соратниках. А ведь гитлеровская Германия просуществовала всего несколько лет, потерпев сокрушительное поражение. Сталин же и его соратники одержали блистательную историческую победу, построив новый тип общества со всеми его атрибутами, и в колоссальной степени усилили мировую тенденцию к коммунистическому социальному устройству. Гитлеровская Германия — эпизод в истории, сталинская эпоха — великий пере-

лом всей истории. Историческое же величие эпохи состоит не в ложной чистоте и мелких воображаемых ошибках, а в том реальном океане страданий, крови, грязи, лжи, насилия и прочих мерзостей, через которые пришлось пройти стране. [...]

Понять историческую эпоху такого масштаба, как сталинская, — значит понять сущность того нового общественного организма, который созревал в эту эпоху. Отмечу в этой связи некоторые характерные свойства известных мне сочинений о Сталине, сталинизме и сталинской эпохе. В этих сочинениях обычно выделяется один какой-то аспект исторического процесса (чаще — аспект борьбы Сталина за личную власть и репрессии), раздувается сверх меры, целостность этого процесса испаряется, и невольно получается односторонне-ложная его картина. Историческая эпоха, далее, рассматривается со стороны или сверху. И поэтому невольно получается поверхностное и чисто фактологическое описание. Основное в этой эпохе, т. е. все то, что происходило в массе населения и послужило базисом для всех видимых сверху и со стороны явлений, т. е. основной глубинный поток истории, почти не принимается во внимание или учитывается в ничтожной мере. Поэтому сталинизм представляется как обман и насилие, тогда как в основе он был добровольным творчеством многомиллионных масс людей, лишь организуемых в единый поток посредством обмана и насилия.

Другая характерная слабость упомянутых сочинений — смешение словесной формы и объективной сущности эпохи. Реальность лишь частично и к тому же в превращенной форме отражается в словесном потоке своего времени. Не всегда речи деятелей эпохи, программы партий, резолюции съездов, газетные статьи и книги адекватно отражают глубинное течение истории. Преувеличение роли словесной формы истории и игнорирование ее неадекватности скрытой сущности процесса имели следствием то, что второстепенные личности и события занимают больше внимания людей, чем реально первостепенные, их роль сильно преувеличивается в ущерб исторической правде. Характерный пример этого — непомерное раздувание интеллекта Троцкого и умаление такового Сталина, объяснение победы сталинизма над троцкизмом личными отрицательными качествами Сталина и его сподвижников. А между тем, с точки зрения существа исторического процесса (т. е. глядя на него снизу, из глубины), победа сталинизма была закономерным следствием того, что именно Сталин и сталинисты наиболее адекватно выражали сущность потребностей той эпохи и ее объективные тенденции. Троцкий и подобные ему кажутся гениями лишь с точки зрения словесной пены истории. Если они и гении, то гении болтовни, а не реального дела. С точки зрения понимания существа эпохи, все они суть жалкие карлики в сравнении со Сталиным. Масштабы исторической личности определяются не умением долго и красноречиво болтать, а именно степенью адекватности тому движению массы, на роль руководителя которой ее вытолкнули обстоятельства. Масштабы исторической личности определяются, далее, тем, насколько его личная деятельность совпадает с объектив-

ными закономерностями нарождающегося общества и насколько она способствует реализации его объективных тенденций. Исторический деятель может быть гением в своей области, не имея ни малейшего представления о средствах познания, которыми оперируют ученые и с которыми знакомы даже начинающие студенты. Ворошилов и Буденный, например, понимали в происходящем, с научной точки зрения, не больше, чем лошади, на которых они принимали военные парады. Но они были хорошими помощниками Сталина и исправно служили его делу. Сталин сам понимал, с научной точки зрения, в происходящем немногим больше их, но именно он был историческим гением, а они были ничтожествами в сравнении с ним. И он был таковым не благодаря тому, что был чуточку образованнее и умнее их в качестве студента некоей науки, а благодаря своему умению сыграть роль, заданную ему историей. Великие исторические деятели не столько творят историю, сколько вытворяют истории, история же сама творит их по образу своему и подобию.

Я

Это произошло в 1939 году. На семинаре в институте я «сорвался» — рассказал о том, что на самом деле творилось в колхозах. Меня «прорабатывали» на комсомольском собрании, потребовали, чтобы я признал свои ошибки. Я упорствовал. Меня исключили из комсомола, а затем и из института. Мои бывшие школьные друзья решили проявить обо мне заботу — выяснить причины моего срыва и помочь мне. По инициативе комсорга школы они устроили вечеринку, на которой спровоцировали меня на откровенный разговор. Я уже покатился по наклонной плоскости и не стал сдерживаться: выложил им всю свою антисталинскую концепцию.

Уже на следующий день в наш вечно залитый водой подвал спустился молодой человек. Я сразу понял, что это за мной, — я был уверен, что друзья напишут донос на Лубянку и меня арестуют. На Лубянке со мной беседовал пожилой человек в военной форме, но без знаков различия. На столе у него лежало письмо моих друзей: я узнал почерк. После разговора пожилой чекист велел молодому отвести меня куда-то. Мы уже вышли на улицу. В это время моего сопровождающего почему-то позвали обратно. «Подожди меня здесь, — сказал он, — я через минуту вернусь». Но я не стал ждать его. Я ушел, сам не зная куда. Домой решил не возвращаться. Ночевал на вокзале. Утром влез в какой-то поезд. Километрах в ста от Москвы меня выбросил из вагона проводник. Так началась моя жизнь тайного антисталиниста. Кое-что из нее я припомню в дальнейшем.

Я был антисталинистом вплоть до хрущевского доклада. Антисталинская пропаганда была делом моей жизни. Я не горжусь этим и не считаю себя исключительной личностью. Я встречал других антисталинистов, которые были таковыми с большим риском. Некоторые из них погибли. Некоторые уцелели, но забыли о своей прошлой деятельности. Никто из нас в те

времена не считал себя героем. Наша позиция была естественной мальчишеской реакцией на факты нашей жизни. Моя антисталинистская пропаганда была примитивной и спорадической. По настроению и в подходящей ситуации. Психологически я чувствовал себя выше окружающих — я видел и понимал многое такое, чего (как казалось мне) не видели и не понимали они. Я ощущал себя потенциальным, а порою и актуальным борцом против режима. [...]

Мой антисталинизм был порожден нестерпимо тяжелыми условиями жизни людей, в среде которых я рос. Моя личная ненависть к Сталину была лишь персонификацией моего протеста против этих условий. Но я очень рано стал размышлять о причинах этой чудовищной (как казалось мне тогда) несправедливости. К концу школы я уже был уверен в том, что причины зла коренятся в самом социализме (коммунизме). Моя личная ненависть к Сталину стала уступать место чисто интеллектуальному любопытству — желанию понять скрытые механизмы социалистического общества, порождающие все те отрицательные явления, на которые я уже насмотрелся достаточно много. Для меня сталинизм еще оставался воплощением и олицетворением реального коммунизма. Я тогда еще не знал, что это — всего лишь юность нового общества. Когда я это понял (это случилось в конце войны), я вообще перестал относиться к Сталину и его соратникам как к людям, вернее, на смену ненависти пришло презрение.

К этому времени я отчетливо осознал еще одно обстоятельство, сыгравшее важную роль в моем отношении к Сталину и сталинизму: я понял, что мое чувство превосходства над окружающими было самообольщением. Я имел сотни бесед с людьми самого различного возраста и положения. И самыми осведомленными о дефектах нашей жизни среди них были сотрудники Органов государственной безопасности, партийные чиновники, провокаторы и стукачи. Главное, понял я, не знание фактов, а отношение к ним. Сталинизм постепенно стал превращаться из моего личного врага в объект изучения.

Но вот умер Сталин. Но что случилось со мной? Я, обезумевший, метался по Москве, пил стаканами водку во всех попадающихся на пути забегаловках и не пьянел. Исчез мой враг, делавший мою жизнь осмысленной, окончилась моя Великая Тайна борца против сталинизма. Началась будничная жизнь рядового советского гражданина, в меру критичного по отношению к существующему строю, но в общем и целом принимающего его и сотрудничающего с властями в его сохранении.

После хрущевского доклада мой антисталинизм вообще утратил смысл. Все наперебой начали критиковать Сталина и его соратников. Все вдруг стали «жертвами культа». Меня это раздражало. Однажды при обсуждении диссертации одного сотрудника нашего учреждения, обругавшего (как это стало модно) Сталина, среди прочих выступил и я и сказал, что «мертвого льва может лягнуть даже осел». Меня вызвали на Лубянку и сказали, что мое поведение не соответствует генеральной линии Партии на данном этапе и

что если я не прекращу свои заявления, они (т. е. Органы) будут вынуждены принять в отношении меня суровые меры.

Будучи не в силах принять сей жизненный парадокс, я запил пуще прежнего. Я был в этом не одинок. Точно так же поступали многие уцелевшие антисталинисты, потерявшие предмет своей ненависти, и немногие нераскаявшиеся сталинисты, потерявшие предмет своей любви. Мы вместе с ними опустились на самое дно человеческого бытия. Мы не чувствовали вражды друг к другу, ибо все мы были обломками великой эпохи и ее ничтожного крушения. В одно из таких падений в помойку человеческого бытия я встретил этого человека. На мой вопрос, что он думает по поводу хрущевского доклада, он сказал: «Великан Истории поскользнулся на арбузной корке и сломал себе хребет». Он имел в виду сталинизм.

Он

Когда я, дрожа от холода и мерзостности внутреннего состояния, очнулся в новом вытрезвителе нашего района, на койке рядом сидело сине-фиолетовое, колючее, с желто-красными подтеками существо.

— Хорош, — сказал я вместо приветствия.

— А ты, думаешь, лучше? — миролюбиво ответило существо. — Красавчиками мы выходим только из морга.

Выполнив положенные в таких случаях формальности и прослушав часовую лекцию о моральном облике строителя коммунизма, мы покинули вытрезвитель со здоровым намерением «надраться» снова. [...]

Потом мы встречались с ним чуть ли не каждый день. Он оказался бывшим антисталинистом, причем — раскаявшимся.

— Раскаявшийся сталинист, — сказал Он, — есть нечто совершенно заурядное. Но раскаявшийся антисталинист, согласитесь, это есть нечто из ряда вон выходящее.

Мы много разговаривали. Теперь трудно различить, что говорил Он и что говорил я. Наше принципиальное понимание прошлого и отношение к нему совпадали, а на авторство идей и приоритет мы не претендовали. Так что я лишь с целью удобства описания буду приписывать все мысли, прошедшие тогда через мою собственную голову, Ему. Разумеется, лишь те, что вспомнятся сейчас. И в той языковой форме, в какой я могу сформулировать их сейчас.

Справедливость

— Легко быть моральным, сидя в комфорте и безопасности, — говорил Он. — Не доноси! Не подавай руку стукачу! Не голосуй! Не одобряй! Протестуй!.. А ты попробуй, следуй этим прекрасным советам на деле! Думаете, страх наказания? Есть, конечно. Но главное тут — другое. Дайте мне самого кристально чистого человека, и я докажу, что он в своей жизни подлостей совершил не меньше, чем самый отъявленный подлец. Гляньте туда!

Видите? Хулиганы пристают к девушке. А прохожие? Ноль внимания. А ведь мужчины. Сильные. Вот тот одной левой может раскидать десяток таких хлюпиков. Думаете, заступится за девчонку? Нет! А небось, кристально чист. Совесть спокойная. Вот в том-то и дело. Я сам дважды был жертвой доносов. А разве я лучше моих доносчиков? Вот вчера у нас было партийное собрание. Разбирали персональное дело одного парня. Дело пустяковое. Но нашлись желающие раздуть. И раздули. Райком партии раздул еще больше. Ну и понесли парня со страшной силой. Из партии исключили. Единогласно. И я голосовал тоже. А что прикажешь делать? Защищать? Я с ним в близких отношениях не был. Парень этот сам дерьмо порядочное. И проступок все-таки был. Ради чего защищать? Ради некоей справедливости? Вот в этом-то и загвоздка! Мы все считали и считаем наказание справедливым. И сам этот парень тоже. Кстати сказать, мы и пить вчера начали с ним вместе. Он — с горя. Мы — из сочувствия к горю. Повод был подходящий.

Что справедливо, и что — нет, — вот в чем суть дела. Я много думал на эту тему, времени для раздумий было больше чем достаточно. И знаешь, что я надумал? Никакой справедливости и несправедливости вообще нет! Есть лишь сознание справедливости или несправедливости происходящего. Созна-ни-е! Понимаешь?! То есть наша субъективная оценка происходящего, и только. А мы отрываем в своем воображении содержание нашего сознания от самого факта сознания и получаем пустышку: справедливость как таковая! И эта пустышка терзает души миллионов людей много столетий подряд. Террор этой пустышки посильнее и пострашнее сталинского.

Есть правила и для субъективных оценок, знаю. Но они общезначимы лишь в рамках данной общности людей, в рамках принятых в ней представлений, понятий, норм. Мы, осуждая того парня, действовали в рамках наших представлений о справедливости, в рамках принятых нами и одобряемых норм на этот счет. И жертва эти нормы и представления принимает тоже.

А в те времена, думаешь, по-другому было? Сознание справедливости происходящего владело подавляющим большинством участников событий — вот чего не могут понять нынешние разоблачители. Без этого ни за что не поймешь, почему было возможно в таких масштабах манипулировать людьми и почему люди позволяли это делать с собою. Конечно, случаи нарушения справедливости были. Но в общем и целом эта эпоха прошла с поразительным самосознанием справедливости всех ее ужасов. Это теперь, с новыми мерками справедливости и несправедливости, мы обрушиваемся на наше прошлое как на чудовищное нарушение справедливости. Но в таком случае вся прошлая история есть несправедливость.

Вина

То же самое в отношении вины и невиновности. Это есть лишь другая сторона той же проблемы справедливости. Теперь проблема виновности и невиновности кажется очень простой. И мы переносим нынешние крите-

рии на прошлое, забывая о том, что произошли по крайней мере два такие изменения: 1) сыграли свою роль и отпали многие поступки, которые были существенны в сталинское время; 2) в стране выработалась практически действующая система юридических норм и норм другого рода, которой еще не было в сталинское время. И люди в то время ощущали себя виновными или невиновными в иной системе норм и представлений об этом, чем сейчас. Например, руководитель стройки, который не выполнил задание в заданные сроки по вполне объективным причинам, например, из-за погоды, — ощущал себя, однако, виновным. И вышестоящие органы рассматривали его как виновного. Родственники, сослуживцы и друзья тоже. Одни из участников дела переживали судьбу арестованного начальника как несчастье, другие радовались этому. Но ни у кого не было сомнения в его виновности. Я принимал участие в одной такой стройке за Полярным Кругом. Начальник соседней стройки обрек на гибель пятьдесят тысяч человек ради незначительного успеха. Его наградили орденом. Начальник нашей стройки «пожалел» людей: угробил не пятьдесят тысяч, а всего десять. Его расстреляли за «вредительство». Первый не испытывал чувства вины за гибель людей. Второй ощущал себя вредителем. Я не встретил тогда ни одного человека, кто воспринимал бы происходившее как вину первого и как невиновность второго.

Я сам прошел через все это. На студенческой вечеринке я наговорил лишнего о Сталине. Я никогда не был принципиальным врагом нашего строя, Сталина, политики тех времен. Просто случилось так, что высказал вслух то, что накопилось на душе. И это тоже нормальное явление. Тогда многие срывались. На меня написали донос. Я знал, что донос будет, и это тоже было общим правилом. И не видел в этом ничего особенного. Я знал, что сделал глупость, и чувствовал себя виноватым. Я считал справедливым и донос, в котором я не сомневался, и наказание за мою вину, которое я ожидал. Если теперь посмотреть на этот случай, то все будет выглядеть иначе. Доносчики будут выглядеть как безнравственные подонки. А они на самом деле были честными комсомольцами и хорошими товарищами. Я буду выглядеть героем, которого предали товарищи, а власти несправедливо наказали. А я не был героем. Я был преступником, ибо я и окружающие ощущали меня таковым. И это было в строгом соответствии с неписаными нормами тех дней и с неписаной интерпретацией писаных норм.

Донос

— Надо различать, — говорил Он, — донос как отдельное действие, совершенное конкретным человеком, и донос как массовое явление. В первом случае он подлежит моральной оценке, а во-втором — социологической. Во втором случае мы обязаны прежде всего говорить о его причинах и о роли в обществе, о его целесообразности или нецелесообразности, социальной оправданности или неоправданности. И лишь после этого и на этой основе

можно подумать и о моральном аспекте проблемы. В том, что касается доносов сталинского периода, моральный аспект вообще лишен смысла.

Смотри сам. Новый строй только что народился. Очень еще непрочен. Буквально висит на волоске. Врагов не счесть. Реальных врагов, а не воображаемых, между прочим. Что ты думаешь, все население так сразу и приняло новый строй, а власти лишь выдумывали врагов?! Малограмотное руководство. Никакого понимания человеческой психологии. Никакой уверенности ни в чем. Всё вслепую и наощупь. Не будь массового доносительства в это время, кто знает, уцелел ли бы сам строй. Но широкие массы сами проявляли инициативу и доносили. Для них доносительство было формой участия в великой революции и охраной ее завоеваний. Донос был в основе доброволен и не воспринимался как донос. Лишь на этой основе он превратился в нечто принудительное и морально порицаемое ханжами и лицемерами. И роль доноса с точки зрения влияния на ход событий в стране была не та, что теперь, — грандиознее и ощутимее. Масса доносов отражалась в судьбе масс людей.

Теперь отпала потребность в доносе как социальном массовом явлении. Одновременно отпали породившие его условия. На место доноса сталинского периода пришел донос как элемент профессиональной деятельности определенной организации — т. е. как заурядное явление, порицаемое на моральном уровне. Конечно, нет четкой границы между этими эпохами. И в сталинское время была мешанина из доноса как формы революционной самодеятельности миллионных масс населения и доноса в его привычном полицейско-жандармском смысле. Тот первый донос на меня был детищем великой революции. Зато второй раз я пал жертвой доноса в его банальном, совсем нереволюционном значении. Этот второй донос был уже не во имя революции, а во имя личного положения в новом обществе, которое уже родилось в результате революции и было глубоко враждебно ей.

В защиту эпохи

— Если хотите знать основу сталинизма и его успехов, — говорил Он, — проделайте хотя бы самое примитивное социологическое исследование. Выберите характерный район с населением хотя бы в один миллион. И изучите его хотя бы по таким показателям: численность населения, его социальный состав, профессии, имущественное положение, образованность, культура, число репрессированных, передвижения людей. Изучите, что стало с теми, кто покинул район. Сделать это надо по годам, а иногда — по месяцам, ибо история неслась с ураганной скоростью. Знаю, трудно получить данные. Но все же что-то возможно получить. И группа грамотных социологов могла бы дать достаточно полную картину. И вы бы тогда увидели, что репрессии в ту эпоху играли не такую уж огромную роль, какую вы им приписываете теперь. Вы бы тогда увидели, что главным в эту эпоху было нечто иное, позитивное, а не негативное. Вы смотрите на эту эпоху глазами репрессированных. Но репрессированный вырывался из нормальной жизни общества. Тут собирались

люди самого различного сорта, причем — далеко не всегда лучшие люди общества. Хотя в лагерях люди гибли, но постепенно они там накапливались — люди из разных слоев, эпох, поколений. Хотя репрессии и концлагеря были обычным делом той эпохи, они не были моделью общества в целом. Общество отражалось в них, поставляя в них своих представителей, но сами они существовали по жутким законам таких объединений, людей, вырванных из исторического процесса. Можно на эту эпоху смотреть и глазами уцелевших и преуспевших, а их было много больше, чем репрессированных. Кто-то подсчитал число репрессированных. А кто подсчитает число тех, кто в какой-то мере преуспел, причем — подсчитает это также в ряде поколений? Странно, почему советские идеологи не сделают этого?

Репрессии

— О том, что кого-то где-то арестовали, — говорил Он, — мы слышали постоянно, не говоря уж о сенсационных арестах на высшем уровне. Но не думайте, что вся наша жизнь была заполнена этим.

В нашем доме арестовали инженера, который жил вдвоем с женой в двадцатиметровой комнате. Мы его считали богачом: у нас была десятиметровая комната на пятерых. Наша семья не рассчитывала на эту комнату. Мы рассчитывали на комнату тех жильцов, которые получат комнату арестованных (жену его тоже арестовали). Но совершенно неожиданно комнату арестованных отдали нам. Что творилось в доме, невозможно описать. Соседи, претендовавшие на комнату, лили нам в кастрюли керосин и прочую гадость. Приходилось все запирать. А что нам оставалось делать? Не в нашей власти было оставить инженера с женой на свободе. Если бы мы в знак протеста отказались от комнаты, нас самих арестовали бы. Мы не могли отказаться. Но мы и не хотели это делать. И в этом было наше соучастие в репрессиях: нам все-таки тоже кое-что перепало. После этого мои родители портрет Сталина на стенку повесили на самом видном месте. Несколько лет агитаторы нам твердили о том, что советская власть проявила о нас заботу. Нечто подобное происходило в тысячах точек общества.

Сам факт массовых репрессий очевиден и общеизвестен. Проблема в том, почему они стали возможны, почему люди, которых считают теперь преступниками, могли совершать их безнаказанно? А потому что это было делом не безнравственных и жестоких одиночек, а многомиллионных масс населения, наделенных всеми мыслимыми добродетелями. Это было наше общее дело — совместное дело жертв и палачей.

Почему

Почему я стал антисталинистом? Обстоятельства сложились так, что меня постепенно и помимо моей воли вынудили на действия и мысли, которые в конце концов и навязали мне антисталинские убеждения и роль антистали-

ниста. Например, нам так назойливо твердили о том, что мы своими «прекрасными жилищными условиями» (комната в двадцать квадратных метров на пять человек) обязаны советской власти и лично товарищу Сталину, что можно было во что угодно свихнуться. Однажды я не выдержал и ехидно заметил, что мы действительно этими «прекрасными жилищными условиями» обязаны лично Сталину. С этого момента во мне зародилась ненависть к Сталину. Такого рода случаев, укрепивших мою ненависть, были сотни.

А потом начала действовать более глубокая причина, которую я осознал отчетливо только теперь: протест против того общественного устройства, которое складывалось в сталинское время и которое, как казалось мне, противоречило идеалам революции. Я возлагал вину за это «отступление» от идеалов революции на Сталина и сталинистов. Конечно, это общество складывалось и благодаря их усилиям. Но не только их. Оно явилось результатом творчества всего населения страны. И сталинизм, как это ни странно на первый взгляд, сам означал борьбу против своего собственного творения. Но эту тонкую диалектику я постиг много лет спустя, когда мой антисталинизм утратил смысл.

Сталинизм

Хочу подробнее развить высказанную ранее мысль. В сталинское время создавалось общество, которое мы сейчас имеем в стране. Во главе этого строительства стояли Сталин и его сообщники. Во многом общество отвечало идеалам строителей, во многом — нет. Во многом оно строилось само вопреки идеалам и в противоположность им. И строители прилагали усилия, чтобы этих нежелаемых явлений не было. Они полагали, что в их власти не допустить их. И в этом отношении они боролись против создаваемого ими общества. Многое в том, что делалось, можно отнести к строительным лесам, а не к самому строящемуся зданию. Но леса воспринимались как неотъемлемая часть здания, порою — даже как главная. Порою казалось, что здание рухнет без этих лесов. Сейчас многое прояснилось. Многое понято как леса и отброшено. Так что же во всем этом есть сталинизм — само новое общество, созданное под руководством Сталина и его сообщников, исторические методы его построения, строительные леса, борьба против отдельных явлений строящегося общества?

Сообщники Сталина — кто это? Кучка партийных руководителей, аппарат партии и органов государственной безопасности? Общество строили миллионы людей. Они были участниками процесса. Они были помощниками палачей, палачами и жертвами палачей. Они были и объектом, и субъектом строительства. Они были власть и сфера приложения власти. Создание нового общества было прежде всего организацией населения в стандартные коллективы, организацией жизни коллективов по образцам, которые впервые изобретались в гигантском массовом процессе путем экспериментов, проб, ошибок. Создание нового общества — воспитание людей, выведение

человека, который сам, без подсказки властей и без насилия, становился носителем новых общественных отношений. Процесс этот происходил в борьбе многочисленных сил и тенденций. Среди них отмечу две системы власти, порождавшие друг друга, но одновременно враждебные друг другу, — систему вождизма и народовластия, с одной стороны, и систему партийно-государственного бюрократического аппарата, с другой.

Что есть сталинизм? Их единство? Или только система вождизма, система личной власти? Или все более укрепляющаяся система формальной власти государственного аппарата?

Я мог бы взять другие аспекты жизни этого периода и показать, что он был чрезвычайно сложен и противоречив. Различные группы людей, рассуждающих теперь о сталинизме, связывают с ним только один какой-то аспект общества в этот период. Но с такими односторонними подходами не поймешь этот период и то, что в нем родилось, — его результат. Сталинизм — это не нечто, подобное гитлеризму в Германии. Сходство есть. Но различие существеннее. Сталинская эпоха в ее самых существенных свойствах вошла в структуру нового общества и в психологию нового человека. Отброшено лишь то, что было связано с процессом строительства, с историческими условиями, с неопытностью, с наследием революции и прошлого... Что считать сталинизмом — то, что осталось, или то, что отброшено? Есть проблемы словесные. И есть проблемы существенные, а именно — проблемы понимания эпохи и ее продукта, причем — всестороннего понимания. И без поверхностных аналогий. Фашизм — явление мимолетное и бесперспективное. Коммунизм приходит на века.

Для меня сталинизм есть целая эпоха, а не только форма власти и управления. Вот вам еще один аспект этой эпохи, о котором никто ничего не говорит. В это время начала складываться новая социальная структура общества, новые формы неравенства. Сталинизм был попыткой остановить этот неумолимый процесс. Отсюда — особо жестокие репрессии в отношении представителей нарождающихся господствующих классов. Неспособность остановить этот процесс — вот основная причина поражения сталинизма как формы власти и ухода его со сцены истории.

Посмотрите, что происходило! Сталин и его сообщники при поддержке определенных кругов населения разгромили «ленинскую гвардию», т. е. тех деятелей революции и те слои населения, которые были активными участниками революции и Гражданской войны. Таким образом, сталинисты действовали как контрреволюционеры — они остановили революционный период. Но, приступив к мирному строительству, они сами выступили одновременно и как носители духа революции.

Или возьмите, к примеру, коллективизацию. Чего только о ней ни наговорили! Ошибка! Преступление! Бессмысленная жестокость!.. И ни слова о ее великой исторической роли. Я-то это пережил. Да и ты тоже. Мы-то знаем, что это такое было. Недавно прочитал я статейку. Автор поступает так. Берет продукцию с приусадебных участков, находящихся в частном

владении, и делит на общую их площадь. Затем берет продукцию колхозов и делит на площадь колхозных земель. И, естественно, получает, что первая цифра превосходит вторую, — «намек» на то, что частное хозяйство продуктивнее колхозного. Но это — грубая ошибка. Надо полученные в обоих случаях цифры разделить на величины затрат усилий людей соответственно на приусадебных участках и колхозных землях. И тогда первая величина продуктивности будет много ниже второй. Вот глубочайшая причина, почему теперь крестьян силой не заставишь отказаться от колхозов и вернуться к единоличному хозяйству. Сколько миллионов людей охотно бросило тупую и изнурительную крестьянскую жизнь и ринулась в города и на стройки?! А ведь это — тоже дело сталинизма!

То было время великого (великое — не обязательно хорошо) социального творчества. Многие исторические открытия делались на наших глазах. И мы сами принимали в них участие в качестве материала творчества и в качестве творцов. Интересное это явление — историческое творчество масс людей. Проходят годы, и ученые начинают ломать голову над какими-то историческими явлениями, пытаясь разгадать их тайну. А для участников этих явлений никаких тайн нет. Для них все очевидно. Все происходит на их глазах. Но зато они еще не знают того, во что со временем вырастет их примитивное и неприглядное начинание. Им не ведомо то, что их жалкое дело рождает великий феномен истории, который со временем станет таинственным для мудрецов. Впрочем, лишь для мудрецов. Чтобы эти мудрецы выглядели именно мудрецами, а не беспомощными идиотами.

Вот возьмите эту форму рабского труда, которая приобрела такой размах в Советском Союзе и стала необходимым элементом жизни, — посылку миллионов людей из города в деревни, на стройки, в отдаленные районы. Пропаганда рассматривает ее как начало «подлинно коммунистического отношения к труду», как признак будущего райского коммунизма. Я согласен с тем, что это — признак коммунизма. Только уже наступившего. И далеко не райского. Как эта форма зародилась? Очень просто. В результате политики коллективизации и индустриализации деревни опустели. А война вообще почти полностью истребила деревенское мужское население — деревенские парни и мужики погибали на фронте в первую очередь: они были на самом низу армейской иерархии, выполняли самую опасную и самую черновую военную работу. Положение в деревне стало катастрофическим. И это угрожало катастрофой всей стране. Выход был один: послать людей из городов в деревни. Так и сделали. Часть направили насовсем. А основную массу — на сезонные работы.

Обратите внимание: другого выхода не было! Либо гибель, либо делать таким-то единственно доступным путем. Вот вам одна из особенностей исторического творчества: необходимость. Необходимость в смысле насущной потребности и возможности реализовать ее таким путем. История подобна реке: она течет туда, куда можно течь. Она течет в «социальные» дыры. Она течет в силу законов тяготения. А когда опыт удался, люди, от

которых зависела судьба масс народа и страны, сделали определенные выводы: 1) можно без катастрофического ущерба для экономики страны посылать миллионы людей из городов туда, куда нужно; 2) можно этих людей использовать как дешевую рабочую силу там, где не хватает людей и куда люди добровольно не поедут; 3) это даже удобно, так как эти люди нужны и в городах, и ими можно манипулировать в масштабах государства; 4) можно эти мероприятия использовать как мощное средство коммунистического воспитания людей.

Реальность и утопия

Эпоха сталинизма была воплощением в жизнь сказки, утопии. Но воплощение это произошло в такой форме, что сказка превратилась в объект для насмешек. И дело не в том, что реальность оказалась хуже сказки, — во многом она оказалась лучше, — а в том, что жизнь пошла в непредвиденном направлении и сказка утратила смысл.

Коммунистическая утопия создавалась при том условии, что не принимались во внимание многие существенные факторы человеческой жизни: распадение человечества на расы, нации, племена, страны и другие общности и объединения; усложнение системы хозяйства и культуры; иерархия социальных позиций; наличие всякого рода соблазнов (вещи, слава, власть, развлечения); возможности делания карьеры и другие. Утопия предполагала лишь сравнительно небольшие объединения более или менее однородных индивидов, со скромным трудовым бытом и с примитивным разделением функций. Утопия создавалась для самых низших слоев населения и самого низшего уровня организации жизни общества.

Люди верили в коммунистическую утопию, не подозревая о том, что отвлекаются от упомянутых выше социальных факторов. В самом деле, почему бы людям не заботиться друг о друге? Почему бы не жить в мире и дружбе? Почему бы не распределять трудовые усилия и жизненные блага по справедливости? Почему бы не воздавать людям почести по их способностям, достоинствам, реальным заслугам? Почему бы...? Почему бы...? И, абстрактно рассуждая (т. е. не принимая во внимание все те неустранимые обстоятельства, которые объясняют, почему все это невозможно или возможно в такой форме, какая не имеет ничего общего с мечтой), все это вроде бы возможно. Но абстрактная возможность еще не есть возможность реальная.

Коммунистическая утопия осуществима в реальности лишь в той мере, в какой упомянутые выше факторы отсутствуют в реальности. Но для какого рода человеческих объединений это возможно? Как много таких объединений? Какова их роль среди прочего человечества? А главное — в каких масштабах, в какой форме и как долго коммунистическая утопия может просуществовать в таких объединениях реально? В нашей стране экспериментов на этот счет было достаточно. Кое-что в них было удачным, кое-что нет.

Кое-что вошло в нашу нынешнюю жизнь. Кое-что исчезло как нежизнеспособное. То, что у нас есть, есть результат поисков наиболее жизнеспособных вариантов организации жизни в условиях, предсказанных в утопии.

О диалектике

В России серьезно отнеслись к диалектике. И она прочно вошла в нашу идеологию. И в этом наше преимущество перед Западом. Западная идеология антидиалектична. Даже Германия, где диалектика была открыта, отвергла ее. И это было одной из слабостей германского способа мышления, одна из причин поражения Германии в войне. А Сталин был диалектик. Пусть в примитивной и карикатурной форме, но все-таки диалектик. Вот, возьми сталинские репрессии в отношении командного состава Красной Армии. Общепринятое мнение: Сталин ослабил армию, и это было причиной поражения в начале войны. И Гитлер, помогая Сталину устранять «лучших» военачальников, думал, что ослабляет советскую армию. Да, в какой-то мере это ослабило Красную Армию и способствовало поражениям в начале войны. Но только ли это? И это ли главное? Мы-то с тобой знаем, каким был командный состав нашей армии до чистки. Не будь чистки, мы не имели бы таких поражений в начале войны, но мы проиграли бы войну. Сталин (инстинктивно или сознательно, не могу судить) поступал правильно, намереваясь обновить командный состав армии. Я ведь тоже был предназначен для этого обновления. У нас целая рота была ребят со средним и высшим образованием, нас готовили в офицеры. Сталин не учел инерции огромного общества и не успел провести обновление командного состава до войны. Пришлось это делать в ходе войны. Но одно из условий нашей победы — именно это обновление, т. е. повышение образовательного и интеллектуального уровня командного состава. Вот тебе классический пример диалектики.

Все, что сейчас говорят критики нашей истории и нашего общества, пронизано чудовищной антидиалектичностью, непростительной в наш век буйства науки. Кстати, после Сталина началось некоторое ослабление диалектичности нашей идеологии. [...]

Соучастие

Великая эпоха ушла в прошлое, осужденная, но не понятая. Я прожил лучшую часть жизни в эту эпоху. В ней есть доля и моего участия. В нее вложена моя душа. Я не хочу ее оправдывать — не бывает преступных эпох. Бывают трагические эпохи, в которые совершается много преступлений. Но трагедия не есть преступление. Я не хочу оправдываться сам — совесть моя чиста. Я — сын своего времени. Верный сын. Я работал до кровяных мозолей, заранее зная, что не получу за свой труд ничего. Я голодал. Я мерз. Меня ели вши. Я постоянно ожидал ареста. Я добровольцем ходил в развед-

ку. Я добровольцем оставался прикрывать отступающих товарищей. Я впереди роты шел в атаку. Я работал там, куда меня посылали. Я делал то, что меня заставляли. Меня обходили наградами и чинами. Я никогда не жил в хорошей квартире, не носил красивых вещей, не ел пищу и не пил вин, о которых читал в книгах. Мой опыт в отношении женщин достоин насмешки. Меня никто не обманывал и не запугивал, я делал все сам, добровольно. Я никогда не верил в марксистские сказки о земном рае. Знал, что происходило в нашей реальности. И все же я рад, что жил в ту эпоху и жил так, как прожил. Если бы мне предложили повторить жизнь, я бы выбрал прожитую мною в эту эпоху жизнь из всех возможных.

Великая эпоха ушла в прошлое, осужденная, но не понятая. Я тоже когда-то хотел принять участие в ее разоблачении и осуждении. Я имел что сказать. Я имел моральное право на суждение. Но вот прошло время, и я понял, что эта эпоха заслуживает понимания. И защиты. Не оправдания, повторяю, а защиты. Защиты от поверхностности и мелкости осуждений. В условиях, когда все спекулируют на разоблачениях эпохи и ее продукта (т. е. общества, которое сложилось в эту эпоху), самый сильный и справедливый суд есть защита. И я буду защищать тебя, породившая меня и рожденная мною эпоха!

Сталинизм вырос не из насилия надо мною, хотя я был врагом его и сопротивлялся ему, а из моей собственной души и моих собственных добровольных усилий. Я ненавидел то, что создавал. Но я жаждал создавать именно это. Вот загадка феномена сталинизма. И я сам хочу в ней разобраться. Я знаю, что мои слова иррациональны. Но ведь человеческая история вообще иррациональна. Рациональны только человеческая глупость и заблуждения.

Я рассказал о своем смятенном состоянии Ему. Это нормально, — сказал Он. — Защитники коммунизма уже не способны понять и тем более защитить сталинскую эпоху. Они боятся скомпрометировать себя такой защитой. Они признали эту эпоху черным провалом в светлой истории коммунизма. Потому защищать эту эпоху придется нам, антисталинистам.

Сталинист и антисталинист

Выражение «сталинист» весьма неопределенно. Этим словом называют человека, лично преданного Сталину, активного проводника сталинской политики, представителя сталинской эпохи, принимающего ее идеологически, руководителя сталинского периода... Но сталинизм — это также и социально-психологический тип, наиболее адекватный той эпохе. Такой человек может ненавидеть Сталина и его банду, может заниматься антисталинской пропагандой, но быть характерным представителем именно этой критикуемой им эпохи. Сталинская эпоха породила огромное число человеческих экземпляров, гнуснее которых трудно вообразить себе что-либо. Но она же породила и их антиподов, т. е. людей самоотверженных, абсолютно честных и чистых, искренних, готовых на любые трудности и жертвы ради

своего народа, ради светлых идеалов коммунизма, ради Партии и Вождя. Именно из таких настоящих сталинистов выходили настоящие антисталинисты. Их протест вызывала не идея нового общества как таковая, а ее грубая материальная форма. Они психологически не могли примириться с тем, что великая революция идет в грязи и крови, что несут ее негодяи и ничтожества, не достойные имени человека. Потому, между прочим, мы не можем принять и надвигающегося «либерализма»: он означает конец не только революции, но и всех связанных с нею надежд и иллюзий. Нам нет места в будущем. Мы — дети прошлого. Нам остаются только воспоминания и разъедающие душу сомнения.

А Хрущев, между прочим, своим разоблачительным докладом нанес огромный ущерб делу коммунизма. Ущерб прежде всего психологический. Нужны десятилетия, чтобы кое-что восстановить в отношении людей к идеям и делам коммунизма. Взрослых уже не исправишь. Надо с новых поколений начинать все заново. С детей...

Мы суть характерный продукт революции — ее самый лучший и чистый продукт, но продукт двойственный — продукт легенды революции и ее реальности. Мы впитали в себя легенду революции, но восстали против ее реальности. И теперь мы защищаем не Сталина и сталинизм, а наше собственное участие в той эпохе.

Мы — люди коммунистического общества. И если бы нам пришлось выбирать, где прожить жизнь, мы выбрали бы то же наше общество в то же самое время. Мы боролись против этого общества, но — как члены его. Мы продукт его, рожденный для борьбы с ним. Но в нем. И для него.

Мы были врагами этого общества. Но почему? Потому что мы и есть настоящие коммунисты. Мы — коллективисты. Мы были готовы на самопожертвование ради коллектива. Мы отдавали ему все силы и чувства. И именно потому, что мы — идеальные члены этого общества, мы суть враги его.

Мы в свое время выразили протест против сталинизма, поскольку заметили в жизни нечто такое, что не соответствовало нашим идеалам революции и представлениям об идеальном коммунизме. Потом мы изменили свое понимание революции и рожденного ею общества. Но уже не могли изменить своей психологии.

1983, № 35

НАУМ КОРЖАВИН

А был ли Сталин-то?

Очерки о психологическом развитии советского большевизма

Предварительное замечание

Это работа вовсе не о Сталине, а о том, как развивалась психология большевизма, о том, чем родственны, а чем отличаются друг от друга различные «поколения» (это далеко не всегда связано с возрастом) его представителей.

Некоторые авторы — в эмиграции и в метрополии — ведут себя так, как будто иронический вопрос, вынесенный мной в заглавие этой работы, действительно имеет содержание, давно решен, и решен отрицательно, т. е. никакого Сталина не было. То есть, конечно, такие авторы не отрицают, что Сталин существовал и управлял страной, но считают, что никакой особой роли он в истории не сыграл, что просто при нем механически продолжалось то, что началось при Ленине. С этим взглядом я решительно не согласен. Более того, я считаю его вредным для нашей страны, ибо современная Россия — Россия не послеленинская, а послесталинская. Ибо необратимые изменения в ее структуру и психологию внес все-таки он, хотя победу ему обеспечил Ленин и все, кто с ним. Не говоря уже о том, кем они были и что себе позволяли сами. Отнюдь не для того, чтоб хоть в какой-то степени их реабилитировать, начинаю я сейчас эту работу. Вся их жизнь в те годы, когда они были у власти, все их мысли, построенные на внутренних недомолвках и допущениях, лежащие в основе весьма активных действий, ни уважения, ни сочувствия, ни симпатии не вызывают. Тем более, что они навязывали это (или нечто, исходящее из этого) силой всем другим, которые до сих пор еще за это платятся. И все же они не были хуже того, что пришло за ними, что они сами вызвали. Хотя вины на них, наверно, больше. Разобраться в этом трудно, но необходимо, ибо это наша история и наше настоящее. Те, что с Лениным, были раньше. С них и начнем.

Реликт «чистейшего» идейного большевизма

1. Выбор героя исследования

Даже Маркс еще говорил, что в революции играют колоссальную роль глупость и подлость, и сами большевики утверждали, что среди них мно-

го «примазавшихся». На этих примазавшихся иногда и сваливали наиболее впечатляющие эксцессы. Но даже в тех случаях, когда сваливалось искренне, в этом утверждении, в самой его основе, лежала ложь. Ибо сами большевики делали всё возможное для того, чтобы «разбудить», привести в движение, а потом использовать этих «примазавшихся». Этих «примазавшихся»: ни братишек, ни кокаинистов — от большевистской революции не отдерешь. Однако не их психологию я хотел бы сейчас рассматривать. Не потому, что они «нетипичны», а потому, что, как ни бывали порой они страшны, не в них было дело.

Были среди большевиков и патологические фанатики типа небезызвестной Р. Землячки, кровожадно расстреливавшие людей тысячами, а потом следившие внимательно, чтоб их бывшим единомышленникам, как и другим заключенным, не жилось слишком комфортабельно в сталинских тюрьмах. Наконец, были среди большевиков и люди, уверенно колебавшиеся (или готовые колебаться, но их готовность не была должным образом оценена) вместе с линией партии — только б не оторваться от власти и связанных с ней приятностей, — хоть в сознании это часто оформлялось тоже как фанатизм. Коммунисты в силу многих причин не приучены отдавать себе ясный отчет в своих мыслях и в своей сущности — отказ от этой необходимости искусно закамуфлирован от них верностью воле партии. Такие люди довольно (наиболее) типичны для любого пореволюционного (а может, и дореволюционного тоже) состава большевистской партии. Но исследование психологии такого человека не отвечает моей задаче, ибо всегда мне могут сказать, что я хватаюсь за середняка и игнорирую лучших. А именно в «лучших» сосредоточено то, на что я хочу возразить и что в каком-то смысле противостояло сталинщине — хотя бы ее людям, хотя бы биографически, — несмотря на почти очевидную общность с ней в главном. Но «главное» — не всегда главное при оценке конкретной человеческой личности. Это противоречит официальному мнению большевиков, но никак не личному моему.

Женщина, вокруг которой будет проводиться это исследование, обладает, хотя она и остается большевичкой, многими личными положительными качествами. И, кроме того, она пронесла этот свой большевизм так и сквозь такое, что можно без преувеличения назвать ее героиней. Она сумела остаться самой собой там, где легко разламывало самых сильных мужчин.

Речь идет о Марии Михайловне Иоффе, жене видного троцкиста и личного друга Троцкого, председателя первой советской мирной делегации в Бресте Адольфа Абрамовича Иоффе . Впрочем, она и сама была видной троцкисткой, а также другом и доверенным лицом Троцкого, чем до сих пор гордится.

Ход истории, заставивший ее эмигрировать с бывшей родины мирового пролетариата на родину ее исторических предков, ни в чем ее не разубедил. Ведь о том, что Сталин не приведет революцию ни к чему хорошему, она и ее друзья предупреждали партию неоднократно, за что и пострадали.

Поэтому с них, как говорится, взятки гладки. А то, что Сталин погубил не только революцию, — подробности. И вообще все это для нее — историческая случайность.

На самом деле исторической случайностью было то, что она дожила до сегодняшних дней. Таких, как она, Сталин сживал со света наиболее целенаправленно и абсолютно. Сталин уничтожал их и как врагов, что понятно, и как сознательных свидетелей революции, убивал, как вообще убивал память, — ибо реальная история была отменена.

Судьба была благосклонна к Марии Михайловне. Она уцелела, выжила, а теперь даже вырвалась за границу и опубликовала мемуары, в которых полностью выразилась и высказалась. Последнее — не только ее удача, но и наша. Ибо в своих мемуарах она выступает человеком своей среды и своего времени, во всей первозданности сохранившимся до наших дней. Это в чистейшем виде реликт идейного большевизма. Она до сих пор верит в его правоту и потому говорит правду. [...]

2. Жила-была в Питере девушка...

Мария Михайловна, относясь к старой гвардии, вовсе не была тем, что потом называлось «большевиком с дореволюционным партстажем». Впрочем, весьма многие *старые большевики* стали большевиками только в преддверии октябрьского переворота. Одни — из природной активности, другие — чтоб не отстать от развития революции (как почти все революционеры, они были заворожены историей французской революции и знали, как некрасиво отставать), третьи — из карьеризма или авантюризма. Вообще деление на большевиков, меньшевиков, эсеров и анархистов не пронизывало российскую жизнь так остро, как жизнь российской политической богемы в эмиграции (и как позднейшие истории партии). Его и заметили по-настоящему только после возвращения Ленина в Петроград. Тем легче перебежчикам записывалось в коммунистический партстаж их пребывание в других социалистических партиях. Так что нет ничего удивительного, что Мария Михайловна намекает — весьма неопределенно — на какие-то свои «определенные» связи с партией и до вступления в нее. И это, наверно, правда. Она была еще очень молода, обаятельна, и такие «связи» были у нее с представителями всех оппозиционных партий, со всеми она разговаривала, всем симпатизировала. А в том кругу, где она потом вращалась, т. е. в высоких партийных сферах, было как-то неудобно без дореволюционного стажа. Вот и домыслила, и поверила в свой домысел. Впрочем, ведь ни Троцкий, ни Иоффе, ни все люди «ее круга» не были, говоря по-современному, людьми с чистыми партийными анкетами.

Так что, судя по ее же воспоминаниям, до революции М. М. никакой партийной работой не занималась. Прежде всего, по молодости лет. Она просто кончила одну из лучших петербургских гимназий и поступила в Бехтеревский Психоневрологический институт. Надо полагать, ее наперебой

зазывали к себе все партии и группировки, организации которых во множестве расплодились в этом учебном заведении. Судя по тому, как М. М. рассказывает о месяцах, проведенных в институте (а буквально месяцы отделяли день ее прихода в институт от Февраля), реагировала она на все это чисто по-женски, верней, по-девичьи. Ее интересовали не столько программы, сколько люди — их яркость и увлеченность. По существу, ей нравились (и продолжают нравиться) — все. Вот как она сама вспоминает об этом: «*Кого только среди нас не было — были бундовцы, социал-демократы, кадеты... — причем все идеалисты, готовые сложить головы на плаху за свое дело*». Говоря это, Мария Михайловна абсолютно упускает, что долгое время принадлежала потом к элите той партии, которая многим из этих «идеалистов» помогла реализовать эту их горячую готовность «сложить голову». Конечно, потом та же участь постигла и саму Марию Михайловну и всех ее друзей...

«*Это была особая эпоха, и вышли из нее люди особого склада*, — продолжает восхищаться она. — *Почему так естественно, что я провела двадцать восемь лет в лагерях? Да потому что я человек из другого времени, человек культуры XIX века, культуры нашего института. Что могло быть общего у меня с теми, кто пытал меня и миллионы таких, как я, в подвалах Лубянки?*»

Неприятно говорить это человеку, проведшему двадцать восемь лет в лагерях, но кое-что общее с теми, кто ее пытал в подвалах Лубянки, у нее все-таки было. Ибо пытать в этих подвалах начали задолго до того, как там оказалась Мария Михайловна и ее товарищи. И пытали тоже в основном людей «культуры XIX века». Если не сразу эсеров и меньшевиков, то уже кадетов — довольно скоро. И совершенно не исключено, что некоторые из пытавших или расстреливавших (т. е. отдававших приказы о проведении того и другого) иногда захаживали после занятий на огонек в высокоидейный и высококультурный дом Иоффе поговорить о сокровенных тайнах диалектики или о новостях современной культуры (все они были большие западники и культуртрегеры, как все окружение Иоффе). Во всяком случае, у Марии Михайловны и ее мужа не могло быть никаких принципиальных причин чураться людей, выполняющих столь трудный долг перед революцией. И вряд ли они чурались...

И все-таки в одном она права: все, кто ее окружал, на самом деле дети XIX века — в отличие от «сталинских соколов», которые шли к ним на смену. И с которыми общее у них было все-таки не всё. Только, — как к этому веку ни относись, — все они блудные его дети.

Кстати, и для тех, кому необходимо лишний раз убедиться, что «все это сделали евреи», в этих мемуарах тоже есть пожива: всякого рода Мони и Товии Лазаревичи разбросаны в них, как грибы в лесу после дождя. Это не говоря о том, что М. М. сама еврейка и одно время склонялась в институте даже к сионистам, а также о том, что евреями были ее муж Адольф Иоффе и их общий друг Лев Троцкий. Но нигде — вопреки новомодным толкованиям — никто из них не действует как еврей и в каких-то отдельных еврейских интересах. А в жизни и самоощущении М. М., несмотря на ее мимолетную

склонность к сионизму, еврейский вопрос вообще не сыграл заметной роли. В революцию — уже происшедшую — ее толкнули отнюдь не притеснения по этой части. Кстати говоря, на большевистский Олимп ее ввела женщина, которую звали Прасковия Ивановна.

Это, конечно, не значит, что М. М. с такими притеснениями не сталкивалась или о них не знала. Знала. Не могла она не знать о существовании процентной нормы. Но в Бехтеревском институте ее не было. Правда, этот институт и не имел прав, т. е. не мог выдавать дипломы. Но это только означало, что каждый кончивший этот институт должен был потом держать экзамен на врача в Университете. Только и всего. [...]

Судя по всему, вторая женитьба отца произвела на М. М. более глубокое впечатление и врезалась глубже в память, чем черта оседлости, процентная норма и общее положение евреев в старой России: «*Я так и не смогла простить отцу его вторую женитьбу*, — вспоминает она через много лет, — *и, возможно, именно она во многом определила мою будущую судьбу*». Это означает, что ее толкнула в революцию не надежда на разрешение какого-либо конкретного и конечного вопроса (национального, аграрного и т. п.), а надежда победить прозу жизни и исправить экзистенциальную испорченность бытия. В этом соблазн всякого подлинного революционерства.

Впрочем, ни причины, ни пути, приведшие М. М. к большевизму, из ее мемуаров не ясны. Неясно даже, когда именно стала она склоняться к этому боевому вероучению. Окончательно это для нее оформилось, когда М. Вульф, в книгоиздательстве которого она работала, уволил ее за попытку организовать профсоюз и она с младшим братом остались без средств к существованию. Она вышла из издательства и вдруг решила отложить все заботы на завтра и, имея в кармане всего шесть копеек, сходить на выступление Луначарского в Цирк-Модерн.

Дальше события полетели стремительно. Выступление Луначарского ее потрясло, она написала об этом статью, передала ее в редакцию газеты «Рабочий путь» (одно из названий «Правды» в 1917 году), статья была с некоторыми сокращениями напечатана, а М. М. получила по почте открытку с приглашением зайти в редакцию к уже упоминавшейся Прасковии Ивановне. Ей была предложена работа в редакции, а тем самым, хоть об этом никто тогда не думал, и место в большевистской элите. Таков сюжет.

Он прост, но все-таки тут не все понятно. [...] Думаю, что в основе вдохновений, определивших ее выбор, лежало то чувство, которое она сама сформулировала так: «*Казалось мне, что настоящая жизнь грохочет мимо меня, а моя жизнь совсем ничтожная*». Желание грохотать вместе с сорвавшейся с цепи «настоящей жизнью» и боязнь отстать в своей ничтожности от ее грохота, боязнь ничтожества — вот что руководило тогда многими молодыми людьми. Такое чувство всегда живет в определенной части молодежи, потом оно проходит. Но для близких ей по духу сверстников и для нее самой это «потом» так и не наступило: через несколько месяцев они уже заправляли делами огромной страны. Грохот в их душах роковым образом наложился

на грохот времени. Они долгом чести считали вскочить в грохочущую под уклон вагонетку, и только единицы успели потом одуматься и вовремя выскочить из нее.

Так или иначе, но молодая студентка после успеха своей статьи в большевистской газете большевизмом увлеклась — хотя, может быть, не столько его идеологией, сколько напряженным динамизмом его тогдашнего быта и его деятелями, к которым получила доступ. Большевистскую логику она тоже старательно перенимала, но усвоила, как мне кажется, не до конца. Вот как не по-большевистски переживает она разрыв с левыми эсерами: «*И еще на душе было кисло оттого, что рвем с левыми эсерами. С меньшевиками порвали, с интернационалистами порвали, остались одни левые эсеры*». Скорбь ее понятна. Ведь это речь о тех «интересных людях», с которыми она училась и спорила в институте. Ей и теперь трудно от них отказаться, а теперь они все враги. Впрочем, большевики люди дела, а не слов и не чувств. А на том, что делала Мария Михайловна, эта ее «кислость» никак не отражалась. А делала она, как увидит потом читатель, — многое. Еще бы! Ведь перед ней раскрывались захватывающие перспективы. Образованных, да и просто вполне грамотных людей у большевиков явно не хватало: студентка Бехтеревского института, недавняя выпускница одной из лучших питерских гимназий, да еще знающая языки, во всяком случае немецкий, да еще красивая, обаятельная и вдохновенная, — была нарасхват. Не успела она как следует утвердиться в газете «Рабочий путь», как выяснилось, что ей гораздо целесообразней работать в Отделе печати Совнаркома, и ее забрали туда. Что она там делала — непонятно. По ее словам, ведала связью Советского правительства с иностранными корреспондентами. Вероятно, было и это. Кроме того, она продолжала записывать (начала еще в газете) речи вождей революции. Не всегда Ленина, чаще Луначарского, всегда — таков был его приказ — Троцкого. Причем Троцкий приказал это раньше, чем познакомился с ней, и раньше, чем она познакомилась с его другом Адольфом Иоффе, — просто однажды ему понравилось, как она его записала. Но единственный поступок, совершенный Марией Михайловной на этом посту, о котором она рассказывает, — это арест журналиста, причем не иностранного, а русского — знаменитого Василевского-Не-Буквы. Факт этот сам по себе незначительный, ибо не имел последствий, даже смешной отчасти, но он довольно хорошо характеризует если не саму М. М., то общую обстановку, создаваемую большевиками, и их самих. Так что имеет смысл коснуться этого эпизода подробней.

Арестовала М. М. маститого журналиста сгоряча за то, что тот не хотел, несмотря на требования и угрозы, перестать ругать советское правительство (ведь она как-никак была представителем этого правительства). Сказано — сделано. Не-Буква был водворен в холодную комнату, в арестное помещение, оказавшееся в том же здании, что и Отдел печати. Так что большевистские интеллектуалы не гнушались работать рядом с большевистскими охранниками. Их это не смущало. Не знали они еще своей судьбы. И даже

того, что через несколько недель они сами начнут кровожадно призывать к красному террору и оправдывать расстрелы, производимые на основании записей в домовых книгах (по ним определялась соцпринадлежность), — они еще тоже не знали. И наука наук ничего про это не говорила, а если б и говорила, они б не услышали: они в ней искали и находили другое — то, что окрыляло.

Но времена еще были патриархальные, и, арестовав человека, М. М. растерялась, не зная, что делать дальше. Старшие товарищи, к которым она обратилась за советом: Дзержинский, Радек, — отнеслись к происшествию с юмором: «Сама арестовала, сама и решай!» Воистину пасторальные еще времена! Видимо, не развернулась еще как следует советская власть! В общем, М. М. заметалась. Она занялась добыванием бутербродов для своего узника в совнаркомовском буфете, начала всячески кормить его и ублажать. В конце концов, она не выдержала и объявила Не-Букве, что тот свободен и может убираться на все четыре стороны. Не-Буква отказался, сказал, что от такого питания и такой тюремщицы никуда не уйдет. Ушел он только под угрозой применения силы... Так что очень забавная в результате получилась история. История о том, как интеллигентная и обаятельная девушка полемизировала со взрослым интеллигентным мужчиной. Если даже такая девушка в том окружении могла так просто арестовать человека, то что говорить о многих других. Ведь не все проигрывали идеологические споры — некоторые и выигрывали...

Мария Михайловна испытывает некоторую неловкость в связи с этим эпизодом, но и только: общий смысл, общая неправомерность таких эпизодов от нее ускользает. Ибо слишком много — особенно в это время и по отношению к нему — она применяла диалектики, слишком многому научилась у людей, среди которых жила и которых называет «философы и романтики революции». Память об этих людях она бережно хранит, пронеся ее через жизнь, гораздо более героическую, чем, вероятно, жизнь большинства ее учителей. Да и противников тоже. Но героизм — не гарантия правоты или даже невиновности. Впрочем, о героизме Марии Михайловны Иоффе я буду говорить во второй части этой работы. Здесь же меня интересуют ее учителя — те самые «философы и романтики революции», которые занимают так много места в ее жизни и памяти.

«Философы и романтики революции»:

1. Троцкий

Прежде всего, вызывает удивление само это определение. Причем речь не о каких-то романтических философах, а именно о романтиках, да еще таких, чья романтика связана с определенным явлением — с революцией. Это не столько определение, сколько противопоставление. Этих людей Мария Михайловна противопоставляла в душе тем, кто ее пытал и мучил на ее крестном пути по лагерям и тюрьмам. Эти последние не были не толь-

ко философами (ими не были и ее учителя: всякий большевизм враждебен спокойному размышлению), но и романтиками, а романтиками ее учителя все-таки были. Говоря так, я вовсе никому не льщу, романтика в моих глазах не является достоинством. Но их романтика вдобавок вообще не была бескорыстной, она парила над всеми установлениями, божескими и человеческими, чтоб оправдать в их же глазах захват ими того положения, которое они после этого насильственного захвата занимали.

В этих людях, может быть, полней, чем в других, воплотились дух и психология большевизма. Несмотря на культивируемую «широту» и «культурность», в них явственно проступал его непреклонный догматизм. Они поэтому и принадлежали потом к его догматической, «троцкистской» оппозиции, составляя ее интеллектуальный и организационный центр. А в те времена шаталось все, и любая устойчивость — даже основанная на их догмах — имела всеобщее значение, что-то сохраняла — отнюдь не в партийных программах. А ведь они были не только больше всех оболганы, но и более направленно, чем все другие, уничтожались. Достаточно сказать, что другим: иногда меньшевикам, иногда священникам, иногда трактористам, — для того чтоб их уничтожить, приписывали «троцкизм». Кстати, это слово, оторванное от своего смысла и ставшее жупелом, было одним из мощнейших средств массового оглупления. Так что невозможно освободиться, не вернув этому слову его первозданный смысл . То, что этот первозданный смысл тоже отнюдь не приятен, — другое дело.

Троцкизм — это большевизм, и все преступления троцкистов совершены ими не как-то отдельно, а в составе партии, в порядке проведения ее линии. Будучи изгнаны из партии (и с высоких постов), они утратили всякое влияние на события. И даже в том случае, когда Сталин заимствовал важнейшие пункты их программы, это была его, а не их политика, и никакой реабилитацией троцкизма или троцкистов она не сопровождалась. Поэтому самое страшное преступление советской власти перед страной — уничтожение деревни во время коллективизации — совершено не ими и не по их инициативе, как бы они сами к этому ни относились. А относились они к этому, когда это стало проводиться в жизнь, очень неоднозначно. Во всяком случае, как свидетельствует их соузник по политизолятору Цилига, они были весьма смущены, когда в привилегированной тюрьме для партийцев прочли пришедшее из-за границы инструктивное письмо их лидера Троцкого, в котором тот, правда, с оговорками, это ужасавшее и их мероприятие одобрил: «*Сталин выполняет нашу программу!*» — торжествовал он. Оговорки же, в основном, сводились к тому, что Сталин делает это слишком грубо, — конечно, не так, как делал бы сам Троцкий (как будто можно такие вещи делать тонко). Но оговорки ничего не меняли: программа — «наша»!

Что ж, спорить трудно. Действительно, в троцкистской программе были и коллективизация, и наступление на кулака, и построение социализма путем ограбления крестьянства. Но эту программу конфисковал, присвоил, выполнил и перевыполнил Сталин — без троцкистов. И никто не знает,

как бы они ее выполнили сами. Конечно, ничего хорошего быть все равно не могло. Но, при всей порочности их программы, у троцкистов было одно важное в моих глазах преимущество — открытость. При объявленности такой программы пришлось бы, столкнувшись с жизнью, отказаться от нее или расшибить себе голову (что тоже было бы неплохо). Но, во всяком случае, они не называли ограбление ростом благосостояния, а террор — торжеством демократии, т. е. не погружали страну в прострацию, не отменяли реальность, как делал Сталин. Он расшиб голову не себе, а самой жизни страны и народа.

Это очень важно отметить, ибо сегодня у некоторых появляется соблазн свалить именно на троцкистов все это страшное мероприятие. Не избежал этого соблазна и Василий Белов в своем замечательном и точном во всех других отношениях романе «Кануны». У него получается, что все, надвигавшееся на русскую деревню в 1928 году, — результат подпольной и хитрой деятельности разгромленных к тому времени троцкистов . В. Белов приводит в доказательство своей правоты подлинные факты и документы, даже частные письма, оказавшиеся в спецотделе губкома, но только факты эти доказывают совсем не то, что ему хочется доказать. То, что программа троцкистов и их намерения в случае исполнения были бы (и стали) несчастьем для России, в доказательствах не нуждается. То, что существовало троцкистское подполье и троцкистские листовки, — тоже. То, что в конце 20-х мысли, содержавшиеся в этой программе и в этих листовках, стали проникать в партийную печать и партийные документы, т. е. становиться партийной политикой, — тоже. Нельзя только, хоть и требовалось бы, доказать, что между всем этим существует организационная связь, преемственность. [...]

Правда, Сталин, повторяю, к насильственной коллективизации или к ограблению крестьянства никогда не призывал. Он только все это проводил в жизнь, иногда даже как бы одергивая тех, кто выполнял его распоряжения, обзывая эту рядовую исполнительность «головокружением от успехов». Не от чего-нибудь, а именно от *успехов*: успехи, оказывается, тогда — при всеобщем голодании — были, да еще такие, что от них могло сделаться головокружение. Впрочем, люди в это не вдумывались, рады были, что немного отпустило. Многие даже благодарны были Сталину, словно не свою, а чью-то чужую руку на горле он ослабил... Но логика терроризованного населения — это отдельная и серьезная тема.

Все это действительно был заговор, но заговор не троцкистов, а Сталина — заговор лжи, равной которой нет, путающей и до сих пор людей. Но я говорю об этом сейчас не для того, чтоб защитить троцкизм, а наоборот, потому что пишу о троцкистах как о наиболее полном выражении большевизма — т. е. резко отрицательно. А поэтому не хочу выглядеть подпевалой тех, кто старается видеть в троцкизме единственного носителя всех бед, постигших Россию (особенно страстно упирают на это те, кто ставит знак равенства между словами «троцкист» и «еврей», в чем есть и дополнительное упрощение). Самое же нелепое — это пытаться отделить боль-

шевизм от троцкизма. Большевизм и сам отделялся от троцкизма по мере того, как отделялся от своей идейной сущности. Впрочем, она всегда в нем отступала перед сущностью организационной, которая освящалась как идеологическая ценность и сводилась к голому прагматизму. Все это вело к той чудовищной форме правления — идеократии без идеологии, — которую утвердил Сталин и с которой мы имеем дело сейчас. Но до поры до времени троцкисты вполне с этим мирились. Поэтому они не имели понятия о том, что революция перерождается. [...]

Впрочем, рядовые троцкисты редко появляются на страницах мемуаров Марии Михайловны. М. М. имела больше дела с руководителями. Из них, естественно, самой крупной фигурой был сам Троцкий.

Образ этого человека вообще занимает особое место в жизни и памяти М. М. Иоффе. С Троцким и с революцией (почти знак равенства) связана для нее, по ее словам, «*основная линия жизни, вне которой события, факты, да и сама жизнь обретают какой-то неосмысленный, лоскутный характер*», т. е. фактически с этим образом для М. М. связан самый смысл жизни.

Но кем он был, этот Троцкий, из которого сотворила себе кумира юная студенточка и образ которого продолжает привлекать пожилую пенсионерку? Хорошо, он не был гитлеровским шпионом и отравителем колодцев, — в лубочные ухищрения сталинской пропаганды теперь мало кто верит. Хорошо, он был замечательным оратором, — об этом мы тоже слышали. Но это уже не так ясно. Какой сущности соответствует это качество? Или, как говорит сама М. М., в чем секрет его ораторского обаяния? На этот свой вопрос она четкого ответа не дает. Поначалу оказывается, что прежде всего — в мыслях, а, во-вторых, — в филигранной отточенности речи (т. е. опять-таки в мыслях). Но потом выходит, что не совсем в мыслях, но и не совсем без них: «*...как только он начинал говорить, он захватывал вас в водоворот своих мыслей, и вы оказывались под гипнотическим влиянием этого человека*». Ход рассуждений М. М. весьма характерен для того нетрезвого, митингового времени. И отчасти — дамский. Троцкий выглядит байроническим кавалергардом с безднами в душе, загадочной натурой, Печориным — только соблазняющим не отдельных девиц, а целые толпы: «*Он обладал только одному ему присущим умением доводить аудиторию до высшей точки накала, — именно это и произошло, когда он в разгар своей речи вскинул вверх два пальца и воскликнул: "Клянитесь, что вы поддержите пролетарскую революцию!" И вся аудитория, тысячи людей, скандировали вслед за ним: "Клянемся!" Скандировал даже один меньшевик, ярый враг восстания, присутствовавший при этом массовом действе. Потом он оправдывался: "Когда стоишь и слушаешь этого человека, невозможно не следовать за ним"*». Полагаю, что ни с какими «мыслями» все это не имеет ничего общего. И собственно, требовал Троцкий от аудитории малого — только поддержки, вовсе не от чего приходить было в экстаз. Но это объясняется еще и состоянием аудитории в то время, жаждавшей обретать этот экстаз. Впрочем, потом и сама М. М. объявляет: «*На аудиторию он влиял не только мыслью, но и голосом, интонацией, всем своим*

обликом. Возможно, если бы даже те же слова, даже речь, произносились кем-то другим, они не обладали бы таким воздействием». Возможно. Но только дело не в мыслях. Да и кто разгадает секреты темного ораторского обаяния! Известно, что Троцкий иногда словом усмирял и поднимал в атаки взбунтовавшиеся полки, — без обаяния такого б не получилось. Так в чем же его секрет? Впрочем, тут в секрет этого обаяния входил элемент, по-видимому, мне понятный. Действовал эффект разговора с человеком, стоящим у власти. Аудитория на миг чувствовала себя причастной к высшим государственным соображениям, и ей это льстило. В конце концов, Троцкому было нужно, чтоб красноармейцы в данный момент пошли в атаку, что они будут думать потом, — было уже не так важно. [...]

Все это я говорю в подтверждение своего тезиса, что ораторское искусство — ценность далеко не абсолютная. Что же касается Троцкого, то я думаю, что своими речами он часто заговаривал еще и самого себя. Человек образованный, умный и, говорят, талантливый, хотя не мог же он так никогда не ощутить дыхания пустоты в том месте, где предполагалась конечная цель; должен же он был хоть иногда сомневаться в том, что, говоря словами солженицынского Ивана Денисыча, «и солнце ихним декретам подчиняется». Не мог же он так всю жизнь безболезненно для своего духа переть с доктриной против самой сути жизни...

А может, и мог. «Бюллетень оппозиции», издававшийся им за границей со дня высылки до дня смерти, как будто вполне это доказывает. Весьма показательный журнал, этот «Бюллетень». Троцкого за границей интересует не положение в стране, а положение в партии. Это очень характерно для него. Рассуждал он по-видимому так. Страна все равно в «наших» руках. Поэтому важно, кто из «нас» будет ею управлять, какой путь службы социализму изберет: с бюрократическими извращениями или без оных. И в любом случае власть должна оставаться в «наших» руках, даже если «мы» — это Сталин, уничтоживший партию. Все равно поверить в то, что уступка власти контрреволюционерам — не самое страшное, он не мог. Это значило признать, что все высшие пики его жизни — кровавый блеф, самообман, дорога, «любой ценой» (а слово «любой» у них вовсе не было гиперболой) пробиваемая в никуда, точней, в пропасть. В этом он не сознался никогда. Его «Бюллетень» — несмотря на все, что он знал, до самого конца назывался «Бюллетенем оппозиции», как будто партия, по отношению к которой он мог быть оппозицией, действительно еще существовала, не была уничтожена и подменена. Да и считал он необходимым защищать «СССР» в случае войны с Германией — тоже только потому, что нужно было сохранить там «пролетарскую власть», хоть и подвергнутую бюрократическому искажению.

Впрочем, и некуда ему было уже отступать. Слишком много преступлений совершил он, исходя из гипотезы, принятой за аксиому. [...] Можно было бы наивно спросить: «Где была его совесть?», но она, по-видимому, еще до революции была вытеснена доктриной. Все же надо и Троцкому отдать должное: он и потом не апеллировал к совести. Он вообще ни к чему

живому не апеллировал, а жевал в своем «Бюллетене» жвачку, стилистически близкую к газете «Женминьжибао» времен Мао Цзе-дуна. И выхода не было у него другого.

Такого же сорта и остальные его заслуги, — например, то же создание Красной Армии путем мобилизации в нее офицеров и генералов Русской Армии и отдачи их под контроль партийных комиссаров (потом эту заслугу конфисковал Сталин). Цель была проста — под угрозой смерти заставить людей «честно» служить чуждому, а то и враждебному им делу. Все должно было окупиться в будущем. Признаться в том, что не окупилось, он никогда не смог. Говорят, что он был смел и храбр, — может быть. Но духовного мужества у него не было никогда.

У этих людей были свои заботы, они, так сказать, жили напряженной внутренней жизнью — хранили чистоту риз и верность тому, чего не было. Даже странно думать, что это была верность тактической идее, тому или иному варианту тактики. Видимо, человек может превратить в предмет веры, заполняющей жизнь, что угодно. Если у него нет более общей веры — религии. И если это способствует его самоутверждению.

Но Троцкий — конечно, самое крайнее выражение этой доктринерской болезни.

2. «У наших...»

Но круг, в котором жила Мария Михайловна в самый светлый период своей жизни, не исчерпывается Троцким. Были и другие. Конечно, не стоит всех этих людей мазать одной черной краской. Были у них, наверно, свое бескорыстие, своя самоотверженность. И то, что Мария Михайловна, которую эти люди вознесли высоко (в смысле общественного положения и духовного парения), остается им верна и сегодня, когда судьба их «в бездну бросила без следа», выглядело бы скорей трогательно, чем возмутительно (тем более, на фоне тех лет, когда любая верность, кроме верности очередному приказу, была не в моде), если бы... Если бы можно было зачеркнуть тот факт, что все свое парение и благополучие люди этого круга строили на фоне принесенного ими другим несчастья. Причем это несчастье не было для них опровергающим аргументом. Если это «ошибка» (большевики очень любили это слово), то, в первую очередь, духовная и моральная, а не интеллектуальная или тактическая. И как бы ни воспевала их М. М., ни мудростью, ни честностью интеллекта ее друзья не отличались. Они не были духовной и интеллектуальной элитой своей страны, но силой вещей и просто *силой* заняли ее место. Это независимо от их воли определило многое в их дальнейшем положении и поведении, в их психологическом строе. Конечно, пришедшие потом им на смену были еще страшней, чем они. Но, во-первых, обстановку, в которой те смогли победить, создали тоже они (т. е. сами потерпевшие), во-вторых, это ничего не меняет (хоть они и сами погибли от этого).

Да, эти люди жили скромней, чем теперешнее начальство. Но все же их положение все равно было несколько странным для борцов за равенство. А именно — сами они ели, когда другие были по их вине голодны. И даже считали это естественным: «*В здании Совнаркома*, — вспоминает М. М., — *было две столовых — одна внизу, другая — рангом повыше — на третьем этаже*». Нет, это не признание в том, что пресловутые «ленинские нормы» нагло нарушались еще при Ленине и с его ведома, это просто незначащая подробность в рассказе о том, как она познакомилась с будущим мужем: «*И вот однажды поднимаемся мы с Радеком в столовую на третий этаж, и вижу вдруг брюнета с незнакомым и очень интересным лицом*». Значит, так: устроили революцию, ввергли громадную страну в хаос во имя равенства, а сами защитились от этого хаоса всевозможными «столовыми на третьем этаже». Повторяю: конечно, это ничто по сравнению с сегодняшней высокоорганизованной, четко действующей и дифференцированной системой самоснабжения советской номенклатуры, но лиха беда начало. И это очень символично — что со своим избранником Мария Михайловна встретилась впервые именно в таком месте, месте встреч людей своего круга.

Конечно, порядок этот придумала не Мария Михайловна, но в жизнь он вошел не без согласия не однажды здесь помянутых философов и романтиков революции. И рассуждали они, вероятно, здраво. Никакая революция, никакая война не может быть успешной без штаба, а штаб должен быть свободен от забот о сытости. А к штабу, конечно, относятся товарищи, наиболее преданные мировой революции и наиболее ей полезные. Такие, как, например, Мария Михайловна, ввиду своей активности, а также знания необходимого для распространения революции немецкого языка. Не знаю, кто решал, кому для развития революции необходимо есть в первую очередь, а кто может ей служить и на пустой желудок. Подозреваю даже, что их рассуждение о штабах верно. И без штабов, без неравенства не обойтись. Но тогда и революций не надо устраивать во имя равенства. Однако — устроили. И установили прямую связь между уровнем сознательности и уровнем сытости. И какими бы тонкими и умными они ни были, сколько раз бы ни читали в подлиннике «Капитал», все-таки именно сытость отделила круг наиболее сознательных от всех остальных. Она как бы дополнительно цементировала их партийность и идейность, вознося этих романтиков над мыслями, заботами и опасениями всякого рода презренных мещан и обывателей. Так что не удивительно, что свой «третий этаж» был у этой интеллигенции не только в смысле питания. В каком-то смысле и не столько...

Впрочем, при всей уникальности большевистской интеллигенции вовсе не следует рассматривать ее уж слишком отдельно от того, что вообще происходило в культуре и в сознании современного ей мира. Никто не спорит, они были представителями самого коллективистского, ультраколлективистского, даже уравнительного, мировоззрения. Но в то же время они, не желая никак отставать от «всего передового в Европе», совсем не были чуж-

ды и весьма распространенного там воинственного индивидуализма, всяких форм авангардизма. С последним их сближало общее боевое неприятие основ бытия и то презрение к «мещанской морали».

Это их настроение я однажды уже назвал «большевистским ницшеанством». Ведь, если вдуматься, в индивидуализме они нуждались больше других, нуждались практически. Ибо нет в марксизме роли более незавидной, чем роль рядового представителя революционной массы. Оно, конечно, — кто спорит? — роль почетная, пролетарский поэт даже воспел состояние, когда «каплей льешься с массами». Но одно дело «литься» с ними, другое — к ним принадлежать. Ибо массы — это не субъект, а объект творческого воздействия, массы надо формировать, организовывать, воспитывать и т. д., чтоб они правильно выполнили назначенную им историей роль, но, например, пускать их в столовую на третьем (а то и на первом тоже) этаже — не обязательно. Так же не обязательно разговаривать с ними как с людьми, — их надо только агитировать, т. е. «правильно ориентировать», чтоб вызвать полезные делу (в конечном счете им самим) реакции и действия. Ибо они — строительный материал, объект сознательного творчества. Относиться к этому иначе — мещанство. Антимещанский «творческий» пафос декаданса пришелся «мыслителям» революции в самый раз.

Правда, эта близость к декадансу и индивидуализму несколько не гармонировала со многим, на чем они были воспитаны, но марксизм своей разветвленной диалектикой допускал здесь кое-какие тонкости толкования (как и в вопросах самоснабжения). Он вообще подходил к делу научно и не ставил грядущую победу справедливости в прямую зависимость от нравственности поведения тех, кто за нее борется, т. е. опять-таки оставлял много места для эстетического презрения к пошлой морали. Это освобождало их от чрезмерной прямолинейности в личном быту и духовном обиходе. Это позволяло, допустим, Ларисе Рейснер вести на всех фронтах Гражданской войны жизнь революционной гранд-дамы. Так что некоторое сближение, а иногда и сращение богем — художественной и суперреволюционной (а чем еще были эмигрантские колонии в Женеве и Цюрихе, как не богемами?) — не случайно. И так это не только в России (например, Луи Арагон).

В этой связи очень интересен разговор Марии Михайловны с мужем о том, нравственен или не нравственен их друг Карл Радек.

«*Радек как личность долгие годы оставался для меня загадкой. Один раз, это было уже в 20-е годы, я заговорила об этом с Адольфом Абрамовичем, спросила мужа: “Ты знаешь, я не могу в нем разобраться: нравственный он человек или безнравственный. Ум — бесспорен, талант — бесспорен, никого равного ему по журналистскому таланту я вообще не знаю, даже за границей...” Так вот, Адольф Абрамович тогда так ответил: “Видишь ли, в оценке его профессиональных способностей ты абсолютно права, а что касается, нравственен он или безнравственен, так он — не нравственен и не безнравственен, он — по ту сторону морали, она для него просто не существует, у него свои нормы поведения, свои мысли, свои поступки”*».

Так и кажется, что это разговор не политических деятелей о политическом деятеле, а каких-то третьестепенных богемных художников о своем собрате. Это явно отголосок других разговоров, слышанных ими при других обстоятельствах, на всем этом общая печать культурного кризиса, охватившего мир. Впрочем, разве коммунизм и нацизм — не ипостаси этого кризиса?

Пикантно то, что сами по себе Адольф Абрамович и Мария Михайловна — люди отнюдь не столь гибкие в моральном отношении (пока их не сбивает с толку мировоззрение), но они, тем не менее, пасуют перед столь явно выраженным тотальным аморализмом, пасуют перед объединенным напором большевистской диалектики в нравственных вопросах и снобистской «изысканности» современных людей без шор (и перед теми, кто умеет использовать все это в личных интересах, что нетрудно). Даже при сегодняшнем своем опыте, наглядно и жестоко продемонстрировавшем перед ней ценность обычной «мещанской» порядочности, М. М. все же допускает следующий пассаж: «*Это* (т. е. характеристика Радека, приведенная выше) *была абсолютно правильная характеристика. Вспомните хотя бы Радека на процессе 37-го года* (ошибка — 1938-го. — *Н. К.*), *ведь никто так "осмысленно", так "вдохновенно", на таком "философском уровне" не каялся и не предавал других, как Радек. Я определенно знаю ход его мыслей: главное выжить, а потом мы все объясним! А то, что это безнравственно, его просто не занимало. Вот что, по-видимому, имел в виду Адольф Абрамович, когда говорил, что он, Радек, по ту сторону морали*».

Вот какая, значит, сложная фигура был Радек. Представьте себе, что бы было, если бы такая сложная фигура появилась где-нибудь на процессе эсеров. Как бы потешалось над ним все окружение Марии Михайловны — и в печати для масс, и в своем кругу «старых борцов» — для самоуважения. А тут вот как все усложненно воспринимается. Даже место такое придумывается (верней, заимствуется у богемы): «по ту сторону морали», но в то же время и по ту сторону аморальности. Последнее, естественно, нелепость (по ту сторону морали — только аморальность), но нелепость вполне модная и «европейская». Во всяком случае, и сегодня Мария Михайловна не может отказаться от нее, хотя образ, нарисованный ею, весьма неприятен.

Я совсем не убежден, что М. М. сохранила бы такое «эстетическое» отношение к Радеку, встреть она его в лагере. Во всяком случае, к старому большевику Сафарову, угодничающему перед начальством, она относится без всякого снисхождения. Хотя с битого-перебитого (в буквальном смысле) Сафарова спросу куда меньше, чем с сытого и вальяжного Радека. Трудно себе представить, что такой человек бы в лагере не стучал. Ведь принцип: «Главное выжить!» — действовал и в лагерях. Собственно, что за ним было еще, кроме этого цинизма и безразличия ко всему, кроме, может быть, заостренной (в любую сторону) фразы («талант!»)? Такие люди тогда и потом встречались среди наиболее отвратительных, «утрированных» представителей богемы, но они и там воспринимались как подлецы. Правда, подлость

им прощали — «за гениальность». Здесь — еще и за мировоззрение и пользу, которую ему приносят.

Впрочем, убеждение, что мировоззрение и польза могут искупить любые пороки, вообще свойственно большевикам. Особенно Ленину, хотя он на индивидуалистическом искусстве не воспитывался и к своим «нормам» пришел без него. Не нуждаясь, в отличие от Сталина и Гитлера, в своих идеализированныых портретах, он, подобно им, совсем не нуждался и в «самовыражении». Но для психологии интеллектуального большевизма друзья М. М. в чем-то более характерны, чем сам Ленин.

Впрочем, Марию Михайловну эти материи не интересуют. Она говорит о них только, чтоб подчеркнуть, что вообще все они (т. е. ее друзья) были очень разными, в отличие от тех «манекенов со стертыми лицами», какими они выступают в сталинской пропаганде. И действительно, люди они были сложные и разные. Радек, как мы видели, был подлецом, ее муж Адольф Иоффе, — человеком принципиальным. В Троцком Джон Рид, к вящей гордости М. М., находил даже «нечто мефистофельское» (т. е. изысканно сложное), и, кроме того, Троцкий понимал поэзию: нашел стихи Ахматовой слишком женскими, «почти гинекологическими», хотя и оценил их высоко.

Так что сложность у всех налицо. Была она и у тех, кто в круг М. М. не входил. Например, П. С. Коган объяснял Цветаевой, что он хоть и марксист, но когда есть время, любит красоту — наслаждается Бальмонтом.

Впрочем, дело не в этом. Я никогда не верил сталинской пропаганде и на ее счет согласен с Марией Михайловной. Но все же заботы самой М. М. меня не трогают. Дело в том, что в своей индивидуальной неповторимости, в следовании «культурности», они совершенно всерьез требовали от всех остальных полного растворения в коллективе, в классе и исторической необходимости, требовали жертвенности — не только физической, но и духовной и, кроме того, старались, как уже говорилось, кормить других жвачкой, которую сами, как наиболее сознательные и преданные делу, есть не хотели. Т. е. в этом смысле тоже ходили в свои «столовые на третьем этаже» — пользовались такими же привилегиями, которые только на этот раз касались не еды, даже не информации, а духовных удовольствий.

С самого начала коммунисты присвоили себе в качестве привилегии право не придерживаться собственных принципов, во имя которых и совершали свои преступления. Много изменялось в их партии, но это осталось. Я знал одну женщину, партийку со стажем, и стажем не сталинским, которая когда-то долго не отдавала свою дочь в общую школу, а нанимала учителей, чтоб ребенок не общался с «быдлом». Говорят, что теперь есть специальные школы для детей привилегированных отцов, где, кстати, учеников вообще не пичкают никакой идеологией, обязательной для остальных. Не знаю, так ли это, но и такой слух симптоматичен. Так теперь мыслится привилегия. Но в зародыше это началось еще тогда — у самых высокоидейных, повторяю, и в скромных размерах: их, пусть противоестественная, идейность оказывалась не под силу им самим.

Но сделать из этого естественные выводы они были не в состоянии: были не в состоянии преодолеть двойственность своего положения. Да, они были одной из самых высокоидейных (т. е. верных фантастической цели) и высококультурных элит советского большевизма, но они не были элитой страны, во главе которой оказались. Смутно они сами чувствовали это, отсюда их непрерывная историческая борьба против традиционных ценностей и связей, на которых сами были воспитаны и которым так яростно изменили. Они не могли не чувствовать, что их игра на понижение опасна и для них, что успех ее создает положение, при котором позиции таких изменивших неизбежно оказываются слабей, чем позиции людей, изначально чуждых всяким ценностям. Но они уже не могли остановиться, ибо на фоне недискредитированных ценностей выглядели непрезентабельно, в истинном свете, с чем примириться было им невозможно. Отсюда их более чем горячая преданность «принципу партийности», круговой поруке насильников. Правда, троцкисты, в отличие от всех остальных, в конце концов разорвали путы этого принципа (когда сочли, что партия изменила своей сути), но что это могло изменить? Во-первых, они опомнились поздно, во-вторых, что они могли сказать народу? Что они лучше знают, как его эффективней эксплуатировать во имя их великой цели?

Ведь они были не против принципа партийности, а только против его «опошления» Сталиным, может, стояли даже за бóльшую его остроту и свирепость. Так что противопоставить аморализму Сталина им было нечего: моральней они были только внутри партийной (т. е. антиморальной и антинародной, групповой, отдельной) морали. Куда с этим сунешься? Дьявол легко не отпускает. Да и не собирались они вовсе вырываться из его когтей — настаивали только на своем варианте дьявольщины, на правильной партийности.

Краткое отступление о принципе партийности

Я не согласен с утверждением, что и сейчас в бедах нашей страны играет важную роль господство духа и буквы коммунистической (или просто марксистской, или какой-либо иной) идеологии. Идеология теперь не больше чем внешняя норма приличия, форма, в которой власть привыкла выражать свои (любые, любой направленности) веления и соображения. [...]

Получается парадокс. Партия создает принцип партийности, а потом существует якобы только во имя его соблюдения. И даже власть партии над страной осуществляется якобы во имя этого принципа партийности. Впрочем, в этом уже есть смысл. Но только такой, как в мафии, — безвыходноуголовный, а не идеологический. Даже если сама идеология располагает к уголовщине — это совсем другое...

Но все имеет свои корни. Вся история большевизма неотделима от принципа партийности. Именно этим, а не общей идеологией отличались большевики от других социалистических и марксистских партий. Именно этот прин-

цип отделил их в 1903 году от меньшевиков — в спорах по пункту первому устава партии на II съезде РСДРП. Принцип этот — организационная основа «партии нового типа». Он превращает всю партию в послушное орудие руководства и в то же время в дисциплинированный отряд. Согласно этому принципу человек сдает в партию, как в сейф, всё: мысли, сомнения, восприятие, совесть. Во всех разговорах — во всяком случае с беспартийными — он обязан вести себя, как послушный рупор партийной политики, луженая глотка партии. Искреннее согласие с партией требуется от него лишь в главном, в остальном — только абсолютное подчинение, независимо от согласия.

Принцип партийности — орудие обоюдоострое. Например, он помог большевикам захватить власть в 1917 году, что в каком-то смысле можно считать действием, совершенным из идеологических соображений. И он же обеспечил победу Сталина над партией и ее идеологией. Причем неоднократно получалось так, что во имя торжества этого принципа сами большевики азартно и против воли (одновременно) голосовали фактически за свое уничтожение. Конечно, тут, как и в утверждении этого принципа, сыграла свою роль и общая беспочвенность большевистского мировоззрения, которое иначе утверждать нельзя было. Но о том собственно и речь.

Тут мы опять возвращаемся к временам, с которых начинаются мемуары Марии Иоффе. Тогда еще ни это выражение, ни сам принцип не окостенели, не превратились в пустое «правило игры», все это было животрепещущим и важным. Ибо власть над громадной страной, чуждой целям этой власти, — совсем не шутка. А власть была взята — для того, чтоб использовать страну и народ как средство для воплощения своих идей. Разумеется, эти люди были убеждены, что плоды их деятельности будут, в конце концов, полезны и русскому народу (как и другим народам России), но именно — *в конце концов*. Сейчас же они были не тем озабочены. И сейчас, до наступления этих счастливых времен, они пока жертвовали во имя своих идей и самими собой (беру идеальный случай), и — что гораздо хуже, потому что без спроса, — другими, т. е. судьбами отдельных людей и интересами всего населения. А поскольку население не приходило от этого в восторг и хотело жить согласно своим собственным представлениям, морали, религии и здравому смыслу, а не по капризу чьих-то восторженных проектов, — то такой проектировщик считал своим правом, долгом и обязанностью отечески воспитывать таких несмышленышей: словом, розгами, а иногда, — поскольку теперь миндальничать не время, а скоро все равно все окупится всеобщим счастьем, — то и пулеметами, трехлинейками и наганами. Причем все это я говорю об отношении проектировщика к «обывателю». Что же касается «врагов», т. е. людей, которые не «заблуждались», а вполне обоснованно были или могли быть (хотя бы в мыслях) против, то о таких и размышлять не надо было. Таких надо было сразу ставить к стенке, а потом облыгивать, ни с чем не считаясь, — насчет классового врага любая позорная ложь при диалектическом подходе оказывалась правдой. «Объективно» такие люди все равно были шкурниками (даже если были заведомо благородными людьми), и жалеть тут не о ком.

Все получалось довольно красиво. «Интересы партии» — ведь звучит вполне альтруистически: дескать, не за себя, а за дело. В этом свете любой поступок выглядит благородно, в крайнем случае — трагически. Но вся беда в том, что выглядело это так только в собственных глазах. А остальные по отсталости и непониманию диалектики воспринимали все иначе.

Допустим, приходится в каком-нибудь городе расстрелять хорошего и популярного человека. Собственно, он пока еще ничего не сделал, но и ежу ясно, что он к «нам» хорошо относиться не может и в любой момент может проявиться. А обстановка сложная, опасная. Вот и, скрепя сердце, кончаем с ним из диалектических соображений. А все остальные за это считают «нас» убийцами, не хотят входить в наше положение и в соображения. Приходится еще парочку человек для острастки хлопнуть. И — так далее. В конце концов, получается, что мы себя понимаем, а другие — нет, что у всех одна мораль, а у нас — другая. И оказываемся мы, как в осажденной крепости. И эта крепость — наша партия. И она для нас все — жизнь, родина, истина и любовь. И ее интересы — для нас священны. И интересы ее дела, и она сама, как таковая, — ибо это единственное место, где нас понимают. Вот они и есть — основания принципа партийности, в самом романтическом истолковании.

Очень скрепляла принцип и тактическая ложь, совершенно, конечно, необходимая, потому что в отсталой стране вся прелесть идей не всем была доступна (на то, что «передовые» страны вовсе на эту прелесть не клюнули, никто внимания не обратил). А раз так, то каждый, который хотел заставить население действовать в нужном ему направлении, должен был (по их мнению) приспосабливаться к отсталому уровню его представлений. И «приспосабливались», как известно, вполне беззастенчиво. Например, крестьян приманивали взятым у эсеров временным для коммунистов (потому что не совсем социалистическим) лозунгом: «Земля крестьянам!», — а потом уверенно, будучи в своем марксистском праве, грабили их продотрядами. Еще нелепей получилось с войной. Ведь пришли к власти на лозунге «Долой войну!», т. е. на немедленном и в любом случае прекращении войны. Каждый втыкавший «штык в землю» объявлялся чуть ли не героем. А после Октября это сразу стало позорным дезертирством. А наиболее принципиальные из коммунистов просто требовали продолжения войны, потому что теперь в их глазах она была революционной. Ленин не соглашался на это, ибо не хотел неминуемого тогда поражения, но не потому, что был связан предыдущими лозунгами. Но дезертиров теперь и сам не уважал... Теперь все стало другим в его глазах. То защищали «их», а то — «нас»... Другое дело.

В связи с этим коммунистам приходилось тяжело. Все ругали их: «Обманщики!», «Убийцы!» — и только они одни знали, какие они хорошие. И только их партийность поддерживала их.

Кстати, я привожу только те факты, которых они сами не скрывали. Некоторые — об отношении к ним питерского пролетариата, о сущности Кронштадтского восстания — по-настоящему начинают выплывать только сейчас. Похоже, что большинство партийцев «скрыли» их даже от са-

мих себя — забыли для ясности. А это, может быть, самые кардинальные факты.

Но окончательно оформилась (т. е. потеряла всякий смысл) «партийность» к 1921 году, когда стало ясно, что из «наших» идей, а, главное, расчетов, ничего не вышло, кроме пауперизации городов и общего недовольства деревни. Оказалось, что рабочие и крестьяне того и гляди турнут эту «свою» власть куда-нибудь подальше, чем безусловно остановят исторический прогресс. Оказалось, что место, куда «идеалисты» загоняли людей, мягко выражаясь, палками, — отнюдь не рай, а скорей, место прямо противоположное. Правда, все расчеты строились на близком приходе мировой революции (почему-то считалось, что с ее наступлением все трудности разрешатся как-то сами собой, — как и почему, мне уже давно непонятно), но и это научное предвидение оказалось липовым. Казалось бы, проиграно все, во имя чего и в расчете на что большевики брали и «любой ценой» удерживали власть, — и, значит, надо сдавать дела и каяться: дескать, ошибка вышла! Но не тут-то было. Не такой был человек Владимир Ильич, чтобы власть кому-нибудь отдавать или каяться в прегрешениях. Так что о том, чтобы уходить, и вопрос не ставился, а просто решено было подождать мировой революции, находясь у власти. Тем самым способствуя быстрейшему наступлению этой «светлой эры» (т. е. мировой революции), а пока, — чтоб несознательные массы грубо не прервали этого нашего напряженного ожидания (т. е. чтоб им легче было «нас» переносить), — решено было временно допустить для них капитализм под «нашим» контролем: пусть вывезет страну из разрухи — в городе и в деревне.

Меньшевиков, которые тут же воспрянули духом: «Мы всегда говорили, что иначе нельзя!», — Ленин сразу резонно одернул (привожу не цитату, а пересказ того, что он говорил): «А мы говорим, что за такие слова будем расстреливать! Ибо мы допускаем капитализм только временно, сохраняя за собой “командные высоты”, именно для того, чтобы сохранить нашу пролетарскую власть». Конечно, при этом предполагалось, что эта власть (не пролетариата, конечно, а партии) будет способствовать быстрейшему достижению конечной цели, в т. ч. и мировой революции. Без мировой революции большевизм не мыслил себя тогда.

Но все заботы о нем, в сущности, могли сводиться только к отчислению части национального дохода на ее нужды и к засылке агитаторов-пропагандистов-организаторов в страны, не достигшие «нашего» уровня сознательности. То, что эти отчисляемые на идейно-партийные нужды средства принадлежат не партии, а народу, просто никем не замечалось. Народ об этом просто не знал, но если б и знал, то особенно не возмутился бы: по сравнению с продразверсткой и продотрядами это было мелким побором. И особенно мало это интересовало тех, особо идейных, кто никак не мог очнуться от революционного наркоза и выезжал на подпольную работу за кордон.

Но самой толщи жизни в стране эти заботы о мировой революции касались мало. В том числе в жизни большинства партийцев. Независимо от того, чему они бывали преданы, в ожидании мировой революции они на всех

уровнях вели жизнь обычных начальников, чей авторитет далеко не всегда подкреплялся необходимым уровнем квалификации, т. е. держался на власти партии. Это тоже сплачивало. И все у них все больше оказывалось свое, отдельное, «опричное»: отдельная духовная жизнь, отдельная мораль, отдельное объяснение своего положения. Духовные и корыстные интересы переплелись у них так, что не оторвешь и не отличишь. Эта их тотальная опричность и есть партийность, — пусть поначалу их принцип партийности был верностью своему знанию о себе, клубу тех, кто помнит (или думает, что помнит), зачем все это. Постепенно их клуб разводнялся людьми иного рода. Опираясь на этих последних, но с помощью людей этого клуба, Сталин и произвел свою революцию против «ленинской гвардии». Но сам этот клуб, — пусть теперь наполненный другими людьми, пусть абсолютно формальный, служебный, бюрократический, — сама идея этого клуба и необходимости быть ему верным не только остались, но и утвердились. Более того, оказалось, что к «новому вину» эти «старые мехи» подходят больше, чем к «старому». Оказалось, что без идей принцип партийности действует еще четче.

Сталин уничтожил внутреннюю зависимость партии от ее идеологической сущности, он заставлял относиться, как к чему-то сущностному, к любому требованию момента, в этом духе не только велась пропаганда, но и воспитывались дети. Остальное служило только камуфляжем, да и вспоминалось редко. Так что переворот, совершенный Сталиным, не был ни в коем случае ни освобождением страны, ни возвращением к истокам, как снится сегодня некоторым из романтиков нового типа (националистического направления), — это было насильственным насаждением пустоты как содержания жизни, это было дальнейшим погружением в бессмыслицу и прострацию.

У люмпена Сталина и богемного революционера Троцкого был общий враг — любая форма свободной жизнедеятельности других людей. Не знаю, как далеко зашел бы Троцкий. Я уже писал здесь, что его выгодно отличала от Сталина открытость его доктринерской бесчеловечной программы, что она должна была бы его лимитировать. Но лимиты эти предполагаются вне его, а не внутри. Не говоря уже о том, что в наше время объявленная открыто идиотская программа слишком часто выполняется (Гитлер, Пол Пот, Хомейни и др.). Так что, может быть, я и не прав. Впрочем, Троцкий жил все-таки еще в другое время. В каком-то смысле — до Сталина.

Сталин, в отличие от Троцкого, никаких идиотских программ не объявлял, но, тем не менее, зашел дальше чем кто-либо. Он не только подмял троцкистов, выступавших против самой сути жизни, но и саму суть жизни, против которой выступали троцкисты. Именно он сломал и уничтожил саму структуру народной жизни. Уничтожил крестьянство, а также еще больше церквей, монастырей и священников, чем даже было уничтожено до него. (А до него, в начале 20-х, был учинен тотальный погром религии, особенно Православной церкви.)

Короче, до прихода Сталина к власти можно было еще говорить о реставрации, после его ухода можно теперь только мечтать о возрождении: ре-

ставрировать почти нечего. При нем *принцип партийности* только укрепился, утвердился и отвердел, хотя сама партия (ее первый «идейный» состав) была уничтожена им.

Конечно, троцкисты в дальнейшем утверждении этого принципа не участвовали, они вообще вырвались открыто из тенет этого принципа, когда решили, что партия изменила своему назначению, но в первоначальном его оформлении и внедрении в жизнь они принимали, как уже говорилось, активное участие. Поэтому тот факт, что окончательное утверждение этого принципа отняло жизнь у многих друзей М. М. Иоффе и стало виной многих ее мытарств, не отменяет ни их, ни ее вины.

Впрочем, она до сих пор не понимает, что того, что она тогда делала, исходя из этого и во имя этого, надо стыдиться.

Хотя стыдиться ей, как будет видно из следующей главы, было бы чего.

Это начиналось так

В октябре 1917 года большевики захватили власть в Петрограде. А через короткое время проиграли выборы в Учредительное собрание. Получалось, что, как только оно соберется, они свою власть потеряют. Встал вопрос: «Что делать?» Т. е. каким именно путем власть никому не отдавать. Собственно, и вопроса не было — ясно было, что это «не наше» собрание надо разогнать. Да ведь внове все было. Все-таки вековечная мечта российской интеллигенции, все-таки сами клялись, что чуть ли не для того только и власть захватывают, чтоб провести выборы в это собрание, а тут взять и запросто так — разогнать. Но никуда не денешься — надо. Решили готовиться, т. е. подготавливать общественное мнение. Направление сразу было выбрано правильное — клевета. Первым ее объектом была выбрана партия кадетов.

При принципе партийности клеветать не страшно, на партийном языке это называется вскрытие сущности врага. Короче — приступили к развертыванию операции. Поначалу им подфартило. Член ЦК партии конституционалистов-демократов (ка дэ — кадетов), товарищ министра просвещения Временного правительства графиня Панина отказывалась сдать числящиеся за ней суммы кому бы то ни было, кроме правительства, законно избранного Учредительным собранием. Что было вполне законно: ведь большевики пока еще тоже признавали Учредительное собрание. Кстати, и закона, обязывающего сдавать Совнаркому все средства, ранее принадлежавшие Временному правительству, не было еще, чего стоящий во главе этой институции юрист Ульянов даже и не заметил. Но закон мало кого из большевиков интересовал. Я думаю, что и возвращение денег интересовало их не в первую очередь. В первую очередь они были заинтересованы в том, чтоб пресечь такое открытое непризнание их захвата власти. А кроме того, в компрометации кадетов, а здесь всё: «графиня...», «денег не отдает...» — казалось, что очень годилось для этой цели. Короче, графиню решили арестовать.

И тут большевикам опять повезло. Накануне у Паниной осталось ночевать еще несколько членов кадетского ЦК, и явившиеся утром красногвардейцы их застали. Они, правда, никаких денег не задерживали, но тоже были кадетами. И их тоже доставили вместе с графиней Паниной в святая святых — Смольный. А там стали размышлять (на «верхах»), что с ними делать. Решили самым естественным для себя образом — объявить «врагами народа», препроводить в Петропавловскую крепость и то ли судить, то ли просто так держать до полной победы мировой революции (впрочем, как мы знаем, она тогда ожидалась в самые ближайшие дни). Так что тот жупел, которым самих этих энтузиастов так бессовестно клеймили лет через семнадцать-двадцать, выдумали они сами (не знали только, что для самих себя).

Да и клеветническая кампания в печати была почти такая же, как потом о них, — столь же фантастическая и столь же наглая. В чем только ни обвиняли бедных кадетов. Например, в устройстве монархического заговора. Основание? Не важно. Зато это нагнетало обстановку в духе, полезном для «партии». Но это еще не самое пикантное. Что там монархический заговор — кадетов обвиняли еще в организации погромов винных складов...

Потом уже люди перестали удивляться такой логике, она даже была частично вбита в сознание. Помню случайную сборную экскурсию из Сухуми в Новый Афон и рассказ экскурсовода о монастыре, о его невероятной хозяйственной деятельности. Завершался он просто: «А потом монахов по постановлению правительства отсюда выселили». — «За что?» — спросил кто-то. «За контрреволюционную деятельность», — последовал исчерпывающий ответ. Публика, только что восхищавшаяся изобретательностью и трудолюбием монахов, была вполне удовлетворена. Понадобилось много свинца, типографской краски, радиооболванивания, чтоб добиться у людей такой понятливости. В 1917 году ее еще не было. [...]

Это массированное нагнетание бессмысленной лжи и было дорогой к концу света, т. е. к началу того мира, в котором я, как и миллионы других людей, родился, вырос и прожил жизнь. Это была мина замедленного действия, заложенная под свой и общий дом, общую и собственную жизнь.

Но сами большевики были тогда вполне победительны, уверены и не подозревали даже, что за эту разрушительную ложь придется расплачиваться. М. М. и теперь не понимает, что поплатилась (и страшно) именно за это. А ведь так все сходило с рук: кадетов держали в крепости, сколько хотели, «учредилку» — разогнали, демонстрацию в ее защиту — расстреляли, да еще как-то так, что она как бы из истории выпала, пока недавно Солженицын не вытащил ее на свет Божий. А то вроде ничего не было: ни демонстрации, ни ее расстрела, только матрос-партизан Железняк и его: «Караул устал!» Все вышло.

Но осечки случались. Например, вышла осечка и с открытым пролетарским судом над графиней Паниной, в котором очень оскоромилась и Мария Михайловна. А вышла она потому, что устроители суда, находясь в плену собственной демагогии, всерьез поверили, что они — партия пролетариата.

Т. е. в то, что все, что ударяло тогда в их разгоряченное сознание, инстинктивно присутствует в каждой рабочей груди, рождается из классового опыта и «чутья». Поэтому они не только в судьи назначили рабочих, но и весь зал, всю рабочую аудиторию объявили судьями. Из зала могли выходить обвинители и защитники. Естественно, они были уверены, что рабочие будут наперебой клеймить классово чуждую графиню. Упустили они, что «настоящее классовое сознание» есть только у недоучившихся студентов (и то не всегда). Потом они уже никогда об этом не забывали, потом они такого никогда не допускали, потом они судили уже не силами пролетариата, а только от его имени. Надежней получалось. И не только при Сталине (тем более, тот все больше судил от имени не пролетариата, а народа), а уже и во всю эпоху Гражданской. Как говорится, на ошибках учимся.

Короче, упустили большевики, что их всех петроградские рабочие то ли знают, то ли нет, а графиню Панину, наоборот, знали все. Ведь это была та самая графиня Панина, которая, как говорит сама М. М., больше, чем кто-либо, сделала для пролетарской бедноты Петрограда, организовав знаменитый в столице Народный дом. То, что большевики понимали в данном случае как классовое сознание, было бы на самом деле черной неблагодарностью. Впрочем, большевики отрицали частную благотворительность. И не принимали ее в расчет. А зря...

Итак, судьи заняли свои места. Председатель — рабочий Жуков, слева — двое рабочих с завода Эриксона. В зале — пролетарии. В зале же — и Мария Михайловна Иоффе, присланная из Смольного, из отдела печати, чтоб записывать процесс. Ей суждено сыграть на этом процессе решающую роль, но она еще не знает об этом.

Ввели графиню. «*И вот она входит, высокая, приятная женщина в черном платье*, — вспоминает Мария Михайловна, и чувствуется, что эта графиня до сих пор симпатична нашей революционерке, — *а навстречу поднимаются два бородатых рабочих из публики, кланяются ей до пояса: “Спасибо, матушка-графиня!.. В черную годину царизма* (не знают они еще черных годин, узнают! — *Н. К.*) *только ты одна о нас заботилась... Да святится имя твое!..”*» Да, «немарксисьтьское», как сказал бы Галич, получилось начало... «Ох, немарксисьтьское»... Дальше — больше. «*Рабочий Жуков спрашивает: “Кто желает обвинять?” Все молчат. “Кто желает защищать?” Все поднимают руки*».

Картина величественная, достойная быть предметом национальной гордости. Это то, что большевики извели потом под корень. Это те мужики из подгородных киевских сел, которые оправдали Бейлиса. Оправдали, потому что он был не виноват. А теперь бы? Теперь бы вызвали народных заседателей куда надо. Сказали бы: «Товарищи, дело очень сложное, деликатное, ответственное. Но вам мы можем его доверить». И сбитые с панталыку «товарищи» признают черное белым не задумываясь — и даже не из корысти, а единственно, чтоб оправдать доверие. Ведь в залах «открытых» процессов публика воз-

мущается подсудимыми почти искренне. Подобранная? Но ведь и присяжные на процессе Бейлиса были тоже подобраны прокуратурой. А не вышло...

Марии Михайловне и самой сегодня нравится все это: и сама графиня, и осанка ее, и бородатые рабочие, и реакция зала. И мудрено, если б не нравилось после той низости, через которую ей пришлось пройти. Я подозреваю, что в каком-то смысле ей и тогда все это нравилось. Но просто она уже была приучена не считаться с естественными реакциями, она — «дело делала». Впрочем, больше всех нравится в этой истории нашей мемуаристке она сама — во всей полноте юных чувств и реакций. Вот что она сама, захлебываясь, рассказывает об этом: «*Я не могла усидеть, — вспоминает она. — Ведь рядом буржуазные журналисты из "Нового времени", "Речи", "Дня"... Я ведь все принимала близко к сердцу, за все отвечала...*» Вот какие духовные страсти! Но, видимо, и ее учителя тоже не могли усидеть рядом с такими органами печати, тоже все принимали близко к сердцу. Во всяком случае, лет через десять, когда вырвавшаяся из их рук власть принялась за них самих, некому было уже и голос подать в их защиту: все эти «буржуазные» органы были закрыты давно — самими этими людьми. Так что хорошо поработали товарищи себе и всем на погибель. К сожалению, как уже сказано выше, и Мария Михайловна тоже. Вот что она сделала, «за все болея, за все отвечая», когда стало ясно, что мероприятие проваливается: «*Тогда я срочно шлю суду записку: "Жуков, делай перерыв". Он послушно встает и говорит: "Объявляю перерыв"*». ...Как говорится, диктатура пролетариата налицо: семнадцатилетняя сопля управляет взрослым квалифицированным человеком, и он безропотно выполняет ее распоряжения, «потому что она из Смольного», и, возможно, понимает, что здесь происходит и что ему делать. Ведь процесс-то тоже устроили «люди из Смольного». Жуков фактически выходит из игры, а юная энтузиастка начинает самозабвенно творить историю: «*Я оббегаю кругом зал, влетаю в комнату судей и оттуда звоню в Смольный: "Ради Бога, найдите кого-нибудь, посадите в машину и пришлите какого-нибудь обвинителя, никто не хочет обвинять"*».

Полюбуйтесь, какая свобода и легкость творчества! Все комнаты судей перед ней распахиваются, все Жуковы останавливают процессы, все конфискованные автомобили срываются с мест в такт ее вдохновению... И все это для того, чтоб уже фактически оправданную по условиям ими же выдуманного суда «высокую приятную женщину в черном платье», ждущую в зале решения собственной участи, женщину, которой эта семнадцатилетняя студенточка, судя по всему, и в подметки не годится, — все-таки не отпустить, засудить. И ее засудят. Суд будет подлый, демагогический, все будет шито белыми нитками. Но это будет бледной копией того суда, который она же в этот же момент — «все принимая к сердцу, за все отвечая» (и все подтасовывая) — устраивает самой себе — в будущем. Ей до сих пор непонятно, что все это ее упоение — не более чем преступное достижение радости и полноты жизни за чужой счет. Да и за счет судьбы всего общества — в чем ей дали полную возможность убедиться.

Она не только не раскаивается в совершенном, она и сегодня хвастает перед нами тем, как ловко и вдохновенно помогла совершить тогда этот грубейший подлог. Судя по всему, это звездный час ее жизни. Разное иногда принимают люди за звезды.

Дальше все пошло гладко. Из Смольного в ответ на ее призыв срочно прибыл другой рабочий, иного склада, чем Жуков, — будущий заместитель Троцкого по наркомвоенмору Наумов. В отличие от простоватого Жукова, этот «рабочий» сразу берет суд в свои руки. Он быстро меняет тактику. Натравить зал на Панину не удастся, надо спасать, что возможно. И тогда возникает: «*Мы судим не ту графиню Панину, которая строила Народные дома, а ту, которая не отдает народу взятые у него деньги*». Кстати, тут в мемуарах впервые появляется тема возврата денег как цели суда, даже в воспоминаниях они занимают не первое место. Но приговор касался исключительно их: «*Объявить графине Паниной общественное порицание и держать в заключении до тех пор, пока не сдаст деньги*».

Все было проделано ловко. Неискушенные люди растерялись: «Деньги какие-то... Бог с ними, с деньгами, пусть отдаст и будет свободна». Тем не менее, я убежден, что пусть смутно, неосознанно, но у каждого из присутствовавших рабочих осталось ощущение, что их каким-то образом обвели вокруг пальца. Ведь они все, как один, пришли защищать Панину, а проголосовали за какой-то странный приговор, ее к чему-то обязывающий.

Вот оно, знаменитое большевистское мастерство демагогии, околпачивания, это их умение внушить людям недоверие к их собственному здравому смыслу, чем потом так мастерски пользовался Сталин... Приемы примитивны, но трудно так сразу поверить, что представители власти — толковый рабочий, свой брат, простецкий мужик и миловидная барышня, на вид явно бескорыстная, — могут так бесстыдно на глазах у людей заниматься обманом и подлогом. К этому все-таки привыкнуть надо было...

Итак, представительница «пролетарской» партии при проведении «необходимой пролетариату» акции наткнулась на упругое сопротивление этого самого пролетариата. Тут было от чего смутиться. Но, видимо, принадлежность к самым умным, все знающим, овладевшим теорией действовала на нее сильней, чем здравый смысл, и зрение, и слух. И она еще сегодня одаривает нас, вероятно, сохранившимся в памяти с юности объяснением события: «*К первому заседанию народного суда готовились не столько большевики, сколько меньшевики и эсеры. Они сорганизовались и сделали так, что почти весь зал состоял из их сторонников*»... Вот так. Все интриги. Просто диву даешься, до чего сильны были меньшевики и эсеры в Петрограде на исходе 1917-го. Только странно, что они власть так легко упустили — да еще при такой способности «сорганизовываться». Правда, за несколько недель большевики уже могли изрядно надоесть рабочим и, наверно, надоели, но так тогда и надо говорить. А если весь зал «сорганизованный», так с чего он вдруг потом растерялся перед «рабочим» Наумовым? Да и вообще, когда это меньшевики и эсеры предпринимали акции в защиту кадетов? Если

б они были способны понимать, что главный их враг может вполне стоять на общей с ними социалистической платформе и радостно праздновать Первое Мая, а, наоборот, у буржуазных кадетов есть с ними общие ценности, — не видать бы большевикам власти, как своих ушей. Но они этого не понимали вплоть до того дня, когда были запрещены их партии, а многие и позже. Да и вообще не похожи эти бородачи из зала на людей, «организованных» какой бы то ни было партией. Меня вообще поражает уверенность Марии Михайловны, что люди, которых она вслед за ее учителями взялась облагодетельствовать, могут быть только инертной массой, которую кто-то «организовывает». То, что они сами способны на живое чувство благодарности или справедливости, ей просто не приходит в голову. Правда, она видит, что это так, помнит, что это так, описывает их такими, но примитивное объяснение, удовлетворявшее ее в дни молодости, по-прежнему имеет над ней власть. Имеет, несмотря на ее лагерный опыт, который она вынесла не благодаря марксистской «классовой солидарности», а потому что везде встречала людей, умевших оставаться людьми. Она знает это, но как только речь заходит о годах ее юности, — забывает. Иначе это потребовало бы от нее пересмотра всей молодости и жизни, всего, чему она оставалась верна в обстановке массированной клеветы и террора, всего, что все эти страшные годы поддерживало ее существование. На это у нее сил, по-видимому, нет, и, все вспоминая честно, она, как мы видели, вспоминает это вместе с теми объяснениями, которые ее успокаивали тогда. Это по-человечески понятно, но никак не может никого устроить. Содеянное такими, как она, слишком страшно — и по последствиям, и просто как человеческое поведение — и требует недвусмысленного покаяния. Но это живой факт психологической истории советского коммунизма, живой осколок той психологии, которая теперь в нашей стране не встречается и часто непонятна. И поэтому я убежден, что к этому факту нам при любых взглядах нужно отнестись с максимальной внимательностью.

Интересен конец этой истории, которую, что ни говори, выдать за победу было невозможно. Но ведь Мария Михайловна была партийным журналистом и обязана была написать очерк об этом суде. Как же писать? С этим вопросом она и зашла после суда к Ю. М. Стеклову, старшему и многоопытному товарищу, впоследствии многолетнему редактору «Известий». И вот что ей ответил старший товарищ в те чистые, безоблачные, романтические дни: «*“То есть как вы не знаете? Журналист не имеет права не знать, что писать. Есть общество, ассоциации, примеры истории, есть мысль. Мы узнаем этих молодчиков, это те самые, которые во время Парижской Коммуны — так называемая золотая молодежь* (это бородачи-то! — *Н. К.*) *— шли на собрания, не давали ораторам говорить, избивали рабочих...” — вот, с чего нужно начать*».

С этого и начали. Чем кончили — теперь хорошо известно... А чем вообще кончится то, что начали, никто и теперь знать не может.

1984, №№ 39 – 40

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ

Не все мы диссиденты

О социальной оппозиции в советском обществе

Я ни в какой мере не претендую на то, чтобы подводить итоги социальной борьбы в Советском Союзе в послевоенные годы, давать оценки известным формам оппозиционного движения и делать прогнозы относительно их будущего. Я хочу рассказать лишь об одной категории советских людей, находящихся в состоянии потенциальной, а порою — и актуальной оппозиции к советскому социальному строю. Эти люди еще не выделились из бесформенной оппозиционной массы в особое течение. В послевоенные годы волна антисталинизма, либерализма и диссидентства завладела общественным вниманием до такой степени, что эти люди либо оказались поглощенными этой волной, либо стушевались, не будучи в состоянии даже заявить о своем существовании как особого социального феномена, либо были спровоцированы на индивидуальные бунты по самым различным поводам и раздавлены по одиночке. Теперь, когда антисталинизм, либерализм и диссидентство исчерпали себя в качестве значительных социальных движений, настало время хотя бы констатировать факт существования этой оппозиционной категории людей в советском обществе.

Я не .берусь здесь судить о Советском Союзе в целом. Страна эта слишком огромная. Условия жизни различных народов и наций, входящих в него, настолько разнообразны, что пока еще невозможна идеология и тем более программа, объединяющая все формы недовольства в единый поток. Более того, я не берусь даже судить лишь об одной части Советского Союза — о России. Ситуация в последней в принципе мало чем отличается от ситуации в Советском Союзе в целом. Я ограничусь лишь той частью Советского Союза, которую я называю Московией. Такое вынужденное ограничение даже имеет то преимущество, что ориентирует наше внимание на самый глубокий аспект советской оппозиции, а именно — на аспект социальный. Подчеркиваю: не на политический, прагматический, культурный, национальный или религиозный, а именно на социальный, т. е. касающийся самых фундаментальных принципов коммунистического общества.

Что такое Московия? В Московию входит Москва и всё то в стране, что так или иначе находится в сфере непосредственного влияния Москвы, для

чего Москва является объектом подражания и желанным местом жизни. Московия не есть явление национально русское, хотя вклад русских людей в это государство в государстве огромен. В Московию со всех концов страны устремляются представители разных народов и наций. В борьбе за существование и за лучшие условия жизни они образуют тут свои национальные группы, превращающиеся зачастую в национальные мафии. Но не они характерны для общей ситуации в Московии. Доминирующими здесь являются не традиционные национальные отношения, а те, которые складываются в силу специфических условий коммунистического социального строя. В Московии на самом деле складывается новая, ненациональная общность людей. Советская идеология, утверждая это, не врет. Она лишь констатирует очевидный факт. Замечу кстати, что представители русского народа в рамках Московии стали утрачивать национальное самосознание быстрее и основательнее, чем представители других народов и наций.

Мало констатировать очевидный всем факт выпадения отдельных советских граждан и групп населения в оппозицию. Надо выяснить, почему вообще здесь возникает оппозиция, какие социальные категории людей и в силу каких условий с необходимостью выталкиваются в нее. А для этого нужно обратиться к анализу социальной структуры этой страны как страны по преимуществу коммунистической. В Московии же это преобладание коммунистической системы дает себя знать наиболее отчетливо и ощутимо.

На Западе советское общество представляют крайне упрощенно и тенденциозно. При этом игнорируют тот банальный факт, что такое огромное и развитое общество не может существовать без разделения функций людей и их объединений, без иерархии их социальных позиций, без различия условий их жизни и деятельности, без различия их интересов. Возьмем, например, такую группу граждан советского общества, как академики, профессора, доктора наук, называемые словом *ученые*. С точки зрения Запада, все они суть ученые в строгом смысле этого слова. Но в реальном советском обществе между этими «учеными» имеются социальные различия, которые гораздо важнее, чем принадлежность к категории граждан, работающих в области науки. Есть академики, профессора и доктора наук, которые действительно делают вклад в науку. Это — рабочие и мастера в сфере науки. Они не принадлежат к привилегированным слоям общества. И есть академики, профессора и доктора наук, для которых сфера науки есть лишь одна из возможных сфер жизни общества, в которой они добиваются социального (а отнюдь не научного!) успеха, делают карьеру, занимают посты в социальной иерархии. Многие из них принадлежат к привилегированным слоям общества. Многие из них входят в систему власти вплоть до высших уровней. Эти две группы «ученых» принадлежат к различным социальным категориям, имеющим в советском обществе различный социальный статус, различный материальный уровень, различные интересы. Отношения между этими категориями не являются гармоническими. Интересы их не совпадают. Между ними возникают конфликты, порою достигающие силы

острых антагонизмов. С социологической точки зрения, их еще более нелепо объединять в одну группу «ученых», чем объединять в одну группу «военных» генералов, офицеров, унтер-офицеров и солдат. Это касается всех прочих категорий советских граждан, называемых социологически ничего не значащими словами «писатели», «музыканты», «художники», «хозяйственники», «рабочие», «крестьяне», «интеллигенты» и т. п.

Сказанное целиком и полностью распространяется и на категории людей, которые оказываются в оппозиции к советской системе, вступают в конфликт с обществом, ведут какую-то борьбу против его недостатков или даже против социальной системы в целом. На Западе придали преувеличенно большое значение лишь одной форме оппозиционного движения, а именно — диссидентской, игнорируя или занижая значения других, гораздо более важных с точки зрения эволюции советского общества. Я имею в виду антисталинистское и либеральное движение, а также ту форму оппозиции, о которой я буду говорить ниже.

Всякую оппозицию к существующему строю порождает недовольство людей условиями жизни и деятельности. Но не всякое недовольство рождает оппозицию. Советские руководители, например, очень недовольны тем, что трудящиеся пьянствуют и нарушают трудовую дисциплину, а чиновники злоупотребляют служебным положением и заражены коррупцией. Но от этого советские руководители не превращаются в оппозиционеров к своему собственному строю и своему собственному руководству. Масса советских людей недовольны дефицитом продовольствия, трудностями с жильем, очередями, бюрократизмом и прочими дефектами советского образа жизни. Но они не становятся от этого оппозиционерами.

Недовольство людей условиями своего существования проявляется в каких-то действиях. Но не всякие действия такого рода суть действия оппозиционные. Хищения государственного имущества, злоупотребления служебным положением, коррупция, халтура, очковтирательство и прочие явления такого рода в значительной мере суть специфически коммунистическая форма выражения неудовлетворенности различных слоев населения своим положением. Но эти действия не отнесешь к числу оппозиционных. Добровольная эмиграция советских людей на Запад и случаи, когда советские люди остаются на Западе, не являются оппозиционными действиями, как бы люди, совершающие эти действия, ни мотивировали свое поведение и какую бы оценку ни давала им западная и эмигрантская пресса. Власовцы во время войны с Германией были все-таки предателями, а не благородными борцами против сталинизма, и их трагическая судьба не меняет их статуса предателей. Советские дезертиры в Афганистане суть все-таки дезертиры, а не оппозиционеры. Я уж не говорю о советских агентах, проникающих на Запад порою под видом людей, «избирающих свободу». Даже отдельные случаи забастовок в ответ на плохое продовольственное снабжение или на ухудшение условий работы еще не являются сами по себе действиями, направленными против существующего социального строя.

В оппозицию люди попадают не обязательно потому, что они лучше всех прочих граждан страны, вовсе не потому, что они суть очень хорошие люди, высоконравственные, добрые, умные, понимающие, талантливые и наделенные прочими добродетелями. Они могут этими добродетелями обладать. Но этими добродетелями обладают не только они. Обладание добродетелями вообще не есть специфическое отличие оппозиционера. А когда речь идет об оппозиции как о социально значимом явлении, то это вообще не есть причина попадания людей в оппозицию. При этом важны не субъективные качества людей, а то, почему люди выталкиваются в оппозицию независимо от их добродетелей, зачастую — вопреки их желаниям.

В социальную оппозицию в коммунистическом обществе люди выталкиваются в силу самих социальных отношений, образующих фундамент этого общества. В самых общих словах суть дела тут заключается в следующем. Некоторая категория граждан этого общества, благодаря объективным условиям самой коммунистической системы, получает возможность развить свои способности, самосознание и жизненные претензии до сравнительно высокого уровня. Но, вследствие тех же самых условий, на этих граждан накладываются обществом такие ограничения, которые развивают в них чувство неудовлетворенности тем, как общество оценивает и вознаграждает их реальную роль и их реальный вклад в сумму общественных ценностей. Отношение этих людей к своему положению в обществе осуществляется в их отношении к другим гражданам общества, которым принадлежит доминирующая и решающая роль в данной системе социальных отношений. Всякий конфликт между какой-то категорией людей и обществом есть всегда конфликт между людьми в этом обществе. Стремясь реализовать свои способности и быть вознагражденными адекватно своей социальной ценности в полном соответствии с официально признаваемыми критериями, представители рассматриваемой категории граждан общества с необходимостью вступают в конфликтные отношения с прочей массой граждан, так или иначе идентифицирующих себя с самой коммунистической системой. Эта масса людей имеют власть, достаточную для того, чтобы считать себя основой, оплотом и олицетворением системы. Представители потенциальной социальной оппозиции субъективно могут мотивировать свое поведение как угодно. Как правило, они и стараются выступать в форме борцов за лучшее служение интересам своей страны, народа и даже партии. Внутри социальных объединений, в которых они работают и проявляют себя, им противостоят те, кто имеет реальную власть, и большинство пассивной части членов коллективов. Деятельность потенциальных социальных оппозиционеров представляется их противникам угрозой их личному благополучию и спокойствию, угрозой сложившейся рутине жизни. Она и на самом деле является таковой. Тут с обеих сторон движущими мотивами поведения являются очевидные и общепонятные личные интересы — в какие бы возвышенные формы ни рядилась борьба между людьми, в основе ее всегда лежит нечто очень земное и прозаическое. Но, с одной стороны, тут — сравнительно не-

многочисленные возмутители спокойствия, имеющие слабую поддержку в массе коллег, а с другой стороны — консервативное руководство и большинство, имеющее почти неограниченную власть над ближними. Это всесильное большинство интерпретирует деятельность потенциальной оппозиции как деятельность, направленную против самих основ социального строя. Всесильное большинство навязывает слабому меньшинству, о котором идет речь, роль актуальной оппозиции самому социальному строю общества.

В социальную оппозицию выталкивается та часть членов общества, в отношении которых общепризнанные коммунистические принципы использования способностей и вознаграждения за труд и способности оказываются объективно несправедливыми. Дело тут не в том, что эти люди живут плохо. Они живут не хуже многих других, а то и лучше. Люди могут жить плохо, но, в соответствии с закономерностями данного общества, их низкий жизненный уровень может быть адекватен тому, чего стоят сами эти люди и продукты их деятельности. Низкий жизненный уровень этих людей может быть как раз проявлением социальной справедливости данного общества. Степень эксплуатации их может быть сравнительно низкой, порою — близкой к нулю. Общеизвестны случаи, когда значительные массы людей живут за счет благотворительности общества, не производя вообще ничего. Несправедливость в отношении таких людей выражается не в высокой степени их эксплуатации, а в невозможности или нежелании быть эксплуатируемыми вообще. Жизненный уровень других людей может быть сравнительно высоким, но не адекватным способностям этих людей и продуктам их деятельности. Степень эксплуатации таких людей может быть сравнительно высокой. В коммунистической Московии, например, степень эксплуатации высококвалифицированных рабочих и мастеров значительно выше, чем степень эксплуатации подсобных рабочих и огромного числа людей, не получающих никакой профессиональной подготовки и выполняющих самые примитивные трудовые операции (сторожа, уборщицы, грузчики и т. п.). В социальную оппозицию выталкиваются представители таких категорий граждан коммунистического общества, степень эксплуатации которых оказывается здесь наиболее высокой. Согласно объективным закономерностям этого общества, эти граждане не могут развить и использовать свои способности, силы и навыки в полную меру, а за свои способности и продукты своей деятельности они получают вознаграждение, которое ими самими и многими окружающими их лицами воспринимается как вопиюще несправедливое.

К этой категории максимально эксплуатируемых граждан общества относятся главным образом наиболее творческие и производительные члены общества. Вот простой пример, иллюстрирующий сказанное. Два сотрудника одного и того же научного учреждения имеют одинаковые должности и звания. Один из них принадлежит к массе средних сотрудников такого рода, а другой является гораздо более способным и продуктивным. Вознаграждаются же они более или менее одинаково. Более того, первый, как правило,

является лучше приспособленным к условиям своего общества и ухитряется урвать больше благ, чем второй. Хотя второй и пользуется уважением коллектива, хотя он и вознаграждается как-то за свои способности и усердие, однако, как правило, он так или иначе оказывается в худшем положении, чем первый. Сам социальный механизм с необходимостью порождает это следствие. Естественно, состояние хронического недовольства становится обычным состоянием второго сотрудника и той части его окружения, которая по тем или иным причинам оказывается солидарной с ним. Коллектив при этом раскалывается на части, одна из которых вынуждается на роль потенциальной оппозиции. Аналогичная ситуация возникает в огромном числе учреждений регулярно.

К той же категории потенциальных оппозиционеров относится также огромное число молодых людей, начинающих свою трудовую и творческую жизнь. Они, естественно, отдают обществу все свои свежие силы и способности, получая за это самое мизерное вознаграждение. Они в начале своего жизненного пути находятся в самом низу социальной иерархии, получая вознаграждение соответственно их положению, а не соответственно своим потенциальным способностям и реальной отдаче сил.

Эта категория членов коммунистического общества является относительно немногочисленной, если их подсчитывать с точки зрения ситуации в социальных группах, в которых они работают. Но в масштабах страны в абсолютном выражении она представляет весьма значительный слой. Этот слой увеличивается численно с каждым годом. Роль его в жизни общества становится все более значительной. До известного предела представители этого слоя имеют какое-то сочувствие и даже поддержку в своих коллективах, а также защиту со стороны высших властей от своих коллег в своих коллективах. Кроме того, представители этого слоя выполняют в своих коллективах и в обществе в целом еще одну в высшей степени важную социальную функцию: в них сосредоточивается и через них проявляется все то недовольство, которое накапливается в обществе по самым различным каналам. И они эту функцию уже десятки лет выполняют в Московии во всех более или менее значительных социальных объединениях и сферах жизни общества.

Представители этих слоев общества не превращаются автоматически в оппозиционеров. Это лишь потенциальная база для оппозиции, но еще не оппозиция в строгом смысле слова. Нужно время и сложный исторический процесс, чтобы эти люди осознали свое фактическое положение в обществе, осознали его несправедливость, начали вырабатывать формы сознания и поведения, ведущие к конфликту с обществом. В Московии этот процесс уже давно начался.

Хочу обратить внимание на некоторые особенности этой оппозиции. Она не является оппозицией национальной. Думаю, что Запад нанес значительный ущерб советской оппозиции, поощрив и в какой-то мере даже спровоцировав в ней явления национализма. По крайней мере, в условиях

коммунистической Московии национализм любого вида — открытый или замаскированный, исходящий из среды больших или малых народов, — возникает как камуфляж и извращенная форма для чего-то другого или в конечном счете вырождается в это. Национализм, принося некоторый мизерный и кажущийся успех на первых порах, оказывается в конечном счете губительным для серьезной и преемственной оппозиции коммунистическому строю как таковому. Он отвлекает внимание и силы от значительных и глубоких социальных проблем, придавая любой оппозиции поверхностный, мелочный и преходящий характер.

Утверждая это, я вовсе не хочу свести все формы протеста в советском обществе лишь к какой-то одной. Я утверждаю лишь одно: серьезная, преемственная и в перспективе эффективная оппозиция в Московии возможна лишь как оппозиция социальная, т. е. как порождаемая специфическими условиями коммунистического строя и направленная против каких-то его специфических проявлений. Всякая иная форма оппозиции (в том числе — и национальная) может сохранить здесь статус оппозиции на длительный срок и внести свой вклад в дело социальной борьбы лишь на основе оппозиции социальной, как ее ответвление или конкретизация. Но не наоборот. От оппозиции социальной переход к любой другой открыт. От оппозиции же, рядящейся в национальные одежды, переход к более глубокой, социальной оппозиции исключен.

Социальная оппозиция есть здоровое, а не болезненное явление общественной жизни Московии. Она есть норма, а не отклонение от нормы. Она не есть признак слабости общества. Наоборот, ее отсутствие есть признак незрелости общественных отношений страны. Эта оппозиция необходима для самосохранения и прогресса общества. Отсутствие ее обрекает общество на застой и загнивание. Представители социальной оппозиции изображают борьбу за свои личные интересы как борьбу за интересы всего общества. Если взять их деятельность изолированно от общей ситуации в обществе, то это кажется само собой разумеющимся для всех: они делают свое дело лучше других, они своим примером призывают общество к прогрессу во всех отношениях. Так почему же остальные члены общества не следуют их примеру и не открывают им зеленую улицу? Во-первых, потому что не могут. А во-вторых, есть объективные закономерности сложного социального организма, которые превращают консерватизм руководства и основной массы населения в совершенно необходимое условие самосохранения общества. Поэтому здесь, как и во всяком другом обществе, прогресс осуществляется как социальная борьба различных групп людей. Кто прав, а кто виноват, кто за прогресс, а кто против — это решается не путем логического доказательства, а путем длительной борьбы, полной жертв, успехов, поражений, потерь, ведущих к прогрессу, и достижений, ведущих к деградации.

Представители социальной оппозиции принимают коммунистический строй в Московии как историческую данность. Для них этот строй — не случайный умысел злодеев или гениев, а продукт серьезной истории. Этот

строй не есть уклонение от неких норм истории. Он есть вполне естественное социальное образование, имеющее право на существование не меньше других общественных типов и доказывающее это свое право способностью выживать в трудных условиях и защищать себя от могучих внешних врагов. Он есть не политический режим, подобный гитлеровскому режиму в Германии, а определенная система организации масс людей в самом фундаменте общества. Его нельзя сбросить и заменить другим, как это делается с политическими режимами. Если отвлечься от возможности разгрома страны в результате мировой войны, коммунистический строй в Московии появился всерьез и надолго. Он еще только в самом начале своего пути. Это отношение социальной оппозиции к своему обществу очень важно понять добросовестно, не приписывая этим людям того, чего в их идеологии нет. Эти люди — не защитники коммунизма. Но в круг их проблем вообще не входит проблема оценки коммунизма как хорошего или как плохого общественного строя, а тем более не входит идея его разрушения и замены другим. Не потому, что они очень любят свой коммунизм, — они его как раз не любят. А просто потому, что это есть среда существования, в которой они приучены жить и добиваться каких-то успехов, из которой у них нет надежды выбраться. У них на этот счет просто нет выбора (за редким исключением).

Отношение социальной оппозиции к своему коммунистическому строю определяется тем фундаментальным обстоятельством, что ее образуют не самые низшие слои общества, не самая плохо живущая часть населения. Они, повторяю, относятся к самой образованной, способной, творческой и активной части населения, занимающей далеко не самое низкое положение в социальной иерархии и имеющей законные основания претендовать на большее. Коммунизм в принципе их устраивает, но такой коммунизм, в котором будут удовлетворяться их жизненные претензии. Существенно здесь не то, что коммунизм их устраивает. Существенны здесь их претензии, превращающие их в глазах власть имущих и привилегированных слоев населения во врагов коммунизма. А претензии эти таковы, что их невозможно удовлетворить без длительной борьбы. Ведь блага западной демократии тоже были завоеваны лишь в результате многовековой борьбы, в которой крови было пролито не меньше, чем в трагической советской истории. Их претензии, на первый взгляд, очень просты: социальная справедливость, благодаря которой они будут играть в обществе роль, достойную их способностей, и будут вознаграждаться за это всеми общественными средствами вознаграждения соответственно их реальной роли. Но удовлетворение этих претензий в условиях коммунистического общества будет целой эпохой ожесточенной борьбы. И те блага западной демократии (демократические свободы и права человека), которые на Западе считаются чуть ли не прирожденными качествами и потребностями людей, будут фигурировать в этой борьбе не как абстрактная самоцель, а как средства борьбы, как побочные продукты ее успехов и следствия. И они будут выглядеть в реальности совсем иначе, чем сейчас на Западе. Не лучше, не хуже, а просто иначе.

Фактическое состояние общества не есть результат только закономерностей его социального строя. Оно также есть результат борьбы различных слоев населения за свои интересы. Социальная оппозиция в Московии борется за свои интересы, но пока еще главным образом в виде множества разрозненных и эпизодических стычек отдельных ее представителей с их окружением. Уже сейчас происходит формирование своего рода неофициального подобщества, особой среды со своим образом жизни, со своими связями, со своими вкусами и взглядами, со своими критериями оценки явлений культуры и событий, со своим отношением к официальной идеологии, к властям, к Западу и т. д. Оно влияет на общую психологическую и нравственную ситуацию в стране. Для многих деятелей советской культуры завоевание уважения в этой среде бывает порою важнее, чем официальное признание. Такая оппозиционная общность людей в Московии становится традиционной. Кстати сказать, диссидентское движение имело в ней гораздо более сильную поддержку, чем это известно на Западе.

Коротко об отношении социальной оппозиции к Западу. Бесспорно, Запад сыграл существенную роль в пробуждении и развитии оппозиционного движения в Советском Союзе. Но Запад, естественно, руководствовался при этом своими представлениями о советском обществе, своими критериями оценки общественных явлений и своими интересами. Запад поощрял и стимулировал в советской оппозиции то, что отвечало его понятиям, вкусам, целям, а отнюдь не то, что способствовало потребностям и возможностям внутренней эволюции советского общества. По этой простой причине социальная оппозиция вообще не могла стать предметом внимания и поддержки на Западе, — она не была и не является ни антисоветской, ни антикоммунистической. Запад навязал многим тысячам советских людей такое понимание советского социального строя, истории страны и целей социальной борьбы, какие совершенно не адекватны условиям жизни и интересам советских людей. Это привело к дезориентации сознания оппозиции и сочувствующих ей кругов населения, к измельчению социальной борьбы вообще. Вот почему освобождение от всего того, что Запад стремится навязать советской оппозиции, не считаясь с внутренними закономерностями коммунистического общества и потребностями его граждан, не имеющих целью покинуть свое общество или разрушить его, является теперь условием превращения потенциальной социальной оппозиции в актуальную и явную. Не советская оппозиция для Запада, а Запад для нее, — таков должен быть принцип в случае, если Запад проявит к ней должное внимание. Трезво рассуждая, на такое внимание вряд ли сейчас можно рассчитывать. Но нет худа без добра. Некоторый «спокойный» период скрытого вызревания оппозиции так или иначе неизбежен.

Запад для представителей социальной оппозиции нужен вовсе не как место, куда они могли бы убежать от мрачной советской действительности, где они могли бы жить с комфортом и наслаждаться благами демократии, откуда они могли бы добывать джинсы и жевательную резинку, откуда к ним потекли

бы эротические картинки и детективные романы. В Советском Союзе есть много людей, которым Запад нужен именно в таком смысле. Но они либо не имеют никакого отношения к реальной оппозиции, либо используют оппозицию как средство. Для настоящей оппозиции Запад нужен совсем по-другому. Запад им нужен прежде всего самим фактом своего существования, ибо Запад есть их собственная цивилизация. Живя фактически в Московии, они, тем не менее, принадлежат к западной цивилизации. Более того, они вообще не отделяют Московию от Запада, несмотря на различия в социальном строе и во всем образе жизни. Для них западная культура есть их собственная культура, а они суть ее часть. Современная культура вообще едина.

Но для социальной оппозиции Запад не есть тот образец социального устройства, к которому следует стремиться. Не надо в этом усматривать какой-то грех, страх или слабость. Это естественно. У этих людей свои проблемы, рожденные реальными условиями их жизни в своем обществе, свои враги, свои друзья, свои идеалы. Надо различать позицию посторонних наблюдателей процесса жизни и позицию тех, кто всецело вовлечен в этот процесс жизни. Запад смотрит на жизнь в Советском Союзе со стороны. А этим людям надо жить в своей стране от рождения до смерти, работать, учиться, развлекаться, добиваться успеха, устраивать быт, растить детей, заботиться об их будущем. И это — не исключительные одиночки, а довольно обширный слой, для которого оппозиционное положение не есть ни профессия, ни призвание, ни средство прославиться или нажить капиталы, ни шанс переселиться на комфортабельный Запад, а вынужденный образ жизни в своей стране и в условиях исторически данного социального строя.

Само собой разумеется, что Западу гораздо труднее иметь дело с такой оппозицией, чем с диссидентской. Здесь нельзя рассчитывать на немедленную реакцию, оцениваемую критериями газетных штампов и сенсаций. Но если бы Запад инвестировал свое внимание, средства и усилия именно в эту советскую оппозицию, то со временем эти затраты оправдались бы с лихвой. С точки зрения интересов большой истории, долговременным и верным союзником Запада является на самом деле не явный и кричащий антисоветизм и антикоммунизм, а именно та фундаментальная и непреходящая оппозиция коммунистическому строю и советизму в рамках самого этого строя и советизма, о которой я говорил выше. Дело не в том, кто субъективно жаждет ослабить и даже уничтожить коммунизм, а в том, кто объективно действует в этом направлении, субъективно не испытывая к тому особого желания. Поддерживая эпизодические и исторически преходящие явления оппозиции в Советском Союзе, Запад откалывает от советского общества маленькие кусочки. Поддержав же социальную оппозицию, Запад способствовал бы созданию в советском обществе постоянной и преемственной ситуации социальной борьбы, подрывающей в исторической перспективе самые основы коммунизма.

Социальная борьба в коммунистическом обществе происходит и будет еще долго происходить в будущем в самых глубинах общества, главным об-

разом — на уровне первичных деловых коллективов, прежде чем она выйдет на поверхность и приобретет форму борьбы политической. Тут сказывается своего рода историческая целесообразность: на этом уровне социальная оппозиция остается почти неуязвимой для карательных органов страны, что особенно важно для нее в самом начале ее исторического существования.

Социальная оппозиция не есть просто одна из форм оппозиции наряду с другими. Она есть самая глубокая основа для прочих форм социальной борьбы внутри специфически коммунистических социальных отношений. Какие бы меры ни предпринимали господствующие слои коммунистического общества против оппозиции, будущая история этого общества не будет казарменно-гармоничной. Коммунизм так или иначе породит все мыслимые формы социальной борьбы, начиная с пассивного сопротивления масс населения реформаторской деятельности вождей и кончая безумным и бесперспективным индивидуальным бунтарством. Социальной оппозиции предстоит сыграть в этом особую роль: лишь она способна внести в эту борьбу историческую осмысленность и целенаправленность. Я убежден в том, что ей принадлежит будущее.

1985, № 44

РАИСА БЕРГ

Варвары на обломках цивилизации

Коммунальная квартира, явление, стихийно возникшее в 1917 году в результате Октябрьского переворота в России, — социологический эксперимент, идеально поставленный самой историей.

Дважды мне представлялся случай участвовать в сосуществовании людей, случайно совмещенных на узком пространстве, людей, вынужденных не только общаться друг с другом, но установить определенный порядок, выработать структуру, т. е. образовать не просто скопление, а общество, каким бы маленьким оно ни было.

Первая коммунальная квартира — общежитие для аспирантов и докторантов Академии наук СССР в Москве. Общежитие занимало четырехэтажный дом на Малой Бронной. Коридор каждого этажа делился на секции — три комнаты, кухня, ванная и туалет. В каждой комнате по аспиранту или по докторанту, с семьей или без таковой. Не эти секции, а, в сущности, весь четырехэтажный дом представлял собой коммунальную квартиру. Шесть лет я прожила на Малой Бронной, пока в 1945 году меня не вышибли. Помыкавшись полтора года, я переехала в Ленинград и поселилась в коммунальной квартире, заселенной гегемоном революции. Это обиталище обогащало запас моих социологических познаний, приобретенных там, где жили будущие действительные члены Академии наук, на протяжении двадцати семи лет с небольшим перерывом. Оно не просто пребывало, оно эволюционировало у меня на глазах. Шли годы, простонародная квартира менялась вместе со всем народом Страны Советов. В финале ее нравы и нравы питомника интеллектуалов стали неотличимы. [...] Занятия прервала эмиграция, но по истечении двадцати семи лет статистическая совокупность наблюдений предельно насытилась.

Дом-полудворец. Через улицу флигели великокняжеского дворца и великолепное здание голландского посольства. Цоколем дом выходил на набережную Мойки, там, где кончалась ее решетка. Набережную и дворец обрамляли ясени.

Переживший Гражданскую войну и разруху, бомбежки и обстрелы и снова разруху, разруху, разруху блокады, весь в оспенных шрамах, дом, когда

мы въехали, хранил следы былой роскоши. Статуя Гермеса и хрустальный колпачок на лампе в вестибюле, бронзовые накладки на щелях почтовых ящиков, цветные витражи в огромных окнах парадной лестницы. Я перечисляю только то, чему суждено было вскорости исчезнуть.

Первое, что делает варвар, видя греческую статую юноши, — отбивает половой орган. Наш Гермес обесчещен иначе: к его половому органу приклеивают окурки, об него тушат папиросы. Второе, что делает варвар, войдя во дворец, — он пишет на стене сакраментальное слово из трех букв и свое имя.

Коммунальная квартира, где мне, моему мужу и новорожденной Лизе предстояло жить, являла собой на тридцатом году Великой Октябрьской революции бредовое зрелище. Управхоз, сообщивший нам о существовании свободной комнаты в квартире, предупредил нас, что попасть в квартиру невозможно. Звонка нет, а на стук никто не открывает. Жильцы имеют ключи. Может, к ним кто и ходит, но тогда они приводят посетителей сами. Он был плохо осведомлен о простоте нравов первобытной пещеры. Был, кроме парадной лестницы, черный ход, по которому носили вязанки дров. Он вел на кухню. Ход этот никогда не запирался, ключей даже не было. Воров не боялись. На кухне ничего нет, не то что кастрюль, нет даже спичек. Алюминиевая поварешка с отломанной ручкой, полная обгоревших спичек, — высший знак зарождающейся социальности — появилась, когда барскую плиту сменили газовые плиты. Обгорелая спичка служила целям экономии: можно взять огонька от уже горящей горелки, и недожженные пеньки спичек... обобществлены! — и это без всякого уговора: сказалась широкая русская натура.

Кухня ничем не могла соблазнить вора, в комнаты он проникнуть не мог, все они заперты на ключ или на крюк изнутри. Запирались не от воров — друг от друга. В коридоре и на кухне, в уборной и в ванной нет света. Колпаки венецианского стекла с краями, изогнутыми, как лепестки роз, цвéта и фактуры мышиной шкурки под слоем тридцатилетней пыли, еще свисали на шнурах. Ни одной лампочки. В комнатах у всех лампочки. Счетчик один. Общий счет за электричество оплачивали все пропорционально числу жильцов в каждой комнате. Договориться об оплате за освещение мест общего пользования они не могли. Они выходили на кухню со свечами или керосиновыми лампами. Плиту не топили, а готовили на примусах и керосинках. Всю кухонную утварь, так же, как и керосин, надлежало хранить в комнате. Оставленное на кухне без присмотра немедленно исчезало. Стоило мне вымыть венецианское стекло коридорных абажуров, и они тут же исчезли.

Кухня — зеркало души коммунальной квартиры. Представить что-либо, более красноречиво вопиющее о человеческой природе, чем кухня квартиры номер шесть, невозможно. Славится своей чернотой лионский черный бархат. Вот такого цвета потолок кухни, роскошной барской кухни с огромным окном, выходящим на сплошную воду, на слияние трех рек — Невы, Пряжки и Мойки, с полом, выложенным красными и белыми плитками та-

кой прочности, что дрова на них кололи и только в одном месте чуть покарябали. Лионский бархат потолка — почти четыре метра высоты — создавался наслоениями копоти в течение тридцати лет. Источники копоти менялись: две эпохи буржуек перемежались с двумя эпохами примусов и керосинок. Длинные, толстые от налипшей на них копоти паутины свисали с потолка. Оконное стекло покрывал слой пыли.

Есть в коммунальных квартирах и еще одна, помимо общего счета за электричество, точка неизбежного соприкосновения между жильцами — уборка мест общего пользования. Профессор, моющий в свой черед унитаз вслед за дворником, — зрелище для дворника весьма приятное. Было ясно, что жильцы квартиры номер шесть в доме номер один по проспекту Маклина, бывшего Английского проспекта, этим богатейшим источником взаимных унижений не только не пренебрегали, но и пользовались им с изощренной изобретательностью.

И кухня повествовала об издевательском характере возложенных на дежурного обязанностей — все медные части вычищены до блеска: ручки, краны — это бы ничего. В плиту вделан бак. Плитой не пользуются. Но медная крышка бака сияет. О могучий язык вещей! Контраст между слоем пыли на оконном стекле, между паутиной, свисающей с аспидно-черного потолка, и жарким сиянием никому не нужной крышки говорил: здесь есть законодатель, строго соблюдаемая иерархия, здесь властвует крысиный король, а все прочие равны перед его лицом.

Кто населял эту квартиру? Весь четырехэтажный дом был покинут его жильцами в 1917 году. Как он заселялся, я не знаю.

Муж Марии Николаевны, няни моих детей, — рабочий-лекальщик Путиловского завода, жил с женой и пятью детьми в центре города в отдельной квартире. О, это магическое словосочетание — *отдельная квартира*, моя мечта! Осуществись она, и я жила бы сейчас в Ленинграде, а не в Мэдисоне штата Висконсин.

Рабочих в барские квартиры не вселяли. Подсобные рабочие окрестных заводов, вчерашние крестьяне, хлынувшие во время коллективизации из деревни в город, санитарки психиатрической больницы Николая Чудотворца, как она звалась до революции (красную краску вывески смывал дождь, и Николай Чудотворец снова и снова выступал серым по белому, пока вывеску не сняли), бывшая дворцовая челядь, дворники и дворничихи вселились в квартиры сбежавшей знати. В каждой огромной комнате по семье. Мужчин почти нет. Вдовы, дети, одинокие женщины, покинутые мужьями или никогда не бывшие замужем, с детьми, без детей.

Комната, доставшаяся нам, — единственная маленькая в семикомнатной генеральской квартире. Узенькое это помещение между кухней и парадной лестницей когда-то служило обиталищем кухарки. Взять его надлежало, так как на лучшее мы рассчитывать не могли. Когда я вошла в узенькую комнату и передо мной в ее громадном окне открылся с третьего этажа вид на воду, тот самый, что из окна кухни, я поняла, что буду жить в этой крошечной

комнате. А варваров на обломках цивилизации я не боялась. Я знала, что они заведомо лучше интеллигентных обитателей аспирантского общежития Академии наук в Москве на Малой Бронной, где я прожила почти пять лет.

Мы переехали.

Всего пять семей населяло помимо нас квартиру. Пять немолодых женщин. Шестеро детей. Один мужчина. Чудом этот мужчина пережил войну, блокаду, смертельный голод. Мы только-только переехали, я и не видела его ни разу, как стало известно, что он погиб. Напился, пошел купаться и утонул. Его жена с двумя дочками переселилась в узенькую комнатку, а мы заняли две роскошные комнаты с балконом. Тогда-то и открылся другой дивный вид из окон угловой комнаты на голландское посольство и на флигель дворца великого князя и стала видна через незанавешенные окна кабинета моего отца его седая голова. В 1948 году мы обрели эти роскошные комнаты, в 1950 году отец умер. На доме появилась мемориальная доска. [...]

Я обожала своих соседей. Сравнение с интеллигентными и неинтеллигентными обитателями аспирантского общежития на Малой Бронной украшало моих новых соседей безмерно. Они и не подозревали, как они прекрасны.

Пять женщин — три страты. Низшую составляли подсобные рабочие, сторожа, кладовщицы, приемщицы белья в прачечных. Они сменяли эти должности, не поднимаясь выше. Их три. Три каменные бабы, все три — пьяницы и воровки. Они ходили в платках. Вторая страта имела единственного представителя — крысиного короля, по чьей инициативе сияла крышка кухонного бака. Доминантная эта личность — Вера Алексеевна — принадлежала к рабочей бюрократии, чем-то заведовала в заводской столовой, член завкома, эксплуататор новой формации. Ни по образованию, ни по внешности она от каменных баб не отличалась, но носила шляпку. И третья страта имела одного представителя. Несчастная Анастасия Сергеевна, кассирша вокзала, ходила в интеллигентках. Она не была каменной бабой и носила шляпку.

Все ненавидели всех. И боялись. У всех рыльце в пушку. Анастасия Сергеевна шьет и уклоняется от налога. Каменные бабы тащат с заводов наворованное, пустяки: электролампочки, веревки, мешковину; у крысиного короля прописана в комнате мифическая личность, никогда не существовавшее подобие поручика Киже, я даже фамилию этого призрака знаю — Иванов. Узнала случайно, когда принесли повестки, приглашающие на выборы. Иванов необходим королю, чтобы не платить за излишки жилплощади. Перед выборами Вера Алексеевна брала для призрака открепительный талон. Будто Иванов в отъезде — голосовать будет в другом районе. Призрак избирателя на призрачных выборах — под строжайшим общественным контролем мы участвовали в инсценировке.

Друг с другом обитатели квартиры не здороваются. За глаза называют друг друга Верка, Тоська, Ленка. Звучало это примерно так: «С Тоськой-то не здороваемся. Из-за копейки поругались», — обращается ко мне за со-

чувствием Елена Кирилловна, с которой мы поменялись комнатами. «Фигурально выражаясь, из-за копейки?» — спрашиваю я. «Да ничего не фигурально, а из-за копейки. Распределяла, кому сколько за электричество платить, я. Ей копейку надбавила. Звонок у нее электрический, а у меня вертушка». Читатель уже понял, что в квартире появились звонки. Кнопка на парадной двери. У каждой — фамилия владельца звонка.

Вертушку установила я. Величайшее уважение к частной собственности выявлялось в том, что вертушкой не пользовались. Слышу страшный грохот. Кто-то стучит каблуками в парадную дверь. Открываю — крысиный король: забыла ключи. «Почему не звоните?» —«Звонок-то ваш». — «Нет, он общий». Вы скажете: а как же воровство? Есть много свидетельств уважения к частной собственности. Воровство — одно из них. Неуважение имеет одно обличье — экспроприацию.

Я цивилизовала квартиру. Внешний вид ее изменился. Нравы остались прежними, даже хуже стало. Ванной до моего появления никто не пользовался. Ходили в баню. Я заменила разбитую раковину. Теперь ванной и раковиной пользовались если не все, то многие. Мыть ее в обязанности дежурного по уборке не входило. Раковина моя — я ее и должна мыть. Моего разрешения пользоваться ею уже не спрашивали. Я не имела права установить ее без их согласия. Все это, как и многое другое, подразумевалось без слов. Захарканная раковина и каблук, бьющий в парадную дверь, — язык, на котором мы говорили. Сталин безусловно ошибался, когда, выступив на свободной дискуссии по вопросам языкознания, утверждал, что без слова нет мысли. Ошибался и академик Марр, считавший, что языку звуков предшествовал язык жестов. Обитатели квартиры номер шесть изъяснялись на языке вещей. Мысль для своего выражения не нуждается ни в слове, ни в жесте.

Изредка случалось услышать и разговор на кухне. «Я ору, а они бегут: поняли, чем пахнет», — раздается с кухни громкий голос Веры Алексеевны, без малейшей модуляции, на одной ноте. Она описывает свое пребывание в Карловых Варах, в Чехословакии, куда послал ее завком на лечение. Анастасия Сергеевна, услыхав по радио, как шельмуют Пастернака, — она раньше и имени такого не слыхала и случая не имела услышать (в тот день передавали его униженную просьбу не высылать его за пределы Родины), — выражала свою радость: заставили хвост поджать, пусть теперь поползает... Елена Кирилловна возмущалась абстракционистами: по радио она слышала речь Хрущева — абстракционисты рисуют деревья вверх корнями.

Вы думаете, Елена Кирилловна — кладовщица Судомеханического завода — вкушала блага построенного социализма и была верной опорой правительства? Когда она в обеденный перерыв приходила с завода и разогревала обед, плакать хотелось, глядя на ее пищу. На заводе «за проходной» закрытый магазин, где хорошие продукты продавали рабочим завода. Ее зарплаты не хватало, чтобы покупать их. Она мыла баки из-под краски. Перчатки не защищали, или не было и перчаток: ее руки покрыты язвами. Она даже анекдоты рассказывала. Есть два типа анекдотов в России: одни,

создаваемые членами Союза писателей, анонимно, конечно, другие — народом. Елена Кирилловна рассказывала, что родились у женщины близнецы. Мальчик Никита жиреет. Девочка Родина хиреет. Время Никиты Хрущева — время анекдота.

Она недовольна правительством, но ее недовольство усилилось бы во сто крат, не будь космических полетов и шельмования интеллигенции. Радио заменило костры инквизиции. В шестидесятые годы в квартире шесть появились телевизоры.

Вы недоумеваете: почему же я любила эту чернь, чернь в буквальном смысле слова? По контрасту с интеллигентами общежития на Малой Бронной. Там подстраивали друг другу ядовитые штучки, умели передать сплетню с дьявольским расчетом. И делалось это, хотя и из зависти, но вместе с тем бескорыстно. Материальной выгоды из этих штучек интеллектуалы не извлекали.

Надо, кажется, рассказать одну из акций. Прямо напротив моей двери обитала семья — муж, жена, двое детей. Муж русский, жена еврейка. Во время войны они были эвакуированы. Война еще шла, когда общежитие стало снова заполняться. Сперва вернулся муж, а потом уже приехали жена и дети. Из газет молодая еврейка узнала, что в Киеве немцы убили ее родителей. Бабий Яр. Она голосила. В это самое время женщина-врач, жена инвалида Отечественной войны одноногого аспиранта-еврея Гилечки Фридмана, сообщила полусумасшедшей от горя женщине, что ее муж изменял ей в ее отсутствие — женщин водил. Врала, вернее всего. Я раньше всех вернулась. Мне не случалось видеть соседа в обществе женщины. Дочь погибших сошла с ума. Она пела и плясала в коридоре, заставляла детей петь и плясать.

Ни о чем подобном среди варваров на Английском проспекте нельзя было и помыслить. Дальше презрительного игнорирования и мелкого воровства дело не шло. Сравнишь — полюбишь.

Нравы испортились, когда крысиный король поднялся по социальной лестнице на недосягаемую высоту и взял на себя функции моего идеолога, поминутно грозя доносами, когда состарились каменные бабы, а несчастная Анастасия Сергеевна заболела открытой формой туберкулеза. [...]

Я только раз застала Веру Алексеевну за подслушиванием под моей дверью. В старые добрые времена, в эпоху, когда квартира наша еще пребывала в состоянии первобытной дикости, мне удалось получить телефон. Никто не желал иметь его, и его установили в моей комнате, и я одна за него платила. Теперь он служил источником информации для Веры Алексеевны. Будь она на ставке, — мне говорили, что девяносто рублей в месяц платят за соглядатайство, — она бы молчала, где надо молчать, а говорила бы там, где ей говорить надлежало. Двадцать лет прошло, как мы поменялись комнатами с Еленой Кирилловной, а Вера Алексеевна все грозила донести о незаконности нашей сделки. Сделка была законной, а приплата, которую получила Елена Кирилловна, — не столько мое преступление, сколько ее. Я не торопилась рассеять заблуждения крысиного короля. Мое диссидентство было

для нее тайной. При Сталине ложный донос грозил смертью. При Хрущеве и Брежневе пустяки, которыми располагала Вера Алексеевна, только добавили бы к досье, а поводом для возбуждения дела служить не могли.

Когда Анастасия Сергеевна заболела открытой формой туберкулеза, ей запретили пользоваться ванной: пусть умывается на кухне. Они боятся заразы. Не то что пещерные люди, животные поступили бы иначе. Елена Кирилловна сошла с ума. Обе они умерли от рака.

Квартира стала заселяться интеллигенцией новой формации. Тогда жить стало невозможно. Мария Ивановна Сорокина — юрист с высшим образованием, ее цыганоподобный муж Лев Макарович Сорокин, пожарник, куда лучше меня знали, как наладить сосуществование с соседями по коммунальной квартире. Подходили они к вопросу с другого конца.

Меня спрашивают здесь, в Америке, почему я уехала из России. «Потому что я жила в коммунальной квартире», — отвечаю я. Это шутка, которая, как всякая шутка, на четверть всерьез.

Мария Ивановна сочетала в себе все пороки худших элементов Малой Бронной с худшими элементами черни. Она разыгрывала дьявольские штучки из любви к искусству, а Лев Макарович был прост до беспредельности. «Профессор, подотри пол», — говорил он мне. Я отшучивалась. Это светлая заря наших отношений. В их апогее он входил в переднюю с лестницы или выходил из своей комнаты, из огромной комнаты, где раньше жила Анастасия Сергеевна и где он жил с Марией Ивановной, с сыном-студентом и дочерью-школьницей, — и, увидев меня, разговаривающей в передней по телефону, нажимал рычаг телефона: «Вот так тебе, еврейская морда». Я в первый раз, когда он сделал это, сказала ему, что нехорошо травить интеллигентного человека, не сделавшего ему ни малейшего зла, что Конституция и закон запрещают такого рода действия, пусть спросит у своей жены, и что у него дети — комсомольцы, постыдился бы их.

Во второй раз, когда цыганоподобный пожарник снова отключил телефон в то время, как я говорила, со словами: «Я из тебя котлету сделаю, еврейская морда», — я сказала ему: «Я слышу это в последний раз. Следующий раз я бью без предупреждения по морде». — «Но я из тебя мокрое место сделаю!» — воскликнул он. «Да, —сказала я, — вы сделаете из меня мокрое место, потому что вы мужчина, а я старая женщина, но при этом вы получите по морде». Безобразия с его стороны прекратились, но Мария Ивановна продолжала разыгрывать свои дьявольские водевили до самого моего отъезда.

Они знали, что я знаю, что Лев Макарович приставлен ко мне шпионом. Лиза застукала его с поличным. Оказалось, что он провел звонок от моей дверной кнопки к себе в комнату. Я не знала об этом, когда в 1972 году говорила по телефону Андрею Дмитриевичу Сахарову: «Только не ошибитесь звонком, когда будете звонить в мою дверь». Не знала я в тот момент не только, что звонок ко мне раздается в комнату пожарника, но и с кем я разговариваю по телефону. Меня предупредили, что один человек нуждается в моей помощи и будет звонить. Фамилия не названа. Я поняла, что мое-

му будущему знакомому лучше не ошибаться, звоня в дверь коммунальной квартиры. Я так и не узнала, кто же должен прийти, пока не раздался звонок поздно вечером, когда никого не было ни в передней, ни на кухне, и я открыла дверь, и Андрей Дмитриевич Сахаров и Елена Георгиевна Боннэр прошли в комнаты и тогда только представились. [...]

Все мои попытки переменить комнаты не увенчались успехом. Те, кто приходили смотреть их с целью поменяться, отлично понимали язык вещей. Комфорт, благоустроенность квартиры свидетельствовали о том, что я бегу от соседей.

* * *

Я описала самую обыкновенную, отнюдь не самую худшую, коммунальную квартиру. Ни убийств, ни рукопашных боев. Матерщина зазвучала только с появлением пожарника и когда Елена Константиновна сошла с ума. Лев Макарович материл меня по всем правилам искусства, а Елена Кирилловна на «вы», что явно указывало на психическое расстройство. Но неужели не было хороших коммунальных квартир? Были, и даже две.

Александра Алексеевна Прокофьева-Бельговская вошла в комнату, когда Лиза вниз головой висела на кольцах. Александра Алексеевна бросилась спасать ребенка от неминуемого падения, но я успокоила ее: мои дети подобны обезьянам, и висеть вниз головой для них вполне естественно. И тут возник разговор о коммунальных квартирах. Оставить на кухне яйцо, или луковицу, или сковородку с зажаренными котлетами нельзя, а так — тихо, спокойно, никаких скандалов — это было в старые, блаженные времена. «А у нас холодильники стоят на кухне, — сказала Александра Алексеевна. — Каждый может выбрать себе из любого холодильника то, что ему по вкусу, и съесть, не спрашивая разрешения владельца. Приходит последний — все съедено, есть решительно нечего. Он стучит во все двери — ему выносят еду».

Вскоре я убедилась на собственном опыте, что рассказанное не сказка. У Бельговских званый ужин. Гостей двое: Борис Львович Астауров и я. Я мыла руки в ванной, когда у меня из носа пошла кровь. Меня увидела соседка: «Сейчас стул и газету принесу, сядете, голову закинете, мокрую газету ко лбу и к носу прижмете, мигом пройдет». Сказано-сделано. Прошло. Иду на кухню. Там другая соседка. «Скажите, где помойное ведро Бельговских? Газету выбросить надо». — «А у нас бак для отбросов общий, каждый следит, чтобы мусор не накапливался». А выносить бак надлежало во двор, где мусорный ящик. Квартира на пятом этаже, лифта нет, лестница крутая.

А еще такой случай. Я в Москве, задержалась, деньги потратила, звоню Александре Алексеевне —дайте в долг 200 рублей. Дело до реформы было. «Раз вам некогда завтра к нам на службу прийти, идите к нам домой, дома всегда кто-нибудь есть. Дверь откроют — звоните во все звонки. Дверь в наши комнаты не заперта. Войдете — прямо против двери письменный стол, на нем найдете 200 рублей». Дверь мне открыла соседка. «Вы ведь из Ленинграда? — спрашивает. — Зайдите ко мне позавтракать». — «Благода-

рю, кормить меня нельзя, у меня живот не в порядке». — «Тогда зайдите, я вас полечу». Чудеса? И никакие не чудеса. В 1934 году, когда Академию наук перевели из Ленинграда в Москву, Вавилов выхлопотал для сотрудников Института генетики вот эту самую квартиру на Пятницкой. Прошло больше двадцати лет, и они все еще жили вместе, и всё, что рассказывала Александра Алексеевна, истинная правда. А соседка-врач, предлагавшая мне полечить меня, — это Раиса Павловна Мартынова. Я встретилась с ней в 1963 году в Новосибирске, где она заведовала лабораторией канцерогенеза. Не совсем обычный персонаж коммунальной квартиры, согласитесь. [...]

Жильцы коммунальной квартиры на Пятницкой подобрались не случайно. Дух покойного Вавилова витал над ними. Предатели давно жили в отдельных квартирах.

Жильцы второй легендарной коммунальной квартиры оказались соседями случайно. Обитателей барских апартаментов в доме на десятой линии Васильевского острова в Ленинграде уплотнили. Уплотнители, в отличие от жильцов нашей квартиры, — не экспроприаторы и не члены семей тех, кто грабил, согласно призыву Ленина, награбленное.

Имя родоначальника уплотненных я видела своими глазами на мраморной доске, вделанной в стену Рима. Он командовал одним из подразделений войск Гарибальди. Соратник Гарибальди женился на англичанке и поселился с ней в Петербурге. Его дочь Елизавета Иосифовна вышла замуж за шведа, члена масонской ложи. Ему приходилось по делам службы бывать в Риме, и, когда дочь его Маргариту в школе спросили, кто ее папа, она ответила: «Папа римский». Я познакомилась с уплотненными, когда и Елизавета Иосифовна, и Маргарита Владимировна — дочь «папы римского» — овдовели и растили свою прелестнейшую внучку и дочку Марину. Они занимали две парадные комнаты квартиры. Елизавета Иосифовна давала дома уроки английского языка. Маргарита Владимировна преподавала русский язык в школе, а Мариночка училась в школе. Все три — вылитые итальянки, красавицы. Ни английские, ни шведские, ни русские гены не пробивались сквозь смоль их волос и глаз.

События, изменившие жилищные условия семьи, произошли в ГДР. Вальтер Ульбрихт — тогда генеральный секретарь Коммунистической партии Восточной Германии — и его жена спросили свою дочь Беату, что бы она хотела получить в качестве подарка ко дню рождения. Своевольное дитя пожелало учиться в Советском Союзе. Желание — закон. Выбор учебного заведения для немецкой принцессы пал на интернат, инспектором которого была Маргарита Владимировна, а выбор семьи, где принцесса должна проводить воскресные и праздничные дни, пал на семью Маргариты Владимировны.

Три поколения итальянок-красавиц оказались в центре строительства потемкинской деревни. Из Москвы приехал представитель ЦК дать инструкции обкому партии, как обставить жизнь принцессы. Подремонтировали дом и квартиру. Нет, это никуда не годилось. Маргарите Владимировне предоставили трехкомнатную квартиру. Две комнаты для трех женщин,

одна — для Беаты. Телефонной станции в районе, где поселилась принцесса, не было. В квартире, однако, появился телефон. Подвесная проводка соединяла его со станцией другого района. Крепостей, которых большевики не сумели бы взять, не существует. Потемкинская деревня была снабжена телефоном. Дело было в конце 50-х годов.

Летом 1969 года Мариночка гостила у Беаты и ее родителей в Ливадии. Когда-то Ливадия была летней резиденцией Николая Второго, теперь в ней отдыхал Хрущев. Мы узнали кое-что о тех, кто нами правит.

Мариночка говорила, что, если на будущий год пригласят, ни за что не поедет. Варварская роскошь, непрерывная слежка, тысячи запретов, страх, как бы информация о способе существования слуг народа не стала достоянием народа. Мариночка мастерски описывала бытовые сцены из жизни элиты.

Хрущеву Мариночка симпатизировала. Знакомство с ним произошло в воде и при обстоятельствах, чуть было не закончившихся гибелью Марины. Пляж устлан текинскими коврами, уходящими под воду. Плоты на якорях предоставляют отдых пловцам. Мариночка сидела на плоту. Внезапно плот накренился, и могучий рычаг катапультировал Марину в небо, в море. Падая, она ударилась лицом о скалу. Чудом лицо не пострадало, только два передних зуба оказались выбитыми. Катапультировал Марину Хрущев, выбросившийся на плот всей непомерной тушей. А библейской красоты зубы тотчас же заменили другими, неотличимыми от прежних.

Охота — самое царское развлечение. Хрущев был хороший стрелок. В чаше кустов и деревьев слуга кидал в воздух белые диски-мишени. Двенадцать раз подряд Хрущев бил без промаха. «Остановитесь на том, Никита Сергеич, — сказал ему его зять Аджубей, — в следующий раз промахнетесь». — «Мы не фаталисты», — сказал Хрущев. Молодой человек с блокнотом, стоящий наготове рядом с Хрущевым, — эти молодые люди назывались спутниками, — записывает: «Мы не фаталисты».

В парке стояли бочки с вином, и в них плавали расписные ковши. Каждый вечер правители смотрели кино — заграничные картины. Тайком проводили два цербера, приставленные к Марине и Беате, два Кости, обеих девочек в кино, как только гас свет в зале, и уводили за секунду до того, как свет зажигался. Два Кости тоже хотели смотреть заграничные фильмы.

Года через два царственный птенец оперился и упорхнул. Потомки соратника Гарибальди оказались жильцами отдельной трехкомнатной квартиры с телефоном!

* * *

Отнюдь не пренебрежение к обветшалому институту брака руководило мной, когда в Новосибирске я приказывала моей дочери Маше и Саше не регистрировать брак. Маша была беременна. До родов оставался месяц-полтора. Действовала я на основе знания советской действительности. Регистрация брака в Новосибирске лишала Машу ленинградской прописки. Сперва надо вернуться в Ленинград с ребенком. Нужно оформить свою по-

стоянную прописку, прописать ребенка и тогда оформлять брак и хлопотать о постоянной прописке для мужа. Маша и Саша не послушались. Брак зарегистрировали. Маша лишилась возможности вернуться со мной в Ленинград. Географическое Общество хлопотало о внучке покойного президента. Вотще. Маша уехала в Академгородок с твердым намерением развестись со своим Сашей.

Мы жили в трех роскошных комнатах вдвоем с Лизой. Развод занял около года. Наконец, Маша и Марина поселились в квартире номер шесть на проспекте Маклина. Маша обрела право жить в квартире, где она жила с самого рождения три четверти своей жизни. [...]

Я обратилась в горсовет с просьбой предоставить мне отдельную квартиру в любом районе города взамен моих трех комнат. Я согласна на меньшую площадь. Я описывала выходки соседа-пожарника и писала, что на доме напротив укреплена мемориальная доска моего отца и я считаю антисемитские выпады против меня оскорблением его памяти. Отказ пришел мгновенно. Поведением пожарника горсовет не заинтересовался.

И на что только я рассчитывала, подавая свое заявление? Обивая пороги райисполкома, разве не видела я на дверях его жилотдела объявление, оповещающее граждан о правилах предоставления им жилплощади? В очередь на улучшение бытовых условий ставят тех, у кого на человека приходится меньше четырех с половиной метров. Объявление оповещало, что на очередь будут поставлены только семьи, живущие в переуплотненных условиях не меньше года. Объявление не доводило до сведения граждан, что ждать им придется долгие годы. Умалчивало оно и о том, что, имей они хоть самое что ни на есть священное право получить свои, выстоянные в очереди блага, они не получат их без взятки и взятка тем больше, чем дольше пришлось ждать.

Я не жалела ни времени, ни сил, чтобы вырваться из квартиры, где прожила более четверти века. Титаническое упорство, однако, не привело ни к чему. Цыганоподобный пожарник-стукач, высокоинтеллигентная Мария Ивановна — юрист с высшим образованием, крысиный король, Анастасия Сергеевна с открытой формой туберкулеза, матерная брань сошедшей с ума Елены Кирилловны были и оставались до дня отъезда моей повседневной неотвратимой судьбой. [...]

1984, № 41

ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ

О том, как меня Сахаров обогрел

[...] О голодовке.

Начальнику лагеря майору Рукосуеву
з/к Горемыкин
Объявляю смертельную голодовку, потому как без сапог пропавши. Всем дали сапоги, мне не дали сапоги, прошу выдать сапоги. Заявление.

Другой объявляет голодовку, требуя срочно изменить Конституцию или, там, демонтировать все советские ракеты.

«Голодай, голодай, — ободряют ключники. — Скопытишься — никто и не почешется». Это верно, как правило. Но где логика и где — отчаяние? До нее ли, когда иссякли запасы терпения?

Ежечасно, изо дня в день, годами и годами зэка пребывает во всесильной начальственной длани — то слегка придавит его, то отпустит на малый миг, чтобы потом ущемить еще больнее, а восхочет, так и вовсе расплющит, раздробит в мелкие дребезги, размажет в слякоть... И, думается, в этом один из первейших начальственных уроков стране, изрядная часть населения которой так или иначе пропущена через лагерную душедробилку-душегубку. Власть затем безоглядно цинична, что чем безоглядней, тем скорее должна перед ней преклониться в трепете всякая душа, осознать себя ничтожным прахом. И, заметил я, это работает.

Но голодовка, чем бы формально она ни мотивировалась, зачастую — отчаянный побег от начальственного всевластия, крепость, в которой на время укрывается измочаленная до смерти душа: отлежаться, зализать раны, укрепиться в самости своей. И начальники нутром чуют эту побегушную суть голодовки. Хоть и не устают поощрять тебя («Давай, давай, — быстрей коньки откинешь»), глаза же их сочатся тайным раздражением: раб вдруг выпал из рабства, перестал дрожать, отказался от первейшего лагерного пряника — хлеба — и сам подставился под главный лагерный кнут — голод. И... как с ним быть? Вся чекистская вселенная начинает опасно кренироваться... Впрочем, как для Пифагора «нет ничего без своего числа», так для чекиста нет никого без своего страха, — и скоро он, вместо кнута голода, прибегает к другому. К холоду, например.

«*Всем дали сапоги, мне не дали сапоги, прошу выдать сапоги. Заявление*».

И через тройку недель, а то и через пару месяцев выносят бедолагу из голодовочной одиночки без сапог. Но это не суть важно — он выиграл более значительную битву. Тем более, что если не сапоги, так башмаки он все-таки имеет шанс через какое-то время получить: начальство отчаянному давлению порой уступает, пятится — хоть и не вмиг, и не совсем в том направлении, в котором на него давят. Но, опять же, это для моего голодаря не суть важно. А важно, что, укрывшись в крепости голодовки, он спасся от чувства бессилия, отчаяния и связанной с ними разъедающей душу ненависти не только к врагам своим, но и — через них — чуть ли не ко всему миру, такому холодному, когда глядишь на него из-за проволоки.

Так и я на исходе 77-го года объявил голодовку, потому что — хоть в петлю. Правда, я не сапог требовал, а всего лишь всеобщей амнистии. А почему бы и нет?

Мне несказанно повезло: тут у Алика Мурженко случилось свидание, и как-то он исхитрился намекнуть, что я бросился в голодовку не просто так. Жена же его потом через Москву возвращалась и — к Сахарову. Я, разумеется, обо всем этом и знать не знал, поскольку моя одиночка — два метра в длину, метр в ширину — не только за двойными дверьми, но и в самом углу ниши, отрезанной от общего коридора решеткой.

К голоду я довольно скоро притерпелся — к концу второй недели организм, как известно, перестраивается на самопоедание и желудок уже не вопит о пище. Зато меня холод донимал: декабрь стоял, за двадцатые перевалило, и мороз тоже за двадцатку сигал. Начальство, как и с голодом, со стужей всегда в сговоре — знает, что тощего холод куда сильнее когтит, и потому печка моя — не теплее покойника. Одежонка лагерная и без того сквозистая, а тут у меня и вовсе всякую лишнюю тряпицу изъяли. Выручал чайник с кипятком — дважды в день. Я грел о него руки, потом укутывал одеялом и прилаживал к покатым его бокам ноги. Только когда он вконец остывал, прикладывался к оловянному носику — теплая водица отдавала вкусом отчаяния.

Ближе к полудню в карцерном закутке брякала решетчатая дверь и начиналось обнадеживающее шевеление возле печки.

— Эй ты, — надрывался я через двери, — чего не греешь, как надо?

Отвечал не истопник, а нависший над ним надзиратель:

— По норме топит — восемь кэгэ на рыло.

Мне не впервой, знаю: полпуда дров — не Бог весть что, но все же хоть на пару-то часиков, а можно печку натеплить. А тут...

Только позже я узнал, как оно все обстояло, — от истопника, нашего же брата, но угодливого, поклончивого, давно и навеки испуганного, из тех, что всю жизнь сидит, желтея лицом при виде погон. Ему и в самом деле выдавали полупудовую вязанку, но не из штабеля под навесом, а всякого осинистого дрянца. Главное же, не пускали поколдовать возле печи, пока дрова займутся, а так — разжег и пошел вон. Потом решетку в закуток — на ключ, и больше к печи не подступиться. Дровишки потлеют-потлеют и увянут.

Бывало, под вечер, когда надежды на вторичное появление истопника вконец испарялись, я выплескивал чайник в парашу и давай колотить им о решетку — уши закладывало от железного гула. Спустя изрядное время являлся дежурный офицер. Беседы наши не блистали разнообразием. Я ему, норовя выровнять дыхание: «Замерзаю»; он мне, язвительно: «Топим по норме». Иной, если не ленивый, даже заходил в мою конуру и прикладывал ладонь к печному кожуху, чтобы тут же отдернуть ее, как бы обжегшись.

Но как-то совсем утром коридорная решетка скрипнула странно, послышались вороватые шажки, откинулась кормушка, и в ней — пьяненькая физия надзирателя. Из тех, что не то чтобы записной добряк, но и не сволочь, главное же — знавший меня лет пятнадцать, чуть ли не с первого моего бушлатного года. И — шепотком-шепотком — поведал, что у лагерных ворот — вот уже пятый день! — Сахаров с женой, требуют свидания. И «голоса» кричат...

Время ползло к полудню, когда в камеру не без труда просунулся бравый подполковник Романов — главный чекист в системе мордовских лагерей. Румянец в полщеки, простодушно разляпистый нос, однако глазок острый, сильно хитрый, подмигивающий, уклончивый...

И впервые, вместо традиционного: «Давай, давай голодай», прозвучали слова уговора.

(Еще бы: с приездом Сахарова голодовка — уже не местное событие, и московское начальство рявкнуло со своих высот: «Прекратить!» Ему ведь, высокому-то начальству, и на меня и на Романова равно плевать, — лишь бы шум закордонный унялся. Будет ли оно с каким-то там захолустным подполковником церемониться, если он оплошает и дело не уладит? А тут еще Сахаров, — нет чтобы в «Доме колхозника» мирно чаек попивать, с клопами воевать, — по поселку шастает, разговоры с туземцами разговаривает, — выходит, за каждым кустом тихушника сажай, да что ни вечер рапорт в Москву строчи. И сынок этой Боннэр зачем-то вдруг мелькнул. Не привез ли чего? И какое поручение увез с собой в Москву? Сильней же всего сосет — угадать, зачем это все? Не может же, ну никак не может того быть, чтобы сам Сахаров прикатил в задрипанную Мордовию просто так — ободрить, дескать, какого-то там зэка... Не-ет, тут что-то не то, неспроста все это... [...] А Сахаров с женой все бродили да бродили по сугробам вокруг лагерной зоны — целых десять дней. Свидания со мной им, разумеется, не дали. Да они и с самого начала знали, что не дадут.

Я — Романову: какие, мол, разговоры, когда зуб на зуб не попадает. И вообще, — чуть-чуть блефанул я, — чем вы ко мне хуже, тем злость моя круче, — одна она и держит меня. — И глаз нарочно заузил, заострил — ненависти подпустил.

Подполковник удалился. Вскоре брякнула, пропуская истопника, коридорная решетка, громыхнули и рассыпались по полу сухие дрова, и еще раз, и третий...

А потом в кормушку всунулась все та же хмельная физия:

— Сколько он еще пробудет?

— Кто?

— Сахаров.

— А я откуда знаю?

Он кольнул недоверчивым глазом.

— А тебе-то что? — ответно полыхнуло во мне подозрение.

— Да я в том смысле, что в магазин вон шамовку забросили — перед Сахаровым выставляются.

(Так ли, не совсем ли так оно было, но позже мне случилось слышать от «вольняшек», что вот пришли Сахаровы в сельпо, а там, известное дело, шаром покати. Они и давай названивать в Москву, чтобы им кто-нибудь из родных или друзей привез съестное. Начальство всполошилось, и на другой или третий день в сельпо завезли молоко и масло... на радость местному народу.)

Я голодал еще довольно долго — в общей сложности шесть недель, — но теперь уже не только не мерз, но и форточку напрягался приоткрыть. Однако тщетно — заколочена намертво и зимой и летом: свежему воздуху втекать запрещено.

Печка моя дышала запредельным жаром — даже оконная наледь истончилась, обнажив овальной формы проем. Если встать на нары, сильно перегнуться вправо, выкрутив шею еще правее и вверх, — проем совпадет с щелью в оконном намордник: за паутиной колючей проволоки над дощатым забором виднеется грязный рубец железнодорожной насыпи. Вот прокатил, закутанный в белесое облако, тупорылый паровичок, — чуть слышно, раздельно стучат по стыкам ленивые колеса. Если еще и еще поднапрячься и взять правее — клок поля: под невеселым солнцем голубовато поблескивает колючий снег — словно декорация к злой сказке. Меж снежных холмиков — серый изгиб колдобистой тропинки, редкие фигуры в неуклюжем, черном спешат, оскальзываясь, напряженно горбатясь на ходу. Вон один, вполне высокий. Но, конечно, это не он. Он уже уехал. Да и не может он вот так суетливо перебирать ногами и горбатиться. Он прямо ходит...

Не-ет, ничего... ничего... Жить все-таки можно. Не так уж все оно и безысходно.

К печке не притронуться — хоть блины на кожухе пеки.

1985, № 43

КОНТИНЕНТ 35

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Ко дню рождения

Елена Боннэр-Сахарова

Обложка «Континента», № 35

Обращение к французским профсоюзным, христианским (католическим, протестантским, православным) и еврейским организациям, ко всем эмиграциям, нашедшим убежище во Франции

Мы обращаемся к вам по вопросу, который может показаться не имеющим к вам прямого отношения: 22 января истекли 4 года со времени высылки академика Андрея Сахарова из Москвы, — между тем, очень мало делается для того, чтобы его освободить, хотя над ним нависла смертельная угроза.

Профсоюзы Запада могут сказать, что Сахаров — не профсоюзный деятель, а «всего лишь» правозащитник, борец за права человека, что у них хватает своих проблем.

Христианские организации могут сказать, что Сахаров — атеист.

Еврейские организации могут сказать, что Сахаров — не еврей, не еврейский «отказник», не борец за национальные интересы Израиля.

Эмигранты-украинцы, чехи, поляки, вьетнамцы и т. д. могут сказать, что Сахаров — русский, и что борьба за его освобождение — дело русских.

Наконец, все вместе могут сказать, что на фоне кровопролитных акций, имеющих место в современном мире каждый Божий день то тут, то там, на фоне пыток в диктаторских странах, огромных лагерных сроков и психушечных мук в СССР — что на фоне всего этого высылка Сахарова — не такая уж страшная вещь...

Однако все подобные рассуждения не только поверхностны, но просто ошибочны.

Да, Сахаров — не профсоюзный деятель, — но пока не будут завоеваны элементарные права человека, борьбе за которые посвятил многие годы своей жизни этот великий ученый, в СССР, в странах Восточной Европы, в таких странах, как Вьетнам, подлинные (т. е. свободные) профсоюзы будут невозможны.

Да, Сахаров — атеист, — но он столько сделал для осуществления подлинного права на вероисповедание, что дай Бог столько сделать каждому верующему.

Да, Сахаров — не еврей, — но мало кто из евреев больше него выступал с требованием разрешить всем, желающим эмигрировать в Израиль — на их историческую родину, осуществить это священное право. И потому по меньшей мере странно, когда из уст некоторых западных евреев приходится слышать, что не должны еврейские организации участвовать в демонстрациях за освобождение Сахарова, дабы не дразнить советское правительство, которое тогда вовсе, мол, прикроет выезд евреев из Советского Союза, — как будто бы не ясно, что только массовой борьбой и экономическими санкциями (но не ими одними), а не коленопреклонением можно чего-то добиться от деспотического режима! Ведь толь-

ко ограниченным людям непонятно, что в Израиле не будут спокойно спать, и арабо-израильская проблема не будет решена до тех пор, пока СССР не будет демократизирован, а в деле его демократизации первостепенную роль играют такие мужественные люди, как Сахаров.

Да, Сахаров — русский, — но борьба за демократизацию России является ключом к решению всех основных современных глобальных проблем, в том числе ключом к решению украинской, чешской, польской, вьетнамской, равно как и проблем всех других народов, угнетенных тоталитаризмом.

Люди имеют обыкновение спорить о следствиях, а не о причинах, дают увлечь себя в споры не о главном. Так, в вопросе о ссылке Сахарова спорят о том, знает ли он современные военные секреты СССР, тяжела ли его высылка (а раз, мол, не тяжела, то и не страшно), но забывают изначальное: а почему, собственно говоря, гражданин Сахаров (к тому же ученый, академик, нобелевский лауреат!) не имеет права жить в Москве, там, где он хочет? Почему его выгнали из дома? Что, он совершил какое-то преступление? Он — вор, грабитель, террорист? Если он — преступник, то почему его не судили? Если он даже знает какие-то военные тайны, то почему он не может жить в Москве, у себя дома? Почему советские власти в конце XX века — на виду у всего мира — могут совершать несусветный произвол, могут нарушать свою собственную Конституцию (право на неприкосновенность личности, на неприкосновенность жилья и пр.) так беспрецедентно, так безнаказанно?!

Мы обращаемся ко всем вам — к профсоюзным, христианским, еврейским, эмигрантским организациям — как к организациям не политическим, не партийным, а общественным: если члены вашей организации выйдут на массовые демонстрации, то советские власти не выдержат такого напора массового осуждения, и Сахаров будет освобожден.

Если же все мы даже великого гуманиста Сахарова не сможем спасти, вырвать из когтей смерти, то как же можем мы бороться с терроризмом, с пытками, с заключением невинных в лагеря, психушки, за всеобщую политическую амнистию?

Стыдно будет всем честным людям, если из-за недостаточной активности, из-за беспечности, из-за недостаточной отзывчивости Сахаров умрет в ссылке (а состояние его здоровья весьма и весьма плохое).

Мы призываем членов профсоюзов, верующих — католиков, протестантов, православных, иудеев, эмигрантов всех национальностей и потоков, людей доброй воли принять участие в митинге 22 января в большом зале Мютиалите с последующим факельным шествием к советскому посольству, а также в дальнейших массовых демонстрациях с требованием немедленного освобождения Сахарова.

Вызволить Сахарова — наша первейшая задача!

Объединенный комитет спасения Сахарова

1984, № 39

МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ
ОБ
АНДРЕЕ САХАРОВЕ:

Я не знаю никого другого, у кого был бы такой взгляд. Я познакомился с ним в те времена, когда он начал терять все свои привилегии. Он выбрал этот крестный путь, прекрасно понимая, что его ожидает. Сначала он превратился в рядового человека, стоящего в очереди за картошкой. Как я. Мы были соседями по даче. Сейчас его положение гораздо хуже рядового. и все эти страдания – за нас. Вот почему я считаю, что все мы сейчас отвечаем за его жизнь.

Обратная сторона обложки «Континента», № 40

МИЛОВАН ДЖИЛАС

Горбачев: предостережение

Если приход Горбачева к власти не дает оснований для отчаяния, то и особых поводов для радости тоже нет.

В настоящее время о Горбачеве известно немного. Но ясно одно: в этом человеке нет ничего оригинального или значительного, что отличало бы его от остальных советских руководителей, кроме его относительной молодости.

Но нельзя и сказать, что Горбачев настолько молод, чтобы не имел ранее времени и возможности так или иначе проявить нестандартный либо творческий склад ума. Ленин примерно в этом же возрасте имел на своем счету революцию и около 50 томов политических и теоретических работ. Сталин уже прочно держал власть в руках и проводил индустриализацию. Даже Хрущев (он, правда, был старше) достиг вершины власти, уже имея какую-то репутацию реформатора. А у всех западных лидеров в возрасте Горбачева практически уже была сложившаяся общественная репутация.

Не стоит тратить время на пустяки: чета Горбачевых обаятельна, они одеты по современной западной моде и т. п. Самое важное, особенно в политике, — содержание, а не форма. Горбачев принадлежит к новому поколению, а моды не обошли даже Советский Союз.

Похоже, что Горбачев не блещет идеями: в его биографии нет ничего особо примечательного. Он получил сельскохозяйственное и юридическое образование, — между этими двумя областями нет почти ничего общего. Можно предположить, что в его интеллектуальных поисках были некоторые блуждания. Его быстрое возвышение типично для того, кто является прежде всего партаппаратчиком. Он, должно быть, обладал значительной изворотливостью, чтобы укрепиться в сложнейшем партийном аппарате и выстоять в ожесточенной борьбе за каждую новую ступеньку иерархической лестницы. У нас нет достаточных сведений о том, какую роль он сыграл в развитии сельского хозяйства СССР. Но, судя по плачевному состоянию этой области советской экономики, он вряд ли внес что-либо новое или полезное. Его предпоследнее назначение — на должность главного идеолога партии — свидетельствует о его верности господствующей догме. Тот факт, что на высшую партийную должность его выдвинул Громыко, столп консерватизма и советского экспансионизма, может в каком-то смысле свидетель-

ствовать о том, что Горбачев — человек, который скорее будет идти протоптанными дорогами, чем бросаться на поиски новых, неизведанных путей.

Горбачев, судя по тому, что о нем известно, — сторонник преемственности в политике. Реформы — да, но при сохранении статус кво.

Существующие в Советском Союзе условия еще не позволяют руководителю действовать смело и самостоятельно. Они ограничивали всех советских лидеров, будут они сковывать и Горбачева, который, при всей его практичности и изобретательности, все же не является настолько решительной и творческой личностью, чтобы предпринять радикальные изменения.

В отличие от других коммунистических стран, в СССР порядок тоталитарной и империалистической бюрократии твердо установился уже со времен Сталина. В действительности, существует несколько бюрократий — государственная, рабочая, крестьянская и культурная, и в каждой из них идейным ядром и ведущей силой является партийный аппарат. Эта бюрократическая система находится сегодня в трудном положении. Она всегда сталкивалась с трудностями, но сегодня неприятностей больше и они серьезнее, чем 10 лет назад. Необходима новая постиндустриальная революция, а Советский Союз не готов к ней ни социально, ни технически, ни организационно.

Превращение Советского Союза в постиндустриальное общество — это и первоочередной долг нового советского лидера, и его самое тяжелое бремя. Горбачев хорошо это знает и сам заявил об этом, но из его слов нельзя заключить, отдает ли он себе отчет в том, что подобная задача требует и фундаментальных политических и социальных перемен. Модернизация потребует замены бюрократических цепей, системы принуждения и монополии. Но пока ничто не указывает на то, что Горбачев в самом деле осознает существование связи между ограничением бюрократии и модернизацией. Из всего этого пока можно сделать такой вывод: Горбачев начнет процесс модернизации, но не сможет ни провести его полностью, ни осуществить те социальные и политические перемены, которых неизбежно потребует этот процесс. Скорее всего, Горбачев окажется временной фигурой. На самом деле, он больше преемник Андропова, чем пассивного и неподвижного Черненко. Андропов смотрел на действительность достаточно трезво, но даже он не понимал необходимости радикальных перемен. И даже такой бдительный и прагматичный человек, как Горбачев, натолкнется на сопротивление партийного аппарата, закостеневшего в привилегиях своего монопольного верховного положения.

Это сопротивление и трудности могут быть преодолены только путем реформ, которые — во всяком случае, вначале — не будут представлять опасности для партийных привилегий и монополии. Но основной вопрос: предпримет ли вообще Горбачев подобную попытку? Пока нет никаких доказательств того, что он понимает необходимость таких реформ или стремится провести их. Конечно, он будет настаивать на реформах, но не в ущерб «ведущей роли партии», т. е. монополии власти. Под его руковод-

ством Советский Союз, конечно, двинется по пути реформ, но обнаружатся и новые противоречия. При Горбачеве социальные различия станут глубже и острее. Господствующая идеология будет и дальше ослабевать — скорее распадаться, чем окаменевать.

Осложнения и трудности, вызванные постиндустриальными изменениями, вынудят Горбачева уделять больше внимания внешней политике. Тем не менее, это не заставит его поступиться интересами советской империи или отменить верховное положение партийной бюрократии. Его первой заботой в области международной политики будет защита «социалистического содружества», или, другими словами, усиление советского контроля над Восточной Европой. В лучшем случае, потребность в западной технологии может привести его к реализму и умеренности. С ним можно будет вести переговоры и даже приходить к соглашениям на основе государственных интересов и сохранения равновесия между государствами. Строить отношения с СССР, исходя из каких-либо иных принципов, было бы иллюзией. Советская олигархия немедленно воспользуется случаем, чтобы извлечь свои выгоды.

Если оказывается, что не стоит возлагать чрезмерных надежд на Горбачева, то вряд ли можно связывать с его приходом к власти и какие-то особые опасения.

Все зависит, как всегда, от мудрости и силы.

1985, № 45

НАСЛЕДСТВО ГОЛОГО КОРОЛЯ

Умер Леонид Брежнев.

«Король умер, да здравствует король», — говорят в таких случаях, связывая со здравицей новому владыке все свои надежды и ожидания: может быть, преемник окажется миролюбивее, мудрее и великодушнее?

К сожалению, естественные законы нормального общества не распространяются на противоестественное общество тоталитарного типа. Никакая смена лидера в нем не влияет на неизменность его сущностной основы. В лучшем случае, в результате происходит относительное изменение стиля руководства без каких-либо структурных изменений, ибо каждый очередной вождь — здесь лишь физическая персонификация Системы как таковой, не более того. Не случайно поэтому в последние годы под большинством важнейших государственных документов стояла даже не подпись главы Государства, а факсимиле, которое ставили вместо него его помощники.

Разумеется, мы не исключаем фатальной и, если хотите, даже мистической случайности, которая может возникнуть в процессе борьбы за первенство в партии и вызвать тем самым цепную реакцию довольно значительных изменений (вспомним хотя бы эпоху хрущевской оттепели!). Но изменения эти с равным успехом могут оказаться и не к лучшему, а к худшему.

В пьесе большого русского драматурга Евгения Шварца «Дракон» рыцарь Ланселот, победив Дракона, выслушивает от умирающего врага примерно следующее напутствие:

— Ты думаешь, ты победил? Нет, Ланселот, в наследство я оставляю тебе трусливые души, дырявые души!

Нам кажется, что это самое наследство, переходящее от одного кремлевского короля к другому, и решит в конце концов дальнейшую судьбу больного, но — увы, стабильного в своей духовной болезни советского общества.

«КОНТИНЕНТ»

Обратная сторона обложки «Континента», № 34

ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ

Трагедия свободы

Свобода. Что это такое? Возможно, только пространство и время имеют такое же множество противоречивых толкований, как, казалось бы, простое слово *свобода*. Не было в истории ни одного политического или религиозного движения, не сделавшего одним из своих лозунгов свободу.

Из бесконечного ряда определений свободы рассмотрим только два.

Марксистское определение свободы как осознанной необходимости. И сразу возникает вопрос: о какой *необходимости* идет речь?

А вот понятное в своей наивности и не претендующее на мудрость объяснение из детского букваря «Сезам-стрит»: «Свобода — это возможность идти в ту сторону, куда ты хочешь». И главным вопросом становится: *а куда ты хочешь*?

Жизнь каждого отдельного человека сложна, огромна и загадочна. В нашу ограниченную телесную оболочку втиснуто неисчислимое количество устремлений.

Человек соткан из противоречий.

* * *

Свободно дышится солдату в строю. Общее дыхание, общее движение, общий ритм, общая цель. И только пыль, пыль от шагающих сапог. *Свобода*.

Сладкая свобода от ответственности. За тебя решено, куда тебе идти. И ты не одинок — ты часть устремленного к цели целого. И даже если ты спишь, ты вместе со всеми идешь к цели.

Солдат спит, а служба идет.

Свободно дышится американскому пионеру в прерии. Он может двигаться в любую сторону. Он может выбирать любую цель. Он может строить свою жизнь, как он хочет. Потому что все зависит только от него, от его ума, силы, ловкости и воли.

Он абсолютно свободен.

Но на нем лежит самое тяжелое — *ответственность за выбор направления своей судьбы*. И даже когда он спит, он ответственен.

* * *

В каждом человеке борются стремление к спокойствию и инициативе. Желание жить спокойно — пусть в тюрьме, и стремление к безграничным просторам.

Клаустрофобия и агорафобия попеременно меняются местами в душе каждого человека и ведут бесконечный диалог.

Именно эти изначальные свойства человеческой души являются фоном, а возможно, и основой разворачивающейся во времени драмы человеческой истории.

* * *

Обладая возможностью на своей шкуре узнавать и сравнивать СССР и Америку, я говорю как существо, на котором ставится социальный эксперимент разного понимания свободы.

Не теоретические рассуждения, а практическое знание есть основа моих выводов.

Эпиграфом к ним я бы взял слова Ф. Гойи: «Я это видел».

* * *

В своей московской студии шесть часов я дискутировал с Жаном-Полем Сартром о понятии свободы.

Сартр, видимо, забыл, что возможность двигаться, куда ты хочешь, есть элементарная потребность человека и один из основных элементов свободы. Он говорил об абсолютном философском понятии свободы. Но в контексте моей жизни — и в контексте вообще жизни в Советском Союзе — слова Сартра звучали просто неприлично. Это выглядело примерно так же, как если бы я умирающему от голода индусу доказывал, что голод пройдет, если он осознает его необходимость.

В контексте моего опыта человеческая свобода — понятие относительное. Разные общества имеют разные степени свободы. Разные люди имеют разные степени свободы. Один человек, даже в течение одного дня, пребывает в разных степенях свободы. В тюрьме я обладаю одной степенью свободы. В армии — другая степень свободы. У солдата и офицера разные свободы. Я был советским скульптором и стал американским. И это всё разные уровни свободы.

* * *

В том, как человек говорит о свободе в контексте реальных обстоятельств, мы ясно видим его лицо. Потому что в определении свободы всегда заложен моральный аспект.

Свобода от чего и для чего?!

Моцарт

Когда мы говорим о силе света, мы применяем понятие «ватты». Сколько ватт? Я бы предложил для определения уровня таланта ввести понятие «моцарты».

Мы все рождаемся талантливыми. В каждом ребенке спит крупица Моцарта. Какое-то количество таланта. Какое? Это вопрос.

Представим эти таинственные потенции в виде нулей. В одном спит десять нулей, а в другом — один. Но если к нулю приписать единицу, а к десяти нулям ничего, то окажется, что число 10 больше десяти нулей и даже больше бесконечного ряда нулей, не дающего единицу.

Потенция — творческая энергия, заложенная в нас. Это та внутренняя свобода, которую нам дал Бог.

Эта энергия стремится свободно излиться. Это духовный напор. Неумолимая жажда творить и познавать. Но эта врожденная, внутренняя, таинственная потенция может проявить себя только во внешнем реальном пространстве, отпущенном нам жизнью.

Единицу к нулям приписывают обстоятельства рождения. Где и когда ты родился? В какое время и в какой стране?

Когда я говорю о свободе, я говорю об этих обстоятельствах. Потому что свобода необходима для творчества.

Творчество есть счастливое сочетание внутренней свободы, данной талантом, с внешней свободой, данной обществом. [...]

Источники несвободы

Современная культура есть соединение двух культур: греческой, гуманистической в возрожденческом смысле, и иудео-христианской, библейской.

Это двуединство мы ощущаем постоянно. И не только в рассуждениях философов, социальных институтах, законодательствах. Мы это ощущаем даже в отношении к самим себе, к своему «я» телесному и духовному.

Драматическое взаимодействие двух начал — телесного (материального) и духовного — составляет основу искусства.

Со времен Макиавелли, сына Возрождения, и Бэкона, родоначальника философии Нового времени, стало притупляться наше внутреннее зрение. Онтология изгоняется из Космоса, она изгоняется и из человеческого микрокосма. Вместо примата духовности устанавливается примат материальности. Философия, наука и искусство становятся не средством познания тайн бытия, а инструментом практического изъятия материальных благ из природы для насыщения человеческого тела-чрева. Так же и художник отторгается от фундаментальных проблем и все более и более превращается в технолога, производящего товар. На Востоке — социалистический реализм, подчиненный идеологии и пропаганде. На Западе — гедонистический соцреализм, сенсуальный конформизм, подчиненный рынку.

Бегло посмотрим на эти два феномена, вырастающие из одного корня бездуховности.

Социализм — законное дитя идеологии бездуховности, — взяв лозунги гуманизма, громко прокламировал, что изменение материальных, экономических условий рассматривается и как база всецелого освобождения человека.

Именно поэтому русский художественный авангард примкнул к революции. Но ангел революционных свобод в России умер, и советская верхушка стала замкнутой суперсектой, окончательно оторвавшейся от задач, ее породивших.

Утопии не получилось. Место просвещенного философа и народного представителя занял ограниченный пти-буржуа и распущенный люмпен-пролетарий.

Государственной машине не нужны стали революционеры, поэты и философы. Смелость, фантазия и ум стали отрицательными качествами. Угодничество, трусость, отсутствие инициативы — вот качества, которые стали ценными для государственной машины.

Сама механическая структура советского общества есть организованное стремление к смерти, к энтропии.

Монументально и строго иерархично кладбище советского искусства. В дорогих гробах-студиях помещены маршалы и генералы. В достаточно хороших — полковники и капитаны. В маленьких гробиках-студиях рядовые. Но каждый рядовой в гробике своей мечты хранит маршальский жезл. У всякого есть возможность стать маршалом. Надо только растоптать в себе все живое, остатки таланта и быть готовым к покорности. И чем больше ты преуспеешь в этом, тем выше твое место в иерархии.

Если смотреть со стороны на эту пирамидальную могилу, особенно если ты устал от активного западного соревнования, то может показаться, что советская действительность не так уж плоха.

История знала художника-жреца. Художника-философа. Художника-революционера. Художника-безумца. Соцреализм родил монстра, художника-чиновника. И это так же противоестественно, как пожарник-поджигатель или доктор-убийца.

Художник — член общества, правда, бюрократического. Ну и что же?! Все бюрократы, и он бюрократ. Власти гарантируют художнику работу. Он не одинок... Министерство культуры, союзы художников, художественные комбинаты целенаправленно работают с ним. Они выполняют указания ЦК партии и КГБ, где целые отделы заняты выработкой директив, инструкций, постановлений, направленных на руководство художниками. Даже в армии есть отдел, занятый искусством. Десятки тысяч бюрократов протирают штаны, надзирая за искусством.

Но это не любовь к культуре. Советское министерство культуры имеет такое же отношение к культуре, как оруэлловское министерство любви — к любви.

Всю эту машину построил страх.

Страх Бюрократа перед творческой силой Моцарта.

Борьба с искусством ведется последовательно и коварно, как и борьба с религией. В искусстве, как и в религии, идеология видит главного внутреннего врага. Для советских идеологов любое свободное искусство, как и вера в Бога, есть пятая колонна.

Борьбу с религией ведет социалистический атеизм, а с искусством — социалистический реализм.

Соцреализм

Так называемая *теория соцреализма* проста до глупости. Советский художник в настоящем должен видеть ростки будущего, а поскольку будущее — коммунизм, оно прекрасно. Голодный изображается сытым, уродливый — красивым, несчастный — счастливым.

Это социалистическая часть учения.

Но поскольку ложь должна походить на правду, изображение должно быть реалистичным.

Социализм плюс реализм. Вот и получился социалистический реализм.

При Сталине соцреализм был вульгарным, провинциальным натурализмом, прославлявшим прекрасного сов. Вождя, прекрасного сов. Человека, прекрасную сов. Корову и прекрасную сов. Природу. Гладко, сладко и доступно. Но постепенно и эта примитивно пропагандистская потребность отпала.

Соцреализма как стиля в искусстве — не было и нет. Есть и были отдельные художники, писатели и музыканты, работавшие в разных манерах и стилях — от футуризма до реализма, которых советская власть затравила, убила, заставила покончить с собой или эмигрировать. И после смерти или прижизненной деградации обозвала соцреалистами. Обозвала потому, что соцреализму хотя бы для внешнего мира нужна видимость достижений. Но ни одного соцреалиста среди больших художников быть не может. Потому что основой соцреализма является психологическое состояние, несовместимое с творчеством: покорность, искусство чего изволите.

Это лакейская готовность художника-бюрократа подчиниться любым требованиям бюрократа-функционера. Все должны быть как все. Если прикажут быть абстракционистами, все будут абстракционистами. И Академия художеств будет названа Академией художеств соцреалистического абстракционизма СССР.

Соцреализм — это не стиль искусства, это стиль поведения. Быть соцреалистом — это значит быть, как все бездарные. Бездарность стала эталоном. Потому что дарование предполагает персональность, а персональность выводит из строевого шага армии, идущей в никуда.

В современной советской культуре умер даже пафос пропаганды. Остались только негативные задачи. Эта псевдокультура создается, чтобы не

было другой. Реальной культуры. Даже монумент Марксу ставится не для того, чтобы поражать воображение величием этого человека. Нет. Он ставится просто, чтобы занять пространство, чтобы на этом месте не было монумента какой-либо нежелательной персоны.

В СССР порой даже функционеры жалуются: «Что за пропаганда у нас такая серая...» Они бы, может, и не прочь, чтобы ярче и осмысленней. Но *не* серая опасна, так как в *не* серой должен проявиться темперамент и воля художника.

Негативная функция порождает огромную армию людей, которых я назвал племя *не*.

Эти люди поняли основную идею соцреализма. Негативный, а не созидательный смысл происходящего. Эти люди требуют от общества материальных благ и престижа не за то, что они создали, а за то, что они не создали ничего, т. е. не создали ничего ошибочного, т. е. ни разу не поступили плохо с точки зрения советской власти. Эти люди требуют вознаграждения за то, что они не проявили таланта, за то, что они не опасны. Более ловкие и приспособленные из этого клана становятся критиками так называемой буржуазной идеологии и палачами всего талантливого, появляющегося в советском искусстве.

Весь марксизм и вся советская школьная культура построены на принципах негативизма. Маркс весь вырос на негативизме. Он — мощный критик капиталистической системы своего времени. Но всякое позитивное начало устройства мира у него утопично. Это, в лучшем случае, политическая поэзия. В результате советские люди — мастера обвинений и разоблачений.

Советская философская наука — это, в основном, тома разоблачений о том, чего *не* надо. Они мастера *не*. Это теория и практика великого *ничего*.

Соцреализм — это не искусство

Когда мы говорим о стиле в искусстве, у нас возникает образ, знак, символ. Я произношу слово *готика*, и вы мысленно вычерчиваете устремленную вытянутость в верх.

Архетип. Знак. Яркий признак существования стиля. Это обязательно не только для культуры, сложившейся во времени.

Различные направления сегодняшнего дня содержат яркие признаки узнаваемости: импрессионизм, абстракционизм, поп-арт.

Прошу вас сосредоточиться и представить себе соцреализм как целое — не как описываемое социальное явление, а как знак. Я убежден, вы не видите никакого образа, никакого символа. Потому что всякий символ есть знак чего-нибудь, образ какого-то бытия.

Катакомбная культура

Теория и практика великого *ничего*. Духовное небытие порождает скуку. Скучают все: чиновник-начальник, который заказывает работу; чиновник-

художник, который ее выполняет; чиновник-функционер, который ее принимает. И, конечно, народ, для которого эта скука создана.

Скука стала своеобразной формой патриотизма. Общество погрузилось в скуку и апатию, и даже страх всех перед всеми не делает существование осмысленным. Но скука не может заменить естественную, врожденную потребность людей в духовной жизни.

Скука порождает протест

Мы зачастую не учитываем влияния скуки на историю. Именно застой, духовная затхлость обществ и институций порождала как протест — взрывы духовной энергии.

Все лучшее уходило в катакомбы, создавая новую культуру. Более могучую, чем официальная. Более искреннюю. Более содержательную.

В российской действительности художник всегда брал на себя нравственную и философскую ответственность. Еще до появления в России философии в западном смысле слова было понятие «умозрение в красках». Эта традиция сохранилась и поныне.

Отцы русского авангарда форму рассматривали как продолжение метафизики, как путь к духовным высотам.

Очень часто на Западе возникает недоуменный вопрос о мессианских претензиях русских интеллектуалов. Совершенно ясно, что мессианство — не только российская черта. Но в таком чистом, законченном, а иногда и карикатурном виде — в России пророческих настроений художников было больше.

Когда бесправный не может получить ответ на свои вопросы от официальных институций, когда жаждущий духовного совершенства не доверяет официальным духовным пастырям, *художник берет на себя обязанность говорить правду*.

Это было и в более либеральной царской России. Это тысячекратно усилилось сейчас.

Искусство становится не профессией, а служением высшим ценностям. Миссией. Красота мир спасет.

Достоевский, начиная описывать «Униженных и оскорбленных», обнаруживает, что мало описывать, что куда бы ни ступил, — белые пятна: этика, право, религиозные и нравственные проблемы. Его чуткой ранимой душе стали узки рамки просто профессиональной культуры. Он создал модель готического храма, в котором свои романы рассматривал как элементы, как части. Для того чтобы работать, он должен был создать свою этику, свою эстетику, свою социологию, свой микрокосм.

То же случилось с Толстым. Ему мало было быть писателем. Он стал создавать микрорелигию — толстовство.

Бюрократ знает эту тенденцию живой русской культуры и, как огня, ее боится.

Страх тех, кто живет запугиванием, становится больше, чем страх преследуемых. Катакомбная культура все больше и больше борется с официальной, иногда дерзко, а иногда — прикрываясь эзоповым языком, герметичностью текста.

Чиновнику снятся страшные сны: о заговоре неуправляемого искусства, о подтекстах. И этот кошмар чиновничьего сна породил профессию *специалиста по неуправляемому подтексту.*

Ирония состоит в том, что если есть специалист по чему-нибудь, то должен появиться специалист по нему. А потом отдел специалистов по специалистам. А потом министерство специалистов. И так в геометрической прогрессии.

А в итоге этой чиновничьей логики страна должна прекратить выращивать хлеб, производить металл и вообще работать: все должны следить друг за другом, чтобы выловить *неуправляемый подтекст*. И хотя в какой-то степени это происходит, но все же где-то наступает критический предел, не подвластный чиновнику.

Катакомбная культура жива, и за ней будущее.

* * *

Западным экономическим принципом является эффективность. Культурным — самореализующаяся личность. Но свободная личность, сталкиваясь со свободным и хорошо организованным рынком, часто терпит поражение. Рынок, исходя из экономической эффективности, поддерживает соцреализм, не коммунистический, а гедонистический соцреализм, салонный конформизм.

Мещанин-потребитель хочет, чтобы художники его обслуживали, украшали его жизнь, побеждали его скуку или были объектом вклада денег. *Откуда мы, кто мы, куда мы идем?* — перестает интересовать человека, ставшего рыночной личностью.

Для художника же ставить эти вопросы вообще считается неприличным. Чем-то вроде нарушений правил хорошего тона. Современный художник, как и джентльмен, должен говорить только о пустяках. Существующий плюрализм формы, необъятное разнообразие стилей в современном искусстве не снимает проблемы. Если мерить большую массу современного искусства на фоне великих вопросов человеческой жизни, оно приближается к соцреализму по своей однодинамичности и конформизму.

* * *

Постиндустриальное общество. Общество джентльменов.

Общество, ориентированное на отдых, требует гедонистического искусства, так же как и массы, получившие хлеб и жаждущие зрелищ. Нувориши нового времени рассматривают художника как декоратора или клоуна.

Соцреализм и гедонизм объединяет то, что под счастьем понимается не духовное возвышение, а материальное обладание. Фрейдистская антропо-

логия, и естественный человек Руссо, и многое-многое другое заключают брак с марксизмом, т. е. с наиболее последовательным материализмом. Карнавал, массовое действие неврологической мистерии, психодрама — дело не новое, известное с глубокой древности.

И постепенно яркие и разнообразные костюмы собравшихся в толпу индивидуалистов чем-то начинают напоминать армию. Экстравагантные нарциссы уже не выглядят экстравагантно. Они становятся — как все.

Карнавал начинает приобретать институциональный характер. Ходили же организованные революционеры Французской революции в римских одеждах. А вот и «новый» лозунг. Найти политическую функцию искусства, которая не окажется консервативной. Так это же и есть лозунг, с которого начинался соцреализм. Круг замкнулся. Эстетический Орфей превращается в практического Прометея. А Прометей, как известно, умел хорошо считать.

Культ оргазма и культ мамоны подают друг другу руки.

* * *

Современное искусство — это лучшее, что создано на протяжении XX века. Оно оказало мощное влияние на лицо нашего времени, на образ мышления людей. Через массовую культуру влияние и популярность художников достигли небывалых в истории размеров.

Но, как это часто бывает, победитель оказывается побежден своим же оружием. *Новое*, ставшее целью, становится врагом нового искусства. *Новому* придается рыночный смысл. Технологические понятия, правильные для оценки машины, применяются для оценки духовной человеческой активности. *Новое* стало означать лучшее. Новые машины, новый телевизор. Лежащему на новой софе необходимо новое искусство. И торговцами создается новый гений. Совсем свежий. Гений последних 15-ти минут. Заказанный бунт упаковывается в целлофановые обложки модных журналов. Дозируется и продается как фармацевтические средства: для расслабления, половой активности, сна. Но рынок чуток и динамичен. Он моментально реагирует на любые изменения вкуса потребителя. Здесь, как нигде, отработано взаимодействие прямой и обратной связи. Времена меняются. «Радикальных детей либеральных отцов» начинают заменять «консервативные дети радикальных родителей». Появляется тоска по устойчивым ценностям. И рынок сам возвращает нам имена художников, имевших мужество выстоять перед напором моды.

У свободного рынка нет идеологической задачи убить Моцарта. В СССР убийство творческой потенции в человеке исходит из практических основ социализма. На Западе сам художник проникается рыночной психологией. Для имеющего мужество остаться одиноким рынок не страшен. Дело рынка — торговать, дело идеолога — растлевать, дело художника — растить в себе талант, дарованный Богом.

1985, № 46

РИЧАРД ПАЙПС

Партия, разъедаемая коррупцией

Глава из книги «Выжить недостаточно»

По замыслу Ленина, большевистская партия должна была стать высокоидейным и дисциплинированным отрядом. Ее члены, целиком посвятившие себя общему делу, должны были заплатить за привилегию власти самоотречением, пример которого показывал сам Ленин, человек в частной жизни весьма скромный. Рабочих — если не в теории, то на практике — не следовало допускать к руководящим постам, ибо Ленин еще в начале своей революционной карьеры пришел к выводу, что настоящие рабочие, в отличие от идеализированных пролетариев социалистической доктрины, являются не преданными революционерами, а пособниками капитализма. Тем не менее, партия должна была поддерживать тесную, непрерывающуюся связь с «пролетариатом», так как без его поддержки революция невозможна. Партия должна была проникнуть во все уголки российской жизни и осуществлять руководство сверху в полном соответствии с марксистской наукой, чутко реагируя при этом на сигналы снизу. Ее функции лучше всего пояснить словами Муссолини, который, подобно Ленину, прошел путь от социализма к тоталитаризму и построил свою партию по большевистской модели. Фашистская партия, говорил Муссолини, должна быть «капиллярной организацией» страны, проникающей в каждую клетку социального организма, как кровеносные сосуды пронизывают живую ткань.

К несчастью для Ленина, склероз очень рано поразил эту «кровеносную систему». Еще при его жизни большевистская партия начала выделяться в касту с притязаниями на особые привилегии и терять связь с народом. Этот процесс ускорился с восхождением к власти Сталина, выделившего из партийной массы элиту, которая и стала номенклатурой. Хотя при жизни Сталина элита не реагировала на сигналы снизу и даже не притворялась, что живет одной жизнью с народом, все же она была прислуживающим классом, рьяно выполняющим команды, поступающие сверху. Несмотря на все привилегии, у нее не было никаких прав, и жила она в постоянном страхе. Номенклатура была исполнителем чужой воли и не имела никаких собственных притязаний.

Все это в корне переменилось после смерти Сталина. За последние тридцать лет номенклатура сумела освободиться от подчинения и фактически не признает никакой власти над собой. Она никому больше не служит и никого не боится. Она стала хозяином в доме, куда вошла как покорная служанка. Ныне номенклатура сама выбирает своих номинальных руководителей, недвусмысленно давая этим людям понять, кто дал им высокие посты и чьи интересы они должны защищать. Взлет советской номенклатуры, которая была прислугой, а стала самодовольной и ограниченной элитой, напоминает явление, имевшее место в России XVIII века, когда дворянство, бывшее ранее обслуживающим классом, превратилось в элиту, наделенную всеми мыслимыми привилегиями и не имеющую никаких обязанностей. Тогда, как и сегодня, этот паразитический класс покровительствовал слабым правителям и поощрял консервативную политику. Одним из последствий этого процесса является тот факт, что каждый генеральный (или первый) секретарь ЦК партии, избранный после Сталина, был слабее своего предшественника. Это создает большие трудности для политической системы, построенной на принципе командования и требующей твердого руководства.

Послесталинская компартия отклоняется от ленинского идеала по двум принципиально важным показателям: она отчуждена от народа, которым правит, и насквозь пропитана коррупцией.

На протяжении многих лет партия один за другим блокировала каналы связи с народом. Правда, она поощряет граждан страны изливать свои жалобы в печати и предоставляет некоторые другие узаконенные способы выражения недовольства, но это всё предохранительные клапаны, позволяющие номенклатуре возлагать вину за то, что не нравится населению, на абстрактную «бюрократию», она же при этом остается безупречной. Подлинное же общественное мнение либо молчит, либо выходит наружу через не контролируемые властями диссидентские каналы. Единственным имеющимся в распоряжении партии инструментом для выяснения взглядов и настроений населения являются органы госбезопасности, чьи соглядатаи и доносчики проникают повсюду.

КГБ, безусловно, является самой информированной организацией в СССР, и его сотрудники имеют вполне реалистичное представление о ситуации. Аналогичным образом обстояло дело и с их дореволюционными коллегами — служащими Департамента полиции и охранки. Эти органы безопасности собрали очень точную информацию о положении в стране и на основании накопленных данных в конце 1916 года предупредили начальство о возможности близкой революции. Тогда их никто не послушал. Вполне возможно, что и сегодня отчетам КГБ не уделяется достаточного внимания. Заявления высокопоставленных чиновников службы безопасности, вплоть до их бывшего шефа Андропова, показывают, что они в высшей степени обеспокоены настроениями, царящими в советском обществе, где обнаруживаются широко распространившиеся чувства апатии и цинизма (особенно среди молодежи) в сочетании с пассивностью

и эгоизмом. Не будучи в состоянии объяснить эти явления в категориях марксизма-ленинизма, КГБ возлагает вину за них, как и за многие иные неприятные события, на иностранные разведки. Информация, имеющаяся в их распоряжении, побуждает чиновников КГБ требовать от партии усиления идеологической работы, которой придается колоссальное значение. В важной политической речи весной 1983 года Андропов говорил о повышении идеологического уровня народа как первой из задач, стоящих перед партией. Эти увещевания, однако, не находят живого отклика, ибо номенклатура в большинстве своем предпочитает верить, что все обстоит наилучшим образом.

Номенклатура действительно и знать не хочет, что думают ее подданные. Об этом свидетельствует судьба социологических исследований в Советском Союзе. Не налагающие никаких обязательств опросы общественного мнения представляют идеальное решение для режима, отказывающего народу в элементарных способах выражения своих взглядов и все же неспособного править, поскольку он не знает, что тревожит людей. Исходя из этого и получив поддержку Черненко, Академия наук СССР в 1960-х годах создала Институт конкретных социологических исследований для систематического проведения опросов общественного мнения. Эта организация сразу же подверглась нападкам со стороны партийных консерваторов во главе с Сусловым. Консерваторы, должно быть, испугались, что эмпирические обследования поставят под сомнение марксизм-ленинизм, который всегда утверждал, что не нуждается в подтверждении фактами и в прочих проявлениях «буржуазного объективизма». Через несколько лет из института изгнали лучших специалистов и свели его роль к анализу — на основании засекреченных исследований — эффективности внутренней пропаганды.

Еще больший вред, чем отсутствие двусторонних каналов связи с народом, наносит правящим партиям коммунистического блока коррупция партийного аппарата. Если первый фактор лишает их знаний, необходимых для эффективного управления, то второй подрывает моральный авторитет, необходимый для мобилизации населения.

Размах и формы коррупции, поражающей общество, повсеместно зависят от национальных традиций, определяющих отношение общества к власти как к источнику почестей или личного обогащения. [...] С самого раннего периода истории русские правительства, не будучи в состоянии адекватно платить служащим, позволяли им добывать средства к существованию за счет «кормлений». Аккуратно внеся в казну налоги и прочие поборы, причитающиеся с его вотчины, царский чиновник мог оставлять себе все, что удастся выжать дополнительно. Даже во времена Российской Империи, после того, как государственная служба была модернизирована, а чиновники стали получать регулярное, хотя и далеко недостаточное жалованье, взяточничество процветало повсеместно. Зарвавшихся чиновников, особенно если они обогащались за счет царской казны, наказывали, понижая в должности или выпроваживая раньше срока на пенсию, но почти

никогда не отдавали под суд. В дореволюционной России чиновника, находящегося на государственной службе, нельзя было судить без согласия начальника, который почти никогда на это не соглашался, так как чиновники были настолько тесно связаны с императорской властью, что их осуждение могло очернить образ самого императора.

Национальные традиции, конечно, имеют большое значение, но не менее существенное влияние на развитие коррупции оказывает обобществленная доля политической власти и национального богатства. Если государственная власть формально ничем не ограничена и располагает всем богатством страны, возможности коррупции теоретически беспредельны. Коммунистические режимы представляют именно тот тип государственной власти, которая владеет всем национальным богатством и проникает во все сферы жизни. Отсутствие контроля извне приводит к тому, что коррупция разъедает такие режимы сверху донизу.

Коррупция в коммунистических странах принимает самые разнообразные формы. Одна из них — доступ высокопоставленных партийных чиновников к специальным распределителям. Строго говоря, такие привилегии нельзя считать коррупцией, так как они предоставляются при попустительстве правительства. Тем не менее, они немало способствуют моральному разложению правящей элиты. Право приобретать по искусственно заниженным ценам товары и услуги, недоступные остальным по любой цене, изолирует партийную верхушку от простых людей. Это придает элите высокомерие и своенравие, совершенно несовместимые с заверениями режима в верности идее равенства.

Разоблачения бывших советских чиновников и юристов показывают, что в СССР человек, занимающий любой пост в партийном, государственном или экономическом аппарате, может вымогать деньги и услуги у людей, зависящих от его доброй воли, и для многих это становится главным стимулом добиваться той или иной должности. В силу этого обстоятельства каждый пост имеет свою цену, пропорциональную возможности обогатиться. В азиатских республиках Советского Союза существует регулярная система торговли должностями, принимающая форму закрытых аукционов.

Как и в царской России, чиновники, управляющие советскими провинциями, поднимаются над средним жизненным уровнем, соответствующим их жалованью, вымогая дань у подчиненных, которые, в свою очередь, получают мзду от рабочих, крестьян и прочих простых граждан. Кажется, практически любой официальный пост открывает определенные возможности для взяточничества. Поскольку опыт позволяет заранее подсчитать доход от той или иной должности, цена ее приблизительно известна, и, как только открывается вакансия, начинаются торги. Илья Земцов, некогда работавший социологом в ЦК КП Азербайджана, выделяющегося по размаху коррупции среди других республик Советского Союза, в своей книге «Партия или мафия?» приводит перечень цен (в рублях) на должности, продававшиеся в 1969–1972 годах:

Министр торговли	250 000
Первый секретарь райкома партии	200 000
Ректор вуза	до 200 000
Министр коммунального хозяйства	150 000
Министр соцобеспечения	120 000
Второй секретарь райкома партии	100 000
Директор завода или фабрики	10 000 – 100 000
Председатель совхоза	80 000
Председатель колхоза	50 000
Начальник милиции	50 000
Академик	50 000
Районный прокурор	30 000
Директор театра	10 000 – 30 000

Право распределять эти теплые местечки принадлежит «хозяевам», ведающим соответствующими номенклатурными списками. Им положено делиться барышами с коллегами, в том числе с высокопоставленными чиновниками в Москве, которые действуют в соответствии с их рекомендациями.

Разнообразие форм дохода, приносимого должностью в коммунистических странах, ограничивается только возможностями воображения. Например, высокая цена, которую в некоторых республиках приходится платить за назначение на пост ректора, объясняется тем, что в подведомственный ему институт можно поступить только за большую взятку. По оценке Земцова, в 1972 году в Азербайджане прием в медицинский институт стоил 30 тысяч, в университет — от 20 до 25 тысяч, в институт иностранных языков — 10 тысяч рублей. Посты в промышленности, разумеется, открывают особо широкие возможности для мздоимства, так как материалы всегда в дефиците и чиновники часто отпускают их только за взятки. Если взятку не предложат, материал всегда можно пустить на черный рынок. Секретари райкомов и другие партийные чиновники последнее время практически владеют вверенными им территориями и ведут себя на них как сатрапы. Подобно царским воеводам и губернаторам, они наживают на этих постах колоссальные состояния. Мелкая сошка повышает свой жизненный уровень, требуя обязательных поставок продовольствия из подвластных колхозов или бесплатных личных услуг (например, по ремонту дома или автомобиля) от промышленных предприятий.

Гейдар Алиев, ныне член Политбюро, в 1970-х годах провел по поручению КГБ решительную кампанию против продажных чиновников Азербайджана. Из его интервью «Литературной газете» следует, что важным мотивом коррупции, наряду с элементарной жадностью, является чувство неуверенности. Размышляя о чиновниках, пытающихся сколотить некоторый капитал, он сказал: «*...Меня тоже интересует психология накопителей. Порой можно услышать их откровенные ответы. Бывший председатель Шау-*

мяновского райисполкома в Баку Ахмедов, уличенный в скупке золотых монет, так и сказал на заседании Бюро ЦК Компартии: "На черный день". Они начинают бояться своего "черного дня", как только занимают место, им не принадлежащее. Чувство неуверенности, нестабильности, неизбежного провала преследует этих несчастных постоянно. А если заглянуть в их прошлое, то мы натолкнемся, как правило, на то, о чем уже говорили: за взятку получено место студента в вузе, куплен диплом, диссертация, "доходное место" и т. п.»

Потрясает признание высших кругов в том, что в Советском Союзе можно купить место в вузе, университетский диплом и официальный пост. И хотя Азербайджан и соседняя Грузия особенно сильно поражены коррупцией, они отнюдь не уникальны в этом отношении.

Система распространена повсеместно и крепко связана круговой порукой. Невозможно иметь дело с отдельным чиновником, не привлекая к этому его начальников и подчиненных. Время от времени предпринимаются атаки на коррупцию по типу кампании, проведенной Алиевым в Азербайджане. По такому случаю снимают или перемещают многих чиновников (их редко судят) и провозглашают, что добродетель восторжествовала . Затем пыль оседает и все возвращается к норме.

По вполне понятным причинам, советское правительство не распространяется о размахе коррупции в стране. Но к нам попали официальные данные из Польши, и нет никаких оснований подозревать, что в этой коммунистической стране дела с коррупцией обстоят хуже, чем в Советском Союзе. Под нажимом «Солидарности» правительство ПНР в 1981 году провело массовые аресты высших партийных и государственных деятелей, обвиненных в присвоении государственной собственности. Список арестованных, начинавшийся с главного сановника страны, первого секретаря ЦК партии Эдварда Терека, включал 18 бывших министров, 7 заместителей премьер-министра, 56 заместителей министров и 3,5 тысяч прочих. Тот факт, что никто из обвиняемых не был судим, а многие из их обвинителей попали в тюрьмы, показывает, насколько прочно связи коррупции объединяют номенклатуру и насколько трудноизлечима болезнь.

Коррупция, распространившаяся, подобно раковой опухоли, после смерти Сталина и особенно при Брежневе, оказывает губительное влияние на мораль коммунистических обществ. Правительство, претендующее на наследие Спарты, не может поддерживать дух аскетизма в народе, пока правящая элита купается в восточной роскоши. Продажность системы существенно затрудняет массовую мобилизацию, которая составляет одну из сильных сторон коммунистического режима. Хотя большинство граждан коммунистических стран научились воспринимать коррупцию как неотъемлемую часть жизни, а в Советском Союзе, говорят, даже восхищаются наиболее бесстрашными взяточниками, это явление делает их глухими ко всяким призывам к общественной совести. Алиев, безусловно являющийся специалистом по данному вопросу, совершенно верно оценил парализующее действие такого положения вещей на советское общество: «*Но в*

обстановке злоупотребления служебным положением, коррупции, очковтирательства, в обстановке неуважения к честному труду не могла не снизиться инициатива масс, не могла не воцариться моральная тревога, сменившаяся затем во многих слоях населения состоянием подавленности, равнодушия». [...]

Наиболее трагичный аспект этого явления заключается, по-видимому, в том, что почти все граждане коммунистических обществ оказываются втянутыми в преступный мир взяточничества и хищения государственной собственности. Система, по существу, вынуждает людей совершать преступления и, следовательно, жить в постоянном страхе перед разоблачением и наказанием. Анализ семейных бюджетов в СССР показывает, что средняя семья не может свести концы с концами на заработную плату, которая рассчитана на приобретение товаров и услуг по официальным ценам, а дефицит зачастую заставляет обращаться к «параллельной» экономике, где цены гораздо выше. Простые рабочие, крестьяне и служащие не имеют иного выхода, кроме как повышать свои доходы за счет незаконных поступлений. Константин Симис, эмигрант с большим опытом юридической работы в Советском Союзе, рассказывает, что руководитель завода или колхоза не имеет никаких шансов выполнить производственное задание и, следовательно, остаться в своем кресле, без подкупа работников министерств, распределяющих необходимые материалы и оборудование. В свою очередь, такой руководитель должен урезать заработки рабочих или крестьян, чтобы собрать деньги для взяток. [...]

Что можно сказать о режиме, который вынуждает граждан в повседневной жизни давать и брать взятки и совершать другие незаконные поступки? Что можно сказать о режиме, при котором беззаконие является не отклонением от нормы, а движущей силой общества? Имеют ли люди, создавшие такую систему, реальные шансы на мировую гегемонию?

Коммунистическая коррупция — прогрессирующая болезнь. По выражению К. Симиса, при Брежневе Советский Союз превратился в «страну продажных правителей, правящих продажным народом». Он полагает, что коррупция настолько глубоко въелась в советскую систему, что ее невозможно вытравить хотя бы по той простой причине, что серьезная чистка привела бы к развалу всего правящего аппарата, как это фактически и произошло в Польше, где армии пришлось отнять власть у дискредитированных партийных функционеров. Чтобы выкорчевать корни будущей коррупции, следовало бы дать больше узаконенных выходов частной инициативе и предпринимательству, а это невозможно сделать без коренной перестройки всей системы.

Парадоксально, что, пытаясь подавить личную заинтересованность и заставить каждого работать только на благо всех, коммунисты сумели лишь разрушить последние остатки общественной совести и развязать яростную погоню за личной выгодой. По-видимому, именно это имел в виду Гегель, когда говорил о Всемирном Духе, насмехающемся над суетой человеческих желаний и теми, кто тщится направлять его поступь.

От редакции – 1985. К сожалению, автор не избежал легкого соблазна провести параллель между дореволюционной Россией и советским обществом. Очень характерно в этом плане его утверждение, будто, подобно видным чиновникам императорской России, члены партии стоят над законом в том смысле, что их нельзя судить, пока они занимают свои посты. К сожалению, это явная передержка: любому первокурснику, изучающему в учебном заведении русскую историю, известно, что судебная реформа 1864 года уравняла всех граждан Российской Империи в их ответственности перед законом. [...]

1985, № 44

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН

Идеологические проблемы берлинских городских туалетов

Реальные факты из области политической фантастики

Когда в 1939 году между гитлеровской Германией и сталинской Россией был заключен мирный договор, перед пропагандистским аппаратом обеих стран стал вопрос о взаимоотношениях враждебных друг другу идеологий. Общеизвестно, что пропаганда и террор являлись двумя главными опорами сталинского и гитлеровского режимов, причем вся гитлеровская пропагандистская фразеология была основана на антикоммунизме, а сталинская на антифашизме. И вдруг на время «медового месяца» красной звезды и свастики потребовалось менять основополагающие идеологические установки, потребовалось если не примирение, то перемирие между нацистской и коммунистической пропагандой.

Илья Эренбург, который выполнял деликатную роль интеллектуала-эмиссара сталинской пропаганды в Европе, вспоминает в своих мемуарах о тех временах, когда со страниц советской печати исчезло слово «нацист» и «фашист», а Молотов даже обрушился на «близоруких антифашистов». Из Министерства иностранных дел убирали евреев. Оркестр Большого театра разучивал Вагнера. Выдавали гестапо немецких эмигрантов, проживавших в Советском Союзе.

«Но при чем тут, — спросит нетерпеливый читатель, — берлинские городские туалеты? Какое отношение имеют идеологические проблемы "Фелькишер Беобахтер" и "Правды" начала 40-х годов к берлинским городским туалетам начала 80-х?» [...]

Мы не будем столь наивны, чтоб задавать вопросы, почему в Западной Германии 80-х годов, стране безусловно демократической, существуют нацистские проблемы. Конечно, болезни немецкой демократии возникли не сегодня и не вчера. Они связаны с общими болезнями, общим кризисом европейской демократии. Болезни же европейской демократии связаны с кризисом европейского гуманизма, адресованного личности и механически переадресованного просветителями массам, вышедшим к тому времени на историческую арену. Такой переход невозможно было совершить без

декаданса, без упадка моральных и интеллектуальных ценностей, а упадок всегда находит свое воплощение в крайностях. Беда в том, что современная демократия относится к преступнику с пренебрежением и высокомерием, считая его, главным образом, продуктом социальной среды, отказывая преступнику в праве быть личностью. Подобная спесивая недооценка противника связана часто с восторгом перед собственным моральным превосходством, самолюбованием собственными передовыми взглядами, на которых построено здание демократической государственности. Но строить государственное управление на взглядах, пусть самых передовых, еще более опасно, чем на песке. (Стремлением любой ценой быть обладателем «передовых взглядов» объясняется в какой-то степени увлечение современных интеллигентов-«гуманистов» христианской Нагорной проповедью. Разочаровавшись в «передовых учениях» материалистов, они увлеклись идеализмом: «На зло ответь добром». Ведь это так прогрессивно. Правда, на практике свою щеку под руку преступника они стараются не подставлять. А вот щеку общества — беспрерывно.)

В 1925 году число членов нацистской партии составляло 27 тысяч голов. И, конечно же, из министерских кабинетов Веймара, с университетских кафедр и парламентской трибуны они выглядели смешно. Несмотря на то, что за год до этого Гитлер пытался совершить со своей бандой государственный переворот, в тюрьме ему были созданы условия, позволяющие сочинять библию нацизма «Майн Кампф», а вскоре он и вовсе был выпущен, ибо, по мнению веймарских демократов, принадлежал к «ничтожному меньшинству неисправимых». Восемь лет спустя это «ничтожное меньшинство» захватило власть в стране и ликвидировало безработицу. Рабочих мест было создано столько, что из других стран пришлось гнать эшелоны тружеников-рабов. Многие же из бывших безработных усиленно трудились в зондеркомандах СС, уминая сапогами окровавленные трупы, пока труд их не был механизирован и на смену Бабьему Яру пришел Освенцим.

Факты эти общеизвестны, но сам по себе факт ничему не учит. Факт нуждается в анализе, как пища в переваривании. Гитлер прошел путь от предводителя партии-банды в 27 тысяч до вожака трехсот боевых дивизий не сам по себе, а при пособничестве разнообразных внешних сил. К этим силам, к сожалению, приходится отнести и самонадеянную веймарскую демократию.

Вернемся, однако, в нынешнее боннское настоящее. В мире произошли кардинальные, общеизвестные перемены. Все, что живо, должно меняться, должно приспосабливаться к новым внешним условиям. А нацизм в Западной Германии, к сожалению, жив. Увы, он не плод советской пропаганды, как это казалось нам в Советском Союзе при чтении советских пропагандистских материалов. Нацизм, или национальный социализм есть в Германии явление естественное. И этот факт следует признать. Нацизм представляет интересы отсталых социальных низов, настроенных реваншистски по отношению к иным сословиям, занимавшим в прошлом или занимающим

ныне лучшее положение в обществе. Их идейным оружием является низкосортный однозначный национализм, стремящийся к величию за счет унижения. То есть нацизм — это расизм социальных низов. Нацизм в зависимости от обстоятельств может использовать в своих целях совершенно разные силы, ибо нацизм — это не направление, а состояние. Он гораздо более целен и менее утопичен, чем марксизм. Идеи его, конечно, бредовые. Но бред и утопия — вещи все-таки противоположные. Бред — все-таки дело земное, тогда как утопия — дело воздушное. И недаром гитлеризм остался таким, каким был создан, тогда как марксизм, для придания ему земной реальности, пришлось исправлять ленинизмом, а ленинизм — сталинизмом, весьма близким уже к славянской форме фашизма. Во всяком случае, больших идейных затруднений при кратком, но бурном бракосочетании гитлеризма и сталинизма не было. По крайней мере, сталинизму пришлось менять не принципы, а установки.

То, что нацизм — политическая реальность сегодняшней Западной Германии, подтверждают и сами западногерманские официальные лица. Но, несмотря на боннский период немецкой демократии, подтверждают это явно по-веймарски, точно между этими двумя периодами не было ни Освенцима, ни Бухенвальда. Еще 1 марта 1966 года министерство внутренних дел в Бонне составило по нацистам бухгалтерский отчет с очень удачным, как оно считает, сальдо. В 1966 году в Западной Германии существовало 113 крайне правых организаций с 28 тысячами членов. На тысячу больше, чем было у Гитлера в 25-м году. Каков же из этого вывод тогдашнего министра внутренних дел ФРГ господина Любке? «*Через двадцать лет после падения режима насилия лагерь крайне правых не представляет актуальной опасности для нашего демократического государства*».

Чтоб сделать проблему более злободневной, сошлемся на недавнее заявление сенатора по внутренним делам Западного Берлина господина Люммера, сделанное им в связи с обысками на квартирах и арестами молодой неонацистской поросли. Несмотря на то, что полиция обнаружила большое количество оружия, боеприпасов, пропагандистского гитлеровского материала и гитлеровских униформ, господин Люммер заявил, что правый экстремизм, тем не менее, не так опасен, как левый.

Нам кажется, что здесь мы приблизились к самой основе этой спорной и важной проблемы, ради которой, собственно, и начали весь разговор. А именно, к дверям берлинских городских туалетов, которые, к слову сказать, в отличие от московских, не говоря уже о рязанских, всегда функционируют исправно и содержатся в образцовой чистоте. Однако нас, как видно из заголовка, интересуют не сангигиенические, а идеологические функции этих туалетов. Стены многих из них густо исписаны определенного сорта пропагандистским материалом, по-тифозному переползшим на чистые туалетные стены со зловонных страниц «Фелькишер Беобахтер» и «Штюрмера».

Геббельс в свое время сформулировал ряд принципов нацистской пропаганды. Один из них: «*Пропаганда должна рисовать черным или белым цве-*

том, так как иначе она не может быть убедительна для людей». Другой: «*Необходимо выделять объекты для ненависти*». Оба эти принципа полностью соблюдены в туалетной пропаганде 80-х годов. Есть, однако, и нечто новое, и об этом новом следует поговорить особо.

Основой существования нацистского унтерменша был зоологический антисемитизм. Без антисемитизма нацистский кишечник перестал бы работать, его бы заперло. Нам кажется, что, если бы осуществился замысел гитлеровских окультуренных дикарей и евреи были бы уничтожены, антисемитизм все равно был бы сохранен в качестве краеугольного камня нацистского Олимпа. Так исторически сложилось, что евреи олицетворяли вечного врага для средневекового, язычески чувственного клерикально-идеалистического сознания, уцененным вариантом которого является нацистское мировоззрение. Без этого врага нацисту не обойтись. Если его нет, его находят, объявляют, назначают. Возможно, в фантасмагорическом мире «нового» гитлеровского «порядка» евреи были бы назначены из среды славян. [...]

Впрочем, нынешние славянские неофашисты, которые под хитрой маской антисионистов по сути легализованы на страницах советской печати, тоже ищут еврея-врага там, где здравый смысл этого себе даже представить не может. Эзопов язык советской пропаганды — давно уже секрет полишинеля. Пока в России жив сталинизм, потребность во всякого рода «антисионистах», «антикосмополитах» и прочих русских неонацистах не исчезнет. А природа нацизма едина, вне зависимости от его национальных особенностей.

Неизвестно, кому готовил Гитлер худшую участь — евреям, которые должны были исчезнуть из нацистского мира, или славянам, для которых, цитируем: «*слово "свобода" означает право мыться по праздникам*». Нам кажется, что из такого коричневого мира все-таки хорошо бы исчезнуть вовсе. Но, как мы уже говорили, исчезновение евреев вовсе не означает исчезновения антисемитизма. Для его существования евреи будут назначены из других наций. Несмотря на свою национальную риторику, нацист — явление по сути антинациональное. В определенных обстоятельствах он всегда скорей договорится со своим международным камрадом. И если Гитлеру в его борьбе с Россией помогали русские антисемитствующие Иванушки-дурачки, то сталинской империи в ее борьбе с Германией будут помогать и отчасти уже помогают немецкие антисемитствующие Михели-идиоты, готовые любого не нравящегося им немца объявить евреем. Этим и интересна пропагандистская риторика берлинских городских туалетов.

Принято считать, что нацизм — движение правое и антикоммунистическое. Да, в силу исторических и социально-психологических обстоятельств, нацизм начинал именно так. Надо, однако, понимать, что непреходящей сутью нацизма является его зоологический антисемитизм как политическая идеология, его предельный антидемократизм и его жадное плебейское властолюбие. С какой же стороны рваться к власти, справа или слева, зависит исключительно от причин внешних, которые могут меняться. Существуют те, кто при любых условиях придерживается прошлого, не может оторвать-

ся от своей правой антикоммунистической традиции. Но есть и нацисты-авангардисты, — главным образом, молодежь, — которые ищут новых путей и пишут о том свои манифесты на стенах туалетов.

Впрочем, ведь и традиционный гитлеровский нацизм сумел вступить в пусть недолгий, но все-таки союз со сталинским коммунизмом. Да и в современной России русские монархо-клерикальные нацисты типа Кожинова, Бегуна, Пикуля и им подобных сотрудничают с коммунистами сталинского типа, а сталинизм своей бешеной антизападной и антисионистской (читай антисемитской) пропагандой предоставляет им богатые возможности. Так много ли невероятного в том, что для своего сотрудничества современные немецкие неонацисты-авангардисты, в отличие от своих нацистских традиционных собратьев, избрали крайне левые силы, весьма пестро усеявшие политическую сцену Западной Германии? Конечно, ожесточение Второй мировой войны сделало легализацию такого сотрудничества более затруднительной, чем во время сталинско-гитлеровского пакта. Но для тайного брачного союза никаких препятствий по сути нет. Выражаясь языком Геббельса, важнейший пропагандистский принцип соблюден: «объект для ненависти» — общий.

Безусловно, уроки прошлого не проходят даром. Советский публицист Эрнст Генри так описывает крайне правую партию 1966 года: «*Свастики члены НДП*[1] *на рукавах не носят, на собраниях голосуют, поднимая левую руку, чтоб не было похоже на гитлеровский салют. Коричневый цвет в партии под запретом. Эндеки торжественно заявляют, что они не фашисты, не заговорщики и даже не антисемиты. В нынешней Германии еврейской проблемы нет*».

С последним заявлением можно согласиться. В Германии нет еврейской проблемы, потому что нет евреев. Ведь нельзя всерьез принимать микроскопическую кучку эмигрантов, в большинстве своем достаточно низкого интеллектуального уровня и без всякого серьезного положения в обществе. Смешно даже сравнивать эту кучку с сильным и влиятельным еврейским национальным меньшинством Германии догитлеровского периода, поставлявшим в немецкую культуру, в немецкую науку, в немецкую промышленность и экономику и даже в немецкую политическую жизнь выдающихся деятелей, имена которых столь общеизвестны, что их не стоит даже перечислять. Это было, но этого никогда больше не будет. Историю, как и жизнь, переиграть нельзя. Но нацистские и неонацистские шулера пытаются это сделать на свой манер. Причем, если раньше их антисемитизм можно было объяснить завистью плебеев, то чему и кому завидовать теперь? Дело, очевидно, не только в зависти и не столько в зависти, сколько в невозможности общаться друг с другом на ином языке, кроме антисемитского. Поэтому, как мы уже говорили, если нет евреев, их выдумывают. (К слову сказать, то же происходит и в Польше. Польша, которая несколько веков служила как бы академией славянского антисемитизма, изгнав остатки евреев, уцелевших после гитлеровского геноцида, сама обрубила сук, на котором держался

[1] Национально-демократическая партия.

польский шовинизм, необходимый для национального единения в кризисных ситуациях. Поэтому в Польше сейчас евреев выдумывают и вынуждены назначать их из собственной среды.)

Эрнст Генри называет действия НДП маскировкой, так как НДП попыталась сохранить правый национализм, но обойтись без антисемитизма. А почему, собственно, маскировка? Что плохого, если даже крайне правая партия учла уроки прошлого и отказывается от одного из важнейших нацистских принципов — антисемитизма или от паучьей свастики, символа ненависти и дикости? Ведь в современных берлинских туалетах, где маскироваться не надо и где неогитлеровец-авангардист снимает не только штаны, но и маску, стены густо испоганены свастикой, исписаны антисемитскими лозунгами, но антикоммунистических лозунгов не найдешь. Тоже маскировка? Мы, кстати, об отсутствии антикоммунизма в левом неонацизме не сожалеем. В конце концов, можно не разделять коммунистических взглядов, но вряд ли здравомыслящего человека мог радовать пещерный гитлеровский антикоммунизм. [...]

Нет, мы против антикоммунизма любой ценой. И дело не в том, что левые неонацисты, оставаясь антисемитами, порвали с антикоммунизмом гитлеровского образца. Дело в том, что при этом они ищут контактов с коммунизмом сталинского образца, ищут нового перемирия нацистской и коммунистической пропаганды, наподобие сталинско-гитлеровского альянса, для борьбы с «объектом общей ненависти», каким являются для обеих западный демократический строй, причем на данном этапе именно в его консервативной форме. Вот образцы пропагандистских туалетных надписей: «*Juden lugen immer — евреи врут всегда. ХДС — тоже. Свободные демократы — тоже. ХДС — вон. Lummer — polnischer Jude. Люммер — польский еврей. Польский еврей — убийца*». Все это густо приправлено свастикой разных размеров и новым символом: круг перечеркнут зигзагом — молнией со стрелой на конце (эсэс плюс электрификация, что ли?).

Какие бы ни были коммунисты 20-х годов, но именно они, наряду с евреями, служили главным объектом нацистской ненависти. Да и социал-демократам доставалось. Ну, с современными коммунистами более или менее все ясно. Но почему социал-демократы утратили право на ненависть туалетного нацистского подполья? Почему они уступили эту честь более консервативным правым партиям? Почему, требуя отправить в концлагерь турок и других иностранцев, нацисты сопровождают это ненавистью к крайне правому деятелю Штраусу, а не к крайне левому Эпплеру? Впрочем, если коричневые готовы к тайному браку с красными, то тем более они способны к сотрудничеству с «зелеными». Идеологические основы «зеленых» расплывчаты — борьба за чистоту окружающей среды. Правда, они собираются защищать окружающую среду от Штрауса и НАТО. Но это как раз та платформа, к которой можно примкнуть с разных сторон — как к любой окружности, с чистым пространством посередине. Можно туда вписать любой символ, от свастики до красной звезды.

Насколько мы поняли, в западноберлинском варианте «зеленые» именуются «альтернативными». Они имеют даже несколько своих представителей в берлинском Сенате. Рядом с буржуазными или социал-демократическими депутатами в пиджаках и галстуках «альтернативные» выглядят этакими разночинцами. Галстуков они не носят, одеваются на заседания Сената по-домашнему или как для загородной прогулки — ковбойки, потертые свитера, спортивные пиджаки. Мы, конечно, далеки от мыслей приписывать «альтернативным», особенно их верхам, антисемитские настроения. Но зато они предоставляют в распоряжение неонацистов-авангардистов другие богатые возможности, которых крайне правые, даже крайне правые с традиционным нацистским уклоном, не в состоянии им предоставить. Они дают им *улицу*, эту основу жизнедеятельности молодого нацизма, где штурмовик-хулиган проходит школу на пути к зрелому эсэсовскому убийце. Они дают в их распоряжение *массу* определенного сорта, и если неонацисты не могут еще ею овладеть, то, по крайней мере, они могут в ней существовать и с ней общаться. После одного из террористических актов в Западном Берлине, взрыва бомбы в еврейском ресторане, «альтернативные» выступили с заявлением, что это произошло в атмосфере, созданной реакционным Сенатом ХДС.

Неонацисты в своей туалетной пропаганде, например, пишут: «ХДС — полицейское государство». Это звучит даже смешно: последыши Гитлера — против полицейского государства. Вообще, в туалетной нацистской пропаганде немецкая полиция подвергается всяческим оскорблениям. В принципе, полиция, конечно, не та организация, которую следует идеализировать. Но почему она нравится нацистам гораздо меньше гестапо, понятно. Настораживает другое. Совпадение «объектов ненависти» у левых в их легальной и у нацистов в их туалетной пропаганде. [...]

Проблем, разумеется, в нынешнем мире и в нынешней Западной Германии хватает, как хватало их в Веймарской республике. Безработица, случаи коррупции, нехватка дешевого жилья, бюрократия и прочее. Гитлеровцы в свое время ловко манипулировали этими проблемами, чтоб пробраться к власти. Но главной немецкой национальной проблемой тогда была борьба против Версальского договора. Именно антиверсальская демагогия дала нацистам *массу*. Похоже, что ныне разношерстная масса так же охотно стекается под знамена «борцов за мир». Атомная война для расположенной в центре Европы Германии сегодня есть главная национальная беда. Впрочем, для кого она не беда? При этом следует, однако, знать, что всякий агрессор, особенно пока он еще незрел и слаб, использует «борьбу за мир», вернее — страх перед войной, для своего созревания и укрепления. Достаточно вспомнить, как использовал в 30-х годах Гитлер страх перед войной. Помнится также грандиозная по масштабам сталинская «борьба за мир» в конце 40-х — начале 50-х годов. Впрочем, «борьба за мир» неосталинистов не уступает ни размахом, ни энтузиазмом масс. Откуда же этот энтузиазм? Ответ дает английский писатель Голсуорси, точно изобразивший психоло-

гию уличного агитатора. Наставляя своего коллегу, отправляющегося на митинг, он говорит: никаких мыслей, народу нужен только пафос.

И действительно, пафоса у пацифистов хоть отбавляй, мыслей же и на спичечный коробок не наскребешь. На Западе «голубь мира» весьма когтист. Масса выходит на улицу под мирными лозунгами, но почему-то множество подобных демонстраций оканчивается драками, битьем стекол, поджогами и прочими атрибутами уличной анархии. Именно во время такой берлинской демонстрации 22 сентября 1981 года попал под автобус Ратенау, молодой безработный, возведенный после смерти в ранг святого — как левыми, так и неонацистами.

Конечно, всякая смерть, особенно молодая, прискорбна. Восемнадцатилетний Ратенау, судя по сообщениям газет, не берлинец. Он приехал якобы в поисках работы, наподобие многих молодых людей определенного сорта, которые со всех концов ФРГ съезжаются в Западный Берлин. Впрочем, может быть, некоторые из них, в том числе Ратенау, действительно ищут работу, хотя непонятно, почему они съезжаются для этого в город-остров? Мы много наслышались в Союзе о безработице на Западе. Безработица действительно существует, но даже с первого взгляда становится ясно, что состав безработных весьма пестр. Наряду с людьми, стремящимися получить работу, существуют и те, кого в Союзе именуют тунеядцами. Речь идет не о людях, которым это звание присваивают по политическим соображениям, а о действительных тунеядцах, то есть о деклассированном элементе, не умеющем и не желающем работать. Этот-то деклассированный элемент и составляет ударный отряд «борцов» то ли за мир, то ли за нечто иное. Например, за жилье. О проблемах жилья никто не спорит. Цены на квартиры высокие, и, хоть люди с низким заработком получают социальную помощь на оплату квартиры, это не оптимальное решение. Да и злоупотребления существуют. Мы, однако, будем говорить не о семейных нуждающихся людях, а о молодых повесах, которые самовольно захватывают предназначенные для ремонта дома и создают в них «коммуны». (При социал-демократическом Сенате в Западном Берлине было более сотни таких захваченных, «коммунистических» домов. На фасадах этих домов красуются лозунги и пятиконечные звезды.) Какого рода это «коммуны», легко себе представить. Какое воспитание получают маменькины сынки и дочки от совместного «коммунистического» проживания с отпетыми уголовниками, хулиганами и наркоманами, наглядно демонстрирует уже упомянутая «борьба». Недаром в обсуждении жилищной проблемы принимает участие и неонацистская пропаганда. [...]

Мы присутствовали на нескольких демонстрациях из творческих соображений, хоть занятие это весьма не безопасное. Летят камни, летят бутылки, да и полиция бьет. Но начинаются такие демонстрации эпически: с речей и знамен. На одном из знамен красного цвета изображен Карл Либкнехт, на другом — красно-черного цвета — уже упомянутый нами Ратенау, на третьем — беленьком штандарте — просто написано: теннисный клуб

«Боруссия». Но у нас есть предположение, что эти «теннисисты» как раз и пописывают в туалетах в свободное от иных проделок время.

До начала демонстрации долговязые юнцы пьют пиво из бутылок, горланят какие-то песни и, как бы проверяя, на месте ли, демонстрируют кастеты и ножи. Среди них есть и некто постарше. Он не пьет пива, не поет песен, ведет себя тихо. Что-то скажет одному, что-то скажет другому. Еще бы, ситуация легальная. Демонстрация за мир, совместно с коммунистами, «альтернативными» и прочими левыми. [...]

Бывшие правые, традиционно фашиствующие массы, учитывая новые исторические обстоятельства, переместились влево. Но сути своей от этого они не изменили. Мы убеждаемся, к сожалению, что леворадикальный бульон современности может служить такой же средой для возрождения нацистской чумы, как и праворадикальный бульон 20-х годов. Конечно, прямая историческая аналогия сегодня невозможна, да и сил пока не достаточно. Все-таки нацизм потерпел сокрушительное поражение и публично обличен. Откровенно нацистские партии в Западной Германии запрещены. Ну, а как быть с теми, кто сочетает нацистские действия с ненацистской (иногда даже антинацистской) фразеологией? Которые устраивают «хрустальные ночи» под «прогрессивными» лозунгами? В одну такую «хрустальную ночь», вернее, «хрустальный поздний вечер», были выбиты витринные стекла почти на протяжении всего Курфюрстендамма. Для того чтоб пройти это расстояние нормальным шагом, нужно не менее сорока минут. Для того чтобы выполнить погромную работу на широкой улице — не менее часа. Спала берлинская полиция или не могла справиться с левыми штурмовиками? Одно не лучше другого. Следует сказать, что с приходом к власти «реакционного» Сената уличный разбой в значительной степени пошел на убыль. Это факт, а не какая-нибудь партийная пристрастность. Этого не сможет отрицать и бывший бургомистр Западного Берлина социал-демократ господин Фогель. Стекла опять вставлены. Что поделаешь, у буржуазии оказалось больше стекол, чем у люмпен-пролетариата камней. Но это не помогло люмпен-пролетариату осознать ошибочность своих методов. Тем более не признал ошибок передовой отряд люмпен-пролетариата — неонацисты.

Нацистская чума сейчас проходит свой инкубационный период в туалетах, лишь изредка выползая на открытое пространство. Нам доводилось видеть на главной улице Западного Берлина Курфюрстендамме кучку юнцов примерно того облика, как и те, что участвовали в демонстрации «за мир» под штандартом теннисного клуба. На Курфюрстендамме, без левого прикрытия, в чистом своем виде они шли, по-волчьи озираясь, с нарукавными повязками DAF — Deutsche Arbeit Fraktion — немецкая рабочая фракция, в перекличку с гитлеровской «немецкой национал-социалистической рабочей партией». Впрочем, некоторое левое прикрытие у них было: лица свои они прикрывали палестинскими клетчатыми платочками, любимым предметом немецкой левой молодежи.

Конечно, нам могут возразить, что мы люди со стороны, из другого мира и поэтому не можем судить о внутренних немецких проблемах. На это можно ответить: во-первых, проблема нацизма во всех его проявлениях не является внутренним, семейным делом Германии, а во-вторых, мы не собираемся исчерпывать весь этот материал, мы не занимаемся глубоким анализом всего комплекса внутренней немецкой политической жизни. Для подобной деятельности, надеемся, найдутся в Германии свои специалисты. Мы высказываем только свое впечатление. А свежее, не затуманенное привычкой впечатление, как и серьезный анализ, всегда плодотворней серой середины, монотонного наукообразного переваривания действительности. Однако, наряду с впечатлением о современной немецкой политической действительности, мы надеемся опереться также на общие законы политической жизни. В частности, психологические законы всякого массового движения, о которых писал еще известный русский социал-демократ Плеханов.

Речь идет о массовом движении не в том смысле, что оно представляет большинство населения, а в том, что оно может проявлять себя лишь скопищем, толпой. Толпой, в которой каждый в отдельности ничто, а все вместе — всё. Так вот, массовое движение всегда состоит из разнородных элементов. И поэтому весьма важен принцип объединения. Объединение за что-то или объединение против чего-то. К сожалению, левый социал-демократ господин Эпплер, не говоря уже о деятелях «альтернативы», объединяются именно по принципу — *против*. Против Штрауса, против Люммера, против американских ракет. (Некоторые из них для равновесия, правда, пытаются говорить и против советских ракет. Но против советских ракет они используют слова, а против американских — дела.) Вот такой принцип — против. Этот принцип и есть та основная причина, по которой левые деятели попали в дурную компанию с нацистами. Конечно, они не желают подобного признавать и в случае чего постараются найти множество аргументов, чтобы это опровергнуть. Но факты туалетной неонацистской пропаганды не дадут им это сделать. «Объекты общей ненависти» видны невооруженным глазом. Однако главная беда не в этом. В конце концов, каждый сам бережет свою честь, и каждый сам выбирает себе партнеров. Главная беда в том, что их деятельность, будем надеяться — вопреки их желанию, способствует успешной перегруппировке неонацистских сил на политической сцене. В чем с бывшим министром внутренних дел ФРГ господином Любке и с нынешним сенатором по внутренним делам Западного Берлина господином Люммером действительно можно согласиться, так это в том, что правая опасность для Западной Германии ныне не актуальна. Сколько бы ни возникало правых группировок, *массы* у них нет, ибо она переместилась налево. Правые могут подложить бомбу, выстрелить из-за угла, но они не способны ныне организовать уличное погромное шествие. Неонацизм теперь движется слева, из глубин левого экстремизма, и объединение по принципу «против» его вполне устраивает. Пожертвовав антикоммунистической риторикой, он сохранил свастику и антисемитизм. Конечно, нельзя сказать, что среди нацистов

нет антикоммунистов. Но на данном этапе коричневым выгодно выступать в двух ипостасях: традиционной, правой, перекликающейся с тенью Бормана в латиноамериканских джунглях, и левой, авангардистской, ведущей незримый диалог с совершенно иной средой. Противоречия между этими двумя ипостасями современного нацизма нет, но у каждого свой путь к Четвертому Рейху. Мы сосредоточились на левом нацизме, ввиду его бóльших возможностей и меньшей изученности.

Итак, налицо преступники и налицо преступление. Ну, а каково наказание? Оно вполне в духе традиционного веймарского правосудия, выпустившего из тюрьмы людоеда Гитлера, как при кайзере Вильгельме выпускали подравшегося в пивной за девку солдата. В качестве одной из мер некий депутат западноберлинского Сената, кстати, от ХДС, предложил продемонстрировать юным нацистским прохвостам кадры нацистских концлагерей с тем, чтобы, увидав содеянное своими предшественниками-камрадами, эти юнцы опомнились и образумились. Ну, не наивно ли? Тем, кто пишет в туалетах: «евреев в концлагеря», — показывать, как в этих концлагерях сжигают еврейских детей! Единственное чувство, помимо чувства удовлетворения, которое могут юные головорезы испытать, это чувство досады, что родились они слишком поздно, а не во времена рейхсканцелярии и СД, особенно отдела Б-4 гестапо во главе с Эйхманом. По нашему мнению, все-таки лучше показать туалетным пачкунам нюрнбергские виселицы и обгорелый труп Гитлера. Показать, не с чего камрады начинали, а чем они кончили.

Живя в Союзе, мы слышали, что у западных немцев существует комплекс вины за совершенные Гитлером от их имени преступления. Да, это действительно так, но с одной оговоркой. Чувство вины испытывают как раз те немцы, которые менее всего повинны в злодеяниях. Те же, кто прямо или косвенно сопричастен к злодеяниям, в большинстве своем никакого чувства вины не испытывают. Эту окаменевшую эсэсовщину орошают теперь слева. И вот первые результаты: безупречно чистые стены берлинских городских туалетов воспалены болезненной нацистской сыпью.

Конечно, нацистские зародыши еще слабы. Для того, чтоб их уничтожить, надо не столько проявить смелость, сколько подавить в себе чувство брезгливости. Однако время не ждет. Прискорбно, но национально-исторические особенности таковы, что если б нацизм возник вновь, то это случилось бы не в Дании, не в Англии, не в Турции и даже не в Китае, а в обладающей гитлеровскими традициями Германии или в обладающей сталинскими традициями России.

Преувеличение? Фантазия? Оглянитесь назад и подумайте, как бы выглядел тот, кто в 1913 году предположил бы события 17-го или 33-го года? Имеется в виду не психологическая игра ума. Такой игры, таких пророчеств было более, чем достаточно. Сейчас говорят: пророков не слушали, вот и поплатились. А о чем пророчили пророки? Бесовщина? Подпольные пятерки? Романтические убийства в темных каменных гротах? Всё знали, всё предполагали, а оказались захваченными врасплох. Почему? Да потому, что

великие книги прочли, а малыми побрезговали. Например, «Эскизы без теней», очерки ныне забытого Наумова о сибирском крестьянстве. Особенно эскиз о том, как крестьяне жгут на кострах воров, пока мясо не отвалится от костей. Это уже не сладострастный садизм достоевщины, в котором общество искало дно мирового зла. Это даже не убийство, а поварская работа, возврат к каннибализму, который никогда не исчезал из народного чрева и у цивилизованных наций, не говоря о нациях азиатских.

Думаем, и в немецкой литературе было немало скромных книг, которые следовало бы прочесть тем, кто решился заниматься политической деятельностью в народный XX век. Ибо политические фантазии XX века брали свой старт в дворницких, на постоялых дворах, в ночлежках и прочих местах обитания низшего сословия. Когда развеялся дым, оказалось, что вожди-интеллектуалы таскали каштаны из огня для дворников. Эта тенденция, к сожалению, не изменилась и ныне. В конце концов, дворницкая не там, где стоит метла и воняет кислой капустой, а там, где сидит дворник, даже если он занимает самый высокий правительственный кабинет.

Подобная политическая фантазия, вернее, политическая фантастика не имеет предела, и своим апокалипсическим реализмом подчас превосходит самые кошмарные сны. Вплоть до Четвертого Рейха, возникающего в критический момент на эксплуатации страха перед атомной войной и поддержанного сталинской империей в общей борьбе с западной демократией. Тем более, что ключи к объединению Германии в руках сталинистов, и они тоже могут служить приманкой. Впрочем, может, к тому времени сталинизм уже будет заменен классическим славянским фашизмом, которому и проложил дорогу. Геополитически такой союз вполне мог бы противостоять недозрелому Китаю на Востоке и перезрелой Америке на Западе.

Но вернемся к нашему календарю. Что мы видим сегодня? Своеобразное отражение прошлого пакта между сталинизмом и гитлеризмом, оппозиционный демократическому строю союз красной звезды и свастики — неоспоримая реальность Западной Германии, хоть подписан он пока всего лишь на стенах городских туалетов. Идейным оружием партнеров является обличение несовершенств западной демократии, и на этом принципе «против» формируется весьма пестрая, хоть и не всегда зримая коалиция. Но нам, обладающим опытом «потусторонней жизни», нам, выбравшимся из «братской могилы» неправового государства, хочется сказать: рая на земле не бывает, но ад на земле вполне реален. В условиях нарастающего экономического кризиса и военной напряженности туалетные черви при леворадикальной подкормке могут вырасти в опасных рептилий, питающихся человеческой кровью.

А Берлин, по крайней мере Западный Берлин, вопреки нашим представлениям, навеянным кошмарным прошлым, оказался зеленым прибалтийским городом, в котором столичность удивительно сочетается с провинциальным уютом. Это тоже наша родина, потому что мы родились повсюду,

где только плодоносила европейская, библейско-христианская культура. Трудно поверить, что нацистские дикари-огнепоклонники плясали здесь вокруг подожженного ими рейхстага и так увлеклись игрой с огнем, что на глазах у оторопевшего человечества по-каннибальски сожгли тонны человеческого мяса: старого, молодого, детского...

Последними словами Гёте перед смертью были: «Больше света». Какими были последние слова Гитлера, мы не знаем, но ясно, что, сам сгорая в разожженном им пламени, он завещал пепел, он завещал ненависть, он завещал чуму. [...]

1982, № 33

НИКОЛАС БЕТЕЛЛ

Советская диверсия в Западной Европе

[...] Политический плюрализм, господствующий в Западной Европе, создает массу сложностей. Мы не монолитное сообщество: мы признаём право наших идеологических противников на политическую деятельность, даже их право прийти к власти; мы признаём права тех, кто в наших странах настроен антизападно или даже прямо выступает в поддержку СССР — нашего политического противника. Это меньшинство, поддерживающее Советский Союз, представлено в большинстве парламентов своих стран и в Европейском парламенте.

Советский блок может свободно распространять свою идеологию в Западной Европе и совершенно открыто действовать себе на пользу. Но на его территории разрешена только его, марксистско-ленинская пропаганда. Московское радио вещает на всю Западную Европу на разных языках, его передачи не глушатся, не то что передачи с Запада на Восток. Советская пресса широко доступна на территории западных стран: только в английских киосках можно купить 22 советских газеты и журнала. Западная пресса часто публикует статьи и письма советских официальных лиц, давая место точке зрения советского правительства. Ни на что подобное Запад не имеет права в странах советского блока. Советские дипломаты в Западной Европе спокойно завязывают личные отношения с влиятельными политическими и общественными деятелями, свободно контактируют с компартиями и другими левыми группировками, готовыми выполнять советские поручения. Советская пропаганда, обращенная вовне, ставит целью возбуждать общественное мнение западных стран против их правительств: она изображает страны НАТО как агрессоров, их лидеров — как «поджигателей войны», советскую же экспансию объявляет мифом и всякую критику по адресу СССР клеймит как «антисоветчину» и «вмешательство во внутренние дела Советского Союза».

Но, поскольку эта враждебная пропаганда разворачивается открыто и публично, ее все же не следует рассматривать как диверсию: она является частью сложных отношений между разными странами. Взаимные открытые попытки бросить вызов противнику по всему комплексу проблем современного мира совместимы с сохранением дипломатических отношений и не

приводят к вооруженному конфликту. *Диверсией* можно назвать лишь тайную, незаконную часть деятельности, направленной на дестабилизацию.

СССР и международный терроризм

Советский Союз никогда и нигде не заявлял о своей открытой поддержке терроризма — поддерживает он «национально-освободительные движения», поощряя их прибегать к насилию в борьбе против колониализма и иностранной оккупации. Представитель Организации Освобождения Палестины заявил в 1979 году: «Они (СССР) обеспечивают нам полную поддержку: дипломатическую, моральную, в области образования, — они даже принимают наших бойцов в свои военные академии». Он объявил также, что ООП получает военную технику из Советского Союза.

Точно так же Советский Союз поддерживает Африканский Национальный Конгресс и Африканский Союз Народа Зимбабве. В эту поддержку входит снабжение вооружением и пропагандными материалами. По словам Брежнева, сказанным на XXV съезде КПСС, вся эта военно-пропагандная поддержка производится согласно «революционной совести и коммунистическим убеждениям».

У нас, в Западной Европе, одни рассматривают членов вышеназванных и иных «национально-освободительных организаций» как террористов, другие — как «борцов за свободу». Нередко трудно провести границу, за которой борьба за свободу переходит в терроризм, и столь же трудно отличить советскую политику поддержки «национально-освободительных движений» от прямой помощи террористам.

Возьмем хотя бы антибританское движение в Северной Ирландии. Советская пропаганда представляет его как национально-освободительное движение против английского империализма. В феврале 1983 года «Известия» обвинили протестантских экстремистов в «геноциде католиков», которые-де служат оккупантам «живыми мишенями». Но о насилиях, совершенных Ирландской Республиканской Армией, советская печать молчит. [...]

Однако политической и моральной поддержкой дело не ограничивается.

В октябре 1971 года в Амстердаме было задержано оружие, купленное ирландскими террористами в Чехословакии. В ноябре 1977 года в Антверпене был обнаружен огромный склад оружия из восточноевропейских стран, предназначенного для переправки в Дублин, а оттуда — в Ольстер. В Северной Ирландии много раз обнаруживалось советское и восточноевропейское оружие, хотя большую часть вооружения ИРА покупает на ближневосточном свободном рынке.

Прямых доказательств связи СССР с ИРА нет, но сомневаться в — по крайней мере — морально-политической и пропагандной поддержке не приходится.

Гораздо более очевидная связь СССР с ООП в значительной степени осуществляется на территории Западной Европы. Некоторые хорошо из-

вестные западноевропейские террористы часто посещают страны советского блока. При аресте лидера «Красных Бригад» Ренато Курцио в 1974 году обнаружилось, что на обоих его паспортах, настоящем и поддельном, были чехословацкие визы. В апреле 1978 года суд в Турине доказал, что одна из групп «Красных Бригад» прошла боевое обучение в Чехословакии. Через месяц после этого римский журнал «Иль Сеттиманале» опубликовал подробные данные об обучении итальянских и западногерманских террористов в Чехословакии, близ Карловых Вар. Эти «студенты» обучались саботажу, обращению с взрывчаткой, подделке документов.

В 70-е годы существовала тесная связь между западногерманскими и палестинскими террористами. Среди западногерманских террористов, проходивших в 1976 году обучение в военном лагере ООП в Иордании, были, в частности, Андреас Баадер и Ульрика Майнхоф. Целый ряд террористических актов, совершенных в Европе, указывает на эту тесную связь: нападение на ОПЕК в Вене в декабре 1975 года, угон французского пассажирского самолета в Уганду шестью месяцами позже, захват немецкого самолета в октябре 1977 года.

Советская помощь палестинцам очевидна, но, сверх того, через них Советский Союз помогает и разнообразным террористическим группировкам в Италии и ФРГ. Известно также, что некоторые западногерманские террористы проходили обучение в тренировочных лагерях на территории Южного Йемена, где служат советские военные инструкторы.

Если такие сведения покрыты дымкой таинственности и выплывают редко, то в остальном ни СССР, ни его союзники своей поддержки не скрывают и даже гордятся ею. В августе 1980 года «Нойес Дойчланд» писала, что более 2300 «патриотов» госпитализированы за последнее время в ГДР, получив ранения в операциях на фронтах «национально-освободительной борьбы».

В Европе нет недостатка в людях, которые сочувствуют этим раненым «в боях за свободу». Они, однако, не замечают, что советский блок весьма односторонне толкует понятие «национально-освободительной борьбы». Сюда не входят, скажем, движения в Польше или Афганистане: «национально-освободительными» признаны лишь те движения, которые приносят советскому блоку политическую выгоду.

Прямых доказательств советской материальной помощи западноевропейским террористическим группам, возможно, нет; возможно также, что они есть, но из дипломатических соображений не стали достоянием гласности. В любом случае ясно, что конфликты, разжигаемые Советским Союзом, ударяют и по странам Западной Европы.

Болгарские «зонтики» и болгарские пули

Болгарские органы участвуют в террористической деятельности за пределами своей страны активнее, чем госбезопасность любого другого государства советского блока. Тому есть прямые доказательства.

В июле 1973 года пропал без вести болгарский политический беженец в Дании Борис Арнов. Вскоре после этого оказалось, что он похищен и увезен в Болгарию. Софийский суд приговорил его к 15 годам за «антигосударственную деятельность». Через несколько месяцев после приговора он умер в тюрьме. Газета «Народна младеж» опубликовала статью с грозным предупреждением, что такая участь ожидает всякого «изменника Родине».

В августе 1978 года другой болгарский беженец, журналист Владимир Костов, выходил вместе со своей женой из парижского метро, как вдруг почувствовал острую боль в бедре. Несколько дней он пролежал с высокой температурой, но, в конце концов, поправился.

Между тем, десять дней спустя Георгий Марков, работавший, как и Костов, в болгарской редакции Радио Свободная Европа, но в Лондоне, проходя по улице, столь же внезапно почувствовал резкую боль в ноге. Он успел увидеть человека с зонтиком, по виду не англичанина, убегавшего от него. Это было 7 сентября. В тот же вечер Марков тяжело заболел, на следующий день был госпитализирован и через два дня умер. Вскрытие показало, что на правом бедре, вокруг подозрительной царапины 2 мм в диаметре, распространилось сильное воспаление и что под кожей находится металлический шарик. Одновременно результаты вскрытия показали, что Марков был отравлен.

Узнав об этом, Владимир Костов вспомнил свое недавнее происшествие и обратился в больницу. С помощью рентгена в тканях его бедра также был обнаружен кусочек металла. Парижские хирурги в присутствии английских следователей удалили 2 кв. см ткани. Данные микроскопического анализа подтвердили тождественность металлических объектов, извлеченных из тела Маркова и из тканей бедра Костова. Костов, по счастью, был ранен не смертельно. Оба были отравлены одним и тем же ядом, точный состав которого ни французские, ни английские ученые не могли установить. Предположительно, это был рицин — очень опасный и малоизученный яд.

Ни французская, ни английская полиция не нашли убийцу Маркова и того, кто покушался на жизнь Костова. Но обе они отметили, что покушения произошли одно за другим с использованием одного и того же технически совершенного оружия. И Георгий Марков, и Владимир Костов хорошо известны как радиожурналисты, решительно разоблачающие положение в Болгарии, — болгарские власти были, несомненно, заинтересованы в том, чтобы заставить их замолчать. К тому же, никакие эмигрантские группы или частные лица (если принять «сведение счетов» как одну из гипотез) не в состоянии произвести столь совершенное в техническом и химическом отношении оружие.

В Софию, судя по всему, ведут и нити покушения на жизнь Иоанна Павла II.

Я не претендую на то, чтобы внести полную ясность в вопрос об этом преступлении, которое в настоящее время расследуется итальянскими властями .

Али Агджа, совершивший покушение на Папу 13 мая 1981 года, заявил, что впервые план покушения обсуждался в Софии, в гостинице «София»,

где его соотечественник, турок Бекир Джеленк, предложил ему 1,7 млн. долларов за убийство Папы. Агджа опознал на фотографиях трех болгарских представителей в Риме, дававших ему инструкции по осуществлению покушения, в том числе административного директора римского представительства болгарских авиалиний Сергея Антонова.

Приговоренный в 1979 году в Турции за убийство редактора либеральной газеты, Али Агджа вскоре сумел бежать из тюрьмы. В июле-августе 1980 года он провел 50 дней в Софии, а затем, снабженный поддельными документами, путешествовал по Западной Европе, останавливаясь в лучших отелях и не стесняя себя в средствах.

Арест Сергея Антонова в ноябре 1982 года и гласные подозрения относительно участия болгарских властей в заговоре на жизнь Папы породили серьезный кризис в итальянско-болгарских отношениях, затронув также отношения Италии с СССР.

Расследование, проводимое в Италии, также показало, что весьма высока вероятность болгарского участия в европейской контрабанде наркотиков и оружия. Не исключено, что болгарское правительство поощряет транзит контрабанды через Болгарию и даже использует контрабандные операции как валютный источник. Так, на Бекира Джеленка, связавшего Агджу с болгарскими органами, и в Италии, и в Турции объявлен розыск по обвинению в крупных контрабандных операциях.

Мы не можем вынести окончательное суждение по делу о покушении на Иоанна Павла II, пока дело не рассмотрено итальянским судом. Однако европейским странам уже сейчас следовало бы извлечь политические выводы из этой истории.

Как Советский Союз манипулирует западным общественным мнением

СССР ищет всяческие пути влияния на западное общественное мнение, не пренебрегая при этом легальными возможностями, весьма широкими на Западе. У нас свободно продаются советские книги и журналы, из Москвы ведутся передачи на любых языках, дипломатические представители обращаются к нашим правительствам, советские политические, общественные, культурные деятели и журналисты выступают в нашей печати, по радио и телевидению. Они имеют полную возможность свободно заявлять, что «Першинги» — абсолютное зло, а СС-20 — оборонительная мера, что НАТО — агрессивный союз, а Организация Варшавского Договора создана в мирных целях. Они столь же свободно могут распространять у нас свои взгляды, как мы свои — ...у нас же.

Но, сверх широких легальных возможностей, советская пропаганда и дезинформация используют и многочисленные недозволенные приемы.

С середины 70-х годов, когда «разрядка» пошла на убыль, советские органы предприняли кампанию «активных мер», включающих подлоги, дезин-

формацию и всякого рода засекреченные действия. Например, по определенным адресам отправляются поддельные документы, «свидетельствующие» об агрессивных намерениях Запада или о его вмешательстве во внутренние дела других стран. Эти документы обычно приходят по почте, без обратного адреса, а анонимность источника объясняется в сопровождающем письме ссылкой на «опасность», грозящую автору подобного разоблачения.

На некоторых документах стоят подписи военных или государственных деятелей, часто — пометка «совершенно секретно». Это придает подделкам дополнительную ценность. Сфабрикованы они, в большинстве случаев, с исключительным мастерством: подписи выглядят подлинными, используется реально существующий код, с величайшей тщательностью воспроизведены мельчайшие детали подлинных официальных бумаг. Получая такие документы, локальные политические группировки или органы печати, не имея в своем распоряжении высококвалифицированных экспертов, легко попадаются на удочку.

В 1982 году в Афинах появилось такое «письмо» якобы от заместителя государственного секретаря США Уильяма Кларка американскому послу в Греции. В «письме» содержались намеки на возможный военный переворот в Греции с целью сохранения американских военных баз. Правда, греческие газеты не опубликовали это письмо, но оно широко ходило среди греческих политических деятелей, в особенности среди стоящих у власти социалистов, и нанесло ущерб отношениям между Грецией и США.

Другое «письмо» было сфабриковано от имени верховного командования НАТО. В нем говорилось о возможности приведения в боевую готовность американских ядерных сил в Европе и о желательности нанесения первыми ядерного удара по противнику. Уже после того, как поддельность документа была установлена, он был, тем не менее, опубликован в бельгийском журнале «Ньеве» и в люксембургской коммунистической газете «Цайтунг» в апреле 1982 года.

Во время Фолклендского кризиса в кругах дипломатического корпуса в Вашингтоне были распущены ложные сведения о том, что США оказывают Англии военную поддержку и собираются по окончании войны создать на Фолклендских островах военную базу для контроля над южноамериканским континентом.

Годом позже в голландской газете «Телеграф» была получена магнитофонная пленка со сфабрикованной записью «телефонного разговора» между премьер-министром Англии Маргарет Тэтчер и президентом США Рональдом Рейганом, дискредитирующего политику обоих государственных лидеров. В марте 1983 года в итальянской газете «Сетте Джорни» появилось «письмо» за подписью лидера американских профсоюзов Ирвинга Брауна, адресованное итальянскому синдикалисту Луиджи Скриччолло. Скриччолло в это время был арестован по обвинению в сотрудничестве с болгарской разведкой, а в письме говорилось о том, что ЦРУ через Скриччолло оказывало помощь «Солидарности». В том же самом месяце официальный

представитель Ганы заявил на пресс-конференции, что посольство ФРГ в Аккре составило доклад, согласно которому ЦРУ планирует свержение правительства Ганы. Посольство и правительство ФРГ опровергли эту выдумку, но читатели ганской прессы уже ознакомились с содержанием «доклада» и приняли его всерьез.

Другие подделки, всплывавшие на поверхность за последнее время, включают, например, «письмо» президента Рейгана королю Испании (ноябрь 1981) с призывом «сокрушить» тех, кто противится вступлению Испании в Европейское Экономическое Сообщество. Знаменательна также повторная публикация в Лондоне в октябре 1980 года т. н. *сверхсекретных документов американского командования в Европе*, озаглавленных «Гибель Европы». [...]

Большую роль в манипуляции западным общественным мнением играют просоветские организации. Я говорю не о той легальной и открытой поддержке, которую Советский Союз и его союзники оказывают политическим (коммунистическим и иным) партиям. Речь идет о тех случаях, когда советская помощь проводится тайно и когда политическая и особенно финансовая поддержка устанавливает советский контроль над организациями, внешне «аполитичными».

Одна из самых известных организаций такого рода — Всемирный Совет Мира. Его резиденция с 1968 года находится в Хельсинки. Вначале, однако, он был создан и размещался в Париже, но в 1951 году французское правительство запретило его пребывание на территории страны. Резиденция ВСМ была перемещена в Прагу, потом в Вену, но и австрийское правительство запретило его деятельность.

Всемирный Совет Мира имеет отделения в 135 странах, публикует журналы на многочисленных языках мира. В его исполком входят члены национальных парламентов всех десяти стран ЕЭС и два члена Европейского парламента. ВСМ декларировал себя как неправительственную организацию, существующую на средства частных фондов, но фактически его деятельность финансируется и контролируется советским правительством.

В феврале 1981 года ВСМ обратился в комиссию по неправительственным организациям ООН, требуя для себя консультативного статуса при ООН. Это требование было отклонено, так как представители ВСМ не сумели полностью показать источники его немалых доходов. Члены комиссии отметили, что ВСМ пытался скрыть большую финансовую поддержку, которую он получает из правительственных ресурсов.

Председатель ВСМ Рамеш Чандра в декабре 1976 года заявил, что разрядка не означает прекращения борьбы с империализмом, — наоборот, она означает усиление этой борьбы, но с применением новых форм. В 1977 году Чандра был награжден орденом Ленина — одной из высших правительственных наград в СССР.

Всемирный Совет Мира ни разу не отошел от линии прямого следования советской внешней политике. Эта организация всегда выступала про-

тив НАТО и никогда — против Варшавского договора. Она неизменно: во время венгерской революции (1956), кубинского кризиса (1962), вторжения в Чехословакию (1968) и в Афганистан (1979) — поддерживала советскую точку зрения.

Шпионы «в штатском»

Советские журналисты в Западной Европе занимаются не одной своей прямой деятельностью. Они не только служат советской пропаганде и дезинформируют советского читателя относительно положения дел в странах, где являются корреспондентами. Кое-кто из советских журналистов выслан из Западной Европы за незаконное вмешательство в местную политическую жизнь.

В апреле 1983 года швейцарское правительство закрыло бернское бюро АПН и выслало его директора. Двое швейцарских граждан, служащих бюро, по поручению своего начальства вмешивались в действия швейцарских пацифистов, пытаясь разжечь молодежь. АПН оказало материальную помощь при организации массовой демонстрации в Берне в декабре 1981 года. Сотрудники бернского бюро разбрасывали листовки, отпечатанные в агентстве, и даже принимали участие в военизированных тренировках демонстрантов. В июле 1982 года АПН организовало волнения во время сессии швейцарского парламента.

По заявлению швейцарского правительства, бернское бюро АПН стало активным центром тайной дезинформации и пропаганды, направляемой из Москвы. Его деятельность нарушала суверенитет Швейцарии.

С ухудшением отношений между Востоком и Западом усилились советские попытки получить доступ к информации о западных технических достижениях. Советская промышленность часто имитирует западные образцы — от фотоаппаратов «Лейка» до самолета «Конкорд». В последнее время советская промышленность пыталась компенсировать свое отставание за счет сбора информации о западных заводах, университетах и научно-исследовательских центрах. [...]

Как заявило французское МВД, контрразведка раскрыла сеть советских агентов, занимавшихся систематическим сбором секретной информации на территории Франции, особенно военной информации. По обвинению в связях с советской разведкой арестованы несколько французских граждан.

По мнению бывшего министра внутренних дел Мишеля Понятовского (интервью парижской газете «Матен»), во Франции на КГБ работает более десяти тысяч человек, часть которых даже не сознают, что стали жертвой манипуляции. Понятовский считает, что треть советского дипломатического корпуса укомплектована сотрудниками КГБ, но и они, в свою очередь, — лишь треть всего числа сотрудников КГБ во Франции: остальные служат, главным образом, в «Аэрофлоте» и в «Интуристе». Общая их численность — примерно 600, и каждый управляет группой французских агентов (созна-

тельных или бессознательных) в 15 – 20 человек... Главная цель их деятельности — дестабилизация.

* * *

В течение последних лет, когда отношения между Востоком и Западом ухудшились, резко возросла нелояльная деятельность СССР и его союзников в странах Западной Европы. Не настаивая на том, что СССР непосредственно участвует в организации террористических актов, все же нельзя пройти мимо того факта, что он, по меньшей мере, не пытается сдерживать полностью зависимых от него союзников, — например, Болгарию. Кроме того, поджигательный характер советских заявлений в поддержку «национально-освободительных» движений вдохновляет участников этих движений на террористические акты.

Заметим, что Запад никогда не разжигал и не поддерживал терроризм в странах Варшавского договора. Западные страны ведут там идеологическую и пропагандную работу. Некоторые западноевропейские круги поддерживают советских и восточноевропейских диссидентов, но диссиденты не используют насилия и не призывают к нему. И терроризм внутри стран Варшавского договора практически не существует.

Я хотел бы также обратить внимание на усиление советских «активных мер»: поддельные документы фабрикуются, в первую очередь, с целью поссорить между собой западных союзников и вызвать расширение пацифистских движений. Серьезное внимание следует обратить и на возрастание советского шпионажа в Западной Европе, главным образом, шпионажа в области новой техники и технологии.

Западная Европа должна, наконец, серьезно внушить СССР и его союзникам, что подобного рода деятельность может нанести тяжкий ущерб отношениям между Востоком и Западом и отложить возвращение к разрядке на более отдаленные времена.

1984, № 41

ВАЛЕРИЙ ВАЛЮС

Несколько переплетенных тем

Темы вполне житейские: куда податься, чем платить, к кому прислониться, как развернуться.

Для эмигрантов из СССР они (в западных вариациях) начинаются прямо с Вены, с аэропорта или какого-нибудь пансиона, где запах бульона и объявление на русском языке: «Господа, курей на кухне не варить!»

Потом оказывается, что это и есть жизнь на Западе — не вся, конечно, но, тем не менее, вполне фундаментальные ее части. Вот так, весомо и даже как бы торжественно, однако в соответствии с житейскими, названными выше: национализм, благосостояние, демократия, свобода.

Они тесно связаны между собой, и, чтобы получилась мало-мальски цельная картина, приходится браться сразу за все вместе. Я эмигрант и пишу с позиции эмигранта, приземленной или возвышенной, уж как выходит. На научность, историчность и, разумеется, полноту описания не претендую. Просто информация: об очевидном, банальном дальше некуда для эмигрантов на Западе, но я обо всем этом понятия не имел, когда выскакивал в свободный мир, — в Союзе это, мягко говоря, известно мало.

Новостями последних лет, с тех пор как эмигрировал, я здесь и ограничиваюсь. Тем самым откровенно отказываюсь постоянно сравнивать Запад с Востоком: какие здесь колбаски — какая там весна, какая здесь тоска — какой там режим, например. Я не кидаю на весы: «ехать или не ехать» — уже уехал.

Вообще-то сравнивать необходимо. И выводы делать. Я не рассчитываю, что эти описания вызовут у кого-либо «эффект присутствия», — увы, сам привык здесь как-то обходиться без этого эффекта.

Прием в страну

Часто, только приехав на Запад по израильской визе, эмигрант узнает, что существует проблема приема в страну. В СССР он познакомился с проблемой выпуска. На Западе ее нет. Но в Вене (так было раньше) или Риме (теперь) он минимум несколько месяцев живет без права на постоянное пребывание и без права на работу. Ждет, когда страна, в которую он подал

документы, разрешит ему въезд. Или не разрешит. Исключение — Израиль. Он принимает быстро и всех желающих. Почему это так, разъяснять сейчас не берусь.

Существует, правда, другая проблема — посылка вызова из Израиля в СССР. Скажем, приходит эмигрант в Вене в Сохнут, видит ящик, на котором написано «Для вызовов», достает из кармана, предположим, 20 адресов, которые ему дали знакомые (дали по секрету от окружающих, чтобы сократить нелегкое время, когда уже известно о намерении человека уехать, а визы у него еще нет). Эти адреса эмигрант каким-то образом провез через границу, например, выучив наизусть, зашифровав в записной книжке или просто так — повезло. Но перед тем, как опустить адреса в ящик, он немного медлит, сознавая, какие последствия в жизни доверившихся ему людей этот простой жест может иметь, и на всякий случай спрашивает: «Это действительно ящик для вызовов?» И знающий человек (подобные тонкости узнаются быстро, и знающих людей полно в набитом коридоре) отвечает: «Да, для вызовов. С тем же успехом вы можете опустить их в мусорную корзину. Вы хоть на еврейские фамилии хотите вызовы послать? Хотя это не важно. Ведь вы сами не в Израиль едете. Иначе вы сидели бы в сохнутовской гостинице и ждали отправки, а не толклись бы здесь». Человек все же опускает адреса в ящик, хотя с тем же успехом он мог бы опустить их в мусорную корзину.

Вызов должен, как правило, устроить через Сохнут кто-то из живущих в Израиле и, как правило, — поскольку большинство выезжающих направляются сейчас не туда, — сопроводить ложью: «Да, точно в Израиль». Советские трудности начинаются уже потом: вызовы не доходят, сбор документов, увольнение с работы, подача, отказ и т. п. Национальное и правозащитное движения в СССР, у которых одна из целей — свобода выезда, Израиль рассматривает далеко не всегда как своих союзников. Пресса в Израиле часто горячо обсуждает вопросы «отъезжанты и диссиденты», «почему люди едут мимо» и т. п.

Горячность, правда, не означает откровенности. Хотя выражений неприкрытой или слабо прикрытой ненависти к тем, кто едет мимо, сколько угодно. В СССР израильскую прессу, естественно, читать не могут. И проблема выглядит так: «Уже год как просил прислать вызов. Пять раз заказывал. Не доходят, и все. Гэбисты на почте работают». Гэбисты на почте работают, конечно. Но вовсе не исключено, что заказанные вызовы не дошли даже до них.

Проблема приема, существующая в других странах Запада, относится не только к выехавшим из СССР. Эмигранты из восточного блока имеют даже привилегии по сравнению с иностранцами других категорий: различные фонды поддерживают их, пока они ждут разрешения ехать дальше (оплачивают жилье и дают деньги на еду), в течение 2-х лет после выезда из СССР эмигранты находятся в статусе беженца из восточного блока, который существенно повышает шансы такое разрешение получить, и в случае отсут-

ствия работы их не высылают обратно в СССР, а оказывают им социальную помощь (в тех странах, где она есть)[1].

Какие учреждения участвуют в выдаче разрешения на въезд и какими признаками они руководствуются, эмигранты толком не знают. Важные признаки: профессия и национальность.

(Если бы знать, с какой профессией в какую страну берут, можно было бы подготовиться заранее. А если их у человека несколько, то какую указать? Главное — указать профессию, с которой принимают, или не указать ту, с которой не принимают. Страны ведь не одинаковые, не совсем все равно, в какую ехать. Помните географию? Климаты в них отличаются. История тоже, языки бывают разные. В одной уже живут ваши друзья, в другой нет никого. И как угадать, в какой стране какое ждет будущее? Решаете не только вы, но и за вас при неизвестной конъюнктуре.)

Национальность в данной ситуации — это наличие у человека крови гражданина страны, в которую он направляется, и страна, из которой он приехал. Если из СССР — неважно, еврей вы или литовец, — статус один (фонды могут быть разные); докажете, скажем, что у вас есть немецкая кровь, — путь в Германию открыт. В Германию можно попасть из Австрии, нелегально перейдя границу . Если у вас нет других документов, кроме визы в Израиль, то обратно в Вену не отправят. Нелегально перешедшим границу даже легче получить право на пребывание в Германии, чем человеку, получившему австрийский документ и приехавшему в Германию по приглашению. Эта благодатная несогласованность закона: границу переходить запрещено, обратно не высылают — давняя традиция.

Национальность, как страна, из которой вы приехали, также важна. Это касается и эмигрантов из СССР. Довольно многие, приехав в Израиль, не прижились там и хотят уехать. Выехать, как правило, удается, например, туристом. Настоящая проблема — получить право на пребывание в другой стране и на работу. (Приобретено гражданство Израиля, и статус беженца автоматически потерян.) Если вы не знаменитый профессор или незаменимый специалист в вашей узкой области и вас не ждет работа, так называемый *гарант*, а вы обычный человек, то эта проблема, как правило, неразрешимая.

Израильтяне, желающие уехать в другую страну, часто с тоской рассказывают о тайном сговоре правительства Израиля с правительствами других стран, чтобы людей с израильскими паспортами на работу не брали. Ничего конкретного они, правда, о сговоре не знают. Я думаю, что какого-либо особого сговора просто не существует. Если и есть тут что-то особое в отношении израильтян, так это, главным образом, их неинформированность о западных порядках. Израильтяне просто оказываются в статусе любого

---

[1] Те же права имеют, согласно Международной конвенции 1951 г., политические беженцы из всех стран мира. Особого статуса «беженца из восточного блока» не существует. — *Прим.ред. — 1983.*

европейца. Немцы, например, довольно много ездят. Все мои немецкие знакомые, пожившие несколько месяцев или даже лет в Греции, Индии или США, рассказывали, что требовалось продлевать туристическую визу, что это не всегда просто формальность, а если они и работали там, то «налево», «по-черному», без права на работу. Или это была обычная последовательность: сначала поиск работы, «гаранта», потом поездка. До тех пор, пока длилась работа.

Я рассказал как-то своей здешней знакомой, что в Москве ради получения московской прописки, так сказать, нетуристического права на пребывание в столице, люди устраиваются на лимитную, пусть даже не соответствующую их склонностям и способностям работу или женятся по расчету, фиктивно или даже реально. Она удивилась: «Я думала, это только у нас бывает».

Национализм Европы был для меня шоком. До эмиграции отношение к национализму было у меня простым и отрицательным: или это зло, причем временами активное, или — невежество, узость взглядов, косность. Это отношение сформировалось в детстве: мальчишкой случалось драться. Когда драки сопровождаются антисемитской руганью, то вырабатывается просто павловский рефлекс: антисемитизм — проявление зла. Поскольку драки частенько были нечестные — один против нескольких, то добавляется новое свойство: зло — это не только больно, но и несправедливо. Я не думаю, что требуется особая интеллектуальная изощренность, чтобы признать, что антисемитизм не есть нечто абсолютно исключительное, что другие виды национальной вражды не лучше.

Этим, в общем-то, исчерпывалось мое отношение к национальному вопросу. Я прожил бы с ним, наверное, до конца дней. Но эмиграция заставила взглянуть на национализм с новых сторон. Непосредственное знакомство в «центре цивилизации» с государственным, бюрократизированным национализмом не потребовало изменения отношения к национализму. При знакомстве, услышав с первых слов, что немецким я владею далеко не в совершенстве, собеседник практически всегда задает серию вопросов: «Из какой вы страны? Как выехали? Были ли в Израиле?» Расценивать эти вопросы можно по-разному. Например, что для европейцев важно идентифицировать человека по национальному признаку (что в общем-то верно), или как искренний интерес к моей судьбе, или как поиск общей темы разговора. Но это происходит так часто, что каждый раз внутренне подтягиваешься, как в СССР при аналогичном, хотя бы даже и вежливом вопросе: «А вы, простите, какой национальности?»

Попав на Запад, где другой ландшафт, климат, другие леса, реки, другая архитектура городов и деревень, другие законы, деньги, привычки, воспитание, язык, даже внешний облик людей, я остро ощутил себя русским. Наверное, впервые. Существует наследие неотъемлемое, и часть его можно назвать национальным. Оно в его языке, привычках, строе мыслей, памяти.

В Германии часто приходится слышать сожаление о «потерянной национальной идентичности немцев». Это немцы говорят о самих себе. Звучит не

слишком понятно, а объяснения и того туманнее, в случаях, когда не сводятся к безоглядному обвинению американцев во всех недостатках Германии.

Американцев ругают часто, по поводу и без, такие здесь обычаи, обосновано, нет ли — не знаю. «Потерянная национальная идентичность» означает не потерю, а малую привлекательность, в частности, для самих немцев представлений о них. Ни французы, к примеру, ни англичане, ни даже жители маленького Люксембурга о потерянной национальной «идентичности» не говорят. Недоуменно спрашивают: «А что это такое?» [...]

Как бы ни обстояло сейчас дело с фашизмом, считать его частью национального наследия немцев или нет, считать его уничтоженным, или тлеющим и ждущим своего часа, — он был попыткой радикальным образом утвердить немцев привилегированной нацией. А системы привилегий, как правило, сложные, существовали испокон веков и существуют ныне повсеместно. Некоторые привилегии естественны и справедливы, другие — не очень или совсем ни естественны, ни справедливы. Язык, например, — естественная национальная привилегия. Незнание или плохое знание языка резко ограничивают возможности. Привилегии, которые дает человеку хорошее владение языком, приобрести взрослому эмигранту довольно сложно: нужно много работать — учить его. Но есть привилегии, добиться которых и воспользоваться которыми, казалось бы, намного проще. Например, деньги.

Что такое шиллинг?

Высокий уровень жизни на Западе общеизвестен. Изобилие продуктов и товаров, причем по доступным, в общем-то, ценам, поражает, а иногда даже подавляет. И, тем не менее, эмигрантов тут ждут ошарашивающие неожиданности: острая нехватка денег и утекание их сквозь пальцы, намного более непонятные, чем в СССР.

Зная, что такое шиллинг, вы примерно знаете, что такое марка, франк, доллар или фунт. Но, зная, что такое рубль, вы не знаете, что такое шиллинг, марка и т. п. Система цен здесь совсем иная. Значительная часть разговоров в эмигрантских гостиницах и пансионах в Вене — о деньгах. Вплоть до недоумения: кого же выпускают из Союза, как мельчают люди, попав на Запад, — они оставили там все, а здесь со страстью обсуждают гроши. Но, что такое шиллинг, долгое время действительно непонятно, а знать необходимо, просто чтобы выжить.

Прикинем, какие представления о заработке на Западе может иметь человек в СССР. Возьмем умеренный заработок. Например, чернорабочим в фирме, где я работал, я получал 1400 марок в месяц, чистыми, после вычитания налогов, страховок, всего, что здесь положено. Официальный курс, скажем: 1 марка равна 30 копейкам. Множим, получаем 420 рублей в месяц. Цифра впечатляет, особенно человека, который, как я, получал в СССР 150 рублей в месяц. А ведь я не был там бедным. Но это официальный курс:

надо полагать, советское государство себя не обижает, меняя туристам деньги. Какова же в рублях реальная стоимость предметов, которые привозят с Запада? Курс «черного рынка»: 1 марка — от 2 до 3 рублей. Умножаем и получаем месячную зарплату чернорабочего минимум 2800 рублей. Дай Бог каждому так жить.

Дело в том, что этот расчет неверен. Точнее, он верен в случаях валютных операций: для фирм, торгующих с Советским Союзом, для туристов, привозящих в Союз барахлишко. Приблизительно верен для иностранных рабочих, зарабатывающих деньги в одной стране, а расходующих в другой. Но для жителей Германии или Австрии, так же, как для эмигрантов, приехавших в эти страны жить, расчет неверен. [...] Дело в том, что на Западе до тысячи марок на человека в месяц уходит без излишков на оплату жилья, еды, телефона, почты и самых необходимых перевозок или поездок. (Пересчитайте по курсу «черного рынка»!) Это обычный эмигрантский уровень, который надолго. Ниже спускаться можно, но это означает, что кто-то (организация или человек) дал вам бесплатный кров или бесплатно кормит и поит, а фактически уровень существования остался прежним, — сравнивая с СССР, где-то около 150 рублей в месяц. Со всеми оговорками, что куры тут дешевле трески, а апельсины дешевле картошки, или, выражая то же самое иначе, треска дороже кур, а картошка дороже апельсинов, и что все тут есть, и без очереди, и свежее, и красивое, но, с другой стороны, нет возможности где-то постоять и взять намного дешевле, пусть и не так красиво вымытое, а жилье тут стоит — не только платить, думать об этом обидно, и билет на трамвай — 2 марки и т. д., на эмигрантском уровне 1 марка равна 15-ти копейкам от силы.

У марок, которые сверх тысячи в месяц, эквивалент совсем другой, — скажем, рубль: автомобили, туристические поездки, цветные телевизоры, прочая электроника, одежда, обувь и т. п. здесь дешевы, а если покупать те предметы, которые туристы возят в Союз, то и того больше. Потому их туристы и возят.

Но рано или поздно и эмигранты выходят обычно на некоторый западный уровень жизни, который выше, чем в СССР. И убеждаются в том, что жить, как ни странно, туго. Объяснить, почему это так, тем, кто остался в СССР, невозможно. Вот он пишет на родину: купил подержанный автомобиль («Ну, разбогател фантастически!»). С интервалом в месяц совсем неожиданно: неделю не мог отправить писем, не было денег на почтовые марки; или: надо менять жилье, нечем платить («Так он нищенствует!»). Съездил в Париж — «шикарно живет». Не смог позвонить, поздравить с праздником, долги, понимаете, — «неужели деньги так испортили человека, ведь раньше он не был скупым, неужели так может измениться характер?»

И, я думаю, каждому эмигранту временами приходит в голову мысль: «Может быть, характер действительно изменился?» Он сознает, что через его руки проходят огромные в пересчете на рубли деньги, а живет он, тем не менее, трудно. В письмах в Россию он может объяснить, что автомобиль, мол, — это на самом деле не автомобиль, а последние штаны, просто они так выглядят — с колесами, мотором, мягкими сидениями, — если их не будет,

то останется голым, на работу не на чем будет доехать (в США это часто действительно так), или без машины просто уволят, никуда успевать не будет. [...]

Нынешние эмигранты из СССР не сидят на чемоданах в ожидании, что там изменится режим и они вернутся, как ожидали эмигранты в прошлом. Возможности материально помочь оставшимся в России узкие, ну, можно послать джинсы со знакомым туристом, ну, две пары, ну, десять, это уже где-то на пределе пропускной способности «каналов». И такая помощь рискованна для тех, кому предназначена. Да и сами эмигранты уехали не для того, чтобы как можно больше вещей посылать в Россию. Если бы их так заботило только материальное благополучие оставшихся близких, то, наверное, проще было бы не уезжать навсегда. Виделись бы, по крайней мере.

Торговлю с Советским Союзом без всякого страха быть посаженными вполне официально и широко ведут западные фирмы.

Давным-давно, как повествует сказка «1001 ночи», приехал купец на остров, где не было кошек и было много мышей. Он очень выгодно продал корабельную кошку. С той кошки дела у него пошли в гору. И Миклухо-Маклай, когда поплыл в Полинезию, взял с собой много стеклянных бус и железных топоров. Для обмена на бананы и для завязывания дружеских отношений...

Я часто слышал мнение, что «высокоразвитым» странам Запада выгоднее торговать со странами подобными им, чем со «слаборазвитыми». И при этом выгоднее, если в стране демократический режим, а не диктатура. Иногда ошарашивали сообщением, вроде: «*Экономисты подсчитали, что американским рабочим невыгодно, когда где-то есть несвобода*» . Я не знаю, что считали эти экономисты и каким образом из их расчетов выпала история колониализма. И работорговля, например. Наверняка некоторые фирмы не могут торговать со слаборазвитыми странами: тем не нужны сложные машины или нечем платить за них. Но зато другие фирмы могут дешево купить кусок земли на берегу океана и построить отель; или использовать дешевый труд местных рабочих, привезя свое оборудование. Невыгодно может быть также банкам, когда страна не в состоянии выплачивать проценты по предоставленным кредитам. Но это уже перекос, финансовый просчет. Сами кредиты банки предоставляли из вполне экономических соображений. Пусть даже товарооборот небольшой, но кто же из экономических соображений откажется с небольшими деньгами, вложенными в дело, получать большие доходы просто из-за разницы в системах цен? А на тот случай, если разница в ценах вызвана и поддерживается тоталитарным режимом, существуют соглашения о невмешательстве во внутренние дела.

Советский Союз и развит не слабо, и цены там совсем другие, чем на Западе, так что торговать с ним как можно шире заинтересовано очень много фирм. [...]

Связь между торговлей с СССР и ростом советской военной мощи не обсуждается. Невозможно представить, что эта связь неизвестна. На протяжении многих лет она определяла отношения с СССР — в период «холодной войны». Но в средствах действительно *массовой* информации на эту

тему полное молчание. В телевизионных интервью с ведущими политиками всех крупных партий — ни звука. Как будто существуют запретные темы, провалы в общественном сознании, цензура средств массовой информации. Я не знаю механизмов этого явления, Главлита ведь здесь нет, — может быть, это финансовая заинтересованность, конъюнктура, интрига, круговая порука, борьба за место под солнцем. Но что в средствах массовой информации освещается борьба далеко не. всех идей — это точно.

В малотиражных изданиях обсуждают иногда связь торговли с СССР и гонки вооружений, называют какую-нибудь фирму, продавшую СССР что-нибудь уж совсем военное. Или кто-нибудь из известных диссидентов из Союза скажет вдруг во всеуслышание бестактность в адрес Запада. В обыденных разговорах случается услышать: «Мы продаем им детские игрушки, а они делают из них ракеты». Более сведущие люди, скажем, переводчики на русский (подавляющее большинство переводов — технические), знают, что эти игрушки — современные станки и машины, поточные линии, иногда целые заводы, к которым вполне подходит термин «стратегическое оборудование». Конкуренция среди переводчиков огромная. Среди фирм, видимо, не меньшая. Платят хорошо. [...]

Осуждают торговлю Запада с СССР единицы. Запад, со всевозможными страховками, интенсивным рабочим временем, пресыщенностью любым шумом, привычкой к абстрактной игре словами, скукой и огромным рынком удовольствий, оставляет без ответа их моральные суждения и предсказания конца света. Политикой здесь, конечно, интересуются, но главным образом — отношениями между партиями внутри страны.

Местная экзотика

Где здесь «лево», а где «право», эмигранту приходится учиться. Не то что бы это определяло отношения с людьми или выбор друзей. Слава Богу, это не так. Но знаменитая местная экзотика — демократия, в которой есть «левые» и «правые» силы, интересна и не всегда понятна.

По смыслу демократия — «народовластие». Западная Европа не оставляет в этом сомнений. С тем, что нужно подавляющему большинству, дело обстоит поразительно хорошо. (Как же они «умеют жить»! Есть, пить, одеваться, раздеваться, обставлять жилье, подстригать газоны, ездить на машинах, растить розы, кататься на горных лыжах, играть в теннис, лежать на пляже, фотографироваться у памятников и так далее без конца. И застрахованы со всех сторон как только можно.) Приоритет общечеловеческих — банальных — потребностей очевиден. Но есть в жизни проблемы, по которым мнения у людей заметным образом разделяются. Пусть таких проблем — десять. Я перечислю, к примеру, чтобы убедиться, что их больше: 1) оборона; 2) налоги; 3) капиталовложения; 4) социальное обеспечение; 5) жилье; 6) энергетические ресурсы; 7) профсоюзное движение; 8) рабочая сила; 9) защита окружающей среды; 10) общественный порядок; 11) иностранцы;

12) военная или экономическая помощь... Пусть по каждой проблеме возможны только два мнения: да, нет. Скажем, вооружаться — разоружаться, повышать налоги или снижать, и т. д. На самом деле даже по одной проблеме мнений добрая сотня, они распадаются на множество конкретных вопросов, но возьмем по минимуму — два мнения. Итого различных отношений к десяти проблемам $2^{10} = 1024$. А конкурентоспособных партий четыре. Причем каждая из них определила в общих чертах свою позицию по каждой из проблем, иначе как бы партия могла претендовать на лидерство. Я бы не был так занудно дотошен с этой арифметикой, если бы не встречал здесь часто людей, уверенных, что разнообразие возможных мнений совпадает с разнообразием партий или близко к нему. (Да и сам, когда приехал, предполагал подобное.)

На самом деле, выбор партии, пусть даже только при голосовании, производится по одной, от силы двум проблемам (об остальных восьми и более в такой ситуации нужно не думать, иначе ничего не выберете), и они превращаются в опознавательные знаки, «партийные пароли», как их тут называют: с нами или нет. Не нравится — оставайтесь сами по себе, ищите свою компанию, двое-трое друзей, вряд ли найдете больше. Будете горячиться, убеждать собеседника, — ведь мнения существуют не только для того, чтобы ими обмениваться в легкой беседе, — сочтет за настырность, отойдет в сторону, оставит одного.

В «левых» эмигрантов — ну, скажем, меня — многое привлекает. Среди них попадаются общительные люди, можно увидеть красивые оживленные лица. Сознательное противостояние обществу потребления не только высвобождает время, но и определяет их быт, часто они действительно бедны. Нелюбовь к полицейским, чиновникам, бизнесменам, политикам, военным довольно точно описывается выражением «не любят начальства». Для эмигранта из СССР ничего удивительного или сомнительного в такой нелюбви нет. Сомнителен скорее человек, который начальство любит. Даже презрение к американцам в этом плане понятнее. Американцы в Германии — часто начальство. Убеждение, что крупные предприятия и учреждения в своей работе дают «побочные», не контролируемые эффекты, противоречащие смыслу их собственной деятельности и опасные, на мой взгляд, просто верно. [...]

Но вот разговор заходит о Советском Союзе и — как будто в лицо вам выплевывают разжеванную в комки передовицу «Правды». И даже если слышите резкую критику в адрес Советского Союза, не спешите с выводами. Через пять минут может выясниться, что ваш собеседник — маоист, или он начнет объяснять, вычерчивая на салфетке схемы, что коммунизм — светлая, незамутненная идея, еще не осуществленная. Многие мероприятия «левых», например, многочисленные демонстрации с самыми разными требованиями, производят впечатление спланированных с оглядкой на Советский Союз. В его пользу. Но не все. Какая, например, выгода для СССР в том, что «левые» захватывают пустующую жилплощадь? Или участвуют в колоссальных демонстрациях велосипедистов против засилия на дорогах

автотранспорта? А оккупацию Чехословакии или ввод военного положения в Польше они осуждают почти все.

Я редко встречал эмигрантов из СССР, которые стали «левыми». А когда эмигрант становится «правым», то это заметно и тоже странновато. Например, писатель-эмигрант сетует в своей книге на забастовки в Париже. И притом наверняка сочувствует польской «Солидарности». Как он совмещает два отношения к забастовочному движению, я не знаю. Наверное, в одних случаях руководствуется идейными соображениями, а в других житейскими. Или другой писатель критикует социальное обеспечение Запада: мол, плодит оно паразитов. Видимо, он не бывал в СССР без работы, не боялся наказания за «тунеядство», и в эмиграции, наверное, сложилось удачно, обошелся без социальной помощи и пособия по безработице...

Среди «левых» бытует твердая уверенность, что «правые» хотят очистить Германию от иностранцев. Я не берусь сейчас судить о том, в какой мере интернационализм «левых» и национализм «правых» являются убеждениями и в какой — «партийными паролями», просто так, за компанию. Но что лозунг «Германию — немцам» — из арсенала «правых», видимо, верно. И сколь бы «правых» убеждений ни придерживался эмигрант, трудно ожидать, что он разделяет и это мнение.

Специфически «правое» недовольство эмигрантами, оседающими в Германии, может быть, связано с вопросом о социальном обеспечении. Наверное, по статистике выходит, что эмигранты чаще прочих пользуются социальной помощью: все же иностранцы, непривычные, и приезжают на новое место заметно налегке. Сам я, к примеру, такую статистику никак не улучшаю. [...]

Трудно представить более смирный простой рабочий класс, чем иностранцы. Они и рабочим местом дорожат больше прочих (от него зависит пребывание в стране), и возможностей «качать права» у них меньше: плохое знание языка, законов, всяких «ходов-выходов». В контрабанде тоже нет необходимости. Иностранный рабочий едет на родину, меняет заработанные деньги в банке и получает в обмен денег намного больше, чем если бы он ту же работу выполнял дома. Может быть, в этом дело? Может быть, раздражают «правых» иностранные рабочие именно тем, что смеют жить бедно, копят деньги, а тратят их в своей настоящей жизни на родине, где другие цены. Фактически они конкуренты в международной торговле. Много их, много миллионов маленьких конкурентов, которые сами используют разницы в ценах и тем их выравнивают, сбивают при этом товарообмен по безналичному расчету тоже, не ведая того.

Занятый свободный Запад

До сих пор я старался писать о многих, а сейчас хочу рассказать о некоторых и даже очень редко встречающихся людях, о людях с идеями. Точнее, о ситуации, в которой они оказываются. Когда-то, в моей прежней жизни,

случилось мне беседовать с соседом, писателем Абрамом Рувимовичем Палеем. Книги у него издавались со странной закономерностью — раз в 25 лет. Ко времени наших бесед издавали его в Союзе уже трижды. И однажды он рассказал, что в молодости жил в Берлине, снимал меблированную комнату. Он писал тогда стихи и даже издал сборник. Абрам Рувимович подошел к шкафу со стеклянными дверцами, взял из стопки одинаковых тонких книжечек одну и подарил мне. «Юношеские, конечно, стихи, — сказал он, — но, понимаете, я просто пошел в типографию и заказал. Никаких проблем». Я его понимал. Но сейчас отмечаю ускользнувшие от меня тогда детали: книгу он издал на свои деньги, тираж, естественно, был маленький, более полвека спустя у него оставались экземпляры: читателя не было, издание, разумеется, не окупилось. Как много, оказывается, я знал о Западе еще в России, но не думал, не обращал внимания, не верил.

Не в том дело, что стихи юношеские и, может, ничего иного не заслуживают. А в том, что в жизни каждого художника подобных примеров много: вынужденная локальность действия, отсутствие зрителя, нерентабельность — этим они мечены. Особенно если идея сильная, глубокая, еще и прозрачная — понятная с первого взгляда во всем охвате и глубине, — она же задевает многих, не дай Бог, подвинуться попросят.

Профессионалы, от которых зависит успех, очень быстро схватив суть и взвесив шансы собственного выигрыша и проигрыша, превращаются, как правило, во врагов: вежливых, занятых, «незаинтересованных» лиц.

Признание и свобода — разные понятия. Если в Советском Союзе идея художника не признается, потому что там нет свободы, то это вовсе не означает, что на свободном Западе его идею допустят за версту к тому месту, которого она заслуживает. Нету на свободе свободных мест, заняты места и загорожены. Свобода здесь, в первую очередь, означает безопасность. Разница с СССР действительно разительна. Если же в таком виде свобода кажется вам скучноватой, то можете добирать острые ощущения мотоспортом или альпинизмом в самых что ни на есть настоящих Альпах. Чем-нибудь, что тут принято.

Запросы широкой публики — уже давно и наука, и индустрия. Посредничество — широко распространенная и часто высококвалифицированная профессия, защищенная от посяганий непричастных. Пропускная способность человеческого восприятия изучается и загружается как только можно. Человека убеждают в важности его выбора. Вот он листает рекламные проспекты и размышляет: этот шкаф или тот, нужен ли вообще, вроде пора сменить машину. Продолжать ли жить с Христианой или уйти к Барбаре. Поехать осенью в Индию или лучше в Скандинавию. Или тоньше: какую пластинку я хочу сейчас слушать, в какой бокал налить вино, зажечь две свечи или три, испытываю я сейчас к Бригитте нежность или злобу, пожалуй, злобу, надо пойти в дискотеку, до четырех утра, как в прошлый раз, в танце моя агрессивность находит выход. Или еще тоньше: чего же я хочу? Но это уже перехлест, «сверхмодерн». Тут и изучать почти нечего, и предлагать трудно.

Недавно я посмотрел два фильма, так получилось, что оба об актерах. Один о женщине, которая сначала мыкалась без работы, а потом переоделась мужчиной и добилась признания. Другой о мужчине, тоже мыкался, потом переоделся женщиной и тоже добился успеха. Но не всякий художник готов в поиске зрителей налеплять своей идее женские груди или навешивать мужской член. А если даже готов — дошел до последнего, то просто не может: или идея не выдерживает украшений, перестает быть самой собой, или делает он это слишком неумело, где ему соревноваться, не его специальность.

На этом закончу — так, несколько переплетенных тем: о национализме, о деньгах, о западной свободе и совсем немного о тоске, даже не по родине, а просто. Впрочем, мне везло: встречал художников.

1983, № 37

ЗДИСЛАВ РУРАЖ

Откровенно говоря

Дальнейший ход событий в мире зависит, прежде всего, от внутренней и внешней политики СССР, или, вернее, советской России.

Многие, в том числе поляки, подают советской России некоторые советы. Большинство их сводится к тому, чтобы советская Россия вступила на путь демократии, освободила нерусские нации СССР и вообще стала какой-то страной с особыми чертами: ни европейской, ни азиатской, ни восточной, ни западной, но миролюбиво сосуществующей со всеми остальными странами.

Действительность не поддается советам такого рода. Нравится это кому или не нравится, а советская Россия оказалась в очень сложном положении, простого выхода из которого не видно. Потому и советы ей не так просты.

Сегодняшний мир, формально говоря, разделен на «капиталистический Запад» и «социалистический Восток», на «бедный Юг» и «богатый Север», на «иудео-христианскую» цивилизацию и все другие типы цивилизаций. Это всё правда, но не вся правда. Даже не первоочередная правда. Мир разделен еще и на расы. Опыт Второй мировой войны, казалось, снял этот вопрос с повестки дня. Но вряд ли это так.

Говорить о расах далеко не всегда означает склоняться к расизму или нацизму. Но нельзя не говорить об этом, хотя вопрос и стал щекотливым.

Как известно, до Второй мировой войны «белые» царили во всем мире, за исключением Японии. Все остальные не имели почти никакого веса. После войны картина коренным образом изменилась. Правда, «белые» все еще занимают ведущее место во многих сферах жизни, но их влияние в мире резко понизилось и продолжает понижаться. В зависимости от методов исчисления, «настоящие белые» — это Западная и Восточная Европа, бóльшая часть Северной Америки, СССР, Австралии, Новой Зеландии, Израиля, меньшинство в ЮАР и частично латиноамериканские страны (главным образом, Аргентина и Чили). Все остальные либо прямо не принадлежат к этой группе, либо могут быть к ней отнесены с большими сомнениями. Это значит, что примерно каждый четвертый в мире человек — «белый». Если даже «белых» и больше, то многие из них сами себя таковыми не признают, считая себя теми или иными «цветными» и даже преследуя при этом какие-то цели.

Исторически получилось, что Россия, как ни одна другая страна, включила в себя не только много разных народов, но особенно много азиатов и, с территориальной точки зрения, сама стала величайшей страной Азии, сохраняя свое первое место по населению и территории в Европе. Это обстоятельство отличает Россию от всех остальных «белых» стран. Уйти из Азии она не может. [...]

Все подсказывает, что где-то в будущем Азия начнет двигаться по направлению к Европе — ясно, что через Россию. Правду говоря, советское руководство поступило глупо, вводя войска в Афганистан: это, возможно, является началом войны советской России с Азией, чего ни она и никто другой пока не понимает.

Но и это не все. У России существуют трудности и с ее присутствием в Азии: она не может освоить и заселить Сибирь, снабдить водой Среднюю Азию, а одновременно нарастают проблемы с ее азиатским населением.

Надо ясно сказать, что, если Россия уйдет из Азии, Азия придет в Европу, — скорее всего, это будет Китай.

Советская Россия, как любая другая Россия, боится этого. Я, поляк, не радуюсь тому, что она боится, — и даже не из каких-то симпатий, а потому, что в безнадежном положении она пойдет на войну, в результате которой проиграют все.

Но как все это будет развиваться — зависит от самой России, в настоящее время от советской России.

Все «белые» взяли от Азии много — и хорошего, и плохого. Россия, по известным причинам, взяла больше всего (включая Сталина и Берию). Из этого еще не следует делать вывод, что если Россия запуталась в своих бедах, то пускай запутывается до конца.

К сожалению, советская Россия все сделала, чтобы из своего чрезвычайного и опасного положения извлечь ошибочные выводы — особенно после Второй мировой войны. Вместо того, чтобы укреплять свои позиции в Азии, она поступила ровно наоборот: помогла построить коммунистический Китай, самую серьезную угрозу для себя; из-за нескольких островков испортила отношения с Японией; теперь увязла в Афганистане, а кроме того, приветствовала антизападные позиции Ирана и некоторых арабских стран.

Но хуже всего то, что свои ограниченные средства она пустила не на развитие своей Азии, а на гонку вооружений и другие международные авантюры. В результате, она испортила свои отношения с Западом, не говоря о Восточной Европе, и тем лишилась капиталов, техники, специалистов и даже рабочих (до революции многие поляки ехали в Сибирь работать на железной дороге, привлеченные высокими зарплатами).

Что касается Запада, а также и Японии, то они коренным образом заинтересованы и в том, чтобы сохранялось присутствие России в Азии, и в том, чтобы они участвовали в развитии русской Азии, где, в конце концов, лежит будущее России, а может быть, и большинства «белых». Но чтобы Россия могла воспользоваться этой заинтересованностью, ей следовало бы

решительно изменить свою политику, внутреннюю и внешнюю. Это еще не значит, что она сразу станет демократией или «Западом», но она без труда могла бы с ними сблизиться.

Как известно, у Запада к России нет никаких территориальных претензий. Япония желает лишь возвращения островов — это не слишком острый вопрос. Восточной Европе тоже не следует иметь никаких претензий — решен должен быть лишь вопрос о балтийских странах, притом мирным путем. В такой обстановке советская Россия ничем не рисковала бы, сразу приняв предложения Запада или даже односторонне сделав шаги, которые убедили бы Запад в ее доброй воле.

С этого все могло бы начаться. Нет смысла обсуждать, «принимать» Россию в Европу или нет: «Европы» как таковой не будет без России или против России. Кроме того, Европа движется под уклон, и затормозить этот процесс могут лишь какие-то новые перспективы. Неоколониализм, по разным причинам, уже не вернется. Но открытие Россией «пути на Восток», в Сибирь, может вдохнуть энтузиазм в «дряхлую Европу», а России принести пользу.

Во всем этом, вероятно, не было бы необходимости, если бы в России не победила большевистская революция. Не погибли бы десятки миллионов людей, и освоение Сибири выглядело бы совсем иначе. Иностранные капиталы шли бы волной в Россию и ее Азию. Нормальные межчеловеческие отношения привлекли бы туда миллионы трудолюбивых людей из Европы, как ранее привлекли их в Америку.

Но этого не произошло, и теперь ни советская, ни любая другая Россия уже не нагонит потерянного времени иным способом, чем как это предложено выше.

России не следует стыдиться сказать, что она боится Азии. Это можно понять. Более того, ей надо помочь: это лежит в интересах всех европейцев. Несмотря на все возможные доводы против, Россия принадлежит к христианской цивилизации, или попросту к «белой» части человечества. Если она временно сошла с пути этой цивилизации, надо помочь ей вернуться.

Но зависит все это от самой России. К сожалению, пока она идет по пути самоубийства (которое, к тому же, может сопровождаться всеобщим убийством). Она не только испортила свои отношения с Западом, но и толкнула его на военное сотрудничество с Китаем и другими азиатскими странами, которые в будущем могут столкнуться с Россией или уже сталкиваются.

Возвращаясь к вопросу о «расизме», признать его как существующее обстоятельство, вероятно, было бы менее стыдно для России, чем верить в «научный социализм». Опасаться ли, что такое признание вызовет враждебные чувства в некоторых азиатских странах? Возможно, и вызовет, но СССР там и так вызывает те же самые чувства, даже со стороны «социалистических» стран. Напряженность в советско-китайских отношениях, даже временно смягченная, имеет не идеологическую, а расовую основу, и это надо откровенно сказать.

В заключение хотелось бы сказать еще одну вещь.

Русский народ, даже без украинцев и белорусов, — самый большой народ Европы и второй по величине после США «белый» народ. А вместе с украинцами и белорусами это самый большой «белый» народ. По территории Россия является самой большой страной мира.

Если бы, по каким-то причинам, такой народ пал, возникло бы «безвоздушное пространство», ощутимое для всех, — прежде всего, для «белых». Когда куда меньшая Польша пала в конце XVIII века, она создала такой же «вакуум» в Европе. Этим воспользовались три другие страны, и дело кончилось двумя мировыми войнами. В большем масштабе это может повториться в случае падения России.

А не может ли так получиться, что Россия в любом случае выдержит соревнование со всеми? Нет, не выдержит — ни вне страны, ни внутри. И отнюдь не будет для нее унижением, если, исходя из соотношения сил, она отвергнет нынешнюю политику и идеологию и начнет незамедлительно искать иной выход. Она не нашла этого выхода, став первой в мире военной силой. Этим ничего не решилось и не решится (если отбросить возможность уничтожения человечества). Теперь единственной целью должна бы стать «погоня за потерянным временем».

Завтрашний мир будет не миром соревнования идеологий или религий, но миром соревнования рас. Это вовсе не значит, что оно приведет к какому-то расизму нацистского типа, но нет сомнения, что все расы будут стремиться сохранить то, что имеют, а нередко и попытаются получить то, что другие по тем или иным причинам упустят. Мир — в недалеком будущем шесть миллиардов человек — даже при соблюдении всех «правил цивилизованного поведения» будет миром не для слабых и глупых, пожалуй, даже больше, чем в прошлом. «Белые» больше всех ответственны за будущее мира, и пора им отказаться от всех своих дурных взаимных противоречий, иногда просто выдуманных.

Откровенно говоря, России здесь принадлежит самое важное слово. Ее величие может быть продемонстрировано именно путем осуществления вышеназванных предложений. Множество таких, как я, присоединится к этому — на нашу общую пользу.

Но если Россия пренебрежет этой возможностью, мы проиграем все. Как те 22 цивилизации, которые уже проиграли в ходе истории. Только теперь проигрыш будет много хуже: вместе с этой цивилизацией мы можем проиграть всё.

1985, № 44

АДАМ МИХНИК

Пушкин и русские глазами польского писателя

Виктор Ворошильский преподнес нам королевский подарок — книгу «Кто убил Пушкина», биографию самого знаменитого русского поэта, написанную с точки зрения сегодняшнего дня и Польши. Для многих, — как ни парадоксально, — это будет первая встреча с великим поэтом, отвращение к которому привила школьная зубрежка; и, во всяком случае, для каждого это станет новым открытием Пушкина.

Книга Ворошильского написана десять лет тому назад. Сначала издательство потребовало переменить название. Друзья автора считали, что такое странное требование вызвано уверенностью издателя в том, что Пушкина убил... КГБ. Но книга тогда не увидела света. «Нецензурными» оказались как Пушкин, так и Ворошильский. Выйди книга тогда — она оказалась бы прекрасным историческим повествованием. Сегодня же эта книга поразительно современна — пощечина автора нынешним доносчикам, цензорам и сыщикам.

Эту книгу читаешь, как детективный роман, хотя она соединяет содержательное повествование об увлекательных событиях с весомым уроком прочтения пушкинской поэзии. Так именно и нужно писать о жизни великих писателей, но так великолепно, как Ворошильский, немногие способны написать.

Любая биография, чтобы не превратиться попросту в скучную опись хронологических событий, должна строиться вокруг каких-то избранных путеводных нитей. В этом случае выбор подчеркнут в самом заглавии: «Кто убил Пушкина». Ответу на этот вопрос подчинено все целое.

Автор подверг биографию своего героя специфическому дроблению по темам. Отдельные главы книги — не просто рассказы об очередных этапах биографии Пушкина. «Происхождение», «Учителя», «Царское Село», «Движение», «Клетка» — это еще и описания цепочек событий, которые формировали психологию поэта в течение всей жизни. Хронологический порядок подчинен порядку тематическому. Такая структура делает книгу очень ясной и необыкновенно интересной; том более чем в 500 страниц читается одним духом. А когда кончаешь, жаль расставаться с Пушкиным. И хотелось бы знать больше: к примеру, о «Гавриилиаде» или о том последнем периоде,

когда друг повешенных декабристов являлся в николаевские салоны в мундире камер-юнкера...

Пожалуй, никто другой не был столь предназначен для написания книги о Пушкине, как Виктор Ворошильский. Ежи Путрамент[1] в каком-то месте своих воспоминаний упоминает о том, как в самом начале 50-х годов он послал учиться в Москву совсем молодого поэта, который своей идеологической принципиальностью доставлял лишние хлопоты партийным матадорам от литературы. Учеба в Москве должна была умерить пыл «молодого разгневанного». Путрамент с огорчением отмечает, что результат превзошел всякие ожидания. После нескольких лет учебы из Москвы вернулся молодой поэт, столь же принципиальный и доставлявший куда бóльшие хлопоты. Путрамент часто лжет в своих воспоминаниях — иногда просто затем, чтобы не разучиться, — однако в описании этого происшествия его огорчение вполне искренно. В Москву отправился ревностный в своей узкой идеологической вере адепт военного коммунизма — из Москвы вернулся последовательный и проницательный критик тоталитарных диктатур. Вернулся умудренный человек, прекрасный знаток русской литературы и российской действительности. История выкинула коленце: быть может, именно Путраменту мы обязаны русской темой в творчестве Виктора Ворошильского. Хотя целью Путрамента наверняка не было заслужить нашу благодарность.

Русская линия, — я в этом убежден, — самое плодотворное в писательской деятельности Ворошильского. Россия — это его великая тема. И Россия — подлинная Россия — имеет действительные основания быть ему благодарной. Мы же благодарны ему за то, что он рассказывает нам об этой подлинной России. Он занимается этим упорно, в течение многих лет и — внимание! — без всяких комплексов, что в нашей словесности не так уж часто.

Россия возвращается в стихах Ворошильского и в его поэтических переводах, в статьях и прозе. Стихотворение об Осипе и Надежде Мандельштам, воспоминание о встрече с Борисом Пастернаком, фельетон о Горьком, переводы из Айги или Юнны Мориц... Но самое существенное — это цикл книг о русских писателях: о Салтыкове-Щедрине, Маяковском, Есенине. И вот теперь Пушкин. Эти книги складываются в некий целостный образ русской литературы и российской действительности, образ, — повторим, — нарисованный поляком без «русского комплекса», проявляющегося либо в официальном низкопоклонстве, либо в тайно лелеемой ненависти. Немногие поляки способны сегодня так писать о России, а притом Россия — одна из главных польских тем! Незнание России делало нас беззащитными и неумными и может так же влиять и в дальнейшем. [...]

Россия Ворошильского — это Россия, увиденная польскими глазами, или, точнее, глазами поляка, который не раз оказывался в пределах до-

[1] Е. Путрамент (1910 — 1986) — польский писатель и литературный вельможа, трижды лауреат Государственной премии ПНР. — *Прим. ред. — 2012.*

стижимости русского кнута и не раз искал духовную силу в сочинениях избиваемых кнутом русских. Об этом выразительно свидетельствует краткий очерк о Солженицыне. Если прибавить, что этот поляк — поэт, что он познал и барскую любовь и барский гнев, что годами он оставался на самом краешке официальной жизни и, наконец, переступил порог «неофициальности»; что сей польский поэт хорошо узнал ту специфическую литературную жизнь угнетенных обществ, которая определяется не столько стихом, сколько доносом; что, — повторим, — никто более его не был предназначен Музою, чтобы стать биографом Пушкина.

Литературная жизнь России — это постоянный конфликт стиха с доносом и поэта с сыщиком. История великой русской литературы — это история сочинений, конфискованных или искалеченных цензорским карандашом, история писателей замученных или нравственно сломленных, арестованных или посаженных в сумасшедший дом, убитых или покончивших с собой. Духовная история России — это история людей в клетке. Я не знаю книги, которая была бы столь зримым рассказом об этой клетке, как книга Виктора Ворошильского. Один из самых популярных жанров в клетке — донос. Ворошильский широко знакомит нас с этим жанром, инкрустируя свой рассказ сочными цитатами. Донос в повествовании о клетке играет ту же роль, что любовное письмо в мелодраме: он позволяет всмотреться в алхимию чувств. Любовное письмо для читателя — входной билет в дамский будуар; донос — в будуар самовластительного деспота. Цитируя доносы и полицейские рапорты, Ворошильский вводит нас в мир, закрытый для простых смертных: читатель поспешает за своим проводником, зарумянясь от возбуждения, как заливался бы краской монах при посещении публичного дома. Но эта экскурсия еще и в высшей степени воспитательна: она позволяет понять природу конфликта чиновников с литературой, духа лакейства с духом свободы.

К самым видным доносчикам той эпохи принадлежал наш соотечественник Фаддей Булгарин. Эту фигуру, ведущую скотину своего времени, следует вспоминать почаще. С этой целью привожу донос, составленный нашим соотечественником для русской полиции о Царскосельском лицее, где учился Пушкин. Наш земляк писал: «*В свете называется Лицейским духом, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками, высокомерно с равными себе, презрительно с низшими, исключая тех случаев, когда для фанфаронады надобно показаться любителем равенства. Молодой вертопрах должен при сем порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или сам быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на Русском языке, а на Французском — знать все самые дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений. Сверх того он должен толковать о конституциях, палатах, выборах, парламентах. ... К тому принадлежит также обязанность насмехаться над выправкою и обучением войск, и в сей цели выдумано ими слово шагистика. Пророчество*

перемен, хула всех мер или презрительное молчание, когда хвалят что-нибудь, суть отличительные черты сих господ в обществе. Верноподданный значит укоризну на их языке, европеец и либерал — почетные названия. Какая-то насмешливая угрюмость вечно затемняет чело сих юношей и оно проясняется только в часы буйной веселости. ... В Лицее начали читать все запрещенные книги, там находился архив всех рукописей, ходивших тайно по рукам, и, наконец, пришло к тому, что если надлежало отыскать что-либо запрещенное, то прямо относились в Лицей... Начальники Лицея, под предлогом ***благородного обхождения****, позволяли юношеству безнаказанно своевольничать, а на нравственность и образ мысли не обращали ни малейшего внимания. И как с одной стороны правительство не заботилось, а с другой стороны частные люди заботились о делании либералов, то дух времени превозмог — и либерализм укоренился в Лицее, в самом мерзком виде*».

Я не мог удержаться от этой длинной выписки: одним — в поощрение, другим — в поучение. Пускай те, что прочтут мой текст из любопытства, зажгутся охотой прочитать всю книгу; а те, что будут читать по долгу службы, пусть узнают своего классика. [...]

Ключ от дверцы клетки, в которой жил Пушкин, держал в своей длани главный полицейский России — царь. Иногда он отворял клетку, — например, Мицкевичу, который, «*ползая молчком, как змий, дразнил деспота*». Пушкину он ее не открыл.

Ворошильский описывает различные попытки Пушкина вырваться за границу, его усилия, упорство и отчаяние. Он так ни разу и не выехал. Царь Николай так любил литературу, что предпринял труды, чтобы овладеть душой Пушкина, но с телом поэта расстаться не умел. Когда я читаю о Николае, мне все припоминается стихотворение Херберта «Что думает пан Когито о пекле», где Херберт писал: «*Вельзевул любит искусство. Он хвастает, что его хоры, его поэты и его живописцы уже почти превзошли райских. У кого искусство лучше, у того и правительство лучше — это ясно. ... Вельзевул опекает искусство. Он обеспечивает своим художникам спокойствие, хорошее питание и абсолютную изоляцию от адской жизни*».

Да, царь Николай хорошо знал, что делал, одевая Пушкина в мундир камер-юнкера... Однако, прежде чем он это сделал, он оказал поэту немалые милости. Когда тот выл с тоски в ссылке в Михайловском, монарх проявил милосердие и призвал его пред свои очи. Пушкин уже несколько лет отбывал епитимью за неблагонадежные стишки, когда Николай начинал свое царствование. Бунт декабристов был уже подавлен, его вождей арестовали и подвергли следствию. Пятерых из них казнили. Именно в этот момент монарх беседует с Пушкиным.

«*Компетентной и авторитетной записи этого разговора*, — пишет Ворошильский, — *не существует. Известно, что после его окончания оба собеседника появились в салонах взволнованные и возбужденные, что царь выкрикнул что-то вроде: "Он теперь мой!" — или же: "Господа, вот новый Пушкин, забудем о старом"*».

В этом разговоре есть привкус шекспировской трагедии. Лицом к лицу друг с другом стали могущественнейший полицейский России и величайший русский поэт. За полицейским были армия, двор, традиции. За поэтом — только духовная свобода и достоинство писателя. Этим-то полицейский не обладал, и этого он захотел поэта лишить.

Вся дальнейшая жизнь Пушкина подобна шахматной партии с Тамерланом, который срубал голову проигравшему за бездарность, выигравшему — за дерзость. Что случилось в 1837 году: поставил ли полицейский поэту мат, или сам поэт опрокинул шахматную доску? — вот вопрос каждого биографа Пушкина. Ворошильский не дает на него однозначного ответа. Одно все-таки выглядит бесспорным: выиграть эту шахматную партию Пушкин не мог. Во время того знаменитого разговора поэт принял монаршую милость: он с благодарностью согласился на предложение царя Николая, главного полицейского России, быть его единственным цензором. Предложение выглядело чудом: казалось, открывается клетка, расширяется свобода поэта, более того — он обретает возможность влиять на государственные решения. Словом — светлое будущее. Однако все это было мнимо. Когда ключ от клетки держат чиновники и полицейские, поэт, стремящийся залучить ключ, тоже должен стать чиновником, — если не хочет стать узником. По существу, Пушкин признал главного полицейского России надлежащей особой для оценки — хотя бы в служебных рамках — его литературного творчества. Царь перестал для него быть тем, кем был по сути, — палачом. Стал партнером игры, правила которой он сам же и назначал.

Посредником между главным полицейским и поэтом стал Бенкендорф, шеф Третьего отделения. Вот выдержки из его писем поэту:

«*Его Императорское Величество в отеческом о Вас, милостивый государь, попечении, соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, не шефу жандармов, а лицу, коего он удостаивает своим доверием, — наблюдать за Вами и наставлять Вас своими советами... Советы, которые я, как друг, изредка давал Вам, могли пойти Вам лишь на пользу, и я надеюсь, что с течением времени Вы в этом будете все более и более убеждаться*».

«*Его Величество не только не запрещает Вам въезда в столицу, но оставляет это целиком на Ваше усмотрение, с тем только, чтобы Вы предварительно письменно обращались за разрешением*».

«*Милостивый Государь Александр Сергеевич! Отъезжая из Москвы, не имея времени на личный разговор с Вами, я уведомил Вас письмом о Высочайшей Воле: чтобы в случае каких-либо новых Ваших литературных сочинений, до напечатанья либо распространения таковых в рукописи, Вы предварительно представили их до рассмотрения будь то через мое посредничество, будь то непосредственно Его Императорскому Величеству...*

В настоящее время доходят до меня известия, что Вы изволили читать в обществе сочиненную Вами трагедию. Это склоняет меня покорно просить Вас сообщить, отвечают ли истине такие известия или же нет. Я, к тому же,

убежден, что Вы слишком рассудительны, чтобы не ощущать в полной мере столь великодушной снисходительности монаршей и не стремиться сделать себя ее достойным».

Вот язык полицейского и сыщика крупного формата — учитесь, товарищи! Так следует говорить, писать, аргументировать! Стиль — это человек. Только овладев этим стилем, можно будет хвастаться вслед за Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, тоже нашим соотечественником, созидателем дубиночной руки партии, с гордостью можно будет сказать, что сотрудник органов — это «горячее сердце, холодная голова, чистые руки». Бенкендорфу не надо было делать таких заявлений —это было очевидностью. Никого не смущало, что Бенкендорф следил за каждым шагом поэта, за каждой его поездкой в провинцию, за каждым путешествием из Москвы в Петербург, что он читал каждое его сочинение и каждое его письмо.

Вельзевул любит искусство...

Пушкин был — в общепринятом смысле этого слова — порядочным человеком. Царь Николай — тоже в общепринятом смысле слова — деспотом и подлецом. Когда порядочный человек вступает с подлецом в игру с подлыми правилами, — он должен проиграть. Это тем более неизбежно, если за подлецом стоит подлая система правления. Принимая игру, порядочный человек сам начинает подлеть: достоинство вытекает из него потихоньку, незаметно, день за днем, капля по капле. Он ищет себе рациональных оправданий. Напрягает ум, чтобы найти обоснование своим поступкам. И так, мало-помалу, человеческое достоинство превращается в придворный сервилизм, а духовная свобода — в тошнотворное ощущение крепостной зависимости. Сначала внушаешь себе, что это только маска, только камуфляж, необходимый для достижения успеха. Однако со временем маска пристает к лицу так плотно, что становится лицом.

Так подлеет порядочный человек. Можно ли сойти с этого пути, бежать от этой судьбы? Можно. В смерть.

Пушкин ушел в смерть. Ему удалось бежать от оподления. Его судьба, так прекрасно и пронзительно рассказанная Виктором Ворошильским, была продолжением судьбы русского писателя и дальнейшим ее предсказанием. Сам поэт отдавал себе отчет в этой непрерывности. В заметках «О русской истории XVIII века», бóльшую часть которых он сам уничтожил, Пушкин записал: «*Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского* (домашний палач кроткой Екатерины. — *Прим. Пушкина) в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами, — и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность*».

Это прошлое. А будущее? Лермонтов и Полежаев, Чаадаев, запертый в качестве сумасшедшего, и Гоголь, уничтожающий второй том «Мертвых душ», Достоевский, приговоренный к смерти, и Чернышевский, арестованный и сосланный, Лев Толстой, окруженный в Ясной Поляне сыщи-

ками, и Щедрин, страдания которого описал Ворошильский в «Снах под снегом». А позднее — и самоубийцы: Маяковский, Есенин, Цветаева; расстрелянный Гумилев, умирающий в лагере Мандельштам, выстаивающая в тюремных очередях Ахматова, затравленный Пастернак, переживший лагерь и изгнанный Солженицын, осужденный за «тунеядство» Бродский. Такова духовная правда России. Той великой России, не сдающейся деспотизму, — той, перед которой склоняется Виктор Ворошильский своей книгой. Склоняюсь и я вместе с ним. Я хотел бы, чтобы знание об этой России и уважение к ее свершениям и мужеству были широко распространены в польском обществе.

Книга Ворошильского провоцирует и вдохновляет на новые вопросы. Некоторые из них я хотел бы отметить. [...]

Спорной проблемой остается отношение Пушкина к польскому вопросу. Ворошильский представил его весьма убедительно: согласно его концепции, польский вопрос мало волновал Пушкина, знаменитые же его стихи — антипольские по смыслу — были вызваны причинами «конъюнктурно-бытовой природы»: они, похоже, были попыткой преодолеть статут человека, постоянно находящегося «в подозрении». [...] Мне, признаюсь, ближе объяснение, исходная точка которого состоит в том, что Пушкин написал в этих стихах то, что действительно думал; что он действительно возмутился «клеветниками России», что он в самом деле считал конфликт России с Польшей «домашним спором», что он по-настоящему радовался взятию Варшавы Паскевичем в годовщину Бородинской битвы. Чаадаев, — цитируемый Ворошильским, — писал в «Апологии сумасшедшего»: «*Я не умею любить отечество с закрытыми глазами, с опущенной головой, с завязанным ртом*». Пушкин, думаю, это сумел — по крайней мере, уже сумел в 1831 году. За этим был, быть может, не национализм, ибо национализм, — тут Ворошильский прав, — ассоциируется с «*ослеплением, неспособностью замечать отечественное зло, тупым противопоставлением всего, что свое, чужому*». По крайней мере, так сейчас мы понимаем термин «национализм». В сознание же Пушкина, по-моему, было вписано чувство принадлежности к нации, которая имеет право играть ведущую роль в мире и навязывать свою волю другим народам. Он мог не переносить деспотизма, цензуры, сыщиков и доносов, мог всем сердцем сочувствовать освободительному движению декабристов, мог годами мечтать о выезде за границу и предпринимать неустанные усилия в этом направлении, но он не мог жаждать падения Российской Империи.

Такой подход был — и, пожалуй, остается — частым среди русских; такое расщепление, к тому же, отнюдь не что-то непонятное. Сколько поляков, — спросим себя, — в эпоху Второй Речи Посполитой (т. е. после восстановления независимости в 1918. — *Пер.*) соглашалось с требованием независимой государственности украинского народа? Лишь единицы. А ведь Польша не была страной под деспотическим правлением... А много ли французов соглашалось с требованием независимости Алжира? А ведь это была эпоха

деколонизации, Франция же была страной парламентарной демократии... Жаждать поражения и умаления собственного государства попросту очень трудно, даже сознавая, что это государство не идеально. Такой подход требует огромной гражданской отваги и огромной духовной силы, которыми обладают лишь немногие.

Задумываясь над феноменом Пушкина, следует помнить обо всем этом, — тогда вся история приобретет надлежащие пропорции. Однако же, и заботясь о пропорциях и сохраняя похвальную умеренность, трудно все-таки не отметить, что такие взгляды, — высказанные в пушкинских стихах и широко распространенные среди российской элиты разных времен, — предрешали и перманентный польско-русский конфликт, и тот факт, что российский деспотизм в деле порабощения Польши не раз находил союзника в лице русского общественного мнения. Верно, что Пушкин не был врагом поляков, как не был их врагом и царь Александр II, сын и наследник Николая, кровавой для нас, поляков, памяти.

Во время посещения Варшавы в самом начале своего царствования (22 мая 1856 года) он объявил полякам:

«*Господа! Я прибыл к вам, желая забыть о прошлом. Мною руководят наилучшие по отношению к вашей стране намерения. От помощи, которая будет мне оказана, зависит их осуществление. Прежде же всего я должен вам объявить, что взаимное отношение друг к другу требует объяснений. Вы занимаете в моем сердце такое же место, как Финляндия, и такое, как все мои российские подданные, но я понимаю, что порядок, который был установлен моим отцом, должен быть сохранен. Так что, господа, никаких иллюзий. Тех, кто и дальше хотел бы им предаваться, я сумею удержать и помешать тому, чтобы эти мечты вышли из границ их воображения.*

Счастье Польши зависит от ее полного слияния с народами моей Империи. Все, что совершил мой отец, есть благо. Я сохраняю это. Ваши сражались наравне со всеми остальными. Князь Горчаков был свидетелем того, как отважно они проливали кровь на защите отечества. Польша и Финляндия мне так же дороги, как, впрочем, и все иные части моей Империи. Так что нужно, чтобы вы ради блага самих поляков знали, что Польша должна навеки остаться соединенной с великой семьей Императоров Всероссийских.

Верьте мне, господа, что я полон наилучших намерений, но от вас зависит облегчить мне задачу, и еще раз повторяю: никаких иллюзий, господа, никаких иллюзий!»

Нет оснований сомневаться, что царь Александр II имел «наилучшие намерения». Дело, однако, в том, что от этих самых «иллюзий» поляки отречься не могли. Они никогда от них не отреклись и никогда не отрекутся. Об этот факт всегда вынуждена была разбиваться добрая воля российских властителей; по этой причине всегда проигрывали прорусские течения польской политики. Известен разговор 1862 года между братом царя великим князем Константином и лидером польского общественного мнения Анджеем Замойским. На вопрос Константина, что русские могут сделать для

поляков, Замойский, говорят, ответил: «*Пусть русские уйдут. Убирайтесь и оставьте нас в покое*». Во время разговора великий князь играл револьвером, который лежал на столе... За исключением револьвера — атрибута диктаторской власти, — легко вообразить себе подобный разговор между Мицкевичем и Пушкиным. В этом вопросе взаимопонимание было невозможным. В момент конфликта Мицкевич, должно быть, был для Пушкина «клеветником России», а в глазах польского поэта автор «Бородинской годовщины» — тем, кто, «золотом иль чином ослеплен», бьет поклоны перед царским троном, «деспота воспев подкупленным пером»[2].

Это, к сожалению, не академические рассуждения исторического характера. Постыдные стихи Пушкина сегодня — без всякого критического комментария — перепечатываются в популярных массовых изданиях. На этих стихах воспитываются всё новые поколения русских. В тот день, когда я пишу эти слова, «Жице Варшавы» опубликовало интервью с Е. Евтушенко. Евтушенко, которому в уме отказать нельзя, посреди различных красивых фраз и банальностей, в частности, говорит: «*Например, Пушкин, мечтавший о временах, когда "народы, распри позабыв, в великую семью соединятся", —разве не оказался он пророком нового социалистического общества?*»

Польскому читателю трудно читать эти слова без удивления. Оставляю уже в стороне абсурдность представления Пушкина как пророка Самого Прогрессивного Строя. Оставляю в стороне сервилизм Евтушенко: Самый Прогрессивный Строй как соединение в великую семью народов, позабывших о распрях! Эту ложь не уравновесит упоминание в интервью Евтушенко имен «проклятых» поэтов: Пастернака и Ахматовой — в числе величайших поэтов XX века... Меня, однако, поразило, что Евтушенко забыл: в своем стихотворении Пушкин эту мечту приписал... Мицкевичу. А мицкевичевская мечта, — и об этом русскому писателю забывать не следовало бы! — не имела буквально ничего общего с соединением народов в рамках Российской Империи. Такова была мечта русских царей, но не польских поэтов. Поляки слишком хорошо знали практическое осуществление этих грез, слишком навязчиво звучит у них в ушах шутка о польском орле: «Курица — не птица, Польша — не заграница». Кроме того, поляков может интересовать: таково ли современное восприятие стихов Пушкина, как у Евтушенко?

Думаю, что мои русские друзья не обидятся на эти замечания. Я люблю их так, как наш великий поэт Адам Мицкевич любил своих «друзей-москалей». [...]

Вот и всё о польском вопросе. Что же касается Пушкина, то Вяземский заметил, что эти западные «клеветники России» могли бы ему ответить: «*Мы ненавидим вас, или, точнее, презираем, поскольку в России такой поэт не стыдится писать и печатать такие стихи...*»

---

[2] Из стихотворения Мицкевича «Русским друзьям», пер. В. Левика. — *Прим. пер.*.

Хорошо, что Ворошильский нашел это высказывание Вяземского и привел его. Это голос мудрой и дальнозоркой России, России, свободной от комплексов и великодержавных искривлений. С такой Россией, на мой взгляд, Польша должна искать взаимопонимания. Я пишу эти слова, сознавая, что польский путь к взаимопониманию тоже не будет легким. Это будет путь людей, продвигающимся вопреки застарелым комплексам, обидам и мстительным чувствам, вопреки невежеству и вопреки национальной мании величия. Это будет путь крутой и тяжкий, но наверняка единственный, если мы не хотим погрузиться в бездны племенной ненависти.

Книга Виктора Ворошильского — очень важный шаг на этом пути.

1984, № 40

БАРБАРА ТОПОРСКАЯ

Живаго — свидетель эпохи

О современной поэзии и романе

Пастернак-поэт лучше прозаика. Но современная поэзия так элитарна, трудна (если не апоэтична), головоломна, суха, а все, что сохраняет рифму и ритм, логику и грамматику, так легко заподозрить в эпигонстве, что единственный критерий для обычного читателя при оценке современного поэта — его проза. Закрывая объемный роман Пастернака, запуганный невежда, которому стихи поэта представлялись недостаточно «современными», знает: Пастернак-поэт лучше прозаика, он великий поэт.

«Доктор Живаго» часто прихрамывает, часто прямо хромает. Конструкция первой половины романа, хотя намного лучше второй, построена на принципе случайных совпадений. Как в дурном театре: герои входят на сцену и сходят с нее, случайно встречаются или разминуются, как и когда удобно автору. Поскольку сцена — бескрайняя Россия, эти совпадения, на которых держится все действие романа, выглядят довольно искусственно. Но можно сказать: «Так и бывает в жизни»; это можно сказать в особенности тогда, когда уже деваться некуда от диалектического умничанья, от социального и исторического детерминизма. Из двух крайностей заведомо ближе к истине та, которая гласит, что судьбой людей управляет слепой случай. Во второй половине романа — хуже: недостоверными ситуациями автор лишил правдоподобия монтаж случайностей. И все же, хоть и можно составить длинный список мест, где спотыкаешься, — читая роман Пастернака, не сомневаешься, что это великая литература. Глубокая, волнующая, вдохновенная. Искренняя, правдивая и достоверная.

И здесь стоит сделать отступление на тему реализма в романе как таковом. В конце XIX века реализм сделали приемышем философии и политики, веря, что это единственный литературный метод свидетельствования социально-исторической истины. Наш нынешний опыт учит нас, что это отнюдь не так. Можно мастерски конструировать романический вымысел, правдоподобный, как протокол судебного заседания, можно мастерски описывать, как едят суп, чистят ботинки или намыливают лицо, и при этом не иметь ничего общего с правдой. В первом специализируются авторы детективных романов, во втором — соцреалистическая литература.

Два ужасных исчадия XX века, из-за которых у человека больше доверия к невнятице Беккета, чем к дисциплинированному течению эпического повествования.

Пастернак не занимается программным пренебрежением к деталям. Наоборот, его роман, — видно, умышленно, — обращается к традиции русских реалистических романов. Ему лишь не хватает высочайшего мастерства Толстого и Достоевского. Но в наше время даже погрешности прозы Пастернака обращаются не против него, а в его пользу. В век рутины — ни следа рутины. Ни одна страница огромного романа не написана из сюжетной нужды ловко свести концы с концами.

«Доктор Живаго» состоит из небольших глав, которые автор прерывает ровно там, где тема перестает его интересовать. Между концом одной и началом другой главы могут спокойно пройти часы, дни, месяцы или годы. Пастернак пишет только о том, о чем хочет писать, и благодаря этому все, что он пишет, насыщено необычайной для романа, зато свойственной поэзии, интенсивностью.

Только в самом конце книги он словно очнулся от поэтического транса и удовлетворил обычных читателей, которым, разумеется, хочется точно знать, что стало с главной героиней романа Ларой. И в эпилоге он дописал краткий рассказ дочери Лары — рассказ, на мой взгляд, скандально слабый. Однако если роман Пастернака сравнить с «нормальными» романами, где такие подпорки фабулы встречаются через каждые несколько страниц, где каждая реплика чуть подлиннее, особенно в дискуссии на важные темы, механически прерывается двумя тире, между которыми вставляется что попало, типа: «он закинул ногу на ногу», «затянулся сигаретой», «она машинально гладила кошку, которая мурлыча вскочила к ней на колени», словно автор боится, что читатель заскучает, — то следует констатировать, что у Пастернака этих рутинных приемов почти нет.

Патриот или предатель?

Упорно называя Советский Союз Россией, политики и публицисты Запада тенденциозно обманывают себя: это-де нормальное государство, с которым можно проводить нормальную политику, заключать нормальные мирные договоры или же вести нормальные войны; они тенденциозно закрывают глаза на тот факт, что Советы — это государство плюс коммунизм. [...] Напрасно пыталась я объяснить моей американской приятельнице разницу между либерализмом и демократией. Когда, наконец, я сказала, что предпочла бы жить в царской России, а не в демократической Америке, она расплакалась со злости. Многих читателей я наверняка огорчу таким высказыванием, поэтому хотела бы отметить, что я вовсе не так оригинальна, как это может показаться.

XIX век, кроме политических эмиграций, знал три неполитические эмиграции: одна, весьма численная, неграмотная эмиграция деревенской

и городской бедноты в Америку; вторая, по природе своей менее численная, — из Западной Европы в Россию; третья, наконец, удивительнейшее явление, называемое «экспатриацией», — массовое переселение американских интеллигентов в Европу. Это движение, начало которого датируется примерно серединой XIX века, достигло кульминации в третьем десятилетии XX-го, когда все интеллектуальные сливки Америки обитали в Париже Лондоне, Берлине, Италии и т. д. Демократия, даже совокупно с материальным благополучием, — вовсе не обязательно Земля Обетованная интеллигенции.

В Россию выезжала интеллигенция не такого высокого полета. Из Германии, Франции, Англии, Швеции, Италии ехали бонны и гувернантки, но ехали и университетские профессора и инженеры, актеры, певцы, балерины и художники, а в первую очередь — дельцы с капиталами, чтобы вложить их в стране, которая, казалось, обладала неограниченными перспективами. Это не была запланированная эмиграция, — происходило, скорее, неожиданное укоренение в стране гостеприимной, дружелюбной к западным пришельцам, экзотической, просторной и богатой. Пребывание незаметно затягивалось, а дети уже становились российскими патриотами. И похоже, что самым привлекательным в России было либеральное настроение, созданное русской интеллигенцией. Оно было в воздухе и в хорошем тоне каждого воспитанного человека — петербургского денди и московской курсистки, кокотки из Одессы и даже высших чинов жандармерии. В жизни оно играло гораздо бóльшую роль, чем власть, самая абсолютная в тогдашней Европе, ибо с властью человек встречался редко, а с людьми — что ни день. Быть свободомыслящим, быть «против» — это было «кредо», снобизм и входной билет в хорошее общество. В такой-то атмосфере легкой анархии и легкой революционности ассимилировались дети иностранцев, врастали в российский «вишневый сад», чтобы потом, даже после долгих лет изгнания, в отчизнах своих отцов чувствовать себя русскими эмигрантами. Благодаря этому многие мои знакомые из русской эмиграции носят странные для русских имена: Рената Вильгельмовна, Борис Карлович, Виктор Эрнестович... Только некоторые, когда прижмешь их к стенке, неохотно признаются, что в них нет ни капли славянской крови. До чего же глуп национализм!

Я никогда не была в России, а в детстве старалась быть антирусской. Потом я обнаружила в себе словно атрофию — «анти» не получалось. Ирка была русская, Поля — еврейка, Эрна — немка и лютеранка, к этому присоединились еще запутанные литовские и белорусские дела, — слишком от многого надо было отмежеваться, чтобы удовлетворить эндецких[1] теток. И наступил тихий отказ от патриотизма, поскольку он стал равнозначен национализму, и произошел нырок в русскую литературу, а за ним появилась и храбрость, огорчая окружающих, утверждать, что ценишь ее выше, чем

[1] Эндеки — национал-демократы, крайне националистическая партия. — *Прим. пер.*

французскую. Поэтому книге Пастернака не надо было переламывать во мне никакого антирусского сопротивления. [...]

Но одно дело — отсутствие ненависти, другое -невольное подчинение такому сильному поэтическому гипнозу, что в стране чуждой, чтоб не сказать враждебной, распознаешь черты своей родины: эти березы, эти снега и метели, кони в оглоблях, телеги на большаках, брички, катящиеся по дугам полевых и лесных проселков к удаленным от станций имениям, даже российские деревни и городки, даже эта старая дореволюционная Москва — кажутся вдруг знакомыми и сердечно близкими. И неведомый край становится медиумом твоей ностальгии, которая с годами иссохла и пригасла, оживая лишь время от времени, в редких снах... Не знаю, существует ли в литературе произведение, столь же наэлектризованное любовью к родине, любовью столь же заразительной. И вот в нападках на автора, многочисленных и выдержанных в стиле советского барокко, неизменно повторяется все тот же упрек: «*Пастернак — свинья: он изменил родине. Пастернак ее ненавидит*». Какую родину? Россию или Советский Союз? Точность названия в высшей степени существенна.

В физике это называется электростатической индукцией

Если бы Советский Союз был Россией, обладающей даже самым что ни на есть имперским государственным динамизмом, и если бы границы российских владений совпадали с сегодняшним железным занавесом, вопрос мирного сосуществования был бы для нас, поляков, несомненно, крайне тяжким, но не грозил бы разложением того комплекса явлений, который мы называем «культурой Запада» или «свободным миром». Я не говорю сейчас о таких очевидностях, как то, что трудно себе вообразить даже самый ничтожный процент англичан, французов, итальянцев и т. д., которые стремились бы включить свои страны в российские владения. Но не будем строить иллюзий, что западная культура — устойчивое тело, что-то вроде гранитного Монблана, определяемого географическим положением. И не будем строить иллюзий, что ее будут хранить рабочие, пусть самые симпатичные, даже мчащиеся по автострадам исключительно на «мерседесах».

Всегда и везде формировала культуру и поддерживала культурные традиции интеллектуальная элита, или, шире, интеллигенция. Какова сегодня позиция интеллектуала или интеллигента на Западе? Как раз противоположная той, что некогда занимал русский интеллигент: либо левый конформизм, либо «disengagement».

Моралист Камю набрал воды в рот по вопросу Алжира. Не стоит удивляться. Не обязательно быть даже французом, достаточно быть европейцем, чтобы опасаться, что арабский национализм играет роль советского окружения. Тем не менее, это ни на йоту не прибавляет нравственности французскому правлению в Алжире. Так же, как необходимость сохранять ан-

глийские военные базы ни на йоту не придает нравственности правлению Англии на Кипре. Еще ярче выглядит вопрос атомных испытаний. Допустить советский перевес в этом оружии равнялось бы самоубийству западного мира со всей его культурой. Это ни на йоту не придает нравственности осыпанию Японии радиоактивной пылью. Выходит, что, самое большее, возможно не замечать некоторых вещей, избегать некоторых направлений исследования. Не знать и не верить. Так, как западное общественное мнение не знает, что наибольшее число беженцев сегодня вслед за Восточной Германией поставляет титовская Югославия. Так, как редакторы «Обсервера» не знают, что Гонконг заполонен беженцами из коммунистического Китая. (Зато они знают, что китайцы ненавидят Чан Кай-ши и обожают Мао Цзе-дуна. Откуда?)

Никто и никогда не доказал, что самоцензура, применяемая ради той или иной выгоды или хотя бы ради сохранения блаженной невинности, действует менее разрушительно, чем цензура. На мой взгляд — более. И сам факт наличия Советского Союза действует разрушительно, ибо превращает людей, сосуществующих с ним, в полуслепых и полуглухих. Одни видят только левым глазом и слышат левым ухом, другие — только правым глазом и правым ухом. Кто из этих полукалек должен стать продолжателем и хранителем «западной культуры»?

Каким глазом мы видим лучше?

Западная Европа, внезапно одаренная годами сытого благополучия, не склонна бить тревогу, но не следует иллюзорно рассчитывать, что сегодняшняя идиллия будет продолжаться вечно. Она — неожиданный результат поражения, которое столкнуло Европу на краешек советско-американского состязания. Стоит, однако, приглядеться к истории Соединенных Штатов с того момента, как они вступили на арену международной политики: либо коммунистическое проникновение, такое сильное, что невозможно было установить, где кончалась диверсия, направляемая из Москвы, а где начиналась политика Рузвельта, — либо маккартизм. Сходным образом выглядели дела в предвоенной Европе: либо «народный фронт», гостеприимное гнездышко для коммунистических ячеек, либо фашизм.

Веймарская республика была подорвана коммунистической диверсией, отнюдь не ограничивавшейся идеологическими кампаниями; задачи этой диверсии были вполне конкретны: шпионаж, диверсионные акты, подделка документов, экспорт агентов по всему свету. То же происходило во Франции под властью Народного Фронта. Только упорствуя в политическом дальтонизме, можно не замечать, до какой степени республиканская Испания была представительством Москвы. С тех времен, когда Ленин заменил революционного интеллигента «профессиональными революционерами», шпионами, агентами, провокаторами, наемными убийцами без чести, но с верой в «тактику» и все это смешал с идеологи-

ей, — терпимость и либерализм стали жертвой большевизма, стремящегося к уничтожению свободы; а ограничение свободы ведет на скользкую дорожку к тоталитаризму.

Быть может, я лично всегда выбирала бы свободу, вместо того чтобы играть с сильнодействующими средствами ее защиты. Когда положение кажется безвыходным, остается одно: придерживаться настоящего времени и заботиться о его порядочности. Как сказал бы Пастернак: между политикой и жизнью — я выбираю жизнь. Но зачем же питать иллюзии, что мы живем в либеральном и терпимом мире, если сегодня это мир коллективного мышления с разрешением уклоняться только налево? С каким презрением относятся к антикоммунистам, как им в кредит наклеивают этикетку «фашистов», как удобно отождествляют позиции интеллектуала с отсутствием «предрассудков»! Терпимость и либерализм дозволены лишь тогда, когда ими кормится большевизм. И это куда большее достижение Советов, чем их атомные бомбы.

Мы дрожим от страха перед радиоактивной пылью. Почему мы так нечувствительны к заразе, которая идет из СССР? Вероятно, из-за отсутствия инструментов. «Дело Пастернака» внезапно оказалось весьма чувствительным инструментом.

Правда, которой никто не хочет

Могло бы показаться, что «дело Пастернака» принадлежит к области однозначного, черно-белого, где без всяких трудностей отличаешь свободу от насилия и произвола. Оказывается, нет! Ситуация... серая. Коммунистическая печать нашла нежданных союзников в «Обсервере», «Экспрессе», «Монде», «Шпигеле»... Виноваты не Советы, а Шведская Академия, присудив Пастернаку Нобелевскую премию, — так считают те, у кого на визитных карточках значится «либерал». Правая печать, например, католический «Мюнхенер меркур», взяла ноту гуманности: не надо было подставлять Пастернака под удар. Расхождение между мотивировками огромно, но все указывает на одно и то же: на порабощение умов с той стороны, которую патетически называют свободным миром. Пока этот процесс порабощения идет, побуждения и причины выглядят важными, — в конечном результате они потеряют значение. Один журнал высказал мнение, что ввиду щекотливости положения Шведская Академия должна была сначала спросить у советского правительства согласия на присуждение премии Пастернаку. Когда кто-то возмущенно цитировал мне это, я пожала плечами. Что, в конце концов, представляет собой бóльшую степень порабощения: задавать вопросы или угадывать желания? При таких настроениях неслыханная компрометация Советов, мерзость, подлость, варварство, а вдобавок хамство, неуклюжесть и глупость, которые по случаю Пастернака проявились во всей полноте, проходят почти незамеченными. Левоглазые не способны заметить, например, такую мелочь, что разные

советские организации во главе с комсомолом мечут громы и молнии на роман, которого... не читали, ибо в СССР он не издан. Из чего же они делают вывод, что он достоин осуждения? Но, когда заговариваешь об этом, начинается раздраженность: «*Ужасны эти профессиональные антикоммунисты — вечно они таскают каштаны из огня*».

Следует, впрочем, признать, что «профессиональные антикоммунисты» ведут себя в деле Пастернака вполне дилетантски. Они усиленно внушают, что, по существу, «Доктор Живаго» не содержит никакой неприязни к большевикам. Такое утверждение свидетельствует либо о неслыханном невежестве, либо о тактическом расчете. Пастернаку это не поможет, а правде повредит. А правда в этом случае воистину весьма любопытна.

Роман Пастернака — антисоветский сердцем и душой, антитеза соцреалистического романа в каждой детали. До какой же степени в СССР верили в возможность изменения системы, если Пастернак рассчитывал выпустить «Доктора Живаго» в советском издательстве, если величайший ловкач Эренбург несколько лет тому назад хвалился, что читал рукопись, и назвал ее «шедевром», если вокруг Пастернака начала создаваться атмосфера «человека с будущим»! Как это кончилось, мы знаем. Вчерашние друзья, соседи по дачам публично оплевали Пастернака. Но весь ход дела и его трагический эпилог — куда более сильное разоблачение, чем вся чепуха, которую несут московские корреспонденты. С одной стороны, перед нами неудержимая готовность скинуть с себя невольничье ярмо — даже среди благополучных иждивенцев советского режима; с другой, — доказательство того, как легко советская власть, со Сталиным или без Сталина, способна управиться с этими тенденциями. Одновременно обнаружилось, как нереальна ставка на эволюцию в коммунистическом лагере. Ставка на эволюцию оправдана только тогда, когда веришь, что общество, от которого зависит смена власти, системы, строя, нуждается в созревании. Созревание это состоялось уже сорок лет назад, да только общество бессильно. Оно не окрепнет от того, что вымрут такие, как Пастернак. [...]

«Дворянское чувство равенства»

Трудно терминологически определить ту удивительную мягкость, почти старосветскую, почти анахроничную, благодаря которой «Доктор Живаго» так отличается от всего, что сегодня пишется, издается и читается не только там, но и здесь. И как приятно во второй половине XX века обнаружить современный язык без тени вульгарности, природный ум без стремления удивлять и искажать, лиризм, не замаскированный жесткостью. Современная литература словно бы внушила, что современный человек ведет себя по отношению к любви, благородству, доброте, как батрак по отношению к принцессе: либо как болван, либо как хам. С какой барственной свободой умеет Пастернак говорить об этих чувствах, не смущая и не смущаясь. На первых страницах книги есть характеристика матери Юрия

Живаго. Пастернак пишет, что у нее было «*дворянское чувство равенства со всеми живущими*», что она умела «*выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обессмыслятся*». Это «дворянское чувство» — черта Пастернака-прозаика. Это определение следовало бы дополнить прямо органической убежденностью в исключительности каждой человеческой личности, отвращением к фразе, особенно когда она злоупотребляет «народом» или «нацией», и отталкиванием от политики, а также презрением к теории, догмам, демагогии. «*Это графоманство!*» — несколько раз повторяет Пастернак в своей книге, и в первый момент этот термин в сравнении с советской мельницей, где на перемол пущены мысли, выглядит эвфемизмом. Но вскоре мы догадываемся, как это верно. Жизнь велика, богата, обильна — доктринер обедняет ее, заужает, ограничивает. Как графоман, который не может справиться с темой.

«*Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом жизнь никогда не бывает. ... она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий. ...*

В эти первые дни (речь идет об октябрьской революции. — *Б. Т.*) *люди, как солдат Памфил Палых, без всякой агитации, лютой озверелой ненавистью ненавидевшие интеллигентов, бар и офицерство, казались редкими находками восторженным левым интеллигентам и были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом классовой солидарности, их варварство — образцом пролетарской твердости и революционного инстинкта*».

Двух симпатичных рабочих, участников революции 1905 года, во время октябрьской революции Пастернак описывает так: «*Сопричисленные к божественному разряду, к ногам которого революция положила все дары свои и жертвы, они сидели молчаливыми, строгими истуканами, из которых политическая спесь вытравила все живое, человеческое*». Еще позже эти двое добрых людей из первых глав романа превращаются в «расстрельные автоматы», став судьями ревтрибунала.

Подобные фрагменты можно было бы цитировать без конца, и цензура могла бы без конца их вычеркивать, но если даже разобрать роман до его скелета, до самой фабулы, то и тогда выпадет осадок, пусть не враждебный, но чуждый коммунистической философии, тому, что они называют «научным мировоззрением», а также технике и методу соцреалистической литературы.

Пусть никого не вводит в заблуждение тот факт, что все герои Пастернака стартуют как энтузиасты революции. Так было. Вся предреволюционная интеллигенция была революционной в стране, где «Капитал» Маркса стал известен раньше, чем капитализм, где ругательство «буржуй» появилось раньше буржуазии, где быть приговоренным к тюремному заключению считалось почетным и в тюрьмах на «казенной бумаге» и «казенными» чернила-

ми писались революционные трактаты. Боже, прости ей несчастья, которые она навлекла на себя и на нас, ибо не ведала, что творит!

Современный западный интеллигент не имеет права на такое неведение, как бы красивы и соблазнительны ни были революционные традиции. Пока он не поймет, что путь «налево» лежит в лагерь насилия и конформизма, что роли переменились и жертвенность, самоотверженность, отвага проявляются сейчас на стороне контрреволюции, до тех пор он будет скатываться по наклонной плоскости, и единственную надежду на то, что он не вызовет катастрофы, можно усматривать в том, что демократии могут обойтись без интеллигента. В том, что они могут заменить его «комиксами», «рок-н-роллом», «хула-хупом» и предвыборными фразами улыбчивых политических менеджеров.

Накормленный пролетариат, к тому же, отлично управляется без интеллигентов, с помощью хорошо оплачиваемых профсоюзных чиновников. «Революционная» интеллигенция ему не нужна — она на нем паразитирует, явно и цинично на Востоке, под маской различных «social workers» на Западе.

(A propos. Гарантирует ли благополучие от опасности большевизма? Говорят, что да, но я в этом совсем не уверена. Трудней совершить «пролетарскую революцию» без пролетариата, что ухитрились сделать в России, нежели там, где пролетариат есть, пусть даже самый обеспеченный. Ибо революцию совершают университеты, а не пролетариат.)

Доктор Юдым[2] и доктор Живаго

Доктор Живаго — антитеза «положительного героя» соцреалистического романа. Но этого мало. Он вызывал бы раздражение в варшавских салонах эпохи позитивизма. Даже в нашем классе, в 1933 году, когда мы абсолютно искренне восхищались доктором Юдымом, Жеромский заставил своего героя ради общества отказаться от личного счастья и семьи. Пастернак заставляет своего героя покинуть московскую больницу во время тифа ради иллюзии спасения личного счастья и семьи. Все усилия доктора Живаго с самого начала революции направлены в одну сторону: спасти близких, свое творчество и свою индивидуальность от Общественного Молоха, мучащего, нивелирующего, пожирающего жертвы. Видно, многое переменилось за последние десятки лет, если сегодня такой подход не удивляет и вызывает не протест, а скорее понимание и сочувствие. Даже в демократических странах, где общество еще не превратилось в чудовище, как в СССР, оно уже так хорошо организовано, что тяготит, и давит, и, по крайней мере, не побуждает к энтузиазму, к созиданию алтарей и жертвоприношениям. «Неутомимый общественник» сегодня не звучит красиво даже в некрологах.

---

[2] Доктор Юдым — герой романа Стефана Жиромского. — *Прим.ред. — 1984.*

Правдолюбец

Неизвестный Солдат оказался военным преступником
Каждая цивилизация ставит новые памятники
Воздвигнем же памятник Человеку Который
Не Поднял Руки
Он был канцеляристом в концлагере
Никогда не поднял руки в защиту избиваемых

Мы так засорены фразами о мире, что он представляется благом абсолютным, высшим — даже для Пап. «Война» звучит, как в Средние Века звучало «сатана». Сжечь на костре, побить камнями, утопить. «Голос Америки» ежедневно заверяет порабощенные народы, что для Эйзенхауэра и Даллеса, для республиканцев и демократов, для всех порядочных, нравственных, демократичных людей мир — самое святое. Даже мы, эмигранты, при каждом удобном случае страстно уверяем, что жаждем освобождения только мирным путем. Несмотря на то, что все знают (и все знают, что все знают), что такого пути нет.

На последних страницах романа Пастернака можно найти такие высказывания о последней войне:

«*...весь этот кровавый ад был счастьем по сравнению с ужасами концлагеря...*»;

«*...война явилась очистительной бурею, струею свежего воздуха, веянием избавления*»;

«*И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы*».

Что переменилось? Немногое. Совсем немногое. И, наверно, от Берлина до Владивостока миллионы людей мечтают о войне, как я мечтала о ней под Вильно в 1940 – 1941 гг., как сейчас мечтаю о ней для своих дальних и ближних. Но по обе стороны железного занавеса в этом вопросе господствует все тот же психологический террор. Да только, черт побери, где нужно больше мужества, чтобы громко сказать правду: здесь или на подмосковной даче?

Перевод с польского Н. Горбаневской

1984, № 41

ГЕРМАН АНДРЕЕВ

Какую Россию уничтожили большевики?

Хотя так называемые коммунисты в Советском Союзе ни разу со дня октябрьского переворота 1917 года не рисковали дать русским людям возможность свободного выбора, вопрос легитимизации власти им никогда не был безразличен. Как на один из самых сильных доводов в пользу их утопического эксперимента они указывают на кризисную ситуацию в России дооктябрьского периода. На протяжении всей истории воспитания русских людей после Октября им вдалбливается мысль, что положение народа до октября 1917 года было во всех отношениях ужасным: крестьяне страдали от безземелья, а следовательно, от голода, рабочие жили в невыносимых условиях, бытовых и правовых, не было никаких свобод, малые народы угнетались, российская экономика катастрофически отставала от экономики Запада, а потому-де Россия находилась в зависимости от иностранного капитала. Но вот пришли большевики, и все изменилось самым наилучшим образом. Эта концепция русской истории весьма распространена и на Западе. Западные историки говорят о российском самодержавии, об отсталости России в области экономики, права, культуры накануне октября 1917 года. Что же касается не специалистов, а просто людей, получивших знания о русской истории в гимназиях, то немало западных людей уверены, что только благодаря большевикам в России было отменено крепостное право.

Думается, что западная историография стала жертвой научных фальсификаций, исходящих из Советского Союза. Ведь в СССР история переписывается в полном соответствии с правилами, действовавшими в стране Океания, описанной Оруэллом. Советские идеологи никогда и не скрывали, что история — это их собственность, которой они ни с кем не поделятся. [...] Естественно, что под наибольшим партийным контролем находится то десятилетие русской истории, которое предшествовало октябрьскому перевороту. Ведь если в этот период Россия не представляла собой безысходно «темного царства», более того, если это была прогрессировавшая страна, то захват большевиками власти лишается оправдания.

К сожалению, почти полностью ушло из жизни поколение русских людей, которое жило как до, так и после 1917 года и.которое, следовательно,

может сравнивать. Однако еще в 30-е – 40-е годы многие старички вспоминали о дореволюционной России как о каком-то русском рае. Рассказывают, что одна московская актриса, обласканная советской властью и имевшая от нее всё, о чем и мечтать не могли простые советские люди, в ответ на вопрос, заданный ей на политзанятиях, как она представляет себе коммунизм, расписала богатую и свободную жизнь, а затем прибавила: «Ну совсем как до революции».

Конечно, старым людям свойственно идеализированное представление о прошлом, и не была Россия до 1917 года страной всеобщего блага и абсолютной справедливости. Однако объективные факты свидетельствуют о том, что Россия последнего предреволюционного десятилетия во всех почти отношениях не отличалась от самых развитых западных стран. Такого контраста между жизнью в России и жизнью на Западе, который мы наблюдаем теперь, не было и в помине. Полны всякими товарами были не только магазины Берлина, Лондона, Парижа, но и Москвы, Петербурга или какого-нибудь Тамбова. Не только западные европейцы свободно ездили из страны в страну, но и русские люди. В газетных киосках не только на Елисейских полях или на Курфюрстердамм, но и на Невском проспекте и Тверской улице продавались газеты всех политических направлений и журналы из самых разных стран. Как в Европе и в США, так и в России рабочие боролись за свои права против предпринимателей, имели свои профсоюзы и свою социал-демократическую партию. Как европейский крестьянин и американский фермер, так и русский мужик работал на своей земле и продавал свободно продукты своего труда. Социальные конфликты, — а в России их было немало, — определялись почти теми же причинами, что и конфликты в странах Запада. Колониальные притязания западных правительств шли подчас гораздо дальше, чем таковые правительства русского, не говоря уж о том, что Россия никогда не ставила целью распространение своего господства на весь мир.

Большевики уничтожили не Россию крепостническую, княжескую, бесправовую для народа — эта Россия ушла в небытие еще в результате революции 1905 года, а Россию новую, Россию начала XX века, которую можно сжато охарактеризовать так: это была страна, в экономическом отношении тендировавшая к всеобщему благосостоянию, в политическом — парламентская монархия, в правовом — страна, жители которой пользовались теми же правами, что и граждане демократических стран (вот уж где Хельсинкские соглашения выполнялись самым корректным образом!), в культурном — страна плюралистическая, в которой свободно проявляли себя сторонники любых научных направлений и художественных склонностей.

Начало этой России определяется датами — 23 апреля 1906 года, когда император Николай II утвердил первую русскую конституцию («Основные государственные законы»), и 6 марта 1907 года, день выступления перед Думой (русским парламентом) премьер-министра П. А. Столыпина, когда он изложил программу экономических и политических преобразований в России.

Конец этой России — 2 марта 1917 года — день отречения от престола Николая II и возникновения русской республики. Но и республика не отменила прогрессивного политического развития России, а наоборот — привела к еще большей свободе ее граждан, свободе, которой не было даже у подданных многих стран Европы. По этому поводу можно сослаться на такого авторитетного в этом случае свидетеля, как Ленин. Ленин признавал в апреле 1917 года: «*Россия сейчас самая свободная страна в мире из всех воюющих стран*»[1]. Эту самую свободную страну и уничтожили большевики под руководством того же Ленина в октябре 1917 года, воспользовавшись ухудшением экономического положения в России, вызванным роковой для страны мировой войной и неопытностью правительства новой, российской республики.

За семь лет между 1906 и 1913 годами Россия прошла такой путь экономического, политического, культурного развития, который за столь короткий отрезок времени не проходила ни одна страна в истории человечества. Именно в это время из отсталой аграрной страны, населенной в основном бедным крестьянством, страны бедности одних и богатства других, страны неограниченной самодержавной власти и слабого развития правового сознания Россия превратилась в промышленно-аграрную страну, чей политический строй основывался на прочных конституционных началах, гарантировавших гражданам все права, которыми пользовались и граждане других цивилизованных стран, в страну всеобщего благосостояния и огромного национального богатства.

Особенно поразительны были развитие экономики России и рост благосостояния ее населения.

Благодаря столыпинской реформе 1906 года крестьяне стали свободными хозяевами своей земли. Это привело к резкому увеличению урожая зерновых с 2 млрд. пудов в 1896 году до 4 млрд. в 1913-м. Россия вообще перестала быть страной помещичьего землевладенья: дворяне имели в 1913 году 63 млн. десятин земли (причем только 36 из них пахотных); крестьяне же имели в своем распоряжении 188 млн. десятин, по преимуществу пахотных. В годы хорошего урожая экспорт русской пшеницы составлял 40% всего мирового экспорта, но и в годы неурожайные Россия не ввозила хлеб, а вывозила и ее экспорт составлял 11% всего мирового экспорта. Даже советский учебник истории признает: «*...расширение кулацкого землевладения увеличило товарность сельского хозяйства*».

Что же это за кулаки?

До 1906 года в России существовала община, тормозившая как экономику, так и развитие прав личности в сельском хозяйстве. За общину ратовали представители, казалось бы, полярных политических взглядов: реакционеры-помещики и революционеры-социалисты. Первым община была нужна потому, что им удобнее было взымать подати с общины, чем с каждого крестьянина, вторые видели в общине прообраз социализма. Ве-

[1] *Ленин В.* Поли. собр. соч., изд. 4-е. Т. 24. С. 4.

ликий русский реформатор Петр Аркадьевич Столыпин разрешил крестьянам выходить из общины и приобретать через крестьянский банк землю в свое полное пользование. Реформа Столыпина отменила и все платежи, которые крестьяне обязаны были вносить за землю, полученную в общинное пользование после отмены крепостного права в 1861 году. Крестьянин, любивший свой труд, но раньше не видевший в нем выгоды вследствие сковывавшего его общинного порядка землепользования и вынужденный к тому же значительную часть своего продукта отдавать в счет платежей, в результате реформы Столыпина почувствовал себя способным обогащаться. Этот крестьянин-труженик, ставший состоятельным благодаря своему упорному и умному труду и раскрепощению, которое принесли ему столыпинские реформы, получил в так называемой прогрессивной пропаганде кличку «кулак». Конечно, не все крестьяне разбогатели, была и беднота, но и ее уровень жизни повысился благодаря столыпинской реформе, а главное — резко увеличилось число крестьян богатых и среднего достатка («середняки»). Богатство крестьянской жизни засвидетельствовано и в романе «Тихий Дон», и в романе «Август Четырнадцатого».

Увеличилось не только производство зерна — в России 1913 года было 51 млн. коров (в среднем по одной на трех жителей), 35 млн. лошадей, 85 млн. овец. По мнению одного из современников, «*к осени 1913 года Россия из страны праздных помещиков и недоедавших крестьян превратилась в страну, готовую к прыжку... в царство отечественного Уолл-стрита*»[2]. К возникновению крупных торговых фирм привел, в частности, как раз рост сельскохозяйственного производства. Ежегодные Нижегородские ярмарки демонстрировали необыкновенный рост русской промышленности и русского сельского хозяйства. Герой романа Горького посещает ярмарку. Он совершенно потрясен: «*Клим Самгин видел, что пред ним развернулась огромная, фантастически богатая страна, бытия которой он не подозревал; страна разнообразнейшего труда, вот — она собрала продукты его и, как на ладони, гордо показывает себе самой... убедительно кричала о богатстве страны ярмарка*».

В 1911 году комиссия немецких экономистов высказала мысль, что если реформы Столыпина осуществятся (а они почти полностью осуществились), Россия станет сильнейшей в Европе страной.

Начал преображаться сам облик русского крестьянина: «*Происходит великое превращение общинного муравья в свободную личность*», — писал представитель одной из центристских партий в Думе Протопопов в газете «Русская мысль» (в 1908 году). Крестьяне стали отправлять своих сыновей в университеты. Богатые крестьяне смогли приобретать новейшие сельскохозяйственные машины.

В правовом отношении крестьянин по столыпинской реформе был приравнен ко всем другим сословиям. Когда 27 апреля 1906 года первая Дума собралась для встречи с царем, среди депутатов бросалось в глаза большое

---

[2] *Вел. кн. Александр Михайлович.* Воспоминания. Париж, «Лев». С. 245.

число людей, одетых в крестьянские одежды. Представители крестьян в Думе и в местном самоуправлении (в земствах) выступали в защиту своих экономических и гражданских прав.

Может быть, главным достижением русского сельского хозяйства была ликвидация связи между неурожаем и голодом: независимо от погоды русское сельское хозяйство между 1907 и 1917 годами полностью обеспечивало продуктами питания все население России и даже снабжало Европу хлебом. Только в начале 1917 года, то есть на третий год войны, в России стали возникать перебои с доставкой мяса и молока в города. Показательно, что Февральская революция началась из-за того, что перед петербургскими магазинами стали выстраиваться очереди: русский народ не знал, что такое очереди, и возникновение таковых показалось населению признаком полной несостоятельности системы.

Решительный прыжок в своем развитии сделала и русская промышленность. Особенно быстрыми темпами развивалось строительство железных дорог. Даже во время войны была построена в сложнейших условиях севера (и, разумеется, не руками заключенных!) Мурманская железная дорога (1050 км). Добыча топлива росла и до и во время войны: нефти с 550 млн. до войны до 602 млн. пудов во время войны, угля — с 1946 млн. до 2092 млн. В 1908 – 1912 годах (за «пятилетку») производство угля выросло на 79%, чугуна — на 24%. Эдмонд Терри, французский экономист, писал в то время: «*Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 годы идти так же, как они шли с 1900 по 1912 годы, Россия в середине текущего века будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношениях*»[3].

За это время резко упал процент участия иностранного капитала в развитии русской промышленности — с 50% в 1904 – 1905 годах до 12,5% в 1913 году. Паровозы, вагоны, рельсы для железных дорог были почти целиком русского производства. К 1916 году Россия пришла к почти полной экономической автаркии.

Резко улучшилось материальное положение населения. Вклады в сберегательные кассы выросли с 300 млн. рублей в 1894 году до 2 млрд. в 1913 году. Существеннейшим образом сократилось налогообложение: в 1911 году на душу населения приходилось 11,23 рубля налогов, в то время как во Франции — 42,66, в Англии — 48 рублей[4].

В Европе очень высоко котировался русский рубль, который был свободно конвертируемой валютой: в 1913 году за рубль давали 2,6 французских франка, 2,6 австрийской кроны, 2,1 германской марки[5].

Даже в результате мировой войны Россия оказалась в финансовом отношении крепче других стран: ее долги превышали бюджет в 10 раз, тогда как долги и Франции, и Англии — в 35 раз.

---

[3] *Терри Э.* «Economiste européen», 1913.

[4] *Беляев А.* Финансы и стратегия. М., 1937.

[5] Календарь Суворина за 1913 г.

Цены на потребительские товары были весьма низки: хлеб стоил 8 копеек за кг, картофель — 3 копейки, бутылка молока — 8 копеек, килограмм масла — 55 копеек (средняя заработная плата рабочего равнялась 47 рублям). Казна не стремилась особенно богатеть на алкоголе: в 1913 году на душу населения приходилось по 7,5 литров водки, а в советское время в 1967 году — по 9,1 литра (в середине 80-х годов еще больше). А указом от 18 августа 1914 года в России в связи с войной продажа водки была вообще запрещена.

Резко увеличивалось население страны: с 86 млн. в 1861 году до 186 млн. в 1916 году (а во время советской власти за такой же период — с 1917 года по 1984 год — со 186 млн. до 270 млн.).

В 1212 городах России в 1916 году был телефон, еще за десять лет до этого была осуществлена телефонная связь между Москвой и Петербургом.

Что касается рабочего дня, то в России он еще в 90-е годы был меньшим, чем, скажем, во Франции: 11,5 часов в России — 12 часов во Франции. В Англии же и в Германии вообще не было ограничений для дневной работы взрослых мужчин.

Об экономическом положении русских и об их благосостоянии мир привык судить по очень критической русской литературе. Но, кажется, не было замечено, что из русской литературы в течение 10 лет между 1906 и 1916 годами почти полностью исчезли описания нищеты, тяжелых бытовых условий, в которых живет народ. Даже в самой революционной книге того времени — в повести Горького «Мать» — ничего не говорится о тяжелом экономическом положении народа, в ней нет описаний нищеты, голода, ужасов рабочего быта; Горький лишь резко критикует бесправие рабочих, их зависимость от капитала. Но следует напомнить, что действие повести Горького развивается в 1902 году, то есть до революции, кардинальным образом преобразившей общественную структуру России.

Политическая и социальная ситуация в стране после 1906 года резко изменилась в направлении расширения народных прав и стирания различий в положении классов.

В октябре 1905 года был опубликован царский манифест, провозгласивший создание в России думской (парламентарной) монархии и предоставившей гражданам страны основные демократические свободы: слова, печати, собраний, совести. Этот манифест был результатом действий двух сторон: народа (рабочих и крестьян), выступившего против неограниченной самодержавной власти царя, за улучшение своего экономического и правового положения, и либеральных представителей верхов, которые, устами министра финансов (позже — премьер-министра) С. Ю. Витте, провозгласили: «*Россия ныне не имеет тех элементов и не обладает тою психологией, при которой возможно самодержавное, неограниченное правление*»[6]. Таким образом, уже в 1905 году было опровергнуто два мифа — миф о рабской сущности

[6] *Витте С.* Воспоминания. Т. 2. С. 268.

русского народа и миф о неисправимой реакционности русской власти. Тот же Витте писал Николаю II 9 октября 1905 года: «*Свобода должна стать лозунгом правительственной деятельности*». На провозглашении манифеста вместе с Витте настаивал и дядя царя Великий князь Николай Николаевич.

В советских учебниках истории манифест всегда упоминается (правда, с издевательскими замечаниями), но то, что после манифеста, на его основе была создана конституция, прочитать в советских источниках почти невозможно.

Конституция определила государственный строй России как парламентскую монархию, в которой законодательная власть принадлежит монарху, Думе и государственному совету (нечто вроде второй палаты в английском парламенте), но без согласия Думы не мог быть проведен в жизнь ни один закон. Таким образом, полностью исключалось издание тиранических законов или произвольная отмена законов существующих.

За недостатком места нет возможности останавливаться на всех статьях конституции, укажем лишь на некоторые.

Так, конституция определяла право граждан России свободно выбирать место жительства как внутри России, так и за границей. Этим последним правом воспользовалось с 1901 по 1910 годы около двух миллионов человек. Помимо этого очень многие русские люди жили на Западе временно и свободно возвращались домой. Но и в Россию переезжали на постоянное место жительства граждане западноевропейских стран: только в 1910 году в России поселилось 73700 иностранцев. В русских газетах стали появляться рекламы европейских курортов, куда, в соответствии с новой конституцией, мог свободно, не спрашивая никакого разрешения у властей, а лишь забирая свой заграничный паспорт, ездить любой гражданин России. Благодаря созданному по инициативе графини В. И. Бобринской Обществу содействия заграничным поездкам учителей (1906 г.) каждый учитель получил возможность за очень небольшую плату странствовать по музеям Европы и Америки.

Статья 79 определяла: «*Каждый может... высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно распространять их путем печати или иными способами*». О том, что эта статья не оставалась просто пустым обещанием, свидетельствует распространение в России газет самых разных направлений — от реакционно правого «Русского знамени» до радикально левой большевистской «Правды». Всего в России выходило в 1910 году 1494 журнала и 897 газет, причем не только на русском, но и на языках других народов, живущих в России. Так, выходило 77 газет и журналов на немецком языке, 29 — на армянском, 31 — на еврейском. Большинство газет относилось к умеренно либеральному или умеренно социалистическому направлениям.

Статья 80 разрешила создание обществ и союзов. И сразу после 1905 года возникло несколько партий, которые и были представлены в Думе. Депутаты от этих партий выступали в Думе совершенно открыто, разумеется, не согласуя свои речи с представителями власти. Так, партия трудовиков выступала за передачу всех помещичьих земель крестьянам, социал-демократы

неприкрыто требовали чуть ли не социалистической республики. Представители крайне правых и крайне левых партий единодушно выступали против думской монархии. За ее сохранение боролись две центристские партии — более близкие к левым конституционные демократы (кадеты), нечто вроде правого крыла сегодняшних европейских социал-демократий, и октябристы, более правая партия, нечто подобное английским тори. За эти две партии, как правило, и подавалось большинство голосов в Думу. Даже советский источник признает: «*К 1917 году в России почти все классы имели свои партии*»[7].

Конституция вообще подразумевала, что власть одинаково заинтересована в осуществлении прав всеми классами России. Еще до ее принятия С. Ю. Витте говорил, обращаясь к промышленникам после рабочих забастовок 1896 года: «Вы *вряд ли можете себе представить правительство, более благосклонное к промышленности, чем настоящее... Но вы ошибаетесь, если воображаете, что это делается для того, чтобы облегчить вам наибольшую прибыль: правительство главным образом имеет в виду рабочих; этого вы, господа, кажется, не поняли, иначе последняя стачка не случилась бы. Доказательство этому, что стачка пощадила те заводы, которых владельцы сумели установить отношения между рабочими и хозяевами приличнее и гуманнее*». По конституции 1906 года забастовки были легализованы. Правительство чрезвычайно редко вмешивалось в отношения между предпринимателями и рабочими, лишь тогда, в сущности, когда забастовщики под влиянием радикальной пропаганды прибегали к насилию. (В лево-социалистической по содержанию пьесе Горького «Враги» появление полиции и войск на бастующем заводе объясняется как раз убийством забастовщиками хозяина предприятия.)

О том, что правительство, осуществляя реформы, имеет в виду главным образом благо трудящихся, сказал в статье, опубликованной в газете «Новое время» 3 октября 1909 года, премьер-министр П. А. Столыпин: «*Итак, на очереди главная задача — укрепить низы. В них вся сила страны. Их более ста миллионов! Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России*». Когда в 1905 году началось массовое стачечное движение, предприниматели не препятствовали рабочим митинговать на заводах и фабриках, они выдали большинству рабочих заработную плату за стачечные дни в половинном размере, а на некоторых предприятиях полностью. На Путиловском заводе в Петербурге администрация выплатила полностью зарплату рабочим-депутатам совета, когда они не работали, а заседали (эти факты приводятся в советском учебнике М. Покровского «Русская история», вышедшем в 1926 году).

В целях гарантии свободы печати был принят новый закон о цензуре (18 марта 1906 года). Была отменена предварительная цензура всех отечественных изданий, причем, если цензор находил в публикациях нечто для печати запрещенное, он не имел права осуществлять карательные функции, а дол-

[7] *Смирнов Л.* Классы и партии в гражданской войне в России. М., 1968. С. 138.

жен был подать в суд на редактора или автора, нарушивших предписания. По новым цензурным правилам снимались всякие ограничения на темы публикаций. Книги, которые когда-либо раньше были цензурой запрещены, были вновь разрешены для продажи и распечатывания. Так появились в книжных магазинах все произведения Герцена, «Капитал» Маркса, религиозные произведения отлученного от церкви Льва Толстого. Количество цензоров в России было смехотворно мало: всего 65 на всю огромную страну между 1906 и 1917 годами. Ни одна партия, разумеется, не имела цензорских функций.

Строго запрещена была конфискация книг из частных библиотек.

Серьезно реформировать судебное законодательство в 1906 году вообще не потребовалось: либеральные реформы суда были осуществлены еще дедом Николая II царем Александром-Освободителем. По судебным реформам 1864 года русский суд становился гласным и состязательным. Вопрос о виновности подсудимого решали присяжные заседатели, выбиравшиеся из всех слоев русского населения. Суд становился зависимым лишь от закона и решения присяжных заседателей и, следовательно, независимым от правительства и общественного мнения. Одним из ярчайших свидетельств независимости русского суда стало его решение по делу еврея Бейлиса, обвиненного в ритуальном убийстве (1911 – 1913 гг.). Несмотря на то, что многие представители верхов, сильно подверженные антисемитизму, желали осуждения Бейлиса, суд присяжных, состоявший в основном из самых простых русских и украинских мужиков, признал его невиновным, и Бейлис был освобожден.

Новым по сравнению с судебными реформами 1864 года было введение законами 1906 года защитника в процесс уже на этапе предварительного следствия.

К сожалению, в России не была отменена смертная казнь, хотя первая Дума единогласно (!) приняла решение об ее отмене. Но террор левых эсеров, аграрные бунты крестьян, часто приводившие к сожжению помещичьих усадеб и гибели в них людей, вынуждали правительство сохранить смертную казнь. Но применялась она только к тем, кто сам был повинен в убийствах или покушениях на них. Вообще смертная казнь в России уже XIX века применялась очень редко. За весь XIX век было казнено менее ста человек. Количество казней возросло во время революционного террора 1904 – 1908 годов, когда было казнено около 6000 человек, причем вследствие революционного террора погибло более 7000 человек, среди них простые городовые и даже прохожие. В 1908 – 1910 годах число смертных казней упало с 697 в 1908-м до 129 в 1910 году. В последующие годы применение смертных казней дошло до нуля. Оправдывая решительность правительства по искоренению террора, П. А. Столыпин говорил: «*Где с бомбами врываются в поезда, под флагом социальной революции грабят мирных жителей, там правительство обязано поддерживать порядок, не обращая внимания на крики о реакции*».

В русских тюрьмах в 1910 году находилось всего 177017 человек[8], сослано в 1908 году 10 тыс. человек, а в 1909 году — около 3000 (все эти цифры кажутся ничтожными тому, кто знает о казнях ленинских и сталинских времен, о причинах применения смертной казни и о числе заключенных и сосланных в лагеря за время правления в СССР так называемых коммунистов. Любопытно, что большевики страшно возмущались смертными казнями в России. Петербургский комитет партии в 1910 году принял тезисы о смертной казни, в которых было заявлено, что смертная казнь — это одно из проявлений разгула реакции...).

Помимо конституции 1906 года, огромную роль в экономическом и правовом развитии России сыграли законодательные предложения премьер-министра П. А. Столыпина, сделанные им Думе 6 марта 1907 года. Важнейшими пунктами речи Столыпина были следующие: гарантии неприкосновенности личности, улучшение крестьянского землепользования, введение рабочего страхования, отмена всех ограничений для евреев, отмена административной высылки, введение гражданской и уголовной ответственности для государственных служащих, ненаказуемость экономических забастовок. Не всё из этих предложений было осуществлено. Так, подверженный антисемитизму царь не одобрил отмену всех ограничений для евреев (Николай II был почетным гражданином крайне правого Союза русского народа). Однако в 1914 году получили полное равноправие евреи-участники войны, то есть практически вся еврейская мужская молодежь.

В России думской монархии необычайно выросло профсоюзное движение. Первые профсоюзы были созданы в 1905 году, а затем они охватили все профессии, русские профсоюзы, конечно же, не были приводными ремнями каких-либо партий: они защищали интересы рабочих перед предпринимателями и требовали не повышения производительности труда, а улучшения его условий.

Факты экономического, социального, политического, правового положения в предреволюционной России подтверждают правильность мысли А. И. Солженицына: «*В три-четыре года столыпинского премьерства, не урывом, не враз (то есть без всяких кровавых революций. — Г. А.), а постепенным неуклонным движением преобразовывалась страна так, что и друзья и враги, и свои и чужие не могли бы этого не признать... все более вязалась обыденная живая деятельность людей, которая и называется жизнью. Страна приняла здравомысленный склад*»[9].

Экономические и политические преобразования вызвали огромный культурный подъем в России начала XX века. Недаром десятилетие между 1907 и 1917 годами принято называть Серебряным веком русской культуры. Огромное внимание уделялось делу народного образования. Так, кредиты на начальные школы возросли с 9 млн. рублей в 1907 году до 82 млн. к 1917

---

[8] Календарь Суворина за 1913 г.

[9] *Солженицын А.* Август Четырнадцатого.

году, а на все дело образования — с 44 млн. рублей до 214 млн. Ежегодно в России строилось около десяти тысяч школ. Осенью 1908 года думская комиссия по народному образованию разработала план всеобщего обязательного начального образования, рассчитанный на 20 лет, то есть до 1928 года (большевики осуществили этот план к 1930 году). Женское образование в России еще XIX века было распространено несравнимо больше, чем в Западной Европе. Русские университеты с 1905 года пользовались полной автономией. Вообще, ученые вели себя совершенно независимо от царской власти. Еще в 1902 году, когда по желанию царя Российская академия наук отказала Горькому в звании академика, ранее ему присужденного, два академика, А. П. Чехов и В. Г. Короленко, демонстративно из состава Академии вышли. И, конечно же, их за это не арестовали, не сослали, а продолжали, как и прежде, печатать и изучать в гимназиях. С резкими антиправительственными статьями выступал Лев Толстой, но и его не только не арестовывали, но весьма уважали даже в правительственных кругах. [...] Несмотря на разногласия с Толстым, премьер-министр Столыпин глубоко Толстого уважал. Когда Лев Толстой умер, российский парламент прервал свою работу в знак траура. А ведь если сравнить критику Толстым всего русского общественного и государственного строя того времени с критикой советской системы, скажем, у Сахарова, то не может не броситься в глаза относительная безобидность, а главное, несомненно больший такт в критике у Сахарова.

В период думской монархии издавались литературные и искусствоведческие журналы самых разных направлений. Рядом с модернистскими журналами «Мир искусства» и «Весы» свободно распространялись книги марксистского издательства «Знание» и социалистический журнал «Русское богатство». Если откуда и исходила угроза свободе искусства и литературы, то не от правительства, а от левых общественных групп, буквально терроризировавших писателей и художников, которые им казались недостаточно прогрессивными. Зинаида Гиппиус вспоминала, как агрессивны были продолжатели революционных традиций Белинского, Чернышевского и Добролюбова: «*Те и то, что было вне этого течения (или стояния) считалось "реакцией" и уже не разбиралось. Между прочим, считалась "реакцией" и всякая религия, и тоже не разбиралось, какая и в чем она находила свое выражение. Это последнее: "религия—реакция" держалось очень долго*»[10]. Об идеологическом терроре «левых» в философии, науке, искусстве писали и авторы сборника «Вехи», крупнейшие русские мыслители Серебряного века. Левые идеологи жили как во сне: они никак не могли сообразить, что на дворе не времена крепостного права и неограниченного самодержавия, как при их учителях Белинском и Чернышевском, а Россия новая, движущаяся к действительному экономическому и социальному прогрессу. Если критика системы у революционных идеологов XIX века еще была достаточно обоснованной, то теперь, в 1907 – 1917 годах, оппозиция системе стала какой-то

[10] *Гиппиус З.* Мережковский. Париж, ИМКА-Пресс, 1951. С. 67.

инерционной и превратилась у некоторой части образованного общества просто в моду.

Начало XX века ознаменовалось возникновением чрезвычайно своеобразной русской философии, философии позитивного строительства духа. Впервые в истории русская философская мысль начала обгонять западную. Н. А. Бердяев, Лев Шестов, Сергий Булгаков и др. открыли законы экзистенциального мышления, персоналистическую идею, обнаружили связь философии с богословием за несколько десятилетий до того, как все это стало достоянием Европы.

Существенную роль в развитии русской культуры сыграли русские промышленники нового склада (которых по старинке еще называли купцами). Бурно развивалось меценатство. Купец Щукин понял значение французских импрессионистов, когда в Европе к ним еще относились весьма скептически. Щукин скупил большое число работ импрессионистов, так что и теперь благодаря ему Россия имеет чуть ли не самое большое собрание их картин. Третьяковская галерея, Щукинский и Морозовский музеи современной французской живописи, Бахрушинский театральный музей, собрание икон Рябушинского, частная опера Мамонтова, Художественный театр и многое другое лишь в Москве было создано усилиями русских промышленников. Русское искусство этого времени находится в смелых экспериментальных исканиях. Реформирование театра Станиславским, новая музыка Скрябина, формальные открытия русских символистов, футуристов, акмеистов, разумеется, никем не направляются и не запрещаются. Никакого деления на искусство официальное и неофициальное не существует, ибо не существует и единой, обязательной для всех официальной идеологии.

Русское искусство начинает завоевывать Запад. С. Дягилев демонстрирует в европейских столицах сначала (в 1906 году) новую русскую живопись, а затем (в 1907 году) — новую русскую музыку.

Эта эпоха определяется именами Александра Блока и Андрея Белого, Максима Горького и Ивана Бунина (первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе), Рахманинова и Шаляпина, Врубеля и Серова.

Никогда еще русская интеллигенция не жила такой богатой, пестрой по направлению исканий духовной жизнью. В обществах, кружках, салонах шли споры о смысле жизни, о школах в искусстве и в философии, об исторических судьбах человечества.

В общем, все классы и группы Российского государства ощущали приход новой жизни и могли смотреть вперед с надеждой.

Почему же этот строй, строй парламентарной монархии, демократических прав граждан, строй, принесший расцвет экономики и культуры, развалился в феврале 1917 года?

Погружаясь в события этой эпохи, видишь четыре основных обстоятельства, которые привели к падению монархии и приостановке прогрессивного развития России Во-первых, война, принесшая России только вред; во-вторых, реакционное упрямство и негибкость большой части верхов;

в-третьих, безудержная пропаганда левых партий; в-четвертых, духовная неразвитость масс.

Война приостановила развитие русской экономики, привела к вынужденным ограничениям прав человека, принесла горе семьям, потерявшим кормильцев. Русский народ, только что вступивший в период демократического развития, смог воспользоваться лишь семью годами для накопления опыта свободы. Вместо двадцати лет спокойной внутренней и внешней жизни, о которых мечтал великий преобразователь России, страна получила войну со всеми вытекающими из нее последствиями. Если бы П. А. Столыпин был жив, он ни в коем случае не допустил бы войны, в которой, между прочим, были заинтересованы как крайне правые, так и крайне левые силы. Столыпин был убит в 1911 году в результате заговора, объединившего левых и правых радикалов.

О катастрофических последствиях, которые может иметь война для трона и для России, предупреждал царя министр внутренних дел в правительстве Витте П. Н. Дурново. Записка Дурново (февраль 1914 года) разделена на главы, названия которых передают их суть: 2. Жизненные интересы Германии и России нигде не сталкиваются; 4. В области экономических интересов русская польза и нужды не противоречат германским; 5. Даже победа над Германией сулит крайне неприятные перспективы; 7. Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой трудно передать. Вывод Дурново: «*В случае поражения, возможность которого с таким врагом, как Германия, нельзя исключить, социальная революция в ее наиболее крайней форме неизбежна*»[11]. Так и произошло.

Почему же царь Николай II принял участие в развязывании европейской войны?

Последний русский царь Николай II был человеком, чьи представления о власти далеко отстали от требований времени. Правя демократизирующейся Россией, Николай II продолжал ее рассматривать как свою вотчину, этакое расширенное владение дома Романовых. Вследствие этого он находился в постоянном конфликте с русской общественностью (или она с ним — что все равно). Реформы, которые привели к коренному переустройству жизни в России, осуществлялись, как правило, преодолевая сопротивление царя; во всяком случае, он не был инициатором ни одной из серьезных реформ, а только соглашался или не соглашался с законодательными предложениями, выдвигаемыми со стороны его таких государственно мыслящих министров, как, например, С. Ю. Витте или П. А. Столыпин. Царь никогда не соглашался сделать правительство, то есть исполнительный орган, ответственным перед Думой, органом законодательным. Царь сам назначал министров и других руководящих лиц, которые и должны были отчитываться перед ним, а не перед Думой. Назначая министров, царь исходил, как правило, не из интересов страны, а из родственных и придвор-

[11] Журн. «Красная новь», 1922; журн. «Ауфбау»; Мюнхен, 1921.

ных соображений. Это вызывало возмущение даже людей, очень близких к царю. Так, Великий князь Александр Михайлович вспоминает, как он советовал Николаю сместить с поста главнокомандующего флотом Великого князя Алексея, дядю царя, вследствие его полной неспособности к этому делу. С этим требованием царь не согласился, ответив Александру Михайловичу: «Как я могу уволить дядю Алюшу? Любимого брата моего отца!» То же происходило и с Государственным советом, второй палатой русского парламента. Члены совета лишь наполовину избирались, другую половину назначал царь. Назначения царя были, как правило, чрезвычайно неудачными. Это дало основание Солженицыну в очередном узле «Красного колеса» сказать о членах Государственного совета: «*Думать о России — среди них было и исключение, думать о кресле — почти правило*». В защиту Николая II можно сказать, что иногда он назначал членами совета и достойных людей, вроде А. Ф. Кони, да и не всегда неудачен был его выбор министров. Во всяком случае, великий реформатор П. А. Столыпин, которого царь, мягко говоря, недолюбливал, был все же назначен на самую высокую должность — премьер-министра. Да и, почти ненавидя Думу, Николай II всеми силами старался с ней сотрудничать. Но силы эти были весьма ограничены его представлением о царе как помазаннике Божьем, которому принадлежит неограниченно вся власть в государстве. К1917 году разрыв царского правительства с обществом стал настолько явным, что даже правый депутат Думы Пуришкевич на пятой сессии государственной Думы заявил: «*Россия оппозиционна правительственной власти, ибо не верит ее государственной честности*»[12]. В это же время председатель Думы Родзянко говорил с раздражением царю: «*Нельзя так шутить с народным самолюбием, с народной волей, с народным самосознанием, как шутят те лица, которых вы ставите... Вы и ваше правительство все испортили. Революция неминуема*». Надо подчеркнуть, что Пуришкевич и Родзянко были принципиальными монархистами (второй — сторонник ограниченной монархии). Великий князь Александр Михайлович писал Николаю II: «*...я хочу, чтобы ты понял, что грядущая революция 1917 года явится прямым продуктом усилий твоего правительства*». Если такого мнения придерживались монархисты и даже члены императорской семьи, то можно представить, насколько ничтожным авторитетом пользовался Николай II со своим правительством у оппозиционных групп населения. Будучи оторванным от великих преобразовательных процессов, происходящих в России или, во всяком случае, не ценивший в достаточной степени эти процессы, Николай II позволил себя втянуть в войну, ставшую роковой и для его трона и для России вообще.

Но как бы ни препятствовал царь прогрессивному развитию страны, какой бы вред ни принесла стране война, думская Россия была достаточно сильна, чтобы удержаться у пропасти. Столкнули же ее в пропасть радикально левые партии, в течение всего последнего десятилетия перед рево-

[12] Вел. кн. Александр Михайлович. Там же. С. 175.

люцией ведшие разрушительную работу, направленную против позитивного государственного и общественного строительства. Если правые партии и царское правительство стремились сохранить порядок, не осуществляя никаких реформ, то левые партии хотели революции и не хотели порядка. Потому-то и крайне левые, и крайне правые ненавидели Столыпина, что он олицетворял идею сочетания твердого порядка с самыми решительными реформами русской жизни. Умеренно левые партии превращали Думу в говорильню, они проявляли полную неспособность конструктивно работать с правительством (да и правительство, к сожалению, подбрасывало левым депутатам Думы достаточно много воспламеняющегося материала). А крайне левые партии сознательно срывали работу Думы, сочетая даже участие в Думе с нелегальной работой по ликвидации думской монархии. Пожалуй, только одна партия — октябристы — более или менее последовательно поддерживала Столыпина и его преемника и последователя В. Н. Коковцова.

К 1913 году влияние радикально левых партий — большевиков и левых эсеров — снизилось почти до нуля. Война 1914 года явилась для них прямотаки неожиданным подарком: социальные конфликты, потерявшие свою остроту в результате осуществления реформ 1906 – 1907 годов, вновь обнажились и создали благоприятную возможность для безграничной демагогической деятельности подрывных сил. К тому же общество традиционно благоволило левым, приход в Россию либерализма прошел как-то мимо сознания некоторых общественных деятелей, и они в силу инерции продолжали быть оппозиционными во что бы то ни стало, чем всегда облегчали работу большевиков. В особенности отношение общества к левому террору было возмутительно легкомысленным. Любой террористический акт против правительственных чиновников рассматривался в некоторых общественных кругах как естественное выражение протеста. И даже когда был убит Столыпин, ни одна газета не задала вопрос: *«...а имеет ли право 24-летний хлюст* (террорист Богров. — *Г. А.*) *единолично решать, в чем благо народа и стрелять в сердце государства, убивать не только премьер-министра, но и целую государственную программу, поворачивать ход истории 170-миллионной страны?»*[13]

И, наконец, русский народ оказался неспособным сопротивляться разрушительной деятельности левых партий, которые давали ему неисполнимые демагогические обещания. В России происходило серьезное отставание духовного развития народа от материально-экономического. Философ и социолог князь Е. Н. Трубецкой писал в 1913 году: «*Несомненный, бросающийся в глаза рост материального благосостояния пока не сопровождается сколько-нибудь заметным духовным подъемом*». Особенно был заметен спад религиозного сознания народа, вызванный, с одной стороны, духом меркантилизма и потребительства, а с другой, кризисом Православной церкви. Русский народ не успел достаточно глубоко укорениться в законах либе-

[13] *Шульгин В.* Годы. М., изд. АПН, 1979. С. 316.

рального общежития. Философ И. А. Ильин писал: «*Россия рухнула прежде всего от государственного невежества, царившего и в простом народе, и в радикальной интеллигенции*».

Таковы четыре причины Февральской революции 1917 года. Ни одна из них в отдельности не привела бы к революции, более того, отсутствие хотя бы одной из них оставляло России шанс на спасение от развала. Но устоять против воздействия столь деструктивных явлений, выразившихся в исторически столь короткий срок, Россия не смогла.

И все же после свержения царя Россия имела еще один шанс. Создание республики доказало, сколько могучих духовных сил кроется и в русском народе и в русской либеральной интеллигенции. Россия была, в сущности, чуть ли не единственной страной в Европе, которая ликвидировала у себя остатки феодализма почти бескровно: во время февральской революции погибли 169 человек и было ранено около 1000; вспомним, как кроваво происходили французская революция 1789 – 1793 годов и европейские революции 1848 года. Временное правительство Российской республики не только не осуществляло никакого террора, но сразу же отменило вообще смертную казнь, провело всеобщую амнистию и объявило на ноябрь 1917 года созыв Учредительного собрания, которое должно было решить основные вопросы будущего устройства России. И все эти мероприятия проводились, — надо подчеркнуть, — во время войны, неизбежно вызвавшей во всех воюющих странах естественное в этой ситуации ограничение свобод и ужесточение наказаний за антигосударственную деятельность. Германский рейхстаг, например, вообще не собирался во время войны, в то время как русская государственная Дума продолжала работать, а антивоенные органы печати, хотя бы горьковская «Летопись», функционировали почти без всяких помех со стороны властей. Февральская революция сделала правительство ответственным перед Думой. Как выше отмечалось, даже Ленин признавал тогда, что в России после Февраля царствовала такая свобода, которую не знала ни одна из воюющих стран. Это мнение о Феврале не изменилось у большевиков по крайней мере до 1956 года, когда на XX съезде партии Микоян сказал: «*В результате Февральской революции трудящиеся России добились таких демократических прав, каких не было даже в США*».

Но именно эта свобода стала для России роковой. Еще не опытное правительство российской республики предоставило свободу всем.., в том числе тем, кто ставил своей целью уничтожение республики, а именно — большевикам. Временное правительство терпело даже существование параллельного органа власти — самозванных советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, созданных представителями левых партий и рассылавших свои приказы по всей стране в обход решений Временного правительства. Когда в апреле 1917 года Ленин, прибыв из эмиграции, открыто провозгласил, что задача большевистской партии — социалистическая революция и ликвидация парламентской республики, он не только не был арестован, но был торжественно принят в среду вождей новой республики. (Но как можно

обвинять русское Временное правительство в наивности, когда и сегодня, имея за собой печальный опыт русской революции, некоторые западные демократические страны терпят у себя легальную деятельность партий и лиц, цель которых — ликвидация демократий?)

Временное правительство оказалось способным осуществлять идеи безграничной свободы, но не способным твердой рукой бороться с врагами свободы. В некоторое оправдание ему можно лишь сказать, что ни один компетентный политический деятель того времени не относился всерьез к большевистской партии. Даже социалисты лишь посмеивались над, как они полагали, прожектерскими речами Ленина, которые-де никакого влияния на ход событий оказать не могут. Основоположник русского марксизма Плеханов, услышав апрельское выступление Ленина, заявил: «*Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит социалистической революции, а только вызовет гражданскую войну, которая в конце концов заставит его отступить далеко назад от позиций, захваченных в феврале*». Плеханов не мог предвидеть, что пролетариат был лишь пустым звуком в политическом лексиконе Ленина: октябрьскую контрреволюцию Ленин совершил не руками пролетариата, а от имени его — руками плебса, направляемого железной волей большевистских функционеров, охваченных всякого рода утопическими идеями...

...В какую реальность воплотилась эта утопия, известно...

1984, № 42

НИКОЛАЙ УЛЬЯНОВ

Замолчанный Маркс

В личности и в учении апостола коммунизма есть глава, которую широкий читатель не знает. Если «Капитал», «Коммунистический Манифест», «Анти-Дюринг» и прочие «богослужебные» книги выпускаются огромными тиражами и прямо-таки навязываются публике, то для ознакомления со статьями из «Новой Рейнской Газеты» надо обращаться к малораспространенным и редко встречающимся изданиям. Такой труд, конечно, не для массового читателя. Последователи же Маркса и марксоведы отнюдь не ставят задачей облегчение знакомства с ними. Если им и приходится порой касаться пикантного материала, они почти всегда сглаживают его одиозность. Даже Эдуард Бернштейн, «ревизионист», первый посягнувший на культ непогрешимости учителя, старается оправдывать самые дикие его высказывания.

Только политические противники Маркса, вроде Джемса Гийома, давно отметили их «дикость», но их одинокие голоса заглушены дружным хором марксистов. Из русских «полу-марксистов», едва ли не единственным, обратившим внимание на ересь вождей, был В. М. Чернов — лидер партии эсеров. Он напечатал серию статей (под псевдонимом Гарденин) «Марксизм и славянство», которая летом 1917 года вышла в Петрограде отдельной брошюрой. В буре тех дней она вряд ли привлекла к себе внимание; с приходом же к власти большевиков поднятая в ней тема попала в разряд запретных и пребывает таковой до сего дня.

Между тем, никогда за все 150 лет, протекших со дня рождения создателя «научного социализма», не было более удачного момента, чем сейчас, чтобы припомнить такие его высказывания, о которых ортодоксальные марксисты стараются не говорить, как о секретной болезни. Именно сейчас, когда мировая революция делает ставку на национальные противоречия, когда ни «пролетариат», ни «революционное крестьянство», ни даже «трудящиеся» не фигурируют в революционном словаре, уступив место «народам», «сегрегациям», «расовым дискриминациям», полезно открыть запечатанную книгу и посмотреть, что писал о «расах» тот, кто призывал пролетариев всех стран соединяться и кто считается создателем современного учения о политическом расширении национальной проблемы. Говорю «считается», по-

тому что на самом деле это учение создано не им, а его эпигонами в эпоху II Интернационала. [...]

Между теоретиками II Интернационала и Марксом — глубокая пропасть в воззрениях на национальный вопрос. Чтобы не перечислять всех противоречий, коснемся знаменитого права нации на самоопределение. Этого нет у Маркса. Самое слово «самоопределение» берется часто в иронические кавычки. Если он и требовал иногда свободы и независимого государственного существования для какого-нибудь народа (ирландцев, поляков, итальянцев), то не в силу права и справедливости, а по сугубо утилитарным соображениям. Независимости Ирландии хотел не для самой Ирландии, а для ускорения государственного переворота в Англии. Потребовал на международном конгрессе в Женеве (1866 г.) самоопределения национальностей Российской Империи, но слышать не хотел о таком же самоопределении австрийских и турецких славян. Скорейшей гибели и уничтожения — вот чего желал он этим наиболее угнетенным народам Европы. Внимание же его к российским народам он откровенно объяснял намерением разрушить Империю.

Он никогда не понимал «самоценности» права на самоопределение.

В революционном 1848 году поднялись венгры и чехи. Оба восстания имели одну и ту же цель — вырвать свою страну и народ из-под австрийской власти. Но все симпатии Маркса-Энгельса принадлежали только одному из них — венгерскому; другое, чешское, упоминается не иначе, как с величайшей злобой, оно объявлено «реакционным», и чехам грозят за него местью.

Современному читателю трудно примирить такие высказывания с укоренившимся представлением о Марксе — глашатае интернационализма и руководителе I Интернационала. Исторические факты не дают ни малейшего права делать различия в природе венгерского и чешского восстаний. Но Маркс не исходил из фактов. Он руководствовался отвлеченной исторической доктриной. В молодости оба они с Энгельсом были гегельянцами, и многое из гегелевского учения тяготело над ними всю жизнь, особенно популярное в те времена деление народов на исторические и неисторические.

У Гегеля оно основывалось на идее саморазвития мирового духа, Маркс и Энгельс подвели под него свой собственный базис в виде учения об экономическом прогрессе. Историческими народами были для них те, которые преуспевали в смысле материального процветания и на его основе создали крепкую государственность и культуру. Они — носители прогресса, хозяева истории. Им позволено устранять со своего пути народы отсталые, забирать их земли, богатства и самих уничтожать. Американцам не ставят в вину захват Техаса и Калифорнии, вырванных «из рук ленивых мексиканцев». Мексиканцы не знали, что с этими землями делать, а вот янки за короткий срок развили там кипучую деятельность, насадили промышленность, построили города, принесли цивилизацию на берега Тихого океана. «*Быть может*, — пишет Маркс, — *“независимость” некоторого числа испанских калифорнийцев и техасцев потерпела от этого; быть может, “справедливость” и другие моральные принципы были нарушены там и сям при этом случае, но что*

значат эти нарушения против таких всемирно-исторических фактов?» Надо ли говорить, что оправданием захвата Техаса и Калифорнии оправдывался и захват Египта, Конго, Южной и Северной Африки и все колониальные захваты времен Дизраэли, Жюля Ферри, Бисмарка, Бюлова, Леопольда II... Что сказал бы Маркс своим теперешним последователям, выбросившим лозунг «антиколониализма»?

В одной из корреспонденции в «Нью-Йорк дейли трибюн» он описывал хозяйничанье англичан в Индии. Ему прекрасно были известны их хищнические приемы, беспощадный грабеж, следствием чего было неслыханное по размерам вымирание индусов. Но все прощается англичанам за их роль разрушителей патриархального хозяйственного уклада и быта туземцев, за внедрение в индусскую экономику капиталистических начал. Он уподобляет это социальной революции: «*Совершая эту социальную революцию в Индостане, Англия, конечно, руководилась исключительно низменными интересами и действовала грубо, желая добиться своего. Но дело не в этом.* [...] *Англия, каковы бы ни были ее преступления, при совершении этой революции была лишь невольным орудием истории*».

Как примирить все это с социалистическим учением?

Автор «Капитала» вышел из положения гениально. Он объявил неисторические народы реакционными — врагами прогресса и революции. «*Нет такой страны в Европе, которая не обладала бы в том или другом уголке обломками одной или нескольких народностей, представляющих остатки прежнего населения, затесненного и угнетенного тою народностью, которая стала потом носительницей исторического развития. Эти остатки племен, безжалостно растоптанных ходом истории,.. становятся и остаются вплоть до их полного угасания или денационализации фанатическими приверженцами и слугами контрреволюции, так как уже все их существование представляет вообще протест против великой исторической революции*». Напротив, история экономически и государственно сильных национальностей священна, как история избранных народов.

В Австрии существуют, по мнению Маркса, только три таких носителя прогресса, принимавших деятельное участие в истории и сохранивших свою жизнеспособность: немцы, венгры и поляки. И потому они революционны. «*Миссия всех других крупных и мелких племен заключается, прежде всего, в том, чтобы погибнуть в революционной мировой буре. И потому-то они теперь контрреволюционны*»... «*Все эти маленькие тупо-упрямые (stierkoepfigen) национальности будут сброшены, устранены революцией с исторической дороги*».

Нет нужды распространяться о том, как звучат подобные речи для современного уха, воспитанного на идее национальной терпимости и на осуждении расовой ненависти. Но нельзя не удивляться, что это изуверство вот уже сто лет не встречает слова осуждения со стороны последователей коммунистического пророка и не наложило на ореол его святости ни малейшего пятна. И это в то время, когда его именем разрушаются колониальные империи и создаются государства среди людоедских племен.

Сколько раз и в статьях, и в переписке Маркса-Энгельса мы встречаемся с утверждением, будто реакционность славян объясняется не одним их участием как солдат в подавлении немецких и венгерских восстаний; она им присуща «от природы»! Славяне и тысячу лет тому назад были контрреволюционны, подобно тому как немцы и мадьяры были революционерами еще при Карлах Великих, при Фридрихах Барбароссах. [...] Славян с одинаковым возмущением упрекали в двух взаимно исключающих друг друга грехах: в том, что они стоят не за революцию, а за Габсбургов, и в том, что устраивают восстания против Австрийской империи. Читателям так и не объясняют, каким образом можно соединить верность Габсбургам со стремлением выйти из-под их власти. Не объясняют и другое: почему венгры, захотевшие отделиться от Австрии, сохранили репутацию революционеров, а славяне за такое же точно намерение предаются анафеме. С ними обещают свести счеты после революции. «*Кровавой местью отплатит славянским варварам*, — грозит Энгельс, имея в виду победу революционной стихии, — *всеобщая война, которая тогда вспыхнет, рассеет этот славянский Зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций*».

Когда Чернов-Гарденин в 1915 году с возмущением говорил об идее деления народов на революционные и контрреволюционные, Ленин горячо вступился за своего учителя. «*Мы, марксисты*, — заявил он, — *всегда стояли и стоим за революционную войну против контрреволюционных народов. Например, если социализм победит в Америке или в Европе в 1920 году, а Япония с Китаем, допустим, двинут тогда против нас, сначала хотя бы дипломатически, своих Бисмарков, мы будем за наступательную революционную войну с ними*».

Правда, по Ленину, Китай и Япония контрреволюционны лишь в том случае, если двинут своих Бисмарков, по Марксу же они будут контрреволюционны и в том случае, если не двинут их.

Англичане беспощадно подавляли ирландские восстания, пруссаки подавили дрезденское восстание, австрийцы задушили освободительные восстания чехов, итальянцев, венгров, тем не менее, ни англичане, ни обожаемые немцы не отнесены к нациям реакционным. Маркс-Энгельс могли поругивать Виндишгреца, Радецкого, но состоявших под их командой немцев ни в одном контрреволюционном грехе не заподозрили. Чехи же, хотя и подняли восстание и героически сражались на баррикадах, — реакционны. Реакционны как раз потому, что восстали, ибо восстали — против немцев. В те самые дни, когда на улицах Праги лилась кровь, оба друга писали в «Новой Рейнской газете»[1], что хотя им по-человечески и жаль чехов, но «*победят они или потерпят поражение, их национальная гибель во всяком случае неизбежна*». В той великой борьбе между реакционным Востоком и революционным Западом Европы, что должна разразиться всего, может быть, через несколько недель, восстание чехов против немцев ставит их на сторону русских — на сторону деспотизма против революции. «*Но революция*

[1] Передовая статья от 17 июня 1848 г.

победит, — угрожали они, — *и чехи окажутся первыми жертвами угнетения с ее стороны*». Чехам, таким образом, нет спасения: если их не добьет и не достреляет князь Виндишгрец, то добьет и достреляет Карл Маркс на другой день после победы революции. Они обязаны исчезнуть как национальность, потому что имели несчастье попасть в разряд народов «неисторических»[2].

* * *

Марксу не принято приписывать националистических страстей. Но как объяснить несомненную и ярко выраженную неприязнь к целому ряду народов? Допустим, что авторы «Коммунистического Манифеста», в самом деле, ничем, кроме социализма, не горели, — это не спасает их от упрека. Горение на манер вышеописанного не делает чести ни им, ни социализму.

В таком случае, чьим шовинистом мог быть Маркс?

Еврейским, поскольку он еврей? Но он и о евреях писал столь неласково, что существуют печатные работы, обвиняющие его в антисемитизме.

Значит, немецким?

Как ни странно звучит сейчас такой вопрос, отбросить его не так просто. То, что почти не встречается в наши дни, было сравнительно частым явлением во дни Маркса. В Германии до самого прихода Гитлера было немало евреев, называвших себя немцами иудейского вероисповедания. А Маркс, несмотря на большое количество предков-раввинов, не принадлежал к иудейству. Уже отец его был протестант; сам же он, хотя и сделался в юношеском возрасте атеистом, воспитан в протестантизме, а мать и старшая сестра Софи являли типы настоящих протестантских фанатичек. Все это — не в пользу его еврейства. Если прибавить женитьбу на Женни фон Вестфален и постоянное вращение в немецких кругах и семьях, то нетрудно понять его германизацию. К тому же, как это рисует в своей книге Б. Николаевский[3], нигде, быть может, не существовало более удачных условий для ассимиляции евреев, чем в Германии. На Маркса, как на в высшей степени одаренного человека, не могла не оказать влияния и культура страны, особенно великая немецкая философия. Едва ли не Гегель, чьим поклонником он был в молодости, привел его к германизму. Ведь конечным пунктом всемирного развития и наивысшим воплощением мирового духа, по Гегелю, было прусское государство Фридриха-Вильгельма III. Раз сам мировой дух был прус-

---

[2] Bertman D. Wolfe в своем труде «Le marksisme, une doctrine centenaire» пишет: «*О "славянской сволочи" (Lumpengesindel) Маркс писал уже в своей статье, подводившей итоги революционного 1848 года. Немного позже, в феврале 1849 г., ту же тему развил Энгельс, заявляя, что судьба западных славянских народов — "дело уже конченное". "Их завоевание совершилось в интересах цивилизации... Разве же это было "преступление" со стороны немцев и венгров, что они объединили в великой империи эти бессильные, расслабленные, мелкие народишки (Nationchen) и позволили им участвовать в историческом развитии, которое иначе... осталось бы им чуждым?!"*»

[3] *Nicolaevskii B.* Karl Marx, man and fighter. 1936.

саком, то почему бы не идти по его стопам Карлу Марксу? От еврейства он мог усвоить темперамент, психический склад, но по умонастроению был совершенным немцем. После войны 1870 года, когда в «Интернационале» его пангерманизм стал вызывать толки, он с гордостью отвечал: «Да, я немец и хороший немец» (von Haus aus ein Deutscher)[4].

Что марксизм вылупился из немецкого гегельянства, это знают все, но что «революционная нетерпимость» Маркса родилась из немецкой национальной нетерпимости и высокомерия, этого знать не хочет ни один марксист. Гегель был, по-видимому, главным виновником того, что немецкий народ для Маркса имел все права на первенство. Достаточно беглого просмотра его сочинений и переписки, чтобы заметить особый тон всякий раз, когда речь заходит о немцах. Это ничего, что он и Энгельс частенько поругивают Бисмарка, Фридриха-Вильгельма, Вильгельма I, прусских юнкеров. Критика была семейная. Но во всех высказываниях, касавшихся общего взгляда на германский мир, у них неизменно звучали фанфары. Они ведь родились и выросли в эпоху шумного превознесения германского гения и сознания превосходства всего германского. Порой они давали образцы настоящего юнкерского патриотизма, как это было во время франко-прусской войны. Победы пруссаков они называли в своей интимной переписке «нашими блестящими победами». Тут они не далеко ушли от Лассаля, мечтавшего «*дожить до времени, когда турецкое наследство достанется Германии и когда немецкие полки солдат или работников будут стоять на Босфоре*».

Но патриотизм Маркса сказался в специальной области. Его национальная гордость состояла в том, чтобы не где-нибудь, а именно в Германии восторжествовало то дело, которому он посвятил жизнь. Честь открытия новой эры в истории должна принадлежать умнейшей и образованнейшей стране, породившей его — Маркса. В первое же десятилетие своей политической деятельности он до такой степени выявил эту тенденцию, что один из наблюдательных испанских парламентариев, Донозо Кортез заметил в 1850 году: «*У социализма существуют три великие арены: во Франции находятся ученики и только ученики, в Италии — исполнители чужих преступных замыслов и только исполнители; в Германии же — жрецы и учители*». Ex Germaniae lux!

Статьи Маркса-Энгельса в «Новой Рейнской газете» свидетельствуют, что для этих людей всё совершившееся в 1848 году в Европе вершится вокруг одного стержня, одного имени, и это имя — Германия. Ожидая решающих для Европы событий, они и в мыслях не держат, будто разыграются они в любой другой развитой промышленной стране. Где бы они ни начались, главной ареной будет Германия и триумфальный парад победных революционных армий состоится не в Париже и Лондоне, а в Берлине. Позднее, когда образовался Интернационал и Маркс добился в нем руководящей роли, всякие сомнения в великом провиденциальном назначении Германии отпали. [...]

---

[4] *Guillaume J.* Karl Marx pangermaniste. Paris, 1915.

Ради этих национальных страстей Маркс уже в 1848 году пошел на компромисс со своей теоретической совестью. Объявив немцев, в противоположность славянам, народом революционным, он погрешил против своей собственной теории прогресса, согласно которой никакая страна не может мечтать о революции, не имея к тому предпосылок в виде развитой промышленности и особого «радикального класса, связанного радикальными целями», — пролетариата. Его еще не было тогда в Германии, Энгельс в письме Вейдемейеру от 12 апреля 1853 года с грустью писал, что «*в такой отсталой стране, как Германия, в которой имеется передовая партия, втянутая в передовую революцию, вместе с такой передовой страной, как Франция*», — эта партия оказывается в трагическом положении: в случае серьезного конфликта она не имеет шансов очутиться у власти, как это полагалось бы; стремление к власти для нее было бы преждевременным по причине общей отсталости страны и немногочисленности пролетариата. Маркс настойчиво вменял в обязанность Германии создание собственного пролетариата. В 1865 году он жаловался Энгельсу на невозможность «далеко уехать» по пути революции на немногочисленном немецком рабочем классе.

Значит, по сравнению с англичанами и французами, немцы имели столько же прав на звание передового революционного народа, сколько и презираемые Марксом «неисторические» славянские народы. Но славян он заклинает сгинуть с лица земли, а немцев всячески выводит в люди. Придумывает для них любопытный прием: «*В Германии все дело будет зависеть от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо вторым изданием крестьянской войны*». На простом языке это значит: если пролетариат в Германии слаб и ничтожен, так это ничего — сделаем пролетарскую революцию крестьянскими руками; если наша «передовая партия» висит в воздухе, не имея социального базиса, — неважно! — лишь бы добраться до власти. Подхватывая тему захвата власти, Энгельс предлагает уже заранее подготовить в *нашей партийной литературе* историческое оправдание *нашей партии* на тот случай, «если это действительно произойдет».

Не звучит ли в этих рассуждениях что-то до ужаса нам знакомое? Не ленинская ли это постановка вопроса о пролетарской революции в России, где не обязательны ни развитая индустрия, ни многочисленный пролетариат, но обязательна и необходима «передовая партия» для совершения переворота любыми средствами? В 1848 году в Германии и в 1917 году в России революция готовилась не по марксистской теории, а вопреки ей.

Германия до самой смерти Маркса оставалась наименее индустриальной из всех великих стран Запада, но, невзирая на это, Маркс считал ее очагом прогресса и гегемоном пролетарского международного движения. Вся деятельность его направлена была на перенесение центра этого движения в Германию.

Сохранилось замечательное письмо его Энгельсу от 20 июля 1870 года — перед самым началом франко-прусской войны. Пересылая своему другу выпуск «Reveil» со статьей старика Делеклюза, будущего героя Па-

рижской Коммуны, Маркс рвет и мечет по поводу одной фразы в этой статье: «Франция — единственная страна идей». «*Это чистейший шовинизм!* — восклицает он. — *Французов надо вздуть (die Franzosen brauchen Pruegel). Если прусаки победят, то централизация государственной мощности будет использована для централизации германского рабочего класса. Кроме того, преобладание немцев перенесет центр тяжести европейского рабочего движения из Франции в Германию. Достаточно сравнить движение в этих двух странах с 1866 года до настоящего времени, чтобы видеть, что германский рабочий класс выше французского, как с точки зрения теоретической, так и организационно. Преобладание на мировой арене немецкого пролетариата над французским будет в то же время преобладанием нашей теории над теорией Прудона*».

В этой «нешовинистической» тираде что ни слово, то смертный приговор революционно-интернационалистической репутации Маркса. До более тесной зависимости германской социал-демократии от успехов германского оружия не доходил и Лассаль, пытавшийся одно время заключить союз социализма с пруссачеством. Надобно знать негодование Маркса, с которым он отнесся к попытке Лассаля договориться с Бисмарком, чтобы в полной мере оценить приведенный здесь отрывок его письма. Напустить Мольтке и Бисмарка на французов, возомнивших себя носителями революционной идеи, выколотить из них такое высокомерие и под пушками заставить признать превосходство марксизма над прудонизмом — это ли не образ мыслей, достойный руководителя «Международного Товарищества Рабочих»!

Таков он был и во время войны. Соблюдая социал-демократическое лицо в воззваниях Генерального совета Интернационала, он, в частной переписке, — совершенный пруссак. «Французов надо вздуть!» Он и Энгельс решительно одергивают простака Либкнехта, когда тот честно, по социал-демократическому уставу, вздумал обличать свое правительство и чинить неприятности Бисмарку. Главное — конечно — победа над Францией. Так явствует из писем. Энгельс в восторге от мощного патриотического подъема всех слоев немецкого населения, единодушно поддерживающего свое правительство, и освящает этот порыв как здоровое национальное чувство, потому что Германия, по его мнению, боролась за свое национальное существование. Французы же — отпетые шовинисты: как буржуа, так и пролетарии, как бонапартисты, так и социалисты; «*до тех пор, пока этому шовинизму не будет нанесен удар, и крепкий удар, мир между Германией и Францией невозможен*». «*Я думаю*, — заявляет он, — *что наши* (т. е. немецкие социал-демократы. — *Н. У.) могут примкнуть к национальному движению*». Маркс вторит ему: «*Война сделалась национальной*». Он вполне разделяет восторг Энгельса по поводу первых побед пруссаков. [...]

Но вот Наполеон III взят в плен, низложен, и в Париже объявлена республика. Немецкая социал-демократия в речах и воззваниях восторженно ее приветствует. Не могли не принять в этом участия и оба друга.

Стоило, однако, французской секции Интернационала обратиться к немецкому народу с призывом прекратить братоубийственную войну и вывести войска из пределов Франции, как в переписке двух Аяксов начинает звучать прежняя нота. «*Прокламация парижского Интернационала,* — по словам Энгельса, — *определенно свидетельствует о том, что эти люди вполне во власти фразы. Эти субъекты... вообразили теперь, когда победоносные немцы подарили им республику (и какую!), будто Германия должна немедленно оставить священную землю Франции, иначе — война до конца! Это старинное увлечение: превосходство Франции, неприкосновенность ее почвы, освященной 1793 годом, — которое с некоторых пор служит средством прикрывать все французские свинства святостью слова республика*». Неделю спустя после этого письма у Энгельса звучит нота сожаления, что французов не удалось *вздуть* так, как этого бы хотелось ему. «*Продолжающаяся война начинает принимать неприятный оборот. Французы еще недостаточно побиты (die Franzosen haben noch nicht Pruegel genug), но, с другой стороны, Германия слишком уж торжествует*».

Будь все приведенное здесь сказано обычным немецким патриотом, оно не представляло бы ни малейшего интереса, но в устах проповедников единения человечества (или хотя бы только пролетариата), апостолов братства народов, борцов против национальной ограниченности — это образец редкого лицемерия. Прорвавшийся у них матерый германизм не остался незамеченным. Не одни французы, но и социалисты многих стран возмущены были Марксом как руководителем той части Интернационала, что избрала в качестве своей штаб-квартиры крошечный городок Брауншвейг. Сразу же после войны началось против него восстание романских секций Интернационала. В марксоведческой литературе оно расценивается как борьба двух идейных течений, как борьба бакунизма с марксизмом, но немарксистские авторы усматривают корень распри не в столкновении социалистических доктрин, а в национальных страстях и противоречиях. На социалистические доктрины и учения у Маркса существовал такой же взгляд, как и на «неисторические» народы: все они должны исчезнуть, уступив место его, Маркса, гениальному открытию. [...]

Между тем, печать «made in Germany» слишком ясно бросалась в глаза современникам. Недовольны были и тем, что Интернационал, фундамент которого заложен был не социалистами, а рабочими и первоначально носивший характер цехового пролетарского содружества, превращен был Марксом в заговорщицкую организацию. Пробравшись к руководству, Маркс проявил абсолютную политическую нетерпимость. Он не только начал учить уму-разуму французов, англичан, швейцарцев, но и пускать в ход грубые способы давления, вовлекать их в ненужные и несимпатичные им политические акции, а всех сопротивляющихся поносить и обличать их «оппортунистические», «мелкобуржуазные», «мещанские» заблуждения.

Гибель I-го, так же, как распад II-го Интернационала совершились на почве национальных противоречий.

* * *

Но вернемся к самой яркой, к самой расистской теме высказываний Маркса-Энгельса — о славянах. Ни о ком не отзывались они с большей ненавистью и презрением. Славяне не только варвары, не только «неисторические» народы, но — величайшие носители реакции в Европе. По словам Энгельса, они — «особенные враги демократии», главное орудие подавления всех революций. [...] Мало того, в тех случаях, когда душителями чьей-либо революции откровенно выступали немцы, наши друзья призывали не верить этому. «*До сих пор*, — пишет Энгельс, — *всегда говорилось, что немцы были ландскнехтами деспотизма в Европе. Мы отнюдь не намерены отрицать позорную роль немцев в позорных войнах 1792 – 1815 гг. против Французской революции, в угнетении Италии после 1815 года и Польши после 1772 года. Но кто стоял за спиной немцев, кто пользовался ими в качестве своих наемников или авангарда? Англия и Россия. Ведь русские и поныне еще похваляются тем, что они своими бесчисленными войсками решили падение Наполеона, и это, конечно, в значительной степени правильно. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что среди тех армий, которые своими превосходящими силами оттеснили Наполеона от Одера до Парижа, три четверти составляли русские или австрийские славяне.* [...] *При разделе Польши конкурировали между собою одно славянское и одно полуславянское государство*». Австрия у Маркса и Энгельса часто обозначается как полуславянская держава, а кое-где говорится, что она и управляется славянами. [...]

Вообще статьи в «Новой Рейнской газете», да и большинство обзоров текущей политики двух друзей представляют такую бездну безответственных обобщений и выводов, личных, партийных и национальных пристрастий и самого простого невежества, что хочется внимательно посмотреть в лицо тем, кто до сих пор видит в этом образцы «научного социализма».

* * *

Напрасно, однако, думать, будто славян считают врагами демократии только за их службу в австрийской армии и за участие в карательных экспедициях. Эта вина — так себе, небольшая; главная причина — в их стремлении к национальной независимости.

Бакунинское «Воззвание к славянам» вызвало пароксизм бешенства у обоих авторов «Коммунистического Манифеста». Не довольствуясь ссылками на объективную невозможность независимых славянских государств, не располагающих для этого ни географическими условиями, ни экономическими ресурсами, они усматривают главное зло в ущербе, который будет нанесен немцам.

«*Поистине положение немцев и мадьяр было бы весьма приятным*, — писал Энгельс, — *если бы австрийским славянам помогли добиться своих так называемых прав! Между Силезией и Австрией вклинилось бы независимое богемо-моравское государство; Австрия и Штирия были бы отрезаны «южнославянской республикой» от своего естественного выхода к Адриатическому и*

Средиземному морям; восточная часть Германии была бы искромсана, как обглоданный крысами хлеб! И все это в благодарность за то, что немцы дали себе труд цивилизовать упрямых чехов и словенцев, ввести у них торговлю и промышленность, более или менее сносное земледелие и культуру!»

С негодованием цитируются те места из «Воззвания к славянам», где говорится о «*проклятой немецкой политике, которая думала только о вашей гибели, которая веками держала вас в рабстве*», о «*мадьярах, ярых врагах нашей расы, едва насчитывающих четыре миллиона человек, похваляющихся, что возложили свое ярмо на восемь миллионов славян*». Энгельс пышет возмущением: как! Упрекать немцев и мадьяр за их великую цивилизаторскую миссию?! Ведь без них австрийские славяне остались бы глубокими варварами. Да и самое слово *угнетение* вовсе не подходит для выражения характера взаимоотношений немцев со славянами. Слово это Энгельс берет в кавычки. Что же до насильственной германизации, так ее попросту не было. «*Немецкая промышленность, немецкая торговля и немецкая культура сами собой ввели в стране немецкий язык*». Насильственную германизацию он признает только в отношении полабских славян, но считает, что их завоевание было в интересах цивилизации. Энгельс бесконечно благодарен средневековым Генрихам Львам и Альбрехтам Медведям, приобщившим железным мечом славян к германской культуре. Он поет дифирамбы подвигам старинных завоевателей. Централизация — это прогресс. «*И вот теперь являются панслависты и требуют, чтобы мы уничтожили централизацию, которая навязывается этим славянам всеми их материальными интересами! Словом, оказывается, что эти "преступления" немцев и мадьяр против упомянутых славян принадлежат к самым лучшим и заслуживающим признания деяниям, которыми только могут похвалиться в своей истории наш и венгерский народы*».

В ответ на призыв Бакунина «*бороться не на жизнь, а на смерть, пока, наконец, славянство не станет великим, свободным и независимым*», Маркс и Энгельс писали: «*...если революционный панславизм принимает эти слова всерьез и будет отрекаться от революции всюду, где дело коснется фантастической славянской национальности, то и мы будем знать, что нам делать. Тогда "беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть" со славянством, предающим революцию, на уничтожение, и беспощадный терроризм*».

Напрасно оба друга спешат добавить, будто провозглашаемая ими борьба будет не в интересах Германии, а в интересах революции; ничем другим, кроме старинной расовой ненависти, язык этот не мог быть продиктован. Ненависть к славянству — отличительная черта немецкой государственности и немецкого духа. «*Я ненавижу славян. Я знаю, что это нехорошо, нельзя ненавидеть кого бы то ни было, но я ничего не могу поделать с собой*», — признавался Вильгельм II. Не обладая честностью Вильгельма, Маркс и Энгельс вуалировали свой, поистине нацистский шовинизм соображениями «революционной стратегии». Но они дали слишком много доказательств того, что не в революции и не в стратегии тут дело. Для людей, объявивших классовую борьбу движущей силой истории, по меньшей мере непоследо-

вательно подменять ее борьбой между нациями. Сущим лицемерием была фраза в «Учредительном манифесте» Интернационала, призывавшая добиваться того, чтобы «*простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали господствующими нормами и в международных отношениях*». Писал это тот редактор «Новой Рейнской газеты», который в 1849 году печатал в ней свои прогнозы о скором наступлении мировой революционной войны, долженствующей стереть с лица земли «*не только реакционные классы и династии, но целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом*».

* * *

Напрасной была бы попытка представить эти настроения как временные или как заблуждение молодости. Они сопровождали Маркса до могилы. В 1877 – 1878 гг., во время Балканской войны, когда турки начали беспощадную резню болгар и когда даже «колониалист» Гладстон выпустил книгу с протестом против таких зверств, Маркс, живший в то время в Лондоне, объявил Гладстона русским агентом, а турецкие зверства — русской выдумкой. Друг его и оруженосец Вильгельм Либкнехт в Германии цинично заявил, что брожение на Балканах ничего общего с освободительной борьбой не имеет; он, Либкнехт, не знает славян, стремящихся к свободе. Этот господин выпустил книгу — «Zur orientalischen Frage, oder: Soil Europa kasakisch werden? Mahnwort an das deutsche Volk», — где развивал обычный марксистский взгляд на славян как на удобрение истории и на оплот русского деспотизма. Вся германская социал-демократия, марксистская и немарксистская, отличалась такими же настроениями. [...]

От современников не укрылась такая славянофобия.

«*Есть ограниченные умы и узкие народные ненависти, которых убедить я не берусь*, — писал Герцен в 1859 году, — *они ненавидят не рассуждая. Возьмите, чтобы не говорить о своих* (Герцен пишет поляку. — *Н. У.*), *статьи немецких демократов, кичащихся своим космополитизмом, и вглядитесь в их злую ненависть ко всему русскому, ко всему славянскому... Если б эта ненависть была сопряжена с каким-нибудь желанием, чтобы Россия, Польша были свободны, порвали бы свои цепи, я бы понял это. Совсем не то. Так, как средневековые люди, ненавидя евреев, не хотели вовсе их совершенствования, так всякий успех наш в гражданственности только удваивает ненависть этих ограниченных, заклепанных умов*»[5].

Но все-таки была одна славянская страна, не только не ввергнутая марксистами в Тартар, вместе с «неисторическими» народами, но вознесенная в революционное лоно Авраамово. Это Польша. Постоянно подчеркивалось: Польша — это не то, что прочие славяне, это гордый лебедь революции среди гадких утят славянства. Маркс и Энгельс в 1848 году были самыми горячими ее поклонниками. Либерально-революционная ее репутация сло-

[5] «Колокол» от 16 января 1859 г.

жилась еще до них: особенно утвердилась она после 1831 года. Причина, по которой Европа так возлюбила Польшу, лучше всего видна из манифеста польского «Демократического общества» 1836 года:

«*Польша в прошлом всегда защищала Запад от варварских вторжений татар, турок и москалей. Польша погибла потому, что, когда на Западе освободительная человеческая мысль объявила войну старому порядку, на защиту которого ополчился русский деспотизм, Польша, исполняя свою историческую миссию, вступила в борьбу с этой силой, но была побеждена. Спасение Европы было отложено. Отсюда вытекал тот вывод, что дело спасения Польши есть дело спасения не одной только Польши, но всего человечества*».

Из этой декларации видно, что сами поляки «историческую миссию» свою усматривали в сторожевой роли на Востоке. Турецко-татарская опасность миновала, значит, спасать Европу приходилось от *москалей*. За эту роль извечного врага России Европа и ценила Польшу. Больше всех ценили авторы «Коммунистического Манифеста». Энгельс писал в 1849 году, что «*ненависть к русским была поныне и останется у немцев их первой революционной страстью*». Поляки были им милы, прежде всего, как враги России, а вовсе не за то, что слыли прирожденными революционерами. Обывательская и политическая Европа, разбиравшаяся в польском вопросе столько же, сколько в русском, понятия не имела о шляхетском характере польских восстаний, целью которых было национальное освобождение, и только. Руководители этих восстаний готовы были приветствовать революцию в любой стране, за исключением своей собственной. Только немногие, вроде Прудона, порицавшего Герцена за альянс с поляками, понимали это. Но понимали ли Маркс и Энгельс? Знали ли, что Польшу можно любить и ценить за что угодно, только не за революционность? Безусловно, знали. [...]

[Как видно из их переписки,] оба друга прекрасно разбирались во внутренних социально-политических делах Польши. Но, презирая польских патриотов, они постоянно поддерживали идею восстановления Польши, преимущественно Царства Польского, т. е. русской ее части, умалчивая о Познани, а потом и откровенно признавая ее не подлежащей освобождению. Государственное восстановление Польши прокламировалось не для блага польского народа, а как средство разрушения Российской империи.

Никто никогда не говорил о России с такой проникновенной ненавистью, как Маркс, — разве что его русские ученики, считавшие эту ненависть одной из самых святых и правых. «*Оплот мировой реакции*», «*угроза свободному человечеству*», «*единственная причина существования милитаризма в Европе*», «*последний резерв и становой хребет объединенного деспотизма в Европе*» — вот излюбленные его выражения. Список причин, по которым он возненавидел нашу страну, столь велик, что занял бы несколько страниц, но весь он сводится к обвинению России в тиранической политике по отношению к Германии. Россия будто бы стояла всегда на страже германской раздробленности; еще на Венском конгрессе узаконила разделение Германии на 36 мелких государств, и в дальнейшем всякое самостоятельное измене-

ние государственного строя ей было запрещено Николаем I. Россия виновата в восстановлении крепостного права в Германии после гибели Наполеона. Россия заставила Пруссию подчиниться Австрии. Пруссия превращена была в русского вассала и прикована к России. Встречаются строки совершенно бесподобные: «*Россия приказывала Пруссии и Австрии оставаться абсолютными монархиями — Пруссия и Австрия должны были повиноваться*».

Курьезность и противоречивость обвинений, видимо, не замечались Марксом. То он упрекает Россию, что она выдала Германию с головой Наполеону, то винит в победе над Наполеоном, вследствие которой Германия лишилась свобод, принесенных ей этим завоевателем. То он возмущается, что Россия подчинила Пруссию Австрии, то, наоборот, негодует, что Австрия отброшена Пруссией от всей Германии при поддержке России.

Смешно подходить к этому маниакальному бреду с реальной исторической оценкой и критикой. Приведенный букет высказываний интересен как психологический документ. Россия должна провалиться в Тартар, либо быть раздроблена на множество осколков путем самоопределения ее национальностей. Против нее надо поднять европейскую войну, либо, если это не выйдет, — отгородить ее от Европы независимым польским государством. Эта политграмота сделалась важнейшим пунктом марксистского катехизиса, аттестатом на зрелость. Когда в 80-х и 90-х годах начали возникать в различных странах марксистские партии по образцу германской социал-демократической, они получали помазание в Берлине не раньше, чем давали доказательства своей русофобии. Прошли через это и русские марксисты. Уже народовольцы считали нужным, в целях снискания популярности и симпатий на Западе, «*знакомить Европу со всем пагубным значением русского абсолютизма для самой европейской цивилизации*». Лицам, проживавшим за границей, предписывалось выступать в этом духе на митингах, общественных собраниях, читать лекции о России и т. п. А потом, в программах наших крупнейших партий, эсдеков и эсеров, появился пункт о необходимости свержения самодержавия в интересах международной революции. Ни Габсбурги, ни Гогенцоллерны не удостоились столь лестной оценки; их подданные-социалисты собирались свергать своих государей для блага Австрии и Германии. Только подданные Романовых приносили царей на алтарь, прежде всего, *мировой революции*. Без укоренившегося влияния Маркса и немецких марксистов трудно объяснить включение этого пункта в программные документы.

После сказанного нет надобности объяснять вполне утилитарный характер любви Маркса к Польше. Разрабатывал ли Энгельс план похода революционных армий на Россию, он, прежде всего, взвешивал роль Польши как союзника; говорил ли Маркс о каком-нибудь из польских восстаний, он неизменно рассматривал его с точки зрения ущерба для России. Потому-то Марксу и безразлично было, кто двигает это национальное возрождение — социал-демократы или аристократы-помещики. Он всех брал под плащ революции. Самая скорбь его и Энгельса по поводу неудачного польского

восстания 1863 года выглядит скорбью расчетливых людей: «*Пройдет много времени, прежде чем Польша снова сможет подняться, даже при посторонней помощи, а между тем, Польша нам совершенно необходима*».

«Необходима». В этом весь цинизм их отношения к Польше. А что оно было беспредельно циничным, можно видеть из одного письма Маркса: «*Один французский историк сказал: "il y a des peuples necessaires" — есть необходимые народы. К числу таких необходимых народов относится в XIX столетии, безусловно, народ польский*». Зачисление его в ряд исторических и революционных произошло, следовательно, не в силу его природных качеств, а по соображениям чисто служебным. «*Ни для кого иного национальное существование Польши необходимо более, чем именно для нас, немцев*». [...]

Энгельс подарил нас еще одним документом такой красочности, что мимо него пройти никак невозможно. Известно, какие гимны пелись Польше в 1848 году, как бредили польским восстанием в «Новой Рейнской газете». Ждали «чуда на Висле». Но по прошествии одного-двух лет, когда чуда не появилось, гимны кончились, поляков перестали носить на руках. В 1851 году Энгельс пишет длинное письмо Марксу по польскому вопросу и тут обнажает с полным бесстыдством моральную подкладку своей «революционной мысли».

Он сообщает, что чем больше он размышляет об истории, тем яснее ему становится, что поляки — разложившаяся нация (nation fondue). «*Ими приходится пользоваться лишь как средством, и лишь до тех пор, пока сама Россия не переживет аграрной революции. С этого момента Польша теряет всякое право на существование*». Выходит, что как только в самой России найдена будет разрушительная сила, гордого лебедя революции можно будет загнать в общеславянский курятник. Поражает в этом письме чисто национальное презрение, возникшее не под влиянием минуты, а выношенное, отстоявшееся. «*Никогда поляки не делали в истории ничего иного, кроме как играли в храбрую и задорную глупость*». [...]

Нет сомнения, что меньше чем за три года Маркс и Энгельс утратили надежду на антирусское восстание поляков и потеряли к ним всякий интерес. Это не значит, что отказались «посылать их в огонь», т. е. подбивать на дальнейшие бунты против России, но радикального средства в этих бунтах уже не видели. Маркс поспешил отказаться от своей прежней готовности восстановления Польши в границах 1772 года. В случае войны с Россией Маркс готов компенсировать поляков за потерю Познани щедрым присоединением земель на Востоке, обещает им Митаву, Ригу. Самые восстания польские мыслимы только против России. «*У меня был один польский эмиссар*, — пишет он Энгельсу в 1861 году, — *вторичного визита он мне не сделал, так как ему, конечно, не по вкусу пришлась та неприкрашенная правда, которую я преподнес относительно плохих шансов всякого революционного заговора в настоящий момент на прусской территории*».

Прекрасное резюме этому комплексу настроений дал Энгельс в цитированном выше письме, сделав набросок марксистской тактики в польском

вопросе. «*На Западе отбирать у поляков все, что можно, оккупировать немецкими силами их крепости под предлогом защиты, в особенности Познань, оставить им занятие хозяйством, посылать их в огонь, слопать* (ausfressen) *их земли, кормя их видами на Ригу и Одессу, а в случае, если можно будет вовлечь в движение русских, — соединиться с этими последними и заставить поляков примириться с этим*». Под «русскими» разумеется в данном случае не царская, а революционная Россия.

* * *

Итак, поляки лишь «сгоряча» и по тактическим соображениям причислены были к «историческим» народам. Под конец жизни интерес Маркса к полякам пропал, уступив место восторгу перед народовольцами-террористами. [...]

Именно — перед народовольцами, а не перед черно-передельцами, из которых вышли потом последователи Маркса в России. Их он не жаловал. Известно, что Маркс презрительно отзывался о возможности революции в России, где «*может быть только тот или иной бунт, причем достанется немецким платьям, а революции никакой и никогда не будет*». Так говорил он в 1863 году. Бакунина, Герцена и многих других революционеров-эмигрантов Маркс считал платными агентами царского правительства. Народническое движение в России рассматривал как «*панславистскую партию, состоящую на службе у царизма*». [...]

Он искренне удивлялся своей популярности в России; нигде его так не чтут и не издают, как в этой стране, которую он усердно оплевывал, революционных деятелей которой глубоко презирал и чуть не поголовно считал царскими агентами. И вот этот человек в конце 1881 года провозглашает: «*Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе*». Совершенно очевидно — не рост промышленности, не рост пролетариата, не «идейная зрелость», которых еще не было, даже не крестьянские волнения подвигли его на такое заявление, а убийство Александра II, шумная деятельность кучки террористов. Он приходил в восторг от того, что им удалось превратить нового царя в гатчинского военнопленного революции.

Разумеется, не благо русского народа, даже не судьбы русской революции занимали его, а уничтожение самодержавия, представлявшегося ему тормозом европейской революции. Не сумели его уничтожить поляки — прочь поляков, да здравствуют Желябовы и Перовские!

Но после всего сказанного о поляках ни минуты не верится в искреннюю «революционную» симпатию его к Желябовым и Перовским. Он их ценил как роботов революции, но ненавидел как русских.

В наши дни, когда «расовая дискриминация» — почти уголовное преступление, любой коммунист, сказавший на эту тему хоть сотую долю того, что сказали авторы «Коммунистического Манифеста», не мог бы оставаться

в партии ни минуты, они же — худым словом не помянуты и пребывают по сей день в роли вождей и учителей.

Одиум всего здесь отмеченного — не в нацистском облике коммунистических апостолов, а во «всемирном молчании», созданном вокруг этого облика. Никого почему-то не коробило и не коробит их рассуждение в «Новой Рейнской газете» о «*братстве европейских народов*», которое «*достигается не посредством фраз и благочестивых пожеланий, а путем решительных революций и кровавой борьбы; дело идет тут не о братстве всех европейских народов под сенью одного республиканского знамени, но о союзе революционных народов против контрреволюционеров, о союзе, который осуществится не на бумаге, а на поле битвы*».

Не напоминает ли эта бредовая мысль о Священной Социалистической Империи Германской Нации, в которую не войдет ни один народ-унтерменш, знакомый нам образ Третьего Рейха?

За несколько последних десятилетий корабль марксизма подвергся жестокому обстрелу и зияет пробоинами; самые заветные его скрижали ставятся, одна за другой, на полку с сочинениями утопистов. Позорная же шовинистическая страница, о которой идет речь в этой статье, все еще остается неведомой подавляющему числу последователей и противников Маркса.

Но недалек день, когда последние лоскутья тоги сорваны будут с проповедников зла и великая ложь марксизма обнажена будет в полной мере.

1985, № 43

ЭНЦО БЕТТИЦА

Большая охота на тигра-крестьянина

Зададимся вопросом: если в России 1921 года еще оставались здоровые, не затронутые органы общественного организма, то кто же именно, какая сила представляла собой наибольшую часть этого еще не затронутого гражданского общества?

Сила эта была крестьянство, то есть две трети населения страны. Но возникает второй, не менее неотложный вопрос: до какой степени крестьянство может представлять собой гражданское общество? И, наконец, что значит конкретно, в применении к России, само понятие гражданского общества? [...]

Существует естественная связь между частной собственностью и жизнью автономных клеточек, составляющих гражданское общество. Столь же характерна и связь этого последнего с рынком, конкуренцией, прибылью, деньгами, короче говоря, всем тем, что находится под подозрением в «буржуазной эксплуатации». Когда вместе с собственностью устраняется также и рынок и все средства производства и обмена сосредотачиваются в руках государства, именно в этот момент гражданское общество всегда начинает испытывать нехватку кислорода и начинает погибать.

То, что мы определяем общим термином «гражданского общества», представляет собой отборную, независимую и активную часть общественного организма, способную самоуправляться и не позволяющую государству манипулировать собой. Практически оно составляется из тех, кто не занимается ручным трудом, кто не является крепостным крестьянином или простым рабочим. Там, где существует гражданское общество, противостоящее государству, основные кадры его поставляются высшими и средними классами, стоящими над народом.

Впрочем, крестьянство в любом более или менее развитом обществе представляет собой особый класс, отличный от всех остальных, некий, так сказать, побочный класс, его нельзя назвать специфическим компонентом современного гражданского общества. [...]

Русское общество было слишком слабым и плохо организованным, чтобы вынести на своих плечах такой страшный вес: три года мясорубки и хаоса, к которым потом прибавляются еще три года гражданской войны.

Тяжесть тотальной войны в сочетании с уязвимостью гражданского общества, неспособного эту тяжесть вынести, порождает короткое замыкание, которое почти целиком парализует тело империи. Наступает катастрофа. Независимо от воли Ленина и других революционеров, Россия уже в начале 1917 года качается и начинает все быстрее лететь в пропасть. Результат всего этого: полный коллапс общества, бессилие правительства, не способного управлять циклоном событий, выход из повиновения масс — официальные власти уже не могут ими повелевать, а революционные силы уже не в состоянии ни организовать их, ни контролировать. Все выливается, как полноводная река, в небывалый возврат к варварству.

Этот возврат к примитивному варварству в экономике, это падение в некую первобытность, тем не менее, не носят характера возврата к организованным формам старого режима: самодержавие, дворянство и покорное крестьянство. То, что вырисовывается в России, раздираемой войной и революцией, — это одичание, доходящее до нулевого состояния, это растворение в хаосе. Это нечто еще никогда не виданное в истории. Это новое и катастрофическое варварство, потому что оно явилось следствием социальной нивелировки и беспрецедентного экономического краха, составляющих неповторимые, уникальные и трагически своеобразные черты русской революции. И в этом-то ее отличие от других, ранее известных революций.

Во время всех других европейских революций происходило изменение общества. Но никогда не было омертвения существовавшего общества. До тех пор этого никогда не происходило потому, что не было тех двух определяющих факторов, которые мы находим в русской революции и которые породили кризис: массовой тотальной войны и слишком анемичного общества, не способного устоять перед таким испытанием.

Суррогат общества

Необратимый процесс примитивизации лежит в основе русского революционного развития. Или скорее русского революционного отклонения. Долгая, прерывистая, извилистая революция 1904—1906 годов происходила по европейскому образцу и в своем последующем развитии шла все по той же европейской дороге. Она резко отклоняется от этого пути в 1917—1918 годах и неожиданно меняет качество. Неожиданное растворение классов, распыление экономических ресурсов, паралич и разрушение традиционных государственных и административных систем, — все это даже и безо всякого усилия большевиков вело общество к пропасти, определяя насильственное изменение всей его морфологической структуры. С этого поворотного момента русская революция идет по пути новому, неизвестному и непредугаданному.

Мы уже видели, что вовсе не партия Ленина породила эту пустоту. Но именно партия Ленина разместилась в этой пустоте, подменив собою уже погибшее гражданское общество. Здесь следует отметить, что и белые гене-

ралы вынуждены действовать в той же самой нулевой ситуации, прибегая на практике почти к тем же самым методам. Как восстановить армию? Как обеспечить снабжение подконтрольного населения? Как создать ядро новой гражданской администрации? Белые, несмотря на все их усилия, все же не смогут организовать и установить порядок в своей трети страны с той же тоталитарной строгостью, с какой большевики установят его в своих двух третях, несмотря на пассивное сопротивление крестьян.

Между двумя противостоящими в гражданской войне военно-политическими силами есть существенное различие — идеологическое. Белые сражаются за весьма абстрактную идею национального величия и русской свободы, под лозунгом восстановления монархии. Красные же заявляют и, в большинстве своем, действительно верят, что действуют в соответствии с законами Истории, в интересах пролетариата и всего человечества. Они заявляют, что приносят себя в жертву вовсе не ради пошлых классовых интересов. Они утверждают, что, напротив, белые приносят в жертву жизни своих обманутых солдат ради гнусной реставрации старых привилегий. Красные же умирают ради того, чтобы уничтожить всякие привилегии и дать коммунистической России новую жизнь, равенство и социальную справедливость.

Этот убежденный и убедительный идеологический порыв, сопровождающийся также призывом к более рационально устроенному обществу, организованному на коллективистском начале, дает им силу и психологическое преимущество и позволяет провести ряд национализаций в начале гражданской войны, обращая таким образом в свою пользу и хаос. Именно их идеология придает им чувство непреложной исторической необходимости и законности их действий и позволяет им проводить огосударствление до самого конца, заполняя с помощью единственной и монолитной партии пустоту, возникшую в результате полного распада общества. И именно идеология позволит придать законченность системе, превратив партию, или скорее Государство-Партию, во всепронизывающую идеологически-бюрократическую структуру. И именно идеология придаст этой своеобразной идеократической бюрократии характер кастовой сплоченности, социалистической избранности и мессианское сознание, — одним словом, придаст ей самый смысл существования. Сила большевиков — в мобилизующей силе их мировоззрения. И не имеет никакого значения, окажется ли мировоззрение абстрактным или даже ложным. И не имеет значения то, что они вовсе и не подозревают, что являют собой лишь суррогат, замену несуществующего гражданского общества, а верят в то, что воплощают в себе душу пролетариата, угнетенных, то есть — уже по определению — лучших. Имеет значение лишь пропагандистский и мистифицирующий эффект, производимый на массу красных солдат. Большевистским вождям, почти искренне считавшим себя творцами будущего, двигателями истории и прогресса, удается породить в тылу и на фронте такой энтузиазм, какой белым никогда не сопутствует на всем протяжении гражданской войны.

Красные — будущее и социализм, белые — прошлое и реакция. Именно в эти годы свершается не только военная, но и первая великая словесная победа коммунистов над своим политическим противником, которая затем неоднократно будет повторяться в многочисленных внутренних и международных перипетиях.

Но посмотрим теперь, что же конкретно происходит в России, управляемой большевиками. Прежде всего можно отметить исчезновение всяких следов рыночной экономики. Но и в этом случае вовсе не большевистский таран и не их прямое вмешательство нанесли этот удар капитализму. Рынок разрушился сам собой. И после того как он разрушился, ленинская бюрократия подменила его собою. Поскольку не было больше ни руководящих групп, ни коммерсантов, ни предпринимателей, ни кадров, ни механизмов, позволявших выделить их и селекционировать, то бюрократия вынуждена была универсализироваться, то есть подменить собой насильно и кадры, и предпринимателей, и коммерсантов. Она вынуждена была передать государству как функции рынка, так и функции старых руководящих групп. Так мы приходим к началу «планирования», и поскольку речь идет о насильственной и административной подмене, то и не удивительно, что с самого начала практика и мистика «плана» оказываются окрашены деспотизмом. И все это происходит в накаленной атмосфере священной войны, демонизации врага и всеобщего манихейства. Осталось только два цвета в этой тотальной борьбе до последней капли крови: красный и белый, все четко разделено на прогресс и реакцию, на добро и зло. Нет ничего нейтрального. Поэтому бюрократия, после того как она целиком взяла в свои руки все механизмы экономической жизни, становится нетерпимой и сразу начинает изгонять из области «социалистической законности» все то, что ей враждебно или попросту чуждо и непонятно.

Не только всякая оппозиция, в том числе и социалистическая, оказывается запрещенной, но даже искусству и мысли свободу оставляют очень неохотно. Мышление вождей уже склоняется к цензорскому примитивизму. Если произведение искусства кажется слишком абстрактным, далеким от дела пролетариата, значит, оно автоматически, «объективно», служит делу противоположному, то есть реакции и «классовому врагу». Конечно, пройдут еще годы, прежде чем партия придет к инквизиторскому совершенству, к кострам для еретиков и охоте на ведьм, причем не только в настоящем, но и в прошлом и будущем. Пока что же, во время Троцкого и Луначарского, которые часто выступают в дискуссиях по вопросам культуры, определенный порог еще не перейден, но уже и теперь, в период нарождающегося большевистского тоталитаризма, имеют хождение псевдопонятия передовой культуры и культуры реакционной и воинствующая идея о том, что партия и ее виднейшие представители должны делать все, чтобы добиться победы первой над второй. Основная тенденция уже очевидна. Тиски тоталитарной большевистской идеологической бюрократии начинают сжиматься вокруг всяческих проявлений жизни как в области экономической, так и в обла-

сти духовной, — и рынок, и подбор кадров, и промышленное производство, и художественное творчество испытывают на себе их тяжесть. Идеология, которая является душой всего, должна быть непременно ортодоксальной. И все то, что не укладывается в нее, есть не что иное, как ересь. И за ересь начинают таскать в ждановские трибуналы в конце 30-х годов и в послевоенные годы.

Эта тоталитарная бюрократия, возникшая как результат пустоты и ленинизма, который ее собою заполнил, представляет собой совершенно новое явление в мировой истории. Если мы посмотрим на социальное происхождение тех людей, которых начинает уже серийно производить ленинский механизм, людей, которые составляют скелет идеологической бюрократии и производят глубокий переворот в русской жизни, то мы увидим, что это люди очень скромные, часто даже полуграмотные: это не только низшие слои интеллигенции, но и низшие административные и производственные кадры, более или менее квалифицированные рабочие, начальники цехов, подрядчики, бывшие сержанты царской армии. Происходит этот гомо большевикус второго поколения, отобранного и выпестованного гражданской войной и военным коммунизмом, почти всегда из народных низов. Это своеобразный, новый и грубый род миссионеров, которые выходят из низших слоев старого общества. Ими движут одновременно идеологический фанатизм и жгучее стремление к личному успеху и личному реваншу, они хотят как можно быстрее подняться выше и, пользуясь благоприятствующим им социальным землетрясением, удовлетворить свою жажду власти. В партии, которая их приняла, воспитала, социально продвинула, они видят не только Церковь, но и замечательный инструмент для восхождения на вершины власти. Их благодарность этому необыкновенному Пигмалиону бесконечна. Эта преданность, усиливаемая сектантским характером их ленинской субкультуры, приводит их к полному отождествлению, психологическому и идеологическому, самих себя с партией и ее миссией, партия для них всё: семья, школа, личный успех и личная власть. Очень скоро наступает момент, когда их простое и часто плебейское происхождение оказывается лишь далеким воспоминанием, похороненным среди анкет и бумаг. Гораздо более важной, чем происхождение, оказывается теперь та исключительная роль, к которой их предназначил ход революции: составить заново новую военную касту, а главное, новую всеобъемлющую бюрократию, которая придаст им самим совершенно новое и характерное социальное положение.

Тогда-то и появляется на русской сцене странное существо, студенистое и эластичное, как спрут, текучее и гранитно-непробиваемое, индивидуальное и коллективное, существо никогда ранее еще не виданное: это «зверь» совершенно неизвестный, гигантский, с огромными присосками, покрывающими бесформенное тело, с жадными и пустыми глазами, лишенными огня, почти слепыми. Старые марксистские или либеральные определения, с помощью которых обозначались социальные классы, уже не достаточны для того, чтобы определить социальную природу этого существа, пугаю-

щего и уникального. Безличность отдельного индивида гомо большевикус и вязкая непроницаемость большевистского бюрократического аппарата, кажется, сливаются вместе, чтобы произвести на свет некую абсолютную ленинскую сущность.

И если в большевистской России исчезает всякая возможность реставрации или контрреволюции, так это потому, что нечего уже больше реставрировать и нет никого, кто бы во имя уже несуществующего класса мог бы обратить ход событий. Здоровое явление прилива и отлива не может возникнуть после революции, которую взял в свои руки гомо большевикус: бюрократический суррогат общества, который он создает на месте общества исчезнувшего, фатальным образом обречен окостеневать, склеротизироваться и не оставляет уже места для альтернативных решений. [...]

Крестьянство как исключение

В этом суррогате общества, подмененном партией, существовало, однако, одно особое исключение, которое Сталин уничтожил и тем подтвердил правило. Исключение это — крестьянство. Оно представляло собой единственный уцелевший класс старого общества, сохранивший независимость, благодаря наличию у него собственности. К тому же класс этот представлял собой три четверти населения страны. Эта гигантская крестьянская масса, стоящая поперек горла у режима, как горькая пилюля, это человеческое море, непокорное и требовательное, это вечное оскорбление самого образа социалистической России заставит Ленина отступить во второй раз после Брест-Литовска.

По самой своей природе крестьянство, представляющее собой пассивную силу, не способную порождать новые кадры современного общества, не может возвыситься до руководящего класса. Тем не менее, в бесконечной русской пустоте, сама того не сознавая, эта масса становится тоже своего рода суррогатом погибшего гражданского общества. Она становится им, так сказать, по физиологическим причинам. Отношения и конфликт между крестьянами и большевиками в России — невообразимы, поразительны и парадоксальны. С одной стороны, мы имеем большевистскую бюрократию, которая, универсализируясь, постепенно присваивает себе все руководящие функции несуществующего гражданского общества. С другой стороны, мы имеем крестьянский мир, который самым примитивным образом, бессознательно, воспроизводит некоторые структурные черты, типичные для исчезнувшего общества: частную собственность, экономическую самодостаточность, независимость от государства. Если партия присвоила себе главным образом политические функции исчезнувших классов, то мятежная деревня сохраняет и даже выявляет в акцентированном виде, восставая против пиратских нападений ленинского государства на ее закрома, всю шкалу экономических ценностей и собственнических привилегий, которые лежали в основе старого общества. Таким образом, мы видим, как сталкиваются

в этой странной борьбе за овладение все бóльшими порциями пустоты два странных новых суррогата гражданского общества: один совершенно искусственный, до предела идеологизированный и политизированный, который по самой своей природе не может терпеть присутствия никакого автономного соперника, другой — менее искусственный, но грубый, искалеченный, неполный, политически инертный, но не могущий, в свою очередь, терпеть вмешательства в свою экономическую и производственную сферу. Во время гражданской войны, если не считать спорадических реквизиций хлеба и фуража красными и белыми, это крестьянское общество смогло сохранить свою относительную свободу. По окончании войны оно почти целиком избегает захвата со стороны ленинского Государства-Партии. Но столкновение, которое на несколько лет отсрочивается нэпом, неизбежно — и обречено вылиться в конечном счете в бойню. Это произойдет после того, как все попытки партии перебить хребет крестьянству и взять над ним руководство окажутся безуспешными.

Погром 1929-го – 1930-го годов

Уже и до 1905 года, в начале века, но особенно во время великого раздела латифундий зимой 1917-18 годов, проявилась в деревне ненависть к кулаку, богатому крестьянину, лишь немногим меньшая, чем ненависть к помещику, чья фигура в глазах мужика сливалась с государственной властью. [...]

Столыпинские реформы, обострившие сельскую дифференциацию, невольно подготовили базу той радикальной и грубой переделки крестьянского мира, которая наблюдалась во время первой революционной зимы, когда раздел земель проводился в атмосфере дикого бунта. Тогда исчезают в небытие последние остатки дворянства, а «кулаки» принуждены, часто грубой силой, слиться с сельской общиной и обеднеть. Однако, несмотря на то, что таким образом создается грубое уравнивание внутри деревни, ошибочно было бы считать, что в результате этой революционной кампании в большей степени, чем в результате реформ, новая власть, установившаяся в Петербурге, получила верного союзника. Несмотря на этот нивелирующий процесс, который, не устранив их окончательно, все же сгладил различия в деревне и видоизменил ее социальную структуру, крестьянство остается недоверчивым или даже враждебным по отношению к большевистскому государству. Как и раньше, именно государство остается той внешней враждебной силой, которая смягчает внутренние раздоры в деревне и придает ей единое классовое сознание, государство, которое требует слишком многого, проводит реквизиции, отменяет деньги, обесценивает крестьянский продукт в процессе обмена на продукты промышленные. И не имеет никакого значения то, что такое положение объявляют временным следствием революции, дружественной мужику. Имеют значение лишь экономические действия власти и ее политические намерения, и с самого начала и те, и другие кажутся мало благоприятными для крестьянской автономии. Фактом

остается то, что разные слои крестьянства, как бы различны они ни были, вынужденные противостоять государству или армии, будь то красной или белой, сразу же обретают единство перед лицом внешнего посягательства. И именно это глубокое единство в гораздо большей степени, чем все поверхностные контрасты, становится тогда определяющим.

Власть предпринимает наступление и ведет его во имя так называемой смычки городского пролетариата с бедными мужиками против крестьян-«буржуа». Вновь появляются на свет те искусственные социальные категории, которыми Ленин пользовался уже в начале века при анализе русской деревни. Но на самом деле большевистская власть уже не видит никакой существенной разницы внутри всего класса крестьянства в целом. Эта власть уже знает, что в условиях того противоестественного состояния, которое она порождает и администрирует, крестьяне силой самих вещей вынуждены с глухим упорством противиться всему тому, что вне их: городу, промышленности, армии, полиции, бюрократии. Скупая, раскинувшаяся на беспредельных просторах русская деревня, торгующая своими богатствами или ревниво прячущая их, предстоит перед жадными глазами партии как враждебная земля, которую надо завоевать. Кровавое столкновение между властью и стойким сельским населением, которое в России сильно своим огромным удельным весом, обретает черты религиозной или расовой войны. Своеобразная форма расизма, одновременно идеологического и биологического, незаметно поселяется в те годы в отчаявшейся душе гомо большевикус. Он чувствует, что этот темный и враждебный ему крестьянин не только исторически, но даже физиологически его настоящий и единственный соперник в русской социальной пустыне, только он находит еще силу противостоять абсолютной власти, более того, только он представляет собой еще смертельную опасность этой власти. Это война более дарвиновская, чем марксистская, это борьба за выживание между двумя несовместимыми видами, со всеми теми жуткими атрибутами, которые такая крайняя форма борьбы несет с собой. Лютая ненависть, расовый фанатизм, жажда уничтожения — эти страсти обуревают гомо большевикус в ходе тоталитарного погрома, который он ведет против враждебного вида как против чего-то чуждого, отличного от всего остального человечества. Впервые в истории целый социальный класс становится в глазах правителей ненавистной расой. Рациональная жестокость, с которой гомо большевикус проводит это грандиозное репрессивное предприятие, выливается почти в бешеный геноцид.

В такой атмосфере насилия, также и психического, совершается кровавое дело коллективизации. Крестьяне гибнут миллионами от пуль оголтелых боевых эскадронов, созданных партией, от голода, от холода в тайге, от жутких условий массовой депортации, а фальшивые ленинские категории, присваивающие деревне три противостоящих друг другу класса по типу городских, позволяют режиму оправдывать марксизмом одно из самых бесчеловечных и наименее марксистских деяний. Ведя борьбу с крестьянством

как с единым враждебным классом, большевики уверяют, что находят поддержку в этой новой гражданской войне у наиболее неимущих деревенских масс, но на самом деле даже они, эти массы, поддались мобилизации лишь в самом начале коллективизации. Сразу же после первых конфискаций и первых расправ 1929 года даже этот «сельский пролетариат» отдает себе отчет в том, что государство, хотя и большевистское, по существу враждебно всем крестьянам.

В сущности, партия встречает поддержку в деревне только со стороны некоторых местных преступных элементов. Все сельское население в целом остается глухим к идеологическому призыву, не поддающимся ни террору, ни лести, единым в своей бездонной трагедии и психологически несгибаемым в своем временами отчаянном сопротивлении. Большевики для того, чтобы довести до конца эту свою безжалостную борьбу против крестьянства, должны были создать специальные отряды политической полиции и использовать самые различные формы рекрутирования: ватаги городских хулиганов из низов, молодых комсомольских фанатиков, индоктринированных рабочих, недовольных глухим равнодушием деревни к какой бы то ни было социалистической солидарности. Таким образом, эта война не находит союзников внутри деревни, она ведется снаружи, из города, и направлена против всего крестьянства как такового. Все остальное — идеологические выдумки или чистая ложь, что в итоге оказывается одним и тем же.

От нэпа к коллективизации

Кризис, который привел в конце концов к насильственной коллективизации и к столкновению с крестьянством, был продолжительным, сложным и затронул собой всю систему в целом. Объективные трудности, бесконечные теоретические дискуссии, укоренившиеся идеологические предрассудки, жестокая борьба за власть — все это сыграло свою роль и определило некоторые из тех многочисленных факторов, которые в конце концов заставили Сталина избрать самый крутой из экономических путей, путь, отводящий насилию главную роль в деле построения определенного типа общества и в выборе определенного типа развития.

В 1927 году игра в нэп была завершена. Сельское хозяйство вновь стало на ноги. Крестьяне, привлеченные притоком товаров и стабильностью рубля, снова начали работать. Теперь, чтобы сохранить равновесие, надо было укрепить также и промышленное производство. И это тоже казалось разрешимым. Партийные специалисты понимали, что для нормального капиталовложения в промышленность нужны были суммы относительно небольшие в сравнении с национальным доходом страны. Они в первое время считали, что можно было спасти и козу и капусту: стимулировать производство товаров потребления, чтобы побуждать крестьян работать для рынка, и в то же время собрать необходимое количество рублей для того, чтобы дать необходимый кислород промышленности, унаследованной от прошлого.

Но в глубине, под поверхностью этих проблем, которые казались довольно простыми и разрешимыми, скрывалась уже аномалия, которая вскоре так или иначе проявилась бы. Промышленное оборудование не обновлялось после 1913 года. Отсталость и изношенность русского технического аппарата требовали на самом деле капиталовложений гораздо больших, нежели те, что были бы достаточны для того, чтоб пустить в ход наличные в 1927 году фабрики. Кроме того имелась более чем двухмиллионная армия безработных — позор для режима, который назывался рабочим и социалистическим. Для того, чтобы построить социализм, следовательно, нужно было модернизировать промышленность, увеличить темпы роста и создать новые рабочие места. Иными словами, нужно было поднять производство во всем его объеме, обновляя и заменяя устаревшее и даже просто непригодное промышленное оборудование. Чтобы проделать все это, нужны были большие капиталы и значительные капиталовложения. Проблема эта со всей остротой начинает вырисовываться начиная с 1927 года, одного из самых сложных в истории большевизма. [...]

Речь шла о выборе, упиравшемся в трудную дилемму. Если дать большой приток капиталов в тяжелую промышленность, то нужно автоматически сократить производство легкой промышленности и циркулирование товаров потребительских, и первыми, кто пострадал бы от этого, было бы крестьянство. Между тем положение в деревне, благодаря нэпу, значительно изменилось. К концу нэпа образовалось раздробленное аграрное хозяйство, благополучное в целом, состоящее из мелких собственников, трудно контролируемых, но регулярно поставляющих на городские рынки сельскохозяйственную продукцию. Либерализованная экономика, усилив деревенский слой, относительно зажиточный в сравнении с остальным населением, придала ему значительную силу в договорных отношениях с городом и государством. Деревня становилась определяющей силой всего производственного процесса и иногда даже тормозящей силой. И совершенно неизбежно должны были возникнуть напряженная атмосфера и нарастающие контрасты между «буржуазными» интересами обогащенных нэпом крестьян и «социалистическими» потребностями государства. Обе стороны, особенно большевики, уже стали на путь, который скоро должен был привести к столкновению.

Кризис не мог затянуться надолго. Но разрешить его было очень сложно. Старая царская налоговая система была упразднена. Теперь большевистское государство было не в состоянии принудительно восстановить подобный тип налогообложения при многотысячных мелких крестьянских владениях. Кроме того, опыт показал, что всякий раз, как государство пыталось применять крутые меры к крестьянству, последнее отвечало остановкой производства. Но даже если государство прибегало к мягким методам, оно всегда рисковало вызвать хлебный саботаж: зерно шло на силос, и города оставались без хлеба.

Общая экономическая ситуация, таким образом, была гораздо более сложной, нежели во времена правительства Витте. Нэп и возврат к рыноч-

ной экономике, необходимые для оживления хозяйства страны и для спасения режима, со временем привели к губительным и почти парадоксальным результатам: необычайнейшее государство, Государство-Партия, которое по самой своей природе не могло отказаться от тоталитарного бюрократического господства над вещами и над людьми, вынуждено было склоняться перед волей крестьян, выражавшейся через игру рынка. В этом-то и состояло великое противоречие, с которым столкнулся большевизм в критическую фазу перехода от нэпа к сталинской коллективизации.

Бухарин, защитник крестьян

Бухарин, бывший в юности ярым экстремистом, стал в зрелые годы представителем той оппозиции, которая называлась «правой», а также носителем некой утопии социал-демократического типа внутри большевистской России. Его личность, чуткая и подвижная, и особенно его характернейшие взгляды, всегда оказывавшиеся в центре теоретических и политических дискуссий конца 20-х годов, ныне более, чем когда-либо, стали предметом поклонения западных эрудитов либерального, либерально-демократического и даже «еврокоммунистического» толка.

В великом споре, который раздирает партию в тот решающий период, Бухарин, находясь на противоположном от троцкистов полюсе, становится адвокатом и защитником крестьянства. Он более, чем кто-либо, размышляет над плюралистическим динамизмом нэпа и угадывает все содержащиеся в нем антитоталитарные политические возможности. Это единственный большевик, осмеливающийся порвать с двусмысленностью и убежденно делающий ставку на законы рынка. Он делает ставку на более сильного, на более способного, на «кулака». Он утверждает, что рынок должен быть использован прежде всего для того, чтобы разрешить трудную проблему снабжения продовольствием. Но чтобы сделать рынок живым, чтобы увеличить приток на него продуктов из деревни, нужно дать крестьянину достаточные экономические и политические гарантии, освободив его от страха возможного возврата к военному коммунизму, стабилизацией рубля побудив его к накоплениям, предложив ему по приемлемой цене широкий ассортимент потребительских товаров. Тезисы Бухарина, как и троцкистские тезисы с противоположной стороны, логичны и последовательны, каждое стеклышко здесь плотно прилегает к другому, составляя вместе довольно убедительную теоретическую мозаику.

Есть, однако, один реальный факт, который оправдывает анализ троцкистских сверхиндустриализаторов и не помогает безоговорочной защите крестьянских интересов. Фон, на котором протекает столкновение этих противоположных тезисов, вдруг снова становится темным и угрожающим. Именно в 1927 – 1928 годах над Россией опять нависает угроза силосного кризиса. Снова, в своего рода забастовке, сокращается производство в сельском хозяйстве, правительство еще раз вынуждено закупать зерновые

за границей. Перед лицом такой тяжелой ситуации Бухарин, пытаясь воспротивиться обычной тенденции партии рубить узлы мечом, придает своей защитительной речи тон сурового предостережения. Сила, говорит он, уже не оправдывает себя. Реквизиции не решают проблемы. Прибегнуть к политике принуждения — значит ввергнуть еще раз Россию в пучину смутного времени. Нужно теперь, наоборот, больше, чем прежде, делать ставку на нэп, активизируя рыночную экономику, увеличивая заинтересованность, расширяя производство товаров потребления, нужно в конечном счете прислушиваться больше к голосу крестьянства, следя за показателями рынка, и делать капиталовложения в те секторы, которые могут удовлетворять его нужды.

Но как же, возражают интеллектуалы из Госплана, решить в то же время проблему индустриализации? С их точки зрения, они тоже правы. Мы уже видели, что только для поддержания статуса кво в промышленности и приостановления процесса старения оборудования, нужно было начиная с 1927 года срочно проводить терапию идустрии гораздо более дорогую, чем та, что требовалась по первым предварительным подсчетам. Чтобы обновить по крайней мере самую существенную часть производственного аппарата, нужно было сделать большие капиталовложения, при этом даже и не помышляя еще о социализме. Но где взять капиталы, необходимые для этой терапии? Возможные прибыли, которые когда-то, быть может, будут получены от ставки на крестьянский рынок, поступят во всяком случае слишком поздно и будут притекать слишком медленно, чтобы вовремя финансировать промышленность.

Ответ, который в скрытом виде уже содержится в пронэповских теориях Бухарина, кажется подозрительным даже Сталину, который был в течение некоторого времени его союзником в прокрестьянской стратегии. В самом деле, бухаринская схема, чтобы стать реальностью, не может обойтись без иностранных капиталовложений. Но если хотят прибегнуть к западным кредитам, то следует гарантировать прибыль или, по крайней мере, проценты с капитала. В этом случае Россия, представляющая собой остров социализма во враждебном мире, была бы автоматически включена в международный рынок и, следовательно, вышла бы из своей изоляции, быть может, неудобной с экономической точки зрения, но несомненно выгодной с точки зрения идеологической. Что делать, если в один прекрасный день Россия, как Китай, будет вынуждена бухаринской логикой принять на своей территории иностранные концессии полуколониального типа? Это привело бы к противоречию не только с социализмом, но и с принципом национального суверенитета.

Это предложение, кроме того, в глазах партии, содержит в себе еще одну политическую ловушку. В самом деле, Бухарин утверждает, что недоверие крестьян к режиму носит не только экономический характер. Крестьянская масса, все время боящаяся возврата к донэповскому прошлому, хочет получить гарантии необратимости рыночной экономики. Бухарин дает понять, что успокоить крестьянство в этом деликатном вопросе мож-

но, лишь восстановив сельские советы с представителями деревень, непосредственно избранными населением. Иными словами, все это означает начало процесса, этапами которого будет создание крестьянского парламента, крестьянской партии и, наконец, крестьянской фракции внутри самой большевистской партии. И действительно, Бухарин уже представляет собой эту последнюю. [...]

Но партия, все более встревоженная и все более подозрительная, видит, что логика его мысли идет даже дальше этой крайней границы. Она влечет за пределы, ею самой установленные. В самом деле, в тот день, когда крестьяне получат свои советы и даже своих официальных представителей внутри партии, можно ли будет отказаться дать те же политические привилегии рабочим? Эта большая ставка на рыночную экономику, превращающаяся в политическую программу, не представляет ли собой в конечном счете попытку заставить партию отступить назад к буржуазной демократии? Этот прокрестьянский экстремизм, в скрытом виде прокапиталистический, не угрожает ли партии самым разнузданным фракционизмом, не грозит ли разложить единую партию на несколько партий: крестьянскую, рабочую и т. п.?

Шокированные и приведенные в состояние тревоги все более смелыми идеями Бухарина, Сталин и его сотрудники постепенно отдают себе отчет в том, что рыночная экономика, необходимая в начале и полезная в середине 20-х годов, теперь уже представляет собой опасность для идеологически-бюрократической власти Государства-Партии. Это смертельная опасность, поскольку она несет в себе вирусы политического плюрализма, разложения единой партии, распад всей монополистической системы. Именно поэтому Сталин и большинство большевистских руководителей решают блокировать бухаринское предложение, которое к тому же теперь, когда троцкисты оказались на двойственном пути идеологической победы и политического поражения, стало бесполезным и в качестве символического инструмента в борьбе за власть. С момента заката троцкистской «левой» противовес бухаринской «правой» уже не столь необходим сталинскому центру. Теперь уже от всего комплекса бухаринских идей, которые тем временем становятся все более экстремистскими, не остается уже ничего, кроме их смертельной еретической опасности. Отказ от бухаринских теорий резок и окончателен. [...]

Существует и всегда будет существовать в большевистской системе глубокая несовместимость между диагнозом и терапией. С точки зрения чисто экономической, терапия, предложенная Бухариным на основе точного диагноза, была, несомненно, желательной и разумной, но для того, чтобы больной ее принял, необходим был иной политический контекст. Иными словами, пациент должен был быть другим — не большевистской партией, такой, какой ее задумал и построил Ленин в огне военного коммунизма и гражданской войны, партией, нетерпимой к другим и к самой себе, навсегда нацеленной на монолитность (установленную X съездом), ревниво оберегающей свои социальные, экономические и культурные, не говоря уж о политических, функции и, следовательно, всегда ориентированной на аб-

солютный контроль любой деятельности, даже самой второстепенной. Для столь требовательного и ненасытного организма предложение Бухарина означало самоубийство. [...]

Слишком реалистический проект Бухарина, который стоил бы России, с экономической и человеческой точки зрения, гораздо меньше, чем троцкистский, был отвергнут потому, что его реализация привела бы к кризису всю идеократическую структуру системы. По всей вероятности, программа Бухарина, если бы она была принята, могла бы быть реализована с той же эффективностью и быстротой, как и троцкистско-сталинская, и, кроме всего прочего, предохранила бы русскую деревню от некроза и обеспечила бы России развитие более гармоничное и, как знать, быть может, также создание оригинальной формы смешанного и плюралистического общества, своеобразный прототип самоуправляемого общества с некоторым наличием свободы. Но именно такая перспектива утопична. Идеологические соображения, которые одни только и имеют значение для большевиков, не могут признать легальным экономический реализм Бухарина. Примат идеологии и политики над экономикой топит его проект даже до всякого его внимательного рассмотрения: большевистский инстинкт самосохранения отвергает его сразу же.

Бухаринское предложение отвергнуто, и принята карикатура троцкистского. Программа, разработанная изощренными проектировщиками Госплана, оформилась в ходе долгой теоретической полемики и принята партией в тот момент, когда внутренние конфликты утихают именно благодаря политическому поражению троцкистов. Горек конец русского троцкизма. Программа оказывается в руках победителя, Сталина, и он, со всей своей технической некомпетентностью, идеологической грубостью и презрением к экономическим вопросам, навязывает ее рабочим и особенно крестьянам в жесткой и приказной манере. Рафинированные троцкистские теории, сталинизированные и обнаженные до костей, сведенные к набору чистых принуждений, становятся гротескной тенью самих себя. Они служат не чем иным, как только оправданием вооруженного ограбления деревни и насильственного гигантского разрастания тяжелой промышленности. Только какой-нибудь остаток гражданского общества мог бы выполнить необходимую корректировку в ходе реализации столь широкого и столь радикального плана коллективизации и индустриализации. Но гражданского общества, разрушенного революцией и похороненного Лениным, больше нет. На его месте есть лишь бесконечное и бесформенное крестьянское море, вражеская раса, которую надо покорить и поработить. Никто и ничто уже не могут противиться и противостоять биному, именуемому: Сталин-Партия.

После того как бухаринская утопия возможного была отброшена, а троцкистская утопия невозможного была извращена самым наглым образом, остается действовать лишь одинокая воля Сталина, теперь уже освобожденная от всякого фильтра критики и всяких моральных запретов. В сталинизированном большевизме наконец проявляется в полную силу раз-

рушительный характер ленинской партии и ее идеологической бюрократии. В коллективизации и индустриализации проявляется также и ее суррогатный характер. Она разрушает и пожирает последние еще сопротивляющиеся остатки общества и затем заново создает все из ничего: политику, общество, экономику. В ходе этой второй революции сверху большевизм, чьи отношения с марксизмом были всегда двойственны: он был одновременно продолжением марксизма и разрывом с ним, — коренным образом переворачивает все теоретические предсказания марксизма. В тот момент, когда он решительным образом переворачивает русскую жизнь, он переворачивает также и детерминистскую логику марксизма. В самом деле, во время великого поворота на рубеже 20-х – 30-х годов мы видим, как партия, придерживающаяся учения Маркса и объявляющая себя материалистической и диалектической, создает экономику как самую настоящую надстройку. Мы видим даже, как эта партия создает нечто вроде общества. Видим, наконец, как идеология, которая, по Марксу, как раз и есть надстройка как таковая, творит целый мир псевдоэкономический и псевдосоциальный, который и оказывается ее надстройкой. Первопричиной, базисом в этом перевернутом мире оказывается идеология, в лице партии, которая ее воплощает, а то, что в теории обозначено как подлинная надстройка, перестает ею быть и превращается в свою противоположность.

Большевистский парадокс, возникший в России уже при Ленине, при Сталине достигает своего апогея. Вне него нет больше места для чего-нибудь нового. Проводившееся гомо большевикус дело дереализации реальности завершено.

Перевел Ю. Мальцев

1982, № 34

НИНА МУРАВИНА

Судьба алакаевских соседей Ленина

1. Старшая сестра

В 1964 году мне удалось познакомиться с архивом старшей сестры Ленина, Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой, хранящимся в ульяновском фонде Центрального партархива при ЦК КПСС. Письма и записи ее еще не были тогда подвергнуты цензуре и с купюрами засняты на фотопленку, как несколькими годами позже. Мне выдали папки с подлинниками, и мое внимание сразу же привлекли дневниковые записи с горькими жалобами на бесплодно прожитую, никому не нужную жизнь; стопка писем от каких-то малограмотных крестьян и неотправленный конверт, на котором дрожащим почерком надписан был адрес: *Средняя Волга, Кинельский район, колхоз «Уголок Ленина» при д. Алакаевке, М. М. Филипповой.*

Жалобы на напрасную жизнь и неотправленный конверт лежали в одной и той же папке. Вероятно, между ними существовала внутренняя связь. Я вспомнила, что в молодости Анна Ильинична вместе с семьей пять летних сезонов прожила на хуторе возле самарской деревни Алакаевки, и невольно задала себе вопрос: уж не угрызения ли совести заставили ее в годы коллективизации возобновить связь со знакомыми крестьянами? Из воспоминаний М. П. Ясневой я знала, что и Ленин испытывал после революции приступы сомнений и, когда он в последний раз встретился со старшей сестрой в 1919 году на похоронах ее мужа, задал ей необычный в его устах вопрос: думает ли она, что прежняя Россия еще способна возродиться? Однако минуты сомнений, вызванные у него расхождением между целями, теориями и идеалом, нарисованным им за несколько месяцев до прихода к власти в книге «Государство и революция», и тем кровавым кошмаром, в который вылилась его диктатура в действительности, не помешали ему продолжать разрушать Россию и пытаться распространить свой эксперимент за ее пределами. В записях же его сестры звучало искреннее отчаянье. С детства мечтавшая пойти по стопам отца и стать народной учительницей, она на многое смотрела иначе, чем будущий вождь большевиков.

В своих воспоминаниях Анна Ильинична называет зиму и весну 1888 – 1889 года и следующие пять лет, прожитые в Алакаевке и в Самаре, «самыми важными» в жизни Ленина. По ее мнению, именно в этот пери-

од он приобрел знание психологии русского крестьянина, помогшее ему в дальнейшем привести свою партию к власти. Начало этого «самого важного» периода совпадает с его вступлением в один из кружков по изучению русской действительности, организованных в Казани Николаем Федосеевым. Федосеев призывал «анкетировать трудящееся крестьянство» и «идти с анкетой в народ». [...]

Переезд Ульяновых в Самарскую губернию, где жених Анны Марк Елизаров приобрел для ее матери хутор, позволил Ленину избежать участи его товарищей по кружку. «*Весной 1889 года я уехал в Самарскую губернию, где услыхал в конце лета... об аресте Федосеева и других членов казанских кружков, — между прочим, и того, где я принимал участие,* — писал Ленин в 1922 году. — *Думаю, что легко мог бы также быть арестованным, если бы остался тем летом в Казани*». Благодаря переезду у него появилось наглядное пособие для изучения русской действительности. Он сделался владельцем именья, купленного деревенским кулаком Павлом Елизаровым у насаждавшего толстовские колонии миллионера Сибирякова: просторного дома с садом, мельницей и восемьюдесятью с лишним десятинами чернозема в пятидесяти верстах от Самары. Отделенная от хутора рвом деревушка Алакаевка, состоявшая из 34 дворов (197 душ) имела в общинном владении только шестьдесят пять десятин земли. Не имея ни лесных угодий, ни пастбищ, ни покосов, крестьянское общество вынуждено было арендовать их у живших по соседству землевладельцев.

Сын не оправдал ожиданий матери, мечтавшей, что он увлечется сельским хозяйством. Лишь в первое лето он сам наблюдал за уборкой урожая. В дальнейшем Ульяновы стали сдавать землю в аренду, но не мужикам, а какому-то приезжему арендатору Крылову, а затем состоятельному немцу. Уезжая на зиму в Самару, Ульяновы оставили купленную ими корову зимовать в крестьянском стаде. Когда выпал снег, пастух обул ее в лапти, чтоб не оставляла следов, увел ночью и продал на сторону. Весной общине пришлось уплатить соседям за кражу.

Разумеется, никакой близости между забитыми и неграмотными алакаевскими мужиками и жившим на хуторе барчуком, читавшим ученые книги, не могло быть. Но, по сохранившимся преданиям, он удостаивал внимания толкового и дельного молодого крестьянина Петра Асанина, избранного общественным арендатором. Ульяновы не ездили в церковь, и мужики прозвали Владимира Ульянова «Володькой-безбожником». Он же, видя перед собой деревню, где только два двора имели небольшие участки собственной, купчей земли, вызывавшей зависть у соседей, пришел к выводу, что народники идеализируют крестьянство либо по глупости, либо по незнанию. Живя на Алакаевском хуторе, он мог не только беспрепятственно изучать земские переписи и статистические сборники и читать труды народников, прослывших знатоками русской экономики, но и изобличать этих знатоков в рутине.

Правда, кругозор его не отличался широтой, и один из первых русских марксистов Туган-Барановский не без оснований замечал впоследствии, что «*история развития экономической науки ему почти неизвестна*» и что «*он вызубрил Маркса и хорошо знает только земские переписи*». Безземельная Алакаевка, которую помещик освободил от крепостного права без выкупа, отрезав себе за это три четверти земли, находившейся в пользовании крестьянской общины, была нетипичной деревней. Богатых крестьян, ведущих не продовольственное, а коммерческое хозяйство и прибегавших к найму рабочей силы, В. Ульянов видел, лишь бывая у Елизаровых в Бестужевке. Прочитав книгу чиновника по устройству казенных земель в Таврической губернии Постникова «Южнорусское крестьянское хозяйство», он подхватил выводы автора, делившего крестьянство на три группы по достатку. Интерес его к общине носил предвзятый характер: он собирал доказательства, что община разлагается и что Россия вступила на путь капиталистического развития. Призывы Федосеева и Санина «анкетировать крестьянство» не были им забыты. Возможно, что для изучения деревни он пользовался разработанными ими опросными листками. В дальнейшем он не раз поручал своим самарским знакомым: народнику А. А. Преображенскому, жившему на хуторе Шарнеля, фельдшеру Д. А. Гончарову и статистику В. А. Ионову — заполнять для него в деревнях такие анкеты. (Они считали их его собственным «гениальным изобретением».)

Живя на хуторе, Ульяновы поддерживали отношения с деревней через кухарку Екатерину Фролову и бедного мужика Маврея Никонорова, которого они ежегодно нанимали обрабатывать огород. После тяжбы из-за украденной коровы отношения их с крестьянами наладились лишь благодаря Анне Ильиничне, считавшей своим долгом заниматься просветительской деятельностью. Вместе с дочерью работника Машей Никаноровой, носившей тяжелый ящик с лекарствами и крупой, она обходила избы и учила молодых матерей ухаживать за младенцами и прикармливать их смесями и отварами. Заодно она научила читать сына старосты — Костю Филиппова — и подарила ему букварь.

Сами Ульяновы жили в достатке. Младшие из них, Мария и Дмитрий, оставили идиллические воспоминания о местных лесах, о своих поездках и прогулках. Засуха и голод, от которых в 1891 году пострадало около миллиона самарских крестьян, их не коснулись. Лев Толстой и Короленко приехали в ту осень в Самару, чтобы организовать помощь пострадавшим. Интеллигенция устраивала для мужиков бесплатные столовые. Городская управа получила от правительства и от частных лиц средства, чтобы обеспечить крестьян, забивавших избы и уходивших в город, временной работой. В. В. Водовозов, отбывавший в Самаре ссылку, в своих воспоминаниях рассказывает, что В. Ульянов занимал тогда особую позицию и всюду, где собиралось интеллигентное общество, выступал против оказания помощи голодающим, доказывая, что она «*выгодна господствующим классам, поскольку*

ослабляет недовольство и отчаяние рабочих масс». Отдельные человеческие жизни и судьбы уже тогда не имели в его глазах значения.

Из всех идей Маркса больше всего его захватывали исторический детерминизм, фаталистическая уверенность в неизбежности разрушения капиталистического общества. Он говорил своим слушателям, что чем больше крестьян погибнет или разорится, тем скорее образуется в России капитализм, а с ним и пролетариат, который станет его могильщиком. Старшая сестра его не умела мыслить так абстрактно, как он. Она подкармливала деревенских ребятишек и занималась как раз той благотворительной деятельностью, которую ее брат осуждал и считал вредной: когда в 1892 году в Самарской губернии вспыхнула эпидемия холеры, она помогала лечить крестьян. Лекарствами ее снабжал фельдшер Дмитрий Александрович Гончаров, гимназический товарищ ее старшего брата, исключенный с последнего курса медицинского факультета Казанского университета; впоследствии земский врач, преследуемый советской властью и погибший в 1918 году от тифа, которым он заразился, оказывая помощь своим врагам-красноармейцам. По сохранившимся в Алакаевке воспоминаниям, Анна Ильинична, действуя по указаниям Гончарова, добровольно взявшего на себя тогда заведование тремя противохолерными участками, спасла от холеры мать Марьи Мавреевны.

В 1893 году кончился гласный надзор над Анной Ильиничной, и в конце лета семья Ульяновых навсегда покинула алакаевский хутор. Уехавший в Петербург Ленин никогда больше не встречал алакаевских мужиков. Родные же его, подолгу жившие в начале века в Самаре, где находилось Бюро русской организации «Искры», а затем Восточное бюро ЦК РСДРП, забыли о своих деревенских знакомых на целых четырнадцать лет. Вспомнили они о них лишь в 1907 году во время выборов во Вторую Государственную Думу, когда Богдановская волость выдвинула своим кандидатом алакаевского крестьянина Петра Асанина, набравшего на одиннадцать голосов больше, чем волостной старшина. Марк Елизаров, высланный из Петербурга и сотрудничавший в газете «Самарская лука», также выдвинул тогда свою кандидатуру в Думу от самарских социал-демократов, но неудачно.

«*В 1907 году мой муж, будучи в ссылке за железнодорожную забастовку, работал в Кинеле*, — вспоминала А. И. Елизарова в заметке, опубликованной в «Волжской коммуне» в 1929 году. — *Он сообщил мне, что Алакаевка самая революционная деревня в районе. Я отправилась туда. Половину пути пришлось идти пешком. Я не узнала деревни. Крестьяне значительно политически выросли*».

Сыновья Петра Асанина рассказывали мне, что на память об этой встрече она подарила их отцу «Воскресенье» Толстого. Хотя после этого ее связи с алакаевскими крестьянами опять порвались на целое десятилетие, в деревне ее помнили лучше, чем брата. В 1964 году я застала в живых лишь одного слепого старика, смутно вспоминавшего живших на хуторе господ. Не было уже ни Петра Асанина, умершего еще при жизни Ленина, ни его племянника Константина Филиппова, которого Анна Ильинична научила читать; ни

Марии Мавреевны, которой, как потом выяснилось, был адресован неотправленный конверт, обнаруженный мной в архиве. Зато дети их и многие пожилые алакаевские колхозники хорошо помнили, как она приезжала в деревню во время коллективизации и пыталась спасти знакомых крестьян от общей участи.

* * *

Сестры считали своего брата, шедшего через горы трупов к намеченной им абстрактной цели, гением и были убеждены, что он защищает интересы трудящихся. Когда Марк Елизаров, согласившийся после октябрьского переворота занять пост наркома путей сообщения в ленинском Совнаркоме, получил сотни писем, в которых повторялся вопрос, «*почему он, пользующийся репутацией честного социал-демократа, связал свою судьбу с партией авантюристов-большевиков*», он опубликовал в «Известиях» «Ответ друзьям и недругам», где пытался убедить своих противников, что Ленин и его товарищи по партии — «*идейные борцы, которые всю свою жизнь отдали за великое дело любви к человечеству*».

Когда через четверть века после отъезда Ульяновых с Алакаевского хутора Анну Ильиничну Елизарову, жившую в Петрограде на Широкой улице, разыскал через адресный стол усатый унтер-офицер, оказавшийся ее бывшим учеником Костей Филипповым, он передал ей привет от Марьи Мавреевны, вышедшей замуж за его брата Матвея, и от своего дяди Петра Асанина и спросил, за какую партию голосовать на выборах в Учредительное собрание, можно не сомневаться, что он получил от нее совет голосовать за большевиков. Константин Филиппов, как и тысячи других солдат, поспешил вернуться в родную деревню, боясь опоздать к обещанному большевиками переделу земли.

Новая власть поощряла самосуды над помещиками и грабежи усадеб. Троцкий одобрял крестьян, которые «*действуют поленом, огнем и веревкой*». Ближайший сосед алакаевских мужиков, помещик Даненберг, попечитель сельской школы и председатель общества трезвости, неудачник-изобретатель, живший беднее многих крестьян, успел уехать на велосипеде на станцию и избежал расправы. Сын же его, мальчик-кадет, побежал в деревню и спрятался у своей бывшей няньки. Мужики арестовали его и отправили в Самарскую чрезвычайку. Вскоре имя его промелькнуло в списке расстрелянных за чуждое классовое происхождение, напечатанном в местной газете. Главного своего врага — мать кадета, пожилую, строгую барыню, которая сама управляла именьем и сдавала землю в аренду, отстранив от дел непрактичного мужа, мужики во главе с дезертиром Игонькой повели в лес на расправу. Игонька не вытерпел и, не дойдя до него, сразмаху стукнул старуху кулаком по затылку: вышиб из нее дух. Крестьяне жгли усадьбы, школы, больницы, ломали в щепки господское добро и устраивали костры из книг.

Развязанный большевиками слепой классовый террор не различал правых и виноватых. Жизнь многих товарищей В. Ульянова по казанскому

кружку обрывается в 1918 году. В Омске большевики расстреляли социалиста Константина Сараханова. Саратовский и Пензенский архивы хранят свидетельства о последних днях Николая Мотовилова, по программе которого Ленин когда-то занимался. Когда дезертиры и батраки стали грабить и жечь усадьбы в Кузнецком уезде, где он был избран земским гласным, бывший зачинатель марксистских кружков попытался образумить их: напомнил, что материальные ценности принадлежат теперь им самим. Но мужики видели в нем теперь уже не революционера, а барина и арестовали его. Когда его выпустили из каталажки, он снова сделал попытку предотвратить погром. На этот раз его жестоко избили, и он сошел с ума под ударами и вскоре умер.

Потом эти же кузнецкие мужики, наверно, не раз пожалели о своем несчастном ученом барине, пытавшемся посвятить свою жизнь служению народу и справедливости. Так было и в Алакаевке. Когда в тенденциозной современной книжонке писательница Т. Барковская вывела Даненберга, спорящего с мужиком из-за межи, алакаевский уроженец Степан Асанин, помнивший с детства этого помещика, привившего ему любовь к науке, написал мне: «*Даненберг — дворянин, и мне кажется невероятным, чтоб он пошел на такое мелкое и низкое плутовство*».

А ведь он вырос в той же деревне, где и дезертир Игонька, убивший старую барыню. Видимо, далеко не все мужики сочувствовали расправам, но власть была дана именно тем, кто убивал и грабил.

2. История уникального документа

Когда по Алакаевке прошел слух, что «*Володька-безбожник стал царем*», вся деревня обрадовалась своему везенью. Думали: при таких знакомствах никакие беды не страшны. В декабре 1917-го обмерили мужики саженью вместе с землемером все окрестные поля и разделили землю поровну: каждому двору по числу едоков. Не стало среди них безземельных. Если и осталась разница, то лишь в скотине, в инвентаре да в лошадях. В начале весны мобилизовали в Красную Армию молодежь. А потом повадились приезжать из города продотряды, стали отбирать у мужиков хлеб. Вошел в силу бездельник Леонтий Филиппов, брат убившего барыню Игоньки, первым в Алакаевке записавшийся в коммунисты. Назначили его председателем комбеда и заставили вместе с приезжими лазить по чужим закромам, «производить изъятие излишков». Но мужики из страха, как бы не вернулись помещики и не отобрали назад свою землю, поддерживали советскую власть. Окруженная лесами Алакаевка лежала в стороне от боев. Когда главнокомандующий Урало-Оренбургским фронтом Красной Армии Яковлев, перешедший потом на сторону Колчака, решил уклониться от исполнения приказов Ленина и Троцкого, он перевел свой штаб в тихое место, в Кинель, по соседству с Алакаевкой. Вначале Красная Армия отступала и целыми полками сдавалась в плен или переходила на сторону Народной армии, организованной эсерами. Но в октябре большевикам удалось отбить Самару, и му-

жики почувствовали, что власть их установилась прочно. Первенцы братьев Филипповых, Константина и Матвея, погибли в рядах Красной Армии под Царицыном. Сын Петра Асанина Михаил, коммунист, сделался губернским комиссаром. Отец его и других мужиков поучал: «*Вступайте в партию, будете, как дворяне!*»

Когда в 1919 году алакаевцы узнали, что в Москве — голод, Михаил Асанин предложил им напомнить о себе прежнему соседу, — отправили они ему в Кремль подарок, два вагона с продовольствием. Следующий год был неурожайный. Видя, что сытый с голодным в одной берлоге не уживутся, Петр Асанин уговорил крестьян ссыпать зерно перед севом в общий амбар. Сеяли всей деревней, будто одна семья.

Кругом недород, а у них и пшеница, и подсолнух хорошо уродились. Но в 21-м опять не было дождей, и весь хлеб на корню сгорел. Да и советы теперь некому стало давать. Из Самары пришло известие, что Михаила Асанина застрелил его товарищ по губкому, такой же комиссар, как он. Не поделили ли чего, или же правду написали, что произошел случайный выстрел, только старик после этого совсем перестал интересоваться общественными делами, слег и сам приготовился умирать. А к осени нагрянул в Алакаевку продотряд. Забрал все, что осталось, подчистую. И самим нечего стало есть, и скотину нечем кормить, и на посев ничего не оставили.

Елизарова заведовала в Наркомпросе отделом детства. Она не забывала знакомую деревню и несколько раз присылала детям рис и какао от американской организации АРА. Но стиль работы Анны Ильиничны казался наркомпросовским бюрократам слишком индивидуализированным. Они жаловались на нее за то, что она проявляет слишком живое участие к воспитанникам московских детских домов, почти каждого из них знает в лицо и следит за их дальнейшей судьбой. Брат, желая быть объективным, отстранил ее за это от увлекшей ее работы, сочтя ее благотворительность неуместной. Когда в Алакаевку перестали поступать посылки с рисом и какао, крестьяне решили послать в Москву ходока — Сергея Фролова, мужа кухарки, работавшей когда-то у Ульяновых на хуторе. До Ленина он не добрался, но Анну Ильиничну повидал. Она добилась того, что Ленин продиктовал 9 января 1922 года телефонограмму во ВЦИК: «*Прошу оказать содействие по покупке и получению хлеба для деревни Самарской губернии Алакаевки представителю ее — Сергею Фролову, а также по снабжению деревни семенами на яровой посев. Так как я был с этой деревней знаком лично, то считал бы политически полезным, чтобы крестьяне не уехали без какой-либо помощи наверняка. Прошу постараться устроить это и сообщить мне, что удалось сделать*».

Однако, несмотря на телефонограмму главы правительства, Фролов и приехавший с ним Константин Дмитриевич Филиппов не добились ничего, кроме обещаний, и вернулись назад с пустыми руками. Месяца через два мужики, кормившиеся желудями и корой, решили опять напомнить Ленину о себе. На этот раз они послали вместе с Филипповым самого грамотного из молодых уроженцев деревни — Степана Дмитриевича Асанина, незадолго

до того устроившегося на работу в самарский отдел народного образования (при тогдашней безработице это считалось великой удачей, но двадцатилетний Степан не посмел отказать приехавшему к нему с поручением от общества отцу). В 1967 году, уже будучи инженером на пенсии, он рассказал мне, через какие мытарства пришлось пройти ему и Филиппову, чтобы телефонограмма Ленина не осталась одним из сотен неосуществленных распоряжений, которые вождь пролетариата ежедневно подписывал в Кремле.

За четыре года гражданской войны Россия была доведена до обнищания и полной разрухи. Национализация предприятий, которая, по мнению большевистских идеологов, должна была мгновенно увеличить производительность труда и представляла собой, как они считали, высшую фазу организации промышленности, на деле привела к дезорганизации и бесхозяйственности. На Самаро-Златоустовской железной дороге из 670 паровозов более 600 вышли из строя. Из-за эпидемии сыпняка любой переезд был связан со смертельной опасностью (поездка М. Т. Елизарова на торжественный акт в честь столетия Петербургского университета стоила ему жизни, хотя он и ехал в особом вагоне). На VII Съезде Советов Ленин поставил вопрос ребром: «*Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!*»

Константину Дмитриевичу и Степану удалось с боя втиснуться в набитую людьми вшивую теплушку. Добравшись на пятые сутки до Москвы, они, несмотря на усталость, пошли на Неглинную, где жила Елизарова (постеснялись тратить собранные обществом деньги на извозчика). Елизарова позвонила в общежитие Третьего Дома Советов, велела им идти туда вымыться с дороги и выспаться, а утром опять прийти. Назавтра она потребовала, чтобы ходоков пропустили в Кремль, в приемную ВЦИК, где помещался ЦК ПОМГОЛа.

В России голодало 36 млн. крестьян, и ПОМГОЛ почти не располагал возможностями помочь им. Сотрудники его с утра до ночи регистрировали поступавшие отовсюду запросы и отвечали на них бюрократическими отписками. К концу первой же недели, проведенной в столице, Филиппов заболел. Но Степан Асанин продолжал каждое утро приходить в Кремль, пока заместитель председателя ПОМГОЛа не выделил, наконец, Алакаевке сто пудов овса, гороха и муки из полутора миллионов пудов продовольствия, поступивших в декабре 1921 года из-за границы от МЕЖРАБПОМа (Международной рабочей помощи). Хотя в сравнении с тем, что было отобрано у самих мужиков, это было каплей в море (в одном лишь 1919 году Наркомпрод планировал «заготовить» в Самарской губернии 60 млн. пудов зерна, но продотряды нашли в закромах только 23 млн.), эти сто пудов спасли тогда алакаевских мужиков от голодной смерти.

Степан довез заболевшего сыпным тифом Константина Филиппова до Кинели и оставил его у родственников в почти безнадежном состоянии. Один он доставил в Алакаевку муку и семена. Хотя из-за поездки в Москву он потерял место и остался без работы, а Константин Дмитриевич едва не умер, ни тот, ни другой никогда потом не жалели, что «порадели для общества». Вес-

ной 1922 года, когда больше половины посевных площадей осталось в России невспаханными и незасеянными, их землякам было что посеять. Конечно, причиной этого была не только ленинская телефонограмма, но и усердие ходоков, благодаря которому его просьба превратилась в конкретную помощь крестьянам. Среди подписанных Лениным декретов и приказов эта телефонограмма остается единственным в своем роде документом.

Когда в 1931 году, пытаясь противопоставить бесчеловечной политике Сталина деревенскую политику своего брата, Елизарова опубликовала в «Правде» заметку «Ленин и Самарская деревня», она рассказала в ней об этом факте, так и не найдя других, более значительных.

Однако и телефонограмма, и заметка о ней больше говорят о самой Елизаровой, чем о ее брате, видевшем в крестьянстве класс мелких собственников: человеческое сырье, которое предстоит переработать и перевоспитать. Сталин, конечно, имел все основания ссылаться на Ленина, так как копировал его приемы и прикрывал свои преступления цитатами из его статей.

3. «Уроки алакаевщины»

Исключенный из партии Троцкий недаром утешал себя рассуждениями, что «партия перестала быть партией». «*Состав ее настолько изменился, что плагиат Сталина, присвоившего идеи, которые сам же осуждал, остался замеченным лишь немногими*». Партия, действительно, стала другой. В июле 1917 года в ней состояло 240 тыс. членов. За шесть лет (1922 – 1928) 260 144 члена выбыли или же были исключены. Зато после двух массовых призывов, «ленинского» (1924) и «юбилейного» (1927), в ее ряды нахлынули новички, среди которых преобладали люди с «низшим» или домашним образованием, не имевшие никакого политического опыта. Коммунисты, вступившие до октябрьского переворота, составляли в этой партии немногим больше 1%.

Нетрудно было заранее предвидеть, что это меньшинство станет следующей жертвой генсека, ставшего единоличным диктатором. Сестры Ленина принадлежали именно к этому меньшинству.

Анна Ильинична, еще при жизни брата отстраненная от административной работы, сотрудничала в Истпарте, еще в 1923 году переданном, по приказу Сталина, из ведения Наркомпроса в ведение ЦК ВКП(б), взятом им под собственный контроль, а в 1928 году слитым с Институтом Ленина. Уже тогда над журналом «Пролетарская революция», который редактировала Анна Ильинична, и над старым архивом ЦК РСДРП, за которым она, по поручению брата, ездила в 1907 году в Стокгольм и в Женеву, нависла опасность.

Младшая сестра, Мария Ильинична, одно время выступавшая, как и Крупская, на стороне «новой оппозиции», в отличие от старшей сестры, оставалась авторитетной партийной работницей, участвовала в партийных съездах и конференциях и была избрана членом ЦКК. Это не помешало Сталину, желавшему покончить с печатаньем писем о злоупотреблениях и коррупции и поставить под свой контроль созданное ею рабкоровское и

селькоровское движение, отстранить ее весной 1929 года от должности ответственного секретаря «Правды», которую она занимала двенадцать лет.

Крупская и Мария Ульянова участвовали в XVI партконференции, где Сталин огласил свой первый пятилетний план, обещавший увеличить промышленную продукцию на 180%, производство машин на 230% и предметов потребления — на 144%. Это был план форсированной индустриализации, которая, как он сам прежде предупреждал, должна была искусственно вызвать в стране голод. Но теперь он утверждал, что благодаря коллективизации сельскохозяйственная продукция к концу пятилетки возрастет на 55%, так как посевные площади увеличатся с 3 млн. гектаров до 27 млн. Сталин сообщил на конференции, что коллективизация развивается триумфальными темпами; что намеченные цифры уже перевыполнены на 149% и в колхозы уже втянуто 20 млн. крестьян.

Как ни изолированы были сестры Ульяновы от действительности, они отнеслись к коллективизации, как и ко всему, что исходило от Сталина, недоверчиво. Правда, обе они не возражали против крупных хозяйств и считали, что намеченный их братом путь к социализму лежит в деревне через совхозы и распространение передового опыта. Но они осуждали насилие и на всякого, кто был за колхозы, т. е. за деревенскую политику Сталина, смотрели теперь как на личного врага. [...]

Сестры догадывались, что за марксистско-ленинским фасадом сталинских формул прячется кровавая ложь. Младшая из них из писем селькоров успела узнать, что, хотя Сталин говорит и пишет о добровольной коллективизации, во многих деревнях крестьян заставляют вступать в колхозы насильно.

Анна Ильинична стала беспокоиться о судьбе своих алакаевских знакомых. Больная, шестидесятипятилетняя, она в конце весны 1929 года решила навестить их, чтобы посмотреть, как осуществляются инструкции Сталина в деревне, к которой их семья относилась как к своей вотчине. Мария Ильинична, которой уже не надо было по утрам спешить на работу в редакцию, поехала вместе с ней. Свидетельницу их поездки я нашла через четыре десятилетия после нее в предместьи города Куйбышева Смышляевке. Это была продавщица хлебного ларька, жена отставного полковника Александра Матвеевна, внучка батрака Ульяновых Маврея Никанорова, дочь Матвея Филиппова и Марьи Мавреевны.

Александра Матвеевна вспомнила, как однажды остановился перед их пятистенком автомобиль. Из него вышли две седые женщины. К удивлению девочки, воображавшей, будто сестры Ленина ходят в золоте, как сказочные царевны, и будто платья на них должны быть золотые, гостьи были во всем черном. Марья Мавреевна, увидев гостей, поставила самовар, принялась стряпать блины, а Шуру послала сбегать за «дядей Костей», избранным председателем колхоза. После чаепития он повел Ульяновых по деревне, которую они не видели больше двадцати лет. Они зашли в заброшенный и обветшавший дом Петра Асанина; поговорили с мальчиками-сиротами, детьми его убитого сына, и пообещали устроить их учиться в техникум. Что-

бы угодить гостьям, братья Филипповы, Константин и Матвей, хвалили колхозную жизнь, с которой еще не успели познакомиться, так как колхоз организован был недели за две до их приезда.

В безземельной Алакаевке, где крестьяне и до революции вынуждены были жить артельной жизнью и сообща арендовать пастбища и поля, хотя каждый и вел отдельное хозяйство, организация колхоза прошла спокойнее, чем в других самарских деревнях. Кулаков в деревне давно уже не было (двух мужиков, имевших собственную землю, раскулачили еще в Гражданку, хотя участки у них были небольшие, вдвое меньше ульяновского). Привычка к артельной жизни сказалась здесь уже в годы нэпа, когда мужики на добровольных началах организовали несколько товариществ и сообща приобрели в общее пользование конную сеялку и молотилку.

Гостьи, конечно, понимали, что причиной доверия алакаевских крестьян к советской власти было знакомство с ними и уверенность, что за них есть кому заступиться, как бы ни сложилась судьба остального крестьянства. Ничего ужасного в Алакаевке пока не случилось. Константин Дмитриевич рассказывал им, что незадолго до сева приехал в деревню из Кинеля председатель райколхозсоюза Жмуров, в прошлом первый во всей волости конокрад. Привез с собой корреспондента. Ну, и свои активисты — председатель сельсовета Леонтий и потомственная беднячка «кума Дунька» — предупредили народ, чтоб записывался в колхозы. Иначе силой заставят. Ну, надо так надо. Начальству виднее.

Название колхозу придумали «Уголок Ленина». Константин Дмитриевич уверял, что, если привыкнуть, можно хозяйничать и сообща. [...]

Хотя в Алакаевке коллективизация и прошла довольно благополучно, Анна Ильинична вернулась из поездки расстроенная. Работая над книгой о своем старшем брате Александре, она перечитывала его программу, в которой он писал, что революции совершаются во имя «*материального благосостояния личности и ее полного, всестороннего развития*». Однако в Алакаевке царили такие же бедность и бескультурье, как и в дни ее юности. Она не решалась пользоваться деревенской посудой, возила с собой складную ложку, вилку и стаканчик. Как во многих поволжских деревнях, в Алакаевке некоторые семьи были заражены бытовым сифилисом, занесенным с солдатчины кем-то из мужиков. Грамотных крестьян, читающих газеты, и теперь легко было пересчитать по пальцам. В политическом отношении в деревне обозначился резкий упадок в сравнении с тем, что сестры видели там в 1907 году, когда обе они были приятно поражены тем, что мужики интересуются политикой и даже наукой. Мужики уже не собирались на бревнах возле дома Петра Асанина — обычном месте сельских сходов, не спорили о партиях и о выборах, не читали вслух «Астрономию» Фламмариона и романы Толстого. Избы обветшали. Новых никто не строил: невозможно было ни за какие деньги достать не только бревна, но даже гвозди. Несмотря на безземелье, каждый уважающий себя хозяин держал до революции двух лошадей: одну — на выезд, другую — для полевой работы. Молоко в деревне никогда

не переводилось. Теперь жили куда скуднее. Репрессий против зажиточных крестьян, налоги и грабежи лишили их труд смысла. Анна Ильинична не могла не связать появившейся у мужиков апатии, охлаждения к работе с тем, что в деревне, где до революции выработался особый тип грамотного, толкового крестьянина-арендатора общественных земель и ходатая по мирским делам, теперь власти выдвигали на роль вожаков бывших членов комбеда — Леонтия Филиппова и батрачку Евдокию, пьянчужку, прозванную в деревне «кумой Дунькой», никогда не ведших собственного хозяйства.

Анна Ильинична знала, что крестьянская работа требует навыков и уменья, которых нет у этих активистов, возглавлявших в 1918 году грабежи и убийства. Опасения ее вскоре подтвердились.

Через месяц от Константина Дмитриевича пришло письмо о том, что после их отъезда тринадцать середняцких семей, в том числе и его семью, исключили из колхоза и имущество их распродали с торгов. Анна Ильинична не могла не видеть связи между этими событиями и своей недавней поездкой в Алакаевку.

Какой же произвол воцарился в деревне, если местные активисты из зависти могут теперь любого объявить кулаком или подкулачником и обобрать?

Филиппов молчал в своем письме о зависти и интригах председателя сельсовета. Он писал лишь о том, что у него украли корову и что он пожаловался в милицию. Вором оказался один из братьев Леонтия, и тот после этого затаил против него злобу. А вскоре нажил он себе еще одного врага: в Алакаевку опять пожаловал председатель Кинельского райколхозсоюза цыган Жмуров. Константин Дмитриевич повез его смотреть посевы. По дороге Жмуров похвалил его дрожки. Прощаясь, опять о них вспомнил и предложил обменять на свои — казенные, неказистые. Но Константин Дмитриевич не согласился, не стал потакать жулику.

Не прошло после этого и недели, как Жмуров и Леонтий вынесли постановление исключить его и других середняков из колхоза и раскулачить. Жмуров приехал на торга и, не заплатив ни копейки, увез дрожки и самовар Константина Дмитриевича. Забрали у него все его имущество, даже чугуны, подушки и кур с цыплятами. Но Леонтий и теперь не желает угомониться и добивается, чтоб его, брата Матвея и других середняков выслали на Соловки как подкулачников. Вскоре пришло письмо и от Кузьмы Фролова, сына работавшей на хуторе кухарки, так же попавшего в число раскулаченных.

Анна Ильинична посоветовалась с Крупской, избранной на съезде членом президиума ВЦИК, и подала туда заявление, где засвидетельствовала, что лично знает всех раскулаченных алакаевских колхозников; что все они до революции были безземельными бедняками; что старшие сыновья Константина и Матвея Филипповых погибли в Красной Армии под Царицыном, а Кузьма Фролов лишь недавно демобилизовался. В Алакаевку из Москвы командировали двух ответственных партийных работников. Они провели расследование и подтвердили, что алакаевские крестьяне стали жертвами беззакония и грабежа. Жмурова, успевшего за месяц еще выше

подняться по служебной лестнице, поспешили перевести в другой район. Ни дрожек, ни самовара он так и не вернул. Леонтий Филиппов как был председателем сельсовета, так и остался. Члены комиссии, вернувшись в Москву, заверили Анну Ильиничну, что никаких кулаков в Алакаевке не обнаружилось и что всех раскулаченных середняков восстановили в правах. (Лишь впоследствии, когда один из сыновей Петра Асанина стал хлопотать за свою сестру Лукерью, она узнала, что через несколько месяцев Леонтий все-таки добился высылки на Север нескольких семей; среди них оказалась и сноха Марьи Мавреевны, мать внука Вани, со своим вторым мужем, но Филипповы не посмели ей об этом написать.)

Секретарь Средне-Волжского крайкома М. М. Хатаевич опубликовал в «Известиях» статью «Об уроках алакаевщины», где осудил «перегибы» по отношению к середняку. Имя ульяновской вотчины стало именем нарицательным, прогремело на всю страну, хотя никто из виновников произвола не был наказан.

Сталин, сознававший, что загнать крестьян в колхозы он может, только опираясь на полууголовные элементы, на добровольных палачей и войска, видя, что дело уже сделано и что темпы коллективизации давно превысили запланированные им цифры, счел нужным умыть руки. Вслед за Хатаевичем он выступил 2 марта 1930 года в «Правде» со статьей «Головокружение от успехов», в которой свалил ответственность за злоупотребления на не в меру усердных исполнителей и изобразил из себя защитника пострадавших крестьян. Затем он подписал циркуляр «О левых перегибах» и позволил недовольным единоличникам в нечерноземных районах, не подлежавших по его плану сплошной коллективизации, выйти из колхозов. Однако разрушение сельского хозяйства продолжалось.

Организация колхозов позволила Сталину централизовать управление сельским хозяйством. Уже в первые годы коллективизации оно обросло двухмиллионным бюрократическим аппаратом партийных и советских чиновников и толкачей. Вслед за наркомземом и наркомпродом выросли колхозсоюзы, колхозцентры, тракторцентры, хлебоцентры и другие паразитические организации, кидавшиеся от одного «новшества» к другому, чтобы оправдать свое существованье в глазах начальства. На подмогу сельской бедноте из городов прислали 25 тыс. рабочих и назначили их председателями колхозов без всякого обучения и подготовки, как будто пролетарское происхождение могло заменить им знания. Алакаевцам приказали обобществить весь скот.

Потом Анна Ильинична получила от деревенских знакомых письмо о том, что на общем собрании им велели проголосовать за коммуну и поселиться всем одной семьей.

Неподалеку, в деревне Сколково, еще в 1920 году была организована коммуна с красивым названием «Хлеб, свет и свобода», но руководители ее, развалив переданное в их руки помещичье хозяйство, перегрызлись между собой и стали обвинять друг друга во вредительстве и писать кляузы во все инстанции. Анна Ильинична сочла переход к коммуне преждевременным.

После этого райколхозсоюз задумал укрупнить алакаевский колхоз и объединил Алакаевку с большим, далеко от нее расположенным селом Ново-Запрудным, где народ не хотел вступать в колхоз.

Хотя между обеими деревнями не было никаких хозяйственных связей, Алакаевка отныне стала считаться отделением гигантской экономии, существовавшей только на бумаге.

4. Переписка с «пролетарием»

Управляющим в алакаевское отделение назначен был посыльный московского почтамта Алексей Григорьевич Князев. Жена его Полина Николаевна была женщина предприимчивая. Время было голодное, и она решила превратить мужа из посыльного в пролетария и воспользоваться предоставленными последним привилегиями. Князев ушел с почтамта, поступил на два месяца на стеариновый завод, вступил там в партию и вызвался поехать в деревню, хотя в сельском хозяйстве ничего не смыслил. Даже сорок лет спустя старые алакаевские колхозники при упоминании имени своего управляющего, а затем второго председателя, забыв зло, смеялись и вспоминали, как прибывший из столицы руководитель спросил у них, на каких деревьях растут мочала.

Услышав от колхозников, что братья Филипповы знакомы с родней Ленина, предусмотрительная супруга его, державшая своего «пролетария» под каблуком, сочла, что им и самим не мешает заручиться такими влиятельными связями. Вскоре Н. К. Крупская получила из Алакаевки письмо: присланный в деревню пролетарий возмущался раскулачиванием К. Д. Филиппова и других середняков. Крупская тепло ему ответила, сообщила, что она только что отправила бригаду политпросветчиков на Урал, в огромную Краснополянскую коммуну, объединяющую 60 тыс. крестьян (видимо, тогдашняя гигантомания и ей импонировала). Написала, что Алакаевки она не знает и что она переслала его письмо Анне Ильиничне. Вскоре Князев получил на свое письмо и второй ответ.

«*...Поступлено с ними было, действительно, безобразно, и я могу только удивляться сознательности некоторых из них, например, Кузьмы Фролова, который написал мне: „Как быть, в новом деле без ошибок не обойтись, на ком-нибудь и ошибаться, верно, надо»*, — писала Елизарова. — *Отчасти я приписываю это особому доверчивому отношению в этой деревне к советской власти, наверно, из-за Вл. Ильича, которого они хорошо помнят*». [...]

Анна Ильинична сообщала Князеву, что недавно подробно написала своим алакаевским знакомым, почему им не следует объединяться в коммуну.

За два года Князев получил от Анны Ильиничны четыре письма. Одно из них он скрыл от меня, но в архиве Анны Ильиничны я нашла его копию.

Письма эти позволили мне увидеть картину, типичную для эпохи коллективизации, когда рабочих присылали в деревню часто для того, чтобы руководить репрессиями, а не сельским хозяйством.

Когда Анна Ильинична, в кругу родных осуждавшая насильственную коллективизацию, писала Князеву, что середняки будут полезны колхозу, то этим она лишь констатировала то положение, что в районах сплошной коллективизации для крестьян уже нет выбора. Их место либо в колхозе, либо в местах заключения, от которых она пыталась спасти своих старых знакомых.

Сами крестьяне тоже понимали, что прежнюю жизнь уже не вернешь, и старались, как умели, освоиться с новыми формами хозяйства, навязанными им государством.

Константин Дмитриевич предложил засеять поля не только пшеницей, но и подсолнечником. Начал постройку конюшни и коровника; завел племенных свиноматок. По старой привычке, он хлопотал за все общество и ночей не спал из-за общего хозяйства, словно оно было его собственное. Князеву не потребовалось много времени, чтобы убедиться, что над его распоряжениями мужики смеются и не торопятся их выполнять. По совету жены, он назначил Константина Филиппова своим помощником, надеясь, что тот будет работать, а он — рапортовать об успехах. Так и вышло. Филиппов бегал в своих лаптях по полям, а Князев сидел в конторе. Но мужики, придя к выводу, что его держат «для мебели», даже обращаться к нему совсем перестали и со всеми делами шли к Филиппову, словно не Князев, а он был управляющий.

Летом, в страду, Князев совсем отошел от дел, ссылаясь на нездоровье. Зато после уборки, когда правление, обменявшее семечки на подсолнечное масло, выдало колхозникам аванс, себя не обидел. Когда Константин Дмитриевич решил построить свиноферму, Князев опередил его и написал Анне Ильиничне, что задумал дело «в мировом масштабе», но у колхоза не хватает средств. Сестры Ульяновы и Крупская сложились, выслали в Алакаевку тысячу рублей, но не на имя Князева, а на имя Константина Дмитриевича. Самолюбие Князева было уязвлено. Зависть к Филиппову сблизила его с его врагом — Леонтием. Вскоре они стали друзьями и собутыльниками. «Кума Дунька» увивалась вокруг жены Князева Полины, передавала ей разговоры и сплетни. И та потом жалила своего незадачливого «воеводу» напоминаниями, что мужики смеются над его жадностью и бездельем и что даже маленького деревенского начальника из него не вышло. Прожив в Алакаевке полгода, он возненавидел мужиков и вскоре нашел себе занятие, более соответствовавшее его склонностям: вместе с Леонтием стал выискивать, кто из них тайный враг советской власти. Это дело у него пошло и сразу подняло его в глазах районного партийного начальства.

По первому же доносу, написанному Князевым и Леонтием, ГПУ арестовало и выслало на Север как кулаков несколько семей из тех тринадцати, которых комиссия, приезжавшая из ВЦИК по требованию Анны Ильиничны, признала середняками. Ободренный успехом, Князев, не сомневавшийся, что ГПУ поверит партийному пролетарию больше, чем беспартийным мужикам, стал шпионить за Филипповым и Фроловым, неосторожно выражавшими недовольство бестолковыми порядками.

К осени донос на них был состряпан, но Полина Николаевна сочла, что на этот раз опасно действовать в обход секретаря крайкома, лично замешанного в алакаевскую историю. По ее совету, Князев поставил Анну Ильиничну в известность, что намерен перед своей поездкой в отпуск показать Хатаевичу материалы, доказывающие, что Фролов и Филиппов — кулаки и вредители. Последствия его письма были для него неожиданными. Ответ Анны Ильиничны не заставил себя ждать:

Самарский округ,
Кинельский район, деревня Алакаевка тов. Князеву.
Отпр. А. И. Елизарова Москва, Манежная, 9. 13/XI-30 г.

Уваж. товарищ!

Сейчас получила ваше письмо от 8/XI и была очень и неприятно удивлена им. Все время, что вы работаете в Алакаевке, вы писали мне (письма ваши у меня сохранились), что алакаевцы такие мужики, что с ними не только колхоз, но и коммуну построить можно, и сами провели помощником председателя колхоза Константина Филиппова и писали мне о нем, что мужик деловой и хороший работник. А теперь после нескольких месяцев работы с ними пишете, что это кулаки и вредители. Как же вы все время работали с ними и давали лучшие отзывы? Тут, верно, какая-нибудь ошибка с вашей стороны или какая-нибудь временная ссора. Откуда они стали сразу кулаками?

Что в прошлом году они были раскулачены неправильно, об этом есть у меня постановление комиссии ВЦИК, которая ездила в Алакаевку и отдала под суд Жмурова, сделавшего это по личной злобе, и сместила весь РИК. И все, что они мне писали, было подтверждено комиссией...

И прошу вас выслать мне материалы против Филиппова и Фролова прежде, чем вы покажете их Хатаевичу, потому что, не видя материалов, я ничего не могу понять в том, за что вы обвиняете этих крестьян.

А еще лучше было бы, если бы вы приехали сами, как собирались, и рассказали бы все. Филиппов пишет, что работать с вами хорошо, но что теперь, когда в колхоз влили другую деревню, он боится, что не справится по малограмотности с расширенной работой. Спешу по вашей просьбе отправить письмо и жду вашего ответа и хороших результатов.

С коммун. приветом *А. Елизарова*
13 XI-30 г.

Князев и его жена поспешили воспользоваться приглашением. При свидании Анна Ильинична уговорила «пролетария», оказавшегося круглым невеждой, оставить ее знакомых крестьян в покое и заставила его послать Филиппову из Москвы дружеское письмо, прося забыть прежние разногласия и обиды.

Сделал он это только из страха, как бы не прогневить сестру Ленина, но донос на Константина Филиппова не уничтожил. Когда перед весной перевели его в Кинель и назначили вместо Жмурова председателем райкол-

хозсоюза, он отдал донос Леонтию, надеясь, что тот со временем доведет начатое им дело до конца. На новой должности Князев так же обнаружил полное отсутствие организаторских способностей и невежество. Отвечая на его последние письма, Анна Ильинична уже не может удержаться от упреков: «*...Хотелось бы надеяться, что школа к тому времени у вас будет готова и выборные лица в колхозе будут подходящие, — вообще, что колхоз встанет хоть немножко на ноги и что вы поможете ему не строгим администрированием и угрозами, а советом и делом. Ведь если во главе стоят не подходящие люди, то как делу идти? От этого, верно, и лесопильный станок не налажен, и крыша на конюшне не покрашена. А вы сказали, что покрасите...*»

Не знаю, за какие проступки, но проштрафившегося начальника в 1933 году перевели на Колыму. Однако и в тамошнем колхозсоюзе он не удержался. Вскоре устроился не то завхозом, не то снабженцем в ГУЛаг, к какому-то генералу НКВД, и оказался, наконец, на своем месте. Жена же его поступила на должность надзирательницы в женскую тюрьму.

5. Система руководства

Когда Князева забрали в Кинель, председателем «Уголка Ленина» опять стал Константин Дмитриевич. Тем временем Сталин произвел реорганизацию партийного аппарата, и функции отделов по работе в деревне перешли к отделам массовых кампаний. С приближением весны Константина Дмитриевича стали почти каждую неделю вызывать в райцентр на собрания, где местные и приезжие начальники и инструктора упражнялись в красноречии. На каждую поездку уходил целый день. Филиппов молчал, никогда не брал слова, как другие. Вид у него всегда был отсутствующий. Он думал о лошадях, которые стоят без фуража; о том, что не хватает посевного зерна.

Когда, благодаря хлопотам сестер Ульяновых, которым он пожаловался на очередные беды, весной в колхоз подбросили зерно и фураж, он успокоился, но ненадолго. Вскоре началась посевная кампания. Шли дожди. Сеять пшеницу в грязь было бесполезно. Несмотря на это, газеты каждый день на первой странице печатали рапорты о досрочном завершении сева. В конторе «Уголка Ленина» околачивались приезжие толкачи и корреспонденты. Секретарь райкома выругал Филиппова за то, что он вовремя не отсеялся, а Князев пригрозил снять его с работы. Константин Дмитриевич занимался сельским хозяйством сорок лет: с семилетнего возраста помогал отцу сеять и пахать, а с тринадцати лет, осиротев, сам вел с братом хозяйство. Он видел, что погода для сева неподходящая. Но люди, которые распоряжались колхозами, думали не об урожае, а лишь о том, чтобы первыми отрапортовать о выполнении кампании. Ему ясно было, что они понятия не имеют о крестьянской работе. Но если не понимают ее, то зачем суются в указчики? Зачем позволяют Игоньке, Леонтию и Жмурову губить честных мужиков? Зачем разрушают своими «кампаниями» вековые крестьянские навыки?

Константин Дмитриевич видел, что спорить с этими людьми бесполезно и что остается лишь одно: жить своим умом, действуя в обход вредным порядкам, и ждать: авось начальство переменится или другие порядки заведет?

Анна Ильинична между тем не забывала об Алакаевке. 21 января 1931 года она опубликовала в «Правде» заметку о том, как Ленин помог голодающим крестьянам, звучавшую как вызов политике Сталина. А в июне опять приехала навестить знакомых крестьян, на этот раз без сестры, проболевшей всю весну и уехавшей вместе с Крупской в Крым. Сопровождала ее молодая фельдшерица Александра Николаевна Винокурова («Александриночка», как называла ее Анна Ильинична). В обязанности ее входило не только следить за ее здоровьем, но и оберегать ее от неприятных впечатлений. В архиве Анны Ильиничны сохранилось письмо, посланное Александриночкой ее сестре.

20 августа 1931.

Дорогая Мария Ильинична!

Не удалось написать из Алакаевки, т. к. почта бывает раз в неделю. Прожили в деревне четыре дня, спали на хорошем свежем сене, кормили нас хорошими молочными продуктами, были сыты.

Анна Ильинична осталась больше довольна деревней, чем в 29 году. У крестьян дела с колхозом наладились. Колхоз хороший, крепкий. Настроение у крестьян д. Алакаевки почти хорошее. Ну а уж как встретили крестьяне А. И., не смогу так хорошо описать. Только вот один крестьянин прямо бросился в машину, когда мы приехали, обнял А. И. и начал целовать в обе щечки. Ну и смех же у нас был... Была послана из Крайкома с нами товарищ Андрианова в деревню. Она провела беседы с крестьянами. Нам хорошо было с ней. Она веселая и деловая. А. И. много гуляла. Много бесед вела с крестьянами. Было одно собрание. Неприятного ничего не было, чтобы могла нервничать А. И. Она загорела, все время была веселая...

Нетрудно догадаться, что смешной крестьянин, бросившийся целовать Анну Ильиничну, — это Константин Дмитриевич, обязанный ей своим спасеньем...

В 1970 году я разыскала А. Н. Винокурову, и она подробно рассказала мне о том, как вместе с Анной Ильиничной совершила прощальную поездку на пароходе по Волге. Анна Ильинична настроена была грустно, всю дорогу вспоминала мать и старшего брата. В Казани партийные власти оказали ей сухой и казенный прием. Ожила она только в Алакаевке, где к ней приходили с жалобами крестьяне не только из ближних, но и из дальних деревень. Помня старый обычай собирать сельские сходы на бревнах, Анна Ильинична устроила там колхозное собрание. Оправдываясь перед колхозниками за происходящее, она уверяла их, что Ленин был против насильственной коллективизации и что он готовил для них прекрасное будущее.

Благодаря ее хлопотам, крайисполком отпустил Алакаевке лес, чтобы достроить деревенскую школу. В архиве Анны Ильиничны сохранились два

письма от сопровождавшей ее сотрудницы Е. Андриановой, которую она, прощаясь, просила не забывать алакаевцев. Я потратила много дней на поиски этой женщины, жаловавшейся в своих письмах на мешающий работе бюрократизм. Но никто из старых самарских агрономов и зоотехников, доживших до конца 60-х годов, не помнил ее. Единственным, что осталось от Андриановой, кроме упомянутых писем, оказалась ее анкета, найденная мною в архиве одного из сельскохозяйственных главков. Из нее видно, что во время революции Е. Андрианова кончила гимназию и задумала посвятить себя строительству социализма. В анкете был указан ее адрес. В деревянном доме недалеко от набережной Волги старики с трудом смогли вспомнить, что на верхнем этаже когда-то жила женщина с маленькой девочкой. Никто не знал, когда и как она исчезла. Взял ли ее Хатаевич, вскоре переведенный Сталиным в Днепропетровск, вместе с другими преданными ему сотрудниками на Украину, где все они через несколько лет были расстреляны? Или ее арестовали в Самаре, где после ареста Хатаевича уничтожено было почти все среднее звено партийного и советского аппарата? Ю. К. Милонов, крупный работник Самарского облисполкома, которому посчастливилось дожить до реабилитации и на старости лет вернуться с Колымы в Москву, уверял меня, что именно Хатаевичу принадлежала инициатива свержения Сталина и замены его Кировым и Крупской, получившими на XVII съезде при тайном голосовании больше голосов, чем «гениальный секретарь». Но Киров, узнав об этих планах, струсил и сам рассказал о них Сталину. Хатаевич был замучен на смерть. Должно быть, и Андрианова умерла в лагере или была расстреляна. Ни Анна Ильинична, ни Александриночка, разумеется, не могли себе представить, какая судьба ждет их веселую, симпатичную спутницу.

Гуляя по алакаевским лесам, Анна Ильинична с умилением рассказывала Александриночке, как мать ее, Мария Александровна, во время прогулок сожалела о каждом случайно растоптанном цветочке. На глазах у нее часто выступали слезы, но они были вызваны не сентиментальностью, как казалось Александриночке, а тревогой. Незадолго до отъезда Анны Ильиничны Сталин снял с работы и отправил в ссылку директора института Маркса-Энгельса Рязанова, уличенного в том, что он сохранил кое-какие документы, принадлежавшие РСДРП, в организации которой и она, и ее муж принимали активное участие. Анна Ильинична беспокоилась, что Сталин прикажет уничтожить спасенный ею Женевский архив и что вся работа, которой она посвятила последнее десятилетие, пойдет прахом. Александриночка напрасно уверяла Марию Ильиничну, что старшая сестра ее не увидела и не услышала в деревне ничего такого, что могло бы ее расстроить. Крестьяне, обращавшиеся к ней за помощью, рассказывали ей о бедствиях, насилии, разоренных хозяйствах. Речь шла не о цветочках, которые оплакивала ее мать, а о загубленных человеческих жизнях. Константин Дмитриевич, по обыкновению, много не говорил, но зато показал ей полученное им еще в начале весны письмо с грифом «правительственное, секретно», в котором председателю колхоза предписывалось подчистую сдать государству

все зерно, в том числе и семенной фонд. Прочитав это письмо, приказывавшее ему накануне сева оставить хозяйство без семян, Анна Ильинична не могла не понять, что тот, кто наслал на крестьян объедал и опивал вроде Жмурова и Князева, не боится «искусственно вызванного голода», против которого сам же прежде предостерегал.

Вернувшись в Москву, Анна Ильинична надолго расхворалась. Но Константин Дмитриевич, почувствовав ее поддержку, осмелел. Он делал вид, будто выполняет присланные из района и из края инструкции, но работал, как привык. Выручала его и быстрая походка. Никакого транспорта у него не было. Колхозные поля были лоскутами разбросаны то там, то здесь, и ни один из приезжих толкачей и инструкторов не мог за ним угнаться. Мужики видели хитрости своего председателя, но прикрывали его. Только сопротивляясь циркулярам и приказам, мог он спасти Алакаевку от надвигавшегося голода. Леонтий шпионил за ним, но он был сыном охотника, никогда не занимался крестьянским трудом и ничего в нем не понимал. Хотя весь хлеб теперь после уборки увозили из деревень в города в счет обязательных госпоставок, устилая дороги толстым слоем зерна, два года алакаевскому председателю удавалось вести хозяйство так, что и государству его колхоз сдавал больше хлеба, чем соседние деревни, и колхозникам выдавал продукты на трудодни. В 1933 году, в конце января, как лучшего в крае председателя, беспартийного Константина Дмитриевича, на зависть его врагам, избрали членом ВЦИК, а затем включили в состав Самарской делегации и послали на Первый съезд колхозников-ударников. Когда вожди партии фотографировались с самарской делегацией, посадили его между Сталиным и Калининым. Сталин, хотя и одет был по-военному, в кителе и в сапогах, и держался так строго, что другие вожди перед ним стояли навытяжку, трубочкой и лукавыми недобрыми глазами напомнил ему Жмурова, самого хитрого жулика, какого он в жизни видел. Слова он с трибуны произносил правильные, хорошие; улыбался в усы ласково, как будто и впрямь в хорошем деле отчитывался, а не в том, что загубил миллионы мужиков и оставил околевать без корма лошадей и коров. Слушая его речь, Константин Дмитриевич догадался, что все, что мешает крестьянской работе, выдумал этот рябой грузин, умеющий скрывать свои настоящие мысли.

Плоды коллективизации уже созрели. Вместо запланированного Сталиным увеличения урожаев в 1932 году собрали на 26,7 млн. тонн зерна меньше, чем в 1913 году. Население же за 19 лет возросло на 25 млн. Приближался «искусственно организованный голод». [...] Голод, охвативший в 1933 году черноземные районы Украины, Волги и Кавказа, вначале обошел Алакаевку стороной. Два года подряд были хорошие урожаи. Колхоз перевыполнял планы по госпоставкам, и Филиппову с помощью всяческих хитростей удавалось кое-что приберечь на семена. Но в конце лета 1933 года налетел суховей, сжег пшеницу. С трудом расплатились с государством, а потом опять пришлось обращаться к Анне Ильиничне. Сама она никаких дел со Сталиным и его подручными иметь не желала, так как обнаружила,

что даже у себя в квартире находится под надзором. Жила она теперь на Манежной улице коммуной, состоявшей из нее, ее приемного сына Георгия Лозгачева и взятых ею на воспитание сына и дочери казанского народника, а потом социал-демократа Егора Барамзина, умершего в 1919 году от тифа. Сталин, желавший знать все, о чем говорят между собой сестры Ленина, потребовал, чтобы директор тульского завода, где работал Лозгачев, дал ему соответствующее «партийное поручение». Когда Анна Ильинична узнала, что ее приемный сын пишет на нее доносы, у нее парализовало руку.

Хлопотами за Алакаевку на этот раз занялась Мария Ильинична, обратившаяся к председателю Совнаркома Молотову.

19/X-33 г.

Вячеслав Михайлович.

В Кинельском районе Ср. Волги есть колхоз «Уголок Ленина» близ д. Алакаевка, где Ильич жил когда-то в начале 90-х гг. Мы поддерживаем с крестьянами этого колхоза тесную связь. Председатель к-за К. Д. Филиппов был на съезде колхозников-ударников в Москве. Колхоз работал хорошо и свои обязательства государству выполнил сполна. Но из-за суховея, который пожег хлеб, колхозники не имеют семян, не получили ничего по трудодням, и положение их очень тяжелое. Нет и фуража, колхозники расходятся на заработки на сторону. Очень хотелось бы помочь им. Нельзя ли выдать им заимообразно некоторое количество хлеба, чтобы они возвратили его со следующим урожаем. Очень просила бы вас об этом.

Нам очень хотелось бы сделать этот колхоз показательным — это имело бы политическое значение. Он начал было вставать на ноги, а теперь вот опять неудача. И всегда вспоминается, как в нач. революции крестьяне этой деревушки дружно откликнулись на призыв Ильича и прислали хлеба для Москвы.

Если возможно, помогите им теперь, за что буду очень благодарна.

С ком. приветом *М. Ульянова* 19/X-33 г.

Адрес следующий: Средняя Волга, Кин. р-н, Алакаевка, «Уголок Ленина», председателю к-за Конст. Дм. Филиппову.

Помочь «показательному колхозу», имевшему высоких покровительниц, предсовнаркома не отказался и переадресовал письмо в крайком, сделав на нем приписку:

Тов. Шубникову.

Просьба М. И. законна и правильна. Прошу: сообщите, что может сделать Ср. Волга для «Уголка Ленина».

В Алакаевку послана была из Самары комиссия, произвела обследование. Секретарь Средневолжского крайкома А. Горкин написал в Совнарком СССР, т. Могильному для Молотова, что факты подтвердились.

Через два месяца поступает отчет секретаря крайкома Шубрикова и председателя крайисполкома Полбицына о том, что помощь оказана: колхозу выдана ссуда на семена — 610 цент. пшеницы, 100 цент. овса и 50 цент. ячменя; завезено 100 цент. фуража для лошадей и 140 цент. на продовольствие колхозникам, по 10 пудов муки на человека (в два раза меньше, чем сочла необходимым приезжавшая в деревню комиссия).

В этой переписке не указано, сколько цент. зерна вывезено было из Алакаевки в начале осени в счет обязательных государственных поставок, размеры которых, несмотря на суховей, не были уменьшены. О том, что государство забирало всю продукцию, произведенную колхозами, оставляя самим колхозникам даже в таком «образцовом хозяйстве», как «Уголок Ленина», по килограмму хлеба на трудодень, который надо было разделить между всеми «иждивенцами» так, что в результате выходило по сто-двести граммов на едока в день, свидетельствует тот факт, что лишь в мае 1933 года, в разгар голода, когда на Украине в деревнях некому было сколачивать гробы и мертвецов складывали в ямы штабелями, Сталин пообещал установить лимит хлебопоставок. Загнав крестьян в колхозы и объявив эти колхозы социалистическим сектором хозяйства, Сталин усовершенствовал приемы эксплуатации и грабежа крестьянства; сделал их механическими, заведенными раз навсегда. Даже тезисы Евгения Преображенского, обосновывавшие право социалистического города присваивать прибавочный продукт несоциалистической деревни, выглядели робкими в сравнении с заведенной Сталиным системой, позволявшей государству смотреть на колхозы и на колхозников как на свою собственность и заставлять крестьян работать даром.

Забрав у них не только «прибавочный продукт», но и все, что им удалось вырастить, государство не торопилось спасать их от голода. Никаких Помголов Сталин не организовывал, хотя голод 1933 – 1934 года унес в могилу почти в два раза больше жертв, чем голод 1921 – 1922 года. Даже помощь, оказанная Алакаевке по протекции Марии Ильиничны Ульяновой, оказалась сплошным мошенничеством. В 1922 году Помгол даром дал алакаевским крестьянам сто пудов продовольствия и отказался взять предложенные ему деньги. Теперь же ограбленный государством колхоз, получивший от него ссуду в тысячу центнеров зерна, влез в кабалу и превратился в его должника.

И прежде до революции не раз бывали засухи и неурожаи. Но у крестьян была надежда, что следующий год выдастся урожайный и хозяйство снова наладится. Теперь же Константин Дмитриевич видел, что и хорошее лето мужикам не поможет: все равно государство их оберет. Висевший над колхозом долг беспокоил его. Молодежь, видя, что колхоз за работу ничего не платит, стала уходить в город на заработки. Дочь Константина Дмитриевича Варя кончила курсы трактористов и поступила работать на организованную возле Кинеля МТС, чтобы помогать семье. К весне, кроме прежних, приезжих, появился в районе новый постоянный надзиратель: Сталин завел при всех МТС политотделы. Строгий начальник часто приезжал в Алакаевку на машине, ездил по полям, часами беседовал с Леонтием и с «кумой Дунь-

кой». Председатель чувствовал, что опять его в чем-то подозревают. Если бы не боялись, что заступятся сестры Ульяновы, наверно заставили бы его отвечать и за суховей, и за засуху.

Бывая в Москве на сессиях ВЦИКа, он постоянно слышал разговоры о вредителях. Многие ученые и экономисты были арестованы и высланы за «кондратьевщину» (имя профессора Кондратьева, противника коллективизации, поносили на всех заседаниях). Потом арестовали и приговорили к расстрелу за вредительство сорок восемь ответственных работников Госплана (говорили, будто по их вине произошел голод). А весной 1933 года Константин Дмитриевич прочел в газете, что тридцать пять сотрудников Наркомзема расстреляны за сеяние сорняков. На алакаевских полях тоже сорняков стало больше, хотя никто их не сеял. Просто колхозную землю мужики уже так не обрабатывали, как свою. Если бы захотели сжить его со свету, могли бы придраться и к сорнякам, и к тому, что он не вступил в партию, и к тому, что народ стал разбегаться из колхоза.

Во время одной из сессий ВЦИКа включили Филиппова, на его беду, в состав комиссии по разработке устава сельскохозяйственной артели. Докладчиком был сам Сталин. Другие участники, как всегда, ему поддакивали. Константин Дмитриевич заметил, что Сталин ничего в сельском хозяйстве не понимает, но молчал. Но когда стали устанавливать размеры приусадебных участков и он увидел, что Сталин хочет оставить крестьян не только без хлеба, но и без огородов, он взял слово и объяснил, что, хотя сам он привык стараться для общества и согласен работать даже даром, в деревне без приусадебного участка прокормить семью нельзя. Сталин спросил, сколько же, по его мнению, крестьянину надо земли?

Константин Дмитриевич видел, что все смотрят на него с ужасом. Однако считал своим долгом защищать интересы крестьянства. Он отвечал, что, хотя деревушка у него безземельная, при крепостном праве под огородами приходилось по две-три десятины на двор. Сталин хитро на него взглянул, почадил своей трубочкой и сказал, что такие большие приусадебные участки можно давать колхозникам только в лесной полосе, на севере или в Сибири, да и то осторожно, чтоб они не отвлекали колхозников от их основной работы в колхозе. Предложение Константина Дмитриевича признали вредным и ошибочным. Как ни силился он растолковать комиссии, что без огородов у крестьянина совсем пропадет интерес к работе, ему отвечали, что нельзя транжирить государственный чернозем и поощрять частнособственнические пережитки. Никому, кроме родного брата, Константин Филиппов о своем споре со Сталиным не рассказал. Но начальник политотдела откуда-то узнал о нем. Приехал в колхоз во время сева и, оставшись с Филипповым наедине, поставил ему на вид:

— Выдвинули мы вас на свою голову! Что же вы наш край позорите? Даже не член партии, а спорите с гениальным вождем!

По-прежнему, каждый раз, когда Константин Дмитриевич приезжал в Москву, Анна Ильинична присылала за ним машину и после заседания его

везли в Кремль. Она теперь все время болела и жила вместе с младшей сестрой и Крупской. Квартира у них была старая, неуютная, давно нуждалась в ремонте. На углу стоял часовой с ружьем. Ступеньки на лестнице были сломаны и зимой покрывались наледью. Сестры не раз просили починить лестницу. Им обещали, но и в следующий приезд Константин Дмитриевич видел, что просьба осталась невыполненной. Крупская и Мария Ильинична все-таки справлялась с препятствиями и, держась за перила, спускались и поднимались. Когда они уходили на работу, Анна Ильинична с ее парализованной рукой без чужой помощи не в состоянии была выйти из квартиры.

Филиппов не хотел ее огорчать и, навещая ее, молчал о том, что его честность, трудолюбие и сорокапятилетний опыт земледельца не нужны тем, кто издалека, из Москвы, руководит сельским хозяйством и как будто нарочно принимает меры, чтоб крестьяне умирали от голода и на полях вместо хлеба родились сорняки.

6. Мытарства образцового крестьянина

Двадцатого мая 1934 года, через неделю после окончания сева, Константин Дмитриевич после долгих раздумий послал Марии Ильиничне письмо, похожее на рапорт начальству:

> Здравствуйте, Мария Ильинична. Извиняюсь, что долго не писал. Сообщаю, что мы посевную кончили. Благодаря вашей помощи хорошо и первые в районе. Мы начали сев 22 апреля и кончили 10 мая. По плану должны посеять в 24 дня, но мы кончили в 18 дней. Против 1933 года кончили раньше на 16 дней. Всходы хорошие. Но дождей нет всю весну. Анне Ильиничне и Над. Конст. шлют привет все алакаевцы. Мое здоровье очень плохое. Я болею, как кончил посевную, то попросил политотдел, чтоб меня освободили от председателей колхоза. Я теперь лечусь. Дом ваш, где жили в Алакаевке, оборудуем с помощью края. У меня был в посевную пред. края т. Полбицын и мы говорит отпустим. Начинай возводить, как было. Пишите, где будете проводить лето и как здоровье А. И.
>
> Пока желаю быть здоровыми.
>
> *Филиппов К. Д.*

Алакаевский председатель, испортивший себе отношения с местным и краевым начальством из-за того, что отказывался сеять в непогоду, разумеется, понимал, что дело не в скорости, а в урожае. Но, видимо, и Мария Ильинична была в его глазах лишь представительницей того партийного начальства, которое ценило быстроту проведения посевной кампании выше, чем урожай. Анну Ильиничну он побоялся огорчать и предпочел, чтоб она узнала об его «отставке» от сестры.

Вскоре Филиппова освободили от работы председателя и назначили заведующим алакаевским домом-музеем. Дом, в котором когда-то жили Ульяновы, был продан и увезен в соседнюю деревню Нееловку. Когда его попыта-

лись перевезти обратно, ветхие бревна рассыпались. Колхозники выстроили вместо него на хуторе другой дом, но он оказался непохожим на прежний и не понравился Ульяновым. У Константина Дмитриевича появились новые заботы: перестройка музея по нарисованному ими плану. Надо было доставать дефицитные гвозди, лес на ограду, тес на кровлю. Должность у него теперь была стариковская, но он все еще оставался членом ВЦИК, и Леонтий по-прежнему ему люто завидовал. Летом 1935 года, когда Константин Дмитриевич с таким же мешком за плечом, с каким ездил в Москву в 1922 году, приехал на очередную сессию, Елизарова, уже не вставшая с постели, как всегда, попросила послать за ним машину, подарила своему бывшему ученику фотографию, на которой лицо ее было снято в натуральную величину, и, переходя на «ты», грустно сказала: «Прими из моих еще теплых рук».

Она не спрашивала своего бывшего ученика, почему он отказался руководить колхозом. Должно быть, она уже отказалась от своей несбыточной надежды помочь хотя бы одной деревне из сотен тысяч и позволить знакомым крестьянам сохранить добрые воспоминания о ее семье. Записи, сделанные Анной Ильиничной незадолго до смерти, свидетельствуют об ее отчаянье и о мучившем ее сознании, что она прожила свою жизнь бесполезно.

Это была последняя встреча Константина Филиппова со старшей сестрой Ленина. В октябре Мария Ильинична, выполняя последнюю волю сестры, сообщила Филиппову телеграммой о ее кончине и выслала деньги на дорогу. Он на самолете полетел в Ленинград, вместе с ее родными похоронил ее на Волковом кладбище, где покоились ее мать, сестра и муж. Той же осенью председатель сельсовета достал из комода написанный Князевым донос и, согласовав с начальником политотдела, отослал в НКВД. Там не посмотрели на то, что Филиппов — член ВЦИКа, «высшего органа власти», и еще недавно считался одним из лучших председателей в крае, и посадили его в тюрьму. Сын Константина Дмитриевича Володя поехал в Москву хлопотать за отца. Мария Ильинична, заведовавшая Бюро жалоб комиссии советского контроля, заступилась за старого знакомого, и его отпустили домой.

Вскоре после этого наступили дни массовых провокаций, судилищ и кровавых расправ, когда Марии Ильиничне, вместе с Зиновьевым выступившей в июле 1926 года против Сталина, и особенно Крупской, участвовавшей в «новой оппозиции» и поддерживавшей его противников, самим пришлось опасаться мести. Из всех участников оппозиции он не посадил на скамью подсудимых только их, но они чувствовали, что и над их седыми головами висит дамоклов меч. С ними теперь не церемонились. Летом Сталин пригрозил выселить их из Горок и устроить там детский дом. Зимой сломанная лестница напоминала им об их униженном положении. Но главным были моральные страдания. Изо дня в день погибали позорной смертью, клевеща на самих себя и на своих бывших соратников, их старые товарищи; истреблялись остатки созданной Лениным партии и делегаты последнего партийного съезда. Сталин не пощадил даже двадцатилетнего красноармейца Лазаря Урываева, пост которого находился недалеко от квартиры,

где жили Крупская и Мария Ильинична Ульянова. Отец его, бывший крестьянин, а потом рабочий Коломенского паровозного завода, выдвинутый после революции на должность директора, избран был на X съезде партии кандидатом в члены ЦК. Многим обязанный Ленину, он привил сыну благодарность ему. Видя заброшенных, несчастных старух, красноармеец Урываев возмущался, что никто о них не заботится. Даже это сочувствие Сталин счел политическим преступлением. В 1937 году вместе с отцом, работавшим в ВСНХ, расстреляли как «врага народа» и сына.

В начале лета 1937 года Мария Ильинична Ульянова внезапно умерла. Вскоре после этого Константина Дмитриевича Филиппова снова вызвали в Кинель в милицию. Леонтий сам отвез его туда ночью на подводе. В чем теперь обвиняли директора ленинского музея? В том ли, что отказывался бросать пшеницу в грязь? В том, что пытался убедить Сталина, чтоб тот не поскупился на колхозные приусадебные участки? А может быть, сама дружба его с Анной Ильиничной вызывала у начальства подозрения в его политической неблагонадежности? Любую клевету подхватывали теперь, не требуя доказательств. Леонтий, убедившись в полной безнаказанности, отобрал у овдовевшей Марии Мавреевны шкатулку, где она хранила письма Анны Ильиничны, и на глазах у колхозников бросил ее в огонь.

Заступиться за алакаевских знакомых Ульяновых теперь было уже некому. Крупская и сама нуждалась в защите от Сталина и своим вмешательством могла лишь ухудшить положение Константина Дмитриевича. Она неожиданно умерла от отравления 27 февраля 1939 года. Накануне, в день ее семидесятилетия, у нее собрались гости, несколько уцелевших старых большевиков. Впоследствии ее знакомые уверяли меня, что «повар» именно к праздничному вечеру приурочил свою «сладкую месть» и приказал кому-то из ее близких подсыпать в ее порцию торта яд.

В начале войны по Алакаевке прошел слух, что один из односельчан узнал Константина Дмитриевича среди заключенных, работавших под Сызранью, в лагере, огороженном колючей проволокой. В 1942 году Дмитрий Ульянов, эвакуированный в Куйбышев, вспомнил о своей вотчине. Его, больного, парализованного, привезли туда на машине в кресле. Он попросил у алакаевских колхозников мешок местной муки, словно ждал от нее исцеления. Потом, с трудом шевеля языком, он несколько раз силился спросить у сопровождавшего его нового председателя — Кузьмы Фролова:

— А где старик? Старик-то где?

Фролов понимал, что речь идет о Константине Дмитриевиче и что, может быть, еще не поздно его спасти, но побоялся ответить и притворился, будто не расслышал вопроса. Народ в Алакаевке за годы коллективизации изменился.

Каждый теперь дрожал за собственную шкуру. Ни у кого из колхозников не хватило мужества заступиться за своего прежнего общественного ходатая, не раз спасавшего односельчан от голода и дорого заплатившего за свою честность.

Так и сгинул шестидесятилетний Константин Дмитриевич, ставший по прихоти сестер Ульяновых членом «высшего органа власти», в сталинском лагере. Умер ли он там от голода или от болезни, никому неизвестно. В Кинеле я разыскала дочь его, вышедшую на пенсию трактористку Варвару Константиновну — грузную женщину с отекшим лицом и распухшими от непосильной работы ногами. Утирая мокрые от слез глаза, она рассказала мне о гибели своего отца. Она во всем обвиняла его врагов — Леонтия Филиппова и Князева — и, казалось, не догадывалась, как тесно переплетается ее семейная трагедия с трагедией всего русского крестьянства. Для бесхитростной труженицы осталось тайной, кто и зачем насылал на крестьян саранчу, издали руководя ее нашествием. Так и не поняла она, почему никто не привлек Леонтия к ответу за ее отца и других загубленных им односельчан, и он, безнаказанно клевеща, предавая и обманывая, дожил до глубокой старости и на всех праздничных собраниях сидел в клубе за красным столом, на почетном месте. И почему брат его, лодырь и пьяница Игонька, убивший своим пудовым кулаком барыню Даненберг, до конца своих дней получал персональную пенсию как красный партизан.

После Константина Дмитриевича сменилось в Алакаевке десятка два председателей. Когда они окончательно разорили хозяйство и в деревне остались только старики, колхоз превратили в отделение совхоза.

Когда незадолго до столетия Ленина я была там в последний раз, из Куйбышева в Алакаевку проложили шоссе и вновь открыли ленинский музей, закрытый после ареста Константина Дмитриевича. За избами поднимались буровые вышки — искали нефть. По обе стороны оврага строили кирпичные дома: закладывали мемориальный городок, которому предстояло окончательно стереть с лица земли деревню. Старшей сестре Ленина так и не удалось помочь своим старым знакомым, с которыми, как она писала, «*поступлено было... безобразно*». Так и не дождались крестьяне, «лично знакомые с Лениным», справедливости. И сама Анна Ильинична, бессильная перед обступившей ее тюремной действительностью, тщетно пытавшаяся обелить память своего брата и доказать себе и другим, что не он виноват в том, что произошло, и в старости видевшая в своем заступничестве за знакомых крестьян единственное оправдание жизни, потерявшей смысл, — лишь, как утопающий за соломинку, цеплялась за свои воспоминания о добрых взаимоотношениях с этими крестьянами, возникших у нее задолго до революции. Она не догадывалась, что бывшему ученику ее придется дорого заплатить за ее заботы и что, умирая в лагерной неволе, он может быть не раз позавидует своему деду — крепостному рабу, умершему среди родных в собственной избе. Не догадывалась, что даже шкатулка, в которой Мария Мавреевна бережно хранила ее письма, будет отобрана у нее председателем сельсовета и письма будут брошены в огонь и сожжены на глазах у толпы крестьян.

1986, № 47

АЛЕКСАНДР ХАХУЛИН

Новичок

Его ввели в подвал часа через два после меня. Он остановился у дверей и не мог решить, шагать дальше или так и стоять у порога. Камера была забита людьми, и он не видел местечка, где бы мог присесть.

Все мы молча смотрели на него, как смотрели бы на инопланетянина. Уж больно открытое было у него лицо, я бы даже сказал раздетое, совершенно раздетое. Добрые, полные надежды глаза, и весь он как бы говорил:

— Извините, я к вам на минуточку!

Это выражение на его лице было так ясно, что кто-то из угла даже крикнул:

— Мы все тут на минуточку! — и, тяжело вздохнув, высморкался в какую-то грязную тряпицу. Носовых платков нам не полагалось; на них, на носовых платках, если связать несколько вместе, видите ли, оказывается, можно повеситься; а этого нельзя допустить, так как палачи тогда не будут расстреливать и не получат своего садистского удовлетворения.

То, что мы в том подвале были на минуточку, — голая правда. Все в него попадали на очень короткое время, так как были лишены права жить на земле.

Как правило, камера давала новичку оглядеться, освоиться, немного привыкнуть к обстановке и лишь тогда начинались расспросы: «За что? Почему? Как? Когда?»

Но его не надо было расспрашивать, не надо было давать ему время и на подготовку, он сам начал свою исповедь:

— Я люблю советскую власть, — сказал он.

— Все мы любим советскую власть, — вразнобой ответила ему камера.

— Я очень любил и люблю Ленина, — проговорил он.

— Все мы любим Ленина, — отвечала камера.

— Я люблю Сталина, — сказал новичок.

Камера безмолвствовала. Только один кто-то и то вполголоса произнёс:

— Все мы... — и поперхнулся молчанием камеры.

— Любовь хороша взаимная! — крикнул тот, кто кричал «Все мы тут на минуточку», и снова высморкался в грязную тряпицу.

— Я готов умереть за Сталина! — добавил новичок для большей убедительности.

— И умрешь! — дружно и громко ответила камера, и в этом ответе была такая неудобоваримая правда, что обреченные на смерть, уже приготовившиеся к ней люди заулыбались. Я не слышал, чтобы кто-то в той камере смеялся вслух, но улыбки видел на лицах многих.

— Меня приговорили к расстрелу как врага, — пожаловался новичок.

— Всех нас приговорили к расстрелу как врагов, — дружно ответили мы...

Кто-то на самой середине камеры потеснился и пригласил новичка присесть по соседству:

— Иди, присаживайся, будем разговаривать о любви к советской власти и к Сталину.

Осторожно просовывая ноги между сидящими на пути, новичок прошел к позвавшему его и, положив на освобожденный для него пятачок свой мешок, сел на этот мешок.

Вся камера смотрела на него и ждала, что он скажет еще. Но он молчал, оглядываясь вокруг и ища родную себе душу. Души всех в той камере роднила предстоящая насильственная смерть, и они были перед лицом этой смерти одинаковы родны друг другу.

— Я ведь Ленина спасал, — после некоторого молчания проговорил новичок.

Эти слова его «Ленина спасал» заинтересовали всех, и мы ждали, что он скажет еще.

Из его сбившегося рассказа мы поняли следующее:

В поселке Разлив близ Сестрорецка, под Ленинградом, есть улица Емельяновых, а наш новичок — старший из братьев Емельяновых, Александр Николаевич.

В 1917 году его отец Николай Александрович Емельянов укрывал Ленина. Дом Емельяновых стоял, он и ныне стоит там, на берегу небольшого озерка, которое соединялось с озером Разлив. Одна калитка с улицы вела к ним в сад, вторая из сада выходила прямо к озерку. У этой калитки всегда были привязаны две лодки. На лодках каких-нибудь десять минут плыва до большого озера, а за озером — глухой лес, ни тропок, ни дорожек, один бурелом. Полянки в лесу сдавались под сенокос. Одну полянку, метрах в пятидесяти от берега, и сняли Емельяновы для косаря Ленина.

Ленин сперва жил у них в сарае, на чердаке, где ночью спали все девять детей Емельянова. Старший, Александр, то есть наш новичок, спал под правым боком у Ленина, а второй сын, Николай, — под левым боком.

Потом Ленина переселили за озеро. Опекать вождя революции за озером было поручено нашему новичку...

— А за что же тебя судили, милок? — раздались недоумевающие голоса.

— А вот за это и судили, за Ленина. За него и приговорили к расстрелу.

— Так ты что же, не уберег его? Вроде как он жил после того?

— Как то есть не уберег? Уберег!...

Мы не верили своим ушам. По личному своему, не чужому, а собственному своему опыту, мы уже твердо знали, что чекисты, как кровососы, жаж-

дут крови и потому приговаривают к расстрелу совершенно невинных, ни в чем даже не запятнанных людей. Но тут дело было связано с самим Лениным. Казалось, что или советская власть сошла с ума и ее суды давно уже не советские, или новичок говорил неправду...

По прошествии пяти или шести дней новичка вывели на расстрел. В коридоре камеры, на глазах у всех нас, когда двери еще были настежь раскрыты, сунули в рот ему резиновую грушу и повели, подталкивая под бока кулаками, а под зад пинками...

Прошло пятнадцать лет. Я приехал в Разлив, чтобы встретиться с родными Александра Емельянова и рассказать им о нем — это было обязанностью каждого, кто избежал расстрела: рассказать родным о товарище. Я нашел дом Емельяновых, поднялся по деревянным ступеням на крыльцо и нажал на кнопку звонка. Дверь открыла мне еще не старая, но совершенно седая женщина, с двумя очень глубокими, словно овраги, морщинами на лбу. Это была жена Александра Николаевича.

Когда я сказал, что пятнадцать лет назад сидел в одной камере смертников с ее мужем, она засуетилась и не знала, куда меня посадить, чем угостить. Но, когда я рассказал, как вывели его на расстрел и расстреляли, сковородка с глазуньей, которую она несла от плиты к столу, выпала у нее из рук, глаза ее недоверчиво округлились:

— Ка-ак? — проговорила она, глядя на меня широкими уставшими от жизни глазами. — Вы говорите неправду... Моего мужа не расстреляли... Он сейчас на рыбалке.

Через час я уже плыл на катере по огромному, без конца и без края озеру, заросшему камышом и кугой. Как только миновали островки, я сразу же увидел одинокую сгорбленную фигурку рыболова и уже по ней, по фигурке, издалека, не узнал, а почему-то понял, что это именно он — Александр Николаевич.

Это действительно был он. Высадившись на берег около музея, я бегом направился к нему.

В высоких болотных сапогах он стоял в воде и внимательно следил за поплавками. Я тяжело дышал и не знал, с чего начать разговор. Чтобы перевести дух, я уселся на едва выступавший из песка пень и смотрел рыболову в спину. Уже не помню, что я сказал ему, но он досадливо зашикал на меня, мол, не мешай, не пугай рыбу.

Вдруг налетел ветер, сорвал с головы Александра Николаевича фуражку, она упала в воду метрах в трех от берега и закачалась на внезапно поднявшихся волнах. Я бросился в воду в чем был и достал фуражку. Подавая ее, спросил:

— Вы что, не узнаёте меня, Александр Николаевич?

Вопрос был наивен. Разве можно узнать человека, с которым провел вместе пять-шесть дней в полутемном подвале-камере, где и лица друг друга нельзя было как следует рассмотреть? Да он, возможно, и не видел меня

в той духоте и темноте. Пришлось объясниться. Он вспомнил все, о чем я говорил ему, но никак не мог вспомнить меня. И все же мы обнялись и расцеловались.

Минут через десять мы уже сидели у костра, над которым висел на перекладине из прутьев старинный медный котелок с ухой. Александр Николаевич поворачивал мокрую фуражку то одной, то другой стороной к огню и, прищурив глаза, смотрел через костер, сквозь пелену полупрозрачного дымка от него, на бесконечную даль озера и, видимо, что-то тяжело вспоминал.

Я молча ждал, зная, что после воспоминаний человека всегда прорывает на рассказы.

— А тогда фуражка так и уплыла, — наконец проговорил он и, достав портсигар, закурил. Потом отложил фуражку в сторону и начал свой рассказ.

— Вот тут, где мы сейчас сидим с тобой, и был сенокосный участок, о котором я тогда рассказывал вам. У нас была двухвесельная лодка, на этой лодке мы с отцом и перевозили Ленина сюда на его «дачу». А дача эта была всего-навсего шалаш, упиравшийся в стог сена.

Ленин требовал очень много газет и читал их запоем. Мы покупали газеты сообща, всей семьей, а отвозить их Ленину всегда почти мне приходилось. Помню, однажды привез ему связку газет, он сразу же уселся читать, сидит на пне, весь углубился в чтение, а я в его шалаш залез, полежать. Взбрело мне в голову из шалаша сделать нору в стог, что за шалашом стоял. Стог только сложен, сено в нем податливое, и я такую нору вымахал, что в ней не только сидеть и лежать, но даже и стоять можно — правда, согнувшись.

Оторвался Ленин от чтения газет, заглянул в шалаш, а меня нет там. Присмотрелся он, а в задней стенке шалаша нора. Залез в эту нору и так обрадовался расширению своей жилплощади, что не знал, как и отблагодарить меня. Оказывается, по ночам ему в шалаше уже холодновато было. Сразу же он и новоселье устроил, что необходимо перетащил из шалаша в нору.

— Это у меня теперь спальня будет, а шалаш — зеленый кабинет, — не то с радостью, не то с грустью пошутил он.

А я был сам не свой от той радости, которая охватила меня от его благодарностей. Уж очень любил я его тогда за рассказы о светлом будущем, о социализме...

Дня за два перед этим привозил я к нему Орджоникидзе и Свердлова. Это потом я узнал, что они Орджоникидзе и Свердлов, тогда-то я не знал, кто они такие, друзья Ленина и всё. Они доставили ему брошюры и чистые тетради, а от него увезли кипу исписанных. Тогда же они и новую одежду для него привезли, видимо, Ленин уже готовился к бегству из Разлива...

Когда мы вылезли с Лениным из шалаша, он отыскал спрятанную им в стогу одежду и подарил мне из нее новую фуражку.

— Это тебе подарок от меня. Носи на здоровье, — сказал он и похлопал меня по плечу. — Счастливый ты человек, Александр, прекрасную жизнь увидишь, доживешь до социализма, коммунизм будешь строить. А знаешь ли ты, что такое социализм? Это полная свобода для всех людей. Ничем и

никем не ограниченная свобода! Социализм — это настоящее братство всех народов, это такое изобилие, когда всего будет в таком достатке, что люди ни в чем не будут нуждаться. Все будут довольны, все будут радостны...

Тут Александр Николаевич вдруг замолчал. Правый глаз его задергался, он чувствовал это дерганье и пальцами старался остановить его, но потом махнул рукой, проговорив:

— Это от нервов, от той жизни, которую обещал Ленин. Обманутый этими обещаниями и пошел народ за ним. Эх, Владимир Ильич! Поднять бы тебя из мавзолея, да показать бы твой истинный социализм. Ужаснулся бы ты всему этому или рассмеялся над одураченным тобою народом?

При этих словах он весь озлобился, сплюнул в сторону, потом вздохнул и, немного помолчав и все подправляя дергающийся глаз пальцами, продолжал:

— Ничего нового из одежды мне тогда носить не приходилось. Сам посуди, отец-то был сам одиннадцатый. Попробуй прокорми да одень такую ораву. Ныне все с голодухи поумирали бы, а тогда бедно, но жили. Доставалась мне одежда от отца. В старье ходил. Потому от ленинского подарка я был на седьмом небе. Очень я дорожил той фуражкой. Только недолго мне ее носить пришлось...

Он подложил в костер дров. Пламя сильней охватило котелок, и уха в нем закипела, забулькала, выбрасывая брызги. Опробовав уху, он добавил в нее соли, которая была завязана у него в тряпицу, потом еще раз опробовал и продолжал:

— Дня через три после того, как подарил мне Ленин фуражку, собрался я к нему везти газеты. Запрятал их за пазуху и иду к лодке. Уже отвязал свою двухвесельную, когда подошли ко мне трое с удочками. Не спрашивая согласия, садятся в лодку и приказывают везти. Дорогой покрикивают на меня, недовольство свое выражают, то будто я плохо гребу, то весла не так в воду опускаю и будто этим знак кому-то подаю...

Дачников тогда у нас много было, многие из них рыбачили, и некоторых мне подвозить приходилось, только тут, думаю, что-то неладное, удочки у них есть, а ни червяков, ни другой какой приманки нет. Значит, для виду они эти удочки взяли. Я тогда не знал, да и никто не знал, что Ленин-то, оказывается, был настоящим немецким шпионом и деньги от их кайзера громадные получил. Но что временное правительство арестовать его приказало, это я знал. Иначе зачем же ему прятаться?

С Лениным у нас был такой уговор: если всё в порядке, то должен я подъезжать к нему в фуражке, а если что не ладно, то не с покрытой головой. Гляжу я на своих попутчиков и думаю: «Не Ленина ли они удить едут?»

Когда на середину озера выехали и Ленину уже можно было видеть меня с того берега, снял я с головы фуражку и положил ее на свое сиденье, сам же чуть отодвинулся от середины сиденья.

Тот, который сидел ближе ко мне, видать, был старший. Он сразу что-то заподозрил, когда я снял фуражку. Глаз у него наметанный на эти дела, вострый. Он приказал мне:

— Надень, парень, фуражку!

— Жарко мне, господин хороший, — ответил я. Сказать это хотел спокойно, но, видимо, перестарался по неопытности. Да и на дворе жарко совсем не было.

— Тебе говорят! — закричал он на меня и напялил фуражку мне на голову. Я снова снял ее, а он опять за свое.

Понял я тогда все окончательно, сорвал фуражку с головы и забросил ее в воду. От оттолкнул меня и сам сел за весла, на мое место, да так быстро начал грести, что лодка понеслась вперед как сумасшедшая.

Вышли они на берег и прямо к ленинскому шалашу бегом. У меня аж сердце в пятки ушло. Я еще не знал, что Ленин ночью с товарищами и с моим отцом ушел со своей «дачи». Ночь была тогда темная, дождь шел, а кругом ведь болота. Рассказывал мне после отец, что сбились они с дороги и пришлось им по пояс в тину проваливаться, пока добрались туда куда нужно...

Словом, на самом тонком волоске жизнь Ленина тогда висела. Появись эти трое на день ранее — и всё.

На другой день я все озеро искатал, искал фуражку, да не нашел.

Пока Александр Николаевич рассказывал мне все это, уха сварилась. Пообедали мы и пошли осматривать ленинскую «дачу».

— Все здесь, — пояснил мне Александр Николаевич, — сделано так, как я говорил устроителям этого музея. Сами-то они что могут знать о том, как тут жил Ленин? Ничего. Вот шалаш бетонный — это они сами построили, без меня. Ну и Бог с ними. Вот только надпись на бетоне — не того. Написано, что будто строили этот шалаш рабочие. Оно, конечно, рабочие. Сами-то теперешние господа строить не могут, у них ручки белые...

Он отсутствующе, сам того не замечая, стал тереть пальцами правой руки щеку, оставляя на ней красные полосы. Пальцы у него подпрыгивали, как ноги кузнечика. Он низко склонил голову.

На обратном пути в поселок, на катере, он был неразговорчив и какой-то весь съежившийся, жалкий. Стоял, прислонившись спиной к борту катера, и смотрел себе под ноги. Правая бровь его дергалась.

Вернулся из Сибири он совсем недавно, чуть ранее меня, и, видимо, вспоминал все тяготы, пережитые и в заключении и в ссылке.

Уже когда мы вышли на берег у его дома, он вдруг остановился и круто повернулся ко мне. Остановился и я, одновременно, будто нам кто-то скомандовал остановиться. Я не спускал с него глаз, настроение его передавалось и мне. Еще бы! Жизнь свою он не жалел, чтобы укрыть Ленина, и на тебе!

Заговорил он тихо, совсем тихо, как бы про себя:

— Однажды ночью постучали ко мне в дверь. Я выглянул в окно и обмер. Прямо перед моим окном стоял «черный ворон». Из выхлопной трубы его курчавился дымок. Значит, двигатель не заглушили, значит, не долго рассчитывают быть у меня.

— Сразу же и забрали? — спросил я.

— Да, сразу, — подтвердил он, — в чертовом этом чека спросили в упор: «Вез тогда этих трех?» — Вез, — ответил я. Этого было достаточно, чтобы приговорить к расстрелу. Хватились они теперь Ленина оберегать. Били при допросе специально приспособленным для такого битья каким-то мягким шаром с ручкой. Ни синяки, ни ссадины не появлялись, а больно ужасно было. Били и сами боялись. Иначе зачем же это приспособление, чтобы синяков не было? Прячут мерзавцы свои мерзкие концы в воду, всё думают, что народ ничего не понимает. Сами они не понимают того, что делают.

А тогда ночью, когда вывели меня на расстрел из камеры смертников, то завели в какой-то подвал, еще ниже нашего тогдашнего подвала. У стены лужа крови. Поставили в эту лужу, лицом к стене, а сами отошли, курят и посмеиваются. Я внутренне приготовился к смерти. Стою жду. Затылком вижу, что кто-то пришел еще в подвал, подошел к ним, бумага в руке, шелестит ею. Я стою и жду. И не расстреляли меня. Повели в контору. Там объявили о только что пришедшем помиловании за подписью самого Калинина. Кто-то доложил обо мне. Ведь перед тем зачитывали мне постановление об отклонении моей просьбы о помиловании. А может быть, заводили меня в подвал и ставили к стенке, чтобы на нервишках поиграть. Чекисты народ особого склада, им человеческие мучения нужны как воздух... Ну, пойдем в дом почаевничаем.

Расстались мы с ним как и положено. Братьями одной судьбы. На прощанье он все удивлялся:

— Ума не приложу, — говорил он, — как это они сумели окрутить всех нас. А к Ленину любовь у меня раздвоилась. Иногда по ночам не сплю, думаю о нем. Уж больно он искренен был, не похоже, что притворялся паинькой. Неужели верил в свои бредни?

1986, № 48

Страница рекламы из «Континента»

ИОСИФ ДАРСКИЙ

Шаляпин и Горький

[...] О Шаляпине и его окружении можно сказать словами Грибоедова — «в друзьях особенно счастлив»! Однако особое место среди друзей великого артиста принадлежит Алексею Максимовичу Горькому. Дружба эта началась практически сразу, с первой же встречи, продолжалась почти три десятилетия и в конце концов была разорвана Горьким. И все же, несмотря на ее драматический конец, в своих мемуарах Шаляпин утверждает: «*Дружбой этого замечательного писателя и столь же замечательного человека я всю жизнь гордился*». [...]

* * *

Знакомство Шаляпина с Горьким могло завязаться раньше исторически зафиксированной даты. Могло, но не началось. К Шаляпину, тогда еще певшему в Мамонтовской опере в Москве, на квартиру в Леонтьевском переулке однажды явился Сергей Рахманинов и принес книгу рассказов начинающего автора. «*Кажется мне, это был первый сборник Горького*, — вспоминал Шаляпин. — *Действительно, рассказы мне очень понравились. От них веяло чем-то, что близко лежит к моей душе. Должен сказать, что и по сию пору, когда читаю произведения Горького, мне кажется, что города, улицы и люди, им описываемые, — все мои знакомые*». Шаляпин выразил свой восторг от чтения в письме, посланном Горькому в Нижний Новгород, но ответа не получил.

Прошло несколько лет. Шаляпин был солистом Императорской сцены — в Московском Большом театре. Имя его уже стало известным не только в России, но и в Европе. После завершения сезона в Москве Шаляпин выступил несколько раз в Петербурге и во второй половине августа 1901 года приехал в Нижний Новгород. Антрепризой А. Эйхенвальда он был ангажирован для выступления на сцене Ярмарочного театра.

Горький, только что выпущенный из тюрьмы и находившийся в ссылке в Нижнем Новгороде, присутствовал на спектакле «Князь Игорь», но пришел к Шаляпину за кулисы лишь четыре дня спустя, 30 августа, во время представления «Жизни за Царя» («Ивана Сусанина»).

Хотя эта дата и считается началом знакомства с Горьким — так утверждает сам Шаляпин, — из литературы известно, что первая встреча друзей

произошла примерно за год до описываемого события. Это видно из письма Горького А. П. Чехову: проведя неделю в Москве, он писал из Нижнего Новгорода в начале октября 1900 года: «*Шаляпин — простой парень, большущий, неуклюжий, с грубым умным лицом. В каждом суждении его чувствуется артист. Но я провел с ним полчаса, не больше*».

Воспоминания Шаляпина написаны в 30-х годах, и вполне допустимо, что он запамятовал это мимолетное свидание. Нижегородскую же встречу он описывает так: «*В следующий антракт ко мне пришел человек с лицом, которое показалось мне оригинальным и привлекательным, хотя и не очень красивым. Под прекрасными длинными волосами, над немного смешным носом и широко выступавшими скулами горели чувством глубокие, добрые глаза, напоминавшие ясность озера. Усы и маленькая бородка. Полуулыбнувшись, он протянул мне руку, крепко пожал мою и родным мне волжским акцентом — на О сказал:*

— Я слышал, что вы тоже наш брат Исаакий (нашего поля ягода).

— Как будто, — ответил я.

И так, с первого этого рукопожатия мы — я, по крайней мере, наверное, — почувствовали друг к другу симпатию».

На другой день в вестибюле театра состоялась вторая встреча, во время которой беседа затянулась до позднего вечера, и, как утверждает Шаляпин, «*в этот вечер между нами завязалась долгая, горячая, искренняя дружба*».

Все дни, пока Шаляпин гастролировал в Нижнем, друзья проводили вместе — то в театре, то на квартире у Горького. 4 сентября Шаляпин дал концерт в фонд постройки Народного дома в Нижнем Новгороде. На следующий день Шаляпин уехал в Москву. Вместе с большой группой нижегородцев на вокзале провожал его и М. Горький. Самому писателю выезд из города был еще запрещен, поэтому в письме к Пятницкому мы читаем следующее: «*Он* (Шаляпин. — *И. Д.*) *будет хлопотать о допущении меня в Москву, в октябре, куда мне надо быть, чтобы поставить пьесу*».

Мы уже знаем, какие чувства вызвала у Шаляпина встреча с Горьким. А вот мнение Горького о своем друге: «*Шаляпин — это нечто огромное, изумительное и — русское. Безоружный, малограмотный сапожник и токарь, он сквозь терния всяких унижений взошел на вершину горы, весь окурен славой и — остался простецким душевным парнем. Это — великолепно!*» [...]

Расставаясь, друзья обменялись фотографиями, сделанными нижегородским фотографом-художником М. П. Дмитриевым. На своих портретах Горький сделал две надписи. Первая гласит: «*Простому, русскому парню Феде от его товарища по судьбе А. Пешкова*». На втором портрете можно прочесть: «*Великому артисту Федору Ивановичу Шаляпину. М. Горький — преклоняясь перед его могучим талантом. 30-го августа 1901. Нижний Новгород*». В тот же день на фотопортрете, изображающем обоих друзей, Шаляпин написал: «*Как бы желал я, дорогой мой Алексей Максимович, быть с тобой всегда вместе, не только здесь, на земле, но и там... где вечность и — жизнь бесконечная — "Люблю" — вот всё, что я тебе скажу. М. Горькому Ф. Шаляпин*».

Так на рубеже столетий зародилась дружба двух выдающихся представителей русской культуры. Хотя Шаляпин был на пять лет моложе своего друга, судьбы их сложились очень похоже. Оба вышли из народных глубин, оба страдали от голода и несправедливости, оба упорным трудом достигли вершин славы. И, видимо, была какая-то предопределенность в том, что, взращенные на волжских просторах, подружились они, встретившись на берегу Волги.

* * *

Наличие схожих моментов в биографиях обоих друзей породило немало легенд о встречах Горького и Шаляпина в отрочестве и юности. Наиболее популярна история о том, как оба они вместе поступали в хор. И как Горький был принят, а Шаляпин отвергнут как «безголосый». Из одной публикации в другую кочует эта выдумка. Меняются лишь города (то Казань, то Нижний Новгород) и хоры (то церковный, то оперный). «*Все это неверно, — пишет Шаляпин, — когда Горький однажды спросил, кто я такой, я стал рассказывать ему мою биографию, и вот* ***тут-то*** (подчеркнуто Шаляпиным. — *И. Д.*) *для нас обоих неожиданно выяснилось, что мы встречались, не будучи знакомыми, в ранние годы, и что жизнь наша похожа, а в некоторых случаях текла рядом.* [...] *Что же касается нашего экзамена в хористы, то правда, что оба мы откликнулись на призыв антрепренера Серебрякова к гражданам Казани пополнить его хор молодыми голосами, но и в это время мы не были знакомы. Горького приняли, а меня нет, потому что он был на четыре* (здесь Шаляпин ошибается: разница в возрасте между ними была в пять лет. — *И. Д.*) *года старше: его голос сформировался, а мой еще ломался...*»

* * *

После отъезда Шаляпина в Москву Горькому было запрещено оставаться долее в Нижнем. Распоряжением Министерства внутренних дел ему было предписано выехать на жительство в Арзамас. Ссылаясь на обострившийся туберкулез, Горький подал прошение, чтобы ему разрешили вместо Арзамаса поехать в Крым. «*...вот если ты можешь, то похлопочи, чтоб меня пустили*», — пишет Горький своему другу. Недели через две Шаляпин шлет в Нижний радостную телеграмму: «*Милый Лекса вчера получено письмо Святополк-Мирского* (князь Петр Данилович Святополк-Мирский был в ту пору товарищем, т. е. заместителем, министра внутренних дел. — *И. Д.*) *разрешением тебе ехать Ялту радостью сообщаю декабре буду Петербурге похлопочу дальнейшем...*»

По дороге в Ялту Горький планирует заехать в Москву, чтобы «всеми правдами и неправдами» остаться хоть на сутки с другом. Однако, боясь политических демонстраций, полиция, пропустив в Москву семью Горького, пересаживает самого писателя в другой вагон, который перегоняется в Подольск. Весть эта стала известна в Москве, и пригородным поездом на встречу с Горьким в Подольск выехали Иван Бунин, Леонид Андреев, Пят-

ницкий, Телешов и немецкий переводчик произведений Горького Август Шольц. Чуть позднее для встречи с другом приехал и Шаляпин. До прихода поезда с семьей Горького было еще достаточно времени, и все встречавшие вместе с Горьким отправились в город, в гостиницу.

«*“Шампанского!” — закричал громким голосом Шаляпин* (так описывал этот вечер А. Шольц во франкфуртской газете).

Хозяин, небольшой, слабенький человечек с неприятным выражением лица, должен был признаться, что у него не было разрешения на продажу вина.

— Ну, хороша же гостиница! — сказал Шаляпин. -Мы должны раздобыть собственного вина!

И пока друзья устраивались поудобнее в маленькой, тесной комнатке на втором этаже, он отправился в город на поиски спиртного. Вскоре он возвратился, и за ним следом внесли целую батарею бутылок с красными головками».

Пока друзья коротали время, за занавеской, отделявшей комнату, послышалось приближающееся звякание шпор, и из-под скатерти, выполнявшей роль занавески, стали заметны несколько пар жандармских сапог. Через некоторое время в комнате появился сконфуженный хозяин с домовой книгой в руках, прося всех присутствующих оставить в ней свои имена и адреса и уверяя, что в город заведен такой порядок.

Телешов вспоминает: «*“Приезжий здесь я один, — вдруг заявил на это Шаляпин серьезно и строго. — А это мои гости. Такого закона нет, чтобы гостей переписывать. Давайте сюда книгу, я один распишусь в чем следует”. Не без трепета следил хозяин за словами, которые начал вписывать в его книгу Шаляпин. Увидев, наконец, что мучитель его — артист “Императорских театров”, облегченно вздохнул и успокоился*».

Приближалось время расставания, и на прощание друзья подарили Горькому книгу рассказов Леонида Андреева, на которой каждый из присутствовавших оставил свой автограф. Среди них выделяется шаляпинский экспромт:

Наш милый друг Максим,
В Подольске с горем мы сидим.
Не горе горькое, а Горький
Покинет нас с вечерней зорькой.

Скорый поезд Москва — Симферополь, в котором уже ехала семья Горького, остановился в Подольске буквально на несколько секунд. Едва писатель поднялся на площадку, взревел гудок, и поезд тронулся. На прощанье Горький лишь успел сказать всем спасибо и крикнуть: «Товарищи! Будем отныне все на “ты”».

Горький уехал, а в Подольске продолжалось «знакомство» Шаляпина с московскими писателями, что видно из бунинского письма к А. П. Чехову: «*...проводив его* (Горького. *— Ред.*)*, мы с Шаляпиным пили до шести часов утра*».

* * *

Шаляпин сразу был принят в писательскую среду. Со многими из них был близок и дружен долгие годы. Общение с русскими литераторами, как в бытность в Мамонтовской опере — с русскими художниками, оказало несомненное влияние на дальнейшее формирование Шаляпина как артиста. С конца ноября 1901 года он становится завсегдатаем знаменитых Телешовских сред. После окончания ссылки там начинает бывать и Горький, и встречи друзей возобновляются.

Встречаясь с писателями, художниками, артистами, учеными, Шаляпин, которому практически не довелось получить образования, не считая нескольких классов начальной школы, по меткому выражению Саввы Мамонтова, «буквально жрал знания». На различных собраниях, кружках, на дружеских пирушках он стал прислушиваться к тому, что говорили эти люди, считавшиеся в то время цветом русской интеллигенции. И Шаляпин заметил, «*что все они относятся критически к правителям и к царю, находя, что жизнь российского народа закована в цепи и не может двигаться свободно вперед...* [...] *Их выкладки, их разговоры убеждали меня в том, что они правы. Я все сильнее и глубже стал им сочувствовать — в особенности, когда видел, что они, действительно, готовы положить душу за благо народа. Я искренно негодовал, когда власти хватали таких людей и сажали их в тюрьмы. Мне это казалось возмутительной несправедливостью. И я, как мог, старался содействовать и помогать этим экзальтированным борцам за мой народ... Человеком, оказавшим на меня в этом отношении особенно сильное, я бы сказал — решительное влияние, был мой друг Алексей Максимович Пешков — Максим Горький. Это он своим страстным убеждением и примером скрепил мою связь с социалистами, это ему и его энтузиазму поверил я больше, чем кому бы то ни было и чему бы то ни было другому на свете*».

Хорошо известно, что немалые суммы пожертвований с шаляпинских концертов через посредство Горького перекочевывали в партийную кассу большевиков. Сам Шаляпин в душе считал себя уже социалистом и однажды в разговоре с Горьким спросил друга, не будет ли искренне со стороны Шаляпина, если он вступит в партию социал-демократов. Я полагаю, что ответ Горького заслуживает благодарности и далеких потомков, отделенных многими десятилетиями от той ночи на Капри. Шаляпин вспоминал: «*Если я в партию социалистов не вступил, то только потому, что Горький посмотрел на меня в тот вечер строго и дружески сказал: — Ты для этого не годен. И я тебя прошу, запомни один раз навсегда: ни в какие партии не вступай, а будь артистом, как ты есть. Этого с тебя вполне довольно*».

Желание Шаляпина приобщиться к политической борьбе было, по-видимому, импульсивным, сиюминутным. Театр и пение были смыслом его жизни. «*Если я в жизни был чем-нибудь, так только актером и певцом. Моему призванию я был предан безраздельно,.. менее всего в жизни я был политиком. От политики меня отталкивала вся моя натура*». И, несмотря на это, так

получалось, что всю свою жизнь Шаляпин был вовлечен или вовлекаем в различного рода политические демонстрации. [...]

Шаляпину присылалось огромное количество угрожающих писем от «революционно настроенной молодежи». «*Его обещали не только бить, но и убить за то, что он мало себя проявляет в освободительном движении. После же этого инцидента он стал получать подобные письма и от людей противоположного лагеря. Бойкотировали его и с той и с другой стороны*», — пишет Теляковский. Шаляпин от всего этого был совершенно расстроен. А в одном политическом инциденте Горький был единственным из друзей, пришедших на помощь к Шаляпину. Случай этот широко известен, его на все лады перепевали не только в России, но и в зарубежной печати.

«Коленопреклоненный» Шаляпин перед царской ложей в Мариинском театре — кто об этом не слышал! Я сознательно взял слово «коленопреклоненный» в кавычки, ибо если разобраться, то «коленопреклонения» Шаляпина как такового не было вообще, факт этот известен совершенно достоверно из мемуаров Теляковского и ряда других свидетельств. Напомню кратко, что произошло.

* * *

Хор театра, давно требовавший прибавки к жалованию, решил воспользоваться пребыванием в театре Николая II и в антракте после 3-го акта, когда все артисты — и Шаляпин в том числе — уже откланялись публике и разошлись по своим уборным, а оркестр и дирижер покинули оркестровую яму, в зале неожиданно раздались возгласы: «Гимн!». Теляковский считает, что или хористы подстроили это нарочно, поручив крикнуть «гимн» кому-либо из своих, или дворцовый комендант генерал-адъютант Дедюлин, любивший подобные демонстрации, устроил это при помощи чинов охраны. И тогда из-за спущенного занавеса хор начал исполнять гимн «á capella». Когда занавес поднялся, хор опустился на колени лицом к царской ложе. Теляковский пишет: «*Ближе всего к царской ложе стояла на коленях артистка Е. И. Збруева. Услышав, что поют гимн* (по правилам, при пении гимна на сцену обязаны были выходить и петь даже солисты, хотя бы они были в это время и не в костюмах. — *И. Д.*), *на сцену вышел и Шаляпин. Он вошел в дверь "терема" (оставалась декорация третьего акта), и его высокая фигура казалась еще выше наряду с коленопреклоненной толпой. Увидев хор на коленях, Шаляпин стал пятиться назад, но хористы дверь из терема ему загородили... Как бы Шаляпин ни поступил, — во всяком случае он остался бы виноват. Если он станет на колени — зачем встал? Если не станет — зачем один остался стоять? Продолжать стоять, когда все опустились на колени, — это было бы объяснено, как демонстрация. Шаляпин опустился на колено*».

На другой день правительственное сообщение, опубликованное в газетах, гласило, что участвовавшие в спектакле «с *хором во главе с солистом его величества Шаляпиным, исполнявшим роль Бориса Годунова, стоя на коленях и обратившись к царской ложе, исполнили "Боже Царя храни"*».

Выдумка эта облетела все газеты, попала в Европу, и немедленно вслед за этим вся левая печать принялась клеймить и хаять Шаляпина, который, ничего не зная, уехал на гастроли за границу. Правые же газеты, напротив, всячески превозносили патриотические чувства певца «из мужиков» и печатали интервью с Шаляпиным, которых тот никогда не давал. [...]

Затравленный Шаляпин был забросан анонимками с издевательствами и угрозами. Его бывшие друзья, газетные фельетонисты Влас Дорошевич и А. В. Амфитеатров, отвернулись от него и обливали грязью в своих фельетонах. Не разобравшись, в чем дело, сгоряча, прекратил с Шаляпиным дружбу Валентин Серов и сам же глубоко страдал от этого до самой своей кончины.

А травля продолжалась. Какие-то крепко подвыпившие российские студенты-социалисты, отсиживавшиеся на юге Франции, узнав, что в одном с ними поезде находится Шаляпин, наклеили на окно его купе записку с лозунгом «холоп». В результате разразился очередной скандал, попавший, естественно, в газеты под заголовком: «Ночное нападение русских нигилистов на Ф. И. Шаляпина». Пытаясь вырваться из заколдованного круга, Шаляпин пишет друзьям письма, которые попадают в газеты. Он дает интервью, стараясь объяснить происшедшее. В результате путает факты, и ситуация осложняется еще больше.

Доведенный до отчаяния, он пишет письмо Горькому, жившему в то время на Капри, с просьбой принять его. Сначала Горький медлил с ответом, желая разобраться в случившемся самостоятельно, и поэтому он написал Шаляпину письмо, в котором просил самого певца ответить, как было дело и как он сам относится к инциденту. М. Ф. Андреева вспоминала: «*В это время приехал на Капри скульптор И. Я. Гинцбург и рассказал, что он сам был на спектакле, все сам видел и наблюдал, что Федор не становился на колени на авансцене, воздевая руки, но, когда хор со Збруевой во главе выбежал и шлепнулся на колени с громким пением гимна, Федор, растерявшись, спрятался за кресло Бориса, привстав на одно колено*».

Тут подоспело и шаляпинское письмо с описанием инцидента, которое полностью совпадало с рассказом Гинцбурга. И Горький немедленно пишет другу ответ: «*И люблю и уважаю я тебя не меньше, чем всегда любил и уважал; знаю я, что в душе — ты честный человек, к холопству — не способен, но ты нелепый русский человек и — много раз я говорил тебе это! — не знаешь своей настоящей цены, великой цены.*

Нестерпимо, до слез больно мне за тебя, много думаю — как бы помочь, чем? И не вижу, чувствую себя бессильным.

Не умно ты сделал, что сразу же после этой истории не поехал ко мне или не объяснил всех условий, при коих она разыгралась, — знай я все с твоих слов, — веря тебе, я бы что-нибудь сделал, чтобы заткнуть пасти твоих судей. А теперь — придется выжидать время. Твоего приезда сюда я бы желал и очень, но — здесь масса русских. Я с ними в недобрых отношениях, и они не преминут устроить скандал тебе, чтобы — кстати уж! — и меня уколоть. Кроме здеш-

них, еще каждую неделю бывают экскурсанты из России, караванами, человек по пятьдесят, — народ дикий и нахальный.

А видеться нам — нужно. Погоди несколько, я напишу тебе, когда и как мы можем встретиться без шума и скандала, теперь же — скандал вновь поднялся бы. Ведь так приятно ударить меня — тобою, тебя — мною. Все живут напоказ, и каждому ужасно хочется показать себя честным человеком, — это верный признак внутренней бесчестности.

До свидания, Федор Иванович, будь здоров и не особенно сокрушайся — пройдет.

А. Пешков».

В сентябре, получив от друга телеграмму с одним-единственным словом: «Приезжай», Шаляпин помчался на Капри. Обычно Горький встречал гостей на пристани или дома, но на этот раз он выехал на лодке прямо к пароходу. Даже спустя много лет Шаляпин чувствовал благодарность к другу за этот жест: «*Этот чуткий друг понял и почувствовал, какую муку я в то время переживал. Я был так растроган этим благородным его жестом, что от радостного волнения заплакал. Алексей Максимович меня успокоил, лишний раз дав мне понять, что он знает цену мелкой пакости людей...*» [...] Горький утверждал, что «*публика злопамятна и долго носит камень за пазухой, особенно долго в том случае, когда она имеет право кинуть камнем в грешного*».

Горький как в воду глядел. Через четыре года Шаляпин в зале Народного дома в Петрограде устроил бесплатный спектакль для рабочих. По этому поводу «группа рабочих» восьми петроградских заводов обратилась к певцу с письмом, в котором напомнила, что негоже выходцу из народа становиться на колени перед царем.

Через год «почтеннейшей публике» представился еще один случай метнуть в Шаляпина очередной «булыжник». Выразилось это, как утверждает советское искусствоведение, в том, что в печати появились многочисленные протесты «демократической общественности» по поводу предполагавшегося опубликования автобиографии Шаляпина на страницах журнала «Летопись». Журнал этот издавался в Петрограде Горьким, и Горький же предложил Шаляпину свою помощь в создании автобиографии.

* * *

История с шаляпинской автобиографией «Страницы из моей жизни» настолько увлекательна, что о ней в пору писать детективный роман. Основное действие этого «романа» развернется спустя много лет, когда Шаляпин уже окажется за границей. Начало же этой истории относится к лету 1916 года, когда оба друга поселились в Форосе, в Крыму, чтобы написать автобиографию певца.

Создание ее происходило следующим образом. Горький гостил у Шаляпина в Форосе до самого конца июля, пробыв с другом в общей сложности около полутора месяцев. Как мы увидим позже, в данном случае скрупулезность совершенно необходима, поэтому сошлемся на документальные сви-

детельства. «*Мы с Горьким будем жить инкогнито, где-нибудь в захолустье. Но работа наша займет времени не более трех недель...*», — так пишет Шаляпин дочери Ирине в мае еще до встречи с Горьким в Крыму. Проходит месяц, и вновь он сообщает ей: «*Каждый день купаюсь и очень усиленно работаю с Алексеем Максимовичем*». Своему другу и адвокату М. Ф. Волькенштейну в письме от 6 июля он пишет: «*Работаю ежедневно несколько часов, и, кажется, работа подвигается вперед...*»

В то же самое время (письмо от 16 июля) Горький сообщает книгоиздателю И. П. Ладыжникову: «*Работа расползается и вширь и вглубь, очень боюсь, что мы ее не кончим. Напечатано 500 страниц, а дошли только еще до первой поездки в Италию! Я очень тороплюсь, но — существует непобедимое техническое затруднение: барышня может стенографировать не более двух часов, а все остальное время дня, до вечера, у нее уходит на расшифровку. Править я, конечно, не успеваю. Федор иногда рассказывает отчаянно вяло, и тускло, и многословно. Но иногда — удивительно! Главная работа над рукописью будет в Питере, это для меня ясно. Когда кончим? Все-таки, надеюсь, — к 20, 22-му*».

Однако и к этой дате работа не завершилась, что видно из письма Горького к К. А. Тимирязеву (2 августа): «*Только вчера возвратился из Крыма, где жил в Форосе у Федора Ивановича,* ***помогая*** (подчеркнуто мною. — *И. Д.*) *ему в работе над его автобиографией. За семь недель очень отдохнул от Петербурга...*»

Первая часть шаляпинских воспоминаний увидела свет в «Летописи», остальные главы были опубликованы уже советским издательством «Прибой». На этом мы прервем изложение истории, связанной с автобиографией, ибо продолжение ее относится уже к 20-м годам. Но перед этим подведем некоторые арифметические итоги, которые будут важны «через десять лет». Итак, Горький находился у Шаляпина в течение семи недель. Если предположить, что работа над книгой велась только половину времени и что Шаляпин диктовал действительно лишь по два часа в день, то общее время, им затраченное, составит как минимум 50 (!!) часов. Запомним эту цифру и перенесемся из Крыма на год вперед. В России уже началась революция. [...]

В октябрьскую ночь большевистского переворота Шаляпин пел Филиппа в «Дон Карлосе». В вердиевский оркестр вплетался гром пушек крейсера «Авроры». После спектакля — в дождь и туман, — сопровождаемые стрельбой, не найдя извозчика и перебегая от подъезда к подъезду, добрались, наконец, Шаляпины до своего дома. От пережитых потрясений слегла на целый месяц Мария Валентиновна. «*Если бы я в эту ночь спал*, — пишет Шаляпин, — *я бы сказал, что проснулся я уже в социалистическом тумане*».

Трагические события, разыгравшиеся в этом тумане, начались почти сразу. Одна из глав второй части шаляпинских мемуаров «Маска и душа», названная «Под большевиками», целиком посвящена их описанию, поэтому лучше предоставим слово самому Шаляпину: «*...столица еще не отдавала себе ясного отчета в том, чем на практике будет для России больше-*

вистский режим. И вот — первое потрясение. В госпитале зверским образом матросами убиты "враги народа" больные Кокошкин и Шингарев, арестованные министры Временного Правительства, лучшие представители либеральной интеллигенции.

Я помню, как после этого убийства потрясенный Горький предложил мне пойти с ним в министерство юстиции хлопотать об освобождении других арестованных членов Временного Правительства... Здесь нас принял... министр юстиции Штейнберг. В начавшейся беседе я занимал скромную позицию манекена — говорил один Горький. Взволнованный, бледный, он говорил, что такое отношение к людям омерзительно... Штейнберг отнесся к словам Горького очень сочувственно и обещал сделать все, что можно, возможно скорее... Через некоторое время министры были освобождены.

В роли заступника за невинно-арестовываемых Горький выступал в то время очень часто. Я бы даже сказал, что это было главным смыслом его жизни в первый период большевизма. Я встречался с ним часто и замечал в нем очень много нежности к тому классу, которому угрожала гибель. По ласковости сердца он не только освобождал арестованных, но даже давал деньги, чтобы помочь тому или другому человеку спастись от неистовствовавшей тогда невежественной и грубой силы и бежать за границу».

Эти шаляпинские воспоминания написаны в 1932 году в Париже. И хотя пути друзей к этому времени уже разошлись, но Горькому певец посвятил десятки страниц. И сколько истинной приязни, сколько тепла вложил Шаляпин в описание портрета своего друга!

Шаляпин был не только гениальным певцом и артистом. Читая его, легко убедиться, что и в социальных, и в политических дебрях, несмотря на то, что все время старался быть далеким от политики, он разобрался довольно быстро. Вот что он писал: «*Я заметил, что искренность и простота, которые мне когда-то так глубоко импонировали в социалистах, в этих социалистах последнего выпуска совершенно отсутствует. Бросалась в глаза какая-то сквозная лживость во всём. Лгут на митингах, лгут в газетах, лгут в учреждениях и организациях. Лгут в пустяках и так же легко лгут, когда дело идет о жизни невинных людей...*»

И Шаляпин приводит еще один пример «любви к ближнему». Вот эта печальная история, переданная устами Шаляпина: «*Горький, который в то время, как я уже отмечал, очень горячо занимался красно-крестной работой, видимо, очень тяготился тем, что в тюрьме с опасностью для жизни сидят великие князья. Среди них был известный историк великий князь Николай Михайлович и Павел Александрович.*

Старания Горького в Петербурге в пользу великих князей, по-видимому, не были успешны, и вот Алексей Максимович предпринимает поездку в Москву к самому Ленину. Он убеждает Ленина освободить великих князей и в этом успевает. Ленин выдает Горькому письменное распоряжение о немедленном их освобождении. Горький, радостно возбужденный, едет в Петербург с бумагой. И на вокзале из газет узнаёт об их расстреле! Какой-то московский чекист по

телефону сообщил о милости Ленина в Петербург, и петербургские чекисты поспешили ночью расстрелять людей, которых наутро ждало освобождение... Горький буквально заболел от ужаса». [...]

Шаляпин пишет, что «*Горький не скрывал своих чувств и открыто порицал большевистскую демагогию... Я очень скоро почувствовал, как разочарованно смотрел Горький на развивающиеся события и на выдвигающихся новых деятелей революции*».

Дальнейшее пребывание в Советской России становилось мукой, и почти одновременно, не знаю — сговорившись или нет, друзья покидают родину. [...]

* * *

Дав 29 июня 1922 года прощальный концерт в Большом зале Петроградской филармонии, вечером того же дня Шаляпин со своей семьей отплывает на пароходе в Европу «на лечение и гастроли». Годом раньше также «на лечение» в Финляндию, а затем в Италию уехал и Горький.

Опубликованная переписка этих лет весьма скудна. Обосновавшись в Париже, Шаляпин мотается по Европе и Америке, стараясь заработать побольше денег, чтобы обеспечить свое многочисленное семейство. Он усиленно приглашает Горького приехать к нему на дачу в Нормандию и обещает выхлопотать ему визу. На следующий год он собирается навестить друга в Сорренто, но и эта встреча сорвалась.

В письме 16 сентября 1925 года Шаляпин делится с другом предчувствиями, значение которых мы можем сейчас, с позиции времени, по достоинству оценить: «*...Прости, Максимыч, но думается мне, что великое уничтожение человечества впереди и, кажется, в недалеком будущем. Не знаю, доживем ли?.. Не дай Бог! Вероятно, все, что я написал, — неумно, но мне кто-то говорит это в моем сердце*».

В июне 1926 года Шаляпин отплывает на гастроли в Австралию и Новую Зеландию. По дороге пароход делает остановку в Неаполе, где, наконец, после нескольких лет разлуки происходит встреча друзей, о которой в письме к Е. П. Пешковой Горький сообщает: «*Третьего дня, проездом в Австралию, был здесь Федор с Марией Валентиновной и четырьмя дочерьми. Мы с Максом* (сыном Горького. — И. Д.) *ездили к нему на пароход, провели с ним часов пять. Постарел Федор. Очень. И — не столько телесно, сколько — душевно. Устал человек. Ему бы следовало отдохнуть год, два*».

Но отдыхать Шаляпину некогда, незадолго до этого в письме к дочери Ирине он сетует: «*Работать приходится каторжно. Жизнь страшно дорога, налоги всюду ужасные, а тут никто еще не встал на ноги, и нужна всем помощь — ничего не поделаешь — работать надо...*» И он использует любую возможность, чтобы не только заработать самому, но и помочь своему многочисленному потомству и друзьям, в том числе и Алексею Максимовичу. Поэтому его очень обрадовало предложение американских издателей о публикации книги «Страницы из моей жизни», которую Шаляпин с Горьким

создавали вместе в Форосе. Новость эту Шаляпин сообщил своему другу во время встречи в Неаполе, а чуть позднее подтвердил в письме: «*Я рад был тому, что эта продажа дала бы достаточно денег, а в твоем положении с разными литературными неурядицами и затруднениями дала бы тебе временно хорошую материальную поддержку, так как сам я денег брать никаких не хотел, да, говоря по совести, и не считал себя вправе...*»

Три месяца спустя Шаляпин неожиданно узнает о том, что в ленинградском издательстве «Прибой» его воспоминания вышли в свет отдельной книгой, и он немедленно пишет Горькому: «*Я не поверил бы, если бы не прочел вырезки как раз из той части, которая не была еще никогда и нигде напечатана. Ты, конечно, знаешь наше российское положение в отношении международного авторского права, и поэтому я, вероятно, не смогу уже продать их* (записки. — *И. Д.*) *в Америке, как хотел. Все издатели откажутся купить и возьмут, просто переведут на англицкий язык сами и будут печатать где и как хотят*».

Будущее показало, что опасения Шаляпина были не напрасны. Это наглядно видно из письма Ирине Шаляпиной (27 октября 1927 года), в котором читаем: «*Книгой моей торгуют вовсю разные купцы Франции, Германии, Австрии и проч. За исключением Америки и Англии, где за эту книгу мне что-то платят. Остальные же аппрофитируют закон и под покровительством "нет авторских контактов с Россией" зарабатывают за мой счет огромные деньги. Жулье!*»

Однако мы слегка забежали вперед. Пока разгорался сыр-бор, кто-то нашептал Горькому, что Шаляпин распространяет слухи, будто именно Горький продал «Прибою» один из экземпляров рукописи (второй хранился у Шаляпина в сейфе парижской квартиры. — *И. Д.*). Письмо Горького по этому поводу или потеряно, или в силу каких-то причин не опубликовано. Легко можно предположить, в каком тоне оно было написано, ибо ответ на него Шаляпин заключает следующими словами: «*Я уверен в том, что ты сам знаешь хорошо: недостатков у меня много, но мерзости в душе я никогда не ношу, а всегда тебя люблю и уважаю*».

Из того же письма мы узнаём, что еще зимой 1927 года, когда Шаляпин увидал объявление «Прибоя» о намерении печатать всю книгу полностью (мы помним, что в 1917 году в «Летописи» вышла только первая часть воспоминаний), он направил из Нью-Йорка телеграммы протеста в редакцию и Луначарскому. О своих действиях он также телеграфно уведомил и Горького.

Редактор «Прибоя» присылает Шаляпину письмо с извинениями, предлагает уплатить гонорар и сообщает, что «*дальнейшее печатание приостановлено впредь до моего согласия*, — пишет Шаляпин Горькому, — *на предложение о гонораре я ничего не ответил, так как никакого гонорара с них брать не хочу. Из этого ты увидишь, что, если б я и хотел бросить в тебя столь хамским обвинением, — я бы уже этого сделать не мог*».

Бедный Шаляпин! Печальный опыт с «коленопреклонением» и, в частности, с последовавшей за этим перепиской ничему его не научил. Он вновь действует, как ему подсказывают чувства. Через несколько лет, как мы уви-

дим, эта переписка с издательством будет использована против него. По всей видимости, он написал в редакцию «Прибоя» то же, что сообщает и Горькому: «*Гонорар от Тихонова, если ты хорошенько припомнишь, я получил... по твоему же настоянию* (за публикацию в 1917 году. — *И. Д.*), *потому что я, как и сейчас, считал совершенно неуместным брать деньги за книгу. Это меня никогда не интересовало. Тихонов несколько раз говорил мне потом, что он должен заплатить мне еще какие-то деньги, но я никогда ничего больше не получал и также никогда ему не напоминал.*

На днях m-elle Врайт из Америки сообщила, что имеет от проданной книги чистой выручки 5000 долларов, и я ей послал телеграмму, чтобы она перевела тебе 2500 долларов.

Тон твоего письма показался мне обидным. Если я заботился и беспокоился о материальной стороне этой книги, то это было для того, чтобы ты получил несколько тысяч долларов, которые, как я предполагал, для тебя, вероятно, были бы не лишними».

По-видимому, ответ Шаляпина удовлетворил Горького. Ссоры на этот раз не произошло, однако размолвка не прошла бесследно. Горьковское раздражение в адрес Шаляпина прорывается в совершенно не соответствующей истине фразе, оброненной в письме к И. А. Груздеву: «*Сам Федор писать не способен, ибо — ленив*». Хорошо известно, что Шаляпин без помощи Горького написал вторую книгу мемуаров, опубликовал несколько статей, стихов, фельетон, да и эпистолярное наследие его читается с захватывающим интересом. Недаром же Рахманинов говорил о нем: «*Беспредельный, феноменальный талант во всем, за что ни берется*».

В марте 1928 года в Советском Союзе торжественно отмечалось 60-летие Горького, а в мае — после семилетнего отсутствия — сам юбиляр отправился на родину. На пути в Москву, находясь проездом в Берлине, он встречается с Шаляпиным.

Первая поездка на родину ошеломила Горького и, нет сомнения, оказала огромное влияние на перемену во взглядах, в том числе и на отношение к Шаляпину. Сын писателя Максим, сопровождавший его в поездке, так описывал встречу, устроенную Горькому: «*...я настолько взволнован встречей, которую устроили Дуке* (так он называл отца. — *И. Д.*), *что связно писать не могу. С одиннадцати вечера и до самой Москвы, на всех станциях встречали с музыкой по несколько тысяч человек.*

А в Москве делалось такое, что невозможно описать, провожала конная милиция, все улицы были полны народа...»

Находясь в Москве, Горький помогает Ирине Шаляпиной получить разрешение на выезд в Париж для встречи с отцом, за что Шаляпин благодарит друга в письме от 10 октября 1928 года. По всей вероятности, существовало ответное письмо Горького. Ни в одном литературном источнике разыскать его мне не удалось. Однако в «Маске и душе» встречаем следующее: «*Я уже прожил порядочное время за границей, как однажды получил письмо от Горького с предложением вернуться в Советский Союз... Конечно, Алексей Максимо-*

вич в это время уже съездил в Россию и, вероятно, усмотрел для меня новую, определенную возможность там жить и работать. Но я в эту возможность, каюсь, не поверил».

И Шаляпин объясняет, почему именно: «*Вспоминая, как мне было там тяжело жить и работать, и не понимая, почему изменилось мнение Алексея Максимовича, я ему ответил, что ехать в Россию мне сейчас не хотелось бы. И выяснил откровенно причины. Писал я об этом Горькому на Капри...*» [...]

Прошел почти год, и Горький вновь поднял вопрос о возвращении Шаляпина на родину. Произошло это в Риме 18 апреля 1929 года. День этот принято считать днем последней встречи друзей.

Встреча произошла следующим образом. Шаляпин, приехавший в Рим петь Бориса Годунова, позвонил Горькому в Сорренто и спросил разрешения приехать. Однако Горький решил сам поехать на встречу с другом и заодно послушать оперу. В театре Горький был возбужден и взволнован игрой Шаляпина и каждый антракт ходил к нему за кулисы.

После спектакля Федор Иванович и Мария Валентиновна Шаляпины пригласили Горького и все его сопровождение на ужин в ресторан. Присутствовала там и Н. А. Пешкова, жена Максима, которая оставила следующие воспоминания: «*...в заключение Алексей Максимович сказал Федору Ивановичу: "Поезжай на родину, посмотри на строительство новой жизни, на новых людей, интерес их к тебе огромен, увидев, ты захочешь остаться там, я уверен". Мария Валентиновна, молча слушавшая, вдруг решительно заявила, обращаясь к Федору Ивановичу: "В Советский Союз ты поедешь только через мой труп"*».

Фраза эта в официальной советской шаляпиниане стала хрестоматийной. С легкой (точнее было бы сказать — с нелегкой) руки этой окололитературной дамы составилась и вот уже более 40 лет насаждается «идеологически выдержанная» теория, объясняющая причины шаляпинского невозвращения. [...]

Описание встречи в Риме Н. Пешкова завершает так: «*После такого заявления жены Федор Иванович как-то сразу затих, настроение у всех упало, Алексей Максимович замолчал, Максим помрачнел. Быстро засобирались домой, приятно начатый вечер был испорчен*».

А теперь сравним версию Пешковой с рассказом самого Горького, как его передает Лев Никулин: «*После спектакля Алексей Максимович, его близкие, вместе с Шаляпиными отправились в старинный ресторан Рима, так называемую "Библиотеку". Шаляпин был в ударе, он радовался встрече с Горьким, до поздней ночи они оставались в "Библиотеке". Шаляпин припоминал любимые рассказы Алексея Максимовича и передавал эти рассказы с обычным блеском прекрасного комедийного актера. Потом он запел, и все, кто был в эту ночь в "Библиотеке", столпились у стола, восхищенные этим неожиданным и чудесным концертом великого русского певца... Это была последняя встреча Алексея Максимовича с Федором Шаляпиным*».

Пусть читатели решают, какая из версий звучит более правдоподобно. Мы же предложим их вниманию третий, шаляпинский, вариант: «*...позже,*

когда мне случилось петь в Риме (я там пел спектакли), я встретился с Горьким лично. Все еще дружески, Алексей Максимович мне снова тогда сказал, что ***необходимо*** (подчеркнуто Шаляпиным. — *И. Д.*), *чтобы я ехал на родину. Я снова и более решительно отказался, сказав, что ехать туда не хочу. Не хочу потому, что не имею веры в возможность для меня там жить и работать, как я понимаю жизнь и работу. И не то, что я боюсь кого-нибудь из правителей или вождей в отдельности, я боюсь, так сказать, всего уклада отношений, боюсь "аппарата"... Самые лучшие намерения в отношении меня любого из вождей могут остаться праздными. В один прекрасный день, какое-нибудь собрание, какая-нибудь коллегия могут уничтожить все, что мне обещано. Я, например, захочу поехать за границу, а меня оставят, заставят и нишкни — никуда не выпустят. А там ищи виноватого, кто подковал зайца... Я почувствовал, что Алексею Максимовичу мой ответ не очень понравился. И когда я потом, вынужденный к тому бесцеремонным отношением советской власти к моим законным правам даже за границей, сделал из моего решения не возвращаться в Россию все логические выводы и "дерзнул" эти мои права защитить, то по нашей дружбе прошла глубокая трещина. Среди немногих потерь и нескольких разрывов последних лет, не скрою, и с волнением это говорю — потеря Горького для меня одна из самых тяжелых и болезненных*».

Чтобы разобраться в том, что же произошло, мы вновь возвращаемся к первой шаляпинской автобиографии — «Страницам из моей жизни». В июне 1930 года адвокат Шаляпина Д. Печорин предъявил во французском суде иск к советскому правительству, обвиняя советские учреждения в самовольном печатании и продаже мемуаров Шаляпина, в незаконном ввозе книги во Францию и продаже ее в Париже. Материальные убытки Шаляпина по этому иску исчислялись в два миллиона франков.

Ход судебного разбирательства и правомерность решения суда не являются темой нашего исследования. Нас же интересует, как повлиял этот процесс на отношения между друзьями.

Советской стороной в суде была оглашена переписка Шаляпина с издательством «Прибой» в 1926 году по поводу издания записок певца в Ленинграде. Как утверждают авторы комментариев в советских публикациях, Шаляпин в своих письмах отказался от претензий к издательству. Наряду с этой перепиской суду было также предъявлено письмо Горького советскому полпреду во Франции В. С. Довгалевскому, а также его письма в газеты «Правда» и «Известия». Содержание всех этих писем, в общем, идентично, поэтому выберем письмо редактору «Известий» (№ 349 от 20 декабря 1930 года) — оно короче остальных.

«*Записки эти возникли по моей инициативе и при непосредственном моем участии. В 1916 году я* ***уговорил*** (подчеркнуто мною. — *И. Д.*) *Шаляпина рассказать мне его жизнь в присутствии стенографистки Евдокии Петровны Сильверсван. Он это сделал в несколько сеансов, затратив на рассказы* ***не более 10 часов*** (подчеркнуто мною. — *И. Д.*). *После того, как эти хаотические рассказы были стенографисткой расшифрованы, я придал им связность, пере-*

писал, добавив все то, что знал раньше по рассказам Шаляпина. В 1916 году он разрешил печатать их в "Летописи", за что ему уплачено было 6500 рублей».

А в письме к самому Шаляпину, написанному в августе того же года, то есть до начала судебного процесса, Горький заявляет даже так: «*Записки твои на три четверти — мой труд*». То же самое он повторил потом в письме к Довгалевскому. Пусть юристы разбираются в том, имеет ли право редактор (а в данном случае Горький выполнял преимущественно редакторскую работу) считать своею «на три четверти» книгу автора. Им же мы предоставим возможность оспорить, на мой взгляд, совершенно смехотворное утверждение Горького, которое мы находим в письме (и только там) к Довгалевскому: «*Должен прибавить следующее: факт появления "Записок" Шаляпина в журнале "Летопись"* (т. е. еще до существования советской власти. — *И. Д.*), *казалось бы, лишает автора прав* (?? — *И. Д.*) *на оплату гонораром иностранных изданий "Записок"*».

Пока юристы, если, конечно, захотят, будут разбираться в поставленной перед нами задаче, мы попробуем опровергнуть другие утверждения Горького. Прежде всего, мы уже подсчитывали, что даже по самому скромному расчету на создание своей автобиографии Шаляпин затратил в пять раз больше времени. Далее, Горький утверждает, что инициатива создания записок принадлежит ему и что он же уговорил Шаляпина продиктовать их в Крыму.

Ах, как «прошАляпили» советские редакторы переписку друзей, предшествовавшую этому событию за много лет. Стоит лишь заглянуть в письмо Горького, написанное Шаляпину в сентябре 1909 года, как легко убедиться в том, что «двадцать лет спустя» он, мягко выражаясь, запамятовал авторство этой идеи.

Вот несколько отрывков из этого письма: «*Милый мой Федор, — Константин Петрович — он здесь — сообщил мне, что* ***ты хочешь написать и издать свою автобиографию*** (подчеркнуто мною. — *И. Д.*), *— меня это сообщение очень взволновало и встревожило!.. Я тебя убедительно прошу — и ты должен верить мне! — не говорить о твоей затее никому, пока не поговоришь со мной... Ты можешь поверить мне — я не свои выгоды преследую, остерегая тебя от возможной — по доброте твоей и безалаберности — ошибки... О письме этом никому не говори, никому его не показывай! Очень прошу! По праву дружбы — прошу тебя — не торопись, не начинай ничего раньше, чем переговоришь со мной! Не испорчу ничего — поверь! — а во многом помогу — будь спокоен!*»

Намерение друзей написать вместе шаляпинскую автобиографию откладывалось в течение нескольких лет и, наконец, было осуществлено в 1916 году. И опять же не по горьковской инициативе. В письме к Ирине Шаляпиной от 14 апреля 1916 года Шаляпин сообщал: «*...затем возможно, что поеду с тем же Максимом в Крым, Он чувствует себя, в смысле здоровья, отвратительно и должен обязательно побыть в тепле на солнце,.. — вот я и решил прибегнуть к — так сказать — военной хитрости — то есть предложить ему следующее. Я, мол, буду писать книгу моих воспоминаний, а он будет*

*написанное редактировать. Печатать же написанное будем в его журнале под названием "Летопись". **Идея эта ему понравилась*** (подчеркнуто мною. — *И. Д.*), *и он решил поехать со мной в Крым...*»

Трудно допустить мысль, что приведенные нами документы фигурировали во французском суде. А если вспомнить свидетельство самого Горького в письме к Тимирязеву, что он *помогал*, а не создавал «на три четверти» шаляпинскую книгу, то в подобном случае решение суда могло бы быть иным. Шаляпину же в иске судом было отказано.

Однако не проигрыш процесса печалит Шаляпина. Он пытается найти объяснение внезапно изменившейся позиции Горького. При этом он категорически отметает мысль, «*что этот человек мог бы действовать под влиянием низких побуждений*». Шаляпин ищет ответа и не находит его: «*И все, что в последнее время случалось с моим милым другом, я думаю, имеет какое-то неведомое ни мне, ни другим объяснение, соответствующее его личности и его характеру*».

В этой связи мне представляется интересным обратиться к солженицынскому «Архипелагу ГУЛаг», в котором писатель высказывает очень важную мысль: «*Жалкое поведение Горького после возвращения из Италии и до смерти я приписывал его заблуждениям и неуму. Но недавно опубликованная переписка 20-х годов дает толчок объяснить ниже того: корыстью. Оказавшись в Сорренто, Горький с удивлением не обнаружил вокруг себя мировой славы, а затем — и денег (был же у него целый двор обслуги). Стало ясно, что за деньгами и оживлением славы надо возвращаться в Союз и принять все условия. Тут он стал добровольным пленником Ягоды. И Сталин убивал его зря, из перестраховки: он воспел бы и 37-й год*».

Кому-то мнение Александра Исаевича может показаться слишком категоричным. Может быть. Но это его точка зрения, и к ней должно относиться с уважением. Мне же она во многом представляется верной. Одно лишь обстоятельство хотелось бы добавить к характеристике поведения «подсоветского» Горького.

Не стоит забывать, что в это время ему шел уже седьмой десяток. К тому же хорошо известно, что многие годы он страдал от туберкулеза. Многолетняя же интоксикация туберкулезных больных, как известно, особенно в период обострения процесса, предрасполагает к эйфории. А если мы вспомним, какую встречу инсценировали власти к его возвращению, каким почетом и ореолом его окружили, то можно найти и «психофизиологическое» объяснение резко изменившегося поведения Горького. Как бы то ни было, сейчас не составит особого труда дать ответ на шаляпинский вопрос, кто же из них двоих был прав: «*Что же произошло? Произошло, оказывается, то, что мы вдруг стали различно понимать и оценивать происходящее в России. Я думаю, что в жизни, как в искусстве, двух правд не бывает — есть только одна правда. Кто этой правдой обладает, я не смею решить. Может быть, я, может быть, Алексей Максимович. Во всяком случае, на общей нам правде прежних лет мы уже не сходимся*».

* * *

Шли годы. После судебного процесса в Париже пути друзей окончательно разошлись, и, как утверждают все шаляпинские историографы, больше они ни разу не встречались. Мне же, после тщательного сопоставления фактов, представляется, что все же еще одна встреча имела место.

Американский импрессарио Шаляпина Сол Юрок в своих воспоминаниях описывает эту встречу, которую он сам же и устроил. Вот как это было. По рассказу Юрока, Горький находился в берлинском отеле «Адлон» на пути из Парижа в Москву. Я проверил хронограф жизни Горького день за днем, и из него не видно, что Горький мог быть в Париже в 30-х годах. Зато хорошо известен факт, что в августе 1932 года Горький выехал на Амстердамский конгресс борцов за мир. Голландское правительство во въезде в страну ему и всей советской делегации отказало, и в течение восьми дней Горький был вынужден оставаться в Берлине. К сожалению, биографы не указывают, в каком отеле останавливался Горький, Юрок же, по всей видимости, перепутал Париж с Амстердамом, — простим ему эту «мелочь».

В то же самое время Шаляпин снимался в кинофильме «Дон Кихот», разъезжая то в Испанию, то в Англию. При европейских расстояниях доехать до Берлина — сущие пустяки, поэтому вполне возможно, что Шаляпин мог появиться в Берлине в период между 26 августа и 2 сентября. А теперь предоставим слово самому Юроку: «*Я слышал, что Горький находился в отеле "Адлон" на пути из Парижа в Москву. Будучи поклонником обоих и не в силах вынести того, что оба мои кумира были в ссоре, я позвонил Горькому... Я спросил Горького, могу ли я привести Шаляпина. — Где этот болван? — прорычал горьковский голос в мое ухо. Другого приглашения мне не требовалось.*

На мой стук дверь широко растворилась. Шаляпин сделал шаг вперед и, как огромный медведь, заключил Горького в свои объятия. Так они встретились друг с другом. Как они расстались, я не могу сказать, так как оставался с ними часов 6-8 и оставил их в сумбуре слез и водки...»

* * *

В конце 1931 года Шаляпин приступил к работе над своей второй книгой мемуаров «Маска и душа». В ней он хотел подвести итог своего сорокалетнего служения искусству. Не случаен поэтому и подзаголовок книги — «Мои сорок лет на театрах». Во вступлении к ней Шаляпин писал: «*Магический кристалл, через который я Россию видел, — был театр. Все, что я буду вспоминать и рассказывать, будет так или иначе связано с моей театральной жизнью. О людях и явлениях жизни я собираюсь судить не как политик или социолог, а актер, с актерской точки зрения. Как актеру, мне прежде всего интересны человеческие типы — их душа, их грим, их жесты... Если автору уместно говорить о качестве своего труда, то я позволю себе указать только на то, что в моей работе я стремился прежде всего к полной правдивости. Я выступаю перед читателем без грима*»...

На протяжении всего нашего исследования мы неоднократно обращались к этому шаляпинскому труду и, я полагаю, можем с уверенностью сказать, что Шаляпин ни разу не отклонился от обусловленного принципа.

Отношение Горького к шаляпинской книге высказано в письме к Ромену Роллану: «*Очень тяжелая вещь эти "воспоминания", и я уверен, что Шаляпину внушают их паразиты, окружающие его, внушают для того, чтобы окончательно преградить ему дорогу на родину. Его новая жена бесстыдно говорит: "Федя поедет к большевикам только через мой труп"*».

Еще более резок Горький в письме к самому Шаляпину. Примечания к переписке Горького и Шаляпина сообщают нам, что «*...не удалось установить, было ли это письмо отправлено Ф. И. Шаляпину или же оно так и осталось у А. М. Горького в черновом наброске. Поэтому письмо не включено в раздел "Переписка с Горьким"*».

Описание самого «черновика», приводимое в комментариях, весьма примечательно. В правом углу первой страницы рукою Горького написано: «*3 копии. Одну на папиросной*». Интересно, слыхал ли кто-нибудь, чтобы «черновик» печатался в трех экземплярах? Глупость этого примечания не лезет ни в какие ворота. По-видимому, это поняли и в редакции, ибо из 3-го издания эта часть комментария изъята, как изъято, естественно, и само письмо.

А теперь самое время к нему обратиться: «*Мне кажется*, — пишет Горький, — *что лжете Вы не по своей воле, а по дряблости Вашей натуры и потому, что жуликам, которые окружают Вас, полезно, чтоб Вы лгали и всячески компрометировали себя. Это они, пользуясь Вашей жадностью к деньгам, Вашей малограмотностью и глубоким социальным невежеством, понуждают Вас бесстыдно лгать. Зачем это нужно им? Они — Ваши паразиты, вошь, которая питается Вашей кровью. Один из главных и самый крупный сказал за всех остальных веские слова: "Федя воротится к большевикам только через мой труп"*».

Конец горьковского письма звучит патетически: «*Зачем Вам понадобилось сочинять это? Эх, Шаляпин, скверно Вы кончили*».

Обращение к многолетнему другу на «Вы», а также тон этого письма на первый взгляд должны знаменовать полное осуждение Шаляпина и окончательный разрыв дружбы. Однако ряд других обстоятельств наводит на мысль, что оно могло быть написано не по собственному желанию Горького. В самом деле, книга была завершена в марте 1932 года, а письмо датировано почти годом позже, т. е. 17 января 1933 года. Горький в то время жил в Сорренто, и трудно допустить мысль, что ему понадобилось столько времени, чтобы получить и прочесть шаляпинскую книгу. Далее, ссылаясь на «лживость» книги, Горький приводит в письме лишь мелкие, второстепенные факты и нигде ни разу не опровергает описываемые Шаляпиным негативные стороны большевистского режима. И, наконец, совершенно откровенная и неуклюжая попытка всю вину свалить на голову М. В. Шаляпиной. А ведь было время, о ней он высказывался совсем по-другому. [...]

Не свидетельствует ли сопоставление всех приведенных фактов о том, что, клеймя Шаляпина вслух, в душе Горький не порицал друга?

Вернемся ненадолго вновь к последнему (прощальному) горьковскому письму. Несмотря на уверения советских шаляпиноведов, что оно могло остаться неотправленным, имеются свидетельства противоположные. Из воспоминаний А. М. Давыдова видно, что «*Горький, невзирая на прежнюю дружбу, на любовь к Шаляпину, написал ему очень резкое письмо. На Шаляпина этот ответ произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Я сам наблюдал его удрученное состояние после этого письма. Неоднократно, со слезами на глазах, он говорил: "В лице Горького я потерял своего лучшего друга". Шаляпин горячо и искренне любил Горького*».

Имеющиеся в нашем распоряжении данные полностью подтверждают давыдовские слова, что Шаляпин не переставал любить Горького. Хотя не известно больше ни одного факта — по крайней мере, в печати — о встречах или переписке Шаляпина с Горьким, косвенные контакты между ними не прекращались. Узнав о внезапной смерти сына Горького Максима, Шаляпин, находившийся на гастролях в Будапеште, послал Горькому телеграмму с соболезнованиями по поводу безвременной утраты. Событие это засвидетельствовано в горьковском хронографе, однако — нетрудно уже догадаться — текст телеграммы, хранящейся в архиве писателя, не приводится.

Весной 1935 года в Париж приезжала Е. П. Пешкова вместе со своей невесткой и с художником П. Кориным. Перед отъездом из Москвы Горький поручил жене встретиться в Париже с Шаляпиным. «*Увидишь Федора, скажи ему: пора вернуться домой, давно пора!*» — вспоминала Пешкова. Разговор во время встреч все время велся вокруг проблемы, связанной с возвращением Шаляпина на родину. Об этом пишет Пешкова, этого же в одном из писем к Ирине касается и сам Шаляпин.

В июле того же года к Ирине Шаляпиной обратилась редакция какой-то московской газеты с предложением опубликовать переписку Горького с Шаляпиным. На вопрос дочери о разрешении публикации Шаляпин ответил отрицательно, скромно принизив свое значение в жизни Горького: «*Насчет писем Алексея Максимовича — я думаю, едва ли это нужно. У него такая переписка со всеми исключительными и высокозамечательными людьми всей нашей эпохи. Я же в среде их человек маленький, и значения, по моему мнению, не имею, а если и имею, то очень малое. Куда уж тут! У меня-то есть его письма, я, конечно, берегу их и горд ими. Как-никак, а все-таки у нас была дружба и довольно долго, а, главное, была молодость и общие мысли и дела*».

* * *

В 1936 году, завершив изнурительные гастроли в Азии, Шаляпин возвращался на пароходе в Европу. Узнав о смерти Алексея Максимовича, он с борта парохода прислал на адрес Ирины в Москву следующую телеграмму:

«*Передай Екатерине Павловне следующее: потрясен, прочитав ужасающую телеграмму. Всех вас всегда обожал. Пусть будут с вами силы и здоровье. Федор Шаляпин*».

Вернувшись в Париж, Шаляпин публикует вместо некролога статью «Об А. М. Горьком», в которой кратко рассказывает о своем знакомстве с ним и о некоторых последующих встречах. В нашем обзоре мы уже цитировали эту работу. Сейчас же мне хотелось бы обратить внимание на то, как Шаляпин, несмотря на разрыв со своим другом, старается дать объективную картину характера и поступков Горького: «*Когда я слышу о корысти Горького, о его роскошной жизни на виллах в Капри и в Сорренто, о его богатствах, — мне становится за людей совестно. Я могу сказать, ибо очень хорошо это знаю, что Горький был один из тех людей, которые всегда без денег, сколько бы они не зарабатывали и не приобретали. Не на себя тратил он деньги, не любил денег и ими не интересовался... Нет, не корысть руководила Алексеем Максимовичем. Я говорил о его вечной боли за народ*».

А одним абзацем раньше приведенного высказывания Шаляпин утверждает: «*Что бы мне ни говорили об Алексее Максимовиче, я глубоко, твердо, без малейшей интонации сомнения знаю, что все его мысли, чувства, дела, заслуги, ошибки — все это имело один-единственный корень — Волгу, великую русскую реку, — и ее стоны... Если Горький шел вперед порывисто и уверенно, то это шел он к лучшему будущему для народа; и если он заблуждался, сбивался, может быть, с того пути, который другие считают правильным, это опять-таки шел он к той же цели...*»

Шаляпин тяжело переживал потерю друга. Через год после его смерти он просит Ирину выхлопотать разрешение на вывоз из Москвы своей библиотеки, когда-то давно подаренной Горьким: «*Теперь, когда его не стало, — каждый вздох его и о нем мне в тысячу раз дороже, чем когда бы то ни было...*»

Не прошло двух лет со дня кончины Горького, как не стало и Шаляпина. В кремлевской стене замурован прах одного из друзей, во французской земле покоится другой. Полжизни продолжалась дружба двух выдающихся сынов Российской земли и в конце концов драматически оборвалась, став очередной жертвой советского режима.

После многолетнего отсутствия Горький вернулся на родину, променяв свою свободу на звание «патриарха советской литературы». Шаляпин так и не рискнул последовать примеру друга и, несмотря на щедрые посулы, высказался по этому поводу вполне определенно: «*Я продолжаю думать и чувствовать, что свобода человека в его жизни и труде — величайшее благо. Что не надо людям навязывать насилу счастье. Не знаешь, кому какое счастье нужно. Я продолжаю любить свободу, которую мы когда-то крепко любили вместе с Алексеем Максимовичем Горьким...*»

1984, № 41

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА МИЛЛЕР, УРОЖД. НЕКЛЮДОВА

Воспоминания

Правдивое описание случаев и событий, которые мне удалось вспомнить, когда мне уже было 76 лет. Писала, почти ничего не прибавляя от себя. Могут быть неточности в датах. Точно трудно установить по ослабевшей памяти, т. к. я никогда записей и дневников не имела и никогда не вела.

3 сентября 1975 г.

Моя родословная

Я родилась 1 января 1899 года. Мой отец окончил Политехникум в Риге и имел звание инженера-технолога. Женился в январе 1892 года на дочери отставного казачьего генерала Ивана Алексеевича Сердюкова, небольшого помещика. Земля его находилась на месте станции Амвросиевка, село Галушка, Таганрогского округа.

Мой отец, соблазнившись жизнью в деревне, поддался уговорам Александра Владимировича Михалкова и согласился поступить управляющим его только что купленного участка земли, — если не изменила память, 16 тысяч десятин земли в голой степи, 65 верст от Таганрога. Имение разделялось на три хутора: главный, где мы жили, назывался «Благодатное», затем — «Копани», где находился кирпичный завод, и третий около станции Кутейниково — «Ольгинское», в честь второй дочери Михалкова.

Моя прабабушка была богатой помещицей в Полтавской губернии. В 46 лет, овдовев, она вышла вторично замуж за своего управляющего графа Мирабо, потомка французских эмигрантов. Ее взрослые дети возмутились и восстали против этого брака, за это они были лишены наследства. Одна только дочка Софья, 17-ти лет, осталась верна матери. Когда мать и ее муж Мирабо смертельно заболели, Софья ухаживала за обоими до самой их кончины. Унаследовала она от матери большое состояние и все ее имение.

Софья Александровна Бедряга была моей бабушкой. Дедушка Петр Васильевич Неклюдов был гусаром, но рано вышел в отставку и жил помещиком, имея в Харькове дом и усадьбу в 40 гектаров. Когда он и Софья

Бедряга поженились, им было по 20 лет. Петр Васильевич посчитал завещание несправедливым по отношению к двум сестрам Софьи и выдал им векселя на крупную сумму. Те положили векселя в стол, не предъявляя их к уплате.

Однажды к ним пришел их брат-офицер после крупного карточного проигрыша и умолял их спасти его. Сестры Софьи вспомнили о векселях и отдали их брату. Тот, не долго думая, отправился к харьковскому банкиру Дмитрию Рубинштейну и, чтобы покрыть свой карточный долг, продал векселя за половину их стоимости. Рубинштейн предъявил векселя к уплате.

Все пошло с молотка. Дом в Харькове и участок предложил купить за минимальную цену доктор Дудукалов, обещая сохранить их для дедушки, который в будущем их откупит. Но как только купчую подписали, Дудукалов потребовал: «Дом теперь мой, уходите вон». Мой отец был тогда в последнем классе реального училища и дружил с сыном квартального. Так они вдвоем набили доктору физиономию, и на этом все кончилось. Дед и бабушка оказались совершенно разоренными.

Пришла на помощь кузина бабушки княгиня Кудашева. Она обязалась содержать трех сыновей Неклюдовых и платить за их образование. Сама бабушка с младшей дочерью Катей решила ехать в Кострому, где дедушке его старый друг штаб-ротмистр Кавалергардского полка Александр Владимирович Михалков предложил управлять его тамошним имением и винным заводом. Так завязались судьбы Неклюдовых и Михалковых. [...]

Княгиня Кудашева сдержала свое обязательство: три брата Неклюдовых сумели получить образование. Мой отец Александр Петрович окончил рижский Политехникум по специальности инженера-технолога. Его брат Василий окончил Институт путей сообщения. А третий брат Иван — Московский университет, юридический факультет.

Михалков имел в Москве дома на Волхонке стоимостью больше миллиона. Он предложил юристу Ивану Неклюдову вести все его дела в Москве. Моему отцу Александру Неклюдову он предложил управлять купленной им землей — 15 тысяч десятин около Таганрога, создать имение «Благодатное» и выстроить там кирпичный завод. Железная дорога и станция Кутейниково находились на его земле.

Экономия «Благодатная» стояла в пяти верстах от железнодорожной станции Амвросиевка. Таким образом, дедушка Петр Васильевич управлял имением «Кологривово» в Костромской губернии, мой отец — «Благодатным», а Иван Петрович — домами в Москве. Василий Петрович один стал работать по профессии — инженером путей сообщения.

Михалковы

Старый Михалков, Александр Владимирович, после сорока лет сошел с ума, и его имущество было взято под опеку. Опекуном был назначен

генерал-губернатор Москвы Владимир Федорович Джунковский, красивый и обаятельный человек. Он приезжал примерно раз в год в имение, и это для всех был праздник. Этот Джунковский, потом оказалось, помиловал многих революционеров и многих выпустил. Поэтому, когда в Москве его в 24-м году судил трибунал, эти люди выступили в его защиту, и его оправдали. Он поступил работать в библиотеку и был выбран церковным старостой; так продолжалось до 1936 года, когда его при Ежове опять арестовали, и он бесследно исчез.

Вернемся к старому Михалкову. Так как он был очень богат, то его не посадили в сумасшедший дом, а при нем находился доктор и два санитара. Мне тогда, верно, было лет восемь. Александра Владимировича я совсем не помню, он, верно, вскоре умер, и все наследовал его сын Владимир Александрович. Он был очень некрасивый, с дегенеративным лицом, рыжеватый блондин (я в детстве почему-то таким представляла себе Григория Отрепьева — Лжедмитрия). Хотя он был многократным миллионером, ему все еще хотелось больше разбогатеть.

Когда он приезжал, он мучил моего отца всякими проектами: заставил выстроить второй кирпичный завод, который конкурировал с уже имеющимся, требовал выстроить еще для выработки фаянса и стекла и до глубокой ночи развивал свои проекты. Я никогда не забуду, как он страшно побил, вернувшись с охоты, свою собаку за то, что она схватила убитого перепела на балконе. Я очень не любила этого человека.

Его сестра Мария Александровна была непохожа на брата. Она славилась красотой. Замужем она была за неким Кристи, имела от него сына. В 1912 году Мария Александровна развелась с ним и вышла замуж за Глебова. В том же году Владимир Александрович Михалков женился на его сестре, по-моему, Ольге Михайловне. В 1914 году он с женой и малым сыном Сергеем (теперешний знаменитый советский поэт) приезжали в имение. Водовоз дед Жук покатил колясочку с младенцем и с маленькой горки пустил вниз. Ольга Михайловна Михалкова говорила, что тот испугался и поэтому стал заикаться.

После революции В. А. Михалков с женой и детьми скрылся на Кавказе, кажется, в Ессентуках. Старший его сын Сергей начал печатать патриотические советские стихи в красноармейском журнале. Владимир Александрович Михалков, кажется, умер еще в 20-х годах на Кавказе. Сергей Владимирович Михалков женился на дочери художника Кончаловского, их сын Андрей — кинорежиссер.

Так как мой дядя Иван Петрович Неклюдов вел дела Михалкова, его миллионного московского имущества, возможно, Михалков, став знаменитостью, где надо замолвил словечко о нем и его семье, т. к. никто из них не попал ни в тюрьму, ни в ссылку, и Григорий Неклюдов смог окончить Московское высшее техническое училище и стать профессором. В «Известиях» от 1961 года была о нем статья, что за внедрение техники автоматических часов ему присуждена Ленинская премия.

Воспоминания детства

Первое воспоминание детства: на нашей террасе перед домом моя няня гладит белье и так ловко двигает утюг, быстро подкладывая под него пальцы. Мне, верно, было тогда года три, и я это хорошо запомнила. Еще помню, в двуколку запряжен осел и я с братьями еду, а сзади, подобрав юбки, за нами бежит француженка мадмуазель Рафар (она была для брата Васи) и дворовые мальчишки хохочут. Если француженка приходила в мою детскую и садилась на стул няни, та ей говорила «Алё». Вообще я помню пренебрежительное отношение к иностранцам даже прислуги.

В 1905 году из-за брожения и беспорядков, как тогда говорили, пришел в имение полк пехоты. Пехоту сменила казачья сотня. [...]

В лето этого года приехали к нам гостить дети моего дяди Василия Петровича Петя, Вера и Костя и привезли коклюш. Все заболели, и моя бонна Елена Степановна тоже. Она страдала ужасно, просто было страшно, что задохнется. Всех нас решили отправить в Крым, в Судак, на поправку. Был октябрь, наступили забастовки, и от Таганрога плыли на пароходе, очень качало. Пересадка в Керчи, горничная в гостинице вдруг говорит: «Наши фулиганы хотят ночью жидов бить». Вечером гостиница заполнилась евреями, которые, видимо, боялись оставаться дома. Утром улицы белые от пуха из перин, но убийств, к счастью, не было. В город прибыла казачья часть и восстановила порядок.

Мы на второй день опять поплыли на пароходе в Судак. Там было спокойно. [...] Через месяц приехали за нами родители. Вечером на большой лодке турки повезли нас всех за мыс — в имение князя Голицына, у которого было огромное виноделие. Подъехали к месту, куда выходила большая пещера. Вышел человек и сказал: «Входите, князь будет рад». Пещера огромная, шли, шли коридором, по бокам ниши, и лежат бутылки с вином. В конце коридора просторный зал освещается свечами, большой стол, и во главе его сидит старик с белой бородой. По одну сторону — его зять князь Трубецкой, а по другую — караим из Крыма. Князь попросил всех к столу. Нас, детей, посадили на самом конце.

Князь сказал: «Милости прошу отведать моих вин. Я вас угощу медом, ему больше ста лет, и у меня его уже немного. Когда государыня ожидала ребенка, я взял бутылку вина и поехал в Петербург. Родилась дочь. Я свою бутылку повез назад и так только на пятый раз дождался наследника и подарил бутылку, которую распили на крестинах. Смотрите, это Крым. Людовик говорил: «Государство — это я», а я могу сказать: «Крым — это я». Наливали стакан вина и передавали, каждый отпивал глоток, и до нас доходило, и мы осовели. Плыли назад ночью, от каждого удара весел падали светящиеся капли, как светлячки, рыбаки сказали, что это всегда осенью бывает. Домой опять плыли пароходом, ночевали в Феодосии. Железнодорожная забастовка как будто кончилась, и мы пересели в поезд. [...]

Мне исполнилось 12 лет, и папа подарил мне двустволку 20-го калибра завода «Крупп», стоила 150 рублей. Я знала, как обращаться с оружием, и страшно гордилась ружьем. Мой адъютант был сирота Пантелей. Его мать-кацапка умерла, и осталось трое детей: старшую Сашу взяли соседи Шварцы, второго мальчика — Дроновы, а Пантелея — мы. Пантелей сообщил, что на горе живет в норе лиса. Мы отправились, подстерегли лису, застрелили ее и раскопали нору, оказалось десять лисят.

Теперь, в 76 лет, это убийство лежит камнем на совести, а тогда — победа. Собрали лисят в мешок, принесли домой и вспомнили, что на чердаке лежит деревянный футляр дедушкиного гроба. Устроили в нем лисят, им, верно, месяц времени, серенькие, только кончик хвоста беленький. Попросила на кухне мяса — съели, только каждый есть хочет носом в угол. Углов четыре, а лисят — десять, визг и драка. Выкопали с Пантелеем яму большую, помогал Гриша, тоже сирота. Обтянули сеткой яму и пустили туда лисят.

В это время приехали Шварцы в гости. У Шварцев две дочери: младшая — моих лет, Лида, старшая — Нина. Так вот, приехали эти барышни в белых кружевных платьях, в перчатках, а я в глине перемазана. Я привела себя в порядок, и вот мы сидим в гостиной, чай пьем. Пошел дождь. Вижу в окно — Пантелей мне делает знаки. Выхожу. Говорит, что лисята копают выход из ямы. Побежала посмотреть: уже ни одного не видно, все в проходе. Бросила гостей, влезла в яму через дыру прохода, стала за лапки их вытягивать, а Пантелей сносить опять в ящик.

Кончили, меня ищут, а я вся в глине. Разнос, и ставят в пример Лиду: она барышня, а я неизвестно что. [...]

В казачьей сотне, что продолжала стоять в имении в 1912 году, отбывал воинскую повинность вольноопределяющимся по окончании университета мой будущий муж Михаил Александрович Миллер. Ему тогда было 28 лет, он был женат и имел пятилетнюю дочь Галю и годовалого сына Николая. Он уделял мне много внимания, интересовался моей джигитовкой и подарил мне плеть. Меня это особенно тронуло, т. к. я ни у кого дома не встречала сочувствия моим мальчишеским наклонностям. Мою маму огорчало, что у меня нет женственности, что я не интересуюсь платьями, что я вроде амазонки. Я любила одеваться мальчиком и целый день ездить верхом или ходить с ружьем.

В этом же году приехал Владимир Александрович Михалков провести лето в этом своем имении. Для этого приезда он выстроил себе дом на берегу реки Крынки в трех верстах от нашего дома, на так называемом огороде; у него был еще и большой фруктовый сад. Там варили в большом котле для рабочих галушки, очень вкусные, из темной муки и заправленные постным маслом с луком. Вообще сельских рабочих кормили так: утром на завтрак — кандер. Это суп из пшенной крупы с картофелем. На обед — борщ с пшенной кашей, затем полудновали — ели хлеб с помидорами или огурцами, с арбузами или дынями. На ужин — галушки. Черно-

го хлеба, конечно, сколько угодно. При кухне держали свинью, которая поедала остатки.

После работы чуть не до рассвета слышалось пение молодежи — удивительно, когда они спали? На работу приезжали украинские дивчата и хлопцы из слободы Сватово Харьковской губернии и нанимались в срок от июля до 1 октября. Получали не то 40, не то 60 рублей за эти три месяца при бесплатном питании.

Около имения Михалкова были земли сектантов, мужиков-молокан Мазаевых, они были русские. Григорий Мазаев еще одевался по-крестьянски. У него было около тысячи десятин. Его земля граничила на огороде с Михалковыми. Иногда он приглашал на пикник, но его семья никогда не появлялась, он принимал один. Угощали утками, гусями, замечательным хворостом, какого я никогда больше не ела. Абрам Мазаев был богаче. Его земля граничила на Копанях, он носил сюртук и котелок. Иногда он один приезжал к нам в гости. Еще дальше была земля Дея Мазаева. Эти молокане скупили земли разорившихся помещиков: Луковкиных, Мартыновых, Кутейниковых, Иловайских и др. В революцию они все погибли, а их хозяйства были растащены.

Летом 13-го года съехались мы все, дети Неклюдовых: от 20-ти лет до годовалого Алеши. Кате и Сереже по 20 лет, нашему Васе 18, Грише и Пете по 15, Варе 14, Косте 13, Павлу 8 и Алеше год. Гриша сейчас же влюбился в хорошенькую Варю, она была, как кошечка, все обращали внимание на нее — женственная шатенка с бархатными глазками. В 1918 году она вышла замуж за Николая Платоновича Х., эмигрировала в Париж и там умерла от заражения крови, не доносив ребенка, в 1922 году. В 1920 году, оставленные при отступлении, больные тифом добровольцы Петя и Костя погибли; так потом никто не узнал, как это было. Мой брат Сергей погиб в феврале на Донском фронте. Брат Вася пережил все и умер от рака легких в Нью-Йорке в мае 1968 года. Мы с Алешей еще живы.

Война

В 1914 году 29 апреля внезапно скончался мой отец.

На похороны отца приехал Владимир Александрович Михалков. Идя за гробом, он ужасно плакал и говорил, что его имение пропало, так что даже моя мама его утешала. Обеспечил он нас по-царски: полное жалованье отца до окончания моими братьями их университетов, а после — пенсию маме, которую она и получала до революции.

Мы переехали в Киев. Здесь жила семья дяди Василия Петровича, начальника пути Юго-западных дорог. Дядя нанял нам квартиру из пяти комнат на Львовской улице дом № 38. Меня перевели в киевский институт приходящей.

Каждый день мой брат Сережа отвозил меня в институт трамваем и в шесть часов вечера привозил домой. Когда грянула война, Сережа поступил

в Земгор. По слабому здоровью он не был взят в армию. Второй мой брат Василий перевелся на ускоренные офицерские курсы в Пажеский корпус.

Летом 1915 года политехникум закрыли, и мои двоюродные братья Петя и Костя работали там по набивке снарядов. Однажды в одном из корпусов, где работала молодежь, раздался взрыв. Вероятно, кто-то неосторожно закурил папиросу. Огнем отрезало путь к двери. Петя с Костей были снаружи. Они с ужасом увидели, как из окон четвертого этажа в панике выбрасываются гимназисты. Где-то они раздобыли веревку и с ней вскарабкались по трубе наверх. Хорошо укрепив ее, они начали спускать людей с четвертого этажа. Затем они принялись спасать и тех, кто был на нижних этажах. Здание сгорело полностью. Герои Костя и Петя держались скромно, объясняя свой поступок простой сообразительностью.

Маму, меня и маленького Алешу пригласила семья двоюродного брата моего отца Петра Алексеевича Неклюдова провести у них это лето в их имении «Цецорино» Волчанского уезда Харьковской губернии. [...] У дяди работали пленные немцы, и я смотрела на них и не могла поверить, что эти вежливые милые люди — те страшные немцы, с которыми у нас война. [...]

Задонские

Ездили в соседние имения родственников Задонских. Сестра моего дедушки Петра Васильевича Неклюдова Екатерина Васильевна вышла замуж за Андрея Воиновича Задонского, очень богатого помещика.

Дом и церковь на горке были построены архитектором Растрелли. Виды дома с колоннадой и церкви тоже были замечательны. [...]

После революции образовались банды, и одна из таких банд подъехала на тачанках к их поместью. Бандиты ввалились в дом и сказали, что всех перебьют. Бабушка спокойно ответила: «Подождите, я должна к смерти одеться». Они уселись и сказали: «Хорошо». Бабушка надела лучшее платье, наколку на голову, пришла и сказала: «Я готова, прошу убить нас в церкви». Согласились. Бабушка, ее сестра Юлия Гагарина, Вадбольские — муж, жена и два их сына 14-ти и 15-ти лет (младший Шура спрятался под кровать, и его не нашли), соседняя помещица графиня Генрикова 80 лет и ее компаньонка англичанка мисс Сесил, гостившие у них, были зарублены в домовой церкви. Имение находилось около села Великий Бурлук. После расправы банда поехала в другое имение — «Среднее», принадлежавшее внучке бабушки Задонской Кате. Катя была замужем за много старше ее двоюродным дядей Николаем Михайловичем Неклюдовым. Ей было 25 лет, она была очень красива, прекрасно пела и играла на рояле. У нее было пять или шесть детей. Прислуга из Бурлука позвонила им о случившемся и сказала, что банда поехала к ним. Катерина Васильевна не растерялась: велела прислуге скорее накрыть стол на террасе, уставила его закусками и напитками. Подкатили пианино, и, когда банда подъехала на тачанках, Катя их встретила, поклонилась в пояс и попросила к столу. Бандиты были голодные — уселись и ста-

ли пить и есть, а она стала играть им на пианино и петь. После ужина у них уже пропала охота кого-либо убивать, и они уехали. Таким образом Катя спасла свою семью. [...]

К первому сентября 1916 года, к началу занятий, мы вернулись в Киев. Война была в разгаре, и наши отступали. В декабре убили Распутина. Тетя Маня работала на кухне лазарета для тяжело раненных. Она потом рассказывала, что одна из сестер милосердия вбежала в палату с радостным криком: «Ура, Распутина убили!» — на что один из солдат ответил: «Один мужик дошел до царя, и того господа убили».

Фронт приближался, и дядя Вася решил нас и своих детей отправить подальше в тыл. [...]

Аля Семашко и ее друзья

1915/16 учебный год я провела в Новочеркасске, куда перевелась в свой прежний класс приходящей.

Устроилась на квартиру к маминой подруге Семашко. Она вышла замуж за офицера, воспитателя кадетского корпуса Петра Семашко, имела четырех детей: очень красивую дочь Алю, впоследствии студентку-медичку Петербургского университета, очень некрасивую Киру, затем сыновей — кадета Аркадия и гимназиста Диму. Аля была коммунисткой. У нее собирались: студент Сырцов (впоследствии большая персона, был, кажется, в 1924 году председателем Совета народных комиссаров), затем Костя Кирста, сын воспитателя кадетского корпуса, и другие. Кирсту казаки поймали впоследствии с Подтелковым и повесили. Аля Семашко при советской власти была послом в Вене. В 1936 году Сталин расстрелял Сырцова, а Аля попала в лагерь. Аркадий, четырнадцати лет, очень высокий мальчик, выдал себя за восемнадцатилетнего и пошел добровольцем в белый казачий отряд, и был убит при взятии Новочеркасска. Когда Аля, вступив с красными в город, пришла домой, то попала на похороны брата.

...Так вот, когда эти молодые коммунисты собирались в 16-м году, они строили будущее, такое светлое, такое замечательное. Я их пропаганде не поддавалась, а Алин двоюродный брат гимназист Коля Кунаков говорил: «А я казак, мое дело будет вас разогнать», — и они на него накидывались. Кто мог тогда думать, что через полтора года в руках Сырцова будет жизнь и смерть тысяч людей и что он, этот строитель светлого будущего, будет подписывать на расстрел своих бывших товарищей: студентов, гимназистов и казаков из станиц, воевавших против красных. В 1936 году и он получил пулю от Сталина...

Институт я окончила в мае 1916 года и уехала в Таганрог. В феврале 1917 года меня пригласили на свадьбу Сандры Неклюдовой в Петроград. Она вышла замуж за мичмана Балтийского флота Дмитрия Ивановича Задонского, своего родственника. Сейчас же после свадьбы произошла Февральская революция.

Февральская революция

Всюду красные банты. Еду домой через Москву, там делаю остановку, чтобы повидать своих. Останавливаюсь у дяди Вани. Его жена и ее брат, Григорий Иванович Опарин, очень лево настроены, как и Михалковы, к которым я зашла.

Пошли с Гришей на Красную площадь, там уйма народу. Крестьянин около нас говорит: «Слышно, царем будет Михаил Александрович, и слава Богу, а то какая-нибудь рвань начнет нами управлять».

Вечером отправились в Художественный театр на «Синюю птицу». Играли «Марсельезу», многие были с красными бантами. Была в Третьяковской галерее, поразила картина Репина «Иван Грозный». Между прочим, все почему-то считали Ивана Грозного изможденным старцем, а когда большевики открыли все царские могилы, то оказался Иван Грозный великаном, что-то около двух метров роста, и такой тучный, что не вместился в каменный гроб. Гроб должны были обтесать внутри. Андрей Боголюбский тоже оказался великаном и силачом. На костях скелета были видны многочисленные следы от ударов мечей, а кости — как у молодого, хотя ему было тогда за 60 лет.

В поезде домой все пассажиры были возбуждены и говорили о политике. Ехали матросы Балтийского флота, заверяли: «Мы поддержим Временное правительство». В общем, все думали, что наступит райская жизнь. Так что я даже, будучи против революции, начала сомневаться. Братья мои были на фронте в артиллерийском дивизионе, которым командовал мамин двоюродный брат Борис Аркадьевич Боголюбов.

Первым по окончании войны вернулся мой старший брат Сергей в чине прапорщика, затем Василий, которого солдатский комитет разжаловал из подпоручиков в канониры, с соответствующим билетом. Приехали два юнкера Миши Неклюдовы, один Петрович, другой Михайлович, ту семью мы совсем не знали.

Мы поехали дальше в Новочеркасск. На улицах Таганрога всюду кучки людей, рабочих больше у вокзала. Кавалерийский Заамурский полк стоит в городе: командир — грузин князь Микеладзе. Еще из воинских частей Киевское пехотное училище: командир — полковник Мастыка, видимо, белорус; училище эвакуировали в 1915 году, и оно там так и осталось.

Гражданская война

В декабре 1917 года в Ростове под командой студента Сырцова рабочие начали восстание. Не могла вспомнить, как имя Сырцова, хотя и знала его лично по Новочеркасску, посмотрела в Советской энциклопедии — там его среди расстрелянных в 1937 году нет. На усмирение были брошены казачьи части из Новочеркасска и юнкера. Миша, сын Петра Алексеевича, был ранен в ногу навылет, ранение пустяшное, но началась газовая гангрена.

Миша тихо скончался на руках своих кузин сестер Яновых. Мы поехали на похороны. Он был очень хорош собою, похож на прадеда Мартынова. Лежал в гробу — как спал. Еще в соборе стояли пять гробов казаков, убитых под Нахичеванью. Большевиков тогда разбили, и Ростов заняли добровольческие части.

Мы вернулись в Таганрог. Было неспокойно, по ночам стрельба. В Таганроге начали вербовать добровольцев. Офицеры Заамурского полка не пошли в белую армию. Завербовались гимназисты. Солдаты Заамурского полка бросили полк и разошлись по домам. Остались их лошади. За ними стали ухаживать гимназисты. Когда сформированная белыми часть поехала в Ростов, эти мальчики верхом на полковых лошадях уехали тоже, среди них и мой двоюродный брат Мока Лаврентьев. Он пошел кормить лошадей и не вернулся, так же, как и другие мальчики.

Вероломство красных

На улицах толпы рабочих все росли, и в конце января началось новое восстание. Командир Киевской школы прапорщиков полковник Мастыка попросил ревсовет выпустить школу из Ростова без боя и гарантировал, что и школа уйдет из города без выстрела. Это согласие было подписано Мастыкой и главой красных Старниным. Утром школа в боепорядке выступила из гостиницы «Европейской», где она размещалась. Пошли не прямо из города, а повернули налево по Гоголевскому переулку, а затем направо по улице Кузнечной — тупику, который идет от Гоголевского. Когда вся школа повернула на эту улицу, с крыши углового дома красные начали стрелять из пулеметов вдоль улицы по колоннам юнкеров. Полковник Мастыка был убит одним из первых. Очень много юнкеров пали мертвыми или ранеными, остальные стали разбегаться кто куда. Их хватали и тут же убивали. Добили всех раненых. Тем не менее, человекам пятнадцати удалось спрятаться. Надо полагать, что это были большей частью отличившиеся на войне солдаты, которых хотели сделать офицерами, были и молодые люди, из которых хотели сделать прапорщиков. Мои братья остались дома и не ушли с белыми, т. к. отступление было внезапным.

На другой день после избиения юнкеров к нам пришел иеромонах греческого монастыря и сказал, что у него прячется семья убитого полковника Мастыки: вдова, ожидающая ребенка, дочка лет восьми, пятилетний сын и их няня. У себя он их держать не может, так как не гарантирован сам. Мы согласились, чтобы они пришли к нам. Ночью стук в дверь. Открываем. Стоит юнкер, просит: «Монах сказал, что семья полковника у вас, спасите и меня». Мы его впустили. Звали его Петя Репик. Вдруг он упал, у него изо рта пошла пена, и он потерял сознание. Я побежала за доктором Исааком Яковлевичем Шамковичем, который жил через несколько домов и хорошо нас знал. Он пришел, осмотрел Петю и сказал, что это падучая.

Шамкович нас не выдал. Мы боялись оставить Петю в квартире и устроили его на чердаке. Ночью он спускался в квартиру, а на день забирался на чердак.

Обыски

Тут начались обыски. На нас донесли, что у нас офицеры. С первым обыском пришел сам Старнин, искали оружие, а я спрятала его на чердаке соседнего дома: маузер, большой и малый браунинг, парабеллум. Наш отец любил оружие, и были еще две малых винтовки «винчестер». Я хорошо запрятала их под обшивку. В этом доме был амбар, и там никто не жил. На семью Мастыки они не обратили никакого внимания. Братья показали свои удостоверения — один бомбардир, другой прапорщик. Не найдя оружия, они дали ордер, на котором было написано, что обыск произведен, все в порядке и больше обысков не производить.

Не прошло и недели, как опять обыск, и опять сошло благополучно.

В это время из учеников коммерческого училища организовалась группа по спасению оставшихся в живых юнкеров. Военкомом города был матрос Канунников, добродушный веселый парень. К нему секретаршей поступила очень интересная эстонка. Она украла у него печать и бланки. Сделали удостоверения: «Солдат такого-то полка едет домой, или в отпуск, или в командировку». Такой документ дали Пете Репику и устроили его на квартире священника. Находили юнкеров под опрокинутыми лодками, на чердаках — всего спаслось из всей школы не больше десятка. Мадам Мастыка стала беспокоиться: она торопилась уехать в Новочеркасск, где у нее была знакомая. Кроме того, будучи студенткой, она дружила, как она говорила, с «Колькой Крыленко». Надеялась связаться с ним и думала, что ради старой дружбы он ей поможет. Денщик умершего дяди Бори Боголюбова Никитин, который жил у них в доме, согласился вместе со мной их сопровождать. Для них тоже сделали документы на чужое имя, и Канунников не читая подписал. Он все подписывал не читая — верно, был малограмотен.

Мы благополучно доехали до Ростова, там усадили их в поезд на Новочеркасск. Мадам Мастыка поблагодарила нас и сказала, что теперь доедет сама, а мы можем возвращаться домой. Мы попрощались и пошли искать поезд. Вдруг объявляют: поездов на Таганрог не будет, т. к. наступают немцы. [...]

Вернулись мы домой в два ночи. Я постучала, мама с опаской открыла и страшно мне обрадовалась: никто не ложился спать. Никаких немцев и близко не было. В городе развешен приказ: после шести вечера никого не пускать в дом, т. к. под видом обыска приходят грабители. В город вступила латышская дивизия Сиверса. В шесть вечера звонок. Перед домом стоит грузовик, полный солдат. Мама говорит: «Есть приказ никого не пускать». Стоящие у двери отвечают: «Нам донесли, что здесь скрываются белые офицеры». Тогда они еще не взламывали дверей.

Мама посылает меня через черный ход, который выходил на другую улицу и на которой был государственный банк и стояла стража из местных рабочих, называемых тогда красногвардейцами. Я решила обратиться к ним за помощью. Только я выскочила из ворот и побежала к банку, как солдаты меня увидели и закричали: «Стой, стрелять будем!» Я остановилась, несколько латышей подбежали, стали тыкать мне в нос ружьями. Я не испугалась и говорю: «Ишь, какие храбрые — на одну девочку сколько набежало. А как было на фронте? Вишь, все уцелели, верно под кустами отсиделись». И вижу среди них русского Ваньку, говорю ему: «Помогай, помогай русских уничтожать». Он сказал своим: «Ну чего вы, это ведь женщина, а не офицер».

В это время подошел еще один военный, которого называли «товарищ капитан». Он сказал им: «Сейчас разберемся», — а мне: «Видите ли, к нам в штаб пришло заявление, что в вашей квартире прячутся белогвардейцы, и мы приехали их арестовать, пустите нас в квартиру». Я говорю: «А приказ никого не впускать без ордера? Где ваш ордер? Его у вас нет». Тогда он говорит: «Давайте позвоним в ревсовет по телефону». Пошли в аптеку, тут же на углу, Трахтенберга. Аптекарь испугался и делал мне знаки, зачем я так резко с ними говорю. Не дозвонились — там все пьяные. Тогда капитан говорит: «Пустите меня и двух товарищей в вашу квартиру осмотреть и проверить и, если пахнет калединским духом, то арестовать». Я согласилась. Идет он, русский Ванька, и солдат-латыш. Идем с черного хода. Стучим — подходит мама. Говорю: «Открой». Пети Репика тогда у нас уже не было. Капитан попросил документы, а латыш и Ванька стали делать обыск. Капитан говорит: «Идем, товарищи, здесь одна семья, никто не прячется. Если бы здесь пахло Калединым, я бы не стал возиться, тут же бы их расстрелял». Вижу, он за нас стоит, но мало имеет власти. Ванька с ним согласился, а латыш уперся. «Бомбардир этот (брат Вася), — говорит, — может остаться, а прапор — это офицер, его заберем». Едва-едва капитан уговорил его уйти, мы уже думали, что Сергей пропал: если б его забрали, то, ясно, латыши бы расстреляли не думая. Наконец ушли. Только этому капитану мы были обязаны жизнью. Латыши хватали бывших офицеров и расстреливали всех без разбора. Аптекарь Трахтенберг на другой день мне говорил, что, пожалуй, верно было не показывать перед ними страха: «Кто не боится, тот не виноват. Я же думал, что вся ваша семья уже погибла».

В 1920 году был десант белого полковника Назарова около села Голодаевки. В сельскую больницу привезли раненого казачьего офицера Сальникова. В той же битве был ранен красноармеец Федоров, который попал в ту же больницу. Он скончался, и тогда врач больницы, поляк Бризицкий, поменял их документы — таким образом казачий офицер стал красноармейцем. Он выздоровел, остался в селе, женился на учительнице тамошней школы и стал там преподавать. Его жена и дети узнали от том, кто он на самом деле, только когда пришли немцы.

Смена власти

Офицеры не ушли с белыми, это им в заслугу не засчитали. Их убивали, как цыплят. Опять обыск, уже днем с ордером — забрали игрушечную саблю маленького Алеши. Поползли слухи, что немцы приближаются, и вдруг красные в панике убегают и сушей, и морем, и тянут за собою что попало. Мы с Васей лезем на крышу и видим: на дороге за городом еще колонны войск. Всюду кричат: «Немцы! Немцы!» — вот они, вчерашние враги, вступают в город как освободители. Я лезу на соседний чердак и извлекаю все запрятанное оружие. В нашем дворе разместились кавалеристы, вюртембергские уланы. Фельдфебель назывался Эрнштайн. Они старались поделиться продуктами и начали ухаживать за нашей прислугой Анютой. Их офицер, какой-то граф, стоял в доме рядом.

Внезапно в одно утро начинается стрельба. Красные обстреливают город с другого берега залива. Снаряды, не очень частые, рвутся в городе, и уже несколько человек убитых. Красные идут на немцев, будет наступление. Немцы строят свои войска и покидают город, слышна стрельба. К вечеру немецкие войска опять вступают в город. Оказывается, красные высадили морской десант в селении Поляковка. Красные высадились на берег со многих барж, пароходов и катеров и решили оттуда повести наступление на Таганрог. Немцы артиллерией потопили баржи, а десант расстреляли из пулеметов, не беря пленных. Так почти все красное войско там и полегло. Очень мало кому удалось спастись.

В 1923 году оперировали одного раненного в голову красногвардейца, и тогда выяснилась его история. Он лежал в куче трупов, и когда крестьяне начали складывать в братские могилы убитых, то увидели, что еще жив, и взяли его домой, где он и поправился частично. Он рассказал, что красные мобилизовали всех мужчин и вооружили чем попало, посадили на баржи и перевезли на другой берег, где немцы их расстреляли. Все же и у немцев оказались потери — десятка два солдат. Немцы их похоронили на городском кладбище, и кто-то держал эти могилы в полном порядке до Второй мировой войны. Во все время пребывания немцев жизнь была спокойная.

Затем власть перешла к донскому правительству. В конце мая вернулись, кто уцелел, ученики, которые ушли с белыми. Однажды они собрались, человек пять-шесть, и, взяв оружие, отправились в поселок Вареновка убивать вернувшихся после войны матросов, и только за то, что те были матросами, застрелили двух или трех парней. Матросы эти как раз и не делали революцию, а вернулись домой, к мирной жизни. Хотела бы я знать, раскаялись ли когда-нибудь эти люди в своих бессмысленных убийствах.

Красные убивали за то, что ты был во время войны офицером, белые — за то, что ты был матросом. Мне кажется, все содеянное зло имеет возмездие здесь, на земле. Сто лет назад многие помещики издевались над крепостными — за это ответили внуки. В Америке белые угнетали негров — теперь отвечают за это их потомки. Евреи-комиссары во время революции уничто-

жали целые классы русских — теперь это пало на их невинных потомков, которые отвечают за эти притеснения и уничтожения, хотя не имеют со своими отцами ничего общего, даже наоборот — осуждают их. Не поймешь, но, видно, так устроен мир.

Судьба моих братьев

Мои братья пошли в белую армию: Василий — добровольно, в отряд Дроздовского, а старшего брата Сергея мобилизовали в Донскую армию, и он осенью 1918 года уехал в свою часть, которая стояла в хуторе Ляпичеве. В феврале 1919 года красные пошли в наступление. Все бросились бежать, но Сергей не поддался панике, стал запрягать лошадь в телегу с денежным ящиком, был отрезан красной конницей и единственный из своей части попал в плен. Случилось это 5 февраля 1919 года по старому стилю. Этот хутор лежал выше Калача.

В 1934 году, будучи в этих местах с мужем в археологической экспедиции, я пыталась узнать у стариков, что тогда случилось, но они боялись об этом говорить. Хочется думать, что его зарубили сразу. Его денщик, который спасся и привез нам его вещи, говорил, что видел его бегущим к Дону: будто бы Сергей нагнулся и поднял брошенную винтовку, а конница сомкнулась и отрезала его. Вся же часть достигла камышей и спаслась.

Мои двоюродные братья Петя и Костя приехали из Киева с четырьмя другими гимназистами и поступили в подрывной отряд. Они должны были взрывать железнодорожные пути. Этот отряд состоял из Саши Своеохотова, Юры Киречинского и еще двух мальчиков, не считая наших. Я пошла работать в лазарет, который устроили в женской гимназии.

Однажды Петя и Костя привезли Юру со страшным ранением лица. Оказывается, на отдыхе в хате после ужина у них зашел разговор — что делать, если грозит плен. Юра сказал: «А ну посмотрим, можно ли застрелиться из винтовки». Он взял свою винтовку, засунул дуло в рот и потянулся к собачке, верно, нечаянно надавил и — последовал выстрел. Юре вырвало правый глаз и разворотило всю скулу. Ранение ужасное. Через несколько дней Юра скончался.

Мрачные поехали Петя и Костя в свою часть.

Началась эпидемия тифа. Белые армии отступили на юг. В декабре 1919 года привезли Костю в сыпном тифу. Его поместили в больницу. Фронт приближался. Надо эвакуироваться. Наши родственницы Боголюбовы укладываются, мы тоже. 16 декабря я провожаю маму с Алешей на вокзал. Не помню, почему я не поехала с ними, а еще осталась в городе — это было очень неблагоразумно. 20-го я выезжаю с тетей Маней. Поехала еще ее сестра в салон-вагоне. Ее муж был путейцем высокого ранга. На вокзале встретили выздоравливающего Петю. Их лазарет грузили в поезд. Костя был еще очень слабый. Тетя Маня хотела взять их в свой вагон, но ее сестра не позволила — боялась заразиться. Тетя Маня взяла их из лазарета и погрузила в

какой-то поезд. Это была роковая ошибка. Лазарет добрался до Армавира, а Петя и Костя пропали навеки.

В наш вагон влез больной тифом офицер и все равно всех заразил, т. к. он был во вшах, которые расползлись по вагону. [...]

Доехали до Екатеринодара. На вокзале лежат вповалку тела: живые и мертвые и тифозные. Вдруг, о радость, встречаю Варю. От нее узнаю, что наши тут.

Какое счастье, когда, вскочив в вагон, вижу маму, которая что-то варит на примусе. Встречаю и тетю, которая говорит, что к ним в Екатеринодаре присоединился дядя Вася, но заболел тифом, и она его там похоронила. О Пете и Косте — ни слуху, ни духу.

Тиф

У меня начался озноб — первый признак тифа. Моя мама решила остаться. Она думала — может, Сережу не убили и он найдется. Тетя Маня тоже почему-то решила остаться, хотя ее дочь Варя с мужем могли их с Павлом взять. Как вдове начальника пути, тете Мане дали вагон, который прицепили с поезду на Армавир. Там мы выгрузились, нашли за большие деньги комнату без отопления. Я уже разболелась совсем, и меня отвезли в тифозную больницу. Там, кроме камфары, других лекарств не было. Лежали вповалку мужчины и женщины и на кроватях и на полу. Мне досталось место на кровати.

Услышав стрельбу, я решила, что вступают красные, и решила убежать к нашим. За мной кто-то погнался, меня догнали и привязали к кровати. Я думаю: «Живой красным не дамся». Высвободила руки, оторвала край простыни, скрутила, привязала за спинку кровати и за горло петлей. Думаю: потяну со всей силы, будет ужасное удушье, но надо дальше тянуть, и потянула, и что же — никакого удушья. А я выскальзываю из тела и лечу вверх: вижу свое тело, которое мне противно, как старое выброшенное пальто. Лечу в состоянии невыразимого блаженства и чувства свободы. Вдруг — стоп, лечу назад вниз. Вижу свое противное тело, сейчас в него войду. Мысль: не ошибиться и не попасть в чужое, тогда сочтут за сумасшедшую. Это мое тело, это мой эмалевый крестик. Вошла, хочу задержать дыхание, какой ужас: открываю глаза — надо мной склонились двое в халатах, говорят: «Фу, слава Богу, откачали!»

Я впадаю в бешенство и бью направо и налево, они падают, хочу бежать, да ноги привязаны. На меня наваливаются и прикручивают к кровати. Вдруг вижу: какой-то человек подходит ко мне. Я прошу: «Передайте моей матери, что меня здесь держат насильно, где я?» Ответ — в больнице. Тут я вспомнила, что заболела тифом, и прошу развязать. Сестра говорит: «Вы меня так страшно ударили — что же это, за нашу трудную работу?» Прошу: «Отпустите домой». Появился доктор, говорит: «Идите, ваша мать как раз здесь».

Меня одели, я шатаясь вышла. Мама, взволнованная, говорит: «Что ты наделала? Я принесла тебе передачу, вареную курицу, вдруг вбегает сестра и говорит: “Николаева повесилась”[1], — а потом, что тебя привели в себя и что ты ударила сестру и доктора. Доктор согласился тебя отпустить домой».

Взяли извозчика и поехали. Алеша мне страшно обрадовался, но на другой день я его огорчила. Он где-то набрал целый мешок патронов, а я их выбросила в уборную. Я боялась, что вступят красные и за патроны могут нас перестрелять.

Кисловодск

В Армавире мама встретила знакомых по Таганрогу — семью присяжного поверенного Ивана Ивановича Корсуня, которые ехали в Кисловодск, где у них было два маленьких дачных домика. Они предложили жить там у них. Мы согласились, и опять моей тете Мане дали вагон, который прицепили к поезду на юг. Еще раньше мы сделали себе паспорта на фамилию Николаевы. Тетя Маня стала Накатова. Мы поселились у Корсуней, а тетя Маня сняла помещение рядом — в доме Велецких, которые уже уехали за границу, оставив прислугу. Корсуни предложили готовить вместе, но это скоро нам стало не под силу, т. к. мы жили на продажу золотых вещей. Большевики заняли Кисловодск без боя и установили советскую власть.

В Кисловодске мы познакомились с супругами Плетневыми. Евгений Дмитриевич — родной брат Дмитрия Дмитриевича, профессора, специалиста по сердечным болезням. Евгений Дмитриевич — прокурор. Его жена Мария Дмитриевна — передовая женщина, очень интересная и умная, с университетским образованием, увлечена революцией. Поступает секретарем к председателю исполкома, рабочему, коммунисту. Он устраивает Евгения Дмитриевича следователем по гражданским делам, а тот берет маму делопроизводителем.

Мария Дмитриевна помогает своему главку наладить работу, и на партийном собрании ее начальник сказал: «Смотрите и учитесь у нее, как надо работать». Мария Дмитриевна уверяла, что старый режим сгнил и теперь дорога новым народным силам.

Вскоре, как только наладилось движение, они уехали в Москву к брату-профессору. Его вскоре назначили в кремлевскую больницу, и никто не мог предугадать его падения, всенародного оплевывания и лживых позорных обвинений в сексуальных извращениях и прочей мерзости. Что сталось с Марией Дмитриевной и Евгением Дмитриевичем — не знаю. Думаю, что уничтожили и их заодно с братом.

Пока же Мария Дмитриевна, ее муж и моя мама получали пайки, а я размышляла, что делать дальше. Надо искать работу. Какую? Я думала, что

[1] Мы жили тогда под чужим именем.

советская власть не продержится долго, надо как-то пока прожить. Я пошла в отдел труда. Там оказалось место сторожихи в школе. Я взяла эту работу. Мы все переселились в маленькую, метров восемь, комнату. Нас трое: мама с Алешей на одном топчане, я на другом. В школе начались занятия. Учителей двое. Заведующий и учительница. После занятий я объявила ученикам, что теперь рабов нет и что прибирать школу надо всем вместе. Так что моя работа не была трудной.

Я пошла на уборку огородов и получала ведро картофеля в день. Заработала на всю зиму, картофель сложили под кровать. Я достала маленькую железную печку, трубу вывели в окно. Рядом жил жестянщик, хромой после ранения в японскую войну. Я с ним подружилась, он интересно рассказывал о японской войне. Большевиком не был и не ждал от них хорошего. Он нам и печь установил. Топили сначала перилами от балконов: добывали их, когда было темно. Но матрос переделал нам печь на форсунку, и мы ходили с Алешей собирать мазут под цистернами, которые стояли на вокзале. Мы черпали ложкой в жестянки.

Еще я заработала кило сахара на всесоюзной переписи населения. Был тогда голод, хлеба не было, но давали в столовой пшенную кашу. Надо было долго стоять за нею. Весной я на Пятницком базаре выменяла у карачаевских татар козу. Через неделю она привела козленка, и я стала ее доить; давала пол-литра в день. Утром надо было отвести ее в стадо, которое пас мальчик. Вечером она сама приходила домой.

Плетневы уехали, маме надо было искать другую работу. Она устроилась вести хозяйство в детском доме. Мы нашли комнату около Корсуней на Ребровой балке, и я пошла работать подмастерьем к сапожнику Полянкину. Четыре сына Полянкина были коммунисты, и по этой причине он был очень важным и любил пофилософствовать. Я очень любила работу с кожей, еще в Таганроге я прошла курсы сапожного мастерства.

«Болезнь чекистов»

В Кисловодск наехало множество посланных на поправку коммунистов, «сердечных» и больных нервным расстройством. «Сердечным» климат оказался вредным, и они стали умирать в большом количестве. Что касается «нервных», то я наблюдала такую сцену на Виноградной аллее. Один человек падает в конвульсиях, пена изо рта, и бьется. Сейчас же, как по сигналу, начинают падать и так же кричать то там, то тут другие больные, и так человек с десять. На одном митинге оратор упал в конвульсиях, и среди толпы начали падать люди таким же образом. Среди народа это явление называли «болезнью чекистов».

В Кисловодске богатые люди почти все уехали, остались мелкие лавочники и кустари-рабочие, поэтому террор не чувствовался. Оставшаяся интеллигенция, учителя, приступила к работе: они были нужны, и их пока не трогали. Террор обрушился на казачьи станицы, там расстреливали масса-

ми. Горцев пока не трогали. Даже князья Тамбиевы тогда не были арестованы. Трогательная была семья князей, живущих по другую сторону балки. Муж и жена — глубокие старики. Каждый день они одевались к обеду, накрывали на стол, ставили приборы и бокалы, клали на тарелки кукурузную или пшенную кашу, наливали нарзан — и так каждый день. [...]

Новые господа

Событие: в Кисловодск приезжает Коллонтай с мужем Дыбенко. Пока приехал ее выезд — экипаж, запряженный парой золотистых лошадей, с матросом на козлах. Затем пожаловали сами супруги, которые поселились на даче Белецких. Он облазил всё. Осмотрел все шкафы. Даже под шкафы и за ними заглядывал. Мы надеялись, что вещи уехавших достанутся нам. Одежду, шубы — все себе забрали, ничего не забыли. Вот какие новые господа!

Прошло некоторое время, и Аннушка сильно простудилась. Коллонтай сразу отправила ее в больницу. «Подумайте, — говорит Анюта, — раньше, бывало, заболею — барыня меня спрашивала, как себя чувствуешь, ухаживала за мной, а эта сразу в больницу и взяла другую». Часто после обеда Коллонтай с мужем-матросом, с матросом-кучером на козлах на паре прекрасных золотистых лошадей выезжала в экипаже на прогулку в горы.

Вскоре появилась еще одна госпожа. Выяснилось это быстро. На горе Ребровой балки находилась огромная дача генеральши Юнаковой, чекисты ее реквизировали и всех выселили. Причем не только из этой виллы, но из всех соседних домов, почти всю балку, выселили и сапожника Полянкина. Дачу заняла жена Троцкого Седова. Ради столь высокопоставленной особы всех и выселили.

Землетрясение

Однажды я иду в пятницу на базар. Слышу страшный гул, как будто по деревянному мосту едут машины, — такой странный рокот, а ничего не видно. Люди выскакивают из домов и смотрят на небо. Небо ясное, оказывается, это было землетрясение. На базаре карачаевцы падают ниц и кричат: «Большевики разгневали Бога, теперь все пропадем». Здания дали трещины, да развалились трубы. На другой день веду козу в стадо и — что такое? По всей улице, завернувшись в одеяла, лежат люди и спят. Это они боялись землетрясения. Мы оставались дома. Часто рокотало под землей, и качались посуда и вещи. Так продолжалось с месяц.

Как-то под вечер иду отнести знакомым их топор. Бегут люди, кричат: «Облава! Спасайся кто может!» Я кинулась назад, бегу через мостик речки и проваливаюсь вниз. Удается зацепиться за край доски. Перебрасываю руку на другую сторону и, слыша топот, остаюсь висеть под мостом. Погоня протопала надо мной. Внизу камни, и бушует речка. Топор мой лежит

в воде, но там мелко. Спускаюсь и достаю топор. Все тихо, но с опаской иду домой. Оказывается, был налет казаков, которые спустились с гор и опять ушли.

Голод и товарообмен

С едой было плохо, голод, и мы решили ездить в аулы за кукурузой. Доктор Савицкий, его знакомая учительница, за которой он ухаживал, я и знакомый доктор барон Эльснер составили компанию и поехали в аулы. Надо было поездом ехать до Эльхотово, оттуда пешком или, если попадалась, на подводе до аула Новохристиановского или Алагиря, — думаю, километров около двадцати. Дивная природа: горы, сахарная голова Эльбруса, затем леса и равнина, на которой аул. С гор тянутся десятки потоков чистейшей ледяной воды. Воздух чистый, прозрачный. Мы бредем с мешками за спиной. Это вещи, которые мы будем менять на кукурузу.

Аулы были осетинские. Поразили их нравы и обычаи. Семен все равно назывался Султаном, Александр — Али. Православие было только официальным. Выйдя замуж, женщина год не имела права показываться на улице. В присутствии родителей не могла взять на руки ребенка. Было высшим неприличием спрашивать, как зовут ребенка. Перед двенадцатилетним деверем вставала и не смела говорить, и многое в этом роде.

Питались осетины так. Утром пекли лепешки из кукурузной муки, в обед каша, иногда баранина, но, в общем, опять кукуруза. В бараний суп клали столько перца, что мы не могли есть — обжигало рот, а их маленькие дети ели не морщась. Настроены все были по-большевистски, им еще не запретили тогда носить кинжалы и не отняли оружие. Наоборот, в станице Николаевке, через которую надо было проехать на станцию, терские казаки (между прочим, много беднее осетин) считали, что это горе и наказание Божье: многие из них ушли в горы в отряды «зеленых».

Трудно было ходить по дворам, выменивать вещи на кукурузу, еще труднее благополучно довезти домой. Всюду стояли заградительные отряды из красноармейцев, надо было их миновать. Назад мы нанимали осетин, которые переправляли нас мимо отрядов. Однажды мы не нашли таких проводников и пошли прямо через мост. Просим пропустить, солдаты согласны при условии, что мы сварим им баранину. Мы сварили им густой суп с черемшой. Из-за этого мы запоздали, пришлось остаться у них ночевать в сторожке. Солдат было 10 или 13 человек. Все легли спать на полу, и, надо сказать, ни один из них не позволил себе в отношении меня и молодой учительницы что-либо неприличное. Они даже при нас не ругались. На другое утро они помогли нам перетащить мешки через мост. Мы их кое-как дотянули до станции Даркох.

Теперь проблема сесть в поезд. Поезда ходили только товарные, раз в сутки или реже. Мы стоим с нашими мешками на перроне. Вдруг прибегают два солдата и спрашивают: «Куда вы едете?» Мы называем им наш адрес.

Они хватают наши мешки, бегут к товарному вагону, бросают мешки в вагон и мчатся за остальными.

Нас приветствует молодой курчавый брюнет, обвешанный патронами и с револьвером в кобуре. Очень любезно представляется. Он начальник северокавказской ЧК и уже три месяца находится в обществе хамов, он так и сказал, и, увидев нас, ему захотелось хоть немного поговорить с интеллигентными людьми. Я думала: «Такой ужасный человек и — такой милый, любезный и веселый». Он трунил над своими помощниками, рассказал со смехом, как они залезли в стог сена, прячась от казаков, сообщил, что многим вооруженным отрядам удалось пробиться в Турцию или Персию. Угостил нас хлебом с колбасой.

Они доехали до Георгиевского усмирять восставших там казаков. Воображаю, что они там натворили. Через каких-то 20 лет его портрет появился повсюду. Он сменил Ежова. Это был Берия, и я его сразу узнала, только что он постарел. Тогда же, в 21-м году, я не обратила внимания на его фамилию, но потом долго думала, как может быть палач таким симпатичным и даже обаятельным. [...]

Вот такие были поездки, почти через каждые две или три недели, и мы поэтому в буквальном смысле не голодали. Один мешок съедали сами примерно за месяц, а на другой выменивали продукты. Я забыла сказать, что еще эту кукурузу надо было смолоть. Я несла ее за город и молола на маленьких кустарных водяных мельницах. На жернова кукуруза попадает по зернышку, очень долго длится потом помол, но я молола небольшими порциями. У нас, кроме козы, была еще и кошка и ангорская крольчиха. Ей выменивали ячмень, который держали в форме от пасхи. Крольчиха становилась на задние лапы и ела из формы — на фоне свечи, точно дама в кринолине. Мы ее чесали, и из ее шерсти мама связала рукавицы. Так жили до мая 1922 года, когда решили вернуться в Таганрог.

Возвращение в Таганрог

Почему-то опять вперед поехала мама с Алешей. Мама ехала очень долго, остановилась у сестры моего отца Минаевой. Ее муж как бывший офицер, но пострадавший при царизме, еще не преследовался и работал где-то бухгалтером. Их из своего дома выселили, и они жили в трех маленьких полутемных комнатах, выходивших во двор, где в развалинах разрушенного дома жильцы устроили свалку и помойную яму.

Тетя Катя приняла нас очень хорошо и поделилась всем, чем могла. Рядом в доме нашли комнату и туда перебрались. Я открыла мастерскую починки обуви, меня завалили работой. Брат Алеша пошел в школу. Голод окончился. Взошла и дала урожай пшеница, которую два года назад посеяли и которая тогда не взошла. Весь Таганрог был завален рыбой: сазаны (это карпы), лещи, чебаки и сулы (это судаки). Мы отъелись рыбой. Начался

нэп, всего стало много. Я думала: да, наступило народное благосостояние, ничто не сможет свалить советскую власть.

Я — операционная сестра

В мае 1923 года подъехал на своем экипаже хирург доктор Зак. У него была собственная больница (которой его сделали заведующим) на 70 коек. Мы его знали давно, и он очень дружил с Боголюбовым. Он предложил мне работать у него операционной сестрой. Я сказала, что не имею никакой подготовки, что работала в лазарете, как и другие, просто так. Он ответил, что я скоро научусь, главное — он знает мою семью, и мне можно доверять.

Больница помещалась в двух зданиях на улицу: одноэтажное — гнойный корпус, и двухэтажное: на втором этаже операционные и палаты, а внизу рентген, канцелярия, четыре маленьких палаты на две койки и дежурка с аптечкой.

На другой день я пришла в операционную. Была операция остеомиэлита. Доктор колотил по зубилу молотком, и кругом летели осколки из ноги пациента. Мне стало горячо в ушах, я подумала — не смогу, но на другой день он меня поставил на инструменты, а рядом стояла сестра, которая уходила с этой работы, т. к. она стала женой влиятельного коммуниста на кожевенном заводе. [...] Через две недели операционная сестра ушла, и я осталась одна с санитаркой Фросей, красной партизанкой в Гражданскую войну. Так как доктор Зак не доверял аптекам, то все для операций должна была готовить я. Я разводила и стерилизовала камфару и морфий, новокаин и физиологический раствор. Стерилизовали все в автоклаве, который нагревался двумя примусами. Там же ставили коробки с бельем. Примусы горели плохо, забивались. Я шла в 8 утра, а возвращалась не раньше 8 – 10 вечера.

Скоро я освоила эту работу и могла подавать инструменты по ходу операции. Я уже знала, когда и что надо давать хирургу в протянутую руку, без его указания. Работать приходилось очень много, иногда по 16 часов. Бывало, только заснешь — кучер с линейкой: срочная операция, — вот и едешь и уже не вернешься домой до следующего вечера. Первые годы выходным считалось воскресенье, после ночного дежурства с субботы на воскресенье. Работа была интересной.

Однажды в воскресенье привезли почти голого окровавленного человека. Привезли его гэпэушники, оставили при нем стражу, сами бегали звонить по телефону. Раздавалось: «Катера послать по заливу, конному отряду обыскать Поляновку и весь берег до нее. Диверсанты скрылись в этом направлении. Одного мы поймали, трое ушли». Раненого, бывшего без сознания, положили на стол. Ранения были ужасны. Почти перебиты кисти рук и ноги. Все в грязи. Что можно, сделали. Во время операции чекист стоял рядом и смотрел, только надели на него халат. После операции выкатили раненого в предоперационную. Чекист сидит рядом, а я перетираю инструменты. Раненый просыпается, хочет подняться. Чекист настораживается.

Раненый вдруг начинает страшно стонать и ругаться. Выясняется: он никакой не диверсант, а секретарь парткома авиазавода. Он был в Поляновке У родных на именинах, хорошо там выпили, а жил он в доме авиазавода. Он решил сократить дорогу, было уже под утро, и пошел полем напрямик. В него начала стрелять охрана завода, он кинулся бежать, его ранили. «Почему же ты не сказал, кто ты?» — с горечью сказал чекист. «А кому сказать? Стреляли, а когда я упал, то начали бить прикладами, а потом я ничего не помню». Пришло еще начальство: а где же еще четыре диверсанта, которых ищут и на море и на суше? Всех чекистов отозвали, не знаю, что им сказали, но уж, верно, не правду: что все выдумано и подстрелили своего коммуниста, да еще большого ранга. Он пролежал у нас с год, едва перенес тетанус, спасли его большими дозами морфия. Он остался калекой, из партии его выгнали, и он с горя женился на нашей сиделке Михайловне.

Как-то вызывают на срочную операцию. Пациент, видимо, беспризорник — голый, грязный. Он без сознания, на голове кровоточащая рана. Его быстро кладут на операционный стол. Рана оказывается неопасной. Больной приходит в себя. Что же мы слышим? Это совсем не беспризорный, а полярный летчик Попов. Он поехал поездом принять самолеты в Батайске под Ростовом-на-Дону. В Харькове купил на вокзале колбасу. Съел, и стало ему плохо. Упал с верхней полки и разбил голову. Пассажиры в вагоне сняли с него одежду, разули его, забрали чемодан и все бумаги. Его спасло то, что попал он в больницу. Если бы он умер в поезде, его бы похоронили в общей могиле, и никто бы никогда не узнал, куда пропал летчик Попов.

Однажды ГПУ решило устроить в городском саду народное гулянье с лотереей. Присутствовал начальник ГПУ товарищ Бухбант с женой. Он был из пленных солдат, австрийский еврей, а она — из России. Ее у нас в больнице оперировали, — кажется, был аппендицит. Я взялась у нее ночью дежурить, она осталась довольна и утром сказала: «Я знаю, сестра, какое теперь время, если что — придите к нам с черного хода, я вам помогу». Так вот, было гулянье, и пускали фейерверк. Этим воспользовались бандиты, решившие освободить из подвала ГПУ своих арестованных товарищей. Из охраны остался только татарин солдат Рафиков. Они на него напали, выстрелили ему в спину, верно, разрывной пулей, т. к. ранение было рваное, но они не смогли найти ключи от погреба, где сидели арестованные. За это нападение тогда же расстреляли всех, кто был взят, и всех, кто там сидел.

Кровь вытекала из-под ворот. Люди из соседних домов слышали много залпов, а о том, что всех расстреляли, рассказал мне потом Рафиков, который долго лежал у нас в больнице. По выздоровлении его демобилизовали и наградили орденом Красного Знамени.

Доктор Зак очень дружил с Бухбантом, за это и его в 36-м году забрали, и он по дороге этапа умер, а Бухбант попал на Соловки — тоже как зэк. Его там встретила арестованная и потом отпущенная Татьяна Ивановна Лебедева. Когда в 1930 году Татьяну Ивановну арестовали, ее старушка-мать Ольга Васильевна повесилась на поясе от халата. Я, идя к ней, случайно встретила

дроги, на которых валялось ее раскинутое тело. Седая голова моталась, а возчик гнал лошадь вскачь и улюлюкал. Татьяна Ивановна пережила ссылку и в 1940 году написала нам, что ее поселили где-то на Волге в доме выселенных немцев-колонистов. О страшной смерти матери я не сообщила.

Так вот, вернемся к Бухбанту. Этот австрийский пленный солдат, став таким начальником, решил выписать из Вены своего брата Генриха. Он думал и его устроить в ГПУ. Молодой, милый и красивый Генрих (он потом снял комнату в нашем дворе и сам мне все это рассказал) пришел в ужас от того, что там увидел. Поссорился с братом и ушел на частную квартиру, поступив на завод рабочим.

Порядки новые

Еще одна судьба. Красный партизан, раненный в Гражданскую войну и хромой, решил поправить вывихнутое бедро и лег на операцию. Его звали Стулов. Операция была очень тяжелой, сделалось нагноение, и я взялась у него ночью дежурить. Мучимый бессонницей и болью, он рассказал, что жил в Сибири, был бандитом. Что они находили там красивых девушек в селах, крали их и продавали в чайные дома в Китай — и прочие похождения, грабежи и убийства. Хотя он был коммунистом, он считал, что это Бог наказывает его за прошлые грехи. Лицо у него было как у питекантропа, рост небольшой, но сам кряжистый и очень сильный. Пролежал он у нас в больнице с год, остался хромым. Его назначили заведовать картофельным ларьком на базаре. Когда в 30-х годах наступил голод и я становилась в очередь за картофелем, он с неподражаемым жестом презрения отстранял очередь, приглашал меня вперед и выбирал картофель получше. Очередь не протестовала.

В 36-м или 37-м году я хотела навестить маму. В Таганроге на вокзале обгоняю знакомую хромающую фигуру — Стулов. Он меня, конечно, узнал, полез в карман и высыпал в мою кошелку горсть шоколадных конфет — «мишки» и «трюфели». Одет он был очень хорошо. «Где работаете?» — спросила я. «А вот увидишь». Мы вышли из вокзала, и подъехал автомобиль. «Секретарем горкома», — сказал мне Стулов и, важно усевшись, покатил. «Неужели правда?» — подумала я. Секретарем, я знала, был Варданьян, сын бакинской комиссарши, воспитанный в Англии, очень культурный и добрый человек. Он многим помог и многих спас. Дома у мамы я узнала, что Варданьян арестован и обвинен в том, что он якобы передал за границу чертежи с авиазавода — чертежи тех самолетов, которые во время войны называли кукурузниками и которые немцы сразу сбивали. Варданьяна расстреляли. Его заменил Стулов, бывший бандит, малокультурный, малограмотный, но после такого возвышения преданный Сталину как собака.

Еще один случай в больнице. Лег на операцию грыжи рабочий металлургического завода Зайцев. Это было при нэпе. Разглагольствовал, какие замечательные наступили времена, что его сын поступит в ФЗУ (фабрично-

заводское училище), что туда принимают только детей рабочих, как раньше дворян в лицей; что теперь, мол, мы, рабочие, — дворяне, и в таком роде. Выздоровел, выписался. Кто мог тогда думать, что через девять лет (я уже тогда работала при отделе труда в кабинете психотехники) этот гордый пролетарий будет облизывать мою тарелку. Мы с доктором Васильевым должны были проверить питание и установить, сколько калорий получает в день рабочий. Обследование проводили на металлургическом заводе. Получали обед в столовой ИТР (инженерно-технические работники). Так вот, встретил он нас и, узнав, пошел за мной и доктором и облизал наши тарелки. Правда, мы оставили на них немного каши. Количество калорий оказалось таким, что доктор приписал еще тысячу от себя и сказал, вполне справедливо, что, если мы напишем правильный результат, нас обвинят во вредительстве и клевете, что по нашим сведениям получается, что рабочие голодают и от такого питания падают в обморок (а они падали). Им выдавали килограмм хлеба, но большинство были крестьяне и приходили на работу за десять верст от слободы Николаевки. Они имели семьи, жен и детей, которым как деревенским паек не полагается, и отцы делились этим килограммом со всей семьей. Заводского обеда — тарелки перловой каши — было мало. В столовой ИТР к каше давали кусочек мяса и еще тарелку жидкого супа. Всего было пять столовых: для обыкновенных рабочих одна каша, для особо тяжелого труда прибавляли пол-литра молока, для квалифицированных, ИТР и для начальства были другие нормы. Мы имели такие карточки: мама получала 400 граммов хлеба, я и брат — по 600 граммов. Еще иногда полугнилой картофель. Доктор Васильев как зав получал 800 граммов хлеба. Вот с таким питанием пережили три голодных года. Правда, иногда можно было достать рыбу — купить тайком у рыбаков. [...]

Двоюродный брат Володя Кунаков рассказал в обществе, что на пирамидах в Египте нашли записи рациона рабочих. Он эти записи (сколько давали хлеба и пр.) запомнил и рассказал — за это и был арестован. Никаких вестей его мать о нем не получила. И. И. Минаев рассказал Сутулову, своему бывшему казачьему командиру полка, пародию на пушкинское «Лукоморье», и тот, как оказалось, став сексотом, донес ГПУ. Иван Иванович еще милостиво получил пять лет Беломора. Там ему повезло. Когда их этап пришел, то их встретил пьяный начальник и скомандовал: «Ну там, которые честные, офицерье, попы и прочая белая банда, выходи вперед!» Иван Иванович попал бухгалтером, а священника назначили хранителем склада. Оба они через пять лет вернулись, но через 6 месяцев их опять арестовали и сослали неизвестно куда.

У Минаевых мы познакомились с Владимиром Владимировичем Бурлаковым. Это был сын коменданта Выборга, офицер сводно-гвардейского полка. Он перешел на сторону красных и за взятие Кронштадта получил орден Красного Знамени. Устроился начальником пожарной команды, которую вскоре взяли под ведение ГПУ и дали ей соответствующую форму. Он часто бывал у нас, и соседи, видя какое у нас знакомство, не стали доносить,

хотя все же между 1923 и 1930 годами у нас было три обыска. Во время одного обыска вдруг стук в дверь и возглас: «Хозяева дома?» И входит Бурлаков в форме ГПУ. Потом он разузнал и рассказал, почему был обыск. У доктора Зака Боголюбовы, уезжая, оставили чемодан с платьем. Зак велел кучеру отвезти этот чемодан нам, и тут же поступил на нас донос, что, верно, в чемодане бомбы. Именно Владимиру Владимировичу Бурлакову мы обязаны тем, что нас не арестовали.

Потом в 1930 году Бурлакова куда-то перевели, и я не знаю, что с ним случилось. Боюсь, что эта милая семья вся потом погибла. Жена Бурлакова, Ольга Андриановна, была школьной учительницей. Очень милый и порядочный человек. Их судьба сложилась помимо их воли. Тех офицеров его полка, которые отказались служить в Красной армии, тут же расстреливали. Он согласился. Правда, нося форму ГПУ, он работал начальником пожарной охраны. Не думаю, чтобы морально он чувствовал себя хорошо.

Наши соседи

[...] Очень интересным человеком, можно сказать — святым, была Мотя Алексеевна Сергеева. Муж-рабочий, как и полагалось, запивал. Детей она нарожала двенадцать, из них в живых остались две дочери — Поля и Луша. Она служила прачкой у Боголюбовых (старик Боголюбов был председателем суда в отставе, бывший правовед). Так вот, эта Мотя, или Алексеевна, после революции стала ухаживать за одинокими старыми дамами, «недорезанными буржуйками». Она бесплатно стирала им белье, ухаживала за ними, когда они болели, и хоронила их. Мотя осталась жить в боголюбовском доме. Дом был большой, и в него вселилось много народа и один коммунист, отвратительный человек, которого все боялись и ненавидели. Так вот, в 38-м году встречаю ее с узелком, остановились, разговорились. Спрашиваю, куда она идет. Отвечает: несу передачу в НКВД. Я испугалась, думала, дочерей ее посадили. Нет, она несла передачу этому коммунисту. Говорит: «Ну кто же такому отнесет? Все рады, что он сидит, родных у него нет, вот я и думаю, что надо и ему снести пышек, хоть он меня за веру в Бога и ругал и грозил мою икону спалить». Икону эту она прикрепила к дверце буфета с внутренней стороны. Когда молилась, то открывала буфет. Боюсь, что она пострадала, когда советчики опять вернулись в 1944 году. Позже, в 1955 году, я написала ее дочери и спросила о матери, та лаконично ответила: «О ком спрашиваете, нет в живых», без подробностей, — значит, подробности были плохие.

Ходил по улицам, как нищий, и просил подаяния старик, бывший купец по фамилии Кроткий. У него всё отобрали, но самого не тронули. Мне было жаль старика, и я ему разрешила стучаться в окно, когда он будет голоден. Мы жили в полуподвале, окна выходили на улицу. Раз у нас сидел знакомый инженер. В окно постучал Кроткий. Мама открыла форточку и что-то ему дала. Он поблагодарил и ушел. Инженера вскоре арестовали, он просидел

два года. Когда его освободили, он рассказал, что сидел по доносу Кроткого, который услышал в окно какой-то рассказанный им анекдот, а потом донес. Инженер был из местных, и Кроткий знал его семью.

Архиереем в Таганроге был епископ Арсений. У него был прислужник — послушник Ваня, будущий епископ Иосиф. Арсения арестовали, он просидел в ГПУ, а затем его выслали в Соловки. После его ареста церковь стала Сергиевской живоцерковной. Только одна маленькая Никольская церковь не подчинилась — она держалась рыбаками и находилась в так называемой крепости. Архиереем назначили женатого священника и, чтобы сделать его популярным, разрешили ему устраивать открытые диспуты с атеистами. Такой диспут был один раз в цирке. На арене стояли скамьи, на которых сидел епископ Александр и все священники, человек десять, и с ними спорил выделенный оратор из парткома. Цирк был заполнен до отказа. Александру, видимо, было позволено разбить все аргументы атеиста, который говорил, что мир и все живое произошли из чего-то, что плавало в воде. Это было в 1924 году. Вскоре Александр снял сан и поступил на кожзавод бухгалтером, а собор разломали. Николаевская церквушка, хоть и закрытая, продержалась до немцев, при которых в ней служил епископ Иосиф, бывший служка Ваня. Я полагала, что по возвращении советской власти епископа расстреляли, но потом в журнале Московской патриархии прочла, что в Казахстане находится епископ Иосиф; может быть, это был он. Между прочим, после десяти лет лагеря епископ Арсений был обвинен в том, что хоронил в 1918 году юнкеров, хотя до этого хоронил и убитых большевиков, но будто бы тогда он пел хуже. Это рассказал Иосиф, который сидел с Арсением в Соловках и которому удалось бежать и скрываться у рыбаков на Белом море.

Относительно моей работы в больнице. В городе было человек десять морфинистов, все бывшие работники ЧК, нервы которых не выдержали такой работы. Они были на пенсии, хотя далеко не старики. Им почему-то официально разрешили употреблять морфий, и они ходили по докторам и больницам и клянчили, чтобы им дали морфий. Обычно их желание удовлетворяли сразу, иначе они устраивали страшный скандал, начинали кататься по полу, бить все вокруг, ломать мебель. К 30-му году их осталось трое; один из них — Демин. Вот идет у нас в больнице операция. Врывается Демин, катается по полу, затем вскакивает. Я хватаю баночку с раствором морфия, граммов сорок, и ставлю на стол рядом. Руки мои уже не стерильны, он хватает и залпом выпивает все. Вытирает рот, отдает мне честь и весело, как ни в чем не бывало, уходит. Этим количеством можно было бы умертвить с десяток людей, он же так привык, что яд его не брал.

Я получала 50 рублей в месяц, доктор — 150. Под конец моей службы я стала получать 190 рублей, а доктор — 450. Это было страшно мало, и у всех была еще работа на скорой помощи. Наши все там работали. Кроме того, подрабатывали абортами. Хотя они были разрешены, многие женщины избегали гласности. Наши сестры делали аборты у себя на дому, и я иногда

им помогала. Материал брали из операционной. Делали хорошо, ни разу не было осложнений. Делали без наркоза — и дома, и в больнице. На эту операцию наркоза не полагалось.

В 1928 году мой брат Алеша окончил среднюю школу. Ему очень хотелось продолжить учение в индустриальном техникуме. Учился он очень хорошо, помогал неуспевающим, но по социальному положению (бывший дворянин) не имел права на специальное и высшее образование.

В мае, в жаркую погоду, к нам в больницу привезли начальника милиции: в погоне за правонарушителями он упал с лошади и сломал ногу. Я согласилась дежурить у него всю ночь. У него очень болела нога, и он не мог спать. Я обтирала его спиртом, сидела и веяла на него воздухом, т. к. жарко было даже ночью. Так провозилась с ним всю ночь. Наутро ему стало лучше, и он стал благодарить меня: «Ах, спасибо, спасибо, что бы и я мог сделать для вас, сестра?» Я отвечаю: «При всем желании вы не можете устроить моего брата в техникум. По социальному положению он не имеет права туда поступать». — «Дайте бумагу», — попросил он и написал: «Товарищ Третьяков, прими в техникум брата медсестры Неклюдовой». Третьяков был заведующим техникума. Алешу без разговоров приняли, он смог стать техником и поступить сначала на завод, а потом на заочный в Новочеркасский авиационный институт, который и окончил в звании инженера.

Коллективизация

В феврале 1930 года хирурга Марка Абрамовича Лившица и меня послали на сорок дней на коллективизацию на Кубань в станицу Канеловскую Старо-Минского района. Поместились мы с М. А. Лившицем вместе в дежурке при больнице. Обедать договорились за плату у жены счетовода. Еда у нее была замечательная: началась коллективизация, и хозяйка постаралась поскорее сократить размеры своего птичьего двора. Завтракали яйцами и салом, хлеб покупали на базаре. Пока отнимали только зерно, а муку не трогали. Молоть уже запретили. Отобрали лошадей; много лошадей бродило беспризорно, т. к. для них не было готово помещение. Сразу для такого количества скота не могли выстроить сараи.

До обеда мы проводили одну операцию: на большее я не могла приготовить материала. Обычно оперировали грыжу или аппендицит. Ассистировали местный врач и его жена. Они держали крючки, я подавала инструменты, привезенные нами, а Марк Абрамович оперировал. Особым мастером он не был, но справился, и никто из пациентов не умер, а то бы нам с ним была беда.

После обеда мы оба должны были проводить беседы на медицинские темы по нашему выбору. Например, о тифе, о чесотке или сифилисе. Между прочим, с фронта занесли в станицу сифилис. Станичный пастух заболел этой болезнью, а так как он по очереди обедал по хатам, то и разнес ее по всей станице.

Кроме бесед с населением и лекций, мы оба должны были уже под вечер сопровождать бригаду, которая раскулачивала зажиточных казаков. Командовал ею рабочий-десятитысячник из города по фамилии Пивень (десятитысячник — это городской коммунист, которому власть поручила проводить раскулачивание). Бригада состояла человек из десяти, включая доктора и меня. Все местное начальство было в бригаде.

Мы ходили по хатам. Всюду нас провожали глаза, полные ужаса. Лезли из кожи вон докторша и уборщица. Они поминутно кричали: «Смерть кулакам! Уничтожить их как класс!» Более отвратительного зрелища я за всю жизнь не помню. В хате нас встречал хмурый хозяин, плачущая жена и испуганные глаза детишек, теснившихся в углу. Уборщица кричала: «Отдайте все зерно!» А докторша: «Скажите, если знаете, кто из соседей и где закопал, тогда вам ничего не будет. Пойдете с нами отбирать».

Около другой хаты стоят сани, на них сажают семью кулаков, малых детей пяти-шести лет. Все молчат, никто не плачет, только жмутся друг к другу. И вот десятитысячник Пивень подходит и снимает со всех теплые шапки. На улице мороз, а повезут их в Сибирь. Большей жестокости нельзя себе и представить. Пивень выслуживался перед партией. Хорошо, что мы были молчаливыми свидетелями и от нас не требовали каких-либо заявлений. За всех старались докторша и уборщица. [...]

Женщина, у которой мы обедали, рассказала нам следующую историю. Раскулачили семью. Мужа забрали, все вещи тоже. Осталась женщина с детьми в пустой хате, сохранили только миску и ложки. Так вот, пришел коммунист из сельсовета и стал отбирать последнее — ложки и миску. Тогда 12-летний мальчик, сын раскулаченных, схватил вилы и проткнул мародера. Тот от ранения умер, а женщину с детьми увезли неизвестно куда. Мальчик же, убийца, куда-то убежал. Вот такие можно было услышать истории. Виктор бы Гюго послушал!..

В мае 1931 года я уже работала у доктора Васильева в его бюро психотехники при отделе труда. Учеников фабзауча и меня, как медсестру, послали на сельские работы в колхоз под Таганрогом, что находился в 30 километрах от города. Еду привозили из города в термосах. Расселили по хатам. Утром гнали на прополку. Бурьян-осот колючий да будяки ранили руки, а перчаток ни у кого не было. Привозят обед — синеватую невкусную перловую кашу. Никто не избалован, но есть ее не хотят, один только пайковый хлеб. Приходят с соседнего поля две худенькие девочки и просят отдать им кашу. Вот вкусная, говорят. Я спросила, откуда они, и услышала их историю. Они с Кубани, дети арестованных кулаков-казаков. Их, девочек, собрали и привезли сюда, поместили в строении полусгоревшего имения. Им примерно от 8 до 16 лет. Они должны работать в колхозе. Кормят их так плохо, что они превратились в живые скелеты. Перед обедом им читает назидания политчасть: они должны благодарить своих родителей, что им так плохо теперь, они — кулацкое отродье. По очереди они должны выступать и проклинать своих отца и мать. Ночью им холодно спать, одеял нет; они думают, что, ког-

да наступит зима, все они умрут. Сейчас лето, так что пока можно терпеть. Я тогда еще не знала о таких детских концлагерях, но вот — сама убедилась.

Крестьянин в хате, где я спала, был мрачен. Он начал заделывать окно в хате, выходящее на улицу. Я спросила, зачем. Он ответил, что прошел слух, будто за каждое окно, выходящее на улицу, будут брать налог. Вот до чего дошло! Крестьяне от советской власти ждали только плохого. Во дворе ходил поросенок. Хозяин сказал: взял его для колхоза, чтобы матери и жене было занятие, а то все отобрали, даже кур. Так пусть хоть за чужим поросенком смотрят. В некоторых местах отобрали кур, сгрузили на подводы и повезли в колхоз. Почти вся птица дорогой передохла. Многие коммунисты не знали, что бы еще придумать, чтобы выслужиться. Когда мы ехали на работы, нам сказали «на две недели», а пробыли там больше месяца. Потом срок все прибавляли. Комсомолка Анна Шилова разрывалась на части, подбадривая, угрожая, — я прямо диву давалась, глядя на нее. Обманывала детей и лгала им, не краснея.

У нас был один случай острого аппендицита, и ученицу отвезли в город. Мой диагноз оказался правильным, что расположило в мою пользу зава ФЗУ и пригодилось в дальнейшем. Он так хорошо охарактеризовал мою работу, что мне прибавили жалованье. Я целый день только и делала, что примачивала раствором марганца натертые пузыри и, сильно разбавив, поила им от поноса — и с успехом. Кроме бинтов и марганца, лекарств у меня не было.

Когда отпустили домой, рады все были необычайно.

...В то время мы жили в Таганроге в старинном двухэтажном каменном доме, принадлежавшем до революции богатым греческим купцам. Наша квартира находилась в полуподвальном этаже, где раньше была кухня и помещения для прислуги. У нас было всего две комнаты: маленькая угловая и большая проходная, но зато две кухни — чистая, где готовили и держали продукты, и «черная», где стояла бочка с дождевой водой и лежали дрова. И еще была настоящая русская печь. Прочитав несколько лет тому назад описание дома, в котором Александр Пушкин останавливался по дороге на Кавказ, я убедилась, что это был именно тот дом, в котором мы жили. Водопровода в доме, конечно, не было, умывались мы на кухне из жестяного умывальника.

Дом стоял на Греческой улице, которую переименовали в улицу Третьего Интернационала, но так как никто не мог этого выговорить, а тем более написать, то все называли улицу, как и при царе, «Греческой». У входа во двор росла роскошная шелковица, которой уже тогда было более ста лет. Двор выходил обрывом на залив. Внизу был кожевенный завод, отбросы которого выливались в море. Посередине обрыва был выкопан колодец, из которого ведрами черпали воду. На улице была водопроводная колонка, где старушка продавала воду: два ведра за копейку.

В июле 1932 года у меня родилась дочь. Как и всем новорожденным, ей написали химическим карандашом на лбу номер моей кровати. Лежала я в большой палате на 12 человек. Слушаю, как мило беседуют роженицы.

«Обязательно окрещу, — говорит жена предгорсовета. — Это Настя, мой второй ребенок. Первый был мальчик и умер некрещеным. И вот снится мне: огромный зал, столы стоят, и за ними дети сидят, и мой там сидит. Входят ангелы и разносят угощения, а моего минуют. Хоть мы и партейные, а все равно окрещу. Мой-то и знать не будет».

Мою дочь Ксению крестили в последней еще открытой православной церкви — греческой. Через несколько недель после этого комсомольцы убили на улице ксендза польской действующей церкви, — на суде заявили, что не могли вытерпеть его вида в рясе.

Как-то под Новый год (1934) зашел к нам знакомый врач, мой бывший сослуживец. У него была просьба ко мне: «Подежурьте в новогоднюю ночь со мной на “Скорой помощи”. Надо начать с восьми». Я согласилась и явилась в поликлинику. Там уже все были в полном составе: доктор, акушерка, санитарка. На дворе выпал снег. Весь наш транспорт был — лошадь, запряженная в сани. Вскоре прибежал в панике какой-то человек и попросил приехать к его жене, у которой начались роды. Через полчаса акушерка, которая отвезла роженицу в роддом, вернулась и рассказала, что дорогой к саням прицепился хулиган и всю дорогу колотил их по спинам. Во второй вызов у роженицы, сидевшей в тех же низких санях, хулиган на улице сорвал с головы шаль и унес. Тут раздался страшный стук в дверь. Доктор крикнул санитарке: «Не открывайте, это, верно, морфинист Демин». Но оказалось, это не Демин, а гражданин, который пришел сообщить, что его соседу плохо. Доктор идет к печке, берет лежащий там отрезок трубы с завинченной на конце гайкой и говорит: «Пошли». Гражданина он пропускает вперед. И вот движется шествие: впереди гражданин, оглядываясь, за ним доктор с трубой, повторяя: «Вот как тресну, так не поздоровится», — потом я с чемоданом «Скорой помощи», за мной санитарка. «Вы себе представить не можете, сколько раз уже на меня нападали, — объяснял мне доктор. — Вот так вызовут и либо на улице ограбят, либо же дойдешь, открываешь дверь, а в тебя летят бутылки». Идти оказалось недалеко. Дверь открыла заплаканная женщина. За столом сидел лишь один пьяный, а со шкафа выглядывали двое детей. Оказалось, этому гражданину не дали освобождения от работы, хотя он считал себя тяжело больным, и он устроил дома такой дебош, что дети спрятались на шкаф. К нашему приходу он уже успокоился, и нам пришлось выслушать всю его историю болезни. Доктор ему валерьянку, и мы пошли назад. Всю ночь у нас было оживление: перевязывать пьяные рожи. Новый быт, новые нравы...

Вскоре я переехала в Ростов к мужу, который преподавал в университете, и поступила на работу в сануправление. Мы делали предохранительные прививки на дому. Целыми днями поднимались и спускались по лестницам, лифты — даже там, где еще существовали с царских времен, — не работали. Иногда, сделав первую инъекцию, я приходила через несколько дней и находила квартиру опечатанной. Это был 1936 год.

Как-то я пришла в комнату интеллигентной старушки, и мы разговорились. Оказалось, ее племянница замужем за начальником Ростовского во-

енного округа. Открыв сундучок, старушка показала мне отрезы материй. «Если его посадят, — сказала она, — то я возьму их мальчика, и мы будем жить на продажу этих вещей».

Весною 32-го или 33-го года приходит в отдел труда деревенский мальчик. Его родители умерли от голода, он, уже сильно опухший, думает спастись, поступив в ФЗУ. Ему четырнадцать лет, а надо 15, так он себе грубо переделал дату в свидетельстве о рождении. Зав. проверял его и, увидев подчистку, порвал свидетельство из колхоза и накричал на мальчика. Тот, заплакав, пошел вон. Мне его стало жалко. Я вышла за ним и сказала: «Сиди и жди, пока я кончу работу и пойду домой». Взяла его с собою. Поместила, дав старое одеяло, под балконом, накормила сваренной картофельной кожурой и кусочком хлеба, думаю, что с ним дальше делать. Иду на другой день на работу, знакомый сосед подзывает меня и спрашивает, кого я подобрала. «Сейчас же гоните его вон, — советует он, — на вас уже поступил донос, что вы спасаете кулацкое отродье. Мне об этом рассказал следователь, и так как он у вас в больнице лежал и вы за ним ухаживали, то он, если уберете мальчишку, положит донос под спуд. Я с ним учился в школе, и он просил меня вас предупредить».

Как выгнать Мишку Мирошниченко? Что он, бездомная собачонка? Я бегу на скорую помощь, где врачом работала Ида Ефремовна, родная сестра нашей фельдшерицы Фанни Ефремовны. Рассказала ей все и попросила взять Мишку как больного. Она сказала, чтобы он жаловался на боль в животе справа, и приехала за ним. Поместила в больницу. Через две недели заехала ко мне и просит забрать его, дольше нельзя держать.

На другой день ко мне на службу пришел зав. ФЗУ и говорит: «Если наберешь мне не пухлых (это от голода) двадцать ребят, которые будут кузнецами, то получишь магарыч». Я говорю: «Хорошо, постараюсь, а вы мне за это возьмите одного в придачу без документов». Тот в ответ: «Ладно». Я в больницу, велела Мишке прийти в назначенный срок в отдел труда, и зав. сдержал слово, взял его с другими и поместил в ФЗУ в кузнечный цех. Таким образом, этому мальчику, хотя с трудом, удалось спастись от голодной смерти.

На этом кончаю свои записи прошлого. Все прошло снова перед глазами, и я почти от этого заболела.

...За эти годы я, кажется, все перенесла: гибель близких, и голод, и обыски, и жизнь под чужим именем, и наступил момент, когда чаша терпения оказалась переполненной.

В 1943 году мы с мужем ушли на Запад. И на этом можно поставить точку.

Литературная обработка В. Нечаева

1984, № 40

ИОСИФ ИЦКОВ

Одна из первых жертв Сталина

[...] Многие годы я хранил эту «тайну» в своей памяти с тем, чтобы, когда представится возможность, предать ее гласности, полагая, что она может пролить свет на истинную подоплеку преждевременной смерти Надежды Сергеевны Аллилуевой — второй жены Сталина.

В 20-е годы, работая в Замоскворецком районном комитете города Москвы Российской (Всесоюзной) Коммунистической партии (большевиков), переименованной в 1952 году в Компартию Советского Союза, мне довелось присутствовать при вручении партийного билета Н. С. Аллилуевой в связи с обменом партийных документов.

Будучи очень скромной женщиной, Н. Аллилуева наряду с другими лицами, пришедшими в райком, ожидала своей очереди. Прочитав анкетные данные, председатель партийной контрольной комиссии Иван Михалько (рабочий-металлист) задал Н. Аллилуевой вопрос, чем занимается ее муж, на что, смутившись, она ответила, что он работает в Центральном Комитете партии, но дотошный Михалько продолжал допытываться, пока она не назвала фамилию: Сталин.

Однако на Михалько это не произвело большого впечатления (тогда Сталин еще не был ни «великим», ни «гениальным»), и он продолжал задавать вопросы и довел ее до слез, когда бестактно заявил, что ему непонятно, из каких соображений молодая девушка могла выйти замуж за человека намного старше ее по возрасту, у которого сын — почти ее ровесник... Вручив Аллилуевой партийный билет, Михалько сказал: «Ну, ничего, не горюй, у тебя еще всё впереди, а вот мы уже идем к концу»...

Заметим, что Михалько ошибся: Н. С. Аллилуева ушла из жизни в 1932 году, а Михалько пережил ее на пять лет и в 1937 году был расстрелян как «враг народа»... Вот они, человеческие судьбы!

В этой связи, хотелось бы упомянуть о том, что, когда при чистке партии в 1921 году Аллилуева была исключена из партии, Сталин ничего не предпринял для исправления допущенной ошибки, зато Ленин, узнав об этом, направил 21.12.1921 года письмо в Центральную комиссию по чистке партии. [...] В результате обращения Ленина Н. С. Аллилуева была восстановлена в партии.

Я был на похоронах Аллилуевой; незадолго до выноса гроба с телом покойной, установленного в здании Государственного универсального магазина (ГУМ) на Красной площади, в зал вошел Сталин, ни на кого не взглянувший, постоял несколько минут и коснулся рукой гроба, как бы отталкиваясь от него, и на Новодевичье кладбище, где была похоронена Аллилуева, не поехал. Это вызвало много кривотолков о взаимоотношениях Сталина с женой, по официальной сталинской версии скончавшейся от «сердечной недостаточности», а в действительности, как мне по большому секрету рассказал бывший в то время начальником Лечебно-санитарного управления (Лечсанупр) Кремля мой шурин М. С. Металликов (расстрелянный в 1937 году), Н. С. Аллилуева застрелилась и оставила письмо, в котором выражала возмущение действиями Сталина, его замыслами в отношении лидеров оппозиции и его недостойным, нетерпимым поведением в быту...

Через четверть века после этого я встретил освобожденную из заключения после смерти Сталина Полину Семеновну Жемчужину — жену В. Молотова, с которой я был знаком еще в 20-е годы, когда она работала секретарем партийной ячейки, а затем директором парфюмерной фабрики «Новая заря», расположенной в нашем районе. Будучи уже тяжело больной женщиной, Полина Семеновна поведала о своих тяжелых переживаниях, а когда разговор коснулся преждевременно ушедших из жизни общих знакомых, она рассказала, что в ночь на 8 ноября 1932 года была с мужем на «вечеринке» по случаю 15-й годовщины Октября в кремлевской квартире Ворошилова, где был и Сталин с Надеждой Сергеевной.

Когда «вечеринка» подходила к концу, Сталин, проходя по залу, бросил окурок папиросы в лицо Аллилуевой, сидевшей на диване рядом с Жемчужиной, после чего они обе удалились из квартиры и в ночной тиши долго бродили по безлюдному Кремлю. Аллилуева была в чрезвычайно возбужденном состоянии, плакала навзрыд и говорила, что дальше не может жить под одной крышей с человеконенавистником, сыгравшим роковую роль в ее жизни, что ей жалко несчастных детей, но терпеть выше ее сил.

Жемчужина, как могла, пыталась ее успокоить и приглашала пойти к ней, чтобы провести там остаток ночи, но Аллилуева отказалась и, поцеловав собеседницу, ушла к себе.

Полина Семеновна не могла себе представить, что Аллилуева станет на путь самоуничтожения, но, по всей видимости, она уже решилась на такой шаг, и случай с окурком папиросы переполнил чашу терпения... Рано утром раздался телефонный звонок по кремлевской «вертушке»: звонил Сталин и позвал Молотова, которому он сообщил о внезапной кончине Аллилуевой...

Итак, одной из первых сталинских жертв, через десять лет после его пребывания на посту генсека, была мать его двух малолетних детей... Таким образом, уже тогда были все основания для предъявления Сталину обвинения в совершении уголовного преступления, а именно: доведение до самоубийства его жены путем систематического унижения ее личного достоинства, но этого, как известно, не произошло (тогда еще многое было покрыто не-

проницаемым мраком неизвестности), и Сталин еще в течение долгих двадцати лет творил одно злодеяние за другим...

(В «Воспоминаниях», рассказывая о Н. Аллилуевой, Н. Хрущев говорил: «*Она сама застрелилась, но она применила, так сказать, оружие и покончила с собой в результате нанесенного, так сказать, ну, оскорбления женской чести, значит, этой самой Надежде Сергеевне, значит*»... Ничего не скажешь: богатый русский язык...)

Жемчужина полагала, что ее дружеские отношения с Аллилуевой и последняя встреча с ней, о чем подозрительный и мстительный Сталин был осведомлен, послужили одним из поводов для ее ареста и заточения в тюрьму в годы борьбы с «безродными космополитами» и «еврейскими националистами»...

И, наконец, расскажу о «тайне», которую поведала мне старшая сестра Надежды Сергеевны.

После XX съезда партии (1956 год), когда я был членом Московской городской коллегии адвокатов, мне довелось оказывать юридическую помощь лицам, выжившим и вернувшимся из заключения и ссылки.

Однажды ко мне в юридическую консультацию пришла болезненного вида женщина. Это была Анна Сергеевна Аллилуева. Назвав фамилию видного партийного работника, по совету которого она обратилась ко мне, Анна Сергеевна сказала: «Я знаю твою биографию, ты так же, как и я, был навсегда “прописан” во Владимирке (известная особо жестким режимом Владимирская тюрьма), и поэтому я пришла к тебе».

Она была морально подавлена тем обстоятельством, что, несмотря на проводившийся тогда процесс «десталинизации», не в силах добиться посмертной реабилитации своего мужа Станислава Реденса (племянника Ф. Дзержинского), расстрелянного в годы сталинских чисток.

Я успокоил Анну Сергеевну и взялся за то, чтобы справедливость восторжествовала; у нас установились доверительные отношения, мы довольно часто встречались, обменивались воспоминаниями о прошлом и о судьбах многих общих знакомых. Анна Сергеевна была хорошо осведомлена о тайнах тогдашней кремлевской элиты. В один из вечеров, когда я был в гостях у Анны Сергеевны, она под строжайшим секретом поведала следующее:

«В 1918 году Сталин был послан в Царицын (переименованный в 1925 году в Сталинград), для обеспечения скорейшей отправки хлеба в Москву, Петроград и другие промышленные центры, где продовольственное положение приняло катастрофический характер. Вместе со Сталиным в салон-вагоне ехали мой отец, старый большевик Сергей Яковлевич Аллилуев, оказывавший Сталину ряд услуг еще во времена царизма, и моя 17-летняя сестра Надя, работавшая секретарем-машинисткой в Управлении делами СНК. По тогдашним железнодорожным условиям, поезд до Царицына двигался медленно, подолгу останавливаясь на промежуточных станциях.

В одну из ночей отец услышал душераздирающие крики из купе, где находилась Надя. После настойчивых требований дверь отворилась, и он

увидел картину, которая ни в каких комментариях не нуждалась: сестра бросилась на шею отца и, рыдая, сказала, что ее изнасиловал Сталин. Будучи в состоянии сильного душевного волнения, отец вытащил пистолет, чтобы застрелить насильника, однако Сталин, поняв нависшую над ним серьезную опасность, опустившись на колени, стал упрашивать не поднимать шума и скандала и заявил, что он осознает свой позорный проступок и готов жениться.

Сестра долго сопротивлялась браку с нелюбимым человеком, к тому же старше ее на двадцать с лишним лет, но была вынуждена уступить, и 24 марта 1919 года был зарегистрирован брак между Сталиным, которому шел сороковой год, и 18-летней Аллилуевой, а через пять месяцев родился их сын Василий (кстати сказать, она не изменила своей девичьей фамилии).

Тем не менее, Сергей Яковлевич, презиравший Сталина, описал это событие, оставившее неизгладимый след в его душе, а рукопись, отлично зная характер и повадки своего зятя, закопал на даче под Москвой. Эту тайну он доверил лишь мне, своей старшей дочери».

Страдавший манией преследования, Сталин инстинктивно понимал, что тайное может стать явным, но добыть компрометирующий документ не смог.

Не случайно, конечно, что все члены семьи Аллилуевых, в том числе брат Надежды Сергеевны Павел Аллилуев, и даже дальние родственники (кроме престарелого Сергея Яковлевича), были впоследствии репрессированы как «враги народа»: ведь, как известно, ни у кого не было иммунитета от «сталинского суда».

Сама Анна Сергеевна многие годы содержалась в заточении во Владимирской тюрьме (в народе ее называли «сталинской вотчиной») и лишь после смерти сатрапа была реабилитирована и вернулась в Москву.

Я был ошеломлен услышанным из уст Анны Сергеевны рассказом и спросил ее: не является ли этот факт разгадкой трагической судьбы ее сестры, ушедшей из жизни в тридцатилетнем возрасте. Она опустила голову на руки; долго молчала, на ее глазах показались слезы: «Да, это так и было, только никому ни слова», — шепотом произнесла моя собеседница.

Далее, Анна Сергеевна поделилась со мной воспоминаниями о встрече со Сталиным после ареста ее мужа С. Реденса. Он был на руководящей работе в ВЧК-ОГПУ-НКВД — полномочным представителем ОГПУ в Грузии, Белоруссии, начальником управления НКВД по городу Москве и Московской области, а с 1938 года народным комиссаром внутренних дел Казахстана. С приходом Берия к руководству наркоматом внутренних дел СССР Реденс в октябре 1938 года был вызван в Москву «для доклада» и отправился на Лубянку, откуда больше не вернулся.

На следующий день на квартиру Реденса явились «чекисты» грузинской национальности для производства обыска, и находившийся в квартире С. Я. Аллилуев пытался позвонить Сталину, но телефон уже был отключен, а через два дня Анна Сергеевна отправилась для встречи со Сталиным в его

кремлевскую квартиру. Было обеденное время, и в столовую, куда была приглашена Анна Сергеевна, вошел Сталин в сопровождении Берия и Жданова.

Анна Сергеевна обратилась к Сталину с вопросом: «Что произошло со Стасиком (Реденсом), почему его арестовали?»

Сталин опустил голову и занялся поданным блюдом, а Берия произнес следующую тираду: «Зачем, скажи пожалуйста, ты беспокоишься о человеке, с которым у тебя брак не зарегистрирован? Он наш давнишний враг еще с того времени, когда он работал в Грузии, а пощады мы никому не дадим». (Берия в свое время был заместителем Реденса в Грузии.)

Находясь в крайне возбужденном состоянии, Анна Сергеевна сказала: «Я вовсе пришла не к тебе и с тобой разговаривать не желаю. Станислав мой муж, я мать двух его сыновей и имею право требовать ответа на мой вопрос».

Воцарилась пауза, после которой Сталин, продолжая принимать пищу, промолвил: «Не волнуйся, Анна, НКВД у нас зря не сажает, там разберутся и примут правильное решение», — после чего Анна Сергеевна поднялась и, хлопнув дверью, удалилась...

В результате обращения к XXII съезду партии, Реденс был посмертно реабилитирован по судебной линии, однако в партии не был восстановлен, поскольку на него была возложена ответственность за незаконные репрессии в бытность его начальником управления НКВД по городу Москве, когда Хрущев, кстати сказать, был первым секретарем Московского комитета партии.

До конца своих дней Анна Сергеевна проявляла заботу о своем племяннике Василии, сыне Надежды Сергеевны, содержавшемся после смерти Сталина в той же Владимирской тюрьме; в связи с ожидавшимся визитом в Москву президента Соединенных Штатов Америки Д. Эйзенхауэра, Василий был освобожден из заключения, а после того как визит, по известным причинам (полет Пауэрса), не состоялся, он был отправлен в Казань, где вскоре скончался...

1983, № 38

Страница рекламы из «Континента»

МАХМЕТ КЕРЕЙ

Как я стал строителем газотрубопроводов

Этап

Двадцатого ноября 1969 года во Владимирской тюрьме номер 2 кончился мой 7-летний срок заключения по ст. 56 ч. I УК Каз. ССР, и меня должны были отправить еще на три года в ссылку, но задержали во Владимирской тюрьме на три дня дольше, пока не было этапа.

Наконец, посадили в «Столыпин» и отправили. Куда? Неизвестно. Едем. Через несколько дней слышу: «Сосногорск». «Столыпин» освобождается от зэков. Часть зэков увели, а другую часть, в том числе и меня, загнали в какие-то дворики ожидать дальнейшего этапа.

Через час или два повели нас к другому «Столыпину». Поехали. Слышу: «Кулмагамбетов, с вещами!» Наконец-то кончился мой утомительный этап. Подходит к «Столыпину» милиционер и забирает меня с моими документами у конвоя. Станция Микунь. Вечереет. Лежит довольно толстый слой снега, но не очень холодно. Милиционер отвел меня и запер в камеру предварительного заключения, где я и переночевал.

Долгий день

Наутро в КПЗ дают мне кусочек, грамм 200, хлеба и кружку кипятку. Потом отводят в железнодорожное отделение милиции, выдают мне справку о том, что я являюсь ссыльным Усть-Вымьского района Коми АССР, выдают направление на работу в СМП-257 (строительно-монтажный поезд) — и прогоняют...

— Стоп, — говорю я, — у меня есть ручные часы и 5-6 рублей денег, которые я должен получить у вас. Когда меня вывозили из Владимирской тюрьмы, то мне эти вещи не выдали, а сказали, что по прибытии в ссылку я могу сразу получить их.

— Ну, да! — отвечает мне милиционер. — Ты их получишь через полтора-два месяца.

Так я оказался на улице, голодный, без курева и с пустыми карманами. Продать — нечего. Кому нужен тюремный бушлат с одним карманом на правой стороне или шапка-ушанка, сшитая из серой тряпки?

Ослабевший от длительного одиночного заключения во Владимире, я иду к СМП-257. Мне там говорят: «Идите сфотографируйтесь для прохождения медицинской комиссии и для нас». Я говорю, что у меня нет ни копейки денег, и прошу 5-10 рублей аванса. Не дают. Отвечают: «Когда мы вас примем на работу, дадим аванс и место в общежитии, а пока ничего не можем сделать».

Иду в поликлинику, где проходят медкомиссию. Узнаю, что для прохождения медкомиссии нужно потратить 3-4 дня.

Иду в милицию. Прошу 3-4 рубля денег и талоны на питание. Начальник милиции мне отказывает. Говорит, что у них нет ни денег, ни талонов для ссыльных. Тогда я прошу разрешения 3-4 дня пожить в КПЗ. Начальник отвечает: «Не имеем основания держать тебя в КПЗ».

Иду в горсовет. Объясняю ситуацию и прошу сколько-нибудь денег. Толстая женщина, компетентная в этом деле, не поднимая глаз, отвечает мне, что она знает о существовании закона, обязывающего местные органы власти оказывать необходимую материальную помощь ссыльным, но Верховный Совет им этих денег не отпускает.

Спрашиваю ее, где горком партии. «Горкома нет, есть райком в селе Айкино, в восьми километрах отсюда», — отвечает она.

День идет к концу. В Айкино съездить мне не успеть, тем более, что автобусы туда не ходят. Не видя никакого выхода из положения, голодный, уставший и злой, я бреду к рабочей столовой. Вижу остатки пищи на столах и рабочих, стоящих у кассы.

Думаю: а что если пойти и доесть то, что осталось в чужих тарелках? Нет, я сам себе не смогу простить этого позора. А что если попросить денег у рабочих? Просто так они не дадут: мало ли здесь нищих и бродяг. Придется объяснять свое положение, убеждать. Стыдно!

Вышел из столовой, когда начало смеркаться. В домах зажглись огни. Опять иду в милицию. Опять прошусь в КПЗ. Не разрешают...

Где бы украсть пятерку? Где бы переночевать? Нет, думаю, в тюремном костюме ни то, ни другое мне не удастся. В помутнении сознания совершить преступление? — Опять тюрьма, и жизнь кончится. А с другой стороны, какая радость была бы моим врагам, если б меня вновь осудили, но теперь уже за воровство или грабеж!

Спрашиваю у прохожих на улице, где КГБ. Не знают. Пошел опять к начальнику милиции. Оказывается, КГБ рядом.

Поднимаюсь по навощенным, необыкновенно чистым лестницам в КГБ. Сидит секретарша. Спрашиваю начальника КГБ. Она отвечает, что начальника сейчас нет, но есть один сотрудник. Прошу принять меня. Выходит рослый мужчина с сединой и приглашает меня к себе в кабинет.

Я произнес краткую желчную речь о советских порядках и сказал, что за критику этих порядков сажают в тюрьму. В конце спросил: может быть, у КГБ имеются деньги для ссыльных?

Слушавший меня не перебивая кагэбист встал, попросил минутку подождать и вышел из кабинета. Вернулся он, держа в руке десятирублевую

бумажку. Протягивая ее мне, сказал: «У нас тоже нет денег на эти цели. Это мои личные. Когда у вас будут деньги, — занесете».

Я взял деньги. Понимаю: поступил не морально. Но мою вину может смягчить то, что я никогда не считал себя борцом против советской власти и КГБ. Меня осудили за то, что с марксистско-ревизионистских позиций я пытался объяснить природу коммунистического строя.

Взяв 10 рублей у кагебиста, я поспешил в столовую, пока она не закрылась. Поел. Потом разыскал рабочее общежитие СМП-257, куда меня обещали принять на работу.

При входе в общежитие дежурила старушка. Я объяснил ей свое положение. Сказал, что я не вор и не бандит, а учитель, и попросился переночевать где-нибудь на полу. Сердобольная старушка отвела меня в отдельную комнату, указала кровать и попросила не выходить, пока она утром не отопрет дверь.

Так кончился мой самый тяжелый день в жизни...

В Микуни я вскоре узнал, что со всеми ссыльными поступают так же, как со мной. Привозят ссыльных и бросают на произвол судьбы без средств к существованию. Многие не выдерживают и начинают воровать. Почти все они быстро попадаются, потому что трудно продать краденое в маленьком местечке. А государству от этого сплошная выгода. С одной стороны, пополняется подневольный труд в исправительно-трудовых лагерях, а с другой стороны — местное население настраивается враждебно к ссыльным и радо помогать милиции.

В Микуни я еще более убедился в том, что законы в СССР — пропагандистская вывеска. Что же регулирует правопорядок? Секретные циркуляры и решения партийных органов. Например, Конституция СССР и антиконституционные статьи уголовных кодексов; систематическое нарушение Советским Союзом международных соглашений.

А вот мнение полковника МВД. 1964 год, Мордовия, лагерь 7 (пос. Сосновка, Мордовия). Группа зэков окружила начальника отряда. Один из нас спрашивает его: «Декларацию Прав Человека в ООН подписал и Советский Союз. Почему нас судят за переход границы как за измену родине?»

Полковник отвечает вполне серьезно: «Та Декларация — для негров».

Я — грузчик

На следующее утро — прямиком на почту и даю телеграмму родственникам. Через день получаю 50 рублей перевода. Уговариваю фотографа сделать фото в тот же день вместо недельного ожидания. Продолжаю пользоваться добротой сердобольных старушек в том же общежитии и дней через 5 поступаю на работу в СМП-257 грузчиком, или «транспортным рабочим 2 разряда».

Из отдела кадров меня посылают в отдел снабжения знакомиться с моим непосредственным начальником. Им оказался седой веселый армянин, фамилию которого я теперь уже забыл окончательно.

— Кем вы работали? — спрашивает он меня очень вежливо, как бы пренебрегая моим арестантским видом.

— Был преподавателем в институтах.

— А за что вы сидели?

— Ну, статья называется «антисоветская агитация и пропаганда», — отвечаю я.

— Надо быть дураком, чтобы говорить правду, — грубо вмешивается в наш разговор одна женщина. Позже я узнал, что та женщина — жена моего начальника-армянина и работает учительницей в школе.

Попали дети в «правильные» или «неправильные» руки — вопрос очень сложный. Я не раз задумывался над проблемой воспитания детей при тоталитарном режиме. Воспитаешь честными — они хлебнут много горя, воспитаешь нечестными — подлость не знает предела, и сам можешь оказаться ее жертвой от своих же детей.

Когда ушла жена моего начальника-армянина, он продолжил разговор со своим коллегой-мужчиной.

— Приехал я в коми деревню, — рассказывал седой армянин. — Выхожу из машины и смотрю по сторонам. Мне нужна была или столовая, или магазин, или что-то в этом роде. Слышу, кто-то зовет:

— Дядя, дядя, иди к нам.

Смотрю: стоит мальчик возле дома, лет 5-6, не больше, и зовет меня.

— А что мне у вас делать? — спрашиваю я мальчика.

— Чайку попьешь и мамку по..., — отвечает мальчик...

Получив бумажку-направление на работу, я ушел из конторы.

База СМП — место моей работы. Постепенно втягиваюсь в работу и знакомлюсь с городком.

От общежития до базы километра три. Пересекаю маленький, сонный Микунь дважды в день.

Грузчиков на базе десять человек: три мужика и семь женщин. Женщины делают работу тоже тяжелую, но почище, а мы, мужчины, в основном заняты разгрузкой цемента, извести и стекловаты. Цемент забивает легкие, пыль извести обжигает глаза и дыхательные пути, а после разгрузки стекловаты колет во всех местах.

Мужики — Федор Васильевич, Коля и я. Федору Васильевичу лет за 60. Он часто болел. Вкалывали мы с Колей. Коля — мой боевой командир. Он совершенно не щадил себя в работе, а я за это позволял ему командовать мной. Мне становилось жутко, когда Коля лез в люк вагона с рассыпным цементом. Там стояла густая пыль, а Коля был без респиратора. К тому же, если бы цемент неожиданно отвалился от стен вагона, Коля непременно утонул бы.

Разгружаем специальный вагон-цементовоз. На разгрузку вагона дается два часа, поэтому выгружаем цемент прямо на землю, чтобы не задерживать вагон на базе. Но когда порожний вагон стали толкать, он сошел с рельс. Теперь уже наверняка наше СМП будет платить штраф железной дороге за простой вагона на базе.

Цемент портится от влаги. Мы затариваем цемент в бумажные мешки и относим их на склад. В конце нашей работы остается на земле много испорченного цемента. Я говорю Коле:

— Как жалко! Сколько цемента пропало!

— Чего тебе жалко? Не бойся — платить нам за него не придется! Это еще ерунда. А вот осенью пригнали цистерну солярки. Выливать ее некуда. Бегу к начальнику и спрашиваю, что делать. А он мне говорит: «Вылей на землю, только смотри, чтобы никто не видел». Так я и сделал. А это — ерунда! Спишется, — говорит Коля.

Обедали на базе в комнате отдыха для грузчиков. Каждый ест то, что принес с собой. Столовая далеко.

От женщин я держусь подальше. Они видят, что я из тюрьмы, и разговора со мной не заводят.

Однажды я обращаюсь: «Федор Васильевич, вы...»

— Ха-ха-ха! — смеются женщины. — Что он — начальник, что ли? — спрашивает одна из женщин насмешливо. — Только начальников так называют.

— Он старший по возрасту, — говорю я.

— Он такой же грузчик, как и ты, поэтому «Федька» да и всё, — говорят женщины.

Женщины поели и занимаются болтовней.

— Дохтуры врут. Их не всегда надо слушать, — говорит молодая женщина Тася. — Дохтуры говорят, что перед родами нельзя давать мужикам. А я решила дать, чтоб мой мужик не бегал по бабам. Это было за несколько дней до родов, и роды были очень легкие...

На компрессорной станции (КС-12)

Проработав более двух месяцев грузчиком, я решил бежать от цемента и стекловаты.

Февраль 1970 года. Иду на КС-12. Рабочие КС живут в одноэтажных общежитиях, которые называются шестиквартирными домами, и в вагончиках в «городке строителей». В «городке» всего восемь таких домиков, два вагончика и один большой склад. Один домик занимает контора, другой — столовая, в остальных живут рабочие и начальники. Воды в домах нет. Ее для питья и умывания надо носить ведром из крана, который возле столовой. Баня — в городе. До нее 2-3 километра.

Этот городок принадлежал генеральному подрядчику строительства КС-12 — СМУ-2 треста Газпромстрой. Остальные организации, участвующие в строительстве КС, имеют подобные городки поменьше.

Позже я достаточно хорошо изучил жильцов городка СМУ-2. Подавляющее большинство рабочих — приезжие из Москвы, Ленинграда и других крупных городов, а также демобилизованные солдаты. Очень мало местных. Были там и «химики», и условно-досрочно освобожденные заключенные.

Все рабочие городка жили там без семей. Оставив свои семьи, они приехали на заработки. У меня сложилось впечатление, что у большинства из них семейная жизнь была разлажена еще до их приезда на стройку. Они много пили и пользовались дешевыми женщинами.

Например, бригадир СУ-16 Косоглазов и его друг Костя-электросварщик, оба ленинградцы и друзья, привели на ночь одну бабу на двоих в маленькую комнатенку. «Поддали хорошенько»...

Через несколько дней Косоглазов рассказывает:

— Вот, ребята, потеха-то какая! Костя на ней триппер схватил, а я нет. Вот в чем чудо! Теперь Костя ходит колоться, а мне не надо!

Пьянки с женщинами в строительном городке были обычным явлением. Зимой 70-71 года прямо в середине городка сгорел вагончик и в нем насмерть два «химика».

От городка строителей до КС полтора-два километра. Туда проложили лежневую дорогу из города, чтобы доставлять груз от железной дороги. Но на строительной площадке КС и при подъезде к ней затонуло несколько слоев лежневки. Только в сильные морозы сухо на КС, а чуть потеплело — размесивается грязь тракторами. Весной, летом и осенью по строительной площадке КС могут продвигаться только трактора-болотники, имеющие особо широкие гусеницы. В это время рабочие ходят в болотных сапогах, но и в них не везде пройдешь.

На строительство этого объекта — сердца газопровода— я был принят слесарем-монтажником 3-го разряда СУ-16 треста «Газпромстрой».

Карьера Дударова

Юра Дударов работал газорезчиком в СУ-4 в гор. Ухте, имел восемь классов образования. Не знаю, на какой почве они сошлись, но начальник СУ-16 Владимир Александрович Житенев и главный инженер Ян Янович Агеев взяли Дударова на должность мастера и отправили в Микунь создавать участок СУ-16 (монтаж металлоконструкций).

В январе 1970 года Дударов прибывает в Микунь. Он поселился в арендованном частном доме, колол дрова, топил печь, готовил еду и ходил на КС. Жил бедно и много трудился. Рабочих у него было 4-5 человек, т. е. неполная бригада, но и она ничего не делала. Рабочие не знали, что делать, а Дударов не знал, с чего начать. Поэтому основная задача Дударова сводилась к тому, чтобы принять должным образом Яна Яновича Агеева или Житенева, которые приезжали к нему: накормить, напоить их, выслушать их наставления и доставать инструменты и материалы к предстоящей работе. Дударов сам говорил мне о своих рабочих: «Ничего не делают, а кормить-то их надо».

Но к лету 1970 года Дударов был уже начальником участка, т. е. относился к номенклатуре треста и, формально, не мог быть уволен без согласия треста. Подчиненными Дударова были прораб с высшим образованием Василий Федорович Смирнов, специалист высшего класса по монтажным работам, и

мастер-геодезист. А в бригаде было уже человек двадцать. И дом побольше был арендован СУ-16 для жилья Дударова, и слуга-домовод у него был. Этот слуга-домовод Володя Арутюнян был портным, шил Дударову брюки и костюмы и прекрасно готовил пищу. На самом деле Арутюнян был оформлен слесарем и получал зарплату. И любовница молодая была у Дударова — Ольга Чечина из горкома комсомола Микуни — известная потаскуха, но повыше ценой.

А В. Ф. Смирнов в это время трудился по 16 часов в день и спал рядом со мной в комнате в «городке строителей».

В чем секрет карьеры Дударова? Во-первых, я думаю, раболепие перед начальством, постоянная озабоченность — чем бы угодить. Но угодничество свое Дударов умел показать в достойной форме. Ведь начальству тоже не нравятся скользкие заискивающие типы. Дударов же всегда выслушивал начальственные наставления хмуро и внимательно, соглашаясь с достойным видом. Если скользкого заискивающего типа опасно использовать, то Дударов своим серьезным видом мог внушить, что на него можно делать серьезную ставку.

Во-вторых, Дударов был умным жуликом. Он мог договориться об обмене, например, одних металлоконструкций на другие или просто украсть то, что ему нужно: знал, кому из своих рабочих нужно подсказать или намекнуть.

В-третьих, он мог стать «своим парнем», где ему нужно. Прежде всего он заслужил доверие тех, кто вывел его в люди: Житенева и Агеева. Они позволили ему взять «мертвых душ», зарплату которых Дударов тратил на них и «на дело».

Потом Дударов «умаслил» главного бухгалтера СУ-16 Роговского, старшего бухгалтера Дину Николаевну и всю бухгалтерию, включая кассира. Он приносил в бухгалтерию то ящик яиц, то ящик апельсинов и говорил: «Девочки, это вам!» — и уходил, не взяв денег за дефицитные продукты. «Девочки» делили дармовое добро и не знали, как благодарить Дударова, а ему нужно было только доверие «девочек», когда ему вручали ведомость и деньги на выдачу зарплаты бригаде. Я точно знаю, что в то время, когда погиб слесарь-монтажник Костя Лопанцев (лето 1970 года), было в бригаде две «мертвых души», рабочие 5-го и 6-го разрядов, деньги за которых (рублей 800 в месяц) Дударов клал в свой карман.

Когда это дело стало известно Прокуратуре Коми АССР, Дударов переехал в Ярославль. В Ярославле Дударов пошел в гору: был начальником крупного строительного участка, о нем писали в газете «Социалистическая индустрия» похвальные статьи... Значит, дело не в везении Дударова в 1970 году, а просто были вовремя и верно подмечены его ценные для условий развитого социализма качества хозяйственного руководителя.

Катюша

Житенев и Агеев «вывели в люди» не только Дударова, но и Катюшу Потапову, девушку с восьмиклассным образованием. Она была принята в СУ-16 машинисткой. Умела или нет она печатать, я не знаю. Но занятие ей

нашлось: ею стал пользоваться начальник Житенев, потом передал ее главному инженеру Агееву, а когда и ему она надоела, перевели «в запас» для старперов , приезжавших в Ухту «из центра».

Катюша облегчала им тяжкий труд по ревизии состояния дел в Ухте и Микуни, за что была отмечена переводом на должность инженера ПТО (производственно-технического отдела) СУ-16.

Старперы

Север, стройки газопроводов — не только место ссылки. Там работают и заключенные, и «химики». Все это верно. Новостройки — не только возможность сделать карьеру, получить квартиру, заработать большие деньги. Там и старперам не плохо.

Например, незадолго до моего приезда в Микунь туда в 1969 году нагрянуло начальство из центра для ознакомления с началом строительства КС-12. Чтобы не переутомились приезжие авторитетные гости, им устроили «культурный отдых» на реке Вычегде, на барже, где было все для гостей: выпивка, закуска и молоденькие девки.

Откуда берутся деньги на кутежи и прочие умасливания приезжих из центра ревизоров? Ответ простой: из государственного кармана. Закрываются фиктивные наряды на подставное лицо или находят человека с трудовой книжкой на руках и оформляют его на работу. За это хозяин трудовой книжки, «мертвая душа», получает незначительную мзду, а деньги, которые он будто бы заработал, идут в карман начальника.

Черная касса

В главке Главгазстрой в городе Ухта Коми АССР хорошо знают, что и в главке, и в тресте можно добыть средства за счет «мертвых душ», но... Во-первых, возможные для «мертвых душ» должностные единицы всегда оказываются занятыми чьими-то родичами, полезными людьми или девкой какого-нибудь начальника. Во-вторых, такие «мертвые души» за счет должностных единиц штатного расписания всегда слишком заметны. Поэтому легче всего средства (деньги) добывать через первичные строительные организации — через стройуправления, за счет оформления «мертвых душ» на рабочие специальности. И это знают в главке. И вот, с легкой руки начальника главка в Ухте Радченко, была образована, примерно в 1970 году, «черная касса» главка. Радченко вызывал к себе по одному начальников стройуправлений и говорил им примерно следующее: «Вы, мол, Иван Иванович, знаете, что гостей приезжает немало, всех их надо принять должным образом — угощать и т. д. Мне, конечно, отпускаются средства на эти цели, но их слишком мало. Я бы хотел, чтобы вы помогли...»

Известно, что в стране Советов, где есть морально-политическое единство, никто не возмущается, не бунтует и не саботирует мероприятие, если оно предложено начальником. Так было и при Радченко. Более того, «черная касса» просуществовала и после свержения Радченко. Черной кассой до 1977 года распоряжалась тройка: начальник главка, парторг и начальник отдела труда и зарплаты.

Начальник ОТиЗА, Петр Иванович Романенко, ездил собирать деньги по стройуправлениям (до 1977 года, пока работал в главке), парторг Артаев помогал ему потом эти деньги сосчитать. Ну а тратили, конечно, все трое, причем знали, на кого и с кем.

Впервые я увидел Радченко весной 1970 года, когда передовиков производства, работавших на КС-12, привезли в Ухту на вертолете. Потом нас посадили на легковые машины, и мы с шиком подъехали к главку, где нас принял Радченко, начальник строительного главка. Нас пригласили в приемную комнату, которая была заставлена длинным рядом столов буквой «Г». На столах стояли коньяки, фрукты и конфеты. Радченко произнес краткую приветственную речь и предложил тост за строителей КС. Его мягкие манеры, интеллигентный вид и краткая речь оставили у меня приятное впечатление.

Когда его сняли, то в материалах его обвинения фигурировало и то, что он злоупотреблял своей властью, и то, что он разложился в быту и т. п. В качестве «бытового разложения» фигурировало то, что он использовал вертолеты для охоты: к вертолету цепляли вагончик и оставляли его в тайге. Мужчины охотились, а девки готовили стол. Потом начинались таежные оргии.

Конечно, все это было. Даже больше того, что сказано в материалах. Например, не упоминается крупнейшая афера — «черная касса». Зачем было упоминать, когда «черная касса» главка, с молчаливого согласия горкома партии, надолго пережила Радченко. Все, что было указано в материалах обвинения Радченко, это — «для народа», то есть не потому его сняли, что что-то выявилось, а сняли совсем по другим причинам.

В самом деле, городок Ухта — маленький. Главк — один. Все, что делал Радченко, делалось под носом и с ведома горкома партии. Безусловно, алчные горкомовцы пользовались средствами главка. Все это так, а все же — сняли... Возможно, его сняли из-за личной вражды или соперничества группировок. Были слухи, что это дело рук Янушевского, начальника главка в Москве. [...]

Еще несколько слов о «черной кассе» главка. Весной 1977 года я имел частную беседу с замом начальника Комигазпрома, членом горкома партии, бывшим работником Обкома профсоюза работников газовой промышленности Воронковым. Этот деятель оправдывает «черную кассу». Культ начальства и кража государственных ценностей, оказывается, вполне совместимы. Прославлять партию громче, запускать руки в карман государства глубже — «моральный кодекс строителей коммунизма».

Демченко

В строительстве КС-12 в Микуни участвовало, разумеется, множество организаций. Однажды появилась возможность устроиться лучше, и я пошел к начальнику СМУ-2 треста Газпромстрой Владимиру Александровичу Тертышному. Он принял меня на должность экономиста в плановый отдел. Но приехал из Ухты начальник планового отдела Демченко и выразил недовольство Тертышному за то, что он принял меня в отдел без его, Демченко, согласия. Основным аргументом Демченко было: «Мы имеем дело с цифрами, а их не всякому можно доверять». Действительно, было чего опасаться: цифры-то все были липовые. Их можно было доверять только коммунистам, как Демченко, которых не интересуют социальные последствия пустозвонства, демагогии и очковтирательства, ставших стилем их работы.

На строительстве КС-12 шла в то время штурмовщина под лозунгом — «Даешь КС-12!». Все приезжие начальники ничем существенно не могли помочь в строительстве, поэтому подгонять работающих стало их основной обязанностью. Результаты этого были существенны: фундаментные блоки КС укладывались без цементного раствора, на глине, проводили штукатурку мерзлых стен ГРС (газораспределительной станции), и когда потеплело, вся штукатурка обрушилась, трубы укладывались в землю с изоляцией на скорую руку и т. п. Однажды при встрече с Демченко (я с ним тогда часто встречался) я спросил его: «Зачем эта штурмовщина, ведь идет брак, и это дорого обойдется строительству?» Демченко ответил, что все это очень быстро окупится, и стал приводить цифры, как от продажи газа за рубеж можно быстро вернуть затраты. Я сказал, что газ имеет ограниченный запас и в будущем, возможно, будет представлять еще бóльшую ценность, а «ваши расчеты построены на том, что он дармовой». Он ответил мне, что газа на наш век хватит.

После этого меня перевели мастером над «химиками». Мы делали бетон.

Данилов

В начале 1971 года, когда я работал мастером «химиков», со мной захотел поговорить управляющий треста Газпромстрой Василий Данилов. Он пригласил меня в кабинет начальника Управления, где мы говорили наедине. Данилов спросил меня, за что я сидел, с чем был несогласен. Я сказал ему, что был против политики партии, в частности, экономической. Тогда Данилов сказал: «Экономика наша — это дебри, и бесполезно искать здесь какую-нибудь закономерность. Надо лавировать постоянно!» Далее Данилов говорил, что он сидел при Сталине, что надо вести себя применительно к обстановке.

Впоследствии на строительстве КС-12 раскрыли «дело студентов», которым долго занимался ОБХСС. Но «погорели» мелкие сошки: прораб Кадыр Алиев получил шесть лет лагерей, и еще кто-то пострадал за взятки от командира студенческого отряда Суслова и других, работавших на КС-12 в 1970 –1971 годах. Но ведь всем этим делом со взятками заправлял сам Данилов. Помню его устные распоряжения в СМУ-2 (генподрядчик): закрыть

наряды за первый месяц по десять рублей на день по списочному составу студентов, а во второй месяц — по двадцать рублей. Причем он лично запретил проверять списочный состав работающих на КС-12 студентов. Было известно, что по списку числится 300 студентов, но часть их работали в других организациях. Когда Данилов дал распоряжение закрыть наряды по десять рублей на день «прямого» заработка (без райкоэффициента и премии) на 300 студентов, то нелегко было набрать в нарядах объем работы на 70 – 80 тысяч рублей. Но когда на следующий месяц он дал распоряжение закрыть наряды по двадцать рублей, в нарядах стали писать «корчевку пней на территории КС», т. е. то, что давным-давно было сделано, в гораздо меньшем объеме, чем теперь фигурировало в нарядах.

Помню, как В. Данилов тогда обласкал прораба Кадыра Алиева. Никчемный организатор и безграмотный прораб, Алиев был предметом постоянных насмешек студентов. Но Данилов знал, что этот дурак — его находка. Он пригодился Данилову для преступного добывания денег, для получения взяток от студенческих командиров.

А Данилов остался чист — его вина не доказана. Данилов придерживался «волевого стиля руководства» и к тому же был достаточно хитер: он не писал ни одной записочки, ни одного распоряжения о незаконных мероприятиях, а отдавал распоряжения устно и проверял их исполнение лично. «Студенческий бизнес» — дать заработать студентам на каторжном труде, дать нажиться их руководителям и самим хозяйственным руководителям погреть руки на этом деле — стал всесоюзным явлением. Поэтому в руководство ССО (студенческих строительных отрядов) ринулись преподаватели вузов, которые обнаружили незаурядные способности по части мошенничества и превратились в кадровых руководителей ССО от различных вузов страны. А местные партийные и государственные органы не заинтересованы разоблачать преподавателей-мошенников, поскольку ССО не столь хозяйственное, сколь — политическое мероприятие. Подобно тому, как кукуруза при Хрущеве была «политической культурой»[1]. Но все же ОБХСС вынужден был время от времени разбираться с зарвавшимися дипломированными мошенниками.

Я слышал еще о нескольких «студенческих делах» в разных районах страны, что подтверждает изложенное мною.

Романенко

Когда Радченко стал начальником главка в Ухте (до 1969 года), то он потянул из Воркуты своих людей. Так попал из Воркуты в Ухту Петр Иванович Романенко, который занял пост начальника ОТиЗа главка. Он слыл докой

[1] Бывший со мною в лагере № 7 (в Мордовии) политзаключенный Иван Станислав рассказывал, что когда он приехал в Калининскую область во времена Хрущева, то кукуруза там росла плохо. На вопрос Ивана, зачем же они сажают кукурузу, если она всегда здесь растет плохо, директор совхоза ответил: «Это же политическая культура».

по части денежных махинаций и не только подал идею Радченко о создании «черной кассы», но и стал ее душой. Это был не просто аморальный тип, но человек, который откровенно презирал честность и похвалялся своим искусством подлости. Ему принадлежало крылатое изречение: «Нет неподкупного человека, любого можно купить, только надо знать, кого за что». Это он повторял как свое открытие, как свое глубокое знание людей.

Он настолько пришелся по душе партийному руководству главка, что стал членом парткома и намного пережил Радченко в главке. Он наживался на «черной кассе» и от работы студентов на строительстве гаража, который потом продал, и от многого другого. Но допустил просчет и погорел «на бабе».

Романенко привык «пользоваться» своими сотрудницами, а потом избавляться от них, эта же не давалась и не увольнялась, хотя сперва любила ему подольстить и подарила хорошие настольные часы. Когда Романенко захотел секс-связи, уперлась насмерть, а ее муж-коммунист, занимавший видную должность, стал жаловаться в горком партии, в редакцию газеты. Романенко не отступал, зарвался и... «сорвался» с высотного здания главка: был исключен из партбюро и уволен с работы. Но на новой работе (с февраля 1977 года) Романенко стал парторгом и правой рукой начальника НИСа (нормативно-исследовательской станции). Для него услужливо освободили место начальника отдела в НИСе («попросили» перейти прежнего начальника на другую работу), хотя Романенко не знал дела. Для Романенко открылась новая дорога вверх. Номенклатурщики узнают своего «по нюху», да и в горкоме скоро «забыли» о его проделках. [...]

Обухов

Когда я впервые в 1971 году увидел Валерия Обухова, ему было лет тридцать пять. Он был скромным инженером Отдела снабжения в стройуправлении, или просто «снабженцем». Обухов проявил способности по части доставания дефицитных стройматериалов, а это всегда связано с умением разузнать, договориться, «подмазать» и с умением склонить своего начальника к незаконной добыче средств для «подмазки» (фальшивые наряды, «мертвые души» и т. д.).

«Интересы производства» для советского начальства — демагогия, «интересы народа» — тем более. На местах основная забота начальства — устроиться получше, обзавестись блатом и жить по принципу: «живем только раз» и «после нас хоть потоп».

Валерий Обухов, не имея высшего образования и толковой специальности, пошел по пути стяжательства. Главным его занятием было служить начальству. У него на квартире собиралось высокое начальство «перекинуться в картишки» до утра, выпить, а иногда и побаловаться девочками, добытыми Валерием из среды учительниц школы № 3 в Ухте. В 1978 году к нему захаживал сам начальник главка Васильев.

Примерно в 1976 году Обухов перешел в Отдел снабжения главка, а в 1979 году обменял квартиру в Ухте на Москву, и говорят, что ныне вертится где-то около начальника главка.

Сургут

В 1973 – 1974 годах Сургут представлял собою довольно бурно развивающийся и значительный по величине город газовиков и нефтяников. Удивительно, что в таком большом городе не было общей гостиницы для приезжих. Все гостиницы были ведомственными, и в них останавливались люди, приехавшие в командировку в данную организацию. А люди, приехавшие в Сургут в поисках работы, ютились и мерзли на пристани, бродили по «частному сектору» в поисках крыши.

Но «их превосходительства» начальники, рангом выше городских (из главка или министерства), останавливались в специально для них арендованных частных домах [«особняках»]. Там размещался гость, приезжавший из главка или министерства. Ел, пил, спал, принимал управляющих и главных инженеров трестов, начальников строительных управлений. Имелась в особняке привратница или вахтер — тетя с «коротким языком» — и четверо молоденьких девушек. Тетя не пропускала в особняк посторонних, а девушки готовили пищу, убирали и, по выбору гостя, обслуживали его по ночам. Эти девушки без специального образования числились по разным организациям на инженерных должностях и ходили туда в день получки. [...]

Работал я в Сургуте на заводе железобетонных изделий (ЖБИ) старшим инженером по научной организации труда. Никакой науки в моей работе, конечно, не было и в помине, но штатное расписание должно было быть заполнено, поэтому меня взяли на такую должность. Железобетонные изделия завода предназначались для газонефтяного строительства. Работники заводоуправления были вольнонаемные, а рабочую силу составляли 960 заключенных строгого режима. В планах и отчетах слова «заключенные» не было. Заключенные именовались в документах «контингент второй категории» в отличие от «первой категории» — вольнонаемных. При мне было запланировано довести численность «контингента второй категории» на заводе до 1500 человек. Завод и лагерь были обнесены общей стеной. Неподалеку от нашего завода находился еще один лагерь заключенных, но я там не был и количества заключенных в нем не знаю. Но то, что они работали на объектах, связанных со строительством газопровода, — несомненно. По Сургуту постоянно курсировали специальные машины с контейнерами для перевозки заключенных.

Советская система не отказалась от принудительного труда на «стройках народного хозяйства». Исправительно-трудовые лагеря времен ГУЛага не уничтожались в Советском Союзе никогда. А так называемые *химики*, которые составляют четвертую часть всех заключенных, работают среди вольнонаемных, но на самых тяжелых и невыгодных условиях, т. к. место работы им назначается принудительно, органами милиции, и они не имеют права отказаться!

Ухта

Не знаю, кто начал создавать Сургут, но первыми строителями Ухты, города газовиков и нефтяников, были заключенные. Там осело множество бывших заключенных. На окраине Ухты в Озерном при Сталине на кирпичном заводе работали одни зэки.

Мне хорошо известно, что в Ухте, по крайней мере, до 1979 года работали «химики» на расширении КС-10 и было множество лагерей возле города. В 70-х годах Ухта превратилась в замечательный город — благодаря труду заключенных.

Бичи — социальный слой советского общества

Заключенным и условно-досрочно освобожденным (УДО, «удошникам», но их тоже называют «химиками»), как я сказал, достается самая тяжелая работа на строительстве газопроводов, как и всюду, потому что они не вольны выбирать работу.

Как бы тяжел ни был труд заключенных, какие бы плохие ни были условия содержания заключенных (они получают наихудшие продукты, часто уже портящиеся, гниющие, они не видят никаких фруктов), мне кажется, что в Советском Союзе есть еще более несчастные и обездоленные люди. Это «бичи». Слово «бич» пришло из жаргона моряков и происходит от английского «beach» (берег).

Нельзя не видеть, что смерть Сталина принесла народу облегчение. Вместе с «оттепелью» в СССР бурно разросся новый социальный слой. Представителей этого слоя в народе презрительно называют «ханыгами», «бичами», а на официальном языке — «тунеядцами». Слово «бич» в шутку расшифровывают «бывший интеллигентный человек». И в этом есть доля правды, ибо среди этих бродяг немало довольно образованных людей. Они при желании могли бы найти сносную работу. Но бичи предпочитают переносить суровые тяготы жизни вместо того, чтобы вовремя ходить на работу, отдавать все силы на содержание семьи, терпеть произвол начальства.

Ходят бичи в какой попало одежде, подбирают в парках и скверах пустые бутылки и сдают в приемные пункты, летом спят под кустами, а в холодное время года — в котельных, в подвалах домов или в колодцах, где проходят отопительные трубы. Случалось, что бичей ловили на колхозном поле, где они раскапывали из-под земли картошку руками. Их били, как бродячих собак, и отпускали, потому что даже милиции трудно иметь дело с людьми без прописки, без паспорта и у которых, кажется, уже нечего отнимать.

Часто бывали случаи, когда милиционер отпускал бича и говорил ему: «Уезжай из моего района. Еще раз попадешься, — плохо тебе будет!» Но карательная система совершенствуется с каждым днем, и она нашла новый способ борьбы с бичами. Об этом хочу рассказать.

Известно, что на нефтяных месторождениях или вблизи них горят огромные факелы. Один такой факел горит, пожалуй, и по сей день в городе Ухте на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Огромный факел романтично освещал город ночью, и я любил смотреть на него из окна. Факел выходил из толстой трубы высотой около 20 метров. Под ним было жарко даже в самые сильные морозы. Он был сущим раем для бичей, и ухтинские бичи собирались на ночь под этим факелом. Но милицию это раздражало. Вначале факел хорошенько огородили забором, а когда и это не помогло, то залили всю территорию близ факела какой-то липкой и вонючей смолой. Таким образом, ухтинских бичей вынудили перейти к их традиционным способам ночевки: в колодцах и т. п.

После Ухты меня перевели на газовое месторождение Вуктыл, и там я узнал о том, что советская карательная система усовершенствовалась по борьбе с бичами. На Вуктыле, за рекой Печорой, был лагерь бичей. Им поставили палатки, дали топоры и пилы и заставили работать. Они находились там на положении административно-ссыльных. За побег — срок, но уже в обычном лагере для заключенных.

Когда я был на Вуктыле, этот поселок газового строительства насчитывал около 10-15 тысяч жителей. Там жили приехавшие на свои деньги в поисках работы, «вербованные», то есть приехавшие по оргнабору, ссыльные по приговору суда, условно-досрочно освобожденные заключенные и, наконец, административно-ссыльные — «бичи». Все они работали на газовых объектах или для них.

На Вуктыле имелся маленький аэропорт, где садились вертолеты и «кукурузники», то есть двукрылые АН-2. В районе аэропорта была, в частности, больница, размещенная в нескольких одноэтажных бараках. Эта больница получила широкую известность из-за случая с пропажей тазика.

Дело было зимой. Попал в больницу не в меру разжиревший пациент. Ему сделали операцию по удалению лишнего жира. Удаленный жир медсестра положила в тазик, вынесла на крыльцо ненадолго. Когда же она вернулась, тазика не было! Пришлось заявить в милицию о пропаже больничного инвентаря. Не откладывая дело в долгий ящик, участковый милиционер приступил к поискам тазика. И нашел его у бичей, за рекой Печорой. Никто, конечно, не признался в этой мелкой краже, но когда участковый спросил, где содержимое тазика, то бичи ответили, что уже кончился весь жир. На последнем остатке жира бичи дожаривали картошку.

Меня этот случай не очень удивил тогда. Я на месте бичей тоже не долго бы исследовал, что за жир в тазике.

Этот случай с жиром и бичами, я надеюсь, не очень взволнует читателей в Западной Европе. Они не почувствуют запах жира и картошки, когда будут пользоваться советским газом.

1983, № 35

РАФАЭЛЬ ШАПИРО

Заметки о стройке века

Не всякое предприятие представляет интерес для исследования. Байкало-Амурская магистраль такой интерес представляет. Не только потому, что это крупнейшее в СССР (а может быть, и в мире) строящееся предприятие, но и потому, что оно дает чрезвычайно наглядное представление о Советском Союзе 70 – 80-х годов.

Судя по советской прессе, вопрос о строительстве дороги начал рассматриваться партийно-правительственными кругами в конце 60-х – начале 70-х. Это было обусловлено тремя основными причинами: а) обострением отношений с Китаем; б) стремлением полнее использовать возможности детанта; в) ухудшением экономического положения в стране.

Главным и, видимо, изначальным фактором была растущая опасность войны с Китаем. Чтобы понять военно-стратегическое значение дороги, соединяющей Восточную Сибирь с Тихоокеанским побережьем Советского Союза, достаточно взглянуть на карту. Все огромное пространство советского востока — от станции Тайшет до Тихого океана — обслуживается единственной транспортной артерией, так называемой Транссибирской магистралью. Магистраль имеет тем большее значение, что окружающий рельеф: тайга, холмы и горы, множество рек (текущих, однако, в большинстве своем не с запада на восток, а с юга на север), глубоких ущелий и т. д. — делают местность почти непроходимой.

Роль этой скоростной железной дороги в полной мере проявилась в годы Второй мировой войны. В 1941 – 1942 годах она позволила перебросить крупные войсковые соединения с востока на запад — для защиты Москвы и Сталинграда; в 1945-м — быстро передислоцировать армию для удара по японским войскам в Маньчжурии.

Однако с переменой потенциального противника выявилась и очевидная слабость Транссибирской магистрали. Начиная от Иркутска дорога нигде не отходит от южной границы СССР более чем на 40 км и, следовательно, на протяжении тысяч километров легко уязвима для нападения со стороны Китая.

Военные столкновения на узких участках границы показали, что при фронтальном столкновении с Советским Союзом у Китая практически нет

шансов на победу — слишком велик разрыв в техническом оснащении двух армий. Но у Китая есть иная возможность — партизанская война. При этом варианте, который буквально напрашивается, китайские партизаны, просочившись на советскую территорию хотя бы в нескольких местах, могли бы с помощью диверсий вывести дорогу из строя, лишив советские войска основной линии снабжения. Ясно, что советская армия оказалась бы в очень сложном положении. Снабжение по воздуху миллионной армии всем необходимым — от оружия и снарядов до продовольствия — задача едва ли выполнимая, а охрана и ремонт дороги, имеющей множество таких уязвимых объектов, как мосты, тоннели и пр., сопряжены с огромной затратой труда и средств.

Напрашивалась и ответная мера: построить вторую железную дорогу, параллельно первой, но севернее, то есть дальше от границы с Китаем. В этом случае даже 200 км существенно меняли дело, ибо труднопроходимая местность создавала преграду действиям диверсантов.

В пользу строительства такой дороги можно было привести и ряд других соображений. Довод против был только один, но достаточно веский — отсутствие средств. Уже к концу 60-х годов советская экономика после короткого подъема вернулась к состоянию хронических затруднений.

Тут, правда, нужны оговорки. Выражение «отсутствие средств» имеет в советской экономике совсем иное значение, чем в западной. Советская экономика по самой природе нормативна и несбалансирована. Это значит, что правительство, даже не объявляя об этом публично, может в любой момент перебросить из одного сектора хозяйства в другой практически неограниченные ресурсы — рабочую силу, технику, сырье и т. п. Равным образом может быть выпущено в обращение дополнительное количество денежных знаков. Поскольку деньги в обращении все равно не обеспечены товарной массой, то степень необеспеченности существенной роли не играет.

Инфляция? Но ползучая инфляция существовала в советской экономике всегда, а открытую регулирует правительство, свободно манипулируя рычагами цен, которые почти целиком сосредоточены в руках государства.

Так что сам этот термин «отсутствие средств» — применительно к советской экономике — был бы в ином случае лишен смысла. Но в данном случае речь шла о строительстве железной дороги в исключительно сложных природных условиях. И тут приходилось считаться с тем, что нужны не просто «средства», а средства (техника, материалы), которые могли бы эффективно работать в этих условиях.

Средств таких в стране было недостаточно, и, значит, надо было приобретать их на Западе, расходуя золото и валюту или добиваясь новых крупных займов. В этом (и только в этом!) смысле у советского государства действительно не было средств на строительство стратегически важной железной дороги.

И тут кого-то осенила поистине гениальная мысль. Как и все гениальное, мысль эта была поразительно проста — использовать детант. Этим смутным термином, содержание которого толковалось сторонами по-разному и по-

стоянно менялось, было принято определять систему отношений между Советским Союзом и Западом, пришедшую на смену «холодной войне». Считалось, что неписаное «джентльменское» соглашение обязывает каждую из сторон не делать ничего, что могло бы причинить существенный ущерб другой. Более того, предполагалось, что со временем возникнут проекты, совместное осуществление которых принесет ощутимую выгоду всем участникам детанта. Таким образом детант приобретет не только негативное (воздержание от враждебных действий), но и позитивное содержание.

Предложение, с которым СССР обратился к своим партнерам по детанту, казалось, и преследовало эту цель. Партнеры берут на себя финансирование проекта. Советский Союз не только строит дорогу, но и вводит в эксплуатацию расположенные в этой местности месторождения полезных ископаемых (уголь, полиметаллы и т. д.). По железной дороге сырье вывозится к Тихоокеанскому побережью, где грузится на корабли. Этим дешевым сырьем Советский Союз и расплачивается с кредиторами...

На первый, сугубо поверхностный взгляд, проект и в самом деле взаимовыгоден. Одна сторона получит дешевое сырье (что, кстати, уменьшит ее зависимость от поставок сырья из так называемых развивающихся стран), у другой — появится возможность ввести в эксплуатацию крупные месторождения полезных ископаемых, которые при отсутствии иностранных кредитов удалось бы использовать, очевидно, не раньше XXI века.

Нетрудно заметить, что при таком подходе железная дорога как бы выносится за скобки, фигурируя лишь в качестве «средства доставки» сырья к портам Тихоокеанского побережья.

Подобное смещение «центра тяжести», разумеется, не случайно. При мало-мальски серьезном анализе ситуации ясно, что экономическая сторона сделки (при всей ее важности) имела для Советского Союза второстепенное значение. Решающую роль играла сама дорога и связанные с ней стратегические соображения.

Об одном из аспектов — военном — мы уже говорили. Другой — дипломатический — имел целью надолго рассорить американцев с Китаем, поскольку было совершенно ясно, что КНР справедливо воспримет строительство дороги как враждебную акцию, а содействие в осуществлении этого проекта — как действие, направленное против Китая.

Кроме этих двух — главных — целей, проект обещал Советскому Союзу и ряд дополнительных выгод: а) расширение активной сырьевой базы, что имело, конечно, не только экономическое, но и военно-стратегическое значение; б) усиление зависимости стран-получателей от поставок советского сырья. Наконец, можно легко понять, что сама дорога имела бы важное стратегическое значение в случае войны не только с Китаем, но и с другими странами — прежде всего, с Соединенными Штатами и Японией.

Все эти соображения столь очевидны, что советское правительство, выдвигая этот проект, видимо, поначалу мало рассчитывало на успех. Правда, опыт свидетельствовал, что в прошлом демократические страны с порази-

тельным простодушием откликались на такие предложения, способствуя созданию крупных электростанций, металлургических центров, тракторно-танковых и автомобильных заводов, электронной промышленности и т. д.

Но трудно было поверить, что этот опыт никого ничему не научил. Поэтому в советской печати о переговорах по этому вопросу говорилось глухо и упор делался на два момента. С одной стороны, на сугубо прозаическую взаимную выгоду; с другой — на некую романтическую акцию: наполнение детанта конкретным позитивным содержанием. Советские правители, умеющие принимать любую личину в зависимости от обстоятельств, на сей раз надели маску купцов, занятых исключительно коммерческими расчетами, хотя и готовых отдать некоторую дань романтике...

Неожиданно советское предложение получило поддержку высокопоставленных политических деятелей Запада, и по меньшей мере две страны в принципе согласились его финансировать. По иронии судьбы, ими оказались США и Япония — государства, для которых Байкало-Амурская магистраль представляет наибольшую опасность.

Это было так странно, что подозрительные советские руководители просто не поверили. Советская пресса, чуткий барометр настроения в верхах, продолжала писать о проекте глухо. Условия кредита не излагались, была упомянута лишь сумма кредита — 10 млрд. долларов. Половину этой суммы должны были предоставить Соединенные Штаты, вторую половину — Япония.

Но затем что-то изменилось. Что именно — сказать трудно. То ли, пока шли переговоры, Советский Союз где-то надорвал хрупкую материю детанта, то ли в США вдруг спохватились. Особой проницательности не требовалось: китайская печать, например, писала обо всей ситуации достаточно определенно.

Советские руководители попытались уцепиться за согласие Японии. Но японские правительственные и деловые круги уже утратили первоначальный энтузиазм. Было сказано, что японские кредиты составляют неотъемлемую часть общей суммы, а поскольку американцы от своей части отказались, это аннулирует всю сделку.

Похоже, такой поворот событий не очень удивил советских руководителей. Газеты ограничились довольно вялой руганью по поводу империалистов, которые не желают развивать детант и коварно отказываются от своих обязательств. Л. И. Брежнев в одном из своих выступлений мимоходом коснулся этой темы. Смысл того, что он сказал, можно передать известной фразой из анекдота: «Не вышло — и не надо, не очень и хотелось». Советский Союз, уверял Брежнев, не очень нуждается и в железной дороге, и в сырье, сырья нам хватает. Мы хотели просто сделать доброе дело для других — для тех, кто в этом сырье нуждается. А если они вдруг почему-то передумали, тем хуже для них...

Казалось, вопрос снят с повестки дня. Только очень внимательный читатель мог заметить, что изредка (главным образом в провинциальных газетах

Восточной Сибири и Дальнего Востока) появляются короткие сообщения о геодезических партиях, которые ведут изыскания на трассе предполагаемого маршрута.

О статусе этих изыскателей можно только догадываться. Трудно было понять, идет ли речь о специалистах-путейцах, добровольцах из числа комсомольцев-активистов или военно-строительных отрядах. Постепенно, однако, газеты стали все чаще писать именно о комсомольцах, которые будто бы — чуть ли не в порядке «самодеятельности» — организуют отряды и едут «строить БАМ».

Для каждого, кто знаком с советской действительностью, ясно, что сами комсомольцы ничего организовать не могут. Другой вопрос, что такие отряды могли создаваться на местах по инициативе руководителей обкомов и райкомов комсомола (разумеется, с согласия местных партийных органов). Цель тут была двойная: во-первых, проявить «инициативу», которая будет замечена «наверху»; во-вторых, создать очередного идола, чтобы подогреть все более гаснущий энтузиазм молодых строителей коммунизма.

Но если и так, ясно, что подобная инициатива «снизу» сама по себе ничего не решала. Чтобы привести в действие громоздкую машину планирования и заставить ее выделить из скудных ресурсов средства на новую огромную стройку, нужны были решения на самом высоком уровне. Судя по реакции Брежнева, это вряд ли была его идея. Скорее всего, в поддержку такого строительства вначале высказывались военные. А уж позднее ее поддержал идеологический аппарат, которому, как и комсомольским деятелям областного масштаба, нужен был идол, «знамя», вокруг которого можно было бы поднять очередную пропагандистскую шумиху.

Идеологи социализма давно усвоили ту простую истину, что при существующей в СССР оплате труда нормальный человек работать не может. Поэтому его надо поставить в такие условия, чтобы он не просто работал, а «стоял на вахте», «преодолевал рубежи», «участвовал в стройке века» и т. п.

В апреле 1974 года в Москве проходил XVII съезд комсомола. Прямо со съезда большая группа его делегатов (600 человек) отправилась «строить БАМ». Этот театральный жест был, конечно, заранее подготовлен и спланирован. Тот самый Брежнев, который еще недавно уверял, что ни залежи полезных ископаемых, ни железная дорога стране не нужны, теперь заявил: «*Мы твердо уверены, что комсомольцы, молодежь внесут свой достойный вклад в эту грандиозную стройку. Эстафету Комсомольска-на-Амуре, Магнитки и Турксиба, Днепрогэса и целины, Братска и КамАЗа они пронесут по новым, еще не освоенным просторам Сибири*».

Судя по отдельным упоминаниям в советской прессе, строительство Байкало-Амурской магистрали велось уже в самом начале 70-х годов. Но возьмем официальную дату — апрель 1974 года. Естественно предположить, что в условиях плановой советской экономики столь же четко будет определен и срок окончания строительства. Ничего подобного. Об этом историческом событии пресса писала поразительно невнятно. Назывались самые

разные сроки — и пять, и шесть, и семь лет. Прошел и 1982 год, а барабанного боя и грома литавров, всегда предшествующих «вводу в строй» даже куда менее значительных объектов, что-то не слышно.

Впрочем, надо ли удивляться? Речь идет о «стройке века» — сооружении уникальном, исключительном, не имеющем себе равных в XX столетии, а следовательно, и вообще в мировой истории. 3145 км пути; 25 км тоннелей; 3100 искусственных сооружений; около 150 мостов общей протяженностью 32 км...

Звучит впечатляюще. Но для объективного анализа масштабов и сроков одного только впечатления мало. Нужны объективные критерии, нужен эталон для сравнения. Такие критерии есть. И даже не один, а два.

Оказывается, идея строительства подобной дороги возникла еще в XIX веке. Уже в 1888 году Русское техническое общество серьезно и тщательно обсуждало вопрос, как и где проложить дорогу в Сибири, чтобы выйти к океану. Одной идеей дело не ограничилось: в том же году начались изыскания на трассе. Правда, царское правительство отнеслось к проекту холодно, и в тот период он не был осуществлен. Русские власти отклонили и предложение американского синдиката — построить дорогу по маршруту: Камск — север Байкала — Хабаровск — Николаевск-на-Амуре. Позднее предполагалось соединить эту дорогу — через Чукотку — с Америкой.

Среди многих других проектов, разработанных в последующие годы, особенно удачным был проект известного русского инженера (и еще более известного писателя) Гарина-Михайловского. Проект этот был представлен в двух вариантах: северном (собственно, по этой схеме и строится нынешняя дорога) и южном, по которому была проложена Транссибирская магистраль.

Проложена, заметим, в «отсталой» царской России. Без современной техники и передовых методов. Без пропагандистской шумихи о «стройке века» и «преимуществах социализма». Человек, знакомый с современной советской литературной практикой, с изумлением обнаружит, что у Гарина-Михайловского, автора проекта и писателя, нет романов об этом, действительно грандиозном по тем временам сооружении. А построена дорога была так, что допускала движение со скоростью 80-100 км, — далеко не все современные советские дороги способны выдержать такую скорость...

Правда, Транссибирская магистраль имела одну особенность. От Москвы до Иркутска это была обычная двухколейка, но дальше — от Иркутска до Владивостока — она переходила в одноколейку, пропуск встречных поездов на которой осуществлялся с помощью так называемых разъездов. Такое решение в начале XX века было вполне оправданным, ибо связь России с ее восточными районами осуществлялась в ограниченных масштабах.

Однако в 30-е годы эта особенность дороги стала вызывать беспокойство советских руководителей и, видимо, лично Сталина. Вряд ли их волновал экономический аспект проблемы — Забайкалье и Дальний Восток и в 30-е годы не играли особой роли в народном хозяйстве. Но Сталин, этот «самый великий дозорный», очень рано оценил военно-стратегическую об-

становку: одиночная колея была слабым местом всей системы сообщения между западной частью Союза и ее восточной частью. И при оборонительной войне на два фронта, и при наступательной — в направлении на Китай, Индокитай, Индию — нужна была мощная транспортная артерия, способная в считанные дни перебросить армию и военное снаряжение с запада на восток и обратно.

Надо думать, и тогда специалисты из Госплана были поставлены перед сложной задачей: откуда взять людей, технику, материалы. Ведь страна только-только пережила период тяжелейшего голода, вызванного коллективизацией. Сталин, однако, решил эту задачу с присущей ему гениальной простотой. К тому времени был успешно закончен «великий эксперимент» — строительство Беломоро-Балтийского канала. Канала, практически целиком построенного руками заключенных.

Сталину нужна была дорога. Заключенным — и тем, что остались в живых на Беломоро-Балтийском, и сотням тысяч других, уже арестованных или ждущих своей очереди, — нужно было найти работу. Строительство «Второго пути» (термин официальный) и было той гениальной идеей, которая позволяла сразу решить обе проблемы.

Советские историки и публицисты, много писавшие о Днепрогэсе, Магнитке и Турксибе, почему-то обошли вниманием это великое и чрезвычайно интересное предприятие. А ведь тут интересно всё начиная с названия. Термин «Второй путь» употреблялся сравнительно редко, гораздо чаще строительство называли БАМ — Байкало-Амурская магистраль. Ведь дорога и в самом деле шла от Байкала (Иркутск) до Амура (Владивосток). Ясно, что для нынешней стройки стоило бы придумать иное название или хотя бы именовать ее БАМ-2. Советские руководители (а вместе с ними историки, писатели, журналисты) предпочли, однако, забыть эти страницы отечественной истории...

Едва ли не единственное (по необходимости — весьма краткое и общее) описание этого грандиозного предприятия мы находим в эпопее А. Солженицына «Архипелаг ГУЛаг». Стройка называлась БАМ, и, соответственно, вся колоссальная система лагерей, протянувшихся от Иркутска до Владивостока, называлась БАМлагом. Начальником БАМлага был Н. А. Френкель, человек-легенда а, которому А. Солженицын посвятил несколько необычайно ярких страниц.

За отсутствием других источников сошлюсь на собственные впечатления. Мне, сыну осужденного по типовой 58-й статье и работавшего на БАМе (сначала в качестве заключенного, а затем досрочно освобожденного), довелось видеть и БАМ, и лагеря, и знаменитого Френкеля. Собственно, почти все, что было тогда на БАМе (включая школы и больницы), принадлежало БАМлагу — это была, вероятно, крупнейшая «корпорация» страны.

Поскольку сама эта тема выходит за рамки настоящего исследования, ограничусь лишь краткой справкой. Строительство было начато, видимо, в 1933—1934 годах, закончено — в 1939-м. Руководителем строительства (и не

номинальным, а фактическим) был Френкель. Сам он именовал себя агрономом по специальности, но, видимо, освоил железнодорожное строительство достаточно хорошо, ибо ни один существенный вопрос без его участия не решался. Он жил в специальном поезде, который мчался по трассе без расписания. К его услугам были дрезины и лошади, так что он мог осмотреть и любой участок пути, и любой лагпункт. Строилась дорога быстро (максимум 7 лет) и основательно: это была, пожалуй, единственная дорога в СССР, по которой поезда уже в 30-е годы ходили со скоростью свыше 100 км. Другой вопрос — чего это стоило сотням тысяч (а может быть, и миллионам) строителей-заключенных...

Если о БАМе-1 советская пресса не писала совсем, то о БАМе-2 она (и не только она) писала лишь в превосходной степени. Даже откинув риторику, читатель мог получить весьма впечатляющую картину стройки, олицетворяющей индустриальную мощь Советского Союза 70 – 80 годов XX столетия.

Самая передовая инженерная мысль. Превосходное руководство. Строители — почти исключительно добровольцы, отобранные по принципу «лучшие из лучших». Великолепная (с использованием сетевых графиков, ЭВМ и пр.) организация труда и производства. Самая современная техника. И т. д. и т. п.

А, собственно, почему бы и нет? Даже человек, критически мыслящий и хорошо знающий советскую действительность, вполне мог поверить, что уж это-то уникальное предприятие действительно ведется на уровне XX века.

Правда, в советских газетах изредка проскальзывали странные сообщения. О том, например, что управление строительством почему-то находится в Москве, а связь с объектами организована плохо: и телефоны, и радиотелефоны почему-то не работают. Или о том, что рабочие простаивают из-за отсутствия материалов, а «самые передовые» советские машины и механизмы ломаются, не выдерживая низких температур. И еще смутно поминались условия быта, — в некоторых местах они были далеки от идеала: мало школ, не хватает клубов, нет спортивных площадок...

Но все это, конечно, частности. В главном, в решающем стройка отвечает самым высоким требованиям. Стройка-эталон, предприятие эпохи развитого социализма, перерастающего в коммунизм...

Что ж, посмотрим, как это выглядит в действительности.

Журналист мог бы начать описание с гостиницы в городе Усть-Кут («западная столица БАМа») или с бараков, где живут передовые строители-комсомольцы. Исследователю надлежит начинать с проблем фундаментальных. Мы и начнем с проблемы фундаментальной в буквальном смысле слова — с того, на чем дорога строится.

Оказывается, что примерно половина трассы пройдет по вечной мерзлоте.

В XIX веке это обстоятельство стало одним из главных соображений против северного варианта и в пользу южного: он не связан с вечной мерзлотой. В прошлом веке специалисты не могли уверенно ответить на вопрос, как

поведет себя вечная мерзлота в условиях значительной нагрузки, создаваемой регулярным движением тяжелых поездов. Может быть, в XX столетии специалисты это знают?

Инженер (назовем его К.), с которым я беседовал на эту тему, объяснил мне, что нет, не знают. Опытом эксплуатации дорог на вечной мерзлоте мировая практика просто не располагает. Есть соображения в пользу того, что мерзлота выдержит нагрузку. Но есть и против. В свое время предлагалось построить небольшой опытный участок с интенсивным движением, однако предложение было отклонено «высокими инстанциями» за недостатком времени.

А что произойдет, если мерзлота не выдержит? Чтобы ответить на этот вопрос, не надо быть специалистом: дорога «поползет». Во многих городках на трассе я видел скособоченные и просто развалившиеся дома: они буквально провалились в болото, образовавшееся там, где раньше была непробиваемая подкладка вечной мерзлоты.

Знают ли советские руководители об опасности, которая грозит дороге на протяжении сотен километров, опасности, которая способна в считанные месяцы обратить в прах миллиардные затраты и труд тысяч людей? Знают, конечно. Просто не могут не знать. На что же они рассчитывают? А на авось. Авось, окажутся правы те, а не эти. Авось, пронесет.

Наивно думать, что авантюризм проявляется только на Кубе или в Афганистане. Авантюризм проявляется везде.

С окрестных сопок дорога выглядит очень эффектно: блестящие гигантские дуги, повторяющие изгибы Лены. Глаз невольно начинает искать вторую, парную колею. Но ее нет. БАМ — одноколейка. Факт этот нельзя скрыть, но акцентировать на нем внимание не принято. Тем более делать выводы.

А выводы напрашиваются. Оказывается, все эти колоссальные усилия и средства расходуются на дорогу, которая по самому своему замыслу неполноценна. Разумеется, проектом предусмотрены разъезды: иначе просто нельзя. Но самая усовершенствованная одноколейка нормальную двухколейку не заменит, — это ясно даже неспециалисту.

Уловить тут смысл трудно. В мирных условиях без этой дороги вполне можно было бы обойтись. В военных — она никак не заменит Транссибирскую магистраль. Какая же тут логика? Логика половинчатости. Нужна решительность, чтобы на запрос военного ведомства сказать «нет». Решительность нужна и для того, чтобы из скудных ресурсов страны урвать все количество металла, механизмов и прочего, что требуется для строительства полноценной дороги. Принимается «компромиссный» вариант: вроде бы и дорога строится, и расход не так уж велик... Половинчатость, неумение (или нежелание) оценивать ситуацию до конца — еще одна характерная особенность политики нынешних советских руководителей.

Для тех, кто проектировал дорогу, с самого начала было очевидно, что главная трудность строительства — коммуникации. По рекам, текущим с юга на север, можно летом доставлять материалы и оборудование в опреде-

ленные пункты. Зимой, используя накатанный снег (такие временные дороги называют «зимниками»), можно перевозить материалы и вдоль трассы. Но как перевозить их вдоль трассы во все остальные сезоны, в самое рабочее время?

Этот вопрос встал еще на стадии предварительного рассмотрения проекта. Группа опытных инженеров-путейцев решительно заявила, что проект в таком виде нереален. Нужно сначала — из местных («подручных») материалов — построить шоссе, а уже затем, параллельно ему, — железнодорожную колею. Правда, это потребует больше времени, но зато строительство железной дороги будет вестись быстро и рационально, а страна в дополнение к железнодорожной магистрали получит еще и шоссейную дорогу. Проект этот практически не рассматривался. Советские руководители, которые, как известно, во всех вопросах разбираются лучше специалистов, увидели в идее только одно — удлинение сроков. Проект был отклонен, в отношении авторов сделаны «административные выводы».

Все это было нетрудно. Гораздо труднее было решить вопросы снабжения. Перевозить оборудование и материалы по трассе сложно даже летом и зимой и совершенно невозможно осенью и весной, когда земля превращается в сплошное болото.

Попробовали вертолеты. Стоимость перевозок оказалась такой, что даже видавшие виды советские финансисты схватились за голову. Но выход, конечно, нашелся: ведь безвыходных ситуаций в Советском Союзе не бывает. Выход снова гениально простой. Решено было строить дорогу как бы в двух вариантах: сначала «начерно», на живую нитку, а затем уже «набело», по всем правилам. Эту «черновую», кое-как проложенную дорогу предполагалось использовать для доставки основных материалов и оборудования. На их основе и должен был совершаться процесс превращения временной, «черновой» дороги в постоянную, «беловую».

Все тут было учтено, кроме психологии. Предполагалось, что люди, которых на первом этапе прямо-таки учили строить тяп-ляп, на втором, когда им объяснят новую установку, мгновенно переориентируются и начнут работать основательно. Как ни странно, этого не произошло. Постоянный путь укладывался так же небрежно и плохо, как временный, — действовал привычный стереотип.

Известно, что работать хорошо — трудно. А в советских условиях — еще и невыгодно, потому что за качество не платят. В данном же случае основная часть средств, ассигнованных на строительство дороги, была израсходована при постройке временного пути, на постоянный остались крохи. Таким образом, работникам, получавшим за плохую работу довольно высокую оплату, предлагалось — за хорошую, т. е. гораздо более трудную и медленную, — получать несравненно меньше. Легко догадаться, что из этого вышло...

...По проложенным уже участкам пути поезда не ходили. Ходил тепловоз с двумя-тремя вагонами или платформами. Право водить такой «поезд» предоставлялось лишь опытнейшим машинистам, имевшим звание

«машинист-испытатель». Но, строго говоря, вел тепловоз — дело несложное — помощник. А машинист, высунувшись из окна по пояс, следил за дорогой, чтобы вовремя дать сигнал «Стоп!». Остановить поезд было нетрудно: предельная скорость на новой дороге ограничена — не свыше 5-10 км/час. И ремонт пути производили быстро: вдоль всего построенного участка дежурили ремонтные бригады...

Известно, кому Советский Союз обязан «великими стройками» прошлого (Днепрогэсом, Магниткой, БАМом-1). Их строили главным образом заключенные и так называемые *кулаки*, т. е. крестьяне, согнанные или бежавшие из разоренных деревень. А кто строит БАМ-2?

Советская печать отвечает однозначно: комсомольцы. Это правда, но не вся правда. Комсомольцы составляют лишь часть строителей и, видимо, небольшую. Не берусь судить о строителях «восточного» (от берега океана) участка дороги. Утверждают, что там работают преимущественно «добровольцы» из Северной Кореи, «одолженные» Советскому Союзу правительством этой страны в обмен на лес.

На западном участке строители представлены тремя разными категориями. Все наиболее сложные и ответственные работы (строительство мостов, тоннелей и т. п.) ведет армия — ее строительные инженерные подразделения. Основная масса чернорабочих — те же заключенные, но только «досрочно освобожденные». Живут они обычно в лагере, где отбывали срок, и там же работают. Отличие заключается в том, что на работу и с работы ходят без конвоя и, значит, вправе зайти в магазин за спичками. Съездить хотя бы в соседний городок они не могут — это приравнивается к побегу. А побег (как и любое серьезное нарушение) влечет за собой превращение «условного» наказания в безусловное, а может быть, и новый срок. (Конечно, и эта мера гуманнее, чем просто заключение. Но, думается, дело тут не столько в человеколюбии, сколько в финансах: охрана стоит дорого.)

Но ведь среди строителей есть и комсомольцы? Бесспорно. Более того, в массе своей они приехали на стройку добровольно, многие добровольно живут и работают здесь годами.

Как живут? Плохо. Даже из весьма сдержанных замечаний советских газет рисуется довольно мрачная картина. Поначалу жили в палатках и вагончиках, где отопление практически не работало (у девушек волосы ночью примерзали к подушке, приходилось отдирать), теперь — в общих бараках. Уборные, конечно, снаружи и не только не утеплены, но и не освещены. А скольжение на подходе к ним не хуже, чем на катке. И в баню, например, в Усть-Куте ездят за 17 км. И не машиной, городским автобусом...

Конечно, многие бегут. Но другие остаются. Зачем же люди живут в таких условиях? Проще всего это объяснить принуждением (хотя бы моральным) или высокой зарплатой. Но моральное давление нынче действует слабо, а зарплата не так велика (в среднем рублей 250), особенно если учесть, что цены в этих краях выше обычных. Нет, главная причина в другом. Большинство добровольцев — выходцы из сел и маленьких городов, где условия

по всем показателям (работа, заработок, обеспечение продуктами питания и вещами, обслуживание и т. п.) еще хуже.

Плохие условия? Но молодежь, основываясь на собственном опыте и на пропагандистских материалах, искренне убеждена, что на «великих стройках» именно так и должно быть: барак, холодная уборная, баня в 17-ти километрах. Правда, многие (особенно — девушки) болеют и теряют здоровье, но молодежь редко думает о таких вещах.

Разница в возрасте и жизненном опыте позволяет объяснить тот парадокс, что простые рабочие жили в палатках, а руководители стройки, которым были подготовлены вполне комфортабельные дома, упорно сидели в Москве, осуществляя руководство по неработающим телефонам. Все знают, что палатки и прочая «романтика» — для молодежи; на советских чиновников такого рода демагогия давно не действует. Только после того, как призывы печати (включая «Правду») наладить связь не дали результата, газеты робко намекнули руководителям стройки, что, пожалуй, не грех им поруководить на месте...

Говорят, что даже в Политбюро ЦК КПСС строительство Байкало-Амурской магистрали вызывает споры. «Практики» предлагали законсервировать стройку: слишком дорого и малоэффективно. Но «идеологи» решительно возражали: народу нужно знамя, предприятие, которое станет символом эпохи победившего социализма.

Ту же цель — показать предприятие эпохи победившего социализма — преследуют и эти краткие заметки...

1983, № 36

АЛЕКСАНДР ШАТРАВКА

Если ты болен свободой

Отрывок из книги

От редакции-1985

Восьмого октября Александру Шатравке исполняется 35 лет, — из них уже более десяти проведены в заключении. В 1973 году вместе с братом Михаилом он совершил побег через советско-финскую границу. Оба брата и два их подельника были взяты уже на территории Финляндии финскими пограничниками и переданы советским властям. В следственной тюрьме Александр Шатравка и его брат симулировали душевное заболевание, рассчитывая, как они полагали, отделаться недолгим пребыванием в психиатрической больнице. Их, действительно, признали невменяемыми и отправили на принудительное лечение в Днепропетровскую психиатрическую больницу специального типа МВД (т. е. психиатрическую тюрьму). Александр Шатравка был освобожден в 1979 году, пройдя еще через Черняховскую СПБ и больницу общего типа по месту жительства (он — уроженец Кривого Рога). В последующие годы он неоднократно подвергался насильственной госпитализации, а в 1982 году был арестован за книгу мемуаров «Если ты болен свободой, или Репортаж из желудка людоеда» и за сотрудничество с независимым пацифистским движением в СССР. 15 июля нынешнего года кончался его срок, однако за несколько месяцев до конца срока у него «нашли» наркотики и открыли новое дело.

О, как я не любил в этих стенах утро! Оно начиналось просто: неожиданно на стене включался динамик, и звучал украинский гимн, сопровождающийся шарканьем швабры дежурного по палате. Потом его сменяет гимн самого гуманного и демократического в мире государства.

— Оправка! Вставайте на оправку!

Лязгнул засов, и появился санитар. Начался новый день, не суливший ничего хорошего.

После завтрака ко мне подошел санитар:

— Пойдем, будешь мыть лестницы в коридоре.

Отказываться нельзя, придется мыть. В противном случае — инъекция аминазина или сульфазина, которые должны, по понятиям медперсонала, влить в тебя изрядную долю сознательности, поставить на путь истинный и научить покорности.

Тазик и тряпка уже ждали. Один больной уже заметал лестничный пролет, другой, старый дед, только успевал носить из туалета воду в тазике, а мы с напарником, размахивая по ступенькам тряпками, мыли лестничные марши.

Слабость и постоянное недомогание давали о себе знать. Работа давалась мне с большим трудом. К концу работы я вымотался полностью и уселся в изнеможении на крыльцо.

Вымыв лестницу, я считал, что моя работа на сегодняшний день окончилась, но, оказалось, ошибся. Лестница лестницей, а отделение — отделением.

Выгнав больных из палаты, санитар разделил все полы, стены и плинтусы на участки и закрепил каждого больного за уборщицами (которые командовали и санитарами, и больными, хотя убирать отделение было их прямой обязанностью). Больные, не жалея холодной воды, терли до блеска плинтусы и панели.

— Часто вы делаете такие уборки? — поинтересовался я у соседа.

— Как нечего делать уборщице, так она и выдумывает эти уборки. Это еще ладно! У нас хоть не каждый день, а в других отделениях от этих уборок житья нет.

...Обед прошел как обычно. Обычно в том смысле, что меню менялось в крайне узких пределах: овес сменяла пшенка, пшенку — перловка и т. д. К пище я успел привыкнуть настолько, что, глотая ее, не ощущал никакого вкуса, ел, чтобы просто жить. Наверное, подобные чувства испытывали и другие, потому как отходов от обеда оставалось очень много. Действительно, многие виды каш и сухую отварную капусту с кисло-горьким вкусом невозможно было есть. Особо тяжело приходилось тем, кто был забыт всеми родственниками и не имел денег на ларек, — эти вечно голодные бедолаги подбирали куски хлеба или оставленные кем-то объедки от домашних передач. Относить помои на тюремный двор, а стало быть, и побыть несколько минут на свежем воздухе — такой привилегией пользовались только посудомойщики.

...«Выходи на прогулку! Всем на прогулку!» — орал санитар в коридоре и открывал ключом палаты. Люди выходили, брали из брошенного на пол мешка зэковские кепки и строились. «Три часа уже, давай скорей стройся!» — подгоняли сами больные других, более нерасторопных. «Без кепок никого не выпущу!» — визжала пискливым голосом медсестра, нагнетая и без того нервозную обстановку. Наконец все выстроились. Шли драгоценные минуты прогулочного времени. «Ну, где она там? Что она там делает?» — бурчали больные меж собой. Вскоре ОНА появилась.

— Все здесь? А ну, иди, проверь по палатам, никого там не осталось? — приказала санитару медсестра.

— Все вышли, — доложил, вернувшись, санитар.

После этого нас выстроили по двое, и сестра всех пересчитала.

— Тридцать семь, — сказала она санитару.

Санитар шел вдоль колонны и, словно какие-то бревна, дергая за одежду, устанавливал тех, кто не стоял в паре.

— Тридцать шесть, — доложил он.

После всего этого взялся за дело за дело мент-надзиратель.

Мы стояли молча, в ожидании, когда закончится эта идиотская процедура. Мент, проверив все заново и сверив количество людей, выстроенных на прогулку, с количеством людей в надзорной палате, дал наконец «добро». Внизу уже стоял мент-контролер и махал дощечкой учета больных.

— Можно идти? — спросил сестру санитар.

— Стойте, стойте... А кто же из санитаров с вами пойдет? Ты ведь на надзорке остаешься, Латюхин.

Сестра остановила колонну и велела санитару позвать кого-нибудь из его коллег. Латюхин исчез. Колонна дожидалась санитара. Таяло драгоценное время. Санитар пришел только минут через пять.

— Выходи! Не растягиваться, — скомандовал он.

На прогулочный дворик прошли через центральный корпус, длинным обшарпанным коридором через первый этаж, миновали дежурку. Солнце палило безжалостно. Прогулочный двор представлял собой узкое пространство шириною метров пять и длиною тридцать пять. Двор был отгорожен штакетником и одной своей стороной примыкал к забору из выбеленных шершавых досок. Ржавые таблички, развешанные на нем, указывали, что за ним запретная зона. Едва ли не метровой высоты козырек из ржавой колючей проволоки и системы сигнализации опоясывал весь предзонник. Через двор тянулась длинная скамейка.

Во дворе люди бродили, кто парами, а кто сразу же шел в тень и садился на корточки. Медсестра, зэк-санитар и надзиратель болтали, усевшись в тени под корпусом, наблюдая за больными сквозь щели в штакетнике. Спустя немного времени во двор вывели 12-е отделение.

Солнце палило немилосердно, но раздеваться и загорать категорически воспрещалось. Но и тут находились хитрецы, которые закатывали майки на груди и тайком, озираясь по сторонам, воровали солнечные лучи. Однако эти маленькие хитрости редко ускользали от набитого глаза санитара или медсестры, и нарушителя быстро призывали к порядку.

Жара и лекарственная слабость разморили меня вовсе, и, усевшись на лавке, я принялся наблюдать за больными. Кое о ком я знал кое-что из их биографий и о преступлениях, за которые они тут находились. Многие отбывали наказания за тяжкие преступления, в основном за убийство родственников, своих же детей и соседей. Но меня интересовали люди, отбывавшие наказания по моей статье или за политическое инакомыслие. Одного из таких людей я уже заочно знал и теперь решил поговорить с ним.

Он тасовался[1] невдалеке от меня, своим широким, размашистым шагом, как маятник, взад-вперед; высокий, с белобрысой щетинкой на голове, — это Андрей Заболотный. Разговор завязался быстро.

Андрей сидел с 1967 года за попытку удрать из Союза. История его неудачного бегства меня сильно интересовала, и он обещал мне рассказать ее как-нибудь в другой раз поподробнее. Я, в свою очередь, рассказал ему о своей неудавшейся попытке бежать и спросил его совета: стоит ли давать раскладку[2] или нет.

— Попробуй, но мне кажется, это тебе не поможет. Они диагноз все равно не снимут.

— Выходи, второе! Время кончилось, выходи живей, стройся! — закричали сестра и санитар. — Двенадцатое, готовься!

За разговором неимоверно быстро пролетели 40 минут прогулочного времени. Только сильно давала о себе знать усталость.

По выходе из двора повторилась процедура пересчета, которая отняла еще добрых несколько минут прогулочного времени. Сзади выходило 12-е.

В отделении сразу же была объявлена оправка. Люди шли в туалет, в основном, для того чтобы отмыть ноги от черной угольной пыли, осыпая проклятиями того, кому пришла в голову мысль посыпать тесный прогулочный дворик перемешанной с углем землей.

В палате включили радио: «Шестнадцать часов — московское время».

— Минут тридцать пять-сорок погуляли, — произнес, неизвестно к кому обращаясь, Коля-армянин.

— На продукты выходи! — донеслась команда из коридора. Загремели засовы.

Люди выходили в коридор и строились в длинную очередь, набирали в миску кое-что из своего провианта, ставили миску на подоконник и возвращались в палату.

...Прошел ужин — считай и день прошел. Как долго тянулся этот душный, наполненный командами и покрикиваниями день! И сколько таких дней еще впереди! На душе стало муторно и невыносимо.

Каждое утро начиналось с ощущения неизвестности и тревоги: как пройдет день? Не сорвешься ли на этот раз, не поддашься ли на провокации, грубость и неприкрытые издевательства сестер и санитаров? Вдруг да и заступишься, не дай Бог, за какого-нибудь вконец больного человека, которого пинают ногами или лупят по ребрам большими ментовскими ключами и награждают подзатыльниками.

Проснулся и жду, как ждал и после всех прошлых ночей, этих страшных гимнов нового дня. Сколько ни думай, а время идет своим чередом. В напряженной тишине загудело радио. Динамик заполнил палату омерзительными звуками: звучали позывные украинского радио. Заиграл гимн

---

[1] Тасоваться (*жарг.*) — ходить туда-сюда, топтаться на одном месте.

[2] Раскладка (*жарг.*) — признание в симуляции.

УССР, сменившийся гимном страны огромной, «где так вольно дышит человек».

— На оправку! — закричал санитар, зайдя в палату, и стащил с Адама одеяло. — Адам, вставай живо за завтраком, тебе говорят!

...Оправка, оправка, завтрак, оправка, прогулка, оправка, ужин и снова оправка... И так все дни... Камера — уборка, камера — стол, камера — оправка... Нет, это даже не тюремный режим. Это что-то покошмарнее. Это что-то вроде дома пыток, где всё и всякая мелочь карается — карается страшной физической болью и куда еще более страшной душевной. Это — заведение, где чуть ли не каждый просит смерти, легкой смерти, но где невозможно это совершить из-за постоянного надзора. Не дай Бог какому-нибудь несчастному быть замеченным в попытке к самоубийству, или вдруг его успели откачать и возвратить из блаженного мрака в ужас реальности.

Шприц, словно злой рок, преследует узников этого ада. Он настигает их за всякую оплошность, а то — просто для забавы санитаров. И ходят, словно тени, его жертвы с перекошенными и отупевшими от нейролептиков рожами, держась от слабости за стенки. Но это не всё, это только начало. Конец и долгая развязка наступят тогда, когда тело и душа превратятся в сплошной комок боли, когда все мускулы будут выворачивать суставы, а душа — разваливаться на непостижимые части, связанные между собой лишь изуродованным болью и судорогами телом. Ты зовешь смерть-избавительницу, — но нет, дорогой, ты обязан жить в аду, и сердце твое, отбивавшее несколько мгновений тому назад последние удары жизни, подхлестнет все тот же неумолимый палач-шприц. Шприц накачает тело физрастворами, кордиамином и прочими живительными влагами, подготавливая его к новым пыткам.

Крепись, коль хочешь избежать всего этого. Старайся ничего не видеть. Не обращай внимания на все оскорбления и унижения. Не замечай жестокостей, творящихся вокруг тебя. А главное — молчи, больше молчи и повинуйся.

...Прошел завтрак. Сегодня — день бритья, которого никак нельзя избежать.

— Выходи на бритье! — кричит санитар и выпускает нашу палату.

Возле туалета, поставив на стол тазик с холодной водой, трое больных под бдительным наблюдением санитаров бреют безопасной бритвой других больных. Один из этих «парикмахеров» макает кисточку в тазик и намыливает ее о кусок хозяйственного мыла, после чего мылит по очереди наши рожи, макая время от времени кисточку в тазик, где уже плавает толстый слой соскабливаемой щетины. Намазавшись мылом, стою и я в ожидании, пока моя очередь дойдет до брадобрея. В нос вместе с мылом лезет чужая щетина, сильно хочется чихать.

— Как лезвие? — спрашиваю у брадобрея.

— Можно еще брить — считай, что повезло: ты третий.

Не нахожу слов описать то ощущение, которое я испытывал, — скажу одно: слезы непроизвольно текли из глаз, и казалось, что щетину не сбрива-

ют с моих щек, а просто сдирают с кожей вместе. В итоге такого бритья всегда оставалось с десяток порезов. Кровь текла, как с резанного поросенка.

— Задери голову, немного осталось, — слышу я и, повинуясь, зажмуриваю глаза. — Ну вот, вроде и всё. Готов. Как огурчик! — хлопочет брадобрей и берется за следующего.

Умывшись и заклеив лицо бумажками, лежу в палате и размышляю, что надо бы домой написать, чтоб выслали механическую бритву. Жаль, нельзя электрической. Ну, да Бог с ним, хоть механическую — не каждое ж воскресенье такие пытки терпеть. Смотрю в смотровое окошко, скоро ли кончится бритье и раздастся следующая команда: «На письма!»

Ручки, карандаши, бумагу, письма, конверты, фотографии хранить при себе категорически запрещается, в противном случае — «шило» (шприц).

Писать особенно нечего, потому как о том, о чем хотелось бы написать родным, писать запрещено. Если не хочешь подчиняться этому правилу, — пиши, и тогда твои письма не пойдут дальше урны в кабинете врача, а твой зад — дальше процедурной комнаты. Не вздумай писать о подлинном своем самочувствии. Пиши просто: «Нормально», — иначе враз подправят тебе его так, что в следующем письме напишешь: «Отлично». Питание, пиши, если не «отличное», то просто «хорошее». Обо всем пиши: «хорошо», — если хочешь, чтобы твое письмо дошло.

...Воскресенье — обычно наиболее спокойный день недели. По крайней мере, нет этих пустых и ненужных врачебных обходов. В воскресенье нет работ на вязке сеток-авосек. Вязание сеток — это не просто работа. Это трудотерапия, то есть лечение. Вяжут сетки, усевшись под стеной в коридоре отделения. Люди, словно пауки, плетут сетки, махая целые дни челноками и получая по 7 коп. за штуку. В течение месяца есть возможность заработать 8-10 рублей на ларек. За вязание сеток платить стали совсем недавно, и еще год назад людей заставляли вязать их совершенно бесплатно, мотивируя опять-таки тем, что это не работа, а нужная и полезная для них трудотерапия.

В воскресенье нет работ по протирке плинтусов и панелей, не заставляют перетряхивать постели, и чувствуется, как спадает общее напряжение.

Отсутствие врачей сказывается и на медсестрах. Некоторые забирают всю полноту власти в свои руки и, словно цепные псины, лают на весь коридор всю свою смену с пеной у рта, иногда сменяя крик на дикий смех. Другие сестры, но их было меньшинство, в воскресенье давали нам маленькие свободы. Некоторым, на кого не имел зуба санитар, они позволяли лишний раз сходить в туалет и перекурить, другим — зайти в соседнюю палату и сыграть партию в шахматы или нарды (игры, которые стали доступны больным всего год назад). Такие дни проходят куда спокойней и легче.

После обеда будет фильм, который крутит кинопередвижка, и прогулка. Фильмы показывают, в основном, старые и малоинтересные: про революцию, про войну 41-го или про трудовые будни советских людей. Очень редко показывают фильмы, которые можно смотреть с действительным интересом.

Кино в отделении показывали два раза в месяц , но иногда за несколько пачек сигарет, отданных зэку-киномеханику, удавалось посмотреть дополнительный фильм. Зрительным залом служил коридор отделения. Окно в конце коридора занавешивали одеялом, по стенам ставили несколько скамеек, а кому не хватало места, усаживались просто на пол, подложив под себя тощие подушки, предварительно сняв с них наволочки. Усевшись на лавку, откуда обзор был вообще никудышный, я вместе со всеми жду начала фильма. «Опять, наверно, привезли про этого лысого сифилитика...» — негромко высказался худощавый человек, сидящий возле меня.

Погас свет в коридоре, зажужжал проектор, и на экране действительно появился тот человек, о котором упомянул мой сосед.

Все палаты на время фильма закрывались. Не желающие смотреть кино могли пробыть это время в надзорке. К моему огорчению, все кровати в надзорной палате оказались занятыми, и волей-неволей пришлось до конца досматривать фильм, заполненный революционной галиматьей. Добрых три часа пришлось просидеть на лавке в томительном ожидании, когда этому фильму придет конец. Но, как назло, у киномеханика что-то постоянно не ладилось: то исчезал звук, то изображение, то совсем ломался аппарат, и киномеханик куда-то надолго убегал.

— По-быстрому всем на оправку и по местам! — скомандовала медсестра по окончании фильма, одновременно подгоняя санитаров.

День подходил к концу. В коридоре собирали людей, чтобы идти за ужином.

— Что, Коля, считай еще один день прошел? — тасуясь по палате, спросил я армянина.

— Ай, да ну их! Лучше не считать эти дни, — ответил армянин со своей койки.

Динамик на стене молчал — он всегда молчал, когда по радио передавали редкие эстрадные концерты. Стоит концерту закончиться, как он снова начинает выдавать «информацию».

Прошел ужин. За окном темнело. Яркая лампочка освещала палату. Как она надоела! Хоть бы одну ночь проспать в темноте! Когда наступит такая ночь, да и наступит ли она вообще? Я уткнулся лицом в подушку и, зажмурив глаза, стараюсь представить, что нахожусь в темноте; стараюсь вообразить тот далекий будущий день, — но ничего не выходит. Эта яркая лампочка, врезающаяся не только в глаза, но и в сознание, будет светить не одну тысячу ночей на пути к тому непостижимому концу. От подобных мыслей начинает кружиться голова, и рассудок приходит в состояние ступора. Ужасный и тяжелый путь предстоит пройти в сопровождении целой своры палачей: от санитара до мента, от рядового врача-психиатра до маститых корифеев по части «промывания» и «вправления» мозгов, не желающих становиться послушной шестеренкой параноидных коммунистических идей.

Вечерней прохладой потянуло из окна. Я повернулся и устремился взглядом в бесконечность Вселенной. Звезды хоть вольны — они в движении, в

отличие от меня, живого существа, для которого время остановилось, замерло. Два года бы осталось, если бы судили. Два года — это конечный срок, а не ужас неопределенности. И зачем только связался с этими психиатрами! Сиди теперь годами в этой конуре, где нет даже места для движения, где тебя будут брить и стричь, и гонять, как скот, под наблюдением санитаров. А когда конец? Через пять, восемь, десять лет? Когда?

Адам лежал на кровати, зажмурив глаза, и стучал себе кулаками по голове, приговаривая:

— Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Вот дурак! И надо же! Ай-яй-яй!

Внешне это выглядело забавно и отчасти отвлекало меня от собственных переживаний.

— Что такое, Адам? Что ты ахаешь?

— Ой, Шатравка, Шатравка! И за что только я, бедолага, сижу?

Адам считал меня очень грамотным человеком, потому что я объяснял ему незнакомые слова, услышанные по радио или вычитанные из газет: «демонстрация», «доллар», «якорь» и т. п. Он продолжал жаловаться:

— И надо же ему было так напиться! Старый человек — и так пил! Ай-яй-яй! И зачем он так напивался? Ведь я и в тюрьме никогда не был.

— За что ты сидишь, Адам? Наверно, кого-то замочил?

— Да нет! Отец мой старый... Сколько раз я ему говорил: не пей! не пей! А он все свое. Такой старый. И что ни день — то пьет да пьет. Ой, и надо же мне было в тот день его пьяного встретить! В калюже валялся пьяный и побитый весь, да и мне — надо ж было выпить в этот день! Ну и вытащил я его с калюжи. Пока тащил — видел, как он еще лупал глазами, а как вытащил, положил его, — он и не дышит. Ой, и надо же мне было его встретить! Напился такой старый... Ой-ей-ей!

— Ты, наверно, задушил его, пока тащил?

— Может быть... Я его одной рукой за шею тащил, но он, наверно, умер оттого, что побитый сильно был, а теперь это всё на меня записали.

— Сколько, думаешь, придется тебе пробыть здесь?

— Откуда я знаю? Вот уже пять лет как здесь. За это время и мать умерла. Так я ее с тех пор и не видел. Жинка бросила, к другому ушла. Что теперь с моим хозяйством? Как там хата? Кто за ней смотрит, и цела ли она? — жаловался он.

С великим удовольствием, забыв на время о своем горе и уйдя в счастливые дни своего прошлого, он рассказал, как крал зерно для своей скотинки из колхозного амбара на своем «самом лучшем в мире» мотоцикле М-5, какой он отличный танцор и гармонист и что навряд ли найдется на селе человек веселей его — Адама.

— Влип ты, Адам, но тебе легче — может, выпишут скоро?.. Ну, давай спать, уже отбой, — ответил я ему шепотом, боясь быть замеченным в том, что не сплю.

Адам — «директор» туалета, иными словами — уборщик. И эту свою должность он не отдаст никому. Как-никак туалет в течение дня приходится

убирать несколько раз. И на скрутку табачка он как-нибудь да выпросит. Навряд ли Адам — шизофреник. Дебил — это точно, хотя хитрости ему не занимать. Посылок он ни от кого не получал. Он был забыт почти всеми, но нет-нет да напишет ему письмецо девочка-племянница. Адам, как и многие другие, работавшие до попадания на спец в колхозах, государственной пенсии по болезни не получал. «Вам не положена пенсия, вы и так находитесь на полном государственном обеспечении», — говорили им врачи. Что правда, то правда: на полном государственном обеспечении находились спецовские колхознички, на таком обеспечении, на которое люди на свободе и надеяться не могли. Только упаси Бог от такого полного обеспечения даже врага, а не то что колхозника.

...Понедельник — день тяжелый.

Утро. Динамик зашипел, прогудел и замолчал. Через несколько секунд зазвучат гимны, возвещая о новом трудовом дне Страны Советов.

Ежедневные бесконечные уборки просто доканывали меня. Лестничная клетка, к которой меня приписали, выматывала не только силы, но и нервы. Хорошо, что сейчас лето и мало грязи, а осенью и зимой придется ее мыть по нескольку раз на день. И нет никакой возможности отделаться.

Сегодня до обеда в отделении генеральная уборка: в палате, сдвинув в одну сторону койки, драим и без того чистые панели и плинтусы. Моют все, кроме тех, кто вяжет сетки. И для чего эти частые уборки? — уму непонятно. Наверно, чтобы под воздействием нейролептиков, обладающих сильным снотворным эффектом, не валялись на кроватях без работы. Мы ведь тоже советские люди, и на нас тоже распространяется принцип: «Кто не работает, — тот не ест». — Так да здравствует же бессмысленный и дармовой тюремный труд! — сказал я себе, еще усерднее от злобы и горечи в душе натирая панели тряпкой.

По сравнению с другими, я получал небольшую дозу медикаментов: какие-то 100 мг тизерцина, превращавшие мое тело в неуправляемую, тяжелую груду мышц и костей, мозг — в машину для выполнения простейших потребностей организма. Каково же было тем, кто получал нейролептики примерно в два раза сильней и дозами, которые принято называть лошадиными. И хочешь — не хочешь, а три тряпкой, шевелись — только не спи. Протрет такой робот свой участок панели и стоит в изумлении, переминаясь с ноги на ногу, повесив руки в локтях, как передние лапы у кенгуру, в ожидании новой команды санитара.

...Обед. Усилием воли влил в себя кисло-соленую жидкость, которую не рискнул бы съесть даже тот индийский йог, который «гвозди жрал как колбасу», — затолкав ее комком сухой пшеничной каши с куском плохо осмоленной щетины. Запил всю эту бурду «компотом» и на этом закончил трапезу.

На прогулку собирались так же долго, как и в прошлый раз. Считали и пересчитывали нас сестры и санитары, пихали, тасовали, а кое-кто из замешкавшихся и подзатыльник успел схлопотать, а кто и сильный пинок под зад. Наконец всех сосчитали, и колонна тронулась.

Снова тот же прогулочный двор, к которому брезгливому человеку надо еще привыкнуть. Как-никак, а с девяти утра до пяти вечера на нем прогуливаются ни много, ни мало 1200 пациентов этой в своем роде оригинальной здравницы, оставляя всякие мыслимые и немыслимые испражнения человеческих ртов и желудков. На посыпанном углем, грязном дворе тут и там виднелись смачные плевки, сморчки, переливавшиеся на свету зеленоватыми и белесыми пятнами, которые приходилось с трудом обходить, и, самое отвратительное, приходилось дышать всеми этими нечистотами. Мало того, был и другой бич — зловонная река мочи. Туалет имелся рядом, в помещении хозобслуги, но туда никого не водили — не положено. И люди были вынуждены мочиться в углу двора, захваченные врасплох или с больными мочевыводящими органами. Это усугублялось еще тем, что многие препараты содержали в себе вещества, усиливающие мочеотделение. И течет желтая, зловонная река, заливая своей поймой едва ли не треть двора. Никакое солнце не в состоянии осушить ее за те минут пятнадцать, пока меняется контингент гуляющих. Сменились — и опять течет река, испаряя зловоние. Не двор для прогулок, а в прямом смысле слова отхожая яма.

Но для узников Днепропетровского спеца и погулять по дну этой отхожей ямы — короткая, но большая радость. Курильщикам здесь и покурить можно. Кури сколько влезет, если ухитрился достать махорки. И подымается голубой махорочный дым от блаженствующих курцов. И походить здесь можно — хоть и по мерзости, но все-таки не три шага, как в палате, а целых сорок. Правда, тесновато, но в палате не свободнее.

Главная беда не в том, что вонь и смрад стоят в этой помойной яме, где твои легкие, по идее, должны на сутки запастись кислородом, а в том, что и это короткое время прогулки урезается каждый раз минут на 10-15. (В тюрьмах тем, кто признан душевнобольными, полагается два часа прогулки.)

В разговоре с Андреем Заболотным узнал кое-какие подробности о его деле. Подобно нам, Андрей отчасти и сам был виноват, что попал на «дурку». Он, как и мы, не подозревал о существовании подобных помойных ям. На Днепропетровском спецу он находился с 1973 года и был переведен сюда с Ленинградского спеца, с одним этапом с двумя другими зэками.

— Одного из них уже выписали — Толика Чинова, — рассказывал Андрей. — Шесть лет он отсидел, а подельнику восемь лет дали. С высшим образованием парнишка, верующий. Они в Ватикан подались, но так как легально нельзя было, то решили рискнуть. Попались. Сейчас Анатолий в Туапсе живет, в зеленом хозяйстве работает. Писал мне, что документы ему на руки не выдают и записали его в материн паспорт. А второй, что приехал с нами, — вон, видишь? — Андрей показал на пожилого, с морщинистым лицом, человека в очках: — Это Борис Дмитриевич Евдокимов, писатель. Он из Ленинграда. Видать, власти не зря его сюда перевели, боятся его связей со свободой. А Днепропетровск — город закрытый, да и родным далеко добираться. Наверно, ему и умирать здесь: он уже не первый раз сидит за свои убеждения.

— А когда тебя выпишут?

— Кто его знает? — пожал он плечами. — Вот комиссия в июле будет, но навряд ли что получится.

Андрей говорил обо всех столь важных в его судьбе событиях спокойно, словно речь шла не о нем, а о ком-то третьем, постороннем. Видимо, он свыкся с мыслью, что незачем тратить эмоции на явления, от него не зависящие. Он продолжал:

— Чекисты нас тут держат — вот в чем суть дела. Приезжал как-то Рыбкин, главный психиатр МВД. Многих по нашим статьям вызывал, в том числе и меня. Я ему и рассказал, как симулировал в лагере, а потом и в институте Сербского. Так он меня и еще нескольких человек решил направить в институт на переэкспертизу. Но суд отказал. Видишь, даже сам Рыбкин тут бессилен. Теперь остается только ждать, когда-нибудь должны же выписать.

— Расскажи, Андрей, как ты попался, если не секрет.

— А чего тут скрывать? Давно решил я покинуть Советский Союз, а основательно взялся за осуществление лишь в конце шестидесятых. Устроился электриком в Одесском морском порту. Там одно наше судно стояло на ремонте, на нем я и решил бежать, как только узнал, что после ходовых испытаний оно должно идти за рубеж. В одном из носовых отсеков хранились всякие мало пригодные для частого пользования материалы: цемент, пластыри и прочая там дрянь. Понемногу я перенес туда продукты и запасся водой, наполнив автомобильную камеру. В этом отсеке меня вряд ли заметили бы, только до сих пор каюсь, что попросил одного знакомого парня-крановщика помочь мне. Он добросовестно мне помогал, но, когда судно вышло в море, пошел и выдал. Видно, нервы не выдержали, струсил: все-таки соучастник. В нейтральных водах погранцы остановили судно и без особого труда нашли меня со всем моим хозяйством. Посадили в Одесскую тюрьму и дали статью «измена Родине». На следствии дерзил здорово, двенадцать лет вмазали, чего, по правде сказать, и не ожидал. Писал жалобы. Срок начал отбывать на Потьме, но дело все-таки пересмотрели, двенадцать лет заменили на пятерку.

Андрей помолчал и, вздохнув тяжело, сказал:

— Надо было мне отсидеть эту пятерку — и дело с концом, уже третий год дома был бы. Да-а, — протянул он.

Наверно, в эту минуту он в который раз проклинал себя и тот день, когда ему в голову пришла мысль «свалить на дурку».

— Ты знаешь, это сейчас пятерка, когда на нее смотришь с конца, кажется небольшим сроком, а тогда пятерка... И тем более — за что? Я все равно считал приговор несправедливым. Меня должны были судить за попытку перехода границы. Вот тут-то и решил «гнать». Немецким языком я владею отлично, как своим родным украинским. Начал писать во все инстанции, что я, мол, немецкий разведчик. Результата долго ждать не пришлось. В конце шестьдесят девятого дернули из лагеря в институт Сербского. Вот там-то я и постарался от души. Дали диагноз, актировали.

Каково было мое разочарование, когда меня привезли на спец в Ленинград! Во-первых, я узнал, что теперь мне статью заменили на переход границы, а спец, хоть и Ленинградский, с лагерем не сравнишь — дыра настоящая. И пробыть бы мне пришлось на нем неизвестно сколько. Тут-то я и дал раскладку врачам, как «гнал», — только везите обратно в лагерь. Но все мои старания оказались напрасными. Врачи сказали: «Будешь лечиться». На спецу имелись свои профессора, не ниже сербских, так они мне диагноз изменили на более мягкий: «маниакально-депрессивный психоз». Мой врач пообещал мне тогда годика через три выписать. Вот и «выписал», только в еще худшую дыру.

Андрей замолчал. Видать, ему тяжело было вспоминать все это, и он никак не мог смириться с той участью, которую приготовила ему психиатрия.

Повествование Андрея заставило меня задуматься и над моим собственным делом. Истории наших побегов были чем-то схожи, моя даже несколько посерьезней: мы все-таки перешли границу и на следствии дерзили не меньше. И где гарантия, что придется пробыть в этих стенах пять лет? Я старался уцепиться за этот предполагаемый срок, большой срок для человеческой жизни, но очень маленький для этого места.

В памяти возникла живая картина прошлогодней давности.

...Лес резко оборвался, и глазам предстал выруб, простирающийся на многие километры, с огромными соснами. В синеве туманной дали одиноко стояла, поджидая нас и готовя нам укрытие, поросшая лесом сопка. Там навряд ли нашли бы нас финские пограничники...

Что было, то было! Теперь ничего не изменишь. Перед глазами была Днепропетровская клоака. Я проклинал в душе и себя, и эту финскую баньку.

В уши ворвалась команда мента:

— Выходи, двенадцатое! Второе, готовься! Прогулка закончилась.

На следующий день нас подняли еще до подъема — предстояла баня.

— Вставайте! Подъем! Снимайте белье с постелей, баня! — кричал санитар, зайдя в палату.

В тесной, обшарпанной, темной полуподвальной раздевалке раздевались люди, стараясь занять место на вешалке. Медсестра с санитарами стояла в проходе, наблюдая за нами.

Восемь разных леек едва лили теплую воду. Намылившись куском серого, хозяйственного мыла, люди ждали места под лейкой. Обнаженные тела их, за редкими исключениями, выглядели жалко. Бледные лица, тела с атрофированными мышцами отдавали мертвецкой синевой. Животы висели, как надутые бараньи пузыри. Видно было, что этот каменный мешок за годы заточения высосал из них жизненные соки, превратил живых людей в покойников с бьющимися сердцами.

Мой вид становился не лучше. Живот начал выпячиваться на худом теле, мышцы куда-то исчезли. Чем помочь себе, чтоб избежать участи этих людей? Единственный выход — физические нагрузки и движение. Но нагрузки не под силу из-за действия тизерцина, который полностью рас-

слаблял мышцы, а для движения не было места. Как научиться воровать солнечные лучи? Как свести за короткие минуты прогулки прозрачную синеву с тела?

Ополоснувшись, я выскочил в раздевалку. Подойдя к окошку для выдачи белья, я был поражен. Несколько плохо оструганных гробов стояли в комнатушке за окном выдачи. Больной, разложив на них белье и сам почти вплотную прижатый ими к окну, вертелся, выдавая белье.

— Почему здесь гробы? Что их — хранить, что ли, негде? —спросил я его.

— Тут рядом морг, — он показал на дверь в стене.

Вот почему здесь так часто употребляется выражение «выписался через баню». Я догадывался, что оно значит: на тот свет, — но что это так конкретно, — я не думал.

Мне и еще одному парнишке поручили сделать уборку в бане.

— Только поживее! В раздевалке воду сметите и протрите, — торопил санитар.

Справившись, мы встали в ожидавший нас строй.

— Все здесь, — доложил санитар медсестре.

В отделении существовал строгий порядок в отношении заправки кроватей, за которым ревностно следили санитары и сестры. Лежать на заправленной кровати категорически запрещалось. Хочешь лечь, — раздевайся и разбирай постель. Но сидеть на незаправленной постели не разрешалось. При бесчисленном множестве команд приходилось по многу раз на день заправлять и разбирать кровать. Сидеть в палате было больше не на чем.

Перед самым обедом меня вызвали на свидание.

— Ведите его на свидание, только сначала переоденьте, — приказала сестра санитару.

— Ну-ка, покажись, брить тебя надо? — разглядывая меня, спросил санитар.

Вспомнив, во что мне обойдется это бритье, я счел за благо отказаться. Переодевшись в новый зэковский костюм и натянув на стриженую голову лагерную кепку, я пошел на свое первое свидание.

Мне было интересно знать, увижу ли я брата, узнать, как у него обстоят дела с работой и «лечением». Погруженный в эти мысли, я в сопровождении санитара спустился к воротам, через которые мы с братом совсем недавно попали в эти психиатрические застенки. От свободы нас отделяли еще двое ворот. Как это мало и как бесконечно много!

Несколько больных в сопровождении своих санитаров стояли у ворот. Вышел мент с кипой бумаг в руках, сделал перекличку и повел в комнату свиданий. Мы вошли внутрь административного корпуса, и нас провели в небольшую узкую комнату. Всех усадили на длинной лавке под стеной в ожидании родственников. Два барьера, между которыми был довольно широкий проход, делил комнату свиданий на две части. По другую сторону барьера стояла скамья для посетителей. В проходе ходил мент в белом халате. Санитары уселись на лавке в конце прохода и о чем-то болтали.

Уселись вошедшие родственники, и завязался оживленный разговор. Мент в проходе следил за разговором и за тем, чтобы ничего не передавали из рук в руки. Вдобавок, за спинами посетителей стояла медсестра, которая тоже старалась не упустить ни слова из разговоров.

— Разговаривать только по-русски, — предупредил мент приехавших на свидание кавказцев.

Старые родители, приехавшие на свидание с сыном из далекого аула, слышали русскую речь, наверно, только по радио или при редких выездах в город. Теперь они вынуждены были молчать. Они со страхом поглядывали на строгого «доктора» в белом халате, которого они смогли так разгневать своей непонятной для него речью. Молодой смуглый паренек, по-видимому, был младшим сыном своих пожилых родителей. На вид он выглядел очень больным. А может, это было от лекарств. Он старался говорить с ними по-русски, сильно коверкая слова, так что его и русский не смог бы понять, не говоря о родителях-горцах. Они только молча глядели на него полными печали глазами, озираясь время от времени по сторонам, и робели, как дети, когда «доктор», прохаживаясь, останавливался возле них.

— Тише! Тише! Прекращу свидание, если будете так кричать. Разговаривайте спокойно, — перекрикивая шум, предупреждал мент, когда комнату заполнял сплошной шум человеческой речи. Но разговаривать спокойно можно было бы только в том случае, если бы говорили всего две пары, и то в разных концах комнаты. Каждый старался сказать хоть немного громче соседа, чтобы родные поняли его слова. Шум нарастал с каждой секундой, перерастая в сплошной гул, и это продолжалось, пока грозный голос мента не водворял временную тишину. Так проходил весь час, отведенный для свидания.

При всех этих недостатках у комнаты свиданий есть свое преимущество. В этом балагане в момент, когда шум голосов достигает своего апогея и мент уже не может толком понять, кто о чем говорит, ты можешь сказать буквально все, что считается неположенным, или узнать интересную новость. Желание ментов сделать условия свиданий как можно более жесткими и неудобными сослужило им же плохую службу.

Меня на свидание с родителями привели первого — Мишу приведут позднее. Мать с отцом сидели напротив, не зная, с чего начать разговор после такой разлуки. Тизерцин сильно утомлял меня, и все вопросы, которые я приготовил накануне свидания, совершенно вылетели из головы. Разговор начался с того, что родители сообщили мне новость, которая привела меня в еще большее отчаяние:

— Толик с Борисом в Сыктывкаре — как там называется, на «химии», что ли? Толик работает шофером, Борис сейчас в колхозе на уборке картофеля. Пишет Борис, что устроился неплохо... — сказала мать, смотря на меня своими печальными глазами.

Дальше я уже ничего не мог расслышать.

Со свидания я шел разбитый. Значит, подельнички сейчас на «химии», без конвоя, считай на воле. А тут постоянно думай, как лгать психиатру и

сестрам, чтобы убедить их, что ты выздоравливаешь, лгать так, чтобы и самому порой верить в собственную ложь.

А им этого не нужно. Они и представить себе не могут, какую беду мы себе уготовили. Счастливчики! А тут жуй овес и запивай его лекарствами. Как эту новость воспримет брат?

До позднего вечера вспоминал я Петрозаводскую тюрьму, где мы были все когда-то вместе. Тюрьма вспоминалась сейчас в самых радужных тонах, и год, проведенный в ней, казался мне годом отдыха. Для Бориса и Анатолия тюрьма — наверняка самое мрачное место в их воспоминаниях, да и то канувшее в далекое прошлое. А здесь — только начало. Самое страшное начало — начало без конца.

Мысль о том, что ничего изменить нельзя, вызвала страшное отчаяние — крик, рвавшийся из глубины души, удалось удержать с невероятным трудом. Крепись, возьми себя в руки. Нельзя, чтобы твое истинное состояние видели сестры или врачи. Если заметят что-либо — решат, что возбудился, а значит, нужна срочная «медицинская» помощь. Лечить и лечить! Вот тогда шприц и загуляет по твоему заду, тогда-то и будет по-настоящему невыносимо по сравнению с тем, что сейчас.

Крепись! Люди вынесли, и ты вынесешь, куда денешься, старался я как мог успокоить себя. Но легче от этого не стало.

1985, № 45

ИГНАТИЙ ШЕНФЕЛЬД

Наследник из Калькутты

Рассказчиков, которые могли «тиснуть роман», было много, но достигших класса «звонаря» можно было сосчитать по пальцам. Роберт Александрович Штильмарк был непревзойден как в пересказе, так и в импровизации. Слава о нем неслась по лагерям Крайнего Севера, как по кочевьям казахских степей летела слава великих акынов.

Родился он в 1909 году в Москве, в семье обрусевших скандинавов. Его предки переселились в Россию еще в петровские времена и, как все добрые скандинавы, вели свой род чуть ли не от короля Олафа XIV века. Семья была сугубо интеллигентская: дед — адвокат, отец — химик, непременно желавший, чтобы сын пошел его стезею. Роберт, однако, предпочел выбрать литературу. На этой почве возник семейный конфликт, и сыну пришлось рано стать самостоятельным. Поступил в ВЛХИ имени Брюсова, который потом реорганизовался в Высшие литературные курсы. Учился он на вечернем отделении, а днем работал где попало: топографом-нивелировщиком на планировке Москвы, лектором, охотником, руководителем самодеятельности в клубах, даже тапером в кино, пока оно было немым.

Еще до окончания института стал заниматься журналистикой. В 1932 году выпустил первый сборник очерков. Затем долгое время служил референтом по Скандинавии во Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей. Ему приходилось беседовать и переписываться с Мартином Андерсеном Нексе, Карин Михаэлис, Рабиндранатом Тагором, Роменом Ролланом, Бернардом Шоу. Незадолго до войны читал курс русского языка и вел семинары в нескольких учебных заведениях.

С первых дней войны Роберт находился на переднем крае. После третьего ранения и тяжелой контузии в 1943 году его отправили на курсы усовершенствования офицерского состава, а затем в Военно-топографическое управление Генштаба для преподавательской и редакционной работы.

За месяц до конца войны, в апреле 1945 года, его арестовали. Ордер на арест подписал лично Берия. Особое Совещание приговорило Штильмарка к восьми годам заключения.

В лагере он работал на общих и снискал себе известность среди товарищей по несчастью как лучший «звонарь». Благодаря феноменальной памя-

ти, Штильмарк мог на протяжении многих часов и дней воссоздавать сюжетные линии шедевров приключенческой литературы. Он хорошо помнил и лучшие детективные романы того времени. Особенным успехом пользовались авантюрные повести о ловких проделках преступников, одерживающих верх над полицией и исправляющих ошибки правосудия, — всяких Рокамболей, «Красных валетов» или Соньки Золотой-Ручки.

В зависимости от состава слушателей Штильмарк приправлял свои повествования более или менее обильным вымыслом. Благодарность свою зэки выражали тем, что делились со «звонарем» последней закуркой и лишним куском хлеба. Лагерному начальству не было до этого никакого дела, для них Штильмарк был врагом народа, к которому надо было относиться без всяких поблажек.

На 33-ю колонну строительства № 503 Роберт Штильмарк попал случайно. Весна 1950 года была на редкость холодна даже для Крайнего Севера. Лед в низовьях Енисея не хотел тронуться, а в мае свирепствовала еще ледяная пурга и все проходы были занесены снегом. Невзирая на это, в управлении, ведающем прокладкой новой железнодорожной трассы Игарка-Дудинка-Норильск, решили отправить несколько партий зэков, чтобы они основали новые лагпункты вдоль запроектированной магистрали. Сегодня всем уже известно, что из грандиозного плана Сталина связать железной дорогой Салехард с Норильском по Полярному кругу ничего не получилось, и осталось в памяти только одно название — «Мертвая дорога». Мертвая не только потому, что недостроенные и заброшенные пути никуда не ведут, но и из-за сотен тысяч погибших здесь зэков, которые в условиях вечной мерзлоты, орудуя только топором, киркой и лопатой, должны были удивить мир размахом социалистического строительства.

В составе одной из партий, пробивающихся на север, находился и Штильмарк. Ему повезло. Когда Роберт, обессиленный, свалился с воспалением легких, конвой его не добил, а отвел в ближайший, только что организованный лагпункт — на 33-ю колонну. Это было километров за сто от обжитых мест. Условия быта самые примитивные: электричества еще не было, воду возили из реки в бочках, срубленные на скорую руку бараки были сыры, не хватало всего необходимого. Порядки были там диковинные. Среди сталинских лагерей были и такие, где сотни людей отдавались фактически во власть одного человека из заключенных. На 33-й колонне таким был всесильный нарядчик Василий Павлович Василевский, абсолютно неграмотный «бытовик» с большим уголовным прошлым, имевший за собой уже несколько судимостей. В энергии и предприимчивости ему нельзя было отказать. Мощные связи с органами выдвинули его на руководящую должность, и он быстро стал любимцем лагерного начальства и кумиром воров, которых всячески поощрял.

Когда через некоторое время Штильмарк выкарабкался из болезни, Василевский направил его на лесоповал. Иногда, когда в редкие свободные часы Роберт Александрович, уступая просьбам собригадников, начинал

рассказывать, Василевский останавливался позади толпившихся слушателей, внимал свободному ходу повествования и что-то себе на ус наматывал.

Однажды позвал он Штильмарка к себе и долго расспрашивал о его прошлом. Затем спросил его прямо, мог ли бы он написать роман, настоящий оригинальный роман по его, Василевского, заказу. А заказ был таков: роман должен быть о «похищении ребенка, об охоте на льва, чтобы не было про Россию, и не ближе как сто-двести лет назад».

Выслушав эту галиматью, которая должна была лечь в основу сюжета, Штильмарк растерялся, не зная, что делать — расхохотаться или рассердиться. Но Василевский тут же обещал перевести его на такие виды лагерных работ, которые оставят время для писания: дезинфектор в бане, сторож склада, рабочий топографического отряда. Кроме того, он обязался снабжать Штильмарка бумагой и табаком. Ничего удивительного, что Штильмарк согласился. Ведь это был шанс на жизнь, и его нельзя было упустить.

Василевский же отнюдь не бескорыстно стремился помочь Штильмарку. Дело в том, что по советским местам заключения рассказывалась легенда, часто поддерживаемая следователями, что якобы за лагерный подвиг — полезное изобретение, рационализацию производства, научный труд или произведение искусства — можно добиться освобождения. Назидательным примером служило дело профессора Рамзина, который на процессе Промпартии в 1930 году был приговорен к длительному заключению и несколько лет спустя за техническое изобретение освобожден и возвращен на прежние должности. Это был прототип гитлеровского лозунга на воротах концлагерей: «Арбайт махт фрай!»

Роман нужен был Василевскому, чтобы выдать его за свой собственный и добиться от Сталина отмены своего 12-летнего срока заключения. Кроме того, он хотел повысить свой авторитет перед лагерной администрацией созданием исторического романа в таежных условиях.

Штильмарк принялся за работу. Писал на крошечных листках почтовой бумаги, на порезанных мешках из-под цемента, часто при светильнике собственной конструкции — жестяная банка с керосином, из которой торчал ватный фитиль (он называл ее «зов предков»). Не было никакой возможности посмотреть на карту мира, заглянуть в элементарный справочник, энциклопедию, словарь.

Работа захватила его целиком. Это было бегство от окружающего и в то же время осуществление давних, еще довоенных замыслов большого романа. Повествование быстро подвигалось, действие перебрасывалось с одного континента на другой, росло число действующих лиц, искусно переплетались и осложнялись интриги, множились коварные убийства, похищения, побеги из тюрем, акты отчаяния и жертвенности. Память и эрудиция позволили автору воссоздать на этих клочках бумаги вторую половину восемнадцатого века во всем его великолепии, с возвышенными свободолюбивыми стремлениями и небывалым развитием крупного английского капитала. Писал с увлечением, стараясь растянуть и продлить состояние творческой эйфории. Однако Васи-

левский торопил с выполнением заказа, и по истечении полутора лет шестьдесят авторских листов романа «Наследник из Калькутты» были готовы.

Теперь приступили к работе переписчики, тщательно отобранные Василевским среди квалифицированных фальшивомонетчиков. С усердием средневековых монахов из ордена бенедиктинцев покрывали они листы специально выписанной бумаги четким каллиграфическим рондо, украшая каждую страницу виньетками. На титульном листе трехтомной рукописи, переплетенной в синий шелк из отнятой у эстонцев рубашки, Василевский велел поставить свое имя. Лагерный художник сделал карандашный портрет мнимого автора, который был вклеен перед титульным листом.

На соседнем лагпункте работал прорабом один старый зэк, бывший когда-то литературным критиком. Василевский послал ему «свой» роман для отзыва и получил восторженный ответ. Но в то же время старый дока высказал свое сомнение в том, поверят ли высшие инстанции в авторство Василевского. И тот, опасаясь, что ему придется где-то отвечать на вопросы по существу написанного, чего он, конечно, по малограмотности сделать не мог, решил все-таки добавить мельчайшими буквами имя своего «соавтора».

Некоторое время спустя «шестерка» Василевского, пылкий поклонник таланта «звонаря», тайком предупредил Штильмарка, что Василевский решил избавиться от невыгодного «соавтора» и договаривается с несколькими уголовниками об его убийстве. Хорошо зная, как легко можно в лагере инсценировать «несчастный случай» или просто придушить человека, Штильмарк побежал на вахту и заявил надзирателям, что он не останется в зоне, где его жизнь подвергнута опасности. Не подействовали ни угрозы, ни увещевания — Штильмарк настоял на своем, и его включили в отправляющийся наутро небольшой этап. Таким образом Роберт Александрович оказался вне власти Василевского.

Время летело, Сталин умер, Берию ликвидировали, а Штильмарк, отбыв свой срок, попал в ссылку в Енисейск. Там судьба свела его со своей бывшей ученицей из Московского педагогического института. Она вышла за него замуж и тут же была уволена с преподавательской работы за связь со ссыльным. Когда они переселились в близлежащее Маклаково, где Роберт стал работать топографом, я заходил к ним, и разговор часто переключался на пропавший где-то в недрах ГУЛага роман «Наследник из Калькутты». В 1955 году, когда уже началась хрущевская оттепель, Роберт написал своему проживающему в Москве сыну, чтобы тот попытался узнать, какова судьба Василевского. Вскоре выяснилось, что Василевский попал под амнистию 1953 года и проживает теперь в Ульяновске. Даже адрес был приложен.

Скрепя сердце, Роберт отправил ему любезное письмо и получил ответ, что рукопись лежит в архивах ГУЛага. Началась оживленная переписка, в результате которой Василевский согласился подписать доверенность на получение Робертом рукописи и управление издательскими делами.

Рукопись вернулась к автору, и он стал заниматься редакционной обработкой своего романа. Сократил объем с шестидесяти до сорока трех ав-

торских листов, проверил точность исторических дат и географических данных, отбросил некоторые эпизоды, добавил новые, не нарушая, однако, ни композиции произведения, ни сюжетных линий. Ему хотелось побыстрее отправить рукопись в издательство.

Кончался год 1955, и неожиданно комендант поселка сообщил, что я свободен и могу возвращаться в Польшу. Я собрался, попрощался с друзьями, в том числе с Робертом и Маргаритой Штильмарк.

В Варшаве я быстро включился в нормальную жизнь, стараясь поскорее забыть тринадцать лет скитаний по тюрьмам, лагерям и ссылкам, и ушел с головой в литературные дела.

Летом 1958 года открылась в Варшаве большая выставка советских литературных новинок. В надежде, что наткнусь на что-либо интересное, я обходил стенды с книгами, и вдруг мой скучающий взор остановился на толстой книге в зеленом коленкоровом переплете с изображением на обложке горбоносого джентльмена в треуголке, в узорчатом сюртуке с кружевным жабо, при шпаге и с пистолетом в каждой руке. Повеяло от той обложки пороховым запахом приключенческих романов викторианской эпохи — Стивенсона, Саббатини, Коллинза. Я взял книгу в руки и прочел название «Наследник из Калькутты». Мое сердце дрогнуло от радости, которая тут же погасла, когда я увидел фамилии авторов: Р. Штильмарк и В. Василевский.

Я купил книгу и придя домой углубился в чтение предисловия «От авторов»: «*Мы начали работать над романом в экспедиционно-полевой обстановке, двигаясь по зимней заполярной тайге с первыми строительными партиями, следом за изыскателями. Каждый грамм поклажи означал лишний расход сил, поэтому беллетристических книг брали с собой очень мало. Тем острее наш первоначальный коллектив испытывал потребность во всех средствах культурного отдыха, хотя часы этого отдыха на первых порах были, конечно, недолги.*

Среди рабочих первых изыскательских и строительных партий было много смелой и веселой комсомольской молодежи. После напряженного трудового дня молодежь собиралась у «Огонька», пела песни и читала взятые с собой книжки. Они были быстро прочитаны, новых поступлений ждать пока не приходилось, и наш «кружок у костра» стал, так сказать, ареной проявления всех самодеятельных талантов.

Наш коллектив принес с собой в Заполярье чувство товарищества, комсомольский задор...»

Я перевел дыхание и прервал чтение. Ведь это опять старая мистификация и очковтирательство. Мне вспомнилось, как в 1946 году на строительство гидроэлектростанции на реке Косьве на Северном Урале приехали кинооператоры, чтобы заснять пару кадров для кинохроники. С зэков сняли лохмотья, переодели в приличную спецодежду и велели улыбаться в объектив. Спустя некоторое время лагерная передвижка демонстрировала у нас в клубе репортаж с комсомольской стройки на Урале. Во вдохновленных решениями партии строителях зэки узнавали себя самих.

Я читал дальше:

«*...И вот однажды зашла речь о том, как же раньше, в другие времена и в других странах осваивались новые земли, как возникали поселения людей, приходивших из-за моря на другие материки, какие цели ставили перед собою. Вот тогда-то и возник у нас замысел этого романа, ибо готовой литературы, освещающей эту тему, не оказалось.*

Оба автора по годам были старшими членами описанного дружного коллектива. Вместе с техническими специальностями мы принесли с собой в этот коллектив некоторый литературный опыт, любовь к исторической теме, острую ненависть к живучему мифу о добром старом времени капитализма. И мы решили попробовать свои силы на поприще устного "самодеятельного творчества" в качестве романистов-рассказчиков у костра. Повествование наше слушалось у костров, в палатках и бараках с неослабевающим интересом. И вот, учитывая, что любая аудитория рассказчика все же поневоле ограничена, мы решили взяться за перо, чтобы превратить наш устный роман в книгу...»

В таком духе были написаны все десять страниц этого авторского предисловия. Как же могли заставить бедного «звонаря» участвовать в такой липе и терпеть имя Василевского рядом со своим?

Я раздобыл адрес Роберта и написал ему, что в силу своего положения я готов содействовать переводу романа на польский, а затем изданию его, но, зная истинное положение вещей, не соглашусь на «соавтора» и на лживое предисловие.

Через какое-то время поступил ответ:

«*Купавна, 18 сентября 58 г.*

Дорогой друг!

Письмо твое доставило мне и Маргарите Дмитриевне большую радость, только, к сожалению, оно очень долго до меня шло, так как адрес был указан не совсем точно. Пока позволь мне поблагодарить тебя за внимание к моей книге, которую ты имел возможность видеть в рукописи и своеобразная история создания которой тебе известна. [...] *Разреши кратко ответить на те несколько замечаний насчет моего "Наследника", которые ты делаешь в своем письме...*

Зная тебя просто как моего доброго друга, столько раз помогавшего мне своим оптимизмом и добрым словом в незаслуженно трудные годы, я рискую поставить тебя в известность о неком конфликте, который ты поймешь, как никто другой... Итак, ты прекрасно осведомлен об истории "Наследника". Одним из первых знаешь, что такое Василевский. Человек этот одно время сильно облегчил мне жизнь своим заказом на "роман", исполнение которого и дальнейшая судьба тебе известны.

Я получал все время от него очередные доверенности на ведение всех дел издания (иначе я не мог, ведь в ГУЛаге рукопись лежала в соответствии с его заказом от его имени, и лишь как второе лицо к рукописи было под конец подклеено мое) и на получение денег. Это было формальностью, ибо он всегда подчеркивал свою незаинтересованность в деньгах.

Теперь он терпеливо дождался, когда я выпустил книгу (тираж — 90 тысяч), и получил от меня большие деньги — 27 500 рублей, нашел, что этого мало, и решил меня шантажировать (в точности и абсолютно так, как ты это дословно предсказывал, почему я и пишу именно тебе об этом) и, угрожая наложить арест на мой текущий счет и взять обратно доверенность, требует не больше и не меньше, как половину гонорара (у меня же денег больше не осталось, как ты понимаешь).

Этого можно было ожидать. Я не думаю, чтобы у него что-нибудь получилось с шантажом (а каков мерзавец-то, а?), но во всем этом деле есть одна ахиллесова пята: почему я, после моей полной судебной реабилитации, после восстановления меня в армии, чинах, званиях и т. д., после компенсации мне имущества, присуждения московской квартиры, восстановления во всех правах, — почему я не сказал в Детгизе, что Василевский — чисто формальный соавтор и сомнительная личность. Скажу тебе откровенно, не сделал я этого потому, что издание книги висело на волоске: у нее было мало доброжелателей и много недругов. Поэтому-то я и поостерегся еще и тень бросить на своего соавтора, надеясь, что он поймет, какова была его роль и моя в этом героическом продвижении книги до читателя. А всего четыре дня назад он потребовал от меня письменно, чтобы я платил ему пятьдесят процентов, иначе он подаст на меня в суд.

Так вот, из-за его перехода к враждебным действиям хочу тебя спросить, не мог бы ты мне помочь в этом справедливом деле защиты от шантажиста и мошенника? Ты-то давно знаешь, что не только "идеи", "замыслы" и т. д. я у него не использовал, а что он по своему черному невежеству и не смог бы создать ничего похожего на "замысел". О том, что он в написании не участвовал, он пока что сам сознавался. Его единственный аргумент: какое ваше дело, кто что писал? Имеются договор и моя доверенность — и дело с концом: деньги — на бочку! Недаром я списал с него Джакомо Грелли, в этом смысле — он действительно соавтор! Вернее, прототип героя.

Нужно потихоньку готовить Детгиз к неприятной неожиданности, *что один из "авторов" — жулик. Так вот, не следовало бы тебе, например, написать или лично сказать, скажем, Касселю* (зам. главного редактора издательства. — *И. Ш.*) *или с кем ты там имеешь дела, что был неподалеку от места рождения книги, где всем было широко известно, что она написана только одним автором — Штильмарком, и что ты недоумеваешь, при чем здесь гражданин Василевский, о котором было широко известно, что он поддерживал автора в трудное время, но сам к книге никакого отношения не имеет.*

Так как в Детгизе народ не очень решительный, то это будет, вероятно, воспринято не совсем положительно. Тебе что-то скажут, а может быть, и вообще смолчат, но меня пригласят и спросят, в чем дело. И тут-то мне придется держать суровый ответ. Я, однако, надеюсь, что сумею объяснить товарищам, что выбирал я в соавторы только одного из двух кандидатов — мадам Смерть или месье Василевского, так что выбор был нетруден. Причину, по которой я оставил в силе старую ложь после моего ренессанса, — я пояснил выше. Надеюсь, что ко мне не будут слишком строги!

Я уверен, что ты правильно меня понял, ибо я не интриган и всегда был неплохим товарищем, а сейчас — в угрожающем положении со стороны грязного подлеца.

Что касается моего полного эмфиаза и эвфемизмов предисловия к роману, то ты, наверное, понимаешь, что тогда, задолго до XX съезда партии, я не мог написать предисловие так, как написал бы его сейчас. В сложившейся обстановке я должен был подчиниться требованиям издательства. [...]

Крепко тебя обнимаю и целую, с понятным нетерпением жду твоего письма. Я не знаю обстановку у вас, и, может быть, все это делать для тебя нецелесообразно. Книга у нас имеет очень большой успех.

Искренне твой

Роберт».

Я постарался помочь моему другу, свидетельствовал, где надо, теребил членов президиума Союза писателей, и там я узнал, что Василевский обращался в приемную комиссию с просьбой о зачислении его в ряды писателей. Когда ему предложили тут же написать свою автобиографию, он вышел и никогда больше не возвращался.

В конце февраля 1959 года я получил письмо, в котором Роберт писал:

«*Инцидент с "соавторством" благополучно исчерпан. Ты буквально предвосхитил события: в установленном законом порядке я признан единоличным автором; второе имя согласно постановлению суда от 9 февраля 1959 года не будет впредь упоминаться на книге, в договорах и т. д. У меня с плеч упала большая тяжесть с тех пор, как окончился этот несколько искусственный симбиоз. В соответствии с этим определением роман в этом же году еще будет выпущен массовым тиражом (225 тысяч) под одной фамилией, так что имя моего бывшего партнера сохранится лишь как курьез на титуле первого издания*».

Книга выдержала очень много изданий, была переведена на многие языки, ее причисляют к классике советской приключенческой литературы. Автор написал еще несколько книг, но ни одна из них не достигла даже частичного успеха «Наследника». Штильмарк остался автором одной книги, у которой необыкновенная история.

В 1963 году я приехал в Москву, и мы с Юрием Осиповичем Домбровским решили навестить Роберта, «товарища по музам и судьбам», как говорил Юрий. По Горьковской железной дороге мы доехали до поселка Купавна, где у Роберта уютная дача.

Когда уже было много съедено и еще больше выпито, я обратился к хозяину с просьбой показать Юрию свою литературную реликвию — рукопись «Наследника из Калькутты».

Роберт сразу погрустнел, развел руками и тихо сказал:

— Да ее у меня нет. Года два тому назад Василевский подстерег, когда здесь, в доме, никого не было, вломился и утащил все три фолианта.

1985, № 43

АЛЕКСАНДР ХАХУЛИН

Умерщвление таланта

Молодой армянский живописец Карапет Саносян был арестован за то, что показывал друзьям и знакомым свои картины, недозволенные цензурой. За такое «преступление» ему дали двадцать пять лет заключения в лагерях особого режима.

Впервые я встретился с ним в Братском лазарете, принадлежащем особлагу «Озерный». Два дюжих санитара внесли его в зону лазарета на носилках. Он был кожа да кости, а отбыл тогда только первую половину своего срока.

Начальствовал в Братском лазарете в ту пору майор Шамота. Он сам немного занимался живописью и потому благоволил к художникам. Когда Саносян немного оправился, Шамота оставил его в лазарете на неопределенное время под видом больного и оборудовал ему небольшую мастерскую в пустовавшей сушилке для одежды. После тринадцати лет страданий в лагерях, в том числе и страданий от того, что он не имел возможности заниматься любимым искусством, Саносян наконец получил в свое распоряжение кисти и краски и хотя совсем крошечную, но все же отдельную и хорошо освещенную мастерскую. Он, помню, тогда весь светился счастьем и за работу взялся с неудержимостью.

Первой его картиной в лазарете было большое полотно размером два на три метра, которую он назвал «В морге». Тема произведения была явно не советской, но администрация лазарета, привыкшая к моргу как ко всему другому необходимому и повседневному, сочла тему картины обыденной и будничной. Воплощение ее художнику весьма удалось. На фоне целой горы трупов, наваленных как попало один на другой, художник изобразил стол, крышка которого блестела оцинкованной обивкой, и на столе, среди лужи крови, распотрошенный труп молоденького зэка. Потрошитель держит в руках сердце умершего и разрезает его. А вокруг кагэбисты в белых халатах с тупыми безразличными лицами и среди них сам майор Шамота. Художник «схватил» выражение лица и особенно глаз Шамоты так точно, что портретное сходство было необыкновенно и удивительно. Шеф лазарета был в восхищении от работы художника и повесил картину в своем кабинете, по совету Саносяна, на глухую стену, против двух больших квадратных окон. Когда нас зачем-либо вызывали в этот кабинет, мы поражались мастерству

нашего товарища. Казалось, что в том месте, где висит картина, в стене провал и в том провале — кусочек морга, не нарисованного, а настоящего, таким, каким он был, с его трупами и потрошителями трупов.

Заместителем Шамоты был капитан Гаспарян. Для его кабинета Саносян написал полотно, которое назвал «Бабы». Но никаких баб на картине не было. Была изображена камера в тюрьме для мужчин-уголовников. Все они — у приподнятого к самому потолку зарешеченного окна камеры. Во двор тюрьмы пригнали этап женщин. Уголовники смотрят на них в окно. И выражения лиц наблюдателей таковы, что становится совершенно ясно, что истосковавшиеся по женскому полу мужчины действительно видят «баб».

Картина была под стать репинской, на которой запорожцы пишут письмо турецкому султану. То же разнообразие характеров, живых и полных, вот только одежда на людях не так пестра, как у Репина.

Когда мы смотрели картину «Бабы», то аналогия с картиной Репина напрашивалась сама собой. Да и писал Саносян почти как Репин: такие же длинные, по метру и больше, кисти, такие же крупные, но точные и нежные мазки...

В мою бытность в лазарете художник написал и свою последнюю картину, которая стала для его судьбы роковой. Из-за нее он был выдворен из лазарета, и опять надолго, а может быть, и навсегда лишили его кистей и красок и окончательно казнили в нем самобытного талантливого художника.

История этого последнего его полотна такова: майор Шамота просил его нарисовать картину, на которой был бы изображен Ленин. Саносян согласился и нарисовал такую картину. Он назвал ее «Ленин» в угоду Шамоте. Более правильно было бы назвать ее «Мать-Родина». Но и название «Ленин» было очень сильным. Этим названием картина и художник как бы казнили весь коммунистический режим, ставя его к позорному столбу истории. Картина была двухметровой высоты и полутораметровой ширины. Мать-Родина была изображена красивой женщиной с простонародным русским лицом, в живом красочном народном убранстве. Брови ее сурово сдвинуты в гневных глазах, в каждой морщинке лица непостижимая внутренняя, почти богатырская сила и бесконечная печаль. Она вытянула вперед руку, собрав ладонь и пальцы ковшиком, и в этом ковшике — маленький, меньше Дюймовочки, уродец, удивительно похожий на Ленина. В его широкоскулом лице было что-то калмыцкое и монгольское и ничего русского. Уродец держит в руке пистолет, направляя его прямо в высокий и открытый лоб величественной Матери-Родине.

Несмотря на маленький размер лица и совсем крошечные глаза, Саносян четко прорисовал их выражение. Они выражали одновременно и хитрость, и страх, и полнейшую безнадежность.

Уродец грозит Матери-Родине пистолетом, но так и кажется, что Великая Мать-Родина вот-вот соберет пальцы свои в кулак и под ними хрустнут кости — и нет его угроз.

Однажды утром Саносян установил эту картину в столовой между двумя раздаточными окнами. Картина была в изумительной, ручной работы раме, изготовленной бригадиром столярного цеха чудесным мастером-резчиком Григорием Чапаевым, родственником прославленного идола Гражданской войны. Освещение картины было сделано по замыслу художника электриком Хакимом Шаиповым, татарином из Крыма.

Получая в свои котелки баланду и в крышки котелков чуть более густую, чем баланда, кашу, заключенные отходили от раздаточных окон и со стороны подолгу любовались картиной, пока надзиратели не гнали их в шею на работу.

На беду в тот же день, когда в столовой была вывешена картина «Ленин», в лазарет прибыл для проведения своих черных дел начальник оперчекслужбы управления лагеря подполковник Казанков. Войдя в столовую и увидев картину, он остановился на середине зала и долго глядел на полотно, пораженный величием мастерства, потом, верный своему долгу уничтожения всего прекрасного, вынул из кармана большой складной нож и, подойдя к картине вплотную, разрезал ее крест-накрест.

В тот же день позади столовой был разведен костер, и огонь уничтожил и «Мать-Родину», и «В морге», и «Бабы», и многочисленные эскизы художника для разоблачительной картины «Сталин». Он хотел изобразить молодого Сталина в момент ограбления им почтовой кареты в центре Тифлиса, среди бела дня. На одном из эскизов Сталин был изображен на крыше одного из домов, бросающим в охрану кареты вторую бомбу — первая уже поразила охранников, едущих впереди кареты... Были отобраны и сожжены все кисти и краски, выданные ему Шамотой...

Саносян с разрешения Шамоты носил длинные волосы, расчесанные на прямой пробор. Черные и густые, они были похожи на огромную, выкрашенную львиную гриву. По распоряжению Казанкова его немедленно постригли под машинку и прямо из парикмахерской увели в ШИЗО. Посадили в ШИЗО и бригадира Чапаева, и электрика Шаипова. Всех троих потом отправили неизвестно куда.

Когда их вели из ШИЗО на вахту, для отправки на этап, Саносян рыдал. Смерть картин была для него тяжелее физической смерти.

После мы узнали, что художника вновь судили. Лагерный суд был коротким — подсудимый вновь был приговорен к двадцати пяти годам лагерей строгого режима. Отбытая половина срока стала не в счет. С новым сроком его отправили в Магадан на рудоразработки.

Посчастливилось мне встретиться с Саносяном вторично после хрущевской оттепели в Усть-Куте. В Усть-Кут, в ссылку, он приехал без одного глаза, другим видел плохо и носил затененные очки. Но каким-то чудом он мог еще рисовать и устроился на работу художником в городской дом культуры. Однажды, когда я зашел к нему в его мастерскую при доме культуры, он набросал с меня на клочке ватмана карандашный портрет, который я храню как самую дорогую память о своем талантливом друге, незаурядный талант

которого умертвил ГУЛаг. Месяца через два после того он умер. Похоронили мы его там, где он завещал, — в дальнем правом углу Усть-Кутского кладбища, за густой куртиной старых лиственниц, под молоденькой, шумящей листьями березкой, которая и стала для него своеобразным живым памятником. На другой, из гранита или даже из дешевого бетона, у нас, хоронивших его, средств не было.

Маленький и простенький мой портретик, нарисованный Саносяном, — пожалуй, единственное, что осталось от его произведений.

1985, № 46

МАХМЕТ КУЛМАГАМБЕТОВ

Возвращенцы

В период хрущевской оттепели в СССР нахлынула волна возвращенцев, некогда покинувших родную сторонку. Они в своем большинстве оказались жертвами советской пропаганды: будто бы сталинизму пришел конец, в СССР начинается эпоха справедливости и законности и страна стоит перед мощным экономическим подъемом. В результате этого в СССР попало большое количество патриотически настроенных русских, украинцев и армян. Добровольным возвращенцам очень скоро пришлось убедиться в лживости советской пропаганды, однако редко кому из них удалось исправить свою ошибку — вернуться назад.

С некоторыми возвращенцами меня свела судьба в мордовских политических лагерях. Большинство из них выросли в СССР, но плохо разбирались в природе режима в СССР, и, по своей наивности, они оказались в «местах не столь отдаленных». Среди политзэков были и такие, которых насильно вернули советским властям, а другие вернулись сами, потому что их потянула тоска по родине.

Я не ставлю себе задачу классифицировать возвращенцев. Историки сделают это лучше и полнее меня. Если я сумею правдиво описать свои встречи с возвращенцами, моя цель будет достигнута.

Семья Скляренко

Семья Скляренко вернулась в СССР из Парижа году в 56-м. Их было трое: отец, мать и дочь, которой было тогда лет 25. Говорили, что в Париже они жили в трехкомнатной квартире, отец работал маляром и состоял в компартии, мать была домохозяйкой, а дочь, состоявшая во французском комсомоле, не имела постоянной работы.

Мне было трудно разговаривать со Скляренко-младшей, потому что ее запугало КГБ. Во всех случайных знакомых, вроде меня, она подозревала агентов. [...]

Скляренко приехали в СССР вполне добровольно, руководствуясь патриотическими чувствами и убеждениями, и были в растерянности от того, что их в Москве решили направить в Алма-Ату. В Алма-Ате им (на троих)

отвели комнату в 17 кв. м с общей кухней на две семьи. Та кухня представляла собою обыкновенную комнатку в 6 кв. м безо всякого специального оборудования. Каждая семья ставила на кухне свой столик, размещала на нем посуду и керогаз и готовила. Там же, в кухне, надо было разместить на две семьи четыре ведра с водой, потому что дом без водопровода и канализации. Воду приходилось носить из колонки, а помои выносить на помойку. В тесной прихожей висели умывальники с соском. Нажми сосок снизу вверх — получишь порцию воды. Эта вода сливается в ведро, которое надо выносить и, чтоб не провоняло, иногда просушивать.

Дома эти двухэтажные, восьмиквартирные. Как правило, в каждой квартире живут две семьи. Дома построены еще в 1929 – 1930 годах для железнодорожников Турксиба и назывались «стандартными» или «турксибовскими». Между шестью такими домами, занимающими целый квартал, над выгребными ямами поставлены две уборные и две помойки. Нетрудно представить, что происходит, когда эти ямы очищаются. Дохлые кошки и собаки — тоже в этих ямах.

Население этого района — преимущественно, разумеется, железнодорожники, или, как у нас их называли, «мазутники». Скляренко попали в этот пролетарский район. Отец пошел работать по своей профессии маляром, а для матери и дочери работы не было, однако занятие нашлось. Поскольку заработка отца не хватало даже на скудное пропитание, то мать и дочь стали выносить на базар свои французские тряпки и продавать их местным модницам. Но тряпки быстро кончились, и семья Скляренко начала голодать. Тогда Скляренко-младшая в отчаянии написала письмо друзьям в Париже, в котором обрисовала их ужасное положение. Письмо, разумеется, попало в КГБ. После этого к Скляренко пришел какой-то порученец и предложил матери работу в мастерской «Индпошива» на базарной площади Алма-Аты-1.

Кстати сказать, работу в таком доходном месте, как «Индпошив», где с клиентов берут взятки или же их обворовывают, можно получить в горкомхозе обычно за взятку или по протекции властей.

Дочь Скляренко тоже не осталась без работы: ей предложили секретарскую службу в институте иностранных языков, на факультете французского языка.

Семье Скляренко повезло: рискуя попасть в лагерь, она нашла свое счастье через... КГБ.

Мне кажется, судьба Скляренко характерна для большинства семей, вернувшихся с Запада в СССР: страх, нужда, отчаяние, помощь КГБ, приспособление к новой социалистической реальности. Теперь уже, я думаю, их не отличить от тех, кто родился и вырос в СССР. Необратимость их судеб обеспечена со стороны КГБ, и это, конечно, они понимают.

Однажды я спросил моего дальнего родственника из Кустанайского областного управления КГБ, ныне покойного Саина Хамитова:

— Ну, вы чем занимаетесь, — наверно, ловите шпионов?

— Главное — следить за своими людьми, — ответил он.

Вот именно...

Александр Бураковский

Летом 1957 года я познакомился в Алма-Ате с Александром Александровичем Бураковским, только что приехавшим из Брюсселя. Он покинул Россию в 1918 году, и в 1957 году ему было уже лет 70. Бураковский хорошо знал французский, английский, немецкий, а русский язык ему был родной. В Алма-Ате такой полиглот был редкостью. Он работал переводчиком в Комитете технической информации при Совете Министров Казахской ССР с месячным окладом 790 рублей (в новых рублях — 79), а после вычета налогов у него оставалось около 700 рублей.

Этих денег не хватало, чтобы одному человеку сносно прожить месяц, но Бураковский старался сэкономить на питании, чтобы послать хоть немного денег своей 19-летней дочери, оставшейся в Брюсселе. Дополнительных заработков у него не было. Только однажды, в конце 57-го года, ему удалось получить гонорар за опубликованный в альманахе «Советский Казахстан» очерк «Несколько встреч с Маяковским». Эти деньги он послал дочери.

Первая попытка помочь дочери доставила Бураковскому кучу хлопот, но зато дала ему возможность получше узнать советские порядки. Бураковский рассказывал, что он послал дочери 300 рублей, но она получила только половину этой суммы в переводе на бельгийские франки. Тогда Бураковский написал запрос в Госбанк СССР и получил ответ: «*Мы производим расчеты с иностранными государствами согласно циркуляра №...*». Бураковский до этого думал, что курс рубля, ежемесячно публикуемый в «Известиях», действительный.

В страну развитого социализма Бураковский попал случайно. Дело было так. Советское посольство в Брюсселе поддерживало связи с местной русской эмиграцией. Однажды из посольства ему сообщили, что в Восточном Берлине будет издаваться русская газета и требуются сотрудники. Дали адрес и посоветовали съездить. Политически индифферентный Бураковский явился по указанному адресу в Восточном Берлине. Там ему сказали, что все готово для выпуска газеты и он очень нужный работник, но его просят оказать очень важную услугу: съездить в Москву за последними инструкциями. Бураковский согласился, потому что у него не было никаких преступлений против советской власти, а Москву посмотреть было интересно.

В поезде Берлин—Москва Бураковский заметил, что за ним присматривает какой-то прилично одетый мужчина. Потом этот неизвестный подошел к Бураковскому и спросил, не нуждается ли он в чем-нибудь, предложил ему денег, Бураковский поблагодарил и отказался. Тогда Бураковский понял, что у него обратной дороги не будет, что он попал в западню.

В Москве Бураковский явился по адресу, полученному в Восточном Берлине. Нетрудно догадаться, что это было за учреждение. Там ему сказали, что газету решено не издавать, а ему лучше не возвращаться.

Бураковский не стал спорить. Он понял, что все может кончиться более или менее плохо, что все зависит от них, что у них абсолютная власть, а от его упрямства может быть только хуже.

В этом учреждении Бураковскому посоветовали не задерживаться в Москве, потому что здесь у него «много конкурентов», а вот есть такой прекрасный город Алма-Ата, где он сможет хорошо устроиться.

Устроился Бураковский в самом центре Алма-Аты, в гостинице «Дом Делегатов». Центральная почта, Центральный Комитет и Дом Правительства — всё рядом. Но когда я зашел в комнату гостиницы, где жил Бураковский, мне стало жаль старика: в комнате площадью около 32 кв. м стояло восемь коек. Кроме койки, у Бураковского была стандартная тумбочка на двоих с соседом. Бураковский показал мне свою половину тумбочки, где лежал сахар-песок в картонной коробочке из-под детской обуви, кружка и ложка. Он жаловался на очень неспокойную жизнь: жильцы все время меняются и попадаются очень шумные.

Посреди комнаты стоял стол, покрытый скатертью, на столе графин с водой — необходимый компонент стандартного комфорта всех советских гостиниц. Бураковский не пользовался общим столом. Он пил чай на тумбочке, сидя на своей койке. Чаем он называл кипяток, который приносил из бочки в коридоре.

В комнате пахло потом, хотя время было летнее и комната проветривалась. Я представил себе ночной храп постояльцев и удушающий запах обуви, потной одежды и газов. Одно только было утешительно для Бураковского, что с него брали не восемь рублей в сутки, как с остальных, а по рублю — по льготному тарифу.

Из сочувствия к его тяжелому положению я приглашал иногда Бураковского в столовую при гостинице, которая даже по столичному стандарту считалась хорошей. Но однажды, когда мы сидели в этой столовой, Бураковский сказал: «Готовят, как для свиней». Мне, пригласившему его, по моим понятиям, в хорошую столовую, стало неловко.

Бураковский рассказывал о бытовом укладе Запада, сравнивая с жизнью в Алма-Ате: про изобилие продуктов там и нехватку здесь, про вежливый сервис там и хамский здесь; сравнивал женщин Запада и Алма-Аты, их манеры, походку, привычки, и т. п.

Бураковский не ругал все советское. Ему нравилось, что в СССР высшее образование доступно. Нравилась простота человеческих отношений. [...]

Бураковский без восторга рассказывал мне о своих встречах с Владимиром Владимировичем Маяковским. По мнению Бураковского, Маяковский ловко приспособился к советской власти.

После революции в России Бураковский встречался с Маяковским в Париже. Это было время, когда Маяковский делал свои янки-поносные стихи. Тогда по Маяковскому не было видно, что он «ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный». По рассказу Бураковского, он был скорее похож на жизнерадостного сынка какого-нибудь миллиардера: был очень хорошо одет и имел кучу денег. Маяковский приглашал Бураковского в дорогие парижские рестораны побеседовать.

— Мы обменивались приветствиями в такой форме. Он мне говорил: «Ну, как, гниете?», а я ему отвечал: «Ну, как, холуйствуете?» — рассказывал Бураковский.

Жизнь в Алма-Ате для Бураковского была нестерпимо тяжела и духовно, и материально. Поэтому летом 1958 года он выехал в Москву добиваться возвращения в Бельгию. С тех пор я о нем ничего не слыхал.

Какой был смысл заманивать в СССР 70-летнего старика? Может быть, КГБ увлекся кампанией или хотел заманить в СССР и дочь старика из Бельгии?

Возвращенцы-казахи

Весной 1958 года я приехал из Фрунзе в Алма-Ату. Надо было искать работу. [...]

В то время мой сокурсник по университету Тасболат Даутов, женившийся на дочери крупного работника ЦК КП Казахстана, уже успел сделать карьеру и работал первым секретарем Алма-Атинского обкома комсомола. Пошел к нему. Тасболат принял меня просто и радушно в своем большом кабинете. Не успел я присесть, как наш разговор прервал телефонный звонок, и я оказался невольным слушателем разговора.

Оказалось, что в СССР приехала американская молодежная делегация — 20 человек. Они разделились на две группы по 10 человек, и одна из них должна приехать в Алма-Ату. Ответственные за встречу — облисполком и обком комсомола. По этому поводу Тасболат и разговаривал с кем-то из облисполкома.

Делегацию решили везти в совхоз имени Ленина и показать образцовую свиноферму. Пояснения должен был давать бригадир и коммунист, если мне не изменяет память, русский по фамилии Тимофеев. Предусматривалось принять какие-то особые меры к тому, чтобы немцы, проживающие в том совхозе, не могли иметь контактов с делегацией. Решено было накормить делегацию в совхозе обедом и выделить на одни только продукты 2000 рублей. Сумма, по тем временам, не малая — ее не мог заработать ни один рабочий совхоза за месяц. Я не думаю, что молодых американцев мучили бы угрызения совести, если б даже они узнали истинную цену их бесплатных обедов. [...]

Выйдя из кабинета Тасболта, я получил путевку для чтения лекций в колхозах Алма-Атинской области. Разъезжая по колхозам, я смог узнать, что, как правило, колхозник зарабатывает два трудодня за один рабочий день, но оплата различается по колхозам: от 20-ти рублей за трудодень в образцово-показательном колхозе «Луч Востока» до 3-х рублей в колхозе «Красный путиловец». Помню еще, к примеру, что в колхозе им. Калинина платили 5 рублей, а в колхозе им. Мичурина — 7 рублей. В пересчете на новые деньги, в колхозе им. Калинина труженик за день зарабатывал 1 рубль, полтора доллара по официальному курсу. К сожалению, советский колхозник всегда зарабатывал ничтожно мало.

В колхозе им. Калинина, в девяти километрах от Алма-Аты, я встретил казахов, прибывших из Китая. Они меня как лектора спрашивали о положении в Китае. Я, разумеется, хвалил Китай, как мог, потому что то был период «великой дружбы».

Казахи мне рассказывали, что, когда их передавали советским властям, то на границе у них отняли весь скот и обещали, что они получат свой скот по новому месту жительства, но здесь они не могут получить взамен ничего. Их запрягли в колхозную работу, и уйти они никуда не могут, ибо не знают русского языка и не имеют средств для переезда даже в соседний колхоз. Поэтому, я думаю, подавляющее большинство вернувшихся из Китая казахов были наиболее обездоленными из всех возвращенцев. Я сказал «большинство», потому что были и такие казахи, которые сами бежали из Китая в Казахстан. Эти люди были предприимчивы, смогли привлечь к себе внимание властей на политических спекуляциях и устроиться получше.

Один из них рассказал историю, достойную внимания. Она такова. После установления власти Мао во всем Китае вызвали в Пекин старшин казахов и сказали:

— Товарищи аксакалы, мы строим новую, прекрасную жизнь для всех. Но дело только начинается, у нас много безработных. Возьмите, пожалуйста, несколько сот человек.

— Нет, мы не можем взять ваших людей, потому что нам нечем платить им, — ответили казахи-аксакалы.

— Никакой оплаты ни нам, ни им не надо. Лишь бы они у вас с голоду не умерли, — ответили китайцы.

Хитрые и осторожные аксакалы пошушукались между собой и решили взять 300 китайцев. Вид их был очень жалкий: все в лохмотьях, грязные и голодные. Привезли их аксакалы в Восточный Туркестан и бросили клич: «Эй, народ, кому нужны слуги, приходите и забирайте!»

Казахи взяли себе по одному-два китайца и увезли домой. Китайцы оказались очень послушными и исполнительными: и ребенка поняньчат, и скотинку пригонят, и воды натаскают, и белье постирают... Лучших слуг и представить себе невозможно. Казахи рады. Казахи полюбили своих расторопных и услужливых работников.

Со временем Великая Революция дошла и до Восточного Туркестана. Туда приехали военные и установили свои комендатуры. Тогда вдруг из всех казахских домов исчезли слуги-китайцы, а затем они появились в военных комендатурах в форме офицеров Народно-Освободительной Армии Китая. Казахов начали вызывать в военные комендатуры, где взяли на учет их наличный скот и пастбища. Бывшие слуги-китайцы выступали свидетелями. Оказалось, что хитрость центрального правительства Китая с засылкой соглядатаев в Восточный Туркестан дала свои плоды.

Потом и казахов, и переехавших в Восточный Туркестан китайцев стали гонять на так называемые общественные работы. Об этом периоде другой беглец рассказывал в таких словах:

— С китайцами работать вместе невозможно. Люди они маломощные, но шустрые. По команде садятся отдыхать и по команде сразу приступают к работе. В обеденный перерыв нам давали очень мало еды. Китаец быстренько съест и даже поспать успевает. А мы, казахи, медлительные. Поесть мы успевали, но только приляжешь отдохнуть — перерыв кончился. Нет, нам с китайцами никак нельзя. Мы — разный народ...

Возвращенцы в мордовских лагерях

Вилхо Форсель

После вынесения мне приговора на закрытом заседании Кустанайского облсуда в марте 1963 года меня отправили в мордовские политлагеря. Там отбывали свои срока и верующие, и «полицаи» (как называли всех, кто побывал в немецком плену), и инакомыслящие, и «террористы», обвиненные в посягательстве на жизнь председателя колхоза или какого-нибудь парторга, что чаще всего выражалось в обыкновенной драке или угрозе набить морду, и уголовники, которые, проиграв свою задницу в карты, решили получить политический «довесок» и «смыться» в политлагеря, и, наконец, добровольно вернувшиеся или насильственно возвращенные из-за границы.

Первым возвращенцем, которого я встретил летом 1963 года в лагере № 7 (пос. Сосновка), — был Вилхо Форсель.

В нашем лагере, где было около 2600 человек, почти все знали двух полиглотов — Форселя и Ростислава Рыбкина. Каждый из них знал по нескольку языков, притом такие, как суахили, тагальский, не говоря о европейских языках. [...]

Вилхо Форсель родился в 1929 году в Канаде в семье коммуниста-финна. Его отца потянуло в СССР строить коммунизм, и он с семьей приехал в СССР в конце 30-х годов во время великой чистки, но уцелел. Мирно поработал, вышел на пенсию и теперь, вероятно, умер.

Вилхо окончил университет в Петрозаводске и там же работал переводчиком. Человеком он был догматически мыслящим, без высоких порывов души, с принципами, мне кажется, не столь обоснованными, сколь твердыми. К советской власти претензий не имел. Но роковой случай исковеркал его судьбу. Если б не тот случай, то Вилхо, пожалуй, как и его отец, спокойно дожил бы до пенсии.

Году в 56-м или 57-м в Петрозаводск приехала делегация канадских коммунистов-финнов. Ужасно хлопотно для советских властей, когда в СССР приезжают честно заблуждающиеся зарубежные коммунисты. Под предлогом, будто они хотят у себя построить такой же замечательный социализм, как в СССР, они суют свой нос туда, куда не следует, а отказать им в этом трудно, потому что они — товарищи.

Коммунисты-финны захотели поездить по СССР и собрать сведения о судьбах коммунистов-финнов, некогда приехавших в СССР по призыву Коминтерна строить коммунизм. Известно, что многие из них кончили

свою жизнь в сталинских лагерях. Начавшаяся при Хрущеве кампания по разоблачению «культа личности Сталина» давала возможность совершить такую поездку. [...]

Итак, делегация канадских коммунистов-финнов в Петрозаводске взяла себе в переводчики Вилхо Форселя и поехала по стране. О результатах их поездки Вилхо не любил рассказывать. Когда делегация уехала восвояси, Вилхо вызвали в КГБ и сказали: а ну-ка, парень, рассказывай, что знаешь, — кто и что говорил. Вилхо заявил, что он не доносчик и ничего рассказывать не будет. Ему пригрозили и дали время подумать. Потом опять вызвали в КГБ. Вилхо опять отказался рассказывать. Тогда, по совету КГБ, его выгнали с работы. У безработного Вилхо созрело решение бежать в Финляндию. Нашелся ему товарищ, и они вдвоем, обходя подальше населенные пункты, лесами и болотами несколько дней шли к финской границе в северной части Карелии. Удачно пересекли финскую границу и, почувствовав себя в безопасности, голодные и изнуренные, зашли в дом крестьянина. Хозяин-финн предложил им еду и, сказав: «Мой долг донести властям», — ушел.

Такую версию я слышал в лагере. Но мой солагерник, литовец Кястутис Йокубинас, который это дело знает лучше меня, категорически отверг приведенную мной версию. После ознакомления с рукописью он заявил мне, что крестьянин-финн не станет доносить властям и не обязан это делать, что там не советская власть, которая обязывает и воспитывает своих граждан доносить.

По свидетельству Йокубинаса, Вилхо с товарищем зашли в приграничную сторожевую будку. Сергей Пирогов (тоже мой бывший солагерник) добавляет, что в той будке был шофер-финн, который, вероятно, являлся советским стукачом, потому что от советских властей очень быстро пришло требование о выдаче перебежчиков. В требовании было сказано, что Форсель и его товарищ, Тупицын, ограбили какую-то старушку. Это обычные трюки КГБ, на которые когда-то попадались и шведские власти. Что касается финских властей, то они хорошо знают подобные трюки КГБ, но Финляндия — зависимая от СССР страна, и поэтому финские власти делают вид, что верят советским властям на слово, и безоговорочно выдают перебежчиков.

Вилхо и его товарищ были отвезены в Хельсинки и врозь заключены в тюрьму. Начался допрос. Финны прониклись сочувствием к Вилхо и предложили уйти в Норвегию, а когда шум потухнет и советские власти подзабудут о Вилхо, он сможет вернуться в Финляндию. Но Вилхо наотрез отказался куда-либо уезжать из Финляндии. Он заявил сотрудникам госбезопасности: «Я — финн, это моя страна, и я никуда не поеду!»

Ему сказали, что в таком случае они должны выдать его советским властям. Вилхо ответил, что это их дело. Финны немало были удивлены упрямством Вилхо, но решили, как мне кажется, дать ему шанс остаться в Финляндии, не идя на открытую конфронтацию с советскими властями. С другой стороны, и родственники Вилхо в Финляндии принимали меры к

его освобождению. Говорят, что они дошли до самого президента Кекконена с ходатайством, но и тот не мог дать официального согласия оставить Вилхо в стране.

Вернемся к дальнейшим событиям в госбезопасности. Там Вилхо был предупрежден, что ему покажут Хельсинки, а потом он будет передан в руки советских властей. Дали Вилхо одного сопровождающего, и они с утра поехали осматривать город. Прошла половина дня. Вдруг сопровождающий говорит Вилхо: «Ах, извините, я совсем забыл, что обещал жене купить билеты в театр. Давайте встретимся здесь через 2 – 3 часа. Можете сами продолжать осматривать город». Согласились. Сопровождающий дал Вилхо денег на мелкие расходы и уехал. Когда сопровождающий вернулся... Вилхо стоял на условленном месте и ждал. У сопровождающего от удивления отвалилась нижняя челюсть и глаза поползли на лоб. Делать нечего. Пришлось отвезти Вилхо в тюрьму, а потом передать советским властям на основании договора между СССР и Финляндией о выдаче уголовных преступников, бежавших от правосудия.

Поведение Вилхо в Хельсинки было предметом постоянных насмешек солагерников. Только в лагере я узнал, что подобный же договор о выдаче беглецов существовал также между СССР и королевским Афганистаном.

Вилхо вновь встретился со своим товарищем, но теперь уже в советской тюрьме. Суд в Петрозаводске приговорил каждого из них к десяти годам лагеря за «попытку измены Родине» (хотя Родина Вилхо — Канада). Их отправили в мордовские политические лагеря. Честно отбыв свой срок полностью, в июле 1969 года Вилхо освободился из Владимирской тюрьмы, а Тупицыну за попытку побега из лагеря (подкоп под школой в лагере № 7) добавили срок, и о дальнейшей его судьбе я ничего не знаю.

Лагерь и тюрьма сломили Вилхо Форселя. Хотя Вилхо в лагере и тюрьме в стукачестве замечен не был, зато после освобождения из мест заключения стал сотрудничать с КГБ. (См. «Хронику текущих событий», выпуск 15, от 31 августа 1970 года.) После освобождения изменились и бытовые привычки Вилхо. Если в лагере он не курил, не интересовался «чифиром», не употреблял алкоголь, зэковским способом изготовленный из спиртового лака[1], то на воле он стал выпивать.

Владимир Гацкевич

Володя Гацкевич родился в Западной Белоруссии, кажется, в 1920 году. В 1939 году, когда началась советская оккупация Западной Белоруссии и Западной Украины, семья Гацкевичей выехала на Запад и жила сперва

[1] Способ этот заключается в том, что в посуду с лаком добавляют воды и немного поваренной соли. Затем все это перемешивается палкой. Смола налипает на палку, а оставшаяся в посуде мутная жидкость – лучшая лагерная водка. Для нее и надзиратели большие охотники. Худшая – делается из ацетона. – *Прим. авт.*

в Европе, а потом в Америке. Володя Гацкевич был горячий и несколько неуравновешенный: политические симпатии его резко менялись от демократии к солидаризму и крайнему национализму. После смерти Сталина, когда советская пропаганда и зарубежные агенты КГБ усилили кампанию за возвращение на родину старых эмигрантов, Володя Гацкевич, влекомый патриотическими чувствами, решил вернуться. Ему определили местожительство в Смоленске, где он получил работу в театре.

Человек искренний и порывистый, Гацкевич стал рассказывать новым друзьям и сослуживцам про житье-бытье в Европе и Америке. Это не понравилось КГБ. Его вызвали и предупредили, чтобы он прекратил заниматься «антисоветской пропагандой». Гацкевич не согласился с тем, что его рассказы — «антисоветская пропаганда», и заявил, что имеет право рассказывать о фактах своей жизни и никто не может ему запретить это. Гацкевичу сказали, что это плохо кончится, но он не внял предупреждению.

КГБ не спешил. Дали «созреть» Гацкевичу и арестовали. Его рассказы суд квалифицировал как «антисоветскую агитацию и пропаганду». Гацкевич горячо защищался. Это было признано судом как отягощающее вину обстоятельство, и Смоленский областной суд приговорил его к 7 годам лагеря строгого режима. Гацкевич протестовал, жаловался во всякие юридические и партийные инстанции на произвол и беззаконие, но потом обмяк — понял, что все это бесполезно. Единственный способ выхода из лагеря досрочно — это признать свою вину, доказать свое «исправление» доносами на своих товарищей. На это Володя пойти не мог. Не такой он был человек.

Помню прибытие Володи в лагерь № 11 (пос. Явас) в 1964 году: он выражал свое возмущение произволом КГБ и суда, но потом успокоился. Стал ходить на работу, выполнял норму, поэтому в ШИЗО не попадал, стал меньше критиковать власти и в свободное от работы время брал книги в лагерной библиотеке, выписывал «Знание — сила» и другие журналы и много занимался проблемами театра. В лагере его уважали за честность. Он остерегался стукачей, но иногда рассказывал кое-что из западной жизни.

Летом 1967 года меня увезли из лагеря во Владимирскую тюрьму. Володя оставался в лагере. Теперь на Запад дошло известие, что Володя Гацкевич где-то в Белоруссии работает грузчиком, — это свидетельствует о том, что он остался честным человеком.

Молодой ученый Голуб

В 63-м или 64-м году в лагере № 1 (пос. Сосновка) показывали кинофильм «По черной тропе», в котором мы узнали некоторых своих солагерников: Ростислава Леонидовича Рыбкина, Куксенко из Риги, латыша Бромберга, резидента разведки, и, наконец, молодого ученого Алексея Николаевича Голуба. В фильме он был заснят на пресс-конференции, где выступал с критикой «гнилого Запада».

Мы с Голубом на заводе катали одну телегу вдвоем: вывозили опилки и обрезы досок из машинного цеха. Он был исключительно серьезным человеком. Шуток не понимал и сам никогда не шутил. Мое развлечение с ним состояло в том, что я придумывал всевозможные небылицы, а он им верил. Его феноменальная доверчивость развлекала нас, зэков.

Внешность Голуба была уже не такая, как в фильме. Если бы в фильме не назвали фамилии, трудно было бы узнать нашего Алешу. На пресс-конференции выступал хорошо одетый, смуглый и полнолицый ученый в очках. А в лагере у Алеши нос заострился, сам худой, высокий и в зэковской робе. Друзей у него не было.

В чем же была причина несчастья молодого ученого? Сказать одним словом — в легковерии. Поверил он буржуазной пропаганде о возможностях молодого ученого на Западе и во время загранпоездки остался в Голландии. Заочный суд приговорил его к расстрелу за измену родине, о чем он, конечно, тогда не знал. Мало было того, что он «обманул доверие партии и правительства», т. е. КГБ, но он рассчитывал получить в Голландии научную лабораторию, а ему предоставили всего лишь место научного сотрудника по его специальности.

Позднее, в лагере, он рассказывал о благоприятных условиях научной работы на Западе. Если в СССР уходят годы, чтобы выбить заказ на аппаратуру, необходимую для проведения задуманного эксперимента, то в Голландии это делалось удивительно быстро. Удивляла его также и скорость обслуживания научной литературой, на что в СССР также тратились огромные усилия. Обо всем этом он рассказывал в лагере Сергею Пирогову. Но когда Алексей Голуб решил вернуться в СССР, то на пресс-конференции обо всем этом решил умолчать ради семейного счастья.

Пресс-конференция Голуба широко освещалась советской печатью. Например, в «Огоньке» был такой эпизод. Ведший пресс-конференцию советский журналист, обращаясь к иностранным журналистам, сказал: «Как видите, он совершил тяжкое преступление перед родиной, но наше государство его простило». Знал ли этот журналист, что Голубу вынесен смертный приговор и что даже после его отмены Голубу придется отбывать срок в лагере? Вряд ли. А вообще-то кто его знает! В СССР журналист и кагэбист часто совмещаются в одном лице.

Как бы там ни было, но, когда Голуб вернулся в СССР, его хорошенько подготовили в КГБ и предоставили трибуну для пресс-конференции. Алеша, без особого труда положил на обе лопатки весь буржуазный Запад и вернулся с пресс-конференции в одну из самых лучших московских гостиниц. Через несколько дней после пресс-конференции его тихо забрали, чтоб он не наболтал лишнего. В следственном изоляторе ему предъявили приговор: расстрелять за измену родине, но за хорошее поведение на пресс-конференции помиловать и смертную казнь заменить шестью годами лагеря, чтобы у КГБ была уверенность, что он стал на путь исправления. [...]

Мой солагерник Сергей Пирогов, который лучше меня знал Алексея Голуба, продолжает мой рассказ:

«И вот Алексей Голуб, после огней юпитеров, толпы журналистов, искусных друзей-психологов из КГБ, обстоятельно консультирующих, что и как говорить, внимательных и предупредительных, — вдруг после всего этого в одиночной камере Лубянки, с приговором на папиросных листках, где отпечатано четко «к смертной казни», за измену Родине. Прямо лицом к смерти. Начальник тюрьмы успокаивает: «Надо написать прошение о помиловании. У нас государство гуманное». Алексей изливает душу в письме Президиуму Верховного Совета СССР — и свое искреннее раскаяние, и свое нежелание так нелепо умирать ни за что. Помилование в таких случаях бывает почти автоматическим: все-таки добровольное возвращение признают смягчающим вину обстоятельством. Да ведь и пресс-конференция — тоже смягчающее обстоятельство. Подержав положенное время Алексея под пыткой: «Убьют — не убьют?» — ему приносят радостное известие. Ему не только отменяют смертный приговор, но и определяют срок отбывания в лагерях не в 15 лет, как это бывает обычно при замене смертной казни сроком, а «всего лишь» в шесть лет лагеря строгого режима. Конечно, в такой гуманности государства роль сыграла широкая известность его дела. Если бы не это, то получил бы он свои 15 лет, а далее пришлось бы ему зарабатывать «честным трудом и примерным поведением» второе помилование после отбытия половины 15-летнего срока. И, несмотря на пережитое, он оставался таким же наивным, легковерным, добрым человеком. Он в лагере вступил в «спортивную секцию» как любитель шахматной игры, это была самая невинная форма сотрудничества с администрацией. В лагере даже такое чисто символическое «сотрудничество с администрацией» считалось у зэков предосудительным. А администрация распускала, как обычно, порочащие его слухи, будто бы он вернулся из-за того, что «глупые голландцы» не предоставили ему в распоряжение целой лаборатории и места важного начальника.

Была вполне конкретная причина возвращения Алексея Голуба в страну, из которой он бежал: хорошая психологическая работа КГБ.

Из печати на Западе хорошо известно, как посол СССР в Голландии, мобилизовав все силы, сумел усадить в самолет колеблющуюся жену Голуба, так и не дав возможности Голубу поговорить с ней наедине. Окруженная толпой советских работников, она сквозь плач подтверждала заявление советского посла, что она не желает говорить с мужем наедине перед отлетом, чего требовал Алексей. У советского посла были все основания опасаться, что Голуб уговорит и жену остаться вместе с ним. Ее увезли, применив сильное психологическое давление. И у Алексея оставалась надежда, что жена его любит. Все то же легковерие!

Тоска по жене еще более окрепла, когда ряд ожиданий на Западе не оправдался, а от жены стали приходить письма, зовущие его вернуться к ней. Вероятно, требовалось не слишком много проницательности, чтобы

догадаться, что письма эти проходили не только цензуру КГБ, но и просто писались под диктовку психологов из КГБ. Эти письма и заманили его в СССР. КГБ взяло реванш за колоссальный скандал, происшедший на Западе вокруг его дела.

Уже сидя в лагере, Голуб все еще наивно надеялся, что жена любит его, и верил ее письмам, что лишь обстоятельства мешают ей приехать на свидание к нему. Жена ездила в какие-то командировки и даже проезжала недалеко от лагеря, и Голуб все надеялся, что уж «в следующий раз» она непременно завернет к нему по дороге.

И к легковерному покинутому мужу, как снег на голову, пришло письмо от бросившей и дважды предавшей его жены. Жена писала: «Я никогда не думала, что у тебя такая черная душа». Она корила его за совершенную в Голландии «измену родине»!

Алексей не находил слов для выражения своего негодования. Как ОНА могла написать такое? Ведь это она, ОНА, подала ему первую мысль, ему, ничего не помышлявшему: «А не остаться ли нам здесь, в Голландии?» Ведь именно после ее слов он, взяв оба паспорта, побежал обратиться к голландским властям с просьбой о политическом убежище для себя и для жены! И теперь, годы спустя, она же называет его за это «черной душой»...

Евгений Шустов

Славный по характеру и умный от природы, Женя Шустов учился в пограншколе города Керки в Туркмении, но за дисциплинарные провинности (кажется, за участие в пьяной драке) был исключен из школы и направлен служить пограничником на советско-иранскую границу. Там он решил бежать. Осторожно ночью пробрался в конюшню, обмотал копыта лошади тряпкой и вывел за заставу. Там он знакомыми тропами верхом пересек границу. Когда увидел иранский поселок, слез с лошади, перевернул седло (чтоб советские пограничники подумали, что он упал с лошади) и отпустил лошадь, которая сама находит дорогу на заставу.

Из поселка его отвезли в Тегеран, посадили в тюрьму и подвергли допросу. Женя говорил мне, что американец, который его допрашивал, не верил ему. Американец говорил Жене: «А здорово инсценировали твой побег. Даже советский самолет залетал на иранскую территорию в поисках тебя». В связи с этим Женя говорил, что если бы советский самолет его обнаружил, то пристрелил бы его с воздуха, во всяком случае — живым бы он не ушел.

Потом его отвезли во Франкфурт-на-Майне и после проверки отпустили. Женя, кажется, нанялся охранять какой-то аэродром. Это дело ему надоело, и он, не видя никакой перспективы, решил вернуться домой, кажется, в 1959 году. Ему стандартно дали 10 лет и отправили в лагерь.

В лагере он много читал, изучал языки, но в 1965 году не выдержал и решил бежать на волю из ШИЗО. Подозвав надзирателя, он ударил его дверью и сбил с ног. Потом бросился в дежурную комнату. Но надзиратель быстро

пришел в себя, вынул кинжал, оттеснил Шустова и вызвал охрану. Шустова зверски избили и заперли в камеру. Потом состоялся суд, который приговорил его к двенадцати годам особого режима. Такова была цена психологического срыва умного парня.

Мы в лагере никак не могли понять осуществимости побега из ШИЗО. Это было невозможно. Значит, Женя спятил. В лагере это не шутка: Анатолий Ромашов не выдержал даже четырех лет и полез в запретку на явную смерть. Его пристрелил в упор офицер охраны, чему и я был свидетелем.

Когда я сидел в ШИЗО вместе с Шустовым, он говорил мне, что наивно полагал, что если вернется добровольно, то его могут снова послать служить в армию или дадут небольшой срок.

— Жил ты там неплохо, здесь тебя ничего хорошего не ожидало, так зачем же ты вернулся? Наверно, тебя прельщало считаться бывалым среди своих, — сказал я.

— Было такое, — ответил Женя с грустной улыбкой. [...]

1984, № 39

ВАЛЕРИЙ СОЙФЕР

«Принципиальность» Лысенко

«*Все мои ученики — либо проходимцы, либо дураки*». Слова эти принадлежат человеку, имя которого надолго останется в памяти людей как имя человека, нанесшего огромный вред своей стране. Имя Трофима Денисовича Лысенко стало нарицательным.

Не случайно я вспомнил эти фразу Лысенко, сказанную во время одного из наших разговоров с ним в 1956 – 1957 годах. Лысенко был предельно откровенен. Да и чего ему было стесняться студента, хотя бы и не верящего в его теории...[...]

Хочу вспомнить эпизод, произошедший в конце 1957 года.

В течение почти 10 лет, начиная с 1948 года, в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, как и во всех других вузах страны, преподавание генетики было строжайше запрещено. Упоминание о хромосомах, генах, геномах исчезло начисто из лекций и учебников. Даже произнести вслух слово «ген» было небезопасно. Но, вместе с тем, в Тимирязевке было много преподавателей с солидными биологическими и агрономическими знаниями, в Академии работали многие питомцы школы Д. Н. Прянишникова, серьезные селекционеры, физиологи растений. И именно ученый совет Тимирязевки, несмотря на почти десятилетнее главенство в ректорате лысенкоистов, был в подавляющем большинстве своем в оппозиции к нему. Хотя Лысенко оставался заведующим кафедрой селекции зерновых культур агрономического факультета и вел курс лекций для небольшого числа студентов-селекционеров, он предпочитал не появляться на ученых советах, избегал встречи со студентами вне его лекционного курса.

А начиная с 1954 года, через год после смерти Сталина, все большее число профессоров, в особенности на общетеоретических курсах (которые должны были слушать студенты всех факультетов обязательно), начали, в первое время без упоминания имени Лысенко, а затем в открытую, критиковать его позиции.

Конечно, это не могло не будоражить мысль студентов. Среди нас начали вспыхивать дискуссии, во время которых выходцы из крестьянских семей, как правило, стояли за Лысенко. Им казалось, что Лысенко — сын крестьянина — был ближе к земле. Его громкие декларации — увеличить

урожайность, жирность молока и т. п. — были исконно понятнее детям колхозников. Они полагали, что сложные выкладки настоящих профессоров, по своей внешней форме не так много обещающие, не дадут столько выгоды простому колхознику и вообще не к тому направлены.

Эти споры, порой весьма ожесточенные, стали возникать особенно часто на заседаниях студенческих научных кружков, активно работавших при большинстве крупных кафедр в Тимирязевке. Именно в кружках НСО (научного студенческого общества) происходило первое приобщение студентов к настоящей науке, а не к схоластике лысенкоизма.

Вся эта, в основном тихая и постепенная, борьба с лысенкоизмом превратилась к 1956 году в войну довольно открытую. С 1957 года по решению бюро НСО Тимирязевки мы решили пригласить с лекциями видных генетиков.

Первую лекцию согласился прочесть Владимир Владимирович Сахаров. Но, когда он приехал, в Большой химической лаборатории, рассчитанной на несколько сот человек, оказалось мало слушателей. Приглашал Сахарова от имени НСО я, и мне было так неудобно, что я готов был сквозь землю провалиться. И тут меня осенило. Я бросился в библиотеку и выкрикнул в читальном зале: «Братцы, в Химичке живой морганист выступает!». Не прошло и пяти минут, как студенты, побросав все книги и тетради, заполнили до отказа аудиторию: еще бы, в Химичке — и вдруг «живой морганист». Владимир Владимирович часто потом со смехом вспоминал эту мою выходку.

Лекция Сахарова, чуждого какой-либо помпы, полемики с «врагами науки и народа», была наполнена строгими и хорошо документированными доказательствами настоящей науки, а не примитивного опытничества, и произвела фурор. Часа полтора докладчика засыпали вопросами, поначалу настороженными и несмелыми, а затем все более и более острыми, антилысенковскими. Студенты долго не расходились, «прижав» Сахарова к доске, а потом гурьбой пошли провожать его. Это был настоящий праздник для студентов. На молодые, пытливые умы обрушилась прежде не знакомая информация, требующая знаний в той области, которую от них скрывали.

Вслед за Сахаровым выступили В. В. Хвостова, А. Р. Жебрак и другие генетики. Неожиданно приехал из Швеции Оке Густафсон и произнес прекрасную речь о практическом значении генетики...

Ситуация для лысенкоистов становилась неудобной, и потому ректорат решил устроить лекции сторонников другого лагеря. Некоторые студенты из группы селекционеров, близкие к Лысенко, также на этом настаивали.

Сначала к студентам приехал В. Н. Столетов (работавший тогда министром высшего образования СССР), а затем в Большой химической аудитории 22 ноября 1957 года выступил сам Лысенко с лекцией «Основные положения мичуринской биологии».

Но обстановка была уже не такая безоблачная, на которую рассчитывал Лысенко. После лекции посыпались записки с вопросами. Многие из них были довольно-таки ядовитыми. Спрашивали и о превращении пеночек в

кукушек, и о «питательности» навозо-минеральных смесей, и о многом другом, да еще в такой форме, которая не могла не раздражать академика.

Лысенко прочел несколько записок из выросшей перед ним на кафедре горы бумажек и вдруг заявил:

— Больше на писаные записки отвечать не буду. Задавайте вопросы устно, тогда отвечу, — Конечно, он рассчитывал, что число молодых людей, которые решатся задать ему в лицо неприятные вопросы, резко сократится.

Но все-таки кое-кто «побеспокоил» академика и вопросами с места. На один из вопросов, почему не все рекомендации мичуринской науки оказались жизненными, он начал кричать в зал, что это клевета, что все выводы по сто раз перепроверяются, прежде чем рекомендуются в практику. И тогда я спросил его:

— А как же с рекомендациями относительно Лепешинской и Бошьяна? Ведь вы активно их пропагандировали!

Лысенко, уже знавший меня по прошлым спорам с ним, зло усмехнулся и заявил:

— Неправда, я лично никогда не выступал за Лепешинскую, ни тем более за Бошьяна. Я в медицине не специалист. Поэтому судьей их опытов я быть не мог и не был. А говорил я только об общебиологическом значении работ Лепешинской. Про Бошьяна я вообще никогда не говорил, — возразил Лысенко, фактически отказавшись от собственных панегириков в адрес Ольги Борисовны.

С этими словами он повернулся и вышел из аудитории. Видно, вопрос о Лепешинской переполнил чашу его терпения.

1986, № 48

БОРИС КАМЕНЕЦКИЙ, АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА

Исповедь женщины

[...] Исповедь, о которой мы хотим рассказать, — это исповедь женщины, находившейся на краю гибели. Женщина эта была вознесена так высоко на ступеньки государственной лестницы СССР, что остальные смертные вынуждены были задирать головы, чтобы узреть ее. И поэтому ее откровения — это не рассказ о личных грехах и поступках, а раскрытие сущности государственной системы.

Ядгар Насритдинова была председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, затем возглавляла Совет Национальностей Верховного Совета СССР и неизменно оставалась человеком близким к Кремлю.

Случилось это, когда зашатался один из глиняных столпов, поддерживающих советский режим и именуемый «дружба народов». Название центрального ташкентского стадиона «Пахтакор», где во время футбольной встречи узбекской и русской команд произошли массовые националистические и антисоветские выступления, стало символом протеста против национальной политики государства. Это была заранее спланированная акция: сотни антирусских и антисоветских плакатов и лозунгов, написанных тушью и красками, одновременно взметнулись в разных концах стадиона; началось избиение русских зрителей, и тут оказалось, что узбекская молодежь вооружена не только кастетами, но и огнестрельным оружием.

Беспорядки охватили всю республику и получили громкий резонанс по всей стране, и не только среди мусульманской части населения, потому что события того памятного дня затронули многих граждан из разных слоев. Для усмирения беспорядков понадобилось пятнадцать тысяч милицейских и армейских сил. Стадион и его окрестности напоминали поле боя — десятки раненых и убитых.

Вечером того же дня было созвано срочное внеочередное заседание Бюро ЦК КП Узбекистана. Решено было создать партийно-правительственную комиссию по расследованию «пахтакоровских» событий. Председателем комиссии была утверждена Насритдинова. «Расследование» же велось фактически не комиссией, а органами КГБ, МВД и прокуратурой

республики под непосредственным руководством зав. отделом административных органов ЦК КП Узбекистана Владимира Кадырова.

Ежечасно докладывая комиссии о ходе «расследования», Кадыров прекрасно знал истинные пожелания правящей верхушки и представлял факты в соответствующем освещении. В результате, комиссия представила на Бюро ЦК КП Узбекистана справку, в которой «пахтакоровские» события трактовались как обычные футбольные страсти и отдельные хулиганские выходки несознательной части молодежи. Для отвода глаз были возбуждены ряд дел об административной и уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и убийства. Но никакой политической окраски. Так и решено было доложить Москве.

Один лишь генерал Киселев, председатель КГБ республики, отказался подписать «справку» в подобной интерпретации. Он требовал правдивого освещения событий. Однако Бюро ЦК КП Узбекистана утвердило выводы комиссии, а в отношении Киселева был поставлен вопрос об его откомандировании в Центр как человека, «*не имеющего достаточного опыта работы в национальной республике и не сумевшего разобраться в сущности пахтакоровских событий*». Принятию такого решения усиленно способствовал наместник Москвы — второй секретарь ЦК КП Узбекистана Ломоносов, имевший немалые основания опасаться раскрытия истины.

Между тем не только республика, но многие города и края России продолжали бурлить. В Москву шел поток жалоб от русских граждан, пострадавших во время «пахтакоровских» событий, и от их родственников — со всех концов страны. Но, главное, генерал Киселев, обиженный руководителями республики, направил в Кремль обстоятельный доклад об истинном положении вещей.

В предчувствии грозы заметались в панике члены комиссии по расследованию. Умер от инфаркта фактически возглавлявший «расследование» Кадыров. [...]

Дело взял в свои руки главный идеолог — Суслов. В результате пересмотра работы узбекской комиссии по расследованию, Насритдинова была выведена из состава ЦК КПСС и освобождена от должности председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР.

Невесело праздновали в том году пятидесятилетие образования Узбекской ССР. Сразу же после торжеств в Ташкент прибыла следственная группа во главе с зам. Генерального прокурора СССР Гусевым. В эту группу вошло около пятисот лучших следователей органов КГБ, МВД, Прокуратуры СССР, РСФСР, Украины и Белоруссии. Эта «сборная», по существу, заново произвела тщательное расследование. Наряду с участниками событий, были арестованы многие преподаватели и руководители высших учебных заведений в разных городах Узбекистана: они знали об организованных поездках студентов на футбольный матч и о цели этих поездок.

Начал разматываться клубок, и потянулись «следственные ниточки». И тянулись они все вверх и вверх, пока не привели к отдельным руководите-

лям республики. Были арестованы и привлечены к уголовной ответственности за антисоветскую агитацию и пропаганду, за клевету на государственный и общественный строй и организацию «пахтакоровских событий» многие идеологические, советско-партийные и судебно-следственные работники во главе с председателем Совета министров Узбекской ССР Кургановым, председателем Верховного Суда республики Пулатходжаевым и секретарем Хорезмского обкома партии Рахмановым. Они готовили и возглавляли целую группу советско-партийных чиновников, которые должны были руководить событиями. Курбанов, например, непосредственно ведал организационной стороной: составлял списки, в которых указывалось, сколько студентов из какого города, из каких вузов приедут на матч, занимался их размещением в Ташкенте. Рахманов подготовил напечатанные типографским способом листовки, которые во множестве распространялись на стадионе во время игры.

Кремль незамедлительно санкционировал арест Пулатходжаева, Рахманова и Курбанова. Тучи сгустились над головой Насритдиновой. Ей грозило не только лишение всех титулов, но, как и другим, лишение свободы на долгие сроки. Она хорошо знала: ее высокие кремлевские покровители могут смотреть сквозь пальцы на явления коррупции, моральную нечистоплотность, злоупотребление положением (сами тоже, небось, не святые), но жестоко карают за малейшее «отклонение от линии», за мышление не по шаблону, за всё, что грозит подточить фундамент их власти и личного благополучия. Ведь то, что в других странах советская пропаганда характеризует как пробуждение национального самосознания, национально-освободительную борьбу, у себя дома трактуется как антисоветчина.

Казалось, не было для Насритдиновой выхода: пути следствия привели к ней. И тут неожиданно пришло спасение. Ее ангелом-спасителем оказался один из ответственных сотрудников Президиума Верховного Совета СССР Юрий Багдасаров.

За несколько лет до описываемых событий Багдасаров занимал пост зав. юридическим отделом Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, председателем которого тогда была Насритдинова. Он имел неосторожность заполучить могущественного врага в лице первого секретаря ЦК КП Узбекистана Рашидова. В результате сложных интриг Багдасаров был снят с должности и остался не у дел. На помощь ему пришла Насритдинова. Используя свое влияние в Москве и личные дружеские отношения с Брежневым, она сумела добиться для Багдасарова перевода в Москву на ответственный пост в Президиуме Верховного Совета СССР. Багдасаров не оказался неблагодарным и не забыл оказанной ему некогда услуги. В силу своего служебного положения он находился в самой гуще проводившихся в ЦК КПСС работ по подготовке обвинительных материалов против Насритдиновой. Быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, Багдасаров подал Насритдиновой мысль об «исповеди». И это сыграло решающую роль в ее дальнейшей судьбе.

Исповедь, признание своих ошибок, чистосердечное раскаяние подчиненных — ничто так не тешит душу стоящих на вершине власти. Это биение себя в грудь перед непогрешимыми правителями любезно их сердцу. Оно подтверждает их могущество, избранность посвященных в таинство, ибо только они знают, что правильно и что неправильно, как надо и как не надо (большей частью, задним числом) с точки зрения «передовой теории». Партия охотно принимает покаянные вопли своих сынов, хоть это не всегда спасало их от гибели. Иные умирали, славословя своих палачей.

Но Насритдинова спаслась.

То, о чем она рассказала, те темные дебри, которые раскрыла высокопоставленная дама, потрясли даже бывалых «исповедников» из Политбюро. Перед ними встали картины глубокого нравственного падения, коррупции, грязного разврата и политического перерождения как норма жизни и поведения узбекских сатрапов. Спасая себя, Насритдинова не пощадила никого. Это был парад моральных уродств, примеры глубочайшего падения и низких пороков. Крупные партийные и государственные деятели республики, работники суда и прокуратуры, органов МВД и КГБ, ставленники Москвы — все нашли свое место в «исповеди».

Понимая, что неприглядный моральный облик руководителей республики никого особенно в Кремле не взволнует, Насритдинова хитро и умело связала нравственную нечистоплотность правителей Узбекистана с возрастающими антирусскими настроениями среди узбекского населения, особенно среди интеллигенции и молодежи. Выгораживая себя, Насритдинова сваливала всю вину на своих соратников. Она доказывала, что возникновению националистических выступлений немало способствовала грубая шовинистическая политика ставленников Москвы — вторых секретарей ЦК КП Узбекистана Мельникова и Титова, секретаря ЦК комсомола Узбекистана Бродовой. [...]

Рассказывают, что когда Сталину стало известно о сексуальных похождениях Берии, он сказал: «*Тот, кто так много работает, имеет право хорошо отдыхать*». Этим великим афоризмом и руководствовались, по-видимому, тяжко трудившиеся на благо своего народа партийные и правительственные деятели Узбекистана.

Был создан, под видом санатория, подпольный публичный дом, предназначавшийся для высокопоставленных лиц. Туда со всех концов республики завозились тончайшие деликатесы и лучшие вина.

Одним из частных посетителей этого правительственного притона был секретарь ЦК КП Узбекистана Мартынов, присланный Москвой. Свою семью он предусмотрительно оставил в Москве. У себя дома Мартынов тоже основал целый гарем, преимущественно из стюардесс, которым щедрой рукой раздавал лучшие в городе квартиры, тогда как десятки тысяч людей многие годы ютились в подвалах и бараках.

Имея трех жен, услугами правительственного притона пользовался и бывший первый секретарь ЦК КП Узбекистана, а затем секретарь ЦК

КПСС и посол в Сирии Нурутдин Мухитдинов. Он часто бывал в полюбившемся ему доме отдыха «Джубга» около Сочи. Туда же ему доставляли девиц из притона.

Был случай, когда понадобилось мобилизовать чуть ли не всю милицию города Кисловодска во главе с полковником Пантюховым, чтобы разыскать и утихомирить «загулявшего» Ломоносова, второго секретаря ЦК КП Узбекистана. Его нашли в обществе специально доставленных ему из Ташкента «дам». Но при этом пришлось еще разыскивать утерянные им в пьянке совершенно секретные документы.

Безнаказанным остался председатель узбекских профсоюзов Нурутдинов, который в пьяном виде пытался изнасиловать родную дочь, нанеся ей тяжкие телесные повреждения.

Уличенный в растлении малолетних, застрелился заместитель председателя Совета Министров Узбекской ССР Иргашев.

Покончил жизнь самоубийством секретарь ЦК КП Узбекистана Малик Абдуразаков, когда широкой общественности стало известно, что он совратил жену своего сына и молодая женщина, не вынеся позора, утопилась.

Как в трагических хрониках Шекспира — трупы, грязь, кровь, злодейство...

Только у действующих лиц — партбилеты в нагрудных карманах да чуть больше лицемерия, ханжества, демагогии.

По инициативе органов КГБ республики и в согласии с Рашидовым, «для пользы дела» подпольное «веселое заведение» включило в свои обязанности «обработку» иностранных дипломатов. Среди них попался один, американский дипломат, крепкий орешек. Он умел много пить, не пьянея, и не поддавался чарам правительственных гурий. Его трудно было удивить. На этот ответственный участок «невидимого фронта» была привлечена девушка редкой красоты, студентка-комсомолка Тамара Казакова. Путем шантажа, уговоров («партия велит») и угроз ее заставили заняться американцем. Успех превзошел все ожидания, и еще недавно скромная и порядочная девушка пошла по скользкому пути. Ее ценили, и она получила руководство не только упомянутым заведением, но и его филиалом, предназначенным только для Рашидова. Филиал этот, для пущей конспирации, был размещен в одном из зданий ташкентского желудочно-кишечного санатория, в котором Рашидов регулярно лечился от болезни печени. Через бывшего первого секретаря ЦК комсомола, ныне министра энергетики, личного друга Рашидова Азиза Хамидова Тамара отбирала и поставляла девушек для «самогó». Поистине: комсомол — помощник партии.

Насритдинова рассказала также, как племянник Рашидова, заместитель председателя Совета Министров Узбекской ССР Сарвар Азимов многие годы занимался присвоением государственных средств путем получения авансов по фиктивным договорам с издательствами за якобы написанные им сценарии кинофильмов. Кто посмел бы перечить племяннику верховного властителя республики? Но, когда его жульнические махинации все

же выплыли наружу, Азимов в срочном порядке был послан в специальное учебное заведение, готовящее дипломатов, после чего его назначили послом в Ливан, а затем — в Пакистан. В настоящее время он возглавляет Союз писателей Узбекистана.

Родной брат Рашидова — Сахаб Рашидов, находясь на должности прокурора Бухарской области, беззастенчиво, почти в открытую, брал взятки. После того как, пьяный за рулем, он стал виновником гибели целой семьи, Сахаб был переведен в Ташкент в качестве заместителя председателя Комитета народного контроля Узбекской ССР. Эту должность он занимает по сей день.

«За признание — полнаказания». Исповедь Насритдиновой была принята благосклонно, а саму Насритдинову помиловали в уголовном порядке. В отношении нее ограничились лишь ранее принятыми мерами: снятием с поста председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР и выводом из состава ЦК КПСС.

В результате, к партийной и уголовной ответственности были привлечены многие «соратники» Насритдиновой.

Лишь один Рашидов не понес никакого наказания и остался «невинным». Эту милость Кремля он заслужил своим многолетним холопским раболепием перед московскими хозяевами. А кроме того, по-видимому, не нашлось среди партийной верхушки более чистоплотного кандидата на его должность.

А архивы обогатились еще одним бесценным памятником, призванным свидетельствовать перед грядущими поколениями о неусыпной заботе партии и правительства о своей пастве, еще одним постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической и политико-воспитательной работы»...

1983, № 38

ФИЛОСОФИЯ

ЙОСЕФ ШКВОРЕЦКИЙ

Жгучая тема

Быка можно дразнить по-разному: согласно традиции, ничего нет лучше красной тряпки. Марксистов-ленинцев, особенно тех, что у власти, раздражает всякая критика, но вернее всего их взбесить, указывая на определенные аналогии между их доктриной и вытекающей из нее системой и доктриной и системой немецкого национал-социализма. Если невежа обитает на территории их правомочий, они с ним и спорить не станут — посадят и всё; когда же он живет не на землях их империи — его завалят возмущенными доказательствами всего того, чем обе доктрины и вытекающая из каждой практика различаются.

Они, и верно, отличаются друг от друга во многом, но совпадают в чем-то очень важном. А поскольку это «что-то» практически как раз и является решающим для жизни в созданных ими режимах, возник странный и, как только на него указывают, яростно опровергаемый феномен: в жизненной практике (хотя в теории — лишь .отчасти) нелегко найти отличие. Это «что-то», или, точнее, кто-то — краеугольный камень как коммунистических, так и фашистских режимов: это преданный член партии, так называемое здоровое ядро, собственным ядром которого является своего рода патология. Спор этих здоровых ядер с миром либеральной демократии — или, переводя на язык индивидуального опыта, с миром приличных людей, часто живущих в неприличных экономических условиях, — отнюдь не спор пролетариата с оными неприличными условиями. Спор этот — не коллективный, но строго индивидуальный, частный. Эти люди отмечены личной ненавистью, в основе которой лежит какой-нибудь индивидуальный, глубоко негативный опыт: то политический (казнь Александра Ульянова; расизм), то семейный (бунт детей против богатых родителей и так называемый салонный большевизм), то целая плеяда причин, вызывающих комплекс неполноценности, — художественная неудача (Гитлер), неудовлетворенное тщеславие (Муссолини), неудовлетворенная сексуальность (всяческие штурмтруппе-ры и их культ мужской солидарности), или — гораздо чаще, чем казалось бы, — жалкий внешний вид, а то и прямо физический недостаток.

Сейчас, в розовой атмосфере западного левого либерализма, непопулярно заниматься работами Альфреда Адлера, ученика Фрейда, потому

что именно он клинически доказал существование этого скрытого корня «идеологического мировосприятия». Кто бы это наедине с самим собой, а тем более публично, признался, что стал коммунистом (нацистом), потому что в детстве страдал недержанием мочи? Розовые либералы предпочитают изучать Фрейда, заботой которого — по крайней мере, в их упрощении — было лечить половые извращения; уже меньше их интересует его ученик Вильгельм Рейх, который, например, доказывал, что склонность присоединяться к радикально-авторитарным движениям можно вывести из неудовлетворенной, искаженной либо подавленной сексуальности. Это легко применить и к коммунизму, что в конце концов и сделал сам Рейх на склоне лет (он, например, выдвинул термин «красные фашисты»), а это нынче в нью-йоркских салонах дурной тон. Альфред Адлер? Вне кругов специалистов он практически неизвестен. А ведь именно он научно объяснил явление, известное всякому, кто имел дело с советским, чехословацким, восточногерманским или любым другим комсомолом: непропорциональное число активистов с физическими или психическими недостатками. Его аргументацию можно свести к тому, что всякая такая «неполноценность» как-то компенсируется, особенно в области психологической надстройки. «Компенсация мозгом» объясняет и рождение философских систем и мировоззрений. В ряде клинических анамнезов Адлер набрасывает портрет «идеологического человека»: он отличается сильной тенденцией скрыть свою неполноценность или представить ее как результат некоего героизма (хромота от рождения — как последствие ранения на войне, и т. п.), и его преследует чувство неуверенности, словно он живет в постоянной вражеской осаде.

Очень часто от неуверенности он защищается грубостью или шутовством, от чувства неполноценности плавно переходит к ощущению сверхценности, исключительности, даже не всегда сознавая этот переход; из вымышленного его больным умом образа мира он порождает гипотезы, преобразующиеся в догмы, в которых затем пациент утверждается и приписывает им реальность, а действительную реальность видеть уже не способен. Очень скоро он начинает предъявлять чрезмерные требования фанатической веры, дисциплины и т. п. себе и другим, прибегает к злоупотреблению в отношении достойных идей и движений, чтобы достичь ощущения собственной ценности, а наконец — и сверхценности, и чтобы другие люди, а с ними их идеи и движения, обесценились. В результате он живет как пленник собственной идеологии, взошедшей из этих патологических корней, которые, как известно, Фридрих Энгельс называл «ложным сознанием». Просто не верится, до чего совпадает энгельсовское определение с выводами Альфреда Адлера. Цитирую Энгельса: «*Идеология — это процесс, которым так называемый мыслитель проходит хотя и сознательно, но на основе ложного сознания. Реальные мотивы, конкретные силы, которые его ведут, остаются от него скрыты, а он внушает себе мотивы ложные или мнимые*».

Энгельс полагал, что в последней инстанции этими конкретными силами являются экономические факторы, — Адлер считает, что речь идет скорее об индивидуальных факторах несложившейся судьбы отдельного человека, отмеченного разочарованием в себе и чувством неполноценности. Однако разница между суждениями Энгельса и Адлера, на мой взгляд, всего лишь мнимая, ибо экономические факторы не всегда являются источником ложного сознания. Это подтверждается тем общеизвестным фактом, что в коммунистических (фашистских) партиях всегда существовали — рядом со всяческими «редисками» (красные снаружи, белые внутри) и «товарищами» из нужды — две категории: те, о ком в народе говорят: «Он, конечно, коммунист (фашист), но человек порядочный», и те, о ком: «Сволочь коммунистическая (фашистская)». Только эти последние — исключив просто бандитов — являются подлинными носителями ложного сознания, т. е. людьми в настоящем смысле слова идеологическими, и корень их отнюдь не в существующем социальном или национальном несчастье, но в личном ночном недержании мочи. Первые присоединились к радикальному движению из подлинных социальных или национальных чувств, очень скоро окажутся в конфликте с идеологами и кончат ликвидированными, исключенными из партии, предателями, ревизионистами, космополитами, пособниками «банды четырех» — репертуар выражений бесконечен, и все они означают, что эти несчастные — нормальные люди, которых на сомнительные дорожки идеологии временно завели их искренние чувства и критическое положение общества. Если мы, наконец, осознаем, что определенную форму неполноценности (болезненный разрыв между недостатком жизненного опыта и даваемой им мудрости, с одной стороны, и интенсивным желанием улучшить мир, всегда несовершенный, а зачастую дурной, — с другой) представляет сама по себе молодость, то нас не удивит массовый радикализм девушек, у которых только начинают наливаться груди, и юношей, тайно натирающихся мазями против угрей, — достаточно бюсту дорасти до положенных размеров, а угрям исчезнуть, как и эти девушки и юноши сами удивляются, до чего они тогда поглупели.

Впрочем, на последней стадии идеологии идеологические люди почти вымирают, а освободившиеся места занимают бандиты.

Теперь обратимся к д-ру Геббельсу — самой блистательной иллюстрации Адлеровой теории. Каждый, вероятно, помнит, что это был человек необычайно маленького роста, к тому же хромой — очевидно, от рождения, но он позднее приписывал это увечью, полученному в детстве, из соображений несомненно адлеровских, однако еще и потому, что, калека от рождения, он не укладывался бы в шкатулку расистского идеала (куда и так черноволосый докторишка с прекрасными цыганскими глазами вошел с большими трудностями — вплоть до того, что для его расового типа die alten Mitkampfer, кажется, не без насмешки, придумали термин nachgedunkelter Schrumpfgermane, который я перевожу как «потомственно потемневший сморщенногерманец»). Кроме того, он обладал огромной головой, непри-

ятно контрастировавшей с почти детским тельцем. Всю ущербность в области красоты Геббельс классически компенсировал мозгом, притом на двух полях деятельности: более невинным из них была бурная половая жизнь.

Другое поле компенсации было опаснее — политика, идеология. Решающими здесь оказались несколько факторов. Прежде всего, то, что Геббельс, когда вспыхнула Первая мировая война, хотел пойти в армию добровольцем, а врачебная комиссия его, естественно, не пропустила. На несколько дней он заперся в комнате и грозился покончить с собой. Это разочарование в себе, соединявшееся с отвратительной для него, типичного интеллигента, мелкобуржуазной средой законопослушной и набожной семьи, сразу после войны привело его к страстному изучению Маркса и Энгельса, а затем и Ленина. Лениным он никогда не перестал восхищаться, и, если провести детальный анализ его риторики, стало бы явным, думаю, нечто большее, чем мимолетное влияние. Об этих обстоятельствах ученые из Института марксизма-ленинизма, разумеется, ничего не пишут, но это, увы, исторический факт, легко доказуемый на материале сохранившихся речей Геббельса.

Вступив в НСДАП, разочарованный Геббельс присоединился к ультралевому крылу партии, возглавлявшемуся братьями Штрассерами, и стал главным редактором их «Национал-зоциалистише Брифе» — вероятно, единственного нацистского журнала, имевшего некоторый интеллектуальный уровень. Для этого журнала Геббельс писал передовые статьи, отличавшиеся неустанной пропагандой идеи, согласно которой судьбы революционной России и революционной Германии родственны. Иногда там можно найти прогнозы прямо пророческие: «*Устремим наш взгляд на Россию, ибо она будет идти с нами по пути к социализму, ибо она — природой нам данный союзник против дьявола искушения и коррупции Запада*». Или в другом месте: «*С западным капитализмом нас объединяет куда меньшее, чем с восточным большевизмом*». В Гитлере, который с самого начала стремился не к социализму, а к власти, Геббельс некоторое время видел, в согласии со Штрассером, прямого предателя национал-социалистической революции и на бурной сходке штрассеровских партийных групп и профсоюзов в 1926 году он в пылу дебатов по-большевистски крикнул: «Предлагаю исключить из партии мелкобуржуазного Адольфа Гитлера!»

Будучи весьма чувствителен к сублимированным гомоэротическим отношениям, он, однако, скоро почуял, что будущее принадлежит не благоразумному и действительно мелкобуржуазному Штрассеру, но харизматическому и живому, как ртуть, демагогу Гитлеру, и стал личным другом Гитлера. Вскоре после того, как он предлагал исключить фюрера из партии, он произнес одну из самых блистательных своих речей, которая является еще и любопытным свидетельством того, как близки были нацистские идеологи (не просто бандиты типа Геринга, которые всегда в конце концов побеждают идеологов) к коммунизму в начале своего движения. Заглавие речи — «Ленин или Гитлер». Вся речь прямо дышит восхищением перед Лениным и его делом, Ленину в ней посвящено не меньше места, чем Гитлеру, а деятель-

ность его разобрана намного подробней. Историческое дело Ленина, говорит Геббельс, — коммунистическая Россия, а немецкие коммунисты вроде Тельмана или Люксембург — всего лишь жалкие русские представители в Германии. Против революционного создания русского Ленина равно или более ценное может создать лишь человек, такой же великий, как Ленин, но при этом насквозь немец. Такой человек существует — его зовут Гитлер. Как Ленин произвел насильственную коммунистическую революцию и тем изменил ход истории, так и Гитлер произведет насильственную национал-социалистическую революцию и тоже изменит направление истории.

В отличие от либеральных и многих социал-демократических политиков Геббельс понял исторические последствия 1917 года, и его текст полон нескрываемой симпатии к большевистской революции — он прямо называет ее решительным шагом человечества вперед. Геббельс стал страстным сторонником сотрудничества с революционной Россией. Социальная революция в Германии, по его мнению, возможна лишь при условии, что Россия будет союзником Германии. Пакт Гитлера со Сталиным, столь поразивший несведущий в нацизме мир, отнюдь не был нелогичным последствием каких-то непонятных интриг министра Риббентропа.

В самой Германии Геббельс обнаруживает три главных политических течения. Первое — центр, он включает все партии от социал-демократов вплоть до немецких националистов, «*ибо все они стоят под охранительным зонтиком демократии, либерализма, капитализма — ценностей, которые они почитают святыми и неприкосновенными*». По обе стороны «реакционного» блока стоят два революционных движения: коммунисты и национал-социалисты, «*которые одну вещь распознали ясно и поняли правильно: если мы хотим стать будущим, мы достигнем его не реформами, но радикальной революцией. Система либерально-капиталистической демократии внутренне так разъединена, так гнила, что ее уже невозможно ни латать, ни реформировать. Она должна быть уничтожена до основания...*»

Так почему тогда не стать коммунистом? Тут в игру вступает специфически нацистское ложное сознание: потому что глашатай марксизма в Германии — «еврейская интеллигенция». Немецкий марксизм — очевидно, в отличие от русского, — союзник «еврейского биржевого гангстера». Общая цель коммунистов и нацистов — уничтожение буржуазно-демократического государства. После этого между союзниками неизбежно возникает конфликт, но — слушайте внимательно: «*...этот спор должен вестись по-деловому, без демагогии и независимо от временных выгод. Мы должны встретиться*, — патетически взывает Геббельс, — *вы, левые, и мы. Мы же, в принципе, хотим одного и того же: наша цель — свобода!.. Для нас центральная проблема наших дней — решение социального вопроса. Социального вопроса не в смысле повышения зарплаты и уменьшения изнурительного труда... Германия станет свободной в тот момент, когда достигнут взаимопонимания 30 миллионов левых и 30 миллионов правых... Социальный вопрос — вопрос не буржуазного сострадания, но государственной социалистической необходимости. Мы знаем, что наш*

путь ведет не через избирательные урны, но через последовательное разрушение системы, через революцию». [...]

Я цитирую все это, чтобы показать, что и в некоторых аспектах доктрины (я уж не говорю об организации партии, структур ячеек, партуполномоченных, доносчиках и т. п.) у нацизма есть нечто общее с коммунизмом: в истоках своих это тоже была радикальная идеалистическая реакция на плохую конкретную реальность во имя утопического идеала. Фашизм видит этот идеал в прошлом, в идеализированной средневековой организации общества; коммунизм — в идеализированном утопическом будущем. Есть ли в этом, с точки зрения теории, принципиальная разница, не знаю.

Если мы осознаем эти не слишком известные обстоятельства, мы поймем и много других, на первый взгляд, нелогичных вещей. Например, речь Геббельса на собрании немецких кинематографистов в 1933 году, где он, уже министр пропаганды, привел знаменитый эйзенштейновский «Броненосец Потемкин» в пример нацистским режиссерам и объявил еврея Эйзенштейна образцом настоящего художника. Бедняга Эйзенштейн так расстроился, что напечатал «Открытое письмо Йозефу Геббельсу», некоторые формулировки которого сегодня, когда мы знаем и судьбу советского кино, и горькую участь самого Эйзенштейна, звучат довольно иронически: «*Как вы смеете требовать от ваших кинематографистов, чтоб они правдиво отображали жизнь, не требуя от них взывать к совести мира о тысячах тех, кого мучат насмерть в ваших тюрьмах? Где взяли вы дерзость вообще говорить о правде, вы, воздвигший Вавилонскую башню обмана и лжи?*» Эти слова Эйзенштейн написал в 1934 году, когда разгонялась первая волна сталинского террора и когда, провозгласив соцреализм, окончательно добили художественную свободу. Однако он был, кажется, расстроен искренне, так искренне, что снова вернулся к Геббельсу в 1938 году, по случаю выхода «Александра Невского», в статье «Мой сюжет — патриотизм». Там он разделался с докторишкой еще пламенней, чтобы вскоре пережить неприятности, связанные с пактом Сталина и Гитлера, в рамках которого шовинистски-антинемецкая драма о мудром князе, массово уничтожающем придурковатых тевтонских рыцарей, на 18 месяцев оказалась запрещенной.

Нас не поразит и такой курьезный факт, что сценаристом знаменитого фильма «Das blaue Licht», где в главной роли блеснула Лени Рифеншталь, был не кто иной, как венгерский коммунист Бела Балаш. Мы не будем удивляться, узнав, что ядро пресловутой фландрской дивизии СС «Валлония» Леона Дегрелля, почти целиком погибшей на Восточном фронте, составляло несколько сот бывших коммунистов и членов молодежной социалистической организации «Jeunes gardes socialistes». Нам не покажется чересчур абсурдным и замечание официального идеолога Муссолини эпохи так называемой Итальянской социальной республики Ардженто Соффичи, по словам которого, «*если державам Оси суждено будет проиграть войну, большинство настоящих фашистов — тех, кто выживет, — перейдет к коммунистам. Потом им придется навести мосты через ров, разделяющий обе революции*».

Нам не будет странно читать и речи самого Гитлера, обнаруживая в них иногда простой перевод ленинских принципов на язык национал-социалистических понятий. Яркий пример — необычно краткая речь фюрера на Нюрнбергском партайтаге 1934 года. По существу, это иная — чисто словесно — формулировка таких ленинских изобретений, как понятие партии — элитарного авангарда пролетариата, как строгое разделение идеологии и тактики, как большевизация социал-демократии — ее превращение в партию, где царит дисциплина, и т. д.

Теперь, однако, оставим эти сферы высокой политической «теории» и знаменитых имен. Обратим взгляд, как говорят сталинцы, к «низам». Там мы найдем множество иллюстраций к познаниям, добытым нами при изучении идеологических высот. И здесь воплощаются основные закономерности ложного сознания: в конкретном случае песен корни музыкального развития и структуры текста остаются скрыты от автора, а реальность проникает в его сознание в искаженной форме, которую, однако, он и его слушатели воспринимают как отражение действительности. Поскольку же на самом деле это только отражение подсознательных реакций, возникает реальность, измененная до неузнаваемости, — ложная реальность.

Карбусицкий[1] приводит два роскошных примера, где ложное сознание переработало реальность в фантазию. Первый — песня известного восточногерманского диссидента Вольфа Бирмана о западногерманском левом радикале Руди Дучке «Три пули для Руди Дучке». Цитирую первый куплет (перевод дословный):

Три пули для Руди Дучке
Кровавое покушение
Мы ясно видели
Кто здесь стрелял

В следующих куплетах выясняется, кто же эти трое, стрелявшие в Руди. Первый — печатный концерн Шпрингера, второй — представитель крупных монополий, а третий — канцлер, бывший нацист, который

Выпустил пулю номер три
И одновременно послал вдове
Письмо с соболезнованиями

Слушатель, который ничего не знает ни о Руди, ни о покушении (совершенном в 1968 году Йозефом Бахманом), проникнется уверенностью, что Руди погиб, — поется-то о вдове. Кроме того, у него создастся туманное представление о группе убийц — вероятно, наемных, — от которых нити ведут к крупным монополиям. На самом же деле Дучке был только ранен, а умер много лет спустя после того, как восточногерманский бард

[1] См. его книгу «Ideologie im Lied — Lied in der Ideologie». — Musikverlag Hans Gerig, Koln, 1973.

до слез трогал его судьбой идеологически родственные души. Никакой вдовы в природе не было, а единственный, кто погиб в связи с покушением, был совершивший его Йозеф Бахман, в приступе депрессии повесившийся в тюрьме. Приказы подсознательной музыкальной структуры и ложное сознание, побуждавшее заменить действительность маниакальным вымыслом, были для идеологического сочинителя сильнее действительности, сильнее правды.

Для авторов идеологических песен важна не правда и не действительность, а эмоциональный эффект. Для этого эффекта мертвый Руди полезней живого — и в песне действует тот, кто полезней.

Еще ярче «Песня для Анджелы Дэвис» из репертуара западногерманской «Боннер Зоннгруппе». Во вступлении поется:

Они тебя ненавидят, потому что
ты — будущее народа.
Они тебя преследуют, потому что
ты негритянка и коммунистка.

В следующих куплетах судьба Анджелы отождествляется — будьте внимательны — с судьбой Джо Хилла, Сакко и Ванцетти, жертв Ку-Клукс-Клана и «массовых убийств империалистической банды». То есть Анджела включена в ряд мертвых героев. Как и Руди, она полезнее мертвая, чем живая, а поскольку американские присяжные не послали ее в газовую камеру (ничего подобного и быть не могло: за сообщничество казнят только в странах научного социализма), ее убила «Боннер Зоннгруппе» ради своих богоугодных целей.

Достаточно об идеологической хирургии реальности и о ее ложном представлении. Не менее забавны примеры Карбусицкого, которые показывают, что песни, возникшие в лагерях, на первый взгляд, совершенно противоположных, с небольшими поправками поются в обоих лагерях и похожи друг на друга, как пресловутые продукты куриного инстинкта размножения. Примеры относятся к Германии 20-х – 30-х годов, где постоянно происходил обмен песнями между отрядами СА и штурмовиками компартии. Эту мнимую неожиданность Карбусицкий объясняет в соответствии с тем, что можно вычитать из ранних речей Геббельса: между двумя лагерями существовала не столько вражда, сколько конкуренция — шел спор за души, но общим врагом была либеральная демократия, «террор» которой так тождественно фигурирует в песнях обоих лагерей. Вот песня штурмовиков из СА:

Мы живем в свободном государстве,
но свободы ни следа.
Вместо нее царит в нашей стране
террор красной диктатуры.

А вот песня коммунистов:

Мы живем в свободном государстве,
но свободы ни следа.
Вместо нее царит в нашей стране
белый ужас, ужас — террор!

Оба текста различаются только цветом в последней строфе да попыткой коммунистов представить либерально-демократическую немецкую республику еще горшим пеклом, чем это делают СА. Притом следа-то не было скорее террора, чем свободы, и оба варианта служат также хорошим примером обработки действительности ложным сознанием; иронический довесок к ним составляет факт действительного террора и ужаса, развязанного после победы обоими идеалистическими движениями. [...]

Тождественность подобных песен Карбусицкий объясняет отчасти расплывчатостью выразительных средств, отчасти реальной миграцией не только песен, но и их исполнителей. В текстах зонгов все либо туманно, либо очень общо: ненависть, радость, враг, кровь, бой, жертва, террор, флаг, надежда, слава, победа и т. п. — словесная щебенка, которую по желанию можно использовать налево и направо. Основное свойство метода идеологического стихоплетства — это как раз приемлемость результата «творческого» процесса для всех идеологий!

До 1933 года обе стороны, сражаясь, обменивались не только песнями, но и личным составом. В книге нацистского композитора Ганса Байера «Песни делают историю» об этом говорится следующее: «*Стычка в пивной или драка на улице между СА и марксистами, на стороне которых часто был численный перевес, нередко кончалась тем, что на следующий день к штурмфюреру являлось множество избитых марксистов с просьбой о вступлении в его отряд. Сначала их притягивало уважение к людям, которые были храбрее и лучше умели драться. Однако вскоре идеи национал-социализма вдохновляли их так же, как остальных товарищей из Штурма. Хорст Вессель умел мастерски перетягивать лучших парней из марксистских формаций в свой отряд, назло их прежним товарищам по партии. Ясно, что эти люди принесли с собой песни, возникшие в лагере красных. Но после нескольких поправок в тексте их пели и в СА*». Байер приводит примеры того, как обходились *без каких бы то ни было* изменений текста, — в том числе целую песню. Это «Песня русских красногвардейцев» (вероятно, «Молодая гвардия». — *Прим. пер.*), которая в своей чистой, оскопленной от всякой конкретности форме прибрела сначала к берлинским коммунистам, а потом к штурмовикам.

Иронической вершиной право-левого симбиоза стал «Интернационал». Байер об этом пишет: «*Раз в неделю наш Штурм устраивал пропагандную демонстрацию по северному Берлину. В репертуар наших песен входила также революционная песня, которую называли "Гитлернационал". Едва доносились с улицы ее звуки, как начинали отворяться окна, и из них высовывались люди, чтобы с ликованием приветствовать свои, т. е. красные, колонны. Невозможно описать, как у них вытягивались лица, когда вместо своих они видели твер-*

до сомкнутые колонны в коричневых рубашках. Потом штурмовики заканчивали свой пропагандный марш новой версией песни красногвардейцев, которую, как я сказал, первоначально пели без изменений. Новый текст выразителен: "Раньше мы были марксисты, красный фронт и социал-демократы, сегодня мы национал-социалисты, бойцы НСДАП!"»

Легкость этого перехода справа налево и наоборот, как в песне, так и в жизни, легче объяснима при помощи Адлера. Идеологический человек не «обращается», он просто присоединяется к другому, опять-таки идеологическому течению. Карбусицкий говорит о потребности многих жить в ясно организованном, эмоционально волнующем, примитивно ритуализированном мире. Эта древняя потребность существовала уже на заре человеческой истории, и человечество трудолюбиво преодолевало ее мыслью великих мыслителей от древних греков через Декарта, Канта, Спинозу и до просветителей — философов либерализма и демократии. Ныне, в нашем веке, парадоксально «*не отсутствует, вероятно, ни один из феноменов доисторической стадии рода человеческого. Усилием идеологов возрождены и вновь действуют все умственные ископаемые. Ритуалы, магические переодевания в виде военных и полувоенных форм, фетишизм, табу, культ вождей и харизматическая деятельность знахарей, заклинания в виде лозунгов и застывших словосочетаний, тотемическое чтение символов и т. д. Наступает культурный регресс, характеризующийся тем, какую огромную роль во влиянии на людей играет гипнотическая, внушающая коннотация, проникающая в подсознание объекта индоктринации так, что он этого и не чувствует. И при этом рафинированное вторжение идеологов в подсознание массового человека само управляется подсознательными силами. Мы переживаем*, — заканчивает Карбусицкий, — *последнюю стадию полного распада просветительства*».

Можно ли этому как-то противостоять? Вероятно, но для этого следует проводить различие между идеей и идеологией. Каков критерий этого различения? Решающим здесь является правда социально-критической мысли. Текст, возникший из сильного переживания социальной несправедливости, обладает моральной силой правды, пока его мысль волнует сознание ближних как идея, реагирующая на конкретную действительность. Идея обладает силой правды и не нуждается ни в какой диктатуре и ее магических ритуалах, она готова принимать дискуссию и меняться. Напротив, идеология дискуссий не допускает, поскольку должна хранить свою ортодоксальность. Ее идеи — это не идеи в полном смысле слова, поскольку соответствуют уже не конкретной действительности, а догмам, формулировка которых окончательна и эмпирией пренебрегает. Песни, сочиненные по идеологическому приказу, даже если словесно не отличаются от песен, возникших из реального переживания, теряют пафос правды, который есть в первоначальных песнях. Поэтому старый блюз об анонимном суде Линча и сегодня трогает человека — в нем правда конкретной реальности. Песня же об Анджеле Дэвис в лучшем случае воспламенит несколько «здоровых ядер», — остальную публику она оставит холодной. В ней не правда, а идео-

логически переработанная действительность. Или, как говорит Энгельс, ложное сознание. Или, проще говоря, ложь.

Ложь — пристань прибытия всех идеологий, даже если их породили подлинные чувства. Точнее, из подлинных чувств никогда ни одна идеология не родилась — идеологию порождает злоупотребление чувствами и достойными идеями ради решения жгучих личных проблем определенных людей, пулями или хотя бы кулаками пробивших себе место во главе идеологических структур власти или, в районном масштабе, чиновничьей иерархии. Поскольку основная психологическая закономерность для всех идеологий одна и та же, из их тождественных яиц рождаются поразительно похожие курицы.

Постскриптум автора. Современный пример сочетаемости элементов фашистской и коммунистической идеологии приводит Томас Шиэн в статье «Италия — правые террористы» («Нью-Йорк Букс Ревью», 22 янв. 1981): итальянская террористическая организация НАР определяет свою идеологию как наци-маоизм, основывает ее на теориях Гитлера, Мао Цзе-дуна, Перона и Кадафи, а лозунг ее: «*Да здравствует фашистская диктатура пролетариата!*»

1982, № 33

ГЕРМАН АНДРЕЕВ

Два пророка: Карл Маркс и Федор Достоевский

Мишель Нострадамус был не первым и не последним, кто поддался соблазну профетизма. Но в памяти людей остался он, а не многие другие пророки. Легко отнести это обстоятельство за счет будто бы поразительного исполнения его предсказаний, в то время как его конкуренты были не столь удачливы. Однако, принимая во внимание, что Нострадамус, как и другие его коллеги, избегал конкретных формулировок, ограничиваясь туманными намеками, приходишь к выводу, что своей славой один и забвением другие обязаны не точности своих предсказаний, а удачливости интерпретаторов.

Нелегко, учитывая доверчивое отношение людей ко всякого рода ясновидящим, отличать шарлатанов от пророков, действительно обладающих даром предвидения. История лишь XX века знает по меньшей мере три случая, когда массы пошли за лжепророками и оказались на краю бездны. Бросается в глаза одно общее обстоятельство, а именно непрекращавшееся насилие ради осуществления этих пророчеств. С одной стороны, и Маркс, и Гитлер, и Хомейни утверждаются как пророки чего-то, что должно *неизбежно* наступить; с другой, — создаются партии, военные подразделения, тайная полиция — и все это для ускорения прихода будущего, столь гениально предсказанного духовным вождем.

Появление и торжество пророков сопровождается массовым психозом. Массы делаются материальной силой наиболее шарлатанских идеологий, оперирующих примитивными конструкциями, для усвоения которых не нужно ни ума, ни совести, но лишь экстаз и ненависть к существующему положению вещей.

В мысли, что «нет пророка в своем отечестве», скрывается большая правда, ибо массы предпочитают шарлатанов истинным пророкам.

1

В России начала XX века претендентов на место отечественного пророка было хоть отбавляй, но, в сущности, серьезный выбор предстояло сделать лишь между двумя: своим — Федором Достоевским, и чужим — Карлом Марксом.

Острый интерес к философии и пророчествам Достоевского не случайно возник в кругах русской интеллигенции в конце XIX века. Европа стояла накануне рождения нового человека, созидателя нового, странного для XIX века мира. Достоевский этого человека предчувствовал: «*Да, уже теперь кто-то стучится в дверь, некто, новый человек, с новым словом. Он хочет открыть дверь и войти... Но кто Он — вот вопрос. Это совсем новый человек или такой, который похож на нас всех, старых людей?*»

На другом конце Европы Карл Маркс заговорил о том же: по Европе бродит некий призрак, Маркс называет его «призраком коммунизма». И, как бы заранее отвечая Достоевскому, он пишет в «Коммунистическом манифесте», что новый человек будет совсем не похож «на старых людей», он разрушит все их святыни, перевернет все устоявшиеся представления. Пророчество Маркса привлекло европейского человека своим резким отличием от пророчеств средневековых мастеров ясновидческого цеха. Впервые в истории приход будущего был высчитан с бухгалтерской точностью. Никаких мистических предчувствий — точные экономические и социологические выкладки, неопровержимо доказывающие приход в скором будущем коммунизма и коммунистического человека, обладающего определенными, точно предсказанными свойствами.

Эти два человека связаны некоей прямо-таки мистической связью. Человечество и теперь все более и более определенно раскалывается на два лагеря, люди одного из которых следуют за Марксом, а другого — за Достоевским, не всегда это сознавая.

Для людей мистического склада в этой расколотости мира отражена извечная борьба между Христом и Антихристом, связанными друг с другом так, что один без другого немыслим.

Сопоставляя личности Достоевского и Маркса, не можешь отделаться от ощущения этой противопоставленности, резкой непохожести двух натур, и вместе с тем замечаешь нечто общее в их судьбах и в их характерах.

Маркс родился в 1818 году, Достоевский — в 1821-м; Достоевский умирает в 1881 году, Маркс — через два года после него. Оба — свидетели одной и той же эпохи европейской жизни. Оба — из относительно небогатых семей. Гнет материальных обстоятельств был им одинаково знаком. Детство обоих протекало в городе, оба были оторваны в детстве и отрочестве от почвы, земли, природы. Вместе с тем, оба в детстве и затем в отрочестве были очень религиозны. Первая из дошедших до нас работ Маркса называлась «Единение верующих со Христом по Евангелию от Иоанна, гл. 15, ст. 1 – 14, его сущность, безусловная необходимость и оказанное им влияние». Достоевский обучался грамоте по сборнику историй из Ветхого и Нового заветов.

У обоих — дьяволы-соблазнители. Таков для Маркса Моисей Гесс. Гесс, социалист, атеист, влюбился в Маркса и поставил своей целью вырвать его из лона Церкви, сделать социальным борцом, безбожником. Такой же любовью с первого взгляда проникся к Достоевскому Виссарион Белинский. В развитии Белинского это было время его перехода к якобински понятому

социализму: «*Тысячелетнее царство Божье утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а террористами — обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьера и Сен-Жюста*». И, как Гессу нужно было привлечь своего кумира Карла Маркса к делу служения дьяволу, так и Белинский своими речами начинает привлекать Достоевского в ряды богоборцев. Оба «соблазнения» происходят примерно в одно время, в первой половине 40-х годов.

И Маркс, и Достоевский обращаются к социализму. Уже в 1848 году Маркс пишет вместе с Энгельсом «Коммунистический манифест», зовущий к уничтожению существующих общественных отношений и к созданию коммунистического общества на атеистической основе. Достоевский в 1849 году приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами, за «*участие в преступных замыслах, за распространение частного письма* (Белинского к Гоголю. — *Г. А.*), *наполненного дерзкими выражениями против Православной церкви и верховной власти*».

Маркс как встал на путь социализма и богоборчества, так с него и не сходил. Короткий в жизни Маркса период раздвоенности закончился на исходе 40-х годов, и все дальнейшее, что известно о Марксе, свидетельствует о целостной натуре, не знающей сомнений, убежденной в истине, которая обнаруживается с помощью экономических, социологических и философских исследований. С конца 40-х годов Маркс уходит от реальной жизни в ученый кабинет; сфера чистой мысли, спекулятивной логики, а также партийной борьбы (подчас более достойной называться интриганством) — единственная, где он себя проявляет. Порвав с религией, он сразу же теряет интерес к отдельному человеку. Классы, партии, движение масс — только это приобретает для него значение, а человек нужен лишь постольку, поскольку служит прогрессивному развитию человечества. Так что и смерть собственной матери вызывает у него чуть ли не удовлетворение: «*В данных обстоятельствах я нужен больше, чем старуха*», — пишет он в частном письме. Друзья по партии не вызывают у него нежных чувств: стоит им сделать какую-то, с его точки зрения, теоретическую ошибку, как он награждает их самыми нелестными прозвищами: Фрейлигрaт — «свинья», Лассаль — «еврейский негр», Либкнехт — «вол», Бакунин — «теоретический ноль». Маркс убежден, что всякая частность, все индивидуальное лишь затемняет картину мира, а потому он отгораживается от встреч с людьми, с жизнью, уходит в книгу. Почти во всех воспоминаниях о нем выражается восхищение его громадной начитанностью, знанием языков, европейских литератур. И трудно найти свидетельства его заботы об отдельном человеке, его встреч с людьми не его узкого круга. Все его суждения — результат изучения письменных источников, преломляемых через его идеологию. Он уверенно судит о целых народах, никогда не побывав в странах, где эти народы живут, не зная простых людей из этого народа. Он говорит, что «немцев, китайцев и евреев можно сравнить с мелкими уличными торговцами», русских он считает «варварской расой», а всех славян — «этническими отбросами».

«Идеолог пролетариата», отдельных пролетариев он иначе, как «болванами», не величает. Его высказывания о разных народах, о пролетариях — не столько выражение грубости его натуры, сколько презрения ко всему прошлому человечества. Люди пока сделали мало что путного, на всех народах, на всех классах лежит вина за идиотскую жизнь, за создание систем, место которых на помойке истории. В себе Маркс видел гения прогнозирования, воплотившего чистый разум, не замутненный никакими предрассудками и оперирующий лишь точными категориями. Ненавидя капитализм, обличая всяческие его пороки, он сам — типичный буржуа по образу своей жизни. Это не лицемерие: просто он, Карл Маркс, живущий за чужой счет, сожительствующий со своей служанкой при живой жене (и чуть ли не на ее глазах), есть некая случайность, как случайна вообще всякая индивидуальность. Существенными для Маркса являются выкладки о производительных силах и производственных отношениях, о морали как надстройке над экономическим базисом, о борьбе классов, которая приведет к созданию такого общества, в котором справедливые общественные отношения будут определяться, в частности, новой, высшей моралью.

О том же самом, об отношении общего и частного, закона и случая, думает и Федор Достоевский. Но выводы его противоположны: «*Общие принципы только в головах, а в жизни одни только частные случаи*». Свои прогнозы Достоевский строит не на знакомстве с научными книгами, а на встречах с огромным количеством отдельных людей, на скрупулезном анализе душевного кванта. Карл Маркс знает лишь ученых, революционеров, газетных публицистов, проживающих на том маленьком кусочке планеты, который называется Западной Европой. Достоевский же, помимо этих типов, знает русских мужиков и схимников из глухих русских пустыней, солдат в Средней Азии, уголовных преступников в сибирских каторжных тюрьмах, уличных проституток, рабочих маленьких предприятий в центре России, русских степных помещиков, министров, бедных студентов, разорившихся чиновников, иерархов Русской православной церкви, следователей сыскной полиции, мелких ремесленников, петербургских торгашей. Он изъездил всю Европу, всю Россию от Петербурга до Семипалатинска. Он жил на каторге, в ссылке, в столице, на европейских курортах и в русских провинциальных городишках.

Люди, знавшие Достоевского, отмечают черты страдания на его лице. Он считал себя причастным к порокам всего человечества. Н. Страхов вспоминает, как Достоевский после случавшихся с ним припадков эпилепсии говорил, что ощущает страшную тоску: «*он чувствовал себя каким-то преступником, ...ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое злодейство*».

Оба они, и Маркс и Достоевский, питают какое-то подозрительное отношение к капиталу, как бы заворожены его могуществом. Вот Родион Раскольников лежит в своей каморке, а служанка Настасья упрекает его в безделье. Но за копейки он работать не хочет: «Что за копейки сделаешь?» — «А

тебе сразу бы весь капитал?» — Он странно посмотрел на нее: «Да, весь капитал, — твердо отвечал он, помолчав».

«Преступление и наказание», откуда взяты эти строки, выходит в 1866 году, первый том «Капитала» Маркса — в 1867 году.

2

Развитие капитализма, влияние капитала на социальные отношения и духовную жизнь отдельного человека — в центре внимания основных политико-экономических работ Маркса и художественных творений Достоевского.

Деньги в романах Достоевского — некий мистический объект, который отнимает у людей волю, завораживает их, изменяет самую их сущность. Они всегда связаны с каким-нибудь преступлением, почти всегда рядом с кровью. Деньги обладают дьявольской выживаемостью. Они — мера человеческой подлости, человеческой готовности отдаться дьяволу. [...]

Поразительные, почти текстуальные совпадения встречаются в писаниях Маркса и в произведениях Достоевского. Так, в «Экономическо-философских рукописях» Маркса читаем: «*Свойства денег суть мои — их владельца — свойства и сущностные силы. Поэтому то, что я есмь и что в состоянии сделать, определяется отнюдь не моей индивидуальностью. Я уродлив, но я могу купить себе красивейшую женщину. Значит, я не уродлив, ибо действие уродства, его отпугивающая сила сводится на нет деньгами... Я скудоумен, но деньги — это реальный ум всех вещей, — как же может быть скудоумен их владелец?*» Точно такой же ход рассуждений у героя романа Достоевского «Подросток»: «*...я, например, знаю, что моя наружность мне вредит, потому что лицо мое ординарно. Но будь я богат, как Ротшильд, — кто будет справляться с лицом моим и не тысяча ли женщин, только свистни, налетят ко мне со своими красотами? Я даже уверен, что они сами, совершенно искренно, станут считать меня под конец красавцем. Я, может быть, и умен. Но будь я семи пядей во лбу — и я погиб. Между тем, будь я Ротшильдом, разве этот умник в восемь пядей будет что-нибудь подле меня значить? Да ему говорить не дадут подле меня!*»

Представление о кризисе, в который европейского человека завел капитализм, стало своего рода трамплином, отталкиваясь от которого, Маркс и Достоевский устремились к своим пророчествам.

По Марксу, источник всех пороков капитализма — эксплуатация, которую он определяет как присвоение прибавочной стоимости капиталистами. Прибавочная стоимость, возможная лишь при наличии частной собственности, создает богатство одних и бедность других, разделяет общество на враждебные классы паразитирующих буржуа и трудящихся пролетариев. Борьба классов есть выражение противоречия между общественным характером производства и частной формой присвоения. Все зло в капитале, это он источает все преступления на земле.

Вопрос об источнике зла — главный и для Достоевского. Ответ Достоевского не столь однозначен. Более того, Достоевский вообще не мог бы ска-

зать, что знает истину во всем ее объеме, да еще и единственно научную и всепобеждающую. Герои Достоевского спорят, это нескончаемый спор pro и contra. И нет у Достоевского последнего ответа. Потому-то он и не может стать властителем дум широких масс, как Карл Маркс. Массам нужен ясный ответ на вопрос, кто виноват и что делать. Им нужен пророк, в абсолютном знании которого они убеждены, — самостоятельное решение для них исключено. И от такого решения Маркс их освобождает. Он предлагает выверенную конструкцию, которую человек массы усваивает как изначально, априорно совершенную. Ответы же Достоевского — это одновременно вопросы, адресованные свободной, не массовидной личности. Достоевский и сам — в поисках бесконечности, и читателя зовет присоединиться к нему в этих поисках: «*Я упражняюсь в мышлении, а следовательно, у меня всякая первоначальная причина тащит за собой другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность*». Иван Карамазов отказывается признать эвклидову геометрию за конечное достижение математики. Маркс в социологии был тем, что Эвклид в геометрии. Достоевский же подозревал, что параллельные линии в бесконечности пересекутся, что не будет такого времени, когда «*все поступки человеческие, само собою, будут расчислены... по законам, математически, вроде таблицы логарифмов до 108000, и занесены в календарь*», когда «*настанут новые экономические отношения, совсем уже готовые и тоже вычисленные с математической точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы*».

Марксова эвклидова социология помогает увидеть человека как элемент социальной структуры; Достоевский увидел в человеке существо, чрезвычайно запутанное, в котором всего «понамешано»: и познаваемое, социально-экономическое, и загадочное, психологическое, мистическое, которое невозможно, как говорил Достоевский, объяснить «никакой логистикой».

3

Для Достоевского как художника есть прежде всего отдельный человек, отдельная душа, отдельная судьба, не имеющие для ученого-социолога серьезного значения как факторы случайные.

Достоевский был знаком с позитивистскими теориями, в которых человеку отведено место частицы в общей социобиологической конструкции. В «Записках из подполья» он полемизирует с Чернышевским и стоящим за ним Фейербахом, однако критика его вполне может быть применима и к марксистскому варианту позитивизма: «*Вы говорите.., что ни воли, ни каприза на самом деле у него* (у человека. — *Г. А.*) *и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более как нечто вроде фортепианной клавиши или органного штифтика; и что сверх того, на свете есть еще и законы природы; так что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотению, а само собою, по законам природы*». Достоевский сомневается в том, что ученые смогут открыть такие законы, но если все же они будут открыты, «*то уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко*». В позитивистском

оправдании человека Достоевский видит стимулирование преступности. Он пишет в «Дневнике писателя»: «*Делая человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общества, учение о среде доводит человека до совершеннейшей безличности, до совершенного освобождения от всякого нравственного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить*».

Главный вывод Достоевского: всякое абстрагирование от конкретной личности не имеет никакого смысла или же имеет смысл весьма не точный, всякое обобщение о человеке таит в себе риск отрыва от реальности. Поскольку такое абстрагирование провоцируется математическим подходом к человеку, Достоевский отказывается от математики и опирающейся на нее социологии и в разговоре о человеке переходит в иные сферы — в сферу психологии, причем не как точной науки, пользующейся опять-таки математико-биологическими средствами анализа, а психологии, имеющей дело со стихией человеческой души. Эта стихия не поддается вообще никакому рациональному исследованию. В письме к брату Достоевский писал: «*Природу, душу, любовь и Бога познаешь сердцем, а не разумом*». Метод Достоевского кажется несколько более рискованным, чем метод Маркса: интуиция представляется людям плохим советчиком и уж, во всяком случае, не аргументом в споре. Маркс исходит из того, что действия человека предопределены его положением в производственной структуре. Это положение диктует человеку его представления о выгоде, о его индивидуальных целях вообще и сегодня, в частности. Таким образом, выгода, расчет возникают в сфере классового сознания, а не в туманной области души, не познаваемой опытным путем.

Достоевский подвергает сомнению этот тезис. Он задает вопрос об исключениях, которых набирается что-то очень уж много: «*Что ж делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, что люди зазнамо, то есть вполне понимая свои выгоды, оставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую...*»

Никак не отрицая того, что человек руководствуется в своих действиях выгодой, Достоевский лишь перемещал внимание с материальной и логической основы представлений о выгоде в сферу идеальную, духовную, иррациональную. Логическому обоснованию поступков человека, будто бы руководствующегося классовым сознанием и классовым (грубо говоря, шкурным) представлением о выгоде, Достоевский противопоставляет свое, смысл которого (несколько упрощая) сводится к следующему. Разум, способный к логическому формулированию понятия выгоды, все время корректируется инстинктом, смутными, никакому рацио не подвластными реакциями (с точки зрения общечеловеческой как позитивными, так и негативными). Ожидаемые от поступка материальные выгоды могут быть полностью и даже незаметно для самого действующего лица подменены вы-

годами моральными, иногда или даже чаще всего зачеркивающими выгоды заранее предполагаемые, рассчитанные. В этой путанице расчетов, ощущений, сиюминутных настроений, возможностей, реактивных действий, как две координаты, проявляются начала добра и зла, прочерченные не релятивным классовым сознанием, а абсолютным диктатом Бога и дьявола. Герои романов Достоевского — не схематические представители класса и эпохи, а индивиды, представляющие сгущение элементов, как классово и исторически ограниченных, так и духовно бесконечных. По четко очерченным признакам, Раскольников — бедный петербургский студент, Свидригайлов — помещик, князь Мышкин — представитель старинного дворянского рода. Но их поступки, их состояния, их реакции диктуются массой как определяемых, так и не определяемых ощущений, желаний, представлений. Преступление Раскольникова вызвано и холодным расчетом, идеологическими убеждениями, и стихийными движениями души, и случайными обстоятельствами.

По Марксу, высокое и низкое, справедливое и несправедливое, истинное и ложное распределяется между классами, по Достоевскому — в душе каждого человека. Совсем не глупый прокурор в «Братьях Карамазовых» раскрывает суть человеческой души: «*Мы натуры широкие, карамазовские, способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловредного падения*». Идеал Содома и идеал Мадонны, по Достоевскому, сосуществуют в душе каждого человека. Человек мечется между ними, ему подчас кажется, что в нем два существа, как это думал Голядкин в «Двойнике». Ни о каком гармоническом мире вокруг человека не может быть и речи, поскольку дисгармоничен сам человек. Потому-то Достоевский и не верил в возможность построить на земле «хрустальный дворец».

Для Маркса, как и для Достоевского, была важна проблема Бога. Если нет Бога, говорит Маркс, значит, действуют научные, материалистические законы, человек зависит от этих законов и, осознав их («*свобода есть осознанная необходимость*»), становится свободным. Если нет Бога, говорит Достоевский, тогда все позволено. Маркс довольно легко отделался от Бога, как и от всего, что нельзя объяснить рационально. Он, так сказать, не нуждался в гипотезе Бога.

В этой гипотезе нуждался Достоевский. Для него гипотеза бытия Божья и гипотеза безбожия — обе значительны. Достоевского подчас называют обскурантом. В действительности, Маркс — гораздо больший фанатик атеизма, чем Достоевский — фанатик религиозный. Он как-то записал в своей записной книжке: «*Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога! И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицания, которое пережил я. Им ли меня учить!*» А в одном письме он признавался: «*Я — дитя века, дитя неверия и сомнения и до сих пор даже (я знаю это), до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем*

более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен...» Для Достоевского существует одна-единственная альтернатива: или есть Бог и, значит, бессмертие, или Бога нет — и тогда человек — хозяин жизни, и нет у него никаких нравственных преград. Человечество, которое собирается жить не по нормам христианской этики, а по своим собственным, придет в кровавый тупик. Или человек, со всеми его страстями, заблуждениями, пороками, душевной путаницей, или Христос — такова альтернатива, на которой настаивает Достоевский. [...]

Все сомневающиеся герои Достоевского ставят вопрос о Боге, и не из чистой любознательности, но чтобы определить свой путь в жизни. «*А может быть, Бога-то и нет?*» — спрашивает Раскольников Соню, Иван — черта, Федор Павлович — монахов, Кириллов — себя, ибо для них ясно, что если нет Бога, то нет и добродетели (Иван Карамазов), то все позволено (Раскольников); если нет Бога, то я обязан заявить своеволие (Кириллов), я могу все взять от жизни, «не заботясь отчетом» (Федор Карамазов). Эту атеистическую мысль доводит до логического предела герой «Записок из подполья»: «*Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтобы мне всегда чай пить*». Пока люди не признают, что существует правда, находящаяся вне их сознания, вне ограниченных их опытом этических представлений, они обречены на взаимное отчуждение, взаимную ненависть, на войны. В этом смысл сна Раскольникова о трихинах, заразивших человечество сумасшествием, симптом которого — вера в абсолютное человеческое знание. Никогда раньше «*люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали себя зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований*».

Достоевский мог верить, а мог сомневаться в бытии Божьем, но одно было ему ясно: откажись люди от Бога, — придет всеобщее сумасшествие, как пришло оно во сне Раскольникова к людям, зараженным трихинами самоуверенности: «*Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром*».

Маркс был уверен, что как раз он все это знает. Он утверждал некое поступательное развитие человечества от родового к коммунистическому обществу. Если бы Марксу было присуще чувство юмора и он жил бы в наше время, он должен был бы согласиться со сжатой формулой Абрама Терца: обезьяна слезла с дерева и начала победное движение к коммунизму. [...]

4

В отличие от Маркса, Достоевский никаких конкретных рекомендаций, каким образом изменить несправедливые общественные отношения, каким образом накормить бедных и усмирить богатых, защитить угнетенных и наказать насильников и угнетателей, не давал. Однако, не зная Марксова уче-

ния, но, будучи знакомым с родственными ему взглядами позитивистов, в частности, социалистов, Достоевский в своих трудах убежденно отвергает те предложения, которые выдвигались ими в целях установления на земле всеобщего блага.

Сам Достоевский, пусть мучаясь, колеблясь, но Бога принимал и в Бога верил. У него нет (как нет ни у кого) материальных способов доказательства бытия Божия, зато есть аргументация духовного и исторического опыта человечества. Когда Зосима говорит: «*Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь*», — то это не спекулятивные рассуждения церковного догматика, а вывод из практического опыта истории и точное предсказание. Если человек будет сам решать, кому жить, а кому нет, никакого братства на земле не будет. Не могло быть никаких *логических* контрдоводов против убийства старухи-процентщицы — контрдовод, так сказать, материализовался в лице Лизаветы. Взяв на себя право убивать из самых благих побуждений, Раскольников не может остановиться — он убивает женщину, принадлежащую к миру угнетенных, униженных и обиженных, во имя которых он поднял топор («кровь зовет кровь»). Алеша Карамазов задает брату вопрос: «*Брат, изволь еще спросить: неужели имеет право всякий человек решать, смотря на остальных людей, кто из них достоин жить и кто более недостоин?*» Маркс ответил на этот вопрос положительно: поскольку в мире идет борьба между прогрессивными и реакционными силами, представители прогресса не только имеют право, но обязаны смести с исторической дороги тех, кто мешает движению человечества к счастью и справедливости. Порфирий спрашивает у Раскольникова, а каким же образом можно отличить тех людей, которые право имеют переступить через человеческую жизнь, от обыкновенных людей, такого права не имеющих. Для Маркса такого вопроса не было: человек — социально-биологическое существо, каждый человек принадлежит или к тем, кого надо устранять, или к тем, кто должен устранять. Эти последние действуют согласно своему плану разумного преобразования мира, и поэтому им все позволено.

Достоевский не верил в реальность любви к человечеству. Как это ни покажется странным, но верующий, идеалист Достоевский представляется в этом смысле более реалистом, чем материалист и атеист Карл Маркс. Вера Маркса в то, что любви людей друг к другу мешает некое экономическое явление, а именно частная собственность и что если частная собственность уничтожится, то люди возлюбят друг друга, прекратятся войны, исчезнет конкуренция между людьми, их борьба за существование, — более фантастична, чем вера Достоевского в бессмертие. Достоевский писал в «Дневнике писателя»: «*Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству вообще — есть как идея, одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Именно как идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство-то возможно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой*».

Опираясь на столь различные постулаты, эти два мыслителя отдают много духовных и интеллектуальных сил делу прогнозирования. Кто же из них стал истинным пророком, чьи представления о мире, о человеке дали более надежный материал для предсказания о будущем, чьи предсказания сбылись, а чьи оказались ошибочными?

5

Здесь пора вернуться к Нострадамусу и его коллегам из провидческого цеха. Толкователи его предсказаний сконструировали из его туманных намеков конкретные эпизоды исторической жизни, будто бы подтверждающие его фантастическую прозорливость.

Столь же повезло с расшифровщиками Карлу Марксу. Даже, может быть, больше. Чуть ли не половина населения земного шара верит теперь, что все, им написанное, совершилось или совершается. Страны, где толкователям марксизма принадлежит государственная власть, объявлены странами «реального социализма». Попробуй сказать поклонникам Нострадамуса, что, в общем-то, из множества его предсказаний большинство не исполнилось, а те, которые вроде бы исполнились, весьма незначительны, они обвинят вас в склонности к предрассудкам, в неумении распознать мудрость великого провидца и даже в невежестве. В странах реального социализма упреками не ограничиваются, там просто сажают в соответствующие учреждения.

Как оказалось, законы экономические почти полностью снимаются законами психологическими и религиозными. Поэтому Марксово учение проявилось как утопическое, а учение Достоевского — как научное, если научным признать то, что подтверждено практикой, «критерием истины».

Коммунистическое общество, создаваемое на территории бывшей России, соответствует тому, как его предсказал Достоевский, хотя, — подчеркиваем, — создатели этого общества в основных чертах выполнили все предписания Маркса.

1. Пролетариат в России потерял не цепи, а все то, что он завоевал начиная с революции 1905 года: свободные профсоюзы, право посылать своих представителей в органы самоуправления, прогрессирующее благосостояние. Потеряв все это, пролетариат России приобрел не весь мир, а цепи, о которых с начала XX века начал забывать.
2. Коммунистическая партия, как оказалось, имеет основной интерес, совершенно «отдельный от интересов рабочего класса», а именно — сохранение в своих руках власти и всего того богатства, которое создается руками трудящихся. Недавние события в Польше лишь вновь подтвердили этот факт.
3. Отмена частной собственности привела к сосредоточению всей собственности не в руках народа, а в руках олигархической группы.
4. Классы не уничтожились, — наоборот, «новый класс» приобрел такую власть над производством и распределением, о которой никакой капиталист и мечтать не может.

5. Так называемая пролетарская революция в России была проведена не только не в интересах большинства, но в интересах самого незначительного меньшинства. Огромные слои русского населения просто истреблены: предприниматели, дворянство, состоятельное крестьянство. До небывалого в России уровня опустилось благосостояние людей таких профессий, как городские врачи и учителя, инженеры, научные работники, относящиеся в капиталистическом мире к числу наиболее высоко оплачиваемых.
6. Войны не только не прекратились, но ведутся как раз между коммунистическими странами: Вьетнамом и Китаем, Вьетнамом и Кампучией. В конце 40-х годов на грани войны находились отношения между коммунистическими Югославией и Советским Союзом. Коммунистические танки раздавили коммунистическую власть в Чехословакии. В коммунистическом Советском Союзе находится самый большой в мире арсенал оружия.
7. Государственная власть не только не отменяется, но усиливается до неслыханных для капиталистических стран размеров. Ни в одной стране капиталистической Европы нет такого аппарата полиции, такой мощной бюрократии, такой огромной армии, такого количества мест заключения, как в коммунистическом Советском Союзе.
8. Аппарат этот совсем не преследует цели создания условий для свободного развития каждого: тюрьмы, цензура, ограничения свободы печати и собраний — все это есть и в капиталистических странах; коммунистические страны не только не устранили всех этих зол, но усилили их в грандиозных масштабах.

Все это и предсказывал Достоевский.

Было бы ошибочным утверждать, что пророчества Маркса не могут быть проверены опытом России, что тоталитарная коммунистическая система, господствующая в России, — выражение ментальности русского народа или продолжение его истории. Сейчас марксистские эксперименты проводятся в Китае, на Кубе, в Польше, в Эфиопии, в Анголе, в Никарагуа. Результаты в общих чертах одни и те же. И суть не в том, что коммунисты — ужасные люди, что они заранее планировали эти кошмары. Трагедия в том, что утопическая, ничего общего с реальностью не имеющая теория Маркса признана в XX веке научной, а ее созидатель — великим пророком.

Достоевский, как и Маркс, видел призрак коммунизма: «*Над всей Европой уже носится что-то роковое, страшное*»; он предсказывал, что пролетарии «*победят несомненно и если богатые не уступят вовремя, то выйдут страшные дела*». Более того, он предвидел то, в чем Маркс просчитался, а именно, что пролетарская революция произойдет в России: «*Европейская революция начнется в России, ибо у нас для нее нет надежного отпора ни в управлении, ни в обществе*». Но вот что произойдет «потом», каковы будут результаты этой революции, Достоевский предсказал абсолютно точно: «*Очень может быть, что... цели всех предводителей современной прогрессив-*

ной мысли — человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома».

Как и Маркс, Достоевский предвидел победу коммунизма над капитализмом (то есть то, что будет «сначала»), но, в отличие от Маркса, он знал, что «потом» будет не Царство Божье, а царство дьявола. В черновике к «Подростку» мы читаем: «*Коммунизм восторжествует (правы ли, виноваты ли коммунисты), но их торжество будет самой крайнею точкою удаления от Царства Небесного*». Само предсказание победы коммунизма вытекает у Достоевского совсем из иных предпосылок, чем у Маркса. Маркс узрел призрак коммунизма и попытался дать ему так называемое научное обоснование. Но призраки мало связаны с естествознанием. Для исследования их природы мало пригодны математика и экономика. Для объяснения их нужны религия и знание человеческой души. Маркс был специалистом в первом ряду упомянутых дисциплин, Достоевский — во втором.

* * *

Духовный опыт Достоевского и материалистическое сознание Маркса выражают две тенденции европейской мысли, определившиеся на стыке двух эпох — позднего Средневековья и раннего Возрождения. С одной стороны, это средневековые аскетика и мистицизм, с другой — ренессансный материализм и гедонизм, к концу XVIII века вылившиеся в воинствующий рационализм и атеизм. Из этих двух основ возникло два типа человека нового времени: один, стремящийся к развитию исторического прогресса, понимаемого как обогащение возможностей гедонистического блага, другой, устремленный к прогрессу духовного сознания. Г. В. Флоровский писал: «*Человек должен устремляться не к имманентной цели, находящейся в горизонтальном направлении истории, а к цели, вертикально направленной, то есть к цели трансцендентной*». Марксова неудача с пророчествами — следствие пренебрежения этими трансцендентальными целями; поразительная точность пророчеств Достоевского — результат устремленности русского писателя к целям вертикальным. Маркс выстроил историю таким образом, как будто каждый этап ее является лишь подготовкой к следующему, более прогрессивному, и не имеет смысла сам по себе. Достоевский же, как и Х. Шубарт, понимал, что «*в глазах Творца все эпохи имеют равное значение*». Вследствие этого Достоевский настаивал на вечности, однозначности моральных норм христианства для всех эпох и всех поколений. Маркс писал, что коммунизм отменит «вечные истины». Он оказался прав, однако отмена этих истин в коммунистических странах привела не к возникновению истин, более ценных для человечества (как хотел Маркс), но к духовному

краху релятивистски мыслящего индивида. Коммунизм стал воплощенной смердяковщиной. Смердяков устранил на пути от идеи к поступку важнейшее звено — совесть, начало, связывающее человека с трансцендентным. Достоевский предсказал, что идея насильственного преобразования мира, даже если бы она имела некое позитивное оправдание как таковая, не может привести человека к достижению благих целей, если между деяниями, ведущими к этой цели, и самой целью в качестве контролирующего пропускного пункта не будет воздвигнута совесть. «*Человек массы*, — писал Ортега-и-Гассет, — *просто обходится безо всякой морали, ибо всякая мораль, в основе своей, есть чувство своей подчиненности чему-то, познание служения и долга*». Естественно, что мечта Маркса о возникновении коллективистского общества всеобщего братства привела в ее практическом осуществлении к обществу, где атомизированные интересы отдельных людей прикрыты лишь пропагандистскими лозунгами о морально-политическом единстве, к обществу, в котором, по остроумному афоризму А. Зиновьева, «человек человеку — товарищ волк». Достоевский предсказывал, что никакого справедливого общества не может возникнуть в результате бессовестной жестокости, неуважения к правам личности: «*Жестокость родит усиленную, слишком трусливую заботу о самообеспечении. Эта трусливая забота о самообеспечении всегда... под конец обращается в какой-то панический страх за себя, сообщается всем слоям населения, родит страшную жажду накопления и приобретения денег. Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в помощь общества, провозглашается тезис: "всякий за себя и для себя"*». Люди, пережившие ленинский и сталинский террор в СССР, увидят в этой картине, нарисованной Достоевским, гораздо больше сходства с реальным коммунизмом, чем в туманных пророчествах Карла Маркса.

В наше время марксизм превращается в секту, не желающую ничего знать о реальности и заклинающую людей псевдонаучными фразами из работ своего лжепророка.

Роковую роль сыграло то пренебрежение к русской мысли, которое выразилось, в частности, у Томаса Карлейля, писавшего, что «*бедная немая Россия никогда не производит мирового голоса*». Если бы Европа прислушалась к голосу русского, а не своего пророка, призрак коммунизма, возможно, растворился бы в атмосфере, как призраки шотландских замков, бродящие теперь лишь в фильмах ужасов.

1983, № 36

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВ

Достоевский против Канта

В 1963 году, во время максимального либерализма хрущевской эры, в издательстве Академии наук СССР была напечатана маленькая книжечка Я. Э. Голосовкера «Достоевский и Кант». Она меня настолько заинтересовала и настолько показалась необычной среди большого числа огромнейших литературоведческих трудов о Достоевском, которые захлестнули советский книжный рынок после XX съезда партии, что, попав в Москву летом 1964 года, я долго и безуспешно пытался отыскать автора. Свои попытки я впоследствии описал в одной главе книги «Лето московское».

После в зарубежных русских журналах появилась пара статей, а потом и на Западе и в Советском Союзе, судя по литературоведческим журналам, об этой книге Голосовкера забыли. Книга же «Достоевский и Кант» является лучшим, глубочайшим исследованием идеологической основы творчества Достоевского, когда-либо напечатанным в СССР. Величайшая ценность труда Голосовкера состоит в том, что он наглядно показал возможность точнейшего сравнения и «перевода» языка художественной литературы на язык чистой философии и наоборот. [...]

После двадцатилетнего вынужденного молчания о Достоевском, в 1956 году сразу же начали появляться книга за книгой, анализирующие творчество великого русского классика. Большинство книг советских исследователей придерживались или делали вид, что придерживаются, марксистско-социологической точки зрения, и доказывали, что все беды героев [Достоевского] являются результатом несправедливого общественного строя. На фоне таких многочисленных «исследований» второе издание книги М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», появившейся в том же 1963 году, и его теория о «полифоничности» явились, конечно, большим событием. После долголетнего обязательного марксистского подхода к художественным произведениям, структурализм и формализм не могли не казаться спасительной отдушиной. На Западе же книга Бахтина попала во времена поголовного увлечения структурализмом, формализмом в подходе к литературному тексту и логическим позитивизмом. Книги о Достоевском, написанные блестящими мыслителями русского религиозно-философского ренессанса: Бердяевым, Розановым, Лосским, Шестовым и другими, — в

Советском Союзе все еще не были прочитаны, а на Западе — главным образом, лишь горсткой русских эмигрантов. [...]

Надо думать, что одну из причин, по которым и книга Голосовкера осталась незамеченной, надо искать не только в маленьком тираже и полном молчании советской критики, но и в модном почти что до наших дней стремлении западной критической мысли к литературной критике и анализу, который якобы должен быть предельно «научным» и заниматься исключительно «материей и структурой словесного материала» художественного произведения. К счастью, не только в новейшей физике, но даже и в литературоведении в наше время можно наблюдать отход от всякого «научного позитивизма». Конечной точкой такого отхода является русская философская мысль Льва Шестова, Николая Лосского, Семена Франка, Николая Бердяева, Сергея Булгакова и других русских философов. В этом и состоит значение русской мысли для будущей культуры всего человечества. Путь от марксизма и научного позитивизма они прошли на полвека раньше западных мыслителей. «Открытие» русской мысли на Западе явится таким же значительным духовным событием, каким было открытие советской диссидентской литературы. Можно сказать, что Солженицын, Надежда Мандельштам, Андрей Синявский и теперь уже десятки и десятки других писателей подготовили почву для понимания и восприятия русской философской мысли и что их произведения — эмпирическое для нее доказательство. Книга же Голосовкера «Достоевский и Кант» является замечательным и пока что единственным мостом между научно-позитивистским догматизмом и русской философской мыслью, несмотря на то или, лучше сказать — благодаря тому, что работа эта написана отнюдь не языком русской философии и в ней, конечно, не упоминается по имени ни один русский мыслитель.

И, тем не менее, это книга о борьбе между атеистической мыслью и наукой — и религией, причем Голосовкер недвусмысленно показывает, что в конце концов побеждает религия и что человек становится жертвой не только душевно, но и физически, когда вместо «голоса сердца» следует «голосу разума». Думается, что причины, почему советская Академия наук напечатала такую книгу, следующие: во-первых, такое было время «либеральное»; во-вторых, чистая философия и Кант не так уж привлекательны и опасны для широкого круга читателей; в-третьих, хотя это нигде не указано, но, по словам племянника Голосовкера, С. О. Шмидта, сказанным мне в Москве в 1964 году, напечатана лишь маленькая часть большого труда; в-четвертых, сам автор все время оговаривается, что его труд является анализом лишь одной стороны творчества Достоевского — «интеллектуальной трагедии», а совсем не касается «общественных корней». Да и кто в Советском Союзе может читать Канта? Любопытным фактом является то, что, как пишет академик Н. К. Гудзий в коротеньком предисловии к книжечке Голосовкера, все цитаты из Канта взяты из издания «Критики чистого разума» в переводе Николая Лосского, напечатанного в Петрограде в 1915 году. Самоочевидно,

что после этого издания Канта больше не печатали. Кстати, это единственное упоминание в книге имени одного из русских мыслителей, так много писавших о Достоевском. [...]

В наше время многое изменилось уже и в Советском Союзе. Думается, что, появись книжечка Голосовкера в наше время, отклик на нее был бы несравнимо сильнее.

В Большой Советской Энциклопедии Голосовкеру посвящено 18 строчечек. Оказывается, Яков Эммануилович Голосовкер родился в 1890 году в Киеве, где он и окончил историко-филологический факультет Киевского университета. В 20-е годы читал лекции во 2-м МГУ. Печатался с 1913 года и является автором книг о греческой мифологии «Сказания о титанах» (1955), «Сказание о кентавре Хироне» (1961). Голосовкер также переводил Гельдерлина «Смерть Эмпедокла» (1931), Горация «Избранные оды» (1948) и античную поэзию «Поэты-лирики древней Эллады и Рима» (второе издание, 1963). Умер в Москве в 1967 году. Я узнал от его племянника, что Голосовкер провел «только» пять лет в лагере, а также, что когда-то о нем очень похвально писал Анатолий Луначарский. Вот и все, что известно об авторе замечательной книги.

Однако книга сама говорит о своем творце.

Основная идея Голосовкера состоит в том, что Достоевский совершенно сознательно в романе «Братья Карамазовы» полемизировал с Кантом, причем с Кантом, символизирующим всю атеистическую и критическую философию Нового времени и, конечно, научный позитивизм. При этом Голосовкер показывает, что полностью возможен *перевод* языка художественной литературы на язык чистой философии и что полемика со стороны Достоевского ведется отнюдь не высказываниями его положительных героев, а всей структурой романа. В этом отношении можно сказать, что Голосовкер соглашается с тезисом о «многоголосности» романов Достоевского Михаила Бахтина. Однако добавим от себя, что в этом смысле вся художественная литература «полифонична», а там, где герои литературного произведения выражают только мысли писателя, — просто нет художественной литературы.

Начиная со скрупулезного анализа «авторского» и «читательского» планов романа, Голосовкер приходит к выводу, что настоящий убийца Федора Павловича Карамазова — не Смердяков, не Иван Карамазов, а «черт» критической философии, скрывающийся в четырех знаменитых антиномиях Канта. Это антиномии о том: 1) сотворен ли мир и конечен во времени или же не сотворен и вечен; 2) есть ли бессмертие или его нет; 3) существует ли свобода воли или же одни законы природы; и 4) есть ли Бог или существует один материальный мир. По Канту, человеческий разум не может вынести правильного решения этих четырех антиномий и, как пишет Голосовкер, осужден вечно качаться «*на коромысле антиномий между религией и наукой*». Выход из этого коромысла Кант нашел в утверждении, что существует «врожденная иллюзия разума» о якобы непримиримых антиномиях,

так как в разуме нет ничего, чего не было бы в опыте, а, по Канту, для нас доступен только опыт мира внешнего («мира для нас»), путь же познания внутреннего мира («мира для себя»), в котором базируется тезис антиномий (мир сотворен и конечен, бессмертие существует, так же, как свобода воли и Бог), по Канту — для нас навсегда закрыт. А так как во внешнем мире, «мире для нас», нет Бога, а есть только полный детерминизм в законах природы, то логически, как это указал Достоевский, выходит, что для человека нет никакой ответственности (ответственность возможна только там, где есть свобода), нет ни в чем виновных, и из этого тоже последовательно логически выходит формула Достоевского «все позволено», против которой он всю жизнь боролся. Кант же, понимая, что во внешнем мире, «мире для нас», нет и не может быть никаких истоков морали, ввел «категорический императив», в сущности заменяющий «голос сердца», то есть голос совести. Совершенно очевидно, что вся философия Канта построена на догмате о том, что существует непреодолимый разрыв между «миром для нас» и «миром для себя» и что человеку недоступен опыт внутреннего мира, так как он сам полностью принадлежит миру внешнему. Несомненно, что Кант блестяще разработал и сформулировал основные положения атеистической мысли Нового времени, на которых основываются вера в безграничное познание мира и жизни (правда, познание только внешнего мира, «мира для нас») и вся наука. Поэтому Достоевский, полемизируя с Кантом, однако ни разу по имени его не упомянув, по существу полемизирует со всей философией новейшего времени, с наукой и познанием как целью жизни человечества на земле и, конечно, с социализмом, который является просто производным из основной догмы Нового времени об отрыве внутреннего и внешнего миров. В гносеологии этот отрыв именуется распадом на «субъект» и «объект» познания.

Как известно, вся западная мысль до нашего времени не может выпутаться из кантовских антиномий, и ныне настолько популярный в западных университетах «логический позитивизм» все еще занимается уточнениями, «верификацией» данных опыта о внешнем мире, то есть находится в плену у основной догмы кенигсбергского философа. Говорить же о псевдорешении проблемы в марксизме, с его «теорией отражения» в познании, — нет смысла.

Не будучи профессиональным философом, Достоевский, тем не менее, гениально уловил то, что проблема познания, то есть гносеология, является краеугольным камнем духовной жизни Нового времени. Голосовкер в качестве эпиграфа к своему труду поставил слова Достоевского об Иване Карамазове, что он «*из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить*». Иван Карамазов — жертва *иллюзии разума* и диалектический герой кантовских антиномий. Его трагедия — это трагедия ума, «*тщетно жаждущего познания всей истины бытия и жизни, абсолютного познания до самого конца (и непременно сейчас же, в этот момент) и бессильного этот конец ухватить, невзирая на все успехи своей познавательной деятельности*». Настоящие герои романа — это, по Голосовкеру, тезис и антитезис кантов-

ских антиномий, воплощенные со всевозможными вариациями в «*мыслеобразах героев романа*».

Прав Голосовкер в том, что у Достоевского «*идеи дышат кровью и покрывают трупами сцену*» и что «*не множество человеческих трупов, а только один труп — труп, плавающий в крови, «идеи самоубийцы» хочет положить перед читателем торжествующий автор Достоевский: труп антитезиса... И убийцей всех этих самоубийц и убитых* (в романах Достоевского. — *М. М.*) *является формула "все позволено", которая, по замыслу автора, должна в их лице убить самое себя, — свою же собственную идею*».

Если признание антитезиса (мир не сотворен и вечен, бессмертия нет, свободы и Бога тоже нет и существует один материальный мир и вечные законы природы) логически приводит к формуле «все позволено», то, наоборот, признание верным тезиса так же последовательно приводит к утверждению, что «все за всех виноваты» и что существует неразрывная связь между людьми, потому что существует связь между внутренним и внешним мирами (по-латыни «религио» и означает — связь). Жажда познания, мучающая Ивана Карамазова и, по существу, представляющая ту же жажду познания внешнего мира, на которой основывается современная наука, уже является последствием какого-то внутреннего раздвоения человеческой личности. Желание познать появляется только тогда, когда человек уже «отчужден» от мира и жизни, которые претворяются в объект познания. Когда истинный смысл жизни в результате разрыва внутреннего и внешнего миров потерян, тогда единственным смыслом человеческого существования становится жажда познания, то есть овладение всем миром (конечно, внешним миром). Поэтому у Достоевского, как это подчеркивает Голосовкер, именно черт в кошмаре Ивана Карамазова говорит: «*Ежечасно побеждая уже без границ природу волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных*». Противопоставление жизни и разума, жизни и науки, жизни и жажды познания лаконичнее всего выражено в «Записках из подполья» в словах подпольного мыслителя: «*2x2 = 4, господа, но это уже не жизнь, а начало смерти*». Вот поэтому, по словам Голосовкера, Достоевский «*вступил в смертельный поединок с Кантом — в один из самых гениальных поединков, какие остались запечатленными в истории человеческой мысли*»... Кант как автор «Критики чистого разума»... оказался чертом... «*Вот почему Достоевский против Канта. С «диалектическим героем антиномий», с Иваном, на арене романа вступил в бой достойный противник — рыцарь страха и упрека: с «наукой» вступила в бой совесть и победила*». Так, по Голосовкеру, в своем творчестве «Антикант» Достоевский вступил в поединок с Кантом и «рассекретил его». «*"Ад ума" был тот великий опыт, который Достоевский запечатлел и передал человечеству в своих романах-трагедиях*». Замечательно верны слова Голосовкера, что «*рядом с "Божественной комедией" Данте — адом моральным, с "Человеческой комедией" Бальзака — адом социальным, стоит многотомная*

“Чертова комедия” Достоевского — ад интеллектуальный». И все же совершенно верно автор книги замечает, что под «наукой» Достоевский подразумевал лишь веру в то, что существует один материальный мир, лишь веру в кантовский антитезис, веру в познание как цель человеческой жизни. То есть Достоевский имел в виду нынешнюю догматическую науку, отрицающую даже существование мира духовного. Поэтому Голосовкер прав, что «*Достоевский неустанно... жадно и упорно выпытывал тайны страдающей мысли, как наука выпытывает у нее тайны материи, порой подразумевая под этим и тайны духа*».

Самое оригинальное в книге Голосовкера то, что он показывает, что Достоевский видит решение не в снятии кантовских антиномий, как это сделал Кант, провозгласив *иллюзию разума*, не в отрицании антитезиса, а в принятии антиномичности жизни. Это по существу значит: в отрицании суда над жизнью со стороны разума. *«“Все противоречия вместе живут”, это осуществленное противоречие, усмотренное Достоевским в основе бытия и жизни, легло в основу романа*», — пишет Голосовкер. По Канту, *иллюзия разума* врождена человеку, по Достоевскому — никакой иллюзии нет, а сама жизнь и реальность противоречивы. Достоевский видит ответ отнюдь не в приятии одного тезиса: Ивана Карамазова к сумасшествию приводит антитезис (Бога и свободы нет), князя Мышкина в «Идиоте» — тезис. По Голосовкеру, для Ивана Карамазова противоречие двоемирия является бесовским хаосом (жизнь для разума в самом деле — хаос). Однако «*совсем по-иному двоемирие представляется старцу Зосиме: для него “мимо идущий лик земной” и “вечная истина” соприкасаются. Перед правдой земной совершается действие вечной правды... Дуализм старца Зосимы и есть, по сути, преодоленный дуализм Канта, так как мир потусторонний и мир посюсторонний неразделимы: они соприкасаются, объединены, один переходит в другой, горе снова сменяется радостью*». Цель и смысл жизни отнюдь не в познании.

В книге Голосовкера существует, однако, одно важное утверждение, с которым я ни в коем случае не согласился бы. Голосовкер считает, что «*Достоевский не только был знаком с антитетикой “Критики чистого разума”, но и продумал ее. Более того, отчасти сообразуясь с ней, он развивал свои доводы в драматических ситуациях романа*». Автор книги «Достоевский и Кант» пишет, что «*читателю незачем даже прибегать к изучению биографии писателя, чтобы убедиться в его знакомстве с Кантом. Текст романа и текст “Критики чистого разума” — здесь свидетели достоверные*». Также и академик Гудзий, редактор книги, говорит о «*роли, которую сыграло для Достоевского при писании романа “Братья Карамазовы” знакомство с трудом Иммануила Канта*», и о том, «*насколько проницательно читал Достоевский Канта*». По Голосовкеру, Достоевский не изменил даже кантовской терминологии в устах старца Зосимы: «*Доказать тут ничего нельзя, убедиться же возможно...*». Из книги Канта Достоевский якобы взял название для глав романа «Контраверза» и «Про и контра». Голосовкер даже отыскал

упоминание о произведении Канта в письме Федора Михайловича к брату, датированном 22 февраля 1854 года, в котором он просил выслать ему: «*историков древних и новых (Вико, Гизо, Тьерри, Тьера, Ранке и т. д.), экономистов и отцов церкви... Коран, "Критики чистого разума" Канта... непременно Гегеля, в особенности Гегелеву "Историю философии"*».

Никаких других упоминаний о Канте в письмах или черновиках Достоевского мы не находим. Как известно, Достоевский вышел из омского острога 23 января 1854 года, то есть за месяц до написания письма, в котором он просил брата выслать ему множество книг, по которым он изголодался в остроге. Прочел ли он толстенный труд немецкого философа, требующий для понимания подготовку в области школьной философии, — весьма сомнительно. Во всяком случае думается, что следы чтения книги Канта остались бы в биографии писателя и в записках современников. Тем более, что «Братья Карамазовы» написаны незадолго перед смертью. Символом атеистической науки для Достоевского всегда был французский ученый Клод Бернар: «*Бернары проклятые*». Канта же Достоевский нигде и ни разу не упомянул. Надо думать, что гений Федора Михайловича интуитивно отыскал краеугольную духовную проблему века, которую со своей стороны на языке философии сформулировал Кант, и попробовал ее по-своему разрешить. Противостоянием морали и религии мучились не только Кант и Достоевский, но и все духовно чуткие люди XIX и XX веков. Об этом нехотя написал сам Голосовкер, что «*если полагать, что — по Канту, — речь в тезисе антиномии идет о "краеугольных камнях" морали и религии, а в антитезисе о "краеугольных камнях" науки, то о тех же "краеугольных камнях" идет речь и в романе. Стоит только вывести первые две антиномии из космологического плана науки и перевести все положения антиномии на язык морали и религии, чтобы полное совпадение стало очевидным*». Голосовкер, сам показавший возможность перевода с языка философии на язык художественной литературы, очевидно, приписал способности такого же перевода и Достоевскому. На это нет никаких оснований. Более вероятно, что некой способностью интуитивного перевода из одного духовного плана в другой обладал Альберт Эйнштейн, писавший, что чтение Достоевского расширило его духовное зрение и тем самым способствовало его открытиям в физике.

Задолго до Голосовкера один из величайших русских мыслителей Лев Шестов, по существу, высказал ту же самую идею, которую так убедительно доказал Голосовкер, то есть что настоящую *критику разума* можно найти не у Канта, а у Достоевского, Кант же разум не критикует, а, наоборот, ставит на пьедестал человеческого духа. В истории русской философии существует одна работа, по духу очень схожая с книгой Голосовкера, однако написанная в переводе на язык социально-политический во время Первой мировой войны: «От Канта к Круппу» В. Ф. Эрна.

Русская философская мысль, все еще так мало известная на Западе, уже в начале XX века, особенно между двумя мировыми войнами, поставила

важнейшие вопросы нашего времени и, конечно, «проклятый» вопрос Достоевского: «*На чёрта мне познание добра и зла*», — совершенно по-новому, и совершенно по-новому на него ответила. Можно сказать, что только в трудах Франка, Лосского, Шестова, Бердяева, Булгакова и других мыслителей наступающего времени преодолены знаменитые антиномии Канта и создана совершенно новая гносеология. Время «открытия» и приятия этой философии только подходит. Книга Голосовкера «Достоевский и Кант», напечатанная в том странном 1963 году советской Академией наук, об этом свидетельствует и новому духовному ренессансу прокладывает дорогу. Вот в этом ее неоценимое значение.

1983, № 36

ВАЦЛАВ БЕЛОГРАДСКИЙ

Бегство из птидэпэ[1]

> ...единообразие мироздания никогда не было и не будет Божьей заповедью.
>
> *Франтишек Палацкий*

> Человек перемещается с места на место весьма быстро, но эти перемещения имеют весьма медленный смысл.
>
> *Сильвия Рихтерова*

Мальчишкой, проводя школьные каникулы в пограничье, я любил рыться в заброшенных домах выселенных немцев. Мое воображение поражало множество оставшихся там непонятных вещей: странных фотографий, шляп, книг с готическим шрифтом. Позже, в мемориале Освенцимского концлагеря я увидел выставленные для обозрения, громоздящиеся под потолок горы очков, оставшихся после евреев, выселенных в газовые камеры. Студентом университета я был потрясен чтением книг, содержавших идеи мыслителей, выселенных под поверхность современности. Мы открывали их для себя в частных библиотеках, в букинистических лавках, выносили из спецхрана...

Пожалуй, самым глубинным переживанием моего поколения было именно такое извлечение на Божий свет затоптанных вещей, книг и былей, сохранившихся лишь в виде следов, оставшихся от выселенных людей и выселенной эпохи. Поколение, появившееся на свет в местах, откуда была выселена действительность, вынуждено снова открывать ее по оставшимся следам. [...]

Следы прошлого, окликающие нас из все более далекого далека, являются составной частью общечеловеческого опыта, естественного мира. Естественное отмирание старого мира происходит на фоне наступающей реальности, однако в нашем детстве старый мир был погребен под чем-то

---

[1] Птидэпэ — вымышленный бюрократический язык, которым изъясняются персонажи одной из пьес Вацлава Гавела. Термин стал в Чехословакии общеупотребительным как характеристика коммунистического «суконного языка».

нереальным, под фикцией. Детство моего поколения проходило внутри беснующейся фикции, сквозь которую лишь слабо просвечивала действительность. Вследствие этого современность все сильнее бледнела на фоне следов старого мира, который хотя и был старым, но все же отнюдь не был просто декорацией, наподобие окружавшей нас действительности, со всеми ее парадами и победной риторикой. Выселенная из эпицентра времени, где удобно устроилась победоносная революция, действительность нашла приют на периферии истории, в пересказах и воспоминаниях, в книгах, оставшихся после вселенского потопа. Уже очень скоро «быть мыслящим человеком» для нас стало означать способность распознать реальность по оставленным ею следам. [...]

Коммунисты, однако же, лишь довели до логического конца то, что уходит корнями в само европейское понимание реальности и чем мечена вся наша цивилизация: реальна лишь *идея*, только она имеет быть, а весь мир нашей жизни — нереален, ибо непостоянен и переменчив во времени. Познания достойны лишь идеи; мир нашей жизни может быть от силы предметом суждений. Современная наука все более властно продвигает такое силовое понимание мира, поэтому носители суждений и былей неотвратимо смещаются в сторону помойки истории.

Выдержать на этой помойке, но не позволить объективной реальности истории загнать себя в стадо — вот карта, на которую поставило мое поколение. Я хочу сказать, что мое поколение отличается от предыдущих именно опытом действительности, рассеянной по лавкам букинистов, сохранившейся уже только в памяти современников, в их рассказах. Ни одно поколение до нас не могло пережить этого, так как ни один режим в прошлом не располагал такими техническими возможностями для тотального выселения действительности. Известные нам по учебникам тираны были не в силах выселить миллионы душ вместе с их внутренним миром — у них попросту не было достаточно точного учета граждан и грузовиков. И только власть современного тоталитарного государства достаточно хорошо технически оснащена для того, чтобы организовать выселение людей и действительности с целью «окончательного решения» классовых (или расовых) противоречий.

Гвиждяла[2] в своем «Отчете о постепенной ликвидации чешского народа» рассказывает о советских солдатах, которые разбили лагерь в саду у его дома. Со всех окрестных огородов они снесли в одно место гипсовые фигурки садовых гномов. После их ухода гномы так и остались стоять плотной массой, став для Гвиждялы символом советского метода: выселить реальных людей, а на их место поставить гипсовых гномов. Эта аллегория имеет и более общий смысл. Современная техника, используемая для управления обществом, привела к появлению идеологии, согласно которой любого человека можно посадить на любое административное место и он там будет

[2] Карел Гвиждяла — пражский журналист, в 1978 году эмигрировал на Запад.

исправно функционировать, независимо от личных свойств. Достаточно убрать из человека все личное и накинуть на оставшийся костяк новую, освобождающую рациональность. Но практика показывает, что даже между гномами, функционирующими на месте выселенных людей, нет и не будет мира, ибо в основе такого обезличенного понимания действительности лежит война. [...]

Новое время, на которое пришлось наше детство, заявило о себе тем, что в наш мир вторглись товарищи, вооруженные научным мировоззрением, повсюду расставили декорации новой действительности, а среди них разместили гномов. Вместо скаутов появились туристские отряды пионерской организации, место директоров промышленных предприятий заняли администраторы с рабочим происхождением. Бывало и так, что реальный, но выселенный человек и человек в должности гнома оставались друзьями и вместе дивились тому, какие абсурдные роли навязала им жизнь. Мы быстро научились воспринимать действительность как нечто выселенное, но оставившее по себе след. И пока гномы дряхлели и рассыпались в прах, действительность возвращалась к нам по своему следу.

Попытаюсь объяснить свою мысль метафорой. Одним из самых сильных сюжетов современной живописи стал «Урок анатомии», или, если хотите, вскрытие. В этой теме нас интригует переплетение таких категорий, как научная истина и смерть. Для ученого даже смерть становится самоочевидным полем поиска истины: в человека вперяется холодный и строгий, разоблачительно-сверлящий взгляд, который абстрагируется от изменчивого, преходящего и недоказуемого мира жизни. Э. Радл в своей книге «Утешение философией» приводит такой эпизод: на уроке патологоанатомии вскрываемое тело вдруг открыло глаза и уставилось на ученого, склонившегося над ним. Бедняга потом совершил паломничество в Каноссу, где молился за отпущение содеянного им греха — надругательства над телом. Радл задается вопросом: «А куда побредем пилигримами мы?», когда вскрываемая нами Вселенная вдруг откроет глаза и посмотрит нам в лицо. Этот холодный взгляд загипнотизировал общественные науки в XVIII – XIX вв.: научный социализм, плановая экономика, исторический материализм, историческая необходимость, промышленный рост, государственные интересы — все это различные аспекты того патологоанатомического взгляда, который общественные науки вперили в людской мир в конце XIX века. Все, чего не регистрирует этот взгляд, отныне выселяется за границы действительности как досадный предрассудок, пережиток, представление, частное убеждение, личное мнение, от которого следует освободиться. [...]

В коммунизме, с самого начала его победоносного шествия, меня всегда особенно удручала его безграничная вера в силу «правильного метода». Песни типа «Дождю и ветру мы прикажем, когда им веять, когда лить», снегозадержание и ветрозащита, травопольная система, стахановцы и изобретатели, свинарники-гиганты, Мичурин, разводящий в Сибири клубнику величиной с яблоко, Днепрострой и новые русла рек — короче, новый

человек по-новому работает: у него *метод.* В «Человеке из мрамора» Вайда анализирует эту самоубийственную абстрактность безграничной экспансии методического мышления в области человеческого труда. Труд — это ведь не только средство для достижения все лучших результатов, но и составная часть естественного мира, природного порядка, который нельзя менять, можно только открывать и чтить. Всевластие методичности содержит в себе элемент уничтожающего произвола. С помощью методического познания всё новые сферы мира оказываются в нашей власти, мы становимся им судьями. По Гадамеру, кардинальной проблемой нашего времени является взаимоотношение между господствующим в мире методическим познанием и познанием, открывающим в мире порядок, которым нельзя манипулировать, но который можно почитать. Мы чувствовали, что научное мировоззрение и мичуринские методы — лишь насильственное выселение действительности, о порядке которой можно догадываться только по оставшимся от нее следам. Методически воспитываемый ребенок — кандидат в психи, город, строящийся по утвержденному в центре плану, лишен человеческого масштаба, а новый человек — гвиждяловский гном. «Восстановление порядка» трагично уже хотя бы потому, что слово «порядок» здесь окончательно перестает употребляться в одном из своих первейших значений — в значении «гармония». Словно бы к концу нашего столетия порядок возникал лишь в результате действий вооруженных сил, под грохот танков и бронетранспортеров. Человек, осознавший, что в жизни есть вещи поважней, чем наживать добро и делать карьеру, открывает для себя определенный высший порядок, гармоничную систему, внутри которой его поведение становится упорядоченным: порядок в поведении сообразуется с высшим порядком, гармонией мира. Коммунисты — строители порядка без гармонии, порядка по произволу, навязанного вооруженной силой и охраняемого колючей проволокой. Такой порядок не поддерживается из уважения к гармонии мироздания. А без такого уважения настоящий порядок невозможен, возможен только страх и вырастающее из него гробовое молчание. Категория «права человека» в конечном счете зиждется на понимании того, что в человеке и его мире существует естественный порядок, который нельзя по собственному усмотрению методически перевоспитывать.

Ощущение того, что существует порядок, неподвластный методу, я разделял с друзьями как знамение поколения. Отвращение моего поколения к идее перевоспитания коренится в предчувствии того, что «порядок» всегда будет выливаться в «нормализацию», если не будет вырастать из уважения к естественному миру. Отсюда и наш скепсис по отношению к западным прогрессистам, желающим любой ценой освободить человека от пережитков прошлого. Прогрессисты изобретают все новые и новые методы освобождения человека от его предрассудков; но существует еще и освобождающее понимание порядка действительности, который нужно защищать от произвола интеллектуалов и диалектики политруков. В этом смысле следы действительности оказываются прежде всего осознанием своих обязательств и лич-

ных нравственных норм, которые нельзя диалектически низвести до уровня простых пережитков, не нарушив самой основы человеческого бытия.

Там, где методическое познание проникает в политику, государственный или партийный интерес ценится выше обыкновенной человеческой совести, выше личного понимания добра и зла: их необъективность делает их бесполезными. Подчиненное положение человеческой совести придает политике черту такой бесчеловечности, такой глухоты к человеческим интересам, какой раньше никто не мог себе представить. В произволе разбушевавшегося тирана есть все же нечто человеческое: ненависть, алчность, страх. [...] Никто глубже Солженицына не осознал общую черту любого революционерства: выселение личной совести куда-то в анонимную область идеологии. Человек при этом становится «способным на все», он не знает угрызений совести или сочувствия. Часто можно слышать лживые утверждения, будто Солженицын не понимает Запада, его скептического рационального духа, оставаясь всецело в плену у русских антизападных предрассудков. Но что, собственно, значит выражение «понимать Запад»? Выходит, Гитлер отлично понимал Запад, раз ему удалось оттяпать бóльшую часть Европы при попустительстве скептических и рациональных перестраховщиков Западной Европы? И кто уж тогда понимал Запад лучше Сталина, которому удалось отторгнуть от тела Европы добрую треть в качестве вознаграждения за его вклад в дело спасения европейской скептической и рациональной культуры? Разве не абсурдно и не оскорбительно для мыслящего человека видеть, как западные политики и интеллектуалы отказываются признать тот простой факт, что Советский Союз в своей политике не может всерьез стремиться к «миру», так как вся его внутренняя организация основана на перманентной войне с классовым врагом? Именно такое объективистское попустительство насилию имел в виду Солженицын, когда, выступая по английскому радио и говоря о Мюнхенском сговоре, он подчеркивал, что всегда разумней руководствоваться нравственным убеждением, чем расчетом или очередной рациональной теорией исторической необходимости. Но разве не стало отличительной чертой современной Европы выселение нравственных категорий за границы объективной реальности, где сиюминутная экономическая прибыль значит больше, чем обязательства, вытекающие из общей нравственной и культурной традиции европейских народов?

Наше поколение росло «параллельно» исторической необходимости, на которую ссылалась новая эпоха. Личный опыт, естественный мир и нравственное убеждение оказались на задворках нашего века: хотя «андеграунд» и чужд моему скептическому поколению, мне нравится его обостренное понимание неизбежной параллельности любого «осознания действительности». Р. Прейснер доказывает, что христианская культура вообще возможна только как культура параллельная. Ниже я попытаюсь наметить три основных источника параллельности моего поколения.

В первую очередь, речь идет о параллельности истин — настолько истинных, что неизбежно пред-аналитичных, оказывающихся поэтому «ис-

тинными предрассудками», которые не в силах преодолеть никакая диалектика. Когда мне впервые — уже эмигрантом — пришлось столкнуться с радикальной идеологией западного университетского «истэблишмента», меня потрясло то обстоятельство, что ее адепты воспринимают как смешные предрассудки те истины, которые значили для нас так много, что ничем иным, кроме как предрассудками, и быть не могли. Помню свой немой ужас, когда одна профессорша социологии, излагая о сталинизме и Солженицыне, изрекла на полном серьезе: «Все это слишком сентиментально. Пора перестать распускать сопли над каждым человечком, принесенным в жертву, — это не более, чем выражение наших индивидуалистических предрассудков. Ведь по статистике в Советском Союзе дела идут гораздо лучше, чем до революции».

Слово «предрассудок» звучит здесь в значении, отличном от того, которое придал ему просветительский рационализм. «*Этот ничтожный плод незнания, который овладевает разумом, чтобы ослепить и заточить его*» («Энциклопедия»). «*Преступления и предрассудки — родные братья*», — добавляет Гельвеций. Наша эпоха, однако, знает и такие преступления, которые были родными братьями отсутствия всяческих предрассудков. В современном просветительском смысле слово «предрассудок» означает познание, к которому мы пришли не с помощью рационального метода, а через авторитет традиции или образцовой личности. Просветительский рационализм развил картезианское сомнение до той степени, когда любое познание, предшествующее методическому сомнению, стало для него неприемлемым предрассудком. Разум таким образом вступил в конфликт с категориями «авторитет» и «традиция». Человек свободен, лишь освободившись от своих предрассудков и действуя исключительно по разумению: предрассудки могут быть нравственные, личные, социальные, сексуальные, религиозные и т. д. Но ведь суть людского опыта жизни в том, чтобы быть принятым в сообщество ближних, которое предшествует любому «рассуждению», любой «рассудочности» и, следовательно, является предрассудком, который обязывает. «Мыслить политически» на практике означает необходимость выделиться из сообщества, разорвать узы, связывающие с конкретными людьми. Например, соседа-книготорговца, который всю жизнь был мне симпатичен и полезен, предложено теперь считать «классовым врагом» или «грязным евреем». «Мыслить политически» означает вычеркнуть в себе какое-либо осознание сообщности и не чувствовать впредь никакой связи с ним. Практика показывает, что человек без предрассудков — это человек, способный на все, человек вне людского сообщества. «Ты что, не изжил предрассудки? — спрашивает идеолог, видя, что вы не решаетесь принять участие в выселении людей и реальности. — Так это же историческая необходимость!»

В подсознании каждого гнездится чувство опасности, связанной с человеком, свободным от собственных предрассудков. На все способный человек оказывается чудовищем. Есть предрассудки, которые нельзя зачеркнуть, не нарушив своей собственной сущности: «*некоторые пятна нельзя вывести,*

не нарушив основы ткани». Убийство нельзя превратить в статистику, а некоторые предрассудки важней, чем все диалектические рассуждения вместе взятые. Вот главная загвоздка нашей методической эпохи: как защитить истины столь истинные, что могут быть только предрассудками, от диалектической агрессивности революционной рассудочности? В эпоху, когда диалектически растворяется вся нравственная традиция западноевропейского человечества, а человек попадает под власть формулировок, делающих его на все способным, верность следам действительности, угадываемой в нравственных предрассудках, оказывается существенным мотивом параллельности моего поколения.

Другой чертой этой параллельности является защита речи от вторжения «птидэпэ» — искусственных языков, рациональных знаковых систем, в которых медленно, но верно гибнет цивилизация диалога, сложившаяся в Древней Греции. Для греков речь была — распознание единства мира в неповторимом опыте личности. Речью мы сообщаем все о мире, тем самым меняется и наше отношение к среде, в которой мы живем. В основе человечности — это освобождающее превращение связи со средой в связи с миром. Известно изречение Гумбольдта: «Речь — это взгляд на мир». Это изречение недоступно для понимания релятивистского XX века. Он толкует его по-своему: мол, речь обуславливает наше мировоззрение. Речь здесь понимается как фактор, обуславливающий — наряду с экономикой — человеческое понимание действительности. Человек оказывается узником языка. Однако в действительности первоначальный смысл изречения Гумбольдта прямо противоположен: речь — это взгляд на мир в том смысле, что она не ограничена средой; все, что изречено, уже «за» средой, трансцендентно, — по направлению к миру в целом, к горизонту всего человеческого опыта. В языке таким образом происходит освобождающая антиципация единства мира как горизонта любого возможного сообщения.

Таким образом, владеть речью означает «всегда быть уже в мире», никогда не будучи целиком пленником собственной среды. Но эту связь с миром нужно пестовать в языке, так как власть стремится ограничить функцию речи. Речевая цивилизация является по существу борением с властью, так как ее смысл — защитить связь с миром от попыток власти низвести ее до уровня простого отражения среды, орудия класса или, скажем, инструмента перевоспитания человека. Когда-то, на семинаре по психическим расстройствам, мы определили невротическую личность как «существо, для которого в жизни нет окон — есть только зеркала». Так же можно определить и власть: это стремление превратить речь в зеркало среды, нейтрализовать в ней освобождающий «взгляд на мир», который возрождается в любом диалоге.

Сущностью речи является вопрос. Первичность вопроса заключается вот в чем: понять смысл сказанного или содеянного можно, лишь поняв вопрос, на который отвечают эти высказывания или поступки. Например, понять, почему имярек говорит постоянно о себе, можно, только поняв вопрос, на который он отвечает своим поведением: можно предположить, что

такой человек страдает от неуверенности в себе и своей роли в социальной группе, и т. д. Открытие вопросов как горизонта человеческой речи и поведения — такова суть процесса, именуемого «пониманием» или «интерпретацией». Сущность вопроса — это открытие горизонта мира, который анонимно, подсознательно функционирует в нашей речи и поведении.

Называя вопрос сутью речи, я имею в виду то обстоятельство, что только вопросом и может речь открыть связь с миром внутри сообщений, которые мы адресуем своей среде и которые в быту работают лишь как орудие этой среды: такое открытие горизонта совершается только в речи, но не в искусственных языках. Речевая цивилизация, к которой мы принадлежим, находится в смертельной опасности, так как примат вопроса, свойственный речи, все заметней уступает примату ответа, свойственному искусственным языкам.

Нашему поколению, как никакому другому, довелось пережить процесс произвольного уничтожения речи. Зараза «птидэпэ» поразила все сферы нашей культуры; наше детство и юность она погребла под собой наглухо, словно песчаная лавина. Бежать из страны птидэпэ, выкарабкаться из-под песчаного заноса — для этого надо было восстановить речь, сведенную к одной лишь функции — славить среду. А восстановить речь значит восстановить главенство вопроса над ответом, вернуть речи, превращенной в зеркало среды, смысл окна, открытого для взгляда на мир. [...]

Третий источник параллельности моего поколения — ориентация скорее на память, чем на историю. Память хранит главным образом фабулы, были, в то время как в основе истории лежат статистика и необходимость. У былей нет необходимости, они просто случаются и становятся воспоминанием. Как бунт склоняется перед революцией, так и были склоняются перед историей. Но бунтари остаются в человеческой памяти, словно напоминание о сокровеннейшей основе любого нашего поступка: о возможности противостоять необходимости. Литература моего поколения — это, прежде всего, процесс вспоминания былей в эпоху победоносной истории.

У меня нет объективных данных о моем поколении. Я ушел из страны в то время, когда наша принадлежность к одному поколению проявлялась скорее в прочитанном, чем в написанном нами. Но меня не покидает ощущение общности, взаимной принадлежности, которое я и попытался определить здесь.

Перевел с чешского Ефим Фиштейн

1983, № 38

АЛЕН БЕЗАНСОН

Второе молчание Церкви

В политике, как и в религии, надо уметь назвать своего противника: это проясняет спор, ограничивает борьбу и является первым доказательством мужества и трезвости взглядов, без чего ни спор, ни борьба невозможны. Можно было бы возразить, что у христианина, а тем более, у христианского монаха, есть только друзья: ведь он должен «любить своих врагов». Нет путаницы опаснее. Завет любить своих врагов предполагает изначальное разделение на друзей и врагов. Более того, как верно писал св. Фома Аквинский, ничто не противно милосердию больше, чем любовь к врагу как таковому. Это все равно, что «любовь к злу другого» или даже к злу в другом, и от евангельских заветов мы соскальзываем к толстовскому пацифизму или мазохизму Достоевского — извращенным имитациям, с которыми (их) иногда можно спутать. Но эта путаница пришла на помощь оскорбительному запугиванию, которому нас подвергли в XX веке наши главные враги, запретив называть, показывать их, провозглашать их врагами. И страх назвали милосердием.

Каждый в глубине души знает главных врагов человечества XX века: гитлеровский нацизм и ленинский коммунизм.

Церковь успела прокричать имя этих двух врагов, пока их давление на нее не было столь угрожающим: это было темой двух энциклик, появившихся с промежутком в пять дней в 1937 году: «Divini redemptoris» (о коммунизме) и «Mit brennender Sorge» (о нацизме). В то время было еще невозможно полностью анализировать эти два зла, трудно познаваемые из-за их нечеловечности и из-за того, что они (по крайней мере, нацизм) еще не развились до конца. Но, когда угроза нависла, вместо того чтобы продолжать работу по разъяснению и оповестить весь мир, на что Церковь была способна, она оказалась заторможена и парализована. Установилось молчание, или, скорее, два последовательных молчания. Первое знаменито. Это то, которое хранил во время войны папа Римский, почти наверняка информированный (так же, как Рузвельт и Черчилль, тоже молчавшие) об «окончательном решении еврейского вопроса». Но можно говорить о втором молчании Церкви, наблюдаемом с 1964 года. Действительно, в то время как папа Пий XII более чем ясно осудил коммунизм, а 322 епископа требовали этого

осуждения в соборном документе, вдруг, по причинам и сегодня не вполне ясным, их петиция не обсуждалась, затерялась, была погребена, и с тех пор слово *коммунизм* исчезло из документов Ватикана. Прошло почти двадцать лет. За это время коммунизм преумножал самые громкие преступления, становящиеся достоянием гласности и признаваемые иногда даже теми, кто их совершал. Коммунистическая идеология в самых различных своих формах вторгалась в язык духовенства и католиков-активистов. Но чем больше коммунизм угрожал и устрашал, тем реже его называли по имени.

Когда мы отказываемся замечать нечто столь важное и центральное, поле зрения искажается, и то, что мы продолжаем видеть, становится мутным из-за неизбежного расширения слепого пятна. Это можно констатировать различными способами.

Молчание, прежде всего, требует оправдания. Существовало то, что принято называть «социальной доктриной» Церкви, разработанной в основных чертах при Льве XIII и Пие XI. Она противопоставляла — как одинаково противоречащие церковному учению — и *симметрично* осуждает и «капитализм», и большевистский «социализм». Она не остереглась того, что таким образом невольно приняла идеологический образ мыслей. Действительно, идеологический дуализм разделяет мир на две антагонистические *реальности*, одна из которых должна капитулировать перед другой. Они названы капитализмом и социализмом. Но, по-настоящему, эти две концепции, далеко не охватывающие всей реальности, радикально мешают познанию этой реальности. Нормальное, стихийное и бесконечно сложное существование современного общества не может быть сведено к концепции капитализма, имеющей свое точное значение только в марксистско-ленинской идеологии. Концепция несостоятельна. С другой стороны, социалистическая идея совершенно не воплощается в действительность. Социалистического общества как такового не существует — есть только идеократическое господство партии над разрушенными и распыленными остатками общества. Концепция чрезмерна. Утопия у власти остается утопией, и огромный аппарат материального, интеллектуального и духовного господства бесконечно пытается заставить принять за существующее здесь и сейчас — то, чего нет нигде.

Поэтому очень серьезен тот факт, что католическое духовенство принимает эту дихотомию и выводит некое онтологическое уравнение между нашим, так называемым капиталистическим миром и тем — социалистическим. Если социализм признать существующим, то он, как всё в поднебесье, призван подчиниться Божественному закону: следовательно, его надо *обратить*. А поскольку он принимается буквально, как уже наполовину осуществленный проект установления на земле «социальной справедливости», — единственно возможная критика состоит в изобличении отклонений от этого проекта. Значит, Церковь предъявит ему требования типа «прав человека», прося его быть вернее самому себе в своих социальных проектах и разрешить дополнение для души — признать религию. Занимаясь этим, Церковь абсолютно не попадает в цель. Коммунизму не надо говорить, что

он несправедлив, тираничен, безбожен, но, прежде всего, что он фальшив, что он не существует, что он — общепринятая ложь. Просто принять во внимание, даже ради критики, его этический проект, философские претензии или «достижения» значит признать за ним онтологическую содержательность, которой у него нет, — так духовенство впадает в *личное участие во лжи*. Если, с другой стороны, наш мир сводится к концепции «капитализма», бесчисленные несправедливости, происходящие каждый день, обретут одно значение и получат одну причину: капитализм. Если капитализм (а не тот реальный мир, в котором мы живем и который не определить капитализмом) считать существующим, придется его *преодолеть*. У Церкви будут к нему намного более радикальные требования, чем к социализму, так как, если капитализм существует, он несправедлив по природе. Разговор пойдет, следовательно, о смене его «структур», по сути своей неприемлемых и «несправедливых». Так мы подвинулись еще на шаг по пути идеологии. Социализм надо улучшать, капитализм — менять: коммунисты, по существу, говорят то же самое. [...]

Когда началась нынешняя польская революция (эта благородная борьба за освобождение от *государства диамата*), две линии поведения открывались перед ее лидерами. Первая — прямо изобличить несуществование социализма, пустоту его идеологии и незаконность его власти. Такой путь подвергал большому риску. Однако, ударяя противника прямо в сердце, публично разоблачая, что король гол, поляки имели некоторые шансы его пошатнуть. По крайней мере, мобилизованным массам была бы оказана услуга освобождения их от липкой лжи и возвращения им достоинства и правды. Другой путь, по которому, в основном, и пошли, — замолчать социализм и попытаться практически расширить пространство свободы для гражданского общества. Делать революцию, не говоря о ней, в надежде, что государство диамата под всеобщим давлением согласится оставить свою монополистскую вездесущность и замкнуться в узкой сфере администрации. Безусловно, непосредственный риск был больше. Однако был другой риск, столь же серьезный. Признавая хоть уголком губ «социалистическую» легитимность государства диамата, мы вступаем в нечестную игру, которая искажает ясное сознание борьбы. Упрямо требуя диалога с властью, мы, в конце концов, начинаем питать надежду на включение польской компартии в общее достояние польской нации и рассматривать конфликт между польским *обществом* и международным коммунистическим движением как конфликт между польской *нацией* и русской империей, что совершенно не отвечает реальности. Когда доходишь до той точки, где в силу «диалога» противник обретает существование и легитимность, когда он оказывается сильнее и полон решимости покончить с этим делом, — остается только капитулировать, спасая свою жизнь. Можно пожертвовать жизнью ради правды (это называется мученичеством) и ради свободы (это называется доблестью). Но при таком строе восстановление свободы совпадает с восстановлением правды. И если отказаться от правды, свобода теряет вкус и цену.

Как только партия (в ее военной форме) произвела переворот и раздавила «Солидарность», новый примас архиепископ Глемп предостерег против слишком сильного протеста. [...]

Кардинал Вышинский утверждал в 1965 году, что «*государство диамата никоим образом не служит общему благу. Сама идея общего блага становится расплывчатой, бессодержательной и не может быть нормой прав человека и государства*». Но 15 декабря 1981 года конференция Польского Епископата, беря под свою защиту «резко ограниченные гражданские права», тут же заявляет: «защищать также государство, как общее достояние». Однако речь идет все о том же *государстве диамата*, о котором говорил кардинал Вышинский.

Логика очевидна: государство диамата включено в достояние общества. Апостолы молились за Нерона (умирая при этом за правду), потому что он обеспечивал политическому сословию минимум существования. Новый примас поддерживает с коммунистическим государством диалог, хотя оно этого минимума не признает и хочет уничтожить общество. Единственное, что остается, — сохраненная без чести жизнь, биологическая индивидуальная жизнь без правды, превращающей ее в жизнь человеческую.

Но, так как надо оправдать капитуляцию, примас делает еще один шаг и заявляет: «*Ничего, что кто-то может обвинить Церковь в трусости, в кунктаторстве, в разрядке радикальных настроений. Церковь защищает каждую человеческую жизнь, а следовательно, и при военном положении будет всюду, где может, призывать к спокойствию, к отказу от насилий, к прекращению братоубийственных сражений. Нет ценности выше, чем человеческая жизнь!*»

Пусть меня поймут правильно. Я и не думаю упрекать примаса за *политическое* решение об отказе от насильственного сопротивления. Как любое политическое решение, оно конъюнктурно и гадательно — истории судить. Я его не сужу. Примас имел *право* в пастырском благоразумии призвать свой народ не восставать, чтобы избежать кровопролития. Но как епископ он не имел права аргументировать свой призыв, возводя в христианский принцип человеческую жизнь как высшую ценность. Действительно, Писание учит, что человеческая жизнь — великое благо, но оно учит также, что ею можно и должно жертвовать ради еще большего блага, такого, как спасение души или поклонение Богу Истинному. Если бы человеческая жизнь и мир были высшим благом, Иуду Маккавея не ставили бы вечно в пример. Кроме этого пожертвования в целях сверхъестественных, человек может поставить свою жизнь на карту по причинам естественным. Церковь никогда не осуждала борьбы *pro aris et focis*[1]— вооруженной, жестокой, насмерть борьбы за спасение чести, справедливости и минимальной свободы, без которых человеческая жизнь не достойна своего имени. Справедливо — бороться против уничтожения или извращения Творения, ибо оно хорошо.

[1] «За алтари и очаги» — Цицерон.

Как стало возможно это сползание от проблематичного политического решения к категорическому утверждению ложного принципа?

Здесь, мне кажется, проявилось еще одно последствие упорного замалчивания коммунизма и той оправдательной симметрии, в которой он уравновешен с капитализмом. Принимаемый столь же реально, как наш мир, «социализм», как все существующее, не может быть абсолютным злом. Поскольку считается, что своим существованием он не угрожает спасению и природе человека, нет причин рисковать своей жизнью в борьбе с ним. И эта-то жизнь, животное унижение которой при коммунизме отказываются признать, становится высшей ценностью.

Мы знаем другое применение этого принципа, на этот раз всемирного охвата — пацифистское движение Церквей. Спор об атомном вооружении получил сейчас поучительное развитие в Соединенных Штатах, потому что распространился на мораль и богословие. Если я правильно понял, американские епископы рассуждают следующим образом. Оборонительная война оправдана, если ее средства пропорциональны цели. Но атомное оружие приводит к диспропорции. Это абсолютное оружие, употребление которого можно себе представить только против абсолютного зла. «Социализм» не является абсолютным злом, и «капитализм» (то есть наш нормальный и реальный мир), со знакомыми нам злоупотреблениями и несправедливостями, не является абсолютным добром: и тот и другой относительны. Следовательно, для решения их спора нельзя прибегать к атомному оружию.

Если бы конфликт был примерно того же типа, что, например, в XIX веке конфликт между Францией и Германией, рассуждение было бы верно. Но оно не учитывает фундаментальной асимметрии, которая, однако, наделена очень определенным признаком: право, которое себе всегда присваивал коммунизм, или скорее долг, который он на себя брал, — полностью уничтожить «капитализм», то есть реальный мир, любыми средствами, а если это возможно в военном отношении и выгодно политически, то и атомным оружием. Не может быть симметрии между тем, что есть (пусть не идеальное), и этим агрессивным вакуумом. С другой стороны, если Церковь, соглашаясь с Цельсом и Макиавелли, уклоняется от своего долга *defensor civitatis*[2], Город отвернется от Церкви и будет защищаться сам. Нельзя безнаказанно посягать на природу вещей.

Я уже заметил, что поддержание белого пятна в центре поля зрения, в конце концов, искажает его полностью. Молчание разлагает Церковь. Онтологическое уравнение, или симметрия капитализм — социализм, т. е. просто ложная концепция неоспоримого факта, в конце концов отзывается на общем богословском укладе и подбирается к самой вере. Назовем этот беспорядок одним словом — спиритуализм.

Спиритуализм, определенный Пием XII в 1954 году как «*односторонняя сверхъестественность*»,—интеллектуально-эмоциональный склад, который

[2] Защитника города.

прекрасно согласовывается с отказом ставить вопрос о коммунизме и с симметричным видением мира. Он позволяет в великом унанимистском порыве отвергать разделение мира и превозносить прогрессирующее объединение и конвергенцию различных его частей. Но, красиво расшаркавшись и таким образом «открывшись миру», спиритуализм позволяет в то же время его критиковать — конечно же, единым и опять симметричным образом. Мир упрекают в материализме. Материализм един, как и мир, в двух лицах: теоретический материализм социалистического мира и практический материализм нашего западного. Этим паралогизмом, наивности которого следовало бы удивляться, в одной и той же концепции материализма объединяются марксистско-ленинская теория и чрезмерная гонка за материальными благами, которая распространена в нашем западном мире и точно так же распространилась бы и в мире советском, если бы эти материальные блага там существовали. Так смешаны две вещи разного порядка: одна — подлежащая интеллектуальной критике, другая — нравственной.

Коммунизм не может серьезно пострадать от такой критики: он занимается уничтожением материи в масштабах, до сих пор не виданных в истории. Этот практический спиритуализм превозносится иногда высокопоставленными духовными лицами, которые уверяют, что в этом мире, лишенном как избыточного, так и необходимого, без богатства, без красоты, без правды и права, — легче быть христианином, чем в нашем, перегруженном материей. Напротив, эта критика прямо бьет по телесности, реальности, вещественности нашего западного мира. Там, где радостному созерцанию некогда открывались Творение и Воплощение, спиритуалист видит только излишек позорной материи. Богатство, некогда получаемое (и раздаваемое) благодаря милости, теперь становится незаконным и позорным обозом, — и та же судьба подстерегает простой комфорт. Право и особенно право на собственность становится преградой, мешающей устремиться в эфирные области Чистой Любви. Спиритуалист нисколько не уважает человека, который действует в своих интересах, рассчитывает свои заработки и осторожно продвигается в упорядоченной иерархии своего имущества. Ему нужно полное бескорыстие, отречение от собственности, энтузиазм бытия. Спиритуалист презирает обходные, требующие терпения, несовершенные пути политики. Он будет инстинктивно искать кратчайший путь, *Aufhebung*, который вытолкнет его прямо в «мистические» сферы, где политика больше не в ходу. Как Ламартин, про которого говорили, что он заседает в палате не справа и не слева, а на потолке. Так они надеются преодолеть трагический раскол между «капитализмом» и «социализмом». Но в любом случае выигрывает последний, потому что наш мир не может «спиритуализироваться», не перестав существовать, в то время как практическому спиритуализму коммунистического мира немного надо, чтобы увенчаться спиритуализмом теоретическим: ему достаточно понять, что в его интересах говорить этим языком. Некоторые представители Церкви пытаются его в этом убедить.

Другой аспект спиритуализма представляет для Церкви, заблокированной своим молчанием и духом симметрии, серьезное искушение. Это абстрактный универсализм. Не столь внимательный к людям, как к Человеку, спиритуализм стирает границы, забывает историю и всего ожидает от будущего. В религии он отдает предпочтение «посланию», способному стать универсальным, в ущерб конкретным условиям, в которых Божий народ продвигался и смиренно зарабатывал Откровение. Так в новом припадке духа симметрии появляется тенденция поставить на одну и ту же плоскость евреев и мусульман как разделяющих с христианами тот же «монотеизм». Так мы часто забываем, что христиан обязывает вера евреев, но никоим образом не вера мусульман. Что христиане верят в Христа через Авраама и Моисея, но не через Коран, хотя эта книга очень много говорит о Иисусе. «Послание», даже «монотеистическое», в той степени, в которой все могут его легко разделить, заставляет забыть семейную солидарность, проистекающую из истории Спасения, которая должна бы объединять христиан между собой и связывать их с евреями.

Если есть факт, показывающий все аспекты спиритуализма, хотя еще рано судить, в котором из них он себя сразу признал, — то это прием в Ватикане Ясира Арафата. В его лице торжествовала антиматерия, так как этот террорист отнюдь не друг status quo; с абстрактной же точки зрения, он представляет собой Бедняка с большой буквы. Но торжествовал и универсализм — ведь этот, столь много обещающий для Человека прием привел в уныние многих людей: палестинцев, вынужденных признавать своим полномочным представителем террориста, подчиняющегося Москве; ливанских христиан, которых Рим отказался принять, потому что они воевали; наконец, безусловно оскорбленный еврейский народ. Именно поэтому глава Государства Израиль сразу же напомнил о первом молчании Церкви во время массового уничтожения евреев. В действительности, этот прием был скорее связан со вторым молчанием, но интересно, что таким образом два молчания оказались связаны.

И еще одно последствие этого молчания: Церковь вынуждена заменять свой язык социальным. Тем более неусваиваемым и излишним, что она никогда не упоминает единственную смертельную опасность для человечества и не произносит решающего слова, которое назвало бы зло по имени. С каждым годом это молчание становится все тяжелее, а язык — легче, потому что по-прежнему в огромном количестве молчаливо умирают тела, обесчещиваются души, а их адвокат не встанет защитить их, поддержать, воздать им должное, восславить их вслух.

1983, № 37

ЯКОВ ВИНЬКОВЕЦКИЙ

Врата рая

> Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.
>
> *Откр 2:7*

Текст, переживанию которого посвящена эта статья, составляет третью главу Книги Бытия, одну страничку лежащей передо мной карманной Библии. Текст, как узор на древней стене, испещренной следами взглядов тысяч людей. Простые слова, как бесконечно таинственные знаки. Связь между Богом и человеком выражается через боговдохновенный миф как высшее проявление знака. В истории не меняется истина, но меняется язык — всеобъемлющий, текучий мир нашей жизни. И неудержимо тянет взглянуть на миф снова, из того языка, в котором мы живем сейчас.

Речь идет о первородном грехе. Сразу после сотворения мира и человека совершается грехопадение. Оно происходит в раю. Изгнанием из рая начинается здешняя, земная история человека. Уже с древности, помимо буквального истолкования библейского текста, существовала традиция понимания грехопадения как духовного, метаисторического, довременного события, вызвавшего возникновение всего несовершенного материального мира и определившего место человека.

При изгнании Господь говорит слова, в которых определена антиномичная природа человека, принадлежавшего одновременно двум, казалось бы, взаимоисключающим мирам: «*Вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно*». Человек, подобно Богу, обладает свободой и знает добро и зло. Но он смертен, он не живет вечно. В вечности могут жить чисто духовные существа. Человек, принадлежа духовному миру, в то же время является частью материальной, пространственно-временной природы, в которой все атомистично и конечно. В этой двойственности — сущность космической роли человека, в котором несомненно соединяются и взаимно проникают друг в друга диаметрально противоположные аспекты мироздания.

В райском саду были два особенных, главных дерева — дерево жизни и дерево познания добра и зла. Им суждено было стать главными вехами бы-

тия. Первоначально путь к дереву жизни был открыт, на его плоды не было запрета. Если бы человек съел их, он, вероятно, стал бы одним из духовных существ. Но человек выбрал запретный плод с дерева познания. Этим предначертано направление будущего пути человека — от дерева познания к дереву жизни. Короткий и прямой путь, в пределах рая, стал недоступным. У рая поставлены «херувим и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Изгнанием из рая начат трагичный и долгий, крутой путь человеческой истории. Путь в неизвестность — к дереву жизни или к исчезновению в небытии. Путь человека к дереву жизни намечается как восхождение к вечности, преображение времени и снятие ограниченности природного бытия. Но сама память об этом будет не раз утрачена и дорогой ценой добыта вновь.

Что же такое первородный грех, под знаком которого всякий человек вступает на свой путь? Ясно, что это не просто одно из греховных деяний, но скорее некая общая основа греха — условие, которое делает грех возможным. Сама возможность греха, способность человека к греху неразрывно связана с понятиями вины, свободы и ответственности. Взглянем на кошку, играющую с мышью перед тем, как ее съесть. Кошке мы не можем приписать вины. Интуиция свидетельствует, что в каком-то важном смысле кошка едина со своей жертвой. Обе они — природа; между ними «их», «естественные» дела. Другое дело, если подобным образом себя ведет человек: он садист. Он знает добро и зло. Получается, что способность к греху отличает человека от животного, отделяет человека от природы.

В дочеловеческой природе господствует чарующая и смертоносная гармония. Животное воспринимает сигналы из окружающего мира и реагирует на них в соответствии со своими инстинктами, потребностями и возможностями. Сознание животного обращено вовне и не выделяет себя из среды. Человека отличает прежде всего рефлексия — обращение сознания на себя само как на предмет рассмотрения, своего рода короткое замыкание сознания. Когда это происходит, совершается чудо самосознания: сознание выделяет себя из мира и становится субъектом, превращая мир в объект. Два главных облика субъект-объектного отношения — два уровня самоутверждения и страдания: выделение человеком себя из окружающего мира как целого (отношение «я — не-я») и отличие себя от всех остальных людей («я — другие»).

Первородный грех в первую очередь и есть самосознание. Утраченный рай — дочеловеческое бытие. Разрыв с природным миром ощущается как незаживающий шрам, занимающий поверхность души. Человек тоскует, кричит от боли и хочет вернуться. Все оттенки романтизма и представляют это извечное стремление человека назад — слиться с природой в неразличающем, обволакивающем единстве. Но назад пути нет. Спасение не в отказе, а в овладении самосознанием и в его преображении.

Человека, помимо смерти, определяет самосознание в сочетании со свободой. Знание добра и зла и свобода решать, что есть добро и что зло.

Свобода выбирать, что думать и что делать. Что же сделал человек со своей свободой в тот довременной день испытания в раю? Вернемся в сад:

Там съеден плод с дерева познания, «*и открылись глаза у них, и узнали они, что наги*». Они увидели себя внезапно голыми и одинокими — и, ощутив страх, захотели защититься. «*И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая*». Тогда впервые воззвал Бог к созданному Им человеку — не в последний раз на долгом богочеловеческом пути: «*Где ты?*» Страх Божий еще владеет Адамом; его ответ до сих пор дрожит в листве: «*Голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся*». Наступает момент испытания, грозный вопрос: «*Кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты с дерева, с которого Я запретил тебе есть?*»

«*Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел*».

В главный момент испытания Адама оставляет спасительный страх Божий. Из его уст звучит голос трусливого мятежа. История человека начинается с доноса: «*Жена, которую Ты мне дал...*»; Ева продолжает поступок Адама, сваливая вину на змея. Человеку вручается свобода; чтобы ею овладеть, надо принять ответственность. Первородный грех раскрывается как тайна человеческой несвободы, добровольно принятой путем двойного отказа от ответственности и сваливания вины. Пусть тот, кто никогда этого не делал, скажет, что он лишь принудительно наследует грех прародителя. Отныне обозначены пределы человеческого бытия: похищен драгоценный дар познания добра и зла, но отвергнута свобода творческого претворения зла в добро. Вступает в силу роковое «*Смертию умрешь*».

Рядом с тайной смерти есть тайна пола. В прежнем, дочеловеческом состоянии «*были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились*». Им был дан завет: «*Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею*». Они были созданы властелинами животного царства и неотрывными от него. Когда явилось самосознание, они увидели впервые не что иное, как себя самих, — увидели отделенными от Бога, от мира и друг от друга. И увидели, что они различны. Тайна пола раскрывается через различие как половинчатость, недостаточность отдельного человека. Самосознание рождает разрыв, одиночество, неполноценность. И неутолимую жажду вернуть утраченные единство и полноту.

Обо всем этом — на одной страничке Книги Бытия. Этот текст возвышается над бытием и историей реальнее и неразрушимее, чем горы. В его тайнописи еще веками люди будут находить новые повороты и значения. В этом тексте, как в семени, содержится генетический код человеческой сущности и истории.

Человек создан по образу и подобию Божию, ему принадлежит самосознание в сочетании со свободой. Своими действиями и движениями души человек может выявить в себе образ Божий — или неузнаваемо замутнить его. Никакие внешние обстоятельства не властны решать за человека эти самые главные дела его жизни. Наши свобода и ответственность бездонно глубоки.

Из когда-то разобщенных островков жизни наш земной мир превратился в сверхсистему взаимосвязей.

Жизнь единичного человека соединена тысячами интимных нитей с историей мира. Никто не знает, как долго будут длиться последствия самого внешне незначительного поступка. Наши свобода и ответственность безграничны.

Преодолеть первородный грех и значит принять в себя полноту свободы-ответственности за себя и в пределе — за весь мир. Это может сделать лишь самосознание, преображенное любовью. Любовь дает возможность выхода за собственные пределы, способность принять и вместить в себя других людей и мир. Адам, представляющий любого из нас, отказывается от ответственности за собственный, совершенный им поступок, за свое самосознание — и тем предает свою свободу. Христос, являющийся по слову Церкви новым Адамом, Своей любовью свободно принимает на себя грехи мира, ни одного из которых Он не совершал, — и тем побеждает саму смерть и открывает новую, ответственную эру истории.

Бремя свободы тяжко. Услужливый разум выстраивает вокруг человека тюрьму детерминизма, внушает человеку, что он всего лишь раб осознанных и неосознанных необходимостей. Идеологии и группы предлагают человеку уют в своих рядах в уплату за его величайшую ценность — свободу. Человеческая слабость хочет заранее определить на все случаи жизни, что хорошо и что плохо, — чтобы только не решать заново каждый раз.

Самосознание обоюдоостро. Оно концентрирует человека в самом себе, изолирует и отчуждает его от других людей и от мира. Но оно же, просветленное любовью, способно соединить внутреннее человеческое с миром, вместить мир и Бога, сделать внешнее внутренним.

Добро и зло, в их относительности и абсолютности, выявляются через свободу земной жизни каждого человека и всей мировой истории. Как единичная человеческая жизнь, так и история мира не длятся бесконечно. Обе они открыты к завершению, к концу. Обе должны в свой час пройти через разрыв непрерывности, смертную разлуку, «пламенный меч обращающийся». Там риск катастрофы — провала в небытие, но там и возможность преображения — выхода в вечность к единству с Богом. Приходом Христа отдельная человеческая жизнь и вся история мира раскрыты как единый богочеловеческий процесс, и навсегда разрушена стена, отделявшая рай от мира. Врата рая теперь не «в Едеме на востоке», а в каждом человеческом сердце. Крестом на Голгофе проросло посреди нашего мира дерево жизни, и его плод предложен всем нам.

1984, № 40

АМОС ОЗ

Тень, свет и любовь

Холодно в Иерусалиме. Уже в четыре часа после полудня в воздухе носится легкое дыхание вечернего ветра. Небо, асфальт, склоны гор, кипарисы и камень — все окрасило осень в различные оттенки серого цвета. Время от времени доносятся голоса большого города: моторы, колокола, звуки сирен, собачий лай, далекий громкоговоритель, компрессор, отбойный молоток, — но все эти голоса не заглушают тишины. Это особая тишина Иерусалима, которую, если захочешь, услышишь даже в гомоне самой людной улицы. Переулочки за улицей Агрон и прилегающие к Мамиле безлюдны. Я брожу по этим безлюдным переулкам уже примерно четверть часа, потому что пришел на встречу ранее условленного времени. Стрельчатая каменная башня здания ИМКА тянется высоко в небо, словно пытаясь проткнуть низко нависшее облако.

Солдат морской пехоты охраняет вход в американское консульство. В переулке, прилегающем к консульству, я вижу пожилого еврея, лет шестидесяти, одетого в пальто, укутавшего шею шарфом, — он неторопливо говорит что-то на иврите арабу, тоже пожилому мужчине, в клетчатой кафие и голубом пиджаке с золотой цепью на животе. [...]

Я отворяю низкую калитку монастыря лазаритов — монастыря пророка Исайи.

«*Низкорослым был пророк Иешаяху, но и он вошел пригнувшись*»...

Пустынен был сад, окруженный высокой и широкой каменной стеной. В тени высоких сосен сумерки устраивались на ночлег.

Я звоню в колокольчик у двери отца Дюбуа. Отец Дюбуа, человек задумчивый, располагающий к себе с первого взгляда, проводит меня в свою маленькую келью: широкий письменный стол, свет настольной лампы очертил лишь яркий круг, оставив в тени остальное пространство кельи; два стула, кресло; все заполнено книгами и тишиной. Из единственного окна видны каменная стена, одинокий кипарис и кусочек безмолвного неба. Запах старинных книг в комнате. И запах сигарет.

Отец Дюбуа — католический монах, француз, а также профессор философии в Иерусалимском университете. Иврит в его устах — язык мягкий и праздничный, приятна мелодичность его французского акцента, с удвое-

нием согласных, — это придает его речи некое обаяние чужеродности. Мы говорим об одной из моих учениц, ставшей затем его студенткой на кафедре философии, говорим об общем друге. И, наконец, приходим к теме, занимающей нас обоих: что есть и что будет.

— Как верующий христианин, — сказал отец Дюбуа, — я полон уверенности, что Бог не оставит Свой избранный народ. Божественное обещание остается в силе. Завет Божий нерасторжим.

Я высказываю крайнюю точку зрения: воистину Союз Бога с Израилем вечен, но он не содержит ни единого обязательства сохранять жизнь евреев и гарантировать их благополучие до прихода Мессии. С точки зрения религиозной, Завет с Израилем остается в силе, даже если во всем мире останутся лишь десять евреев.

Отец Дюбуа улыбается. Он не торопится с ответом. А когда отвечает, — его слова звучат отнюдь не однозначно. Быть может, государство евреев, предполагает отец Дюбуа, — не что иное как переходная ступень, однако, «вне всякого сомнения, и государство — замысел Божий». Быть может, нынешнее одиночество евреев в мире, их страдания и боль, все возрастающие на них нападки, проявление злобы, — быть может, это деяния сатаны: «И если уж сатана так заинтересован в том, что здесь происходит, то, конечно, и Бог тоже». Иерусалим, по мнению отца Дюбуа, в смысле символическом — центр мира. Сердце мира. И все, что происходит в Иерусалиме, имеет мировое значение. Политическое противостояние в Иерусалиме, насилие, жестокость, крайний национализм, даже кровь, пролитая здесь, — все это свидетельство скрытой духовной борьбы.

Борьбы кого с кем? Евреев с арабами? Израильтян с другими народами?

— Прежде всего, внутренней борьбы самих евреев. В чем же сущность этого поединка?

И вновь замолчал отец Дюбуа в раздумье. Предлагает мне сигарету и закуривает сам. Теперь лицо его серьезно, даже хмуро:

— Быть может, это борьба за толкование смысла еврейской веры. Бытийственная основа борется с основой духовной. Начало горькое и мстительное борется с началом сострадающим и всепрощающим. Тенденция к обособлению борется со стремлением к универсальности. Основа националистическая против основы всечеловеческой.

Каковы его предположения о результатах этой борьбы? Кто возьмет верх в поединке?

— Трудно сказать. Трудно. Может быть, всё, что мы видим здесь, — он говорит, подчеркивая согласные, делая ударения на последнем слоге, — быть может, все это — родовые схватки чего-то нового, которому суждено появиться на свет. Согласно Писанию, все это уже было однажды. Было здесь, в Иерусалиме, правда, в ином виде.

Отец Дюбуа живет среди нас уже долгие годы. Он любит и уважает здешних мыслителей и людей духа, любит и уважает «простой народ», но на сердце у него тяжесть:

— Те, кто посередке, — огорчают меня, политики, всеми поступками которых руководит страх. Есть среди них, к сожалению, многие, которые выбрали страх орудием политики. Запугивают народ выдуманными опасностями, хотя, конечно, реальных опасностей вполне достаточно.

Я решил, что не стану спрашивать отца Дюбуа, какие опасности он считает выдуманными, а какие — реальными. Теперь, когда я пишу эти строки, я жалею, что не спросил.

Все, что происходит в Иерусалиме, считает отец Дюбуа, имеет смысл видимый и смысл сокрытый (он красиво это сказал: «Сокровенный смысл»). Смысл видимый — это аспект политический, экономический, военный, общественный, короче — это актуальность.

— Это то, что пока имеется. Сокровенный смысл?

— Намерения Бога и Его опыт.

Опыт? Разве Бог ставит на нас опыт? Эксперимент? Отец Дюбуа колеблется с разъяснениями:

— Потому что все, что связано с Богом, — тайна великая.

Отец Дюбуа предполагает, и есть тому свидетельства, что здесь, особенно в Иерусалиме, да и вообще в Израиле, идет грандиозный поединок между Добром и Злом. Быть может, это центральный конфликт нашего времени в универсальном смысле, именно здесь — арена борьбы. Отец Дюбуа видит в этом откровение огромного религиозного значения: Иерусалим снова стал центральной ареной мира.

Добро и Зло — это, конечно же, не евреи и арабы. И не одна группа евреев, противостоящая другой. Зло «сокрыто», оно в ненависти, в мстительности, в страхе, в унижении и гордыне, в изоляционизме, стремящемся обособиться и отколоться от «остального человечества». А Добро «заключено» в прощении, во взаимопонимании, в стремлении «открыться» ближнему, а также в древнем еврейском стремлении указывать путь, распространять истинное учение, быть образцом для всего мира и быть народом-наставником для всех народов. Но сатана мешает.

А кто есть сатана?

Нет, на сатану невозможно указать пальцем. Сатана — не «кто», а «что».

Быть может, деяния сатаны в том, что линия, разделяющая Добро и Зло, — разъединяет народы, партии, мнения и все лагеря.

— Иногда ты слышишь злобу именно в голосе тех, кто призывает к политической умеренности, а голос любви звучит в устах тех, чьи позиции считаются крайними. Это не однозначное разделение. Сатана всегда умеет уклониться, замаскироваться, втиснуться украдкой. Но все, кто обладают душой, чувствуют, что здесь ведется гигантский поединок.

И куда склонится чаша весов? В улыбке отца Дюбуа сквозит терпимость и, быть может, снисходительность.

— Я не знаю. Я верую и надеюсь, я молюсь за победу Добра. Вы написали рассказы о Иерусалиме духовном, о людях, которые долгие годы живут в Иерусалиме, но не утихает их тоска по Иерусалиму, они видят его в снах. Нуж-

но, чтобы вы продолжали писать об этом. У ваших слов есть предназначение. У каждого человека есть свое предназначение. У каждого человека в Израиле, а особенно — в Иерусалиме. Необходимо помнить, что весь мир смотрит на нас. Есть такие, которые смотрят со злобой, с тайной радостью, ожидая, что мы запутаемся. Есть такие, которые с восторгом примут наше падение. Но есть и другие. Быть может, они особенно нас раздражают, эти другие.

Я спрашиваю, кто они, эти другие, которые нас особенно раздражают. И отец Дюбуа поясняет:

— Те, кто всегда ожидает, что народ Израиля будет чуточку лучше, чем другие народы, что он поведет себя более справедливо; это те, кто требуют от народа Израиля духовной избранности и моральной избранности; те, кто особым образом верит в народ Израиля. Вероятно, требование, чтобы был здесь, в Иерусалиме, свет даже тогда, когда тьма воцарилась во всем мире, — мешает, усложняет жизнь. Чтобы свет шел из Иерусалима именно потому, что вокруг — власть тьмы. Я знаю, что в Израиле есть немало людей, которые говорят: «Что это? Чего они хотят от нас, эти другие народы? Пусть оставят нас в покое! Быть может, те, кто требуют от нас этого, просто лицемеры, ненавистники Израиля!» Я знаю, что многие говорят так. Но они ошибаются!

Я выбрал быть с теми, про кого отец Дюбуа сказал, что они «ошибаются». А вдруг и вправду это требование, обращенное к евреям, чтобы они были чище других, чтобы были самыми справедливыми, вдруг это требование — только маскировка для тех, кто не примирился с нашим существованием? А вдруг этим прикрываются ненавистники Израиля?

— Конечно, это может служить и маскировкой ненависти, — тонко улыбается отец Дюбуа. — Почти каждая вещь в мире может быть маскировкой ненависти, но тот, кто во всем будет искать только ненависть, — и найдет ненависть во всем. Необходимо понять, что народ Израиля все еще пробуждает великую надежду в мире. Есть великое ожидание, поэтому от Израиля требуют и духовности, и особой моральности. Есть много проявлений возвышенной любви к народу Израиля, любви большой и глубокой. Верно, что там, где есть великая любовь, есть место и для ревности, а от ревности — и ненависть. Это известно. Но ревность и ненависть — это тень. А тень существует, если есть свет. Во тьме и тени нет. Народ Израиля сейчас в трудной борьбе с самим собой. В труднейшем поединке! Важно и полезно, если народ Израиля узнает, что его любят в мире.

Кто, собственно, любит народ Израиля?

— Прежде всего — Бог. Он любит Свой народ. Это прежде всего. А затем — все, кто верует в Бога, любят народ Израиля. Каждый человек в мире, если сохранился в нем Дух Божий, любит народ Израиля и молится о даровании ему победы, победы над самим собой. Есть великая надежда, и, видимо, поэтому так злобствует сатана, вмешиваясь почти во все. Но если действует сатана, то, конечно, тут присутствует и Дух Божий. Есть здесь Бог!

Перевод с иврита Виктора Радуцкого

1984, № 39

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

Отвечая на ответ

Заметки новичка на американской художественной сцене

Прошлым летом по дороге к Вермонтским идиллиям мы завернули в Амхерст, Массачусетс. Я был приглашен принять участие в проводившейся там конференции Группы Театральных Коммуникаций, Theather Communication Group.

Мы прибыли под вечер, а конференция работала уже с утра. Я включил телевизор — как раз время новостей, любопытно, что они расскажут о событии. «Дожидайся, расскажут, — проворчала жена. — Ты думаешь, театральная конференция для них событие?» Она настроена скептически к американскому телевидению, несмотря на то — или благодаря тому, — что является ревностным зрителем «Далласа», «Династии», «Бумажных куколок»... Эти серии, между прочим, для многих эмигрантов стали как бы пособиями в овладении языком Шекспира.

«Позволь, сказал я, не каждый день, ей-ей, в Массачусетсе проходит всеамериканская театральная конференция, на которую собираются более чем полтысячи театральных деятелей из более чем двух сотен театров, не говоря уже о таких знаменитостях, как драматурги Артур Миллер, Джон Гуэр, Дерек Уолкотт, Януш Гловацкий, режиссеры Зельда Фичлендер, Питер Селлерс, Тадаши Сузуки, Оливиу Нулей...»

Возгорелся «голубой экран». Первой новостью дня оказались «расовые столкновения» неподалеку от Амхерста. Выглядели эти «расовые столкновения», впрочем, как обычная русская драка «по пьянке», когда одна часть деревни задирает другую. Затем большой кусок новостей посвятили пожару в отельчике по соседству. Дым, языки огня, трехсотфунтовое мужское тело проламывает раму, плюхается спиной вниз в натянутый брезент. Впечатляющие кадры! На Руси пожар — это всегда праздник, мать-Америка тоже любовно относится к этим народным событиям. Основной новостью дня оказалась, однако, не пожар и не драка, а драматическая исповедь некоей миссис Пёркинс. Она призналась в том, что девятнадцать лет назад была сексуально потревожена директором местной школы. Интервью с ней продолжалось десять минут, суть дела несколько затуманивалась псевдоюридической терминологией, которую бойко употребляла жертва. Обществен-

ность напустила еще больше дыму. Директор же, печальный носатый мистер Гумберт, сказал, что он был бы рад способствовать установлению истины, однако никак не может припомнить той крошки.

О театральной конференции не было сказано ни слова ни в тот вечер, ни в последующие. Больше того, за все три дня исключительно интересных дискуссий на конференции не появился ни один репортер.

Актеры школы господина Сузуки говорили, что, оказавшись на сцене, они прежде всего стараются определить, откуда в данный момент на них смотрят глаза Бога. Люди американского театра стоя аплодировали японским урокам сценической пластики. Я подумал о том, что им, может быть, и удастся определить направление Божьего взгляда, но вряд ли они узнают, откуда на них смотрят глаза Америки. Талантливый и полный жизни театральный мир этой страны прочно выбит на задворки, обращен в бездоходного бедного родственника. Где эти лица, полные мысли, воображения, юмора? Вместо них страна изо дня в день видит на экранах хорошеньких дурачков, наводящих только на одну мысль: есть ли предел бездарности и деревянности?

Кем-то (вот любопытно, кем же?) выработаны незыблемая эстетика и пластика так называемого коммерческого телевидения. [...]

Фальшивый советский лозунг «искусство принадлежит народу» странным образом осуществляется в Америке, потому что именно народ (то есть массы, а не эстеты-одиночки) платит массовые деньги и потому выглядит как бы в роли заказчика. Предусматривается, однако, что народ «прост», и тут концепция «простоты» нередко скатывается до «простоватости». Запросы народа вырабатываются предложенным товаром. По сути дела, ответ на «запросы народа» — это ответ на ответ. Взаимовлияние масс и массовой культуры крутится по замкнутому кругу. Чье влияние первично, на этот вопрос уже почти невозможно ответить. Что было раньше — курица или яйцо?

В этой связи трудно уже говорить об американской авангардной традиции. В журнале «Rolling Stone» я прочел, что «голливудский гений» Стивен Спилберг долго не мог получить своего первого «жирного бюджета», так как его подозревали в авангардистских наклонностях. Пришлось бедняге доказывать, что таковых не имеется. Пол Мазурский поставил великолепный и не лишенный авангардистской романтики фильм «Буря» и провалился в кассе: «народ» не принял замысловатостей. Следующий фильм «Москва-на-Гудзоне» режиссер сделал уже по железным законам «мыла» и огреб кассу. Что остается делать режиссерам, если по результатам «бокс-офиса» нынче уже присуждаются академические награды? В Москве-не-на-Гудзоне мы называли эти дела не «мылом», а «соплями с сиропом».

Вот один из моих американских сюрпризов — зажим авангарда! Издалека, из царства социалистического реализма, нам казалось, что авангардная традиция в Америке по-прежнему процветает, что американская литературно-театрально-киношная сцена представляет из себя пульсирующий и светящийся космополитический «плэйграунд». Глядя изнутри,

видишь со все нарастающим удивлением, что эта сцена при всем ее гигантском размахе носит черты деревенской лавки: поиски «вернячка», боязнь риска, паника при слове «эксперимент».

Провинциализм, разумеется, не всегда отрицательное качество, особенно если речь идет о национальной литературе. Фолкнер — в конце концов, провинциальный американский писатель даже в большей степени, чем Достоевский был провинциальным русским, однако только сейчас, живя здесь, я начинаю понимать, до какой степени американская литература является чисто американским, а не международным делом. Наше прежнее отношение к ней стояло на мифологии.

Среди космополитических мифов существует — или существовал — дивный миф «Знаменитого Американского Писателя» — ЗАП, FAW. В прошлые годы, в Советском Союзе, мне приходилось с этим типом встречаться, и я предполагал, что знаю, как себя вести при этих встречах. У моей жены опыта в этом меньше, и в связи с этим мы иной раз попадаем впросак.

Как-то раз звонит нам в Вашингтон один ЗАП, называет моей жене свое имя и делает паузу в ожидании соответствующей реакции. Будьте любезны, по буквам, говорит жена. К ЗАПу уже тридцать лет не обращались с такой просьбой, — ошеломленный, он, запинаясь, спеллингует. Я прихожу домой, и жена мне говорит: тебе звонил американский писатель по имени «вот посмотри». В ее транслитерации получалось что-то вроде Тутанхамона. Тут он позвонил снова: Мистер...мм... Акселотл, это вам звонит такой-то... — и неуверенно добавил: — ...американский писатель. Как?! — вскричал я, стараясь восторженной интонацией исправить промашку жены. — Это вы?! Тот самый?! ЗАП вздохнул с усталым облегчением: да, это я, тот самый...

В начале литературной жизни моего поколения, которое столь счастливо совпало с развалом сталинского «железного занавеса», пятеро американских писателей захватили наше молодое воображение. Хемингуэй, Фолкнер, Фицджеральд, Дос Пассос и Стейнбек — мы называли их «Великой Американской Пятеркой».

Встретиться пришлось только с одним из пяти. Осенью 1963 года Джон Стейнбек появился в Москве, живая легенда, в длинном и широком твидовом пальто, казалось, что в карманах там покоятся основательные запасы всякого добра, нужного ЗАПу в странствиях: табак, виски, мотки проволоки для скрепления сюжетов, крючки и леска для ловли метафор... Большое лицо в морщинах и алкогольных венозных паучках... Вот он, настоящий «кит» американской литературы XX века, космополит, бродяга, дон жуан, пьяница, словом «почти Хемингуэй». Даже московская милиция смутно ассоциировала Стейнбека с «Папой», что, видимо, ему не очень-то нравилось.

Посол США Фой Колер пригласил меня (очевидно как представителя «новой волны») на обед в честь Стейнбека. Классик к моему приходу, должно быть, уже хлебнул и приветствовал молодого писателя сильнейшим хлопком по спине. Как пишется, Василий? Я пришел в восторг — вот она, рука ЗАПа!

Он был полностью в «образе» и за обедом нес много очаровательной чепухи, тревожа дипломатов и секретаря Союза писателей Алексея Суркова. Для чего человеку пуп? Друзья мои, если вам захочется ночью поесть редиски, лучшей солонки не найти!

На прием в журнал «Юность» он пришел в другом настроении. Мрачно и сердито он задавал молодым писателям какие-то темные вопросы. Вы знаете, что лес уже горит? Слышите треск сучьев, волчата? Будете драться за свои шкуры или превратитесь в шелудивых собак?.. Может быть, он имел в виду незадолго до этого проведенную партией борьбу с молодым послесталинским искусством. Лучшим ответом на его вопросы стала бы знаменитая песня Владимира Высоцкого «Охота на волков», но она к тому времени еще не была написана. Мрак леса не очень-то соединялся с деревенским праздником нашей молодости — его не смог испортить даже Хрущев. «Расскажите нам, пожалуйста, о ваших встречах с Эрнестом Хемингуэем, мистер Стейнбек!» Он презрительно замолчал.

В разгаре хемингуэевского бума конца пятидесятых и начала шестидесятых «Папа» был идолом российского студенчества и интеллигенции разных возрастов и направлений. Даже так называемые международники, иными словами, гэбешники, что шуровали на Кубе и в Латинской Америке, были под хемингуэевским влиянием.

Попав впервые в Париж, я нашел, что он окрашен для меня не только своим собственным тысячелетним очарованием, но и промельком тех мимолетных американцев конца 20-х, пьяной свитой поклонников леди Ашли. В конце бульвара Монпарнас, где сквозь листву платана просвечивает статуя маршала Нея и доносятся звуки пианино из «Клозери де Лила», я вспоминал фразы «Фиесты», магию тех простых фраз.

Культ Хемингуэя возник в России оттого, что его лирический герой совпадал с идеализированным, то есть неверным, а может быть, как раз очень верным, в некотором астральном смысле, образом американца; он воплощал в себе то, чего так драматически не хватало русскому обществу: личную отвагу, риск, спонтанность. Набоков как-то пренебрежительно назвал Хемингуэя «современным Чайлд Гарольдом». Довольно точное определение, но тут надо вспомнить, что и Байрон в свое время поразил русское общество, возбудил дворянскую молодежь. Уникальные таланты Пушкина и Лермонтова начинались по разряду провинциального байронизма. Восстание гвардии в декабре 1825 было вызвано байроническим вдохновением.

Я стою в толпе на большом литературном приеме в центре Манхеттена. Есть что-то античное в этих стоячих американских «парти» — кажется, будто кто-то тут околачивается с парой кинжалов за складками тоги. Где же Цезарь? А вот и он, автор чего-то «самого захватывающего, самого фундаментального». Знакомых лиц мало, пара-другая из тех, что когда-то посещали Москву, однако чувствуется, что ты в центре литературного истеблишмента. Поражает число высоких женщин. Высокие красавицы, как молодые, так и старые: отбор, очевидно, идет давно.

Я вдруг подумал не без грусти, что меня сейчас не очень-то интересует современная американская литература. Вдруг я осознал, что произошло какое-то испарение ностальгии. Сигаретные дымки над головами высоких женщин, чуть пониже симпатичные седины и плеши моих американских коллег, окно, охватывающее полнеба, за окном подмигивание стоэтажных финансовых столпов... — грустный момент утечки одного из ранних очарований.

Что случилось? То ли сама эта человеческая группа вместе с воплощающим ее образом ЗАПа так изменилась с прежних «хемингуэевских» времен, то ли она просто оказалась не такой, какой представлялась издалека, то ли я сам изменился в брюзгливости среднего возраста, то ли наша человеческая группа, именуемая «современной русской литературой», так основательно изменилась после того, что пришлось хлебнуть... Рассеялась аура отдаленных пространств, открытого мира, рискованного предприятия, нынче для меня американская литература просто встала в ряд других западных литератур.

Аурой рискованного предприятия нынче окружена сопротивленческая литература Восточной Европы и Советского Союза. Может ли современный писатель найти для себя более головокружительное приключение, чем литературное изгнание?

Сказав об утечке особого интереса, я вовсе не расписываюсь в равнодушии. Напротив, я полон профессионального любопытства и на правах члена Американской авторской гильдии постоянно обозреваю уже частично как бы и свое профессиональное поле.

Образ ЗАПа, и в самом деле, престраннейшим образом изменился под увеличительным стеклом американского быта. В принципе ведь и везде писатель озабочен созданием и сохранением персонального обличья. В Советском Союзе поэт Островой, автор бессмертной строки «Я в России рожден, родила меня мать», ни при каких обстоятельствах не снимает тяжелых очков. «Народ знает меня в этих очках!» — заявляет он. ЗАП тоже не меняет обличья, не запускает бороды или, наоборот, не бреется, если был бородат к моменту своей славы, держит в зубах погасшую сигару, даже если она ему осточертела, живет в отшельничестве, если за ним повелась репутация отшельника.

Общество обожает ЗАПа, он — любимец, такой немножко как бы капризуля; из множества мифов он один из самых обаятельных, он, кроме всего прочего, и сам является персонажем американской литературы. Процент «писателей» из общего числа персонажей — весьма внушителен. Начинающий писатель пишет роман о начинающем писателе. Приходит первый успех, и появляется книга о первом успехе. Разочаровавшись в приманках славы, писатель пишет о писательском разочаровании. Начинается период семейных неурядиц, измен, адюльтеров, и появляется роман о писательских разводах, изменах, адюльтерах...

Соблазн велик, знаю по себе. Каждое утро, садясь к столу у окна над крышами Вашингтона, хочу написать: «Мистер Акселотл, писатель в изгнании, сел к своему столу у окна над крышами Вашингтона». Увы, обуживаю свой нарциссизм: надо подумать, господа, и о молодых литераторах.

Первая проба профессионализма — написать не о себе. Начинающий писатель, однако, смотрит на своих старших собратий: все пишут о собственных геморроях, а почему мне нельзя? В результате, в «Атлантиках» и «Харперсах» появляются почти неотличимые друг от дружки рассказы, составленные по такой приблизительно схеме.

Сентябрьским вечером, сидя на крыльце своего дома, Шейла М. ждала гостей. Она была стройна (120 lb) и обладала пышной каштановой гривой, парой (!) голубых глаз и смугловатой кожей, залитой закатным солнцем (sic!). Спокойно и грустно она думала о своих литературных успехах и о недостатках своей половой жизни.

Недавно она получила за первый сборник своих рассказов большой приз от «The National Endowments», но зато Брюс В., который только что ее покинул, спал с ней не чаще, чем два раза в год, то есть за те пять лет, что они провели вместе, он спал с ней десять раз. Иные спят по десять раз за раз и ежедневно, то есть 3650 раз в год или 17250 раз за пять лет. В чем причина нашей странной бессонницы?

В стареньком фольксвагене подъехали гости, университетская подруга Шейлы М. Джин С. (несомненно, вторая Шейла М.) и ее бойфренд Гордон Ш. (несомненно, третья Шейла М.). С первого взгляда было видно, что пара наслаждается избытком половой жизни, близким к выше упомянутой калькуляции.

Втроем они сделали салат из латука и немножечко покушали. Ночью Гордон Ш. пришел к Шейле М. и разбудил в ней женщину. Возможны варианты.

Утром они снова ели салат из латука и обсуждали свои литературные дела. Шейла рассказывала замысел своего романа об одинокой женщине-прозаике, Джин говорила о премии, которую ей обещали в «National Endowment» за новую книгу стихов, Гордон поведал о своих мощных усилиях в Голливуде.

Несколько перемещений в толпе манхеттенского приема — подальше от Брута, подальше и от Цезаря, — и я оказываюсь рядом со знакомым ЗАПом: книги его читал еще в переводах, а самого встречал на международных конференциях. В разговоре он жалуется мне на неприятности с цензурой. «Вот именно с цензурой, сэр! Вы думаете, только в России существует цензура? Недавно в Миссури школьный совет округа Тмутаракань постановил изъять мои книги из библиотеки. Их, видите ли, смущают некоторые четырехзначные слова и некоторые фривольности моих персонажей. Вот вам новое наступление ханжества, как во времена Маккарти! В Советском Союзе мои книги все-таки переводятся и издаются, не так ли?»

Я почесал в башке: «Кажется, сэр, я знаю, как решить проблему со школьной библиотекой в Миссури. Нужно сделать обратный перевод с советских изданий на английский, и, ручаюсь, никаких неприятностей у вас больше не будет».

Он посмотрел на меня в некотором смущении. «Прошу прощения, старина, в самом деле не очень-то уместно было говорить о цензуре именно с вами».

В одном университете после лекции меня спросили: знают ли в СССР ведущих американских писателей? Не без осторожности я задал встречный вопрос: каких именно писателей имеет в виду студент? Он назвал имена из списка бестселлеров. Пришлось развести руками. Эти имена почти неизвестны активной читающей публике в России. Я и сам их не знал, пока не приехал в эту страну, а, между тем, именно они волей-неволей направляют массовый литературный вкус, хотя, возможно, меньше всего думают об этом предмете.

Для читающей публики в России существует другая американская литература. Переводчики, надо отдать им должное, отбирают книги не по количеству проданных экземпляров, а по приметам так называемой серьезности. Конечно, в тех случаях, когда не удается обойти идеологический частокол, переводчики подвергают американских авторов порядочной стрижке с удалением не только излишней волосистости, но и кусочков плоти, но все-таки, благодаря высокому уровню переводческой школы, советские читатели смогли в течение последних двадцати пяти лет познакомиться с рядом блестящих имен.

Особенно-то четкой границы между «серьезной» и «коммерческой» литературами, как я понимаю, сейчас нет. Иной раз и «серьезные» попадают в золотые списки, другой раз и постоянные обитатели этих списков демонстрируют твердую руку и серьезность проблем. И все-таки ориентировка на списки торговых рекордов вызывает к жизни не только несметное число безвкусицы, но и особый тип пишущего человека.

Однажды я познакомился с романистом, который на вопрос, какого рода книги он пишет, ответил просто: бестселлеры. «К сожалению, плохо-вато продаются», — добавил он.

В определенном смысле коммерческая литературная халтура имеет некоторое сходство с идеологической литературной халтурой. Как-то раз на телебеседе дамочка-писательница делилась секретами своего ремесла. «Прежде чем начать новую вещь, — говорила она, — я тщательно изучаю спрос. Писатель, — она поднимала приятный пальчик, — должен знать литературный рынок». Легко воображаю эту дамочку в роли члена Союза писателей СССР. Таким же благообразным тоном: «Писатель должен изучать последние партийные документы, быть в курсе решений партии по литературным вопросам».

Кружным путем сообщество авторов бестселлеров напоминает советскую партийную номенклатуру: в нее трудно попасть, но из нее почти уже невозможно выпасть. Нынче в американской литературе книга часто становится бестселлером, потому что она написана автором бестселлеров. Читатели доверяют этим авторам, полагая, что вкладывают деньги в стоящее со-

лидное дело. Авторы стараются поддерживать «торговую марку», выдавать на гора то, чего от них ждет рынок. Вырабатывается коммерческая инерция, под которую нередко подпадает и «серьезная литература». Тут не до экспериментов.

К внутриамериканской торговой инерции я отношу и равнодушие к иностранным книгам. Успех итальянца Умберто Эко уникален. Один книготорговец как-то объяснял мне: пролистывая новую книгу и находя в ней иностранные «трудные» имена, наш массовый читатель автоматически откладывает ее в сторону. Забавно, не правда ли, для страны, где добрая половина населения состоит из Джонов Домбровичей и Джейн Дзапарелло. В России, между прочим, наоборот — при виде иностранных имен читатель заинтригован.

Любопытно, что литературная критика очень мало влияет на продажу, она как бы существует вне коммерческой сферы. Вряд ли найдете вы в солидных еженедельниках рецензии на самое «горяченькое», иной раз лишь что-нибудь сквозь зубы, глуховато-ироническое, однако авторы бестселлеров в положительных рецензиях, видно, просто не нуждаются: они уже в *списке*! Воспитание литературного вкуса происходит в замкнутом кругу лиц с хорошим литературным вкусом.

Приближаясь к завершению этих заметок, я раскланиваюсь в любезной позе, насколько могу. В какой-то степени я и сам уже часть этой литературы (и не только на правах «национального меньшинства»), литературы, в которой все еще, несмотря ни на что, крутится хвост йокнапатофского мула, взлетают в воздух испанские мосты, бренчит джаз бит-поколения и ковыляет раненый кентавр Новой Англии. Страдает ли литература от сожительства с долларом или что-то от этого выигрывает, — вопрос еще открыт. Увы, человечество пока не придумало системы отношений, более естественной, чем деньги. То, что нам предложил Карл Маркс, на деле оказалось возобновлением отношений до-денежной поры. Это, впрочем, не может отобрать у писателя право на когти. Венецианский книжник-лев лицом своим располагает к чтению, к писанию — когтями!

В 1975-м, после двухмесячного визита в США, я написал свою первую книгу об Америке «Круглые сутки нон-стоп». В ней не было почти никакой критики, я не заметил — или не хотел замечать — никаких теней. Американский туристский восторг был, очевидно, лишь частью моего советского гнева, ответом на тупую официальную антиамериканщину. Вся моя критика в те годы шла в адрес отечества и завершилась, как известно, потерей отечества.

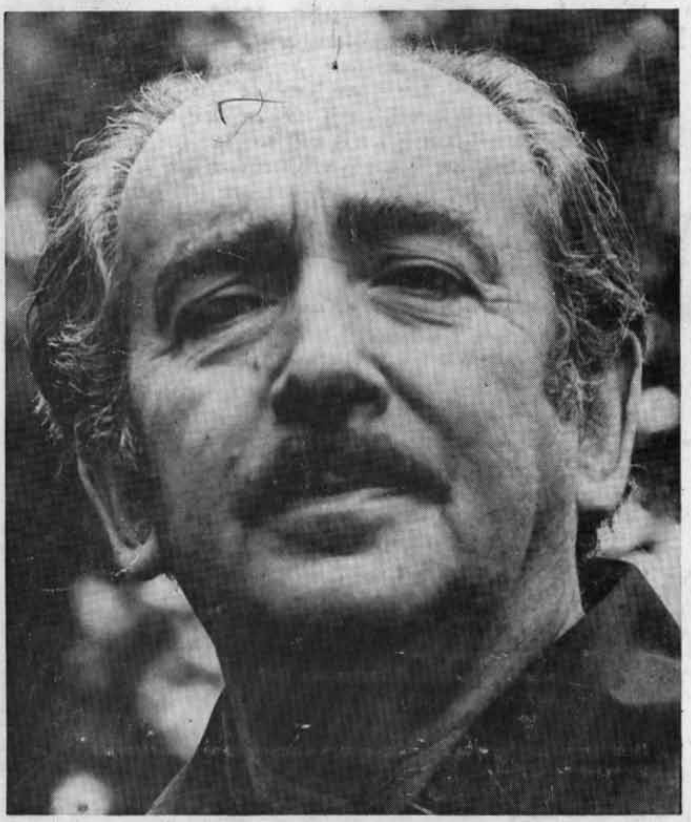
Сейчас, после четырех лет американской жизни, я пишу свою вторую книгу об Америке. Теперь я вижу не только светлые окна, но и сырые углы своего нового дома. Надеюсь, хоть на этот раз не выгонят.

1985, № 44

КОНТИНЕНТ 33

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

К пятилетию со дня смерти



Александр Галич

Обложка «Континента», № 33

ВЛАДИМИР ТЕТЕРЯТНИКОВ

Профессорская вакханалия вокруг русской культуры

Еще одна коллекция фальшивых русских икон

В 1980 году я был шокирован, открыв, что иконы из «лучшей» западной коллекции Джорджа Ханна оказались фальшивками. Моя статья называлась «Мистификация русской культуры на Западе»[1]. «Мистика» этой мистификации — в том, что фальшивками полвека восхищались два поколения западных «специалистов по России». «Мистика» продолжается, ибо никто не задал вопроса: мог ли ничего не понимавший в иконах Дж. Ханн собрать уникальную в мире коллекцию фальшивок? Если не мог, — значит, я непременно обнаружу фальшивки в других западных коллекциях, иначе мне придется разувериться в своих методах экспертизы.

Главным оружием моей экспертизы были отнюдь не технические ухищрения анализа, но апелляция к здравому смыслу, «мистически» отсутствовавшему у моих предшественников. [...]

Коллекция русских ценностей Джозефа Дэвиса, американского посла в СССР

Прославление коллекции в США началось с необычайного события: выставки в Белом Доме для президента и его высокопоставленных гостей. Следующая выставка — в советском посольстве в Вашингтоне, где ее посетил весь дипломатический корпус и многочисленные «друзья советского народа». Затем — триумфальный показ в Американско-русском институте, после чего выставка навечно осталась в превосходном музее Эльвегеймского художественного центра при Висконсинском университете.

До сих пор не кончается поток посетителей храма искусств Висконсинского университета. Первый печатный каталог был опубликован еще в 1938 году, а в 1973 году несколько научных, общественных и даже правительственных учреждений выделили средства для «научно окончательного» изу-

[1] «Континент», № 34.

чения именно иконной части коллекции. Венцом научного подвига явился солидный труд профессора Джорджа Галавариса «Иконы в Эльвегеймском художественном центре». Удостоил коллекцию своим вниманием и профессор Джон Болт, основатель и глава Института современной русской культуры в Блю Лагун (штат Техас). Коснулись ее и такие классики мирового искусствознания, как Эрвин Панофски и Курт Вейцман.

Собранные Дэвисом ценности не уместились в одном музее — многое было подарено Национальному кафедральному собору в Вашингтоне. Недавно вашингтонский собор продал свою русскую коллекцию на публичном аукционе в Нью-Йорке. Ввиду ценности памятников, торговать было поручено главной мировой фирме — Сотбис, обладающей солидной британской репутацией и более чем двухвековым опытом торговли шедеврами искусства. Каталог для аукциона составил эксперт фирмы Сотбис Джеральд Хилл.

Добавим, что личность и коллекция Дэвиса послужили краеугольным камнем для капитального исследования профессора Роберта Вильямса «Русское искусство и американские деньги» — первого труда на эту тему. [...]

Джозеф Дэвис с супругой В Москве

Джозеф Дэвис оставил след в американской истории. Адвокат по профессии, он выиграл в 1925 году судебное дело, защищая интересы компании Форда, и получил неслыханный по тем временам гонорар — миллион долларов. Тогда это был мировой рекорд.

Многолетний друг нескольких президентов США, он особенно отличился в предвыборной кампании Ф. Д. Рузвельта и в награду был назначен послом в СССР (1936). Почти тогда же Дэвис женился на одной из богатейших женщин мира — Марджори Пост, наследнице колоссальной «продуктовой империи».

Прибыв в Москву, Дэвисы на свои деньги оснастили старое здание американского посольства туалетами, холодильниками и прочим уютом. Кажется, с первого же дня пребывания «на посту» они нашли себе и долговременную утеху жизни — советские комиссионные магазины. Особенно увлекались скупкой ценностей жена и дочь посла. Обмен американских долларов на советские рубли на берлинской черной бирже принял такой размах, что советские агенты мгновенно вздули курс рубля в пять раз. Но для миллиардерши и «в сто раз» было бы как с гуся вода. Досадовали лишь остальные, более бедные члены московского дипкорпуса.

Страсть Марджори Пост к русскому искусству не прекратилась ни после отбытия из Москвы, ни после развода с Дэвисом. До самой своей смерти по всему свету она выслеживала и, переплачивая, скупала всё, что ей «Русью пахло», — особенно если с царскими двуглавыми орлами.

Надо отдать должное Марджори Пост: в лучших традициях американских богачей она завещала свои сокровища американскому народу, и ее по-

местье в центре Вашингтона стало музеем русского искусства. Паркетные полы инкрустированы двуглавыми орлами. Стены увешаны портретами царей. В витринах сияют драгоценнейшие безделушки работы Фаберже. Превосходная коллекция русского фарфора. Конечно, иконы. В глубине диковинного сада стоит диковинное строение, названное в путеводителях непривычным американскому уху словом «Дача». Как вспоминала сама хозяйка, она пыталась по памяти скопировать впечатлившую ее дачу наркома Литвинова.

Но вернемся в Москву в те предвоенные времена. Гости Москвы хранили скупаемое «дома» — т. е. в посольстве, вывозя чемоданами по частям при поездках из сталинских владений «на волю».

Ныне, задним числом, посольская деятельность Дж. Дэвиса вызывает дружный, негодующий смех современных историков. Капиталистический посол, в самом деле, чуть не влюбился в Сталина и его «великие преобразования». Иногда он, правда, чуть-чуть жалел, что «замечательные сталинские преобразования не идут рука об руку с христианством», но, тем не менее, уверенно и официально сообщал своему начальству, что у этих безбожников «вера в Бога сидит под внешней коммунистической кожей». [...]

Как Джозеф Дэвис собирал свою коллекцию

Буквально с первого дня пребывания в Москве Дэвис с семейством начали интересоваться русским искусством, посещали музеи и антикварные магазины. Почти сразу же пришла идея собрать представительную коллекцию русского искусства для американского народа — о наживе американский посол-миллионер не помышлял: написал президенту Висконсинского университета, что все собранное будет подарком бывшего студента своей Альма Матер. Сообщил и советскому правительству об этом желании и даже просил помочь в комплектовании собрания.

Уезжая из СССР, этот дипломат совершил неслыханный поступок: сам предложил советскому правительству заплатить огромную таможенную пошлину за вывозимые ценности. Не пожелал воспользоваться старинной и втихомолку узаконенной привилегией дипломатов насчет «дипломатического багажа». Советское правительство было шокировано. Сам наркоминдел Литвинов уговаривал: вывози так, — но американец был неумолим. Пришлось принять от американского миллионера внушительную сумму.

Посол Дэвис вел все свои антикварные дела открыто. Кажется, никто ни до, ни после Дэвиса не собирал так честно русских ценностей при Сталине. Но и Сталин никому из капиталистов никогда не помогал коллекционировать с такой непрерывной услужливой предупредительностью.

Вот один случай. Прибыв 28 февраля 1937 года в Днепропетровск, американский посол, после положенных осмотров яслей, фабрик и «счастливой жизни», разыскал-таки антикварный магазин. Понравилась ему там

картина. Сказал: «Покупаю, дарю в свой университет, заверните, принесите к моему поезду». Как записал Дэвис в дневнике, вечером к поезду пришел директор магазина в окружении, словами посла, «наших друзей из ГПУ». Эти-то «друзья» объяснили американцу, что директор комиссионки завысил цену и что, хуже того, картина, по определению ГПУ, не подлинная. Директору приказали вернуть американцу деньги. Растроганный Дэвис с благодарностью пишет в дневнике об этих, как он выражается, «ангелах-хранителях из ГПУ».

Роль ГПУ вообще уникальна в антикварных похождениях американца по России. К примеру, Дэвис мог даже поручить своему надсмотрщику поехать в Ленинград и купить там появившиеся в продаже фарфоровые тарелки и бюст Гудона. Гепэушник вернулся из командировки с несколькими тарелками: остальные оказались «невысокого качества», а бюст Гудона пожелал купить Эрмитаж.

Судя по удовлетворенным записям в дневнике, американский посол вполне доверял художественной экспертизе ГПУ. Однако совсем другое отношение у него было к «родным» капиталистам. Когда Дэвису предложили картину Айвазовского в Финляндии, он поднял на ноги все американское посольство в Хельсинки, добиваясь тщательной музейной экспертизы. Не получив твердого заверения, что картина подлинная, Дэвис ее не купил, опасаясь капиталистического жульничества.

Однако доверие официального дипломата к официальным советским чиновникам вполне логично. К чести Дэвиса, у него никогда не было апломба «знатока», он не скрывал источников своих знаний, не скрывал советской официальной помощи.

Итак, вся собирательная история Дэвиса ясна как на ладони.

Почему же иконы оказались малоценными или поддельными?

Как это произошло? Несмотря на помощь ГПУ или — с помощью ГПУ?

Что купил американский посол в СССР

Похоже, что коллекция, находящаяся в Висконсинском университете, с самого начала собиралась как особая группа памятников, предназначенная «для американского народа». В нее входят живопись и иконы.

Те русские вещи, что Дэвис в 1955 году подарил кафедральному собору в Вашингтоне, по-видимому, куплены вне России. Большую часть этих сомнительных шедевров продал Дэвису всемирно известный нью-йоркский магазин «Старая Россия».

Я приехал в Мэдисон 1 июля 1980 года, спустя два с половиной месяца после «аукциона века», когда фирма Кристи продала знаменитые фальшивки из коллекции Ханна. Друзья моих друзей рекомендовали меня директору музея Карлтону Оверленду. Директор охотно показал мне свои сокровища. Сам снимал со стен иконы, я же фотографировал и рылся в архивах. Но, ко-

нечно, американский музейный работник весьма скептически слушал мои разочарованные вздохи и замечания.

Коллекцию, подаренную вашингтонскому собору, я видел в момент ее продажи на аукционе фирмы Сотбис в Нью-Йорке 15 декабря 1981 года. Здесь уже пришлось фотографировать тайком.

В том же музее Висконсинского университета находится и коллекция русской и советской живописи Дэвиса. Как ни странно, ни одного портрета вождей — преобладают картины с цветочками, деревенскими гуляньями. Есть полотна «Осада Новгорода в XVI веке» и «Первомайское гулянье в Парке культуры и отдыха». Немножко про Красную Армию да про колхозников и рабочих.

Сам Дэвис говорил: «Я всегда интересовался больше сюжетом, рассказом... чем самой живописной техникой». И в письме к губернатору штата Висконсин посол скромно пишет: «*Коллекция живописи, хотя и содержит некоторые прекрасные работы, в целом не очень выдающаяся с точки зрения художественного вкуса*».

Действительно, лишь ничтожная часть картин могут претендовать на «художество». Бóльшая часть — неумелые копии, на грани самодеятельных попыток фабрично-заводских умельцев. Конечно, и поддельные айвазовские есть, даже «с подписью». Впрочем, именно фальшивых айвазовских почему-то оказалось пруд-пруди на западном антикварном рынке.

Равнодушие Дэвиса к качеству проявилось и в усиленном заказывании копий с русских и советских картин. Иногда копировали студенты художественных училищ, иногда и сами живые советские классики срисовывали себя для вывоза в Америку.

Естественно, заказ и скупка копий заслужили смех американских профессоров, изучающих деятельность посла. Смех, конечно, несколько однобокий: следовало бы знать, что все мировые музеи копируют, когда оригиналы недоступны. Горе Дэвиса заключалось в том, что заказывал он найти копиистов «своим» гепэушникам. А те, как водится, поручали эту ответственную работу лишь тем, кто отличался политической бдительностью и отсутствием родственных связей за границей. Так что и качество было соответственное.

Американский посол в далекой России с течением времени стал усвоять себе некий ореол «первооткрывателя русских талантов». Любопытны его комментарии к русским именам в американском каталоге. Стиль и интонации комментариев Дэвиса живо напоминают путевые записки средневековых посетителей «Индий» и других «дальних стран». Для уроженца Висконсина Россия взаправду может показаться экзотической страной. Глаза неподготовленного туриста воспалены необычностью впечатлений. Потому-то посол и не мог быть достойным «информатором» ни о советских делах, ни о русском искусстве.

Впрочем, остается загадкой, насколько Джозеф Дэвис был знаком с искусством любой страны, хотя бы собственной.

Начало вакханалии вокруг фальшивок Дэвиса

Профессор Вильямс вдоволь понасмехался над желанием Дэвиса любоваться живописью по студенческим копиям. Но никакого удивления у этого доктора наук не вызвала фраза посла, которой тот объясняет, почему он заказывал копии. Фраза, повторенная в каталоге Дэвиса *восемь* раз: «*Оригинал хранится в Третьяковской галерее, Москва. Советское правительство не разрешило вывезти оригинал из Советского Союза*».

Любой интеллигент должен вздрогнуть от этого признания. Осмелился бы посол великой или малюсенькой державы попросить «разрешения вывезти» приглянувшиеся ему вещицы в Лувре? Но вот в Москву является посол заокеанской державы, сам лично полный симпатий к русским. Университетски образованный человек. Посещает главный национальный музей и «тыкает пальцем»: вот эту и эту — прошу разрешить вывезти. И на эту выходку профессора критики не реагируют.

Случай Дэвиса — не исключение. Когда слухи о том, что Сталин собирается продавать художественные ценности, разошлись среди мировых любителей прекрасного, Арманд Хаммер, известный миллионер и «американский друг Ленина», быстро сколотил компанию для их закупки. Лучший искусствовед того времени Бернард Беренсон по каталогам составил список главных мировых шедевров из всех русских музеев. И Хаммер предложил пять миллионов долларов «за всё».

Советы ответили: «Вы что, нас за дурачков принимаете?» И правда, было ли в мировой истории, чтобы потенциальные покупатели, не спросясь, что хозяин собирается продавать, составляли списочек самого лучшего? Мы ведь вспоминаем не об ограблении дикого африканского племени, а о попытке «сделать бизнес» с европейской страной, пусть и советизированной. Русские ученые того времени — искусствоведы с мировыми именами. А фармацевт Арманд Хаммер осмеливается предлагать свои оптовые цены на рембрандтов и рубенсов.

Кончилась та история по правилам цивилизованного мира. Продали Советы американцу Меллону совсем другие картины, немного, и взяли за них семь миллионов долларов. Многие антиквары тогда считали, что Меллон переплатил. Но это и есть торговля взрослых людей, а не обмен на стеклярус с дикарями.

Так мы разобрались и в том, почему Дэвис, не сумев приобрести оригиналы, заказывал слегка похожие копии. Американец ощущал себя в России, как в этнографической экспедиции по сбору материала о русском племени. Об ихних диких привязанностях и глупых верованиях. Вот и заказывал копии чужих «божков». Кто их делал: местный Рафаэль или маляр — с высоты высшей висконсинской цивилизации неважно.

Так и всучил Дэвис американскому народу фальшивое мнение о единообразии русских талантов и бездарностей.

Но слепота и предвзятость — еще не вакханалия. Вакханалия началась не с Дэвиса. Этнограф купил, упаковал, привез собранные им сувениры, безделушки, черепки и «приятные воспоминания». Подарил американской науке для разбирательства.

Началось все с элементарной вежливости, обмена любезностями. Губернатор штата Висконсин, принимавший дар Дэвиса, писал в своем послании: «*Художественное и историческое значение коллекции Джозефа Дэвиса имеет огромную важность не только для Университета, но и для всего штата Висконсин*».

Вслед за ним выступают титулованные ученые. Президент Висконсинского университета заявляет: «*Коллекция, собранная Дэвисом, не нуждается в проверке временем. Даже профан может понять ее исторический фундамент и ценность*».

И вот вслед за генералом от науки все остальные «профаны» уже ничего не проверяли: они всё сразу «поняли».

Обратим внимание, что и сам Дэвис, привезя русские картины и русские иконы, по-разному оценил эти части своей коллекции. Картины он кое-какие в своей жизни видывал, поэтому о собранных им картинах скромно пишет, что они не представляют высокой художественной ценности. Но слово *икона* он, несомненно, впервые узнал в своем «этнографическом путешествии». И в родном Висконсине сразу почувствовал себя знатоком православного иконописания. Простительно было бы ему кружить голову соотечественникам, уверяя, что привезенные иконы имеют мировое значение. Но он, еще находясь в СССР, пишет советскому послу в США Уманскому: «*Купил и вывожу коллекцию икон высочайшего качества, уникальную и не имеющую себе равных в мире*».

Есть причины, по которым профаны думают, что все вывозимые из СССР иконы обязаны быть ценными.

Первая причина — политическая. Вслед за своими западными единомышленниками Дэвис был уверен, что безбожным большевикам иконы совсем ни к чему. Вот и постарались всучить американцу «самые религиозные» иконы, т. е. самые ценные и древние. Задумали отравить проклятых капиталистов, а сами остаться без «опиума» и без икон.

Вторая — «научная». Уже тогда началась научная мистификация всего русского. В западных университетах математически точно вычислили, что русская душа — сплошная достоевщина, перемежающаяся с всплесками распутинщины. Иконы же у русских — беспробудная мистика, эталон сверхсвятости. Что для русских свято, для заокеанских любителей трансформируется в «ценность». Пропагандируя русский мистицизм, сами цивилизованные ученые мистицизмом брезговали, в тонкости не вдавались. Пропаганда русского мистицизма закрывала пути к изучению подлинного русского искусства. Мистика ведь есть непостижимое! Была примешана и «западная мистика». Запад ведь тоже христианский: раз «лик Христа» продается безбожниками, нечего придирчиво разглядывать — спасать надо.

Легко поддались профессора на шантаж христианской тематикой, сталинской безбожностью, «русской достоевщиной». Профессор Джеймс Биллингтон прямо в лозунговой форме выразил «мистическую суть России»: *икона и топор*!

Но все же с тех пор прошло почти полвека: спутники, телевидение, электроника... Рядовому человеку хочется верить, что «все науки» двинулись вперед. В том числе и изучение русских икон на Западе. И мне так из СССР чудилось: им-то, американским специалистам по русскому искусству, при их свободе, технике и свободомыслии, можно подняться до вершин познания. И вот я приехал в Америку. Познакомился с коллекцией икон Джозефа Дэвиса. Открываю прекрасно изданный, новейший научный каталог русских икон Висконсинского университета.

Вакханалия профессора Галавариса

В предисловии к каталогу профессор Галаварис пишет: «*Несколько лет назад я имел счастье быть приглашенным профессором факультета истории искусств Висконсинского университета в г. Мэдисон...* [...] *Это было так, как будто я вошел в подземный склеп времен Древнего Рима и предстал перед потрясающими, чудесным образом сохранившимися картинами. Я сказал "картины", но на самом деле это была сама святость, сиявшая в полутьме. Святостью были эти иконы, священные образа, панели-иконы, сквозь которые просвечивало Божественное... Лики на иконах были темные, загрязненные и пожухшие, некоторые потрескались, другие послужили пищей для червей. Но пронзительные глаза их были как живые. Я боялся притронуться к этим сокровищам: помню, как однажды на Востоке, в монастыре, монах велел не трогать святые иконы, если твои руки не святы. Директор не спрашивал о святости моих рук... Что я говорил тогда ему, что он мне отвечал — не помню. Помню только слова о том, что эти меланхолические лики, которые продолжают приковывать наше внимание, некогда принадлежали человеку, который научился их любить, — Джозефу Дэвису*».

Дух захватывает, и святотатством выглядит любая попытка критики. Но вспомним, что живем мы в XX веке, что зарплату этим профессорам-мистикам платят в современных денежках и что претендуют они на научные почести, а не на восторженный звон бубенчиков. Вспомним, что, в отличие от захваченного воображением Галавариса, мы знаем, как Джозеф Дэвис «учился любить» русскую икону и кто были его учителя из ГПУ.

Кто такой Галаварис? Во время составления этой книги он занимал пост профессора истории искусств в одном из крупнейших канадских университетов Мак-Гилл. Он автор многих книг и статей по византийскому искусству и иконописи. Немудрено, что ему поручили составить каталог выдающейся коллекции. Однако еще в предисловии он пишет, что, когда иконы были перенесены в светлое помещение и реставрированы, что-то от святости они утратили.

О результатах своего исследования профессор Галаварис пишет: «*...нет ни одной иконы, похожей на другие. Ввиду уникальности, каждая икона в коллекции требует специального рассмотрения. Каждая икона вносит вклад в наше понимание святости*».

Это — в предисловии. А что в книге? Есть глава о красоте икон, есть обширная библиография. Есть вызывающая недоумение глава «Богословие икон и популярная поэзия». Тут и Ахматова, и Хлебников, и даже Багрицкий — лишь бы было что-нибудь «иконное». Конечно, нельзя без Достоевского, у которого профессор нашел строки о том, что Федор Карамазов никогда грошовой свечки не поставил перед образом. Нашлось что-то подходящее и у Блока.

Но с точки зрения экспертизы икон как художественно-исторических памятников, кажется, единственное высказывание «по существу» — признание Багрицкого о любви к древней копоти на темных иконах. И вот оказывается, что во всей книге американского профессора строчки Багрицкого и есть единственное упоминание о каких-либо материально-технических характеристиках икон как музейного памятника!

Единственная конкретная деталь «русского»: на одной иконе, отмечает Галаварис, носы у персонажей уродливо длинные — «*типичные лица русских крестьян*»!

Раз никакой экспертизы в каталоге нет, нет даже лексики музейной атрибуции, научно критиковать, собственно говоря, нечего. Придется заняться критикой иного толка.

Профессор ни разу не говорит, что его каталог — не первое описание коллекции икон Джозефа Дэвиса. Это умалчивание о каталоге, составленном самим Дэвисом в 1938 году, тем более странно, что почти все «атрибуции» Галавариса расходятся с дэвисовскими.

Пример. Об иконе «Знамение» (каталог Галавариса, № 15) сказано: «*Четыре серафима символизируют значительность... Композиция построена на больших цветовых плоскостях и ритмических деталях с декоративным эффектом, что делает эту икону одной из наиболее прекрасных в коллекции... Икона — выдающаяся по своей богословской значительности и колористическому эффекту. Изменчивые цвета серафимов увеличивают динамизм всей композиции...*» Попросту говоря: центральное изображение Знамения Богоматери прекрасно гармонирует с серафимами по четырем углам, — более того, серафимы даже увеличивают динамизм композиции.

Однако в каталоге 1938 года сказано нечто совсем иное: центральное изображение выпилено из какой-то большой иконы, серафимы по углам приставлены «просто так», от чего-то другого. Оказывается, предмет, который в 1938 году был не самостоятельной иконой, а винегретом, через 35 лет стал одной из лучших икон в коллекции и приобрел богословскую значительность. «Ишь ты, как развилась техника экспертизы!» — воскликнет простой человек.

Кто же прав? Ничего не понимавший в иконах Дэвис или профессор искусствоведения Галаварис?

Разгадка напечатана черным по белому на английском языке в дэвисовском каталоге. Как честный и аккуратный человек, Дэвис поставил на титульном листе каталога: «*Описания и комментарий — в языке русских экспертов, которые помогли комплектованию коллекции*». Итак, первый каталог Дэвиса — пересказ мнений русских продавцов. Эксперты в России еще тогда реставрировали, изучали, анализировали предметы и предупредили покупателя об истинной ценности. Профессор Галаварис предпочел умолчать об экспертизе русских ученых и не противопоставить ей ни слова собственных аргументов.

Другие странные эксперты

Профессор Галаварис благодарит за помощь Гейнца Скробуху (он же — Г. Герхард, директор единственного музея иконописи на Западе в Реклингхаузене в Западной Германии; кстати, это единственный музей, который не заказал мою книгу «Иконы и фальшивки» — первую существующую книгу по экспертизе икон): «*Г-н Скробуха... любезно обсуждал со мной материал, сделал все возможное для облегчения моей работы в его музее и читал рукопись этого каталога. Он улучшил каталог весьма важными советами...*»

Интересно, что профессор Галаварис полностью пренебрегает мнением русских ученых, которые изучали иконы, держа их в руках, но благодарит Г. Скробуху, который, судя по всему, всего лишь читал рукопись Галавариса и видел фотографии. Еще два десятка имен западных ученых лиц, перечисленных в предисловии к каталогу и способствовавших превращению русских обрезков в самые прекрасные и богословски значительные иконы, — опустим.

Советскую и русскую живопись из коллекции Дэвиса изучал профессор Джон Болт. Статья Дж. Болта «Советские картины в коллекции Джозефа Дэвиса» вполне «идеологически выдержанна» (по-западному): профессор критикует вдоль и поперек весь сталинский соцреализм. И только одного он не заметил: что коллекция — не живопись, а «сувенир» о живописи.

Интересовался профессор Болт и иконами Дэвиса. В архиве музея сохранилось его письмо с просьбой прислать фотографии икон для предполагающейся публикации статьи в журнале «Мир антиквариата».

Перед аукционом фальшивок из коллекции Ханна профессор Болт читал лекцию в фирме Кристи и даже включил этот факт в перечень достижений своего института. Доклад об иконах делал профессор Болт и в музее Метрополитен. Во время моего суда с Кристи имя Болта прозвучало примерно так: «Кто такой Тетерятников, — а вот о красоте этих икон читает лекции заслуженный профессор Болт». Правда, когда Болту сообщили, что его имя вот-вот всплывет как имя эксперта-защитника Кристи, он поспешил написать письмо о том, что он отнюдь не специалист по иконам и никакой экспертизы икон Ханна не делал: «Прочитал доклад — и все».

Коллекция икон Висконсинского университета была отмечена вниманием настоящего классика мирового искусствознания — Эрвина Панофски. В архиве музея я ознакомился с перепиской Э. Панофски с музеем и с другим выдающимся ученым — Куртом Вейцманом.

Панофски посетил Висконсин в 1955 году и заинтересовался греческим триптихом из собрания Дэвиса, атрибутированным XV веком. По его мнению, факты говорят, что триптих был написан в 1534—1549 гг., но стилистически икона выглядит еще более поздней.

Панофски показал фотографию иконы К. Вейцману, крупнейшему в наши дни исследователю византийского искусства. Вейцман заметил, что надпись на книге, которую держит Христос, — совсем поздняя и что, по его мнению, икона не греческая, а русская. В заключительном письме музею оба эксперта настаивают, что триптих — русский и не мог быть сделан ранее эпохи папы Павла III.

Джордж Галаварис упомянул об этом имени, при этом небрежно заметил, что надпись, вероятно, была сделана уже русскими, однако никаких своих аргументов о подлинности памятника не привел. И никакой научной экспертизы, разумеется, тоже не делал — лишь восхищался.

Я сам тоже не провел технической экспертизы триптиха, однако мне вспомнились некоторые факты из мировой истории иконописи.

Во-первых, почему этот якобы бесценный памятник русские ученые продают американцу, которому вообще было безразлично, что покупать? Почему они продают его как памятник XV века, когда на нем явственно стоит указание, что он сделан во второй половине XVI-го? Не намекнули ли русские эксперты этой абсурдностью на некую странность памятника?

Профессор Галаварис, возможно, не осведомлен о том, что и греческие иконы серьезно изучались русскими учеными уже в XIX веке. Более того, русским были известны и подделки греческих икон. Греческие подделки описаны в таком классическом труде, как «Русская икона» Н. П. Кондакова. А эта книга переведена почти на все европейские языки. И в ней написано, что в конце XIX века на антикварном рынке появилось множество поддельных греческих триптихов, якобы сделанных в Венеции. Почти всегда эти иконы содержали что-либо «историческое», стандартно указывающее на вторую половину XVI века.

Греческий триптих коллекции Дэвиса почти идеально укладывается в серию описанных Кондаковым подделок. Сам Галаварис, и тот предположил, что икона не греческой, а венецианской работы. Неудивительно, что известные ученые Э. Панофски и К. Вейцман были в недоумении: русская икона или греческая, странные надписи и прочее. Следовательно, памятник содержит достаточное число необъяснимых странностей. Однако все это не оказало на Галавариса ровно никакого влияния, а книгу Кондакова он, судя по всему, вообще не читал.

Так мало-помалу росла и слава, и вес коллекции Джозефа Дэвиса. В 1938 году сам Дэвис писал, например, о своем греческом триптихе как о «бесцен-

ном и неповторимом». Но по мере того, как все больше и больше американских профессоров включалось в иконную вакханалию, не устоял перед ними и Дэвис. В 1954 году о том же триптихе он пишет: «*Очевидная истина, что это, возможно, более ценный предмет, чем любое произведение этого типа во всем русском искусстве*».

Понимаете, что написано: *лучше всего русского искусства* — этот поддельный греческий триптих!

Одним из последних исследователей коллекции Дэвиса стал профессор Роберт Вильямс. В своей книге «Русское искусство и американские деньги», как я уже отметил, он вовсю высмеивает несчастного американского посла — за все, кроме собирания культурных ценностей. По Вильямсу, Дэвис был раздвоенной личностью: неуклюжий политик и отличный коллекционер. И не догадывается профессор, что Дэвис был «цельной натурой»: фальшивая информация [об СССР] и фальшивое искусство — вот итог его жизненной деятельности. [...]

От книги Вильямса пошли круги по воде. Рецензии на нее публиковались под такими агитационными заголовками, как «Советская связь — искусство тоннами» («Уолл-стрит джорнел»). А в «Крисчен сайенс монитор» в 1981 году появилась статья о теперешней советской торговле иконами. Автор отмечает, что ничего ценного большевики не продают, — в качестве же иллюстрации помещена репродукция знаменитейшей иконы XIII века из Третьяковской галереи. Так и дрессируется западный зритель: русские иконы все без разницы.

Самовнушение о безличности всего «иконного» и предвзятость в оценке русских событий воспрепятствовали Вильямсу сделать действительно важное открытие относительно советской торговли искусствами. Аккуратно переписав массу исторических свидетельств, профессор оказался не в состоянии их научно сопоставить и трезво оценить. И не заметил одной важнейшей фразы Дэвиса, ставящей всю эту историю с головы на ноги!

Отчего смущались русские эксперты?

Как помнится, Джозеф Дэвис почти все скупал через комиссионные магазины. Кроме икон. И вдруг ГПУ само предложило американцу «разживиться иконами».

Связь с ГПУ у посла происходила через приставленного к нему советского чиновника. Его он и посылал в Ленинград за покупками. Этот же сотрудник обычно помогал и с экспертизой, и с заказами копий. Имя его не может не вызвать улыбки у читателей советской литературы: Бендер. Но не Остап — Филипп. Девис вспоминает первую встречу со своими иконами: «*После моего возвращения в Россию летом 1937 года я решил приобрести коллекцию примитивов — икон — вдобавок к остальной своей коллекции. При посредстве советского правительства я приобрел около двадцати икон. Их выбирали самые уважаемые в России эксперты, сотрудничавшие с Третьяковской*

галереей. Эти иконы были выбраны из музейных вещей: ранее они экспонировались в Кремле, Третьяковке и других музеях Советского Союза. Мне посчастливилось приобрести их у советского правительства».

Зная советские порядки, доподлинно веришь только тому, что все, что ни делал посол в СССР, происходило при посредстве советского правительства. Остальные восторги были слишком доверчиво приняты американскими профессорами.

Иконы из Кремля, Третьяковки и других музеев? Кто их там видел?

Уважаемые советские эксперты. Дэвис не сообщает их имен, но зато отметил, как они себя вели в присутствии покупателя-американца. Роберт Вильямс, к сожалению, не сообщая источника, пишет в своей книге: «*Несколько смущенных музейных экспертов по искусству в октябре 1937 года помогали Дэвису выбрать двадцать три иконы, взятые из Третьяковской галереи, Чудова монастыря* ***вне*** *Москвы и Печерской Лавры* ***возле*** *Киева*».

Отметим ущербность топографических познаний профессора русской истории... Однако гораздо важнее осмыслить: отчего были смущены русские эксперты?

Профессор Вильямс, вероятно, думал, что смущаются русские эксперты, оттого что вынуждены отдавать американцу национально-православное достояние. Но если это так, то они вели себя как герои: под бдительным глазом ГПУ они «дают знать» американскому послу свое недовольство политикой партии и правительства.

Кроме сомнительности такого «героизма», есть и еще одно возражение.

Дэвис увидел в СССР много разных событий. Например, он присутствовал на процессе «право-троцкистского блока». Вопреки всеобщему мнению западных дипломатов в Москве, Дэвис поверил в справедливость сталинских обвинений. Как он сообщал в Вашингтон, «*Сталин просто выстрелил первым*». Основываясь на личных наблюдениях, Дэвис отметил, что все подсудимые «свежевыбриты», отвечают на вопросы уверенно, уверенно признаются в преступлениях и уличают друг друга. Даже о Вышинском американский посол, сам юрист, писал: «*Прокурор говорил спокойно, деловито, без выкриков*».

За это отношение к сталинским процессам, в основном, и ругают сегодняшние профессора американского посла. Чуть ли не дурачком называют.

Перед нами очередной парадокс американской профессорской мысли. Все, что говорит Дэвис насчет икон, — воспринимается с доверием. Все, что говорит Дэвис насчет остального, — вызывает насмешки.

Что же, как мне кажется, произошло на самом деле...

Я хладнокровно предполагаю, что все «смущение» русских экспертов было лишь вырвавшимся наружу издевательством. Посла с его женой-миллиардершей «разыгрывали», втирали ему очки и, почти не таясь, посвойски перемигивались с присутствующими гепэушниками. Да и настоящие ли музейщики были те эксперты? А вдруг это были обыкновенные «искусствоведы в штатском»?

Итак, что у нас получается? Иконы оказались фальшивыми, а продавцы-эксперты — смущались. Вывод: знали, что делали. Сознательно продавали фальшивки. [...]

Остается задать последний вопрос: кто выиграл, кто проиграл в этой истории?

Русские эксперты оставили себе шедевры, а фальшивки пошли к невеждам. Тривиальная коммерческая история.

На том бы все и остановилось, если бы вслед за сталинской экспертизой и торговлей на сцене не появились персонажи, не предусмотренные ни всеведением ГПУ, ни сталинским гением.

Псевдоиконы в руках псевдоэкспертов

Для начала, конечно, полагается ругнуть Сталина — за то, что затеял продажу национального достояния за границу. Если верить профессору Вильямсу, это сталинское злодеяние не имеет прецедента в мировой истории. Не хотелось бы защищать Сталина, но следует восстановить историческую истину.

Можно было бы сказать, что «сталинский вклад» в мировую культуру состоит в том, что продажей фальшивок за рубеж советское правительство дискредитировало русскую национальную историю. Но коммунисты никогда и не претендовали на то, что их правопорядок — «русский». Это заокеанские профессора упорно спихивают коммунизм в русскую национальную берлогу. [...]

Для выяснения, «кто виноват», одним «разоблачением культа личности» не обойтись.

Торговец Сталин и покупатель Дэвис были единственными разумными и трезвыми персонажами в этой мистификации. Что сделал Джозеф Дэвис? Купил, вывез и подарил в научное учреждение: пусть, мол, профессора разбираются соответственно их дипломам и должностям. И Сталин — продал, получил денежки и подумал: их-то профессора с американской техникой сами разберутся. Что в музей поместят, а что и в утиль выкинут как недоразумение. Так почему же не разобрались?

Есть, мне кажется, психология «двойного профессорства». Русские и нерусские события оцениваются разными мерками. Привези американец из Франции что-то художественное — и его приобретение будут штудировать музейные специалисты, техники-аналитики. А вот русской иконой «занялись» историки, литературоведы и прочие, склонные к «мистике».

Курьез ведь, что историк, — а не музейный эксперт, — Д. Биллингтон осмелился создать аксиому о том, что к русской иконе «*невозможно применить точную технику датировки и классификации, известной западным историкам искусств*». Да зачем же он западных исследователей дискредитирует? Настоящая наука легко разберется в старом или новом дереве, в красках древних или синтетических. Разобрались же в иконах Ханна, — правда, после моего разоблачения.

Профаны же спрашивают совета хоть у Багрицкого, точную науку — экспертизу — заменяют литературщиной.

Как в тумане, смотрел Дж. Галаварис на первый каталог Дэвиса и не заметил, что заключительная глава специально для него написана. Называется она «Заметки об иконах. Почему до нас дошло так мало икон в первоначальном состоянии».

Оказывается, кроме «смущения», было в истории продажи икон Джозефу Дэвису и вполне недвусмысленное предупреждение, которое честный Дэвис аккуратно записал для будущих профессоров. Русские музейщики заранее извинялись перед американскими коллегами за восторги иноземного посла.

Суть этого предупреждения в том, что изучение икон — дело серьезное и равноценное любой научной деятельности. Что для русских музеев качество и состояние памятника древности определяется по всемирным музейным требованиям. Что если иконы Дэвису проданы, то потому, что они не иконы, не художественные памятники «в первоначальном состоянии» и, следовательно, недостойны музейного хранения в любой части света, включая Америку.

Было сказано, конечно, и несколько слов для завуалирования: дескать, в России зима — морозная, а лето — жаркое, вот иконы и трескаются. Но, сверх этого, объяснили, — и это черным по белому записано в каталоге, — что «*иногда иконы доходят до нас*»... «*без головы*», или «*одна голова*», или просто ничего, одна доска. В этих случаях «кто-то» остальное дорисовывает, или склеивает, или заново выдумывает, иногда и несусветное.

Все это «дорисованное» мы и видим на иконах коллекции Дэвиса, вплоть до несусветной иконы Знамения.

Прочитав это, начинаешь понимать «смущение» экспертов. Ведь этот важный господин, с женой-миллиардершей, при его страсти к художеству и при возможностях рынка, мог бы второй Лувр построить! И вместо этого американец влюбился в обмылки от русской цивилизации.

Культура всегда смущается от присутствия бескультурья.

* * *

Какой эпилог придумать нашей истории? Может, отделаться шуткой, а то критику антинаучности примут за «антиамериканские настроения» или «традиционную русскую враждебность»?

Из книги в книгу переписывают профессора слова, якобы сказанные Микояном Хаммеру в Москве в 1929 году: «*Вы можете покупать сегодня картины в России. Нас не беспокоит, что они некоторое время побудут у вас. Вот когда мы сделаем революцию и у вас в стране — заберем всё обратно*».

Вот оно, профессорское упование: Микоян изволил пошутить, а они всерьез ждали советского наступления на Америку как свидетельства подлинности икон. Отчаянная, мол, русская мистика за «родными» иконами готова с топором наперевес — хоть на край света, хоть через океан!

Становится очевидным, что ошибки в атрибуции икон — не случайный промах западных специалистов. Не техническая ошибка, а заблуждение, результат предвзятых эмоций, возникающих при прикосновении ко всему русскому. А эмоции в научной деятельности, как показывает история, превращают профессоров в агитаторов.

Агитация ничему не учит, кроме ненависти. «У вас — музыка толстых!» — «А у вас иконы топорные и всякому дураку понятные!» Так и уравнялись профессора свободных демократий с платными и подневольными пропагандистами режимов.

Мировая культура и подлинная наука к нашей истории не имеют отношения. История же этой вакханалии — обыкновенный звон шаманских бубенчиков под развесистой клюквой.

1984, № 40

СЕМЕН ЧЕРТОК

Урок Эйзенштейна

В кампусе Гарвардского университета плакаты — медальный профиль артиста Николая Черкасова в кольчуге, шлеме и гриме князя Александра Невского и извещение о просмотре фильма Сергея Эйзенштейна. Почему выбрали именно эту картину? Спрашиваю знакомых — студента, профессора, фотографа. «О! Эйзенштейн!» Произносят с благоговением. Возможно, с не меньшим, чем верующий — имя святого Александра Невского. Имена канонизированы. А ведь фильм плохой — плоский, сухой, элементарный по мысли, картонный по постановке.

Для левой западной интеллигенции Эйзенштейн — «революционный художник». Этого достаточно. С каждого кадра его картин течет кровь — это импонирует тем, кто ее не проливал. Щекочет нервы. По отношению к режиссеру употребляют единственный эпитет — гениальный. А «Александра Невского» автор многотомной истории кино французский коммунист и «друг Советского Союза» Жорж Садуль назвал «вершиной таланта» Эйзенштейна. Перестарался: этого не утверждает даже советская кинокритика, единодушно преследовавшая Эйзенштейна, а теперь так же единодушно его славящая. Упоминая «Невского», она старается уйти от оценок, больше напирая на то, что это «вдохновляющий призыв к отпору фашистской агрессии».

Смотрю «Александра Невского» в который раз — ни правды истории, ни подлинных характеров. Наскоро сколоченные макеты, бутафорские щиты, шлемы и копья, ненастоящая зима, прямолинейная, чисто внешняя актерская игра, примитивная фабула, скучное действие. Зло (тевтонские «псы-рыцари») и добро (бояре, дружинники, условно-былинные персонажи — удалой Буслай, мудрый Гаврила Олексич, «представитель народа» кольчужник Игнат и победоносный князь, сошедший не то с ордена, не то с картины Налбандяна) в чистом виде. Кто бы стал, если бы не магия имени, смотреть спустя сорок пять лет помпезный пустой боевик, поставленный в «державном» — парадно-торжественном стиле с советской идеей сильного вождя-спасителя нации? «*А если кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет, на том стояла и стоять будет русская земля*», — утверждал экранный Невский. В этом уверяли предвоенных зрителей, очень скоро заплативших за бахвальство «вождей» двадцатью миллионами жизней.

Сергей Эйзенштейн всегда выполнял «социальный заказ» (и само это выражение пошло от его коллег-лефовцев), но утверждал, что при этом ставит условие: заказ должен вызвать в художнике ответную реакцию. Материал и идея режиссеру безразличны, лишь бы проявить свою художническую индивидуальность, лишь бы давали работу. «Александр Невский» ответной реакции явно не вызвал. Все, что от него сегодня осталось, — это удачное соединение ритма сцен, особенно сражения на льду Чудского озера, с музыкой Сергея Прокофьева: режиссер снимал эпизоды и монтировал их, подчиняясь музыке. Но картонное зрелище это не спасло: музыкальные образы рельефнее портретных медальонов. Кантату «Александр Невский» лучше слушать отдельно.

Это была не художественная неудача, от которой никто не застрахован, а холодный и точный расчет: Эйзенштейн знал, что делал — таков был социальный заказ. Сталин руководил кинематографией лично: читал сценарии, утверждал их и назначал постановщиков. Эйзенштейн был удобен — большое имя и возьмется за что прикажут. На сей раз дали команду, чтобы поставил не только *что*, но и *как* приказывают — в стиле «простоты и народности». Предложили на выбор Александра Невского или Ивана Сусанина: тогда революционные герои заменялись в искусстве реабилитированными монархами и генералиссимусами. Эйзенштейн остановился на Невском — далекая эпоха, почти не сохранившая материальных следов, меньше будет придирок. Задание заключалось в том, чтобы воспеть победу могучего русского воинства над врагом, технически лучше подготовленным и напавшим внезапно. Сталин сам просмотрел литературный сценарий, и его напечатали в 12-м номере «Знамени» за 1937 год. Чтобы не появились «художественные» уклоны, к Эйзенштейну приставили двух комиссаров — бывшего чекиста писателя П. Павленко и второго режиссера Д. Васильева, которого сделали сопостановщиком и по алфавиту назвали первым. Эйзенштейн согласился. Ливонские и тевтонские рыцари должны выглядеть «*предками нынешних фашистов*», а «*XIII век дышать той же эмоцией, что и мы*».

Эйзенштейн торопился выполнить задание, которое возвращало его в режиссуру. К сценарию «Невского» приступили в августе 1937 года, а к съемкам — 5 июня 1938-го и 7 ноября их закончили. Тогда это считалось необыкновенно быстро. Даже зимы не стали ждать — насыпали во дворе студии мел. 10 ноября ночью Эйзенштейна разбудили и потребовали срочно прислать картину Сталину. А через несколько часов поздравили по телефону с успехом. В фильме есть внутренняя диспропорция — слишком много места занимает Ледовое побоище. Впопыхах ленту повезли Сталину без одной коробки — эпизода кулачного боя на новгородском мосту. Эйзенштейн потом просил вставить «*сценарно абсолютно необходимую сцену*», но кинематографическое начальство не решилось и не сделало этого до сих пор.

Ложно-монументальный стиль «Александра Невского» открыл в советском кино направление, которое скоро восторжествовало: замену кинема-

тографичности театральными декорациями, многофигурными массовками, статичной театральной игрой, оперной пышностью и торжественностью.

Эйзенштейн добился своего: фортуна на несколько лет улыбнулась ему, и до разгрома в 1946 году, когда запретили вторую серию «Ивана Грозного», он ходил в любимчиках.

Съемочному коллективу вручили переходящее красное знамя «Мосфильма» за досрочное окончание съемок, а постановщику — орден Ленина. Когда 1 февраля 1939 года в Кремле раздавали ордена, Эйзенштейну поручили выступить с благодарственным словом от имени награжденных. В 1940 году его сделали художественным руководителем «Мосфильма». Он был в почете и не хотел терять расположения властей. А так как исповедовал принцип «социального заказа», то тут же взялся за работу, прямо противоположную «Невскому». Молотов подписал в Берлине пакт о ненападении с Риббентропом, и на какое-то время «Невского» перестали показывать. По первому телефонному звонку художественного руководителя Большого театра С. А. Самосуда Эйзенштейн согласился поставить «Валькирию» — любимую оперу Гитлера, музыкальный символ утверждаемого нацизмом национального духа. Лишь бы дали работать, а трактовать тевтонцев как «псов» или как «рыцарей» — безразлично. Но на сей раз Эйзенштейну не повезло: спектакль, премьера которого состоялась 21 ноября 1940 года, прошел всего несколько раз — близилась война, и на экраны опять вышел «Александр Невский». Желание же угодить Сталин оценил — 15 марта 1941 года Эйзенштейну присудили за «Невского» Сталинскую премию первой степени.

* * *

...Осенью 1953 года в конференц-зале Московского дома кино выступал министр культуры Н. Михайлов, — кажется, самый некультурный из всех, кто занимал этот пост. Говорил он бессвязно и безграмотно, перескакивая с пятое на десятое, и вдруг мелькнула фамилия Эйзенштейна без обычных до того ярлыков: «формализм», «антиисторизм», «гамлетизм», «изыски», «бесплодные поиски», «ложный путь», «грубейшие ошибки», «порочные теории» и «заблуждения», — без которых это имя с 1946 года не употреблялось. Это было непривычно, но понятно: подул новый ветер. Из косноязычной речи министра можно было уловить: «заблуждения» и «ошибки» не мешали режиссеру всегда следовать генеральной линии партии и воспевать ее, а за границей он очень популярен, и поэтому отношение к Эйзенштейну надо пересмотреть.

Оттепель еще не начиналась, до реабилитации Мейерхольда оставалось два года. Эйзенштейна оправдали первым. Сначала его перестали ругать, потом стали восхвалять. Издали шеститомник — первое в кино собрание сочинений, монографии, сборник воспоминаний, книгу в серии «Жизнь замечательных людей», учредили во ВГИКе стипендии Эйзенштейна, а улицу рядом с институтом назвали его именем, на доме, где он жил, установили мемориальную доску, сняли посвященный ему документальный фильм, со-

звали посвященный ему международный симпозиум, открыли — тоже впервые в кино — музей-квартиру кинорежиссера и стали возить по всему миру выставки его рисунков. Наконец, через десять лет после смерти установили и торжественно открыли памятник на его могиле. Но с последним фильмом — второй серией «Ивана Грозного» — долго не знали, как поступить. В 1946 году его запретили постановлением ЦК КПСС и выпустить решились только спустя двенадцать лет: «наверху» шли споры о том, какие ассоциации вызовет картина у сегодняшних зрителей — только с покойными Сталиным и Берией или с действующим советским режимом. Начало оттепели помогло картине увидеть свет.

И все же по нарастающей, как принято в СССР, славословие не пошло: пароходы, города, колхозы и даже киностудии именем Эйзенштейна не называли — слишком не по-русски звучит фамилия и вызывает у рядовых людей ненужные вопросы. Даже дали указание всячески подчеркивать коренное происхождение матери — дочери купца первой гильдии, а происхождение отца обходить. В. Вишневский в книге «Эйзенштейн» (1939) написал, что он родился в «*петербургской интеллигентной семье*», что неправда, потому что он родился в Риге и отец его не был петербуржцем, но Рига тогда была столицей независимой Латвии, и это ухудшало анкетные данные режиссера. В одноименной монографии В. Шкловского (1973) подробно рассказывается, как проходил обряд крещения будущего «*вдохновенного борца за идеи социалистической культуры*», а об отце сказано, что он был «*городским инженером*», что тоже неправда, так как он был главным архитектором Риги и действительным статским советником. Р. Юренев в предисловии к сборнику «Эйзенштейн в воспоминаниях современников» (1974) настаивает на том, что Эйзенщтейн родился в семье «*обрусевшего прибалтийского немца*», из чего можно сделать вывод, что неблаговидное для советского уха звучание решено объяснять немецким происхождением отца, и это считается из двух зол меньшим: Михаил Осипович — крещеный еврей.

Мальчик рос одиноким, запуганным, не любил отца. В статье «Сергей Эйзенштейн» сам объяснял свое творчество комплексами и впечатлениями детства:

«*Меня в детстве, очень рано, пугала маменька.*

Она говорила:

“Ты думаешь, я мама?

Я — вовсе не мама”.

Она при этом делала неподвижное лицо с остановившимися стеклянными глазами.

И медленно надвигалась на меня.

Неподвижное лицо.

Маска с остановившимися глазами. (Отсутствие живого лица!)

Так же тупорыла и “свинья” с темным прорезом в шлемах вместо живого глаза. (Речь идет о тевтонской коннице — “свинье” в “Александре Невском”. — *С. Ч.*)

Одесская лестница (“Потемкин”).

Сапоги солдат. Безлики...»

Какая страшная запись. Тупая неотвратимая сила солдатской шеренги на Одесской лестнице рождена в воображении режиссера материнским лицом над кроватью ребенка. Его несчастной внутренней жизнью. Лицо матери над колыбелью в числе неизгладимых детских травм — вместе с циклом литографий Домье о Парижской Коммуне и книгой-альбомом «Знаменитые казни».

Может быть, в этой одержимости темными страшными образами объяснение наиболее сильного, постоянного, навязчивого мотива творчества — тупого бесчеловечия, злобной расправы над беззащитным, секрет так часто встречающегося в его статьях слова «исступление» и образа хлыстовского радения и мусульманского праздника Шахсей-Вахсей с сотнями иссекающих себя плетьми фанатиков. Жестокость была заложена в природе Эйзенштейна, а эпоха помогала не стесняться ее, ибо все темное и страшное в нем оказалось созвучно ей. И не потому ли бывший студент, бывший военный техник, человек, готовившийся стать переводчиком с японского и театральным художником, в девятнадцать лет отказался от своей дороги и ринулся в революцию. Поверил, что он лично сможет теперь делать все, что захочет, и «*беспощадно сметать старые концепции и верования*». Не потому ли разошлись его пути с отцом: Михаил Осипович вступил в Белую армию, Сергей Михайлович — в Красную: рисовал «революционные» плакаты, карикатуры на Антанту и оформлял «агитпоезда». Был ли этот выбор продиктован холодным расчетом или наивным идеализмом, но, так или иначе, комплекс жестокости и разрушения получил возможность для самовыражения.

В статье «Как я стал режиссером» Эйзенштейн писал: «*Убить! Уничтожить! Не знаю, из таких ли же рыцарских мотивов или из таких же недодуманных мыслей, но этот благороднейший порыв к убийству, достойный Раскольникова, бродил не только в моей голове. Кругом шел безудержный гул на ту же тему уничтожения искусства <...> Людей разного склада, разного багажа, разных мотивов на общей платформе практической ненависти к “искусству” объединял Леф*».

Эйзенштейн поклонялся Маяковскому и учился у Мейерхольда, осмеивал «традиционалиста» Станиславского и «оппортуниста» Таирова и сам поставил в театре Пролеткульта спектакль «На всякого мудреца довольно простоты», использовав сюжетную схему пьесы Островского для смеси цирка, мюзик-холла, балагана и кино и перенеся действие в сегодняшний день.

Театральный опыт Эйзенштейна кончился тем, что публика на его спектакли перестала ходить. «Слышишь, Москва?» и «Противогазы» — примитивные, фальшивые и убогие агитки о «классовой борьбе» — навсегда определили для Эйзенштейна то, что он назвал «установкой на тематический эффект, то есть на выполнение агитзадания», на искусство, подчиняющее себя государству, его политике, пропаганде и агитации. В этом смысле он не изменил себе и оставался одинаковым всегда — и тогда, когда клеймил эми-

грантов в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», и тогда, когда прославлял партию в «Октябре», и в парадных портретах князей и царей на фоне трепещущих знамен в «Александре Невском» и «Иване Грозном».

Только сначала это государству нравилось, а потом перестало, хотя старался он одинаково.

Поэтика жестокости Эйзенштейна приветствовалась режимом и тогда, когда свирепствовал рапповско-лефовский шабаш, и тогда, когда в кино утверждались салонный стиль, гладенькая аккуратность и обыкновенная пошлость. Дело не только в жестокости Сталина, которому это все нравилось. Не только его комплексам, но, прежде всего, политике технолога власти соответствовали эти картины: отвратительная жестокость характеризует в них «врагов советской власти» или «врагов России» и, в свою очередь, оправдывает жестокость по отношению к ним. [...]

В «Стачке» моторист дореволюционной фабрики из-за аварии попадает в чан с расплавленной сталью. Проволока перерезает рабочему живот. Ребенка давят копыта казачьих лошадей. В эпизод разгона демонстрации, когда толпу рубят шашками, врезаны кадры, снятые на бойне, где рубят головы баранам. Фильм кончается убитыми людьми и убитыми животными и надписью: «Запомним кровавые рубцы на теле пролетариата». В «Октябре» расстреливают июльскую демонстрацию 1917 года в Петрограде — сколько холодного безразличия в красиво поставленных и снятых кадрах массового убийства.

В сценарии «Броненосца “Потемкина”» читаем: «*Бьют гимназистов. Сапогами. Поднимают за волосы и опять бьют. Бьют головой об мостовую... Разрубили гимназистику лицо. Защищать не давали*». А на экране повешенные на носу корабля матросы, отсеченные уши, трупы, горящие в гробах, калека на самокатке под ногами лошадей, мальчик, пускающий кораблик в луже крови, семимесячный ребенок, задушенный в люльке... Из современных копий «Потемкина» один кадр по причине натурализма решили изъять: учительницу с вытекающим глазом в эпизоде расстрела на одесской лестнице. Фильмы Эйзенштейна взывают к мщению «врагам революции», из-за которых происходили все мерзости и гнусности дооктябрьского мира, его злоба, тупость, уродства. А посему — «раздавить гадину!», как на плакате Д. Моора.

Картины Эйзенштейна — не для широкой публики, а для эстетов. Если не считать «Ивана Грозного», зрителей на них загоняли с помощью обязательных «коллективных просмотров», пропагандой в печати и отсутствием другого зрелища, но настоящим успехом они не пользовались даже во время выхода на экраны, а проверку временем не выдержала ни одна. Специалист оценит их пластическую выразительность, внешнюю живописность — композицию кадра, утонченность, даже изысканность изображения, удачные метафоры, но за этим внешним блеском внутренняя пустота и убогая примитивная мысль: мир делится на два цвета, и любая жестокость оправдана классовой борьбой. И если всерьез говорить о набивших оскомину «*неумирающих традициях Эйзенштейна*», то они заключаются прежде всего в

этом — бесконечной экранной борьбе с «врагами революции» и «врагами России», ведущейся во всех советских фильмах, убеждающих зрителей в том, что жестокость не только необходима, но и нравственна.

Советская власть захватила кинематограф 27 августа 1919 года, когда Ленин подписал декрет о его национализации и вместо свободного соревнования и предпринимательства установил централизованную бюрократическую систему, где кинематографист — служащий на зарплате у государства. Изданный в том же году сборник «Кинематограф» открывала статья А. Луначарского «Задачи государственного кинодела». Они заключались в его «мобилизации» для пропаганды и агитации. Управлять кинематографом поручили ВФКО (всероссийскому фотокиноотделу) при Наркомпросе, преобразованному в 1922 году в Госкино, в 1926 — в Совкино, в 1930 — в Союз-кино вплоть до сегодняшнего Госкино при Совмине СССР. Эйзенштейн пришел в эту организацию в 1923 году и начал с фальсификации зарубежных лент, выходящих в прокат. Ему давали копию (например, «Доктор Мабузе» Фрица Ланга), и он переставлял в ней эпизоды, сокращал, комментировал своими надписями, чтобы решить «социальную задачу», выявив «прогрессивную направленность» ленты, после чего она признавалась «*пригодной для показа массовому зрителю*». Иногда брал для этого два фильма и монтировал один. Делал это изобретательно, и на молодого, веселого и циничного фальсификатора обратил внимание руководитель Пролеткульта В. Ф. Плетнев, предложивший поставить картину о провокаторах в революционном подполье.

В работе тема изменилась, и фильм — не слишком ясный, без сюжета, фабулы и героев, но с четко расставленными «классовыми» акцентами — назывался «Стачка»: бастующим рабочим противостоят хозяева, полиция и казаки. Первые симпатичны, вторые отвратительны — они топчут людей лошадьми, хватают за рубашонки играющих на галерее дома детей и бросают их на мостовую. Формальные выдумки свидетельствовали о том, что истина режиссеру безразлична. Например, конспиративное собрание рабочих происходило на полузатопленной барже, по колено в воде, — так выглядело эффектнее. Партийное начальство не возражало. «Правда» назвала «Стачку» первым истинно пролетарским фильмом и хвалила его за «политическую направленность» и «классовую прямоту».

В июне 1925 года юбилейная комиссия при агитпропе ЦК РКП(б) и ЦИК СССР предложила Эйзенштейну снять картину к двадцатилетию революции 1905 года, отмечавшемуся в декабре. Режиссера вызвал сам председатель комиссии и ЦИК М. Калинин. Из изобилия материалов в конце концов остановились на эпизоде восстания броненосца «Князь Потемкин Таврический». Подлинные события не интересовали и здесь. Главное, чтобы офицеры выглядели извергами.

Выполнению государственного заказа содействовали на «высшем» уровне: председатель Реввоенсовета и наркомвоенмор М. Фрунзе по просьбе кинематографистов разрешил выстрелить одновременно из всех орудий

Черноморского флота. Детали порой оказывались яркими, метафоры неожиданными, суть оставалась лживой. Чем эффектнее выглядели отдельные сцены внешне, — например, детская коляска в эпизоде расстрела на одесской лестнице, — тем большее отвращение вызывали. Не испытавшие на себе революцию и ищущие острых ощущений на экране левые кинематографисты Запада превознесли фильм за «революционность». [...]

Картину признали выдающимся достижением молодого советского кино и устроили премьеру в Большом театре на торжественном заседании советских, профессиональных и партийных организаций вместе с делегатами XIV съезда партии. Натянули грандиозный экран, пригласили симфонический оркестр и хор. «Киногазета» написала: «*Эйзенштейн выполнил своей лентой социальный заказ*». Узурпаторы нуждались в подобных картинах. Через несколько лет министр информации Третьего рейха Й. Геббельс упрекал нацистских кинематографистов за то, что они не сняли своего «Потемкина», — тоталитарные режимы предъявляют к искусству одинаковые требования.

За заказ платили по нормам того времени. К середине 20-х годов с уравниловкой уже кончали и научились повышать уровень жизни тех, кто верно служил. Еще не с помощью «пакетов», дач и машин, но уже существенно. Эйзенштейн жил в одной комнате со своим другом актером М. Штраухом и его женой актрисой Ю. Глизер: комната разделялась занавеской. Жилком получил команду свыше и вынес решение: «*Жилищный комитет, просмотревший картину, постановил: дать Эйзенштейну вторую комнату*». Еще существеннее для судьбы режиссера оказалось то, что на него обратил внимание Сталин, с тех пор всегда пристрастно судивший, казнивший или миловавший режиссера. Упорно оттеснявший соперников в борьбе за престол, Сталин использовал для этого все пути, в том числе литературу и искусство, которые подчинял лично себе. Он пригласил Эйзенштейна для беседы в ЦК, и с тех пор тот бывал там часто.

Уже в те годы партийные вельможи начали покровительствовать и «руководили» отдельными деятелями искусства или целыми коллективами — заставляли проводить «линию партии». Бухарин «опекал» театр Мейерхольда; секретарь ВЦИК Енукидзе, заместитель начальника ОГПУ Агранов, а затем Молотов — театр Вахтангова, Ворошилов — Большой театр: ему нравилась не музыка, а балерины. Сталин взял себе ансамбль песни и пляски под руководством Александрова и кино. Ансамбль веселил вождей на кремлевских приемах, а кино Сталин, как и Ленин, ценил за его способность обращаться к массовой аудитории. Сначала он пропагандировал с помощью экрана партийные установки, а потом приказал показывать самого себя — в документальных лентах, а позже в художественных. Ленинская формула «*самого массового из искусств*» совпала с его собственным вкусом и пришлась ему по душе.

За следующим правительственным заданием Эйзенштейну Сталин следил лично. Он приказал Н. Подвойскому и М. Калинину вызвать режис-

сера и поручить фильм к десятилетию октябрьского переворота. Фильм «Октябрь» претендовал на воспроизведение исторических событий, и в нем показывались реальные персонажи — Ленин, Троцкий, Антонов-Овсеенко. Сталина не было. 7 ноября 1927 года в четыре часа дня Сталин неожиданно появился в монтажной «Мосфильма».

— У вас в картине есть Троцкий?

— Да, — ответил режиссер.

— Покажите эти части.

Эйзенштейн сел рядом. К беседе Сталин расположен не был. Сказал только:

— Картину с Троцким сегодня показывать нельзя...

Немедленно вырезали три эпизода, а еще два, где с помощью ножниц избавиться от Троцкого оказалось невозможно, отложили, и в Большом театре увидели лишь фрагменты картины. Бывший секретарь Сталина Б. Бажанов говорит, что после этого «*вся дальнейшая карьера Эйзенштейна проходила в рамках высокого подхалимажа*». Возможно, что это спасло ему жизнь. Тогда он об этом задумывался вряд ли.

«Октябрь» канонизирован, и события 25 октября (7 ноября) 1917 года в искусстве и литературе приказано воссоздавать так, как это сделано в «Октябре». Неважно, что фактически ворота Зимнего дворца не были закрыты и через них не нужно было перелезать, что выстрел «Авроры» вовсе не был сигналом к восстанию, а Временное правительство не имело ничего общего с эйзенштейновской карикатурой. Чтобы не впасть в ересь, другие режиссеры даже не копируют, а цитируют: вставляют эпизоды «Октября» в свои фильмы как хронику, снятую во время событий. С. Юткевич включил в картину «Яков Свердлов» выступление Ленина у Финляндского вокзала; М. Ромм в фильм «Ленин в Октябре» — штурм Зимнего дворца; М. Чиаурели в «Великое зарево» — эпизод расстрела июльской демонстрации; фрагменты из «Октября» попали в картину С. Васильева «В дни Октября», в «Тихий Дон» С. Герасимова...

Но «Октябрь» стал и первым фильмом Эйзенштейна, подвергшимся нападкам. Он художественно интереснее «Броненосца» — средства выражения не столь грубы, киноязык тоньше, символика сложнее. Его ругали за «символические линии» и «интеллектуализм»: идеологическая чистота уже перестала спасать. Кончался недолгий флирт государства с левым искусством, дело шло к «социалистическому реализму» — контролю не только за содержанием, но и за формой. Творческие группы распускались, кинофабрики объединялись, кинематографическая машина становилась полностью централизованной и невероятно бюрократической.

В 1927 году, вместе с ликвидацией партийной оппозиции, началось наступление на остатки свобод. В марте 1928 года кинематографистов собрали на первое всесоюзное совещание, где еще раз напомнили страшную ленинскую идею самого массового из искусств и предупредили об опасности формализма — «*форма должна быть понятна миллионам*». С этого и начался

внутренний, не сразу им осознанный конфликт Эйзенштейна с социальным заказчиком: он готов был служить ему верой и правдой, но по-своему, а от него требовали не выделяться, делать «как все».

Еще до «Октября», в конце 1925 года, сразу после премьеры «Броненосца “Потемкина”», Эйзенштейн предложил поставить картину по сценарию С. Третьякова о «борьбе китайского народа с империализмом», долго ходил по инстанциям, пока его не вызвали в ЦК и не дали задание поставить картину о коллективизации в деревне. Послушный режиссер тут же придумал название: «Генеральная линия». В мае 1926 года началась работа над сценарием, но режиссера перебросили на «Октябрь». К «Генеральной линии» он вернулся только в июне 1928 года и в ноябре ее закончил. Испытанный «классовый» подход остался неизменным: заспанные жирные «кулаки» и голодные крестьяне. Неизменной осталась и ложь: голод в деревне, вызванный непосильными сталинскими поборами, представал на экране исключительно наследием царизма. Гнилые избы без крыш — солому с них скормили скоту, полудохлые беспородные лошаденки, убогие коровенки, пахота сохой, страшное запустение — советская деревенская реальность, увиденная кинематографистами в Пензенской и Брянской губерниях, сопровождалась титром, уверяющим зрителей в том, что все это «*оставил нам царский строй*».

Эйзенштейн деревню не знал, никогда в ней не бывал и увидел ее холодными глазами экспериментатора-иностранца — новый экзотический материал для поисков «золотой середины», «динамических квадратов», формальных, иногда удачных упражнений. Сегодняшний голод он перенес в прошлое, обещанное изобилие — в настоящее. Действие происходит в несуществующей молочной артели, где дикие крестьяне, еще вчера при дележе имущества распиливавшие пополам избу, покупают общий сепаратор и радуются, видя, как быстро превращает он молоко в масло. Но так как ложь была слишком очевидна, режиссер назвал этот эпизод «сном Марфы» по имени главной героини. Сначала она видит тощих коров, тонкие ребра, усохшие вымена; смотря на зрителей печальными глазами, эти коровы встают на колени, и тогда над стадом в блеске солнечных лучей появляется племенной бык. Вымена коров мгновенно набухают, соски не сдерживают напора молока, спины выпрямляются, ребра исчезают. В следующем же эпизоде сон Марфы сбывается: племенной совхоз дарит молочной артели «Власть Советов» бычка. Увитые гирляндами роз, идут на свидание с ним веселые коровы. Стрекот сноповязалок, жирный навоз на коллективно обработанной земле, сусальные экранные подобия венециановской «Жатвы», навстречу которым идет трактор. И титр: «*Вступайте в артель!*»

Эйзенштейн и его помощники Г. Александров и Э. Тиссэ старались как могли, а картину в ЦК не приняли — сочли устаревшей. В декабре 1927 года прошел XV съезд партии, провозгласивший курс не на сельскохозяйственные товарищества, а на «сплошную коллективизацию». Экранными героями становились не молочные сепараторы, а секретари партийных ячеек в

деревнях, председатели сельсоветов, лишавшие крестьян собственности и уничтожавшие недовольных «как класс». В этом заключалась новая «генеральная линия», и, как элегантно выразился киновед Р. Юренев, картина Эйзенштейна «*не успевала за бурно развивающимися событиями классовой борьбы в деревне*».

Он узнал об этом весной 1928 года, когда в аудиторию киношколы, где он читал лекцию, прибежал бледный дежурный и сказал, что к телефону просят от Сталина. Предложили назавтра быть в здании ЦК на Старой площади. Вместе со Сталиным Эйзенштейна встретили Молотов и Ворошилов. Они «посмотрели» картину и пришли к выводу, что в ней «*не удалось масштабно показать размах дел по социалистическому соревнованию в деревне*». Сталин приказал переработать сценарий, назвать ленту «Старое и новое» и сделать досъемки. Их начали в июне, закончили в ноябре, потом продолжили в апреле 1929 года. Теперь группа поехала в более сытую Ростовскую область, где по заграничным руководствам специально для фильма построили образцово-показательный колхоз, молочные фермы и свинарники, каких сегодня нет даже на ВДНХ. Для съемок взяли привезенных из Англии для заповедника Аскания-Нова свиней, американские тракторы «Фордзон», бегавшие в фильме по кругу. И все это выдали за достижения коллективизации. В колхозном хеппи-энде Марфа в шлеме трактористки целуется с трактористом без шлема.

Хотя картину в конце 1929 года выпустили, в ЦК были ею недовольны: в эпоху «ликвидации кулачества как класса» и «головокружения от успехов» от Эйзенштейна ждали лучшего понимания «текущего момента». Но слава создателя революционного кино была еще сильна и смягчила удар; обвиняли не в политических ошибках, а в художественных просчетах: внешность героини непрезентабельна, изобразительный язык чрезмерно сложен и метафоричен, режиссер не нашел «*простых, ясных и верных решений, уходит в дебри формальных приемов и индивидуальных экспериментов*». За это же и в тех же выражениях ругали снявшего «Землю» Довженко и разъясняли обоим: не «интеллектуальное кино» нужно партии, а экранные олеографии, иллюстрирующие последние постановления ЦК, простые и понятные примеры для прямого подражания. Эйзенштейн попытался схитрить и уверить в своей полезности, написав статью с парадоксальным названием «Эксперимент, понятный миллионам». Симбиоз сочли странным и сомнительным. Метафорический кинематограф, включая фильмы Козинцева, Трауберга, Пудовкина, Вертова, объявлялся опасным. Тонкость, образность, сложность мысли — вредными. «*Каждая картина должна быть полезной, простой и понятной миллионам. Иначе грош ей цена*», — поучал Эйзенштейна режиссер П. Петров-Бытов, чутко уловивший партийные требования.

И все же тогдашние советские вожди недооценили пользу «Старого и нового». Переправляющиеся вплавь стада свиней, поднимающиеся хлеба, экранный пир на весь мир в дрожащей от голода и страха стране открыли еще одно направление, золотую жилу советского кинематографа, разрабо-

танную И. Пырьевым («Кубанские казаки», «Щедрое лето»), Г. Александровым («Волга-Волга»), В. Пудовкиным («Возвращение Василия Бортникова»), Ю. Райзманом («Кавалер Золотой Звезды»), С. Герасимовым («Сельский врач», «Поднятая целина»), — экранные потемкинские деревни, каких не знало кино. Они делали это проще Эйзенштейна, в форме, «понятной миллионам» и доступной пониманию вождей, и Сталин любил оставлять сотрапезников на просмотры колхозных комедий про свинарок, пастухов, трактористов и богатых невест. В одном из эпизодов солженицынского «Круга первого» вождь смотрит «Кубанских казаков» и замечает, довольный: «*А хорошо у нас с сельским хозяйством*». (Об этом рассказывал впоследствии и сталинский министр кино И. Большаков.) Такие же ленты наших дней — любимое воскресное развлечение в загородных резиденциях нынешних советских вождей. Сейчас, как и тогда, после таких просмотров печатаются указы о присвоении званий и награждении орденами.

Усердие Эйзенштейна оценили: и ругали, и хвалили его как режиссера придворного. И пока «Старое и новое» тиражировалось, Сталин вызвал его, Александрова и Тиссэ и сообщил, что «во всех инстанциях» согласована их поездка за границу — в моду входила новая форма поощрения. Сталин определил и цель поездки: изучать жизнь и одновременно учиться у нее.

Весной 1929 года группа уехала сначала в Европу, а потом в Америку. Внешне путешествие проходило блистательно: лекции в Сорбонне, участие в международных съездах кинематографистов, встречи с Эйнштейном, Пиранделло, Шоу, Джойсом, Чаплиным, Драйзером... Главными же стали восемь месяцев работы над фильмом «Да здравствует Мексика!», деньги на который дал Эптон Синклер — Эйзенштейн познакомился с ним по переписке.

Судить о картине трудно — она не закончена. Не удалось не только завершить съемки, но даже увидеть отснятый материал. Случилось простейшее: советскому человеку, долго работающему за границей бесконтрольно, перестают доверять. Эйзенштейн не делал ни одного шага без согласования с Совкино и русско-американским акционерным обществом Амкино. Вел себя осторожно: когда позвонил Троцкий, не подошел к телефону. Не помогло. Он чувствовал, что с начала 1931 года отношение к нему изменилось. В далекой киноэкспедиции при тогдашних средствах связи Эйзенштейн не знал, что его считают невозвращенцем. И не понимал, почему Совкино требует бросить работу и вернуться. Понял, когда угрожающую телеграмму за подписью Сталина получил Синклер: «*Эйзенштейн потерял расположение своих товарищей в Советском Союзе. Его считают дезертиром, который разорвал отношения со своей страной. Я боюсь, что у нас здесь о нем скоро забудут. Как это ни прискорбно, но это факт. Желаю вам здоровья и осуществления вашей мечты побывать в СССР*». [...]

Перепуганный Эйзенштейн в апреле 1932 года возвращается в Москву с надеждой, что Совкино выкупит отснятый материал для монтажа. Для этого нужна денежная гарантия, и Совкино ее не дает. Такова история гибели

«Мексики» — возможно, самой значительной работы режиссера, душевная рана, которая, по словам знавших режиссера, не заживала никогда.

Эйзенштейна не было в СССР три года. За это время многое изменилось. Сталин добился полного единовластия, и нормой жизни стало единомыслие. Безраздельная победа партии и государства над духовной жизнью народа означала, в частности, и постепенное насильственное насаждение стиля, форм творчества, которые полностью были узаконены в начале 1936 года: в живописи — под передвижников, в поэзии — под Суркова и Жарова, в театре — под бывший императорский Малый и ставший императорским МХАТ, в музыке — под Кабалевского и Дунаевского, в кино, где образцов не было, — под псевдонародный героико-романтический стиль всеобщей захлебывающейся радости. Хохочущие вихрастые парни и курносые девчата, бодрые марши, подвиги и рекорды, тачанки и бурки, кони и кожанки, фронтовые подруги, смелые люди, девушки с характером, веселые ребята, жить стало лучше, жить стало веселее, и если страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой. Кино предлагало эстетику поголовного счастья, бесконечного восторга, беззаветной преданности, массового героизма, такую же, что параллельно создавалась в нацистской Германии: военная доблесть, несгибаемый дух, великие свершения, славное прошлое, счастливое настоящее, светлое будущее.

Если уровень литературы по сравнению с 20-ми годами резко упал, то все же в ней происходили художественные взлеты, хотя бы в том, что писалось «в стол»; в кино — ни одного. Эйзенштейн как ведущий кинематографист послереволюционного десятилетия сам подготовил кинематограф 30-х и последующих годов с его удручающе шаблонной актерской игрой, отсутствием истинных героев и конфликтов времени, воспеванием послушной массы, толпы, с его фальшью и полным отсутствием мысли. К середине 30-х во всем мире появились разнообразные кинематографические стили: шедевры Чаплина «Новые времена» и «Диктатор», ленты Дж. Форда, У. Уайлера, Ф. Капры, К. Видора в США, Р. Клера, Ж. Ренуара, Ж. Фейдера, М. Карне во Франции, А. Корды в Англии. И только в СССР, нацистской Германии и фашистской Италии лживые громогласные фильмы выполняли партийный заказ — разлучали искусство с жизнью. Бездарное время потребовало бесталанного искусства. Призвало тех, у кого ничего нет за душой, кто готов воспевать любые гнусности и преступления режима — лишь бы «с веком наравне», «не упасть с корабля современности», ухватить свой кусок пирога, пока не остался только лагерный паек. Изощрялись в подхалимстве сценаристы от Б. Чирскова и К. Виноградской до Н. Погодина и Е. Габриловича, беспринципные раболепствующие постановщики от М. Чиаурели и Ф. Эрмлера до С. Герасимова и С. Юткевича.

Нравственно Эйзенштейн от них не отличался, но талант его оказался неизмеримо выше, а это не прощалось, как не прощалось все, что поднималось над общим уровнем: художественная самодеятельность приравнивалась к политической независимости. Л. Кулешов, о котором Эйзенштейн

сказал: «*Мы делаем картины, Кулешов создает кинематографию*», — нашел выход: ушел из режиссуры в педагогику. До этого он успешно экспериментировал с кинообразом и монтажом, осваивал кинокультуру Запада. Его обвинили в «грубейших ошибках», «заблуждениях», «переоценке монтажа», «недооценке кадра», «отрицании актера», создании «порочной теории натурщика», «формализме», «американизме» и «низкопоклонстве». Его режиссерскую судьбу сломали. Возможно, если бы Эйзенштейн тоже бросил режиссуру, для него начался бы тихий и спокойный «профессорский» период — книги, лекции, статьи, пособия, симпозиумы. Создателя революционного кино 20-х годов, вероятно, посылали бы за границу пускать пыль в глаза, рассказывая о расцвете искусства в первой в мире стране социализма. Но Эйзенштейн этого шага не сделал. И не возражал, когда его имя использовали для того, чтобы «революционным» Эйзенштейном крыть «Круг», «Третью Мещанскую» и «Строгого юношу» А. Роома, эксцентриаду ФЭКС'ов, в которых принимали участие Ю. Тынянов и знаток греческой трагедии Адриан Пиотровский (всех их объявили мрачными, злостными и целеустремленными формалистами), первые работы тех, кто так хорошо начинал и так плохо кончил: С. Герасимова, М. Калатозова, Г. Козинцева и Л. Трауберга, И. Пырьева, М. Чиаурели, Н. Шенгелая. Сегодня уже не все знают, что эти одиозные фигуры 30-х и последующих годов начинали со свидетельств художнической индивидуальности, немедленно обруганных. Как позже обругали «Машеньку», «Пышку», «Веселые ребята» — лучшие фильмы Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Александрова. Авторов обвиняли в натурализме, эмпиризме, идеализме, мистике, субъективизме, декадентстве, мелкобуржуазности и формализме. В растерянности и отчаянии они били себя в грудь, признаваясь в ошибках. В попытках спастись, кинорежиссеры нападали друг на друга: Пудовкин — на своего учителя Кулешова, Донской — на Козинцева и Юткевича, и все вместе ругали Эйзенштейна. Таковы были требования и моральный уровень эпохи.

Вернувшись домой, Эйзенштейн, всегда чуткий к настроениям начальства, предложил комедию на современную тему «МММ» с Ю. Глизер и М. Штраухом в главных ролях. Ее приняли к постановке в марте 1933 года и вскоре закрыли: режиссер выбрал эксцентрическую форму, а время эксцентриады уже ушло — жанр вызывал подозрение: эксцентрическая манера никак не напоминала «форму, доступную миллионам».

Сталину нравилась державная столица, и он приказал воспевать ее в книгах, пьесах, фильмах. В июне 1933 года Эйзенштейн стал писать сценарий «Москва», говорил в связи с этой работой о шекспировской традиции, о четырех стихиях — воде, земле, огне и воздухе, о гармонии и дисгармонии вселенной. Сценарий не утвердили. Кинематографистам объяснили: задача экрана воспеть разрушение старой Москвы — Сухаревской башни, Китай-города, дворянских особняков, памятников, церквей, бульваров и возведение на месте монастырей клубов, а Дворца Советов, высочайшего здания мира, — на месте храма Христа-Спасителя.

Эйзенштейн никак не мог угодить — не потому, что не везло, а потому, что не понял, что его время кончилось: пришли еще более ловкие, веселые, циничные, к тому же не отягощенные эйзенштейновским талантом и эрудицией, и, отталкивая друг друга, предлагали себя режиму. Обласканный режимом в 20-е годы, когда он был нужен, Эйзенштейн не замечал, что в его услугах больше не нуждались. На Всесоюзном кинематографическом совещании в начале января 1935 года автор «Чапаева» С. Васильев упрекал его за постановочные сложности и ненужные теоретизирования вместо создания доступных и понятных фильмов. Эйзенштейн оправдывался и каялся: «*Товарищи, мое сердце не разбито, потому что сердце, которое бьется за большевистское дело, разбито быть не может*». Перед совещанием раздали ордена к пятнадцатилетию советского кино — Эйзенштейна обошли.

Он решил, что сможет найти себя в новой звуковой кинематографии, взявшись за предложенную ЦК ВЛКСМ тему — классовая борьба в деревне: история убийства пионера Павлика Морозова. Этого — истинного или мифического — мальчишку, донесшего на отца, сделали героем хрестоматий, поэм и пьес. Легенда способствовала всеобщему доносительству и стала примером революционной бдительности. Да и что может быть почетнее для советского мальчика, чем вовремя обнаружить преступную деятельность мамы и папы и сообщить о ней «органам»?! Эйзенштейн темой увлекся: эстетическое всегда было для него важнее нравственного.

В марте 1935 года началась работа. В фильме «Бежин луг» пионера назвали Степок. Из ночных разговоров отца с «кулаками» он узнает о готовящемся поджоге сельсовета и колхозных хлебов и сообщает в правление колхоза. Их арестовывают, но отец расправляется с конвоирами и бежит, находит сына и стреляет в него — мальчик умирает на руках начальника политотдела. Поджигателей находят в бывшей церкви, превращенной в клуб.

Эйзенштейн старался как никогда. Начальство режиссеру не доверяло, и на площадке постоянно находились руководители «Мосфильма» и главного управления кинематографии. Одни эпизоды принимали в репетиции, другие оценивали сразу после съемок, разрозненные куски и незаконченные фрагменты посылали из Харькова, Одессы и Ялты на проверку в Москву. Там нравилась показанная на экране приверженность крестьян новому жизненному укладу, хотя он выглядел не таким радостным, как у Пырьева, но режиссера обвиняли в том, что вместо классовой трактовки событий на первый план вышли библейские ассоциации: конфликт отца с сыном, трагедия отца, страстно любящего сына, но убивающего его. Причем отец — не кулак и не пособник кулаков, а просто духовно отсталый религиозный человек, оправдывающийся библейской заповедью: «*Когда Господь Бог наш Всевышний сотворил небо, воду и землю и вот таких людей, как мы с тобой, дорогой сынок, Он сказал: плодитесь и размножайтесь, но если когда родной сын предаст отца своего, убей его, как собаку*».

Этого не стерпели: предложили пересмотреть концепцию и, прежде всего, основную коллизию — убийство отцом сына — и начать съемки за-

ново. Приказ по «Мосфильму» от 19 июля 1936 года требовал ввести новые эпизоды, «*дающие конкретную мотивировку перехода отца и других к прямому открытому вредительству*», «*очистить материал от литературных реминисценций и художественных и философских ассоциаций, засоряющих идейную сущность картины*». Эйзенштейн сменил актеров и сценариста — пригласил И. Бабеля.

Бабель написал новый текст диалогов и попытался упростить конфликт. Отец, классовый враг, кулак и вредитель, — основной противник коллективизации. Бдительный мальчик рассказывает любящему его начполиту о причастности отца к поджогу. Вместо разгрома церкви сняли эпизоды подготовки поджога и сам пожар. Добавили зверскую расправу с женщиной — случайной свидетельницей убийства. Отец произносил уже не библейскую заповедь, а слова о предательстве и каре: для него лучше убить сына, чем отдать свое, нажитое, — он жертва инстинкта собственности.

Эйзенштейн шел на любые переделки, но фильм не спас. В новом варианте осталась философия, абстрактные понятия, идущая от Бабеля символика. Остался пафос извечных страстей и конфликта между отцами и детьми. Борьба за душу Степка шла между его кровным отцом и отцом духовным — начполитом. Отец убивал не потому, что одержим преступной целью: он мстил людям, завладевшим душой его кровного сына. Стреляя, он плачет и наедине с умирающим сыном утешает его и наказывает терпеть. А Степок в полубреду зовет отца и целует руки убийцы.

Для Эйзенштейна, разумеется, не было новостью, что искусство в СССР выполняет прямую политическую задачу, но он все еще исходил из того, что пригодное для газетного листа экран не терпит. 17 марта 1937 года приказом по главному управлению кинематографии работу над фильмом приостановили, чтобы больше не возобновлять, и организовали обсуждение неснятой картины. Ее осудили актив кинематографистов, «Мосфильм», ВГИК; материал признали «формалистическим», «зараженным мистицизмом», «примером идейной порочности». Прорабатывали долго, настойчиво. Били наотмашь, в кровь, со всей большевистской прямотой. Требовали самокритики.

Пять лет назад Эйзенштейн еще мог отбиваться. Он писал: «*Советское кино так застращало самого себя ку-клукс-кланом «формализма», что почти ликвидировало само творчество и творческие искания в области формы. Стоило кому-нибудь из кинематографистов призадуматься или поработать над проблемой выразительных средств для воплощения идеи, как на него немедленно падала тень подозрений и обвинений в формализме*». Он написал эти слова в газете «Кино» через несколько месяцев после возвращения из Мексики. Теперь за такую речь могли отправить в лагерь. Мейерхольд в последнем выступлении, после которого его арестовали, говорил примерно то же. Теперь полагалось каяться.

Госиздат быстро собрал сборник статей «Об ошибках фильма “Бежин луг”». Эйзенштейн первым написал статью «Ошибки “Бежина луга”». Даже

с учетом всех наших сведений о 1937 годе эта статья вызывает такой стыд за автора, что ее не включили в шеститомное собрание сочинений, вышедшее в издательстве «Искусство» в 60-е годы. Знавшие Эйзенштейна утверждали, что если «Мексика» стоила ему нескольких лет жизни, то история с «Бежиным лугом» не меньше.

Картина не сохранилась. Случайно сохранились отдельные кадры, отрезанные от каждого куска пленки, — срезки. Из этих статических изображений, сложенных в определенном порядке, смонтировали для архива небольшой фильм. Он передает содержание многих эпизодов из обеих незавершенных редакций, дает возможность увидеть внешние черты замысла. Чем-чем, но формализмом там и не пахнет — стоп-кадры просты настолько, насколько от Эйзенштейна этого требовали.

Но в 1937 году режиссер боролся не за обреченный «Бежин луг», а за право работать дальше. Клялся в верности, убеждал в том, что еще может пригодиться. Не помогло. Он предлагал фильмы о гражданской войне в Испании, о революции в Гаити, хотел поставить «Мы — русский народ» по В. Вишневскому, экранизировать «Железный поток» А. Серафимовича, писал сценарии картин о Первой Конной армии, о штурме Перекопа, утверждал, что в состоянии перенести на экран не только «Капитал» Маркса, но и решить кинематографическим языком темы «Диалектического материализма» и «Тактики большевизма», позже начал сценарий «Дела Бейлиса».

Разрешили приступить к «Ферганскому каналу», надеясь, что это будет гимн стройкам пятилеток, но после первых съемок закрыли по той же причине, что и «Бежин луг»: вместо решения злободневной политической задачи режиссер искал столкновения и контрасты эпох, памятники времен Тамерлана, который пришел и разгромил древнейшую культуру, уничтожив систему орошения. У режиссера возникли сотни образов, тысячи ассоциаций, а в приказе о закрытии говорилось: «*из-за необходимости серьезной переработки сценария*».

Эйзенштейна ругали уже не только за новые грехи, но и за еще недавно считавшийся революционным «Броненосец “Потемкин”» — «за отсутствие индивидуальных характеров», а эйзенштейновское «интеллектуальное кино» вошло во все монографии, учебники и вопросники как пример глубоко порочной, вредоносной идеалистической теории. Во вредители тогда мог попасть любой кинематографист. Арестовали И. Бабеля, начальника главного управления кинофотопромышленности (ГУКФ) при Совнаркоме СССР Б. Шумяцкого (его объявили врагом народа, германо-японским шпионом и пособником Троцкого), сменившего его С. Дукельского, директора «Мосфильма» Бабицкого, почти всех директоров других студий, операторов В. Нильсена и Ю. Желябужского, актеров К. Эггерта и А. Дикого, сценаристку Т. Златогорову, теоретика кино А. Пиотровского, режиссера Н. Экка — постановщика картины «Путевка в жизнь», десятки вторых режиссеров, ассистентов, директоров картин, администраторов.

Меньше других среди арестованных оказалось режиссеров и актеров. Сталин относился к ним как царь к шутам и тех, кто его славил, в общем не трогал, но страх сковал всех.

Как все, Эйзенштейн прислушивался к тормозящим у подъезда машинам и поднимающемуся лифту, ловил ночные звонки, стук в дверь, шаги на лестнице и остался во власти страха до конца своих дней. Страхом наполнены газетные статьи Эйзенштейна. Он пишет о «*тупом, беспринципном, политически вредном подходе бывшего руководства*» кинематографией; честит Бухарина; писателя Панаита Истрати, сказавшего об СССР правду, называет «ренегатом и сволочью»; приветствует возвратившихся полярников; скорбит о гибели Чкалова; восторгается сталинской конституцией и решениями XVIII съезда партии; восхваляет самые бездарные кинематографические поделки — «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Человек с ружьем»... Человек огромной эрудиции, говоривший, читавший и писавший на четырех языках, изучавший механику, лингвистику, живопись, рефлексологию, музыку, архитектуру, литературу, чьи статьи и лекции поражали богатством привлекаемого материала, энциклопедическими знаниями, он стал писать элементарно-плоско, ординарно, употребляет стертые слова, казенную фразеологию, заимствованные определения и выражает до постыдного бездарные мысли. А на жизнь зарабатывает во ВГИКе: по очереди с Кулешовым заведует кафедрой кинорежиссуры, и они по очереди (так приказывали) обвиняют друг друга в формализме. (После постановления ЦК ВКП(б) о кинофильме «Большая жизнь» в 1946 году сняли с работы обоих.)

По статьям Эйзенштейна об искусстве почти невозможно представить себе реальный кинематографический процесс тех лет. В них присутствуют античные мудрецы от Аристотеля до Сенеки, восточные — от Конфуция до Омара Хайяма, гиганты Ренессанса, священники и атеисты, ученые и художники, искусствоведы всех времен и специальностей, политики, социологи, революционеры, писатели, но только не правда о кинопродукции его времени. Он пишет о «вертикальном монтаже», о «строении вещей», «сюжете в деталях», драматургии кадра, сходстве монтажных представлений с традициями пушкинского письма, создавая иллюзию искусства, которого нет, и даже не приступая к разбору лент, снимающихся на «Мосфильме» и других студиях. [...]

Эйзенштейну все чаще кажется, что спасти может только фильм о Сталине. Не ему одному. По свидетельству Н. Мандельштам, и Б. Пастернак «бредил Сталиным», и О. Мандельштам написал «Оду», да было поздно. И М. Булгаков писал пьесу о Сталине. Кто их осудит?

В январе 1941 года кинематографическое руководство предложило Эйзенштейну поставить картину об Иване Грозном, и он тут же начал работу над сценарием. Приказ о запуске в производство подписали в январе 1942 года, а съемки начались в Алма-Ате в феврале 1943-го. Новой картине предстояло продолжить линию «историко-биографических» фильмов, восходящих к стилю «Александра Невского» и романов Загоскина. Эйзенштейна

это не смущало — он шел по своей генеральной линии, которая кончилась восхвалением самой зловещей фигуры русской истории.

«*Пусть осенит нас победоносное знамя наших великих предков*», — молитвенно призвал Сталин летом 1941 года, когда Гитлер побеждал. Ему явно хотелось к именам Невского, Пожарского, Минина, Кутузова, Суворова добавить Ивана Грозного, но не решился — все-таки царь. Это сделал Эйзенштейн своим фильмом. Сталин мог бы остановиться и на Петре I, но, во-первых, фильм о нем уже сняли, во-вторых, Грозный не страдал, как Петр, западническими пристрастиями, а нрав у него был еще круче. В советской литературе и искусстве шел процесс, который А. Толстой назвал «*восстановлением генетических линий от советского периода к историческому прошлому России*». Он оправдывал Сталина Петром, Эйзенштейн — Грозным.

«Иван Грозный» с легкой руки Карамзина всегда считался «извергом» и «тираном». Так трактовался он и в марксистской историографии, где все цари выглядели примерно одинаковыми, и в фильме Ю. Тарича «Крылья холопа», где Ивана Грозного играл Л. М. Леонидов. Когда на смену революционной фразеологии пришли славянофильские идеи народной монархии, когда на экране и сцене появились цари, князья и генералиссимусы — спасители государства, то подчеркивались не их деспотизм и садизм, а смелость мысли, любовь к стране и к «простым людям». Высочайшие особы, преданные идее государства, перестали быть эксплуататорами, крепостниками, угнетателями и ставленниками своего класса, — они, по словам Эйзенштейна, были «*исторически прогрессивными и положительными*» для своего времени. К их числу, кроме Грозного, он отнес еще несколько изуверов — Филиппа II, Екатерину Медичи, Генриха VIII, Людовика XI.

В первой серии фильма Иван Грозный напоминает Александра Невского, только вместо белых балахонов — парча и меха, но в нем та же определенность, однозначность, прямолинейность, то же величавое спокойствие осанки и взора и чуть шепелявая певучесть черкасовских интонаций: «*И нож сей тех пронзит, кто руку на Москву поднял!*» Разница небольшая, хотя в первом фильме герой все же проще, плакатнее — святой без характера и биографии. Во втором он многоплановее и чуть достовернее пластически: там грубая бутафория, картон, фанера — здесь художники и гримеры сработали тоньше, изящнее. Но внутренняя связь безусловна — та же линия «историко-биографического фильма», та же парадная торжественность.

Пролог — заявка на тему: заговоры и предательства как оправдание жестокости. Несчастный мальчик, на чьих глазах бояре отравили его мать, стал не по своей вине, а по необходимости царем жестоким и мстительным. «*Не по злобе. Не по гневу. Не по лютости. За крамолу. За измену делу всенародному*», — шепчут его губы, пока монах читает синодик убиенных. Крест, так сказать, тяжелый, но государственно необходимый и нравственно оправданный. Как могло это не понравиться Сталину? — пытки, казни, удушения, насилие — и всё во имя государства и народа. Необузданный тиран превращается в фильме в мудрого царя, народного заступника, патриота и

собирателя русских земель; террор выглядит делом справедливым и вполне полезным, опричнина — не варварством, а прогрессивной силой.

«*Погубить врагов государевых, отказаться от роду, от племени, позабыть отца, мать родимую, друга верного, брата кровного*, — клянется Федор Басманов, — *исполнять на Руси волю царскую, истребить на Руси лютых врагов, проливать на Руси кровь повинную, жечь крамолу огнем, сечь измену мечом, ни себя, ни других не жалеючи, ради русского царства великого*». Певцом жандармской деспотической системы выступает в фильме автор. Злодейства — на благо родины, кровь и жестокость — на пользу стране. «Терпите, люди русские, — как бы говорит Эйзенштейн, — для вас, для вашего спасения душат, вешают, поднимают на дыбы». [...]

Темные силуэты копошащихся врагов: себялюбивый предатель князь Курбский, казнокрад старик Басманов, собственник Пимен, иностранные дипломаты — интриганы, вербующие «морально неустойчивых». Все они низкие, хитрые, тупые, напоминающие карикатуры Бор. Ефимова и Кукрыниксов на партийных оппозиционеров 30-х годов. Зато палач и доносчик Малюта Скуратов — красив, опричник Васька Грязной, похожий на сталинских выдвиженцев, вполне «народен», а сам царь — благороден, мудр, прозорлив, его путь к самовластью — сплошной подвиг.

Эйзенштейн слишком хорошо знал историю, чтобы перепутать характеры — они его просто не интересуют, он идет на натяжки и фальсификацию сознательно, как потребовал от него секретарь ЦК по идеологии Жданов, объяснивший по поручению Сталина цель картины. Фильм — аналогия; история есть урок, который народ должен уразуметь; все должны быть узнаны; не из глубины веков следует вытаскивать те или иные фигуры, а взять современников и перенести в прошлую эпоху. В таких словах Эйзенштейн передал содержание «указаний» критику Ю. Юзовскому. Это модернизация откровенная, аллюзия неприкрытая: Сталин должен узнать себя в Иване Грозном, а его «соратники» — в опричниках.

В декабре 1944 года Сталин принял первую серию без поправок, и в конце войны она вышла на экраны. Он признал ее эталоном исторического фильма. В феврале 1946 года в Доме кино за государственный счет устроили банкет по случаю награждения Сталинскими премиями. Эйзенштейн получил медаль лауреата за первую серию «Ивана Грозного». На банкете он председательствовал, был весел, танцевал, пока не сообщили, что вторую серию «Ивана Грозного» отправили в Кремль на просмотр. Через полчаса режиссера отвезли в больницу с тяжелым инфарктом. Там он узнал о запрещении картины. Она вышла через двенадцать лет, и Эйзенштейн больше ее не увидел.

Почему же вторая серия, названная «Боярский заговор», Сталину не понравилась?

«*Един, но один*» — формула трагедии власти и одиночества, которую не принял Сталин, увидевший в ней намек. Элементы сомнений и внутренних переживаний содержались и в первой серии картины. К концу второй

серии он одинок безысходно — его предали, оставили, обманули все, кроме верного Малюты. Сталина разозлили сомнения Ивана. Сам он, отправляя на гибель миллионы людей, ни угрызений совести, ни колебаний, ни сомнений не ощущал — и признал подобную концепцию опасной.

В постановлении ЦК ВКП(б) по кино от 4 сентября 1946 года Эйзенштейна причислили к тем, кто «*легкомысленно и безответственно относится к своим обязанностям, недобросовестно работает над созданием кинофильмов*». Но главное обвинение читалось в том, что Сталин назвал «гамлетизмом»: «*Режиссер С. Эйзенштейн во второй серии фильма обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов наподобие американского Ку-клукс-клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, — слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета*»[1].

Когда через двенадцать лет картина вышла на экраны, она вызвала споры. По одной точке зрения, это просталинская апология Ивана Грозного и царской власти вообще. Для одних фильм аморален, для других — высоконравственен. Есть третьи. Они утверждают, что произведение Эйзенштейна задумывалось как апофеоз Грозного, но образная система взорвала первоначальный замысел. Эмоциональную окраску фильма составляют казни, опалы, доносы, коварство, измены, покушения, заговоры, грабежи, поджоги, убийства, подлость, злоба, страх, подозрительность, разложение, холопство, одичание, и они остаются в памяти зрителей, а не декларированные цели собирания и укрепления государства. И потому объективно, независимо от авторской воли, фильм звучит как осуждение власти самодержавия и тирании. Эйзенштейн остается в рамках официальной концепции и утвержденных трактовок, но сквозь них проступает страшное время, настолько страшное, что схемы, трактовки и концепции летят, остается художник, победивший Эйзенштейна-человека. [...]

Эйзенштейн написал Сталину письмо, в котором признавал допущенные ошибки и просил помочь их исправить. Показал предварительно текст Черкасову, и договорились подписать вдвоем. Расчет оказался верен: хозяин гневался на режиссера — с актера спрос маленький, а Черкасов ему импонировал.

Ответ на письмо пришел через несколько месяцев: предлагалось 24 февраля 1947 года быть в Кремле в 11 часов вечера. Эйзенштейн дрожал от страха, Черкасов не волновался: на правительственных приемах, встречах и банкетах он выработал манеру разговора с вождями, умел их забавлять и знал, что актерам позволяется больше, чем простым смертным. Беседу он тщательно записывал — это поощрялось, ибо свидетельствовало о готовно-

---

[1] В конце войны по личному указанию Сталина во МХАТе прекратили репетиции «Гамлета» в переводе Б. Пастернака. Театры не ставили «Макбета» и «Бориса Годунова». «*Изображение образа властителя, запятнавшего себя на пути к власти преступлением, было ему не по душе*» (*Гладков А.* Встречи с Пастернаком).

сти выполнять «указания». Еще при жизни Сталина он подготовил книгу «Записки советского актера», где эта беседа приводится. [...]

Через день, 26 февраля, газеты вышли с указом о присвоении Черкасову звания народного артиста СССР. Эйзенштейна не наградили, но он получил право продолжить работу, однако оказался не в состоянии к ней приступить — плохо себя чувствовал. Картину он так и не видел и меньше, чем через год, 11 февраля 1948 года, не дожив до пятидесяти лет, умер. Приступ начался ночью после того, как по радио передали постановление ЦК, обвиняющее в формализме С. С. Прокофьева.

Этой беседой закончился путь Эйзенштейна в кинематографе — работать после нее он уже не смог, хотя не впервые получал в кремлевских кабинетах указания и докладывал об исполнении: в положение подручного партии и лично товарища Сталина поставил себя с самого начала. Не возражал никогда — даже когда спорить дозволялось. Сам определил свое положение при кремлевском дворе: согласился сделать фильм, оправдывающий террор, прославляющий единоличную тиранию и попутно выступающий против «западных влияний», — уже готовилась кампания против «безродных космополитов».

Эйзенштейн принимал все, вплоть до указаний о длине бороды персонажа и длительности поцелуя. Б. Бажанов пишет о его последнем произведении: «*Венец подхалимского падения был в “Иоанне Грозном”... эйзенштейновский “Иоанн Грозный” сделан, чтобы восхвалить и оправдать сталинский террор. <...> Единственное оправдание всей этой гнусности: Эйзенштейн спасал (и действительно спас) свою шкуру*».

Спас тяжелой ценой: убивая себя как художника шаг за шагом и фильм за фильмом иссушая свой дар. За его «открытиями» и «новациями» — холодная пустота (по определению Н. Мандельштам, «*холодная роскошь деталей и нищета мысли*»). Что осталось от них сегодня? Любопытные комбинированные съемки в «Старом и новом». Виртуозно разработанные сцены развода моста и июльской демонстрации в «Октябре». Черная людская лента на белом снегу — крестный ход к Александровской слободе в «Иване Грозном». Для нового поколения, которое не обязательно угадывает в Малюте Скуратове полузабытого Берию, это лишь скучное старомодное «историческое» зрелище в оперном стиле. Ни одной картины, которую хотелось бы смотреть целиком. В каждой только набор приемов — плакатная выразительность отдельных кадров, удачные композиции, остроумные детали, неожиданные образы, удачные сопоставления, формотворчество без мысли, стиль без чувства, технические эксперименты без души. И за многие годы преподавания во ВГИКе — ни одного ученика, ставшего мастером. Да и чему мог научить Эйзенштейн? Технологии? Приемам? Учителем с большой буквы он быть не мог.

Советский кинематограф нуждается в своем классике. Требования: крупное имя, преданность режиму, международная известность. Для этого Эйзенштейна реабилитировали и, если бы не подозрительное звучание фа-

милии, восхваляли бы еще больше. У советской власти хвала и хула изменчивы — в зависимости от потребности. Как правило, советская власть преследует талантливых людей при жизни и приспосабливает к своим нуждам после смерти, объявляя своими верными слугами.

Эйзенштейн забыт не только зрителями. Для сегодняшнего молодого поколения кинематографистов он тоже мало интересен, разве только как фигура, чьи первые фильмы, объявленные эталоном, задержали развитие киноискусства. О нем размышляют в другом ракурсе — художника и власти, поэта и царя. Спорят о нем персонажи «Одного дня Ивана Денисовича»: может ли значительное в эстетическом отношении произведение искусства быть создано последователем фальшивой идеи? В этом смысле жизнь и судьба Эйзенштейна поучительны. Может быть, это самый важный урок, который он оставил искусству. Лучше всего говорят об Эйзенштейне его ленты — о редкой изобретательности и слабости духа, творческой фантазии и садистской жестокости, художественной смелости и обычной трусости, необычайной наблюдательности и душевном холоде, о маленьком человеке, убившем большого художника.

Один раз мне довелось видеть Эйзенштейна — в 1946 году в московском Доме литераторов на встрече с кинематографистами. (Это было еще до постановления ЦК, которое он предчувствовал. Написал: «*Начало сорок шестого снимает плоды. Это, вероятно, самая страшная осень в моей жизни. Если не считать двух катастроф: гибели "Мексики" и трагедии "Бежина луга"*».) Эйзенштейн рассказывал писателям о том, что исследует тему «Пушкин и кино» и переводит с французского его письма. Потрясал эрудицией, широтой познаний, памятью. Мелькали эпохи, мировоззренья, технические термины, примеры из живописи, естествознания, архитектуры, литературы, имена Бехтерева, Скрябина, Гоголя, актеров японского театра «Кабуки». Неожиданные соединения разнородного материала, парадоксальные выводы, остроумные замечания, но без объединяющей темы, без одухотворенности, страсти, сердца, без точной ведущей мысли, без обыкновенного человеческого обаяния. Ощущение такое же, как от фильмов: интереснейшие частности, а в целом скучно — ни о чем.

И уж совсем невозможно себе представить, что человек такой культуры и знаний мог стать «своим» у партийных неучей. Певец и слуга режима, Эйзенштейн оказался и его жертвой. Теперь из него сделали экспортный товар — вроде альбомов Эрмитажа, бычков в томатном соусе и стихов Вознесенского. Нынешние вожди вряд ли знают имя режиссера, а прижизненные хозяева не смогли оценить его непохожий на других талант, художественный дар, который он разменял на «революционные» поделки и псевдоисторические боевики. Они требовали от фильмов не только правильной идеологии, но и ясной, аккуратной, гладкой фактуры — стиль Эйзенштейна их раздражал. Все его усилия заставить их полюбить себя и свое искусство потерпели крах: за угодливость ему не простили утонченность, за заискивания — знания, а за послушание — парадоксальность. Он оставался чужим

и умер отвергнутым. В 1951 году Сталин приказал М. Ромму заново снять «Александра Невского», а И. Пырьеву — «Ивана Грозного».

* * *

Режиссер всегда боялся партийных чиновников и шел на все, лишь бы их задобрить. И только раз преодолел страх. Как и другие художники его времени, масштаба и направления — Мейерхольд, Маяковский, Вертов, — он больше всего любил искусство: для всех них оно было религией. Поняв, что искусству нет места в государстве, которое он воспевал, Маяковский ушел из жизни. Мейерхольд в безумном последнем крике призвал власти спасти искусство от убийц и был убит сам. Вертов молчал и не ставил фильмы — делал мелкую поденщину, лишь бы не умереть с голоду. Эйзенштейн на все это оказался неспособен.

Когда в 1938 году закрыли театр его учителя Мейерхольда, актеры, чтобы не разбегаться по разным труппам, попытались создать новый и художественным руководителем пригласили Эйзенштейна. Он долго колебался, но оказаться преемником арестованного Мейерхольда не решился. Театр распался. Когда началась война и бомбежки, падчерица Мейерхольда Т. Е. Есенина попросила Эйзенштейна спасти спрятанный на даче архив Мейерхольда. Эйзенштейн взял грузовик и перевез все материалы с ее подмосковной дачи в Горенках на свою в Кратово и сохранил их на дне заброшенного высохшего колодца. Благодаря ему они и остались. Сегодняшний читатель, может быть, не знает, что это могло стоить жизни и было подвигом.

* * *

В 1958 году Бюро киноискусства Брюссельской всемирной выставки поставило «Броненосца “Потемкина”» на первое место в списке двенадцати лучших фильмов мира. В 1982 году на подобном опросе «Броненосец “Потемкин”» оказался на шестом месте, а Эйзенштейн вообще не попал в число лучших режиссеров мира. Об этом — тоже с возмущением — написал директор советского научно-исследовательского института теории и истории кино В. Баскаков в № 8 журнала «Искусство кино» за этот год, считая новое решение происками идеологических врагов.

1985, № 46

ГАВРИИЛ ГЛИКМАН

Шостакович, каким я его знал

На похоронах Шостаковича я не был. Прочитав опубликованный в газете некролог за подписью самого генсека, я с неприязнью подумал о пышности официальных похорон. Чужие люди... Чужие слова... В горестные августовские дни, когда ушел от нас этот большой музыкант и сложный человек, я много думал о нем, многое вспоминал... Ведь мы были знакомы с Дмитрием Дмитриевичем больше сорока лет. Я видел и знал его очень разным, в разные периоды его жизни. И совсем молодым, почти мальчиком, и тяжело больным, умирающим, и в расцвете сил. Я помню его и сосредоточенным, и трагическим, и веселым, и потрясенным... Всяким... [...]

Случилось так, что вся моя творческая, да и личная жизнь была связана с Шостаковичем. Я его много писал, лепил, рисовал — и непосредственно с натуры, и по памяти. И при жизни, и теперь, после смерти. У меня больше сорока изображений Дмитрия Дмитриевича. Многие из них остались в России, в музеях, концертных залах, частных коллекциях, некоторые теперь разошлись по всему миру. Я часто думаю, что в моих взаимоотношениях с Шостаковичем и его музыкой для меня было нечто фатальное. Интуитивно я это понял очень давно, совсем молодым.

А познакомились мы с Дмитрием Дмитриевичем в страшные 30-е годы. Еще было необычайно ярко ошеломившее меня впечатление от его Первой симфонии, которую он написал в возрасте девятнадцати лет, сразу после окончания Консерватории. Для меня, прослушавшего, и не раз, все его симфонии, квартеты, квинтеты, трио и вокальные циклы, — для меня Первая симфония — глубоко запрятанное сокровище, которое потом постепенно в течение многих лет раскрывалось и питало творчество композитора. В Первой симфонии Шостаковича была заложена вся его последующая музыка.

Как-то совсем недавно, перед отъездом в эмиграцию, я снова слушал Первую симфонию в среднем исполнении и, несмотря на это, был потрясен глубиной ее и, я бы сказал, особым даром прозрения, которым обладал ее автор в таком юном возрасте. Действительно, это свойственно только гениям! Они уже с детства понимают то, что не дано понять средним талантам и обычным людям (кстати, я слышал недавно его вокальное произведение, написанное на слова Крылова «Стрекоза и Муравей». Оно достойно зре-

лого Шостаковича, хотя написано было им в возрасте тринадцати лет, но совершенно захватывает глубиной, пониманием и яркостью формы). Да, я люблю больше всех произведений Шостаковича его Первую симфонию. Я чувствую в ней чистоту гения и трагизм того, что ждет человечество и, в частности, Дмитрия Дмитриевича, — он все предвидел и все понимал. Поэтому звучание Первой симфонии для меня всегда было потрясением и большим праздником. [...]

В 1935 году мы с моим братом Исааком Давыдовичем задумали в Большом фойе Ленинградской филармонии сделать выставку «Музыка». В центре разнообразной и интересной экспозиции мы поставили бюсты Бетховена, Чайковского, Моцарта и... Дмитрия Шостаковича. Для 30-х годов это была в достаточной степени дерзкая и смелая идея. Многие считали это не только новаторством, но и нахальством. Я вылепил бюст Дмитрия Дмитриевича, немножко больше натуральной величины, его отлили из гипса — он был белый, как и другие бюсты. Бюсты были установлены на специальных кронштейнах, и вся конструкция задумана в виде броского архитектурного мотива. Мы, конечно, по молодости не понимали, насколько это было дерзко. Действительно, когда открылась выставка и после первого отделения концерта публика ринулась в фойе, — все были изумлены. Как сегодня, я слышу голос композитора Щербачева, в то время очень известного, автора сюиты «Гроза», которая часто исполнялась. Он громко воскликнул: «Идиоты, Митьку поставили рядом с Бетховеном, Чайковским и Моцартом. Представляете, какое нахальство!» Однако бюст стоял, выставка функционировала. И только когда в 1936 году разразилась катастрофа и была напечатана едва ли не самая страшная за всю историю музыкального искусства статья «Сумбур вместо музыки», которой предшествовал демонстративный уход Сталина со спектакля «Леди Макбет Мценского уезда», — вот тогда выставка закрылась. Дмитрий Дмитриевич сказал моему брату: «Скажи Гавриилу Давыдовичу, чтобы бюст куда-нибудь спрятали». Мы отнесли его в нотную библиотеку Филармонии, где он благополучно существует и поныне.

Я хорошо помню Дмитрия Дмитриевича в 30-е годы. Он был выше среднего роста (позже, уже после войны, когда его одолевали всякие болезни, он стал и меньше ростом и вообще изменился в лице и в пропорциях). А тогда, в молодости, он был высок и очень красив, я бы сказал, красив какой-то женственной красотой — именно не мужской, а женственной. Я не забуду его прекрасные серо-голубые глаза, которые так красиво смотрели поверх очков. У него была хорошая фигура, красивые, всегда опрятные руки с хорошими ногтями. Отличные, некрупные зубы. Весь его облик — лицо, фигура, ноги — был сплошная гармония. Он любил носить рубашки «апаш» с открытыми воротниками и всегда курил роскошные папиросы «Казбек».

На него нельзя было не обратить внимания. Во всем его облике было что-то необыкновенное, гармоничное, располагающее. Я часто думаю о сложной, но очень органичной связи между характером человека и его внешностью. Если подойти с точки зрения портретов великих людей, то,

бесспорно, каждая личность, каждый характер имеют свой неповторимый облик. Представить себе Бетховена без его внешних черт — совершенно невозможно. Личность Бетховена абсолютно совпадает с его музыкой, с его характером, с его норовистостью, порывистостью, с его темпераментом и трагизмом... Гете — олимпиец, мыслитель, автор «Фауста», вершитель судеб, некоронованный император... Гете есть Гете. А Микеланджело? Мне кажется, что Микеланджело, будучи мальчиком, был такой же весь собранный, такой же искривленный, перенапряженный своим искусством. Или возьмите прекрасный автопортрет Рафаэля. Ему было 37 лет, когда он умер, но Рафаэль изображал себя всегда молодым. Он был неугасаемо молодым, трудно представить себе Рафаэля другим, чем на его автопортрете, где он изображен прекрасным флорентийским юношей. То же самое относится и к Дмитрию Дмитриевичу. Хотя я хорошо помню его исковерканное, деформированное болезнью лицо последних лет, с раздутыми щеками и шеей, и потом это несчастье с его ногами и руками. Но этот облик не характерен для Дмитрия Дмитриевича, более того, он — антитеза его музыке, его личности. Шостакович периода юности и зрелости — истинное отражение его музыки. Музыке Дмитрия Дмитриевича удивительно соответствует его внешность, а его внешность органична его музыке...

Я помню, как совсем молодой Дмитрий Дмитриевич сидел за роялем — это было потрясающее зрелище. Я помню, как он играл свои концерты, какая у него была пружинисто-серебристая техника. Из-под пальцев выходили кристальные звуки необычайной чистоты и ясности. Я помню хорошо его лицо тогда... Это воспоминание неизгладимо, оно на всю жизнь осталось в моих глазах. Это воспоминание — в портретах Шостаковича, написанных мною за многие годы, которые прошли с тех дней.

Есть творцы, гений которых очень ярко выражен уже в детстве. Весь их облик пронизан ослепительным светом гениальности. Таков и Шостакович. Наиболее точно его личность и музыка выражены в его молодом лице, на которое потом жизнь накладывала свои тяжкие печати. После его смерти мне захотелось увековечить его в студенческом возрасте. Невольно, а порой сознательно, создавая мраморный бюст Шостаковича-студента, я акцентировал в его юном лице (Дмитрию Дмитриевичу тогда было 12-13 лет) те черты, которые не ушли с детством, а остались навсегда. Это была увлекательная попытка создать духовный эталон облика молодого гения. Работа над изображением Шостаковича-мальчика доставила мне настоящую радость.

Примерно в это же время я опять вернулся к образу молодого Шостаковича. Я представил его в виде Аполлона-Мусагета, Аполлона-Предводителя. Мне казалось, что Дмитрий Дмитриевич в искусстве, в музыке — тоже предводитель. Действительно, умер Шостакович, и умерла, если хотите, основная, направляющая сила в музыке! Дмитрий Дмитриевич был позвоночником, который давал не только эстетику, но был в какой-то степени совестью музыки. Слушая его музыку тогда, я думал: «Нет, Дмитрий Дмитриевич незабываем! Наша жизнь пронизана его музыкой. Его пребывание среди нас

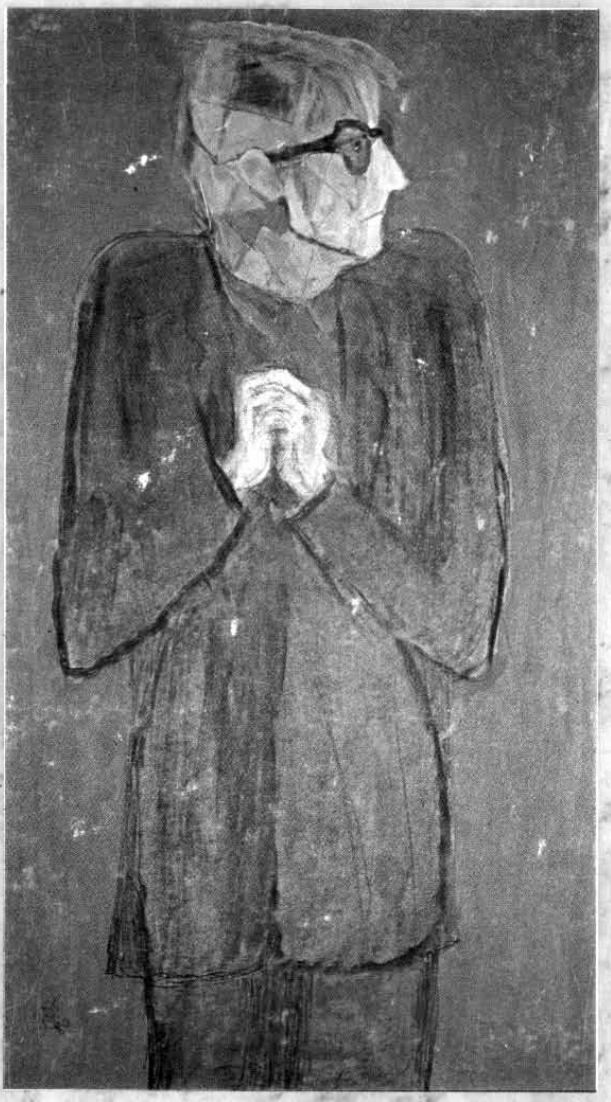
было необходимо. Он был стержнем, на котором в тех страшных условиях держались наши нравственность и творчество...» [...]

И все-таки очень трудно понять этого человека. На смертном одре написав и оставив нам свою исповедь, он в сущности ничего не объяснил. Загадку его личности разгадать стало еще труднее. Что он был за человек?! Может, просто гений с душой и психикой, не подвластный анализу, на которого тяжким грузом легла проклятая эпоха?! Русские изломаны, исковерканы до основания. Их истинная сущность так глубоко запрятана, что часто сам человек теряет себя. А может, просто Дмитрий Дмитриевич, человек отнюдь не сильный, наделенный недостатками, среди которых тщеславие было далеко не последним, уже в молодости был сломлен, никогда от этого потрясения не оправился и жил страшной двойной жизнью?! Но Бог и природа любят равновесие. И может, именно благодаря ущемленности личности гений Шостаковича-композитора расцвел так пышно и дерзко...

Он создал очень много... Наследие Шостаковича — целый мир музыки. И все, что он сделал, задумал, написал, все издано, исполнено все — до единой ноты. Я вспоминаю, что Берлиозу снились его новые симфонии, но он в отчаянье их не записывал, он знал, что их невозможно реализовать. Дмитрий Дмитриевич все реализовал. Это прекрасно, — потому что Бог знает, сколько прекрасных произведений погибло бы, оставшись только в замысле. Плохо, — потому что творец может начисто потерять критическое отношение к тому, что он делает. На эту тему Дмитрий Дмитриевич, конечно, много размышлял. Так или иначе, но за право издаваться, исполняться, звучать во всем мире он, мне думается, платил дорогой ценой и не расплатился даже после смерти. Сознательно ли он пошел на этот опасный шаг? В своих воспоминаниях я не берусь делать никаких выводов или что-то утверждать. Я просто хочу рассказать о моих встречах с Дмитрием Дмитриевичем, которые стали поводом для долгих раздумий, материалом для моего творчества.

Особенно часто я встречался с Дмитрием Дмитриевичем в 60-е годы... Я часто отдыхал под Ленинградом в Комарове, в Доме творчества композиторов. Там часто жил и работал и Дмитрий Дмитриевич. В Комарове зимой была какая-то особенная атмосфера. Тишина после шумного суматошного Ленинграда, сосновый воздух, перемешанный с холодной сыростью близкого моря, порой снегопады и морозы. Повседневная жизнь уходила совсем далеко. Все располагало к размышлениям и работе. Мне казалось, что на Дмитрия Дмитриевича эта обстановка действовала очень благоприятно. Глаза у него делались светлее, и даже тембр голоса менялся. Мы много гуляли с Дмитрием Дмитриевичем и обычно беседовали.

Нетвердо ступая по снегу, часто останавливаясь, он любил рассказывать. «Гавриил Давыдович, хотите, я вам расскажу историю гимна Советского Союза?» (Должен оговориться, что существует несколько версий этой забавной истории.) Дмитрий Дмитриевич тогда рассказал мне так: «Нам заказали (Александрову, мне, Хачатуряну и еще нескольким молодым) сочинить музыку для текста гимна Советского Союза. Слова были Михалкова и поэта



Гавриил Гликман. *«Дмитрий Шостакович».*
Репродукция к статье Г. Гликмана «Шостакович, каким я его знал».

Обратная сторона обложки «Континента», № 38

Эль Регистана. Работали мы, работали, и потом вдруг, по приказанию товарища Сталина, было объявлено, что пойдет старая музыка Александрова к гимну Коммунистической партии Советского Союза. Нам было приказано явиться на прием к Сталину и прослушать, как это все будет звучать. Когда мы собрались, появился Сталин в сопровождении своей свиты и прозвучала хорошо знакомая музыка Александрова — "Гимн партии" — с новыми словами. Потом Сталин обратился к нам: "Хотелось бы услышать ваше мнение. Товарищ Шостакович, выскажите свое мнение". Я, конечно, сказал, что это очень хорошо, прекрасно звучит, что музыка гимна войдет в столетия, в поколения и т. д. и т. п. Сталин был вроде доволен моими словами и обратился к Хачатуряну: "Прошу, товарищ Хачатурян, высказать ваше компетентное мнение". Хачатурян встал и сказал: "Мне очень нравится эта музыка, и мне нравятся слова, это прекрасное произведение, но я бы хотел предложить, чтобы был введен женский хор". Когда он это произнес, мрачные глаза товарища Сталина еще потемнели, налились страшной злобой, он закричал: "Не надо женщин, не надо женщин!", повернулся, хлопнул дверью и вышел. Все замерли в ужасе. Тихонько собрали свои портфели и удалились. Говорят, что бедный Хачатурян долгое время не спал спокойно, боясь, что за ним приедет карета "Черный ворон". Но, к счастью, пронесло». [...]

Дмитрий Дмитриевич любил рассказывать о своих встречах с разными людьми. Иногда мы спорили. Он не обижался, но и не соглашался. Мне кажется, моя твердая позиция его раздражала, но он это тщательно скрывал, переводя разговор на другую тему.

Помню февраль, метельную погоду. Поздним вечером, когда ветер стих, мы вышли погулять перед сном. Дмитрий Дмитриевич был очень нервен, покашливал, мало говорил. Все наши обычные прогулочные дорожки занесло, и мы вышли на шоссе, по которому ехали машины и автобусы, тревожно гудя. Мы шли по обочине, молча. Дойдя до скамейки, Дмитрий Дмитриевич неожиданно, словно устав, сел: «Давайте отдохнем». Я запомнил этот вечер, потому что тогда впервые я увидел на лице его грозные признаки тяжкой болезни. Но это продолжалось недолго, и через мгновение на меня снова смотрели его живые, внимательные глаза.

Я поинтересовался его мнением по поводу музыки одного молодого композитора. «Да, да, все это прекрасно, но может быть лучше, лучше...» Это был характерный для Дмитрия Дмитриевича ответ. Именно так, в большинстве случаев, он оценивал музыку своих учеников и современников. Думаю, что он имел, по-видимому, грандиозные масштабы прекрасного. Он и о себе так говорил в конце жизни: «Вы знаете, Гавриил Давыдович, я совершенно исписался», — хотя в это время создавал такие шедевры, как Четырнадцатая и Пятнадцатая.

Однажды в том же Комарове Дмитрий Дмитриевич написал вокальное произведение, речитатив на слова популярного просоветского юмористического журнала «Крокодил». Текст этот показался ему смешным (может, он и на самом деле был смешон!). Он пригласил меня в свой коттедж: «Гавриил

Давыдович, я хочу вам кое-что показать». Так мне выпала честь однажды первому услышать его новый опус. Он сел за рояль и сам пропел (пел он, кстати говоря, не очень хорошо, но удивительно точно и выразительно) речитатив, и спросил у меня: «Гавриил Давыдович, как вы считаете?!» Я не знал, что сказать: он привык к похвалам и восторгам, а его новое произведение показалось мне странным. Но я не мог сказать ему неправду, тем более с глазу на глаз, и я ответил, что думал: «Дмитрий Дмитриевич, дорогой друг, вы знаете, мне кажется, что слова, которые вы взяли из журнала "Крокодил", совсем не смешны. Вы помните рассказ Кафки, где специальные инструменты царапают кожу человеческую, а чтобы кровь не проходила наружу, жертву покрывают толстым слоем войлока, и кровь впитывается в этот войлок. Кожа страшно расцарапана и разрезана, а крови нет. Мне кажется, что слова, которые вы взяли, трагически жестоки, а не смешны, будто они нацарапаны на чьем-то теле... Может, даже на вашем теле». Дмитрий Дмитриевич на меня посмотрел, глаза у него похолодели. Он как-то по-своему улыбнулся и ничего мне не ответил. А я потом так жалел о своей откровенности. Ведь я мог ошибаться, а он был так раним. [...]

Вернувшись в очередной раз из больницы, Дмитрий Дмитриевич приехал в Комарово. Дмитрий Дмитриевич со своей женой Ириной Антоновной, с которой всегда отдыхал, и я возвращались после ужина. Было холодно и неуютно среди голых, темных сосен, на дорожках, иссеченных осенним дождем. Неожиданно Дмитрий Дмитриевич сказал: «Гавриил Давыдович, покажите, пожалуйста, диапозитивы ваших картин». Я обрадовался, потому что всегда очень ценил его внимание и интерес к моему творчеству. В тот вечер мы втроем отправились ко мне. Я повесил на стену большую простыню и начал показ. Дмитрий Дмитриевич очень активно все воспринимал. Я показывал портреты Блока, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Достоевского, показывал замученных и расстрелянных узников концлагерей, потом снова портреты — Тухачевского, Стравинского, Прокофьева, библейские сюжеты. Потом я показал диапозитив своей новой картины «Выносят парашу», на которой изобразил двух узников в тюремных одеждах с номерами на спинах, выносящих тюремную парашу. В одном из заключенных, который был показан со спины, легко угадывался Шостакович. Помню, это произвело на Дмитрия Дмитриевича сильное впечатление. Он долго смотрел на картину, а потом сказал медленно, с расстановкой (обычно он говорил скороговоркой): «Гавриил Давыдович — это мой портрет, самый подлинный портрет. Смотри, Ириша, как Гавриил Давыдович меня изобразил». Правда, Ириша была довольно равнодушна и только поддакивала.

Прошло некоторое время, наверное полгода, и как-то на Невском я встретил любимого ученика Дмитрия Дмитриевича, композитора Бориса Тищенко, который сказал мне: «Вы знаете, когда я был у Дмитрия Дмитриевича, он достал из своего письменного стола фотографию вашей картины "Выносят парашу" и сказал: "Это — самое подлинное, самое верное мое изображение"».[...]

Дмитрий Дмитриевич очень остро и своеобразно ощущал юмор. Иногда трудно было понять, шутит он или говорит всерьез. Впрочем, эпизод, о котором я хочу рассказать, может, вовсе и не стоит воспринимать юмористически. На этот раз в глазах этого загадочного человека я не сумел прочесть его истинных мыслей. Мы стояли у дверей его прекрасного коттеджа, куда я проводил Дмитрия Дмитриевича после долгой послеобеденной прогулки. Был сочный ароматный воздух. Ветер со скрипом гнул тонкие стволы сосен, то и дело загоняя еще жаркое солнце в тучи. Все краски, цвета вокруг нас, лицо Дмитрия Дмитриевича каждое мгновенье менялись от этой игры света и тени. Уже простившись, у ступенек, он вдруг остановился, полуобернулся ко мне и спросил: «Гавриил Давыдович, скажите, как вы думаете, поставят мне памятник такой, как Горькому? В центре Москвы?» Я посмотрел на него с удивлением, стараясь понять, шутит он или нет. Но он продолжал в том же тоне: «Знаете, как Горькому, — могут соорудить?!» Глаза его были, как всегда, серьезны, тонкие губы сжаты... Ну что, я ему ответил: «Вы знаете, Дмитрий Дмитриевич, дай вам Бог, конечно, прожить еще долгие годы, но могут, могут поставить. Выберут место, постараются, может быть, поближе к вашему дому, где вы жили, или где вы выступали, или где Союз композиторов, объявят конкурс среди архитекторов и скульпторов, и изобразят вас в романтической позе, с посохом в руках, в развевающемся пальто. Что ж, поставят, все может быть!» Дмитрий Дмитриевич ничего не ответил. Слегка улыбнулся, но глаза его как-то померкли, видно, он опять подумал о смерти и, махнув рукой на прощанье, скрылся в дверях.

Мне много приходилось наблюдать Шостаковича в повседневной жизни. Он был удивительно деликатен, воспитан. Я не видел его грубым, развязным. Столь естественные для человека его масштаба и судьбы чувства гнева и даже ярости он никогда не проявлял открыто, таил их в себе, замыкался. Это, наверное, было мучительно тяжело. И, вероятно, в такие минуты терновый венец его окрашивался кровью.

Помню его необычайную аккуратность и даже педантичность. Глядя, как он неизменно точно к завтраку, обеду и ужину приходит в столовую Дома творчества, я невольно вспоминал Канта, по распорядку дня которого горожане проверяли свои часы. Ел Дмитрий Дмитриевич как-то механически, очень быстро, почти не пережевывая пищу. На столе у него всегда стояла банка маринованных угрей — он их очень любил. Любил за столом говорить о футболе. Он хорошо знал этот спорт, всегда ходил с удовольствием на футбольные матчи и понимал толк в игре... Часто, наверное для успокоения или отдыха, Дмитрий Дмитриевич любил раскладывать пасьянс. Иногда на веранде Дома композиторов он часами внимательно раскладывал карты и казался глубоко погруженным в это занятие. Во всяком случае, пасьянс его всегда сопровождал. [...]

Дмитрий Дмитриевич никогда не замечал, кто как одет. Он на это просто не обращал внимания. В нем была такая воспитанность, что он никогда не

делал замечаний вообще и по поводу, хорошо или плохо вы одеты, идет вам это или нет. Сам он одевался очень скромно, но всегда все, что он носил, ему шло, было впору. Особенно в молодые годы, когда он был здоров, когда он хорошо двигался и одежды шли ему, создавали какую-то удивительную нарядность.

У Дмитрия Дмитриевича было немало каких-то милых причуд, странностей, которые очень органически сочетались с его человеческим обликом. В минуты тоски (особенно, когда Дмитрий Дмитриевич вдовствовал) для него было утешением «уходить в запой» (я употребляю его выражение). Конечно, в действительности никакого запоя не было, но находились злые языки, которые говорили, что Дмитрий Дмитриевич пьянствует, что его губит пьянство, что это путь Мусоргского, — но это совершенно неверно. Дмитрий Дмитриевич любил большей частью изображать себя выпивающим. В этом всегда была театральность, розыгрыш. Он очень любил наливать стаканы, примерять, изображать, что он «забулдыга». Но иногда он, в окружении очень близких друзей, когда выпивал, уходил в себя, мрачнел, а порой, наоборот, задорно запевал знаменитую песенку «Ты гори, гори, свеча, ты гори, гори, свеча, в красной жопе Ильича»... Когда Дмитрий Дмитриевич (с трудом) хмелел, его состояние исступления проходило, и, как правило, он снова с большой энергией брался за работу.

Дмитрий Дмитриевич при всей его удивительной человеческой опрятности любил, между прочим, замечать в людях какие-то слабости и немного подтрунивать даже над самыми близкими своими друзьями и знакомыми. В этом был какой-то вообще свойственный ему дуализм, двойственность.

Как великий маг, он часто ходил в сопровождении своих поклонников и учеников. Дмитрий Дмитриевич в это время сочинял, наверное, музыку. Может быть, у него зрели какие-то замыслы... Может быть, для того, чтобы немного отвлечься, а может, чисто автоматически он время от времени спрашивал [одно и то же], не слушая ответа, — и снова погружался в себя. Временами он был совсем отчужден, мог говорить о чем угодно с кем угодно, но в это время у него шла большая внутренняя жизнь, совершенно отстраненная. Если хотите, гений, по определению Ларошфуко, — это непрерывность, это непрерывная протяженность, непрерывная нить развития какой-то устремленности, идеи, мысли. Мне казалось, что в нем было почти не отпускавшее его огромное творческое напряжение. И, думается, все эти разговоры, шутки, спорт, карты были своеобразным коротким отдыхом, передышкой, порой помогали (а иногда мешали) сосредоточиться, но, в общем, никогда не нарушали непрерывности творческого процесса.

Мне много раз приходилось наблюдать, как он слушал музыку. Он очень сдержанно и сосредоточенно слушал, смотрел, но сквозь эту сдержанность что-то всегда проступало, прорывалось, и все лицо его неуловимо менялось. Иногда на глазах у него навертывались слезы, он с силой закрывал рот рукой или быстро проводил пальцами по щеке. Это движение было очень характерно для него, но я все-таки сказал бы, что восприятие музыки у него

было удивительно сдержанное, хотя внутри он воспринимал ее, наверное, очень эмоционально, очень остро.

Помню один интересный эпизод. В 60-е годы, уже после награждения его симфонической поэмы с певцом на слова Евгения Евтушенко «Казнь Степана Разина» в одном из коттеджей в Комарове собрались музыканты, чтобы прослушать новое произведение Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич пришел охотно. Что греха таить, он привык к похвалам, лести, часто неуместным восторгам. Он тайно и ненасытно любил славу, шумиху вокруг своего имени. На первый взгляд это плохо сочеталось с другими чертами его характера, но ведь он вообще был очень противоречив. Он сам признавался как-то: «Слава нужна, нужна даже мне; она необходима, как канифоль для смычка».

«Степан Разин» был записан на пластинку в очень хорошем исполнении, я слушал это произведение с большим вниманием. Дмитрий Дмитриевич был сдержан, замкнут, непроницаем. Как у всякого творца уже после рождения произведения, у него начинался, очевидно, новый период взаимоотношений, период анализа, переосмысления, а иногда и критического отношения к своему детищу. Не знаю, что думал тогда Дмитрий Дмитриевич о своей симфонической поэме. Он со мной никогда не говорил на эту тему, и, более того, я никогда в печати не читал его суждений об этом произведении. [...]

В тот вечер после поэмы Шостаковича мы слушали музыку Ксенакиса. И хотя рой голосов стал называть громко это произведение греческого композитора абстрактной, «скрюченной», шумовой музыкой, скомбинированной из всяких натуралистических деталей, я понял, что на Дмитрия Дмитриевича она произвела впечатление, и не удивился, когда он в тот же вечер, но уже наедине, спросил меня о творении Ксенакиса. «Мне нравится только начало...», — сказал он. Ему приходилось часто (по приказаниям свыше и даже по заранее написанному тексту) выступать против так называемой новаторской музыки, против Штокгаузена, Шенберга, Пендерецкого и других, защищать так называемый социалистический реализм (одну из фальшивок советского искусствоведения, направления, в действительности не существующего и потому не поддающегося определению). Что он думал обо всем этом, не знаю: человек он был сложный, скрытный. Всю жизнь скрывал свои потаенные мысли и ходил по острию ножа. Думаю, ответ на этот вопрос исследователи могут найти в его музыке. О музыке Дмитрий Дмитриевич говорить не любил. Он любил ее слушать и создавать.

И все-таки этот человек, так много и напряженно работавший, имевший столько обязанностей и дел, что порой это казалось невероятным, всегда очень охотно общался с людьми, любил их, в большинстве случаев был внимателен и сердечен. Помню, как меня поддержало и окрылило его внимание ко мне в очень трудный период моей жизни. Весной 1968 года выставка моих живописных работ, вернисаж которой был приурочен к открытию ленинградского Дома композиторов, была со скандалом закрыта на третий

день. Началось довольно мрачное время. В Союзе художников стоял вопрос о моем исключении. В Таврическом дворце на собрании интеллигенции заведующая отделом культуры обкома Круглова произнесла грозную речь об осужденной уже группе Игоря Огурцова, назвав ее контрреволюционной организацией. В ходе доклада эта яростная дама не забыла и моей выставки, окрестив ее идеологической диверсией. Еще не зная об этом, я прогуливался по Невскому. Помню, были прекрасные теплые дни, наполненные прозрачной влагой и легким туманом. Мне встречались один за другим «представители интеллигенции», идущие из Таврического дворца. Некоторые делали вид, что не замечают меня. Один скульптор, я помню, сказал: «Гавриил Давыдович, ваше положение очень и очень серьезно!» Скоро начались неприятности. Правление Союза художников начали вызывать в райком. Сняли, конечно, директора Дома композиторов и исключили его из партии. Потом начались и другие гонения.

В эти дни я узнал, что, приехав из Москвы, Дмитрий Дмитриевич побывал на моей выставке и одобрил ее. Ему понравились мои работы. Он с огорчением заметил, что повешены они тесно и в узком пространстве... Потом он не раз говорил мне, что у него болело сердце, когда он слышал, как меня преследовали.

Несколько месяцев спустя, в Комарове, когда все относительно улеглось, Дмитрий Дмитриевич сказал: «Гавриил Давыдович, мне кажется, что вам нужно хорошо спрятать ваши работы. Сделать яму, потом забетонировать ее и сложить туда ваши холсты... Картины ваши надо обязательно сохранить». Он несколько раз повторил со свойственной ему, неожиданно возникавшей скороговоркой: «Бетонный бункер, бетонный бункер...» Сказано это было с тоской и грустью. Я постоянно видел, как он боится за всех окружающих: ведь для этого всегда были основания!

Я много читал о том, что Дмитрий Дмитриевич, как, впрочем, и все его поколение, был атеистом. Думается мне, это не совсем так. Если Бога понимать, как олицетворение добра в каждом из нас, то он был верующим человеком. У него было, я думаю, свое понимание Бога, добра и зла. Он всегда очень активно стремился помогать всем, делать добро. Скольким людям он писал всякие бумаги, подписывал, хлопотал за них. Хлопотал о квартирах, больницах, исполнении новых произведений своих товарищей по перу и т. д. и т. п.

Я удивлялся порой, как у него на всех хватало времени. Как-то в Комарове, в 70-е годы, уже будучи тяжело больным, он попросил меня: «Гавриил Давыдович, будьте любезны, пошлите, пожалуйста, депеши моим друзьям. Надо их поздравить с Новым годом!» У него был длинный список, и он знал хорошо, когда у кого какие юбилейные даты. На этот раз телеграммы были написаны на обычных тетрадочных листочках неровным больным почерком (к сожалению, я их не сохранил). Я отправился на почту в Комарово, переписал телеграммы на бланки и послал их.

Встречаясь с Дмитрием Дмитриевичем часто и в разных обстоятельствах, я всегда удивлялся его выдержке, терпимости. Это шло не только от харак-

тера и воспитания, но и от уменья по-настоящему уважать людей. Дмитрий Дмитриевич всегда всех выслушивал. У него было удивительное терпение, по-видимому, какая-то колоссальная внутренняя дисциплина и воспитание. Он всегда давал возможность высказываться собеседнику, говорить все, что угодно. Он терпел и редко возражал, даже поддакивал порой: «Правильно, правильно, совершенно верно». Но это отнюдь не означало, что он согласен. Внутренне он, мне кажется, был очень стоек в своих взглядах. Споры его утомляли, часто у него было просто желание, чтобы его оставили в покое, не мешали ему, его внутренней жизни. Но если спор касался чего-то принципиально важного для него и собеседник ему импонировал, он мог быть очень убедительным, настойчиво и страстно отстаивать свою правоту. Правда, спорил он чрезвычайно редко. Он весь поглощен был музыкой. [...]

Удивительно, с моей точки зрения, он был терпим к критике. Правда, последние годы его, в основном, безудержно хвалили, но в этой «хвальбе» так много было непрофессионализма и лжи, грубого нарушения фактов. Очевидно, после страшных лет сталинщины у него выработалась защитная реакция на любые нападки и излияния критиков. Обычно он скороговоркой отвечал: «Все хорошо, хорошо, хорошо... Все прекрасно», — и стремился быстрее закончить разговор.

В Ленинграде одна дама, музыковедка, писала о многих музыкантах, а потом [принялась и] за Дмитрия Дмитриевича. Она писала быстро, много и обо всем: «Шостакович после рождения», «Шостакович молодой», «Шостакович встречает Ленина на Финляндском вокзале», «Шостакович 30-х годов», «Шостакович 60-х годов». Лениздат печатал эти монографии большим тиражом. Эти книги абсолютно фальшивые, тенденциозные, жизнь Шостаковича представлена сплошным шествием от триумфа к триумфу. Никаких постановлений (это вообще не упоминается), никаких трагических конфликтов! Не понимаю, как сам Дмитрий Дмитриевич мог с таким пренебрежением относиться к описанию своего творчества и своей личности!!! (Муж этой музыковедки как-то обратился ко мне с просьбой: «Гавриил Давыдович, я вам хорошо заплачу (!), — напишите картину, как моя супруга читает рукопись Шостаковичу. Не удалось сделать фотографии при жизни, — вы представляете себе, какая это потеря для нас?» Я подумал: «Господи, Боже мой, до чего прыток народ! Готовы сделать любую фальшивку — “извольте, изобразите, как Шостакович с великим вниманием слушает рукопись дамы, пишущей о нем книги”».)

Впрочем, иногда, особенно в последние годы, чувствуя свою силу, Шостакович, если ему мешали (это были исключительные случаи), проявлял большую активность и добивался своего. [...]

У него было какое-то трогательное отношение к матери. Я прекрасно помню Софью Васильевну. Это была женщина уже в годах, с добрым и внимательным взглядом серых, стальных глаз, с гладким зачесом волос. Софья Васильевна была предметом большой любви и заботы своего великого сына. По сути дела, она воспитывала его. Она была очень хорошим музыкантом,

пианисткой, и оставалась его советником и лучшим другом все последующие годы. Она всегда давала ему добрые, разумные советы.

У Шостаковича было много поклонников, было много и завистников, но он всегда отличался удивительной щедростью, как всякий великий талант, он разбрасывал свое богатство. Хорошо помню «возникновение» оперы «Тихий Дон» И. Дзержинского. Я был свидетелем этой печальной истории.

Иван Дзержинский, Соловьев-Седой и еще несколько музыковедов часто ходили на концерты Филармонии. Все их знали. Дзержинский в Консерватории никогда не учился, только окончил музыкальное училище, еле знал нотную грамоту, но имел определенное мелодическое дарование. (Так же, как Соловьев-Седой, который тоже имел большое мелодическое дарование, но заниматься оркестровкой не мог. Оркестровку делали ему «негры», за небольшую плату.) И вот Иван Дзержинский взялся за такую актуальную тему, как «Тихий Дон». Это считалось чуть ли не подвигом. Союз композиторов считал, что, кроме Шостаковича, надо иметь плеяду других композиторов. Дмитрий Дмитриевич очень много Дзержинскому помогал. Я бы сказал, что большая доля лучшего, что есть в «Тихом Доне», сделано гениальной рукой Дмитрия Дмитриевича. Он об этом никому не говорил, он вообще не любил афишировать, когда помогал. В общем, как говорится, «общими усилиями» сделали эту оперу. Опера сразу получила высокую оценку у общественности, — прежде всего, она производила впечатление своими хорами и некоторыми ариями...

Во время гастролей Малого оперного театра в Москве дирижер Самосуд показал оперу. Сталин слушал этот спектакль, пригласил Дзержинского к себе в ложу и сказал: «Вот, вы понимаете, какая должна быть музыка для народа. Вы и являетесь основоположником настоящей музыки для народа». Конечно, все сразу поняли намек (одновременно с оперой «Тихий Дон» Малый театр показал оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда»). Дальше события начали разворачиваться с ошеломляющей быстротой: погромная редакционная статья «Сумбур вместо музыки», газеты по команде обрушились потоками возмущения и ярости на гениальную оперу молодого Дмитрия Дмитриевича. Среди этих статей был и опус И. Дзержинского, который утверждал, что Шостакович — «антинародный музыкант». [...]

Невольно я постоянно возвращаюсь к 30-м годам, замечательным в области искусства и страшным в жизни страны. Для Дмитрия Дмитриевича это тоже время, с одной стороны, блистательного расцвета его таланта, а с другой, — страшных предчувствий, ощущения близкой катастрофы, когда огромная страна в ужасе оцепенела, ввергнутая в кровавый террор.

Был один человек (я его хорошо знал), знакомство с которым в эти годы сыграло большую роль в развитии Дмитрия Шостаковича. Это была феноменальная личность — музыкант, филолог, философ, блестящий оратор, жизнелюб Иван Соллертинский. Было ему в 30-е годы восемнадцать-девятнадцать лет, он еще не кончил Университет, но уже говорил на всех европейских языках, был обременен знаниями древнегреческого, латыни,

ассирийского. О его музыкальных способностях ходили легенды. Дмитрий Дмитриевич перенял некоторые манеры Соллертинского, его привычку говорить медленно и вдруг переходить на скороговорку с многократным повторением какого-нибудь одного слова (кстати, эта привычка осталась на всю жизнь). Но больше всего, конечно, повлияла на молодого композитора блестящая эрудиция, музыкальность и безудержная фантазия Соллертинского. Они дружили до самой смерти Ивана Ивановича в 1944 году.

В декабре 1932 года Шостакович закончил свою оперу «Леди Макбет Мценского уезда». Опера, необычайно музыкальная, выразительная, ошеломляюще новая, была подлинным рожденьем совершенно нового музыкального театра. В то время ленинградский Малый оперный театр называли лабораторией советской оперы. Произведение молодого Шостаковича поставил дирижер С. Самосуд, декорации делал очень талантливый художник В. Дмитриев. Спектакль произвел грандиозное впечатление. Отличные певцы, прекрасное звучание. Я несколько раз слушал эту оперу и никогда этого не забуду. Зал периодически бурно аплодировал.

Однажды на спектакле я увидел в боковой директорской ложе Дмитрия Дмитриевича. Его бледное лицо четко выделялось на фоне черного бархата. Свет, идущий со сцены, накладывал на его страдальческий напряженный лик неожиданные цвета — то красный, то мертвенно-зеленый, то пронзительно-желтый. Тут я впервые увидел, какое у него нервное, изменчивое лицо. Он весь был во власти музыки, которая обволакивала его бурным потоком и которую он сам излучал. Не раз вспоминая его лицо тогда, я невольно сопоставлял с ним совсем другой облик Дмитрия Дмитриевича.

Прошло почти сорок лет, и я присутствовал на премьере музыкального фильма-оперы «Катерина Измайлова». Дмитрий Дмитриевич, уже больной, с отекшим лицом, сидел в партере и смотрел фильм. Лицо его было неподвижно, и только нервные руки выдавали сильное волнение. Глядя на него, я с горечью подумал, как нелегко далась ему эта жизнь, эти сорок лет... Но тогда, в 30-е годы, мы мало себе представляли, что нас ждет через сорок лет и какими мы будем. Мы жили бурными событиями каждого дня, а события были, действительно, бурные...

В 1936 году в газете «Правда» была напечатана по прямой инструкции вождя и друга всех народов погромная статья «Сумбур вместо музыки» (а через короткое время еще одна — «Балетная фальшь», — о балетах «Светлый ручей» и «Золотой век»). Это было сигналом для начала разнузданной травли Шостаковича. Дружно выступили газеты, одна за другой — «Ленинградская правда», «Вечерний Ленинград», центральная «Правда», «Известия», всех не перечтешь. В самой свободной в мире прессе, по радио полился оглушительный поток «народного осуждения». Всегда найдутся люди, которые напишут и которые подтвердят. Все разыгрывается, как по нотам, по готовому сценарию. Собираются и ленинградские композиторы. Украинской музыковедке Крохмаль поручается выступить с погромной речью против Шостаковича. Сказано — сделано. [...]

На одном из таких бурных собраний композитор Кабалевский, приехавший специально из Москвы, слезно призывал Шостаковича: «Митя, Митя, покайся, разоружись перед партией, признай свои ошибки, признай свои недочеты, ну, Митя, признайся!» Дмитрий Дмитриевич, бледный как смерть, молчал. Потом последовало голосование на предмет того, чтобы осудить поведение композитора Шостаковича. Нельзя не вспомнить с горечью, что Иван Иванович Соллертинский проголосовал за осуждение. Правда, Дмитрий Дмитриевич перед этим в перерыве просил его: «Иван Иванович, ты должен выступить против меня, потому что твоя жизнь впереди... Ты должен остаться в живых... Ведь неизвестно, что со мной будет, наверное, расстреляют». Такие были времена!

Так шло «становление» молодого композитора. Он перенес столько горестей, столько печалей, столько смертельного ужаса. Тысячу раз думал, что погибнет... И если после того, что произошло с ним, он уцелел, мы должны быть благодарны судьбе и ангелу искусства, которые его охраняли.

Я иногда, слушая теперь музыку Шостаковича, задаю себе вопрос: по какому пути пошло бы развитие его гения, если бы надолго сохранилась обстановка конца 20-х и начала 30-х годов, когда он написал Первую, Третью, Четвертую симфонии, балеты, оперу «Леди Макбет...»? Или, если бы в эти годы он покинул Россию навсегда? Словом, я представляю себе всякие фантастические «если», благодаря которым Шостакович не перенес бы травли, погромов 30-х годов, страшного необратимого потрясения, наложившего неизгладимую печать на его творческий почерк, на развитие его личности. Пытаясь ответить себе на этот вопрос, я все-таки думаю, что при ровном творческом климате Дмитрий Дмитриевич не развился бы в такую мощную композиторскую фигуру. Наверное, все пошло бы по линии каких-то формальных поисков... Интересно, что композиторы, которые жили на чужбине, имеют характерную судьбу. Хотя бы знаменитый Стравинский — ведь его творчество питалось родиной. Его поздние вещи напоминают мне роспись Шагала, которую художник сделал для Парижской Оперы: вроде все то же самое, те же мотивы, но они потеряли подлинность. Это просто повторы самого себя, но уже идущие, как говорят, от головы, а не от сердца и души. А великое творчество Дмитрия Дмитриевича Шостаковича очень органично связано с нашей страной, с теми страшными бедствиями и событиями, которые произошли в ней.

Композитор Шостакович — явление, которое могло развиться только в условиях Советской России, советского режима. И мне кажется, если бы Шостакович попал в условия свободного буржуазного мира, то он не стал бы Шостаковичем. Мне кажется, что в какой-то степени Дмитрий Дмитриевич, его могущество, его сила были в том, что он прикасался к земле, на которой вырос, к земле, которую хорошо знал! И музыка его, при всей своей общечеловечности, была очень тесно связана с Россией. Интересно, что когда приезжал Караян в Ленинград и играл Шостаковича, то это было виртуозно и покоряло высокое искусство оркестра, но настоящего звучания

Шостаковича, каким оно бывает у русских дирижеров — Г. Рождественского, М. Ростроповича, Е. Мравинского, — конечно, не было. Только люди, испытавшие на себе климат времени страны, могут по-настоящему раскрыть Шостаковича. А иностранные дирижеры, при всей их виртуозности, при всей их изощренности, чувствовать не могут. Ну, что может чувствовать в этой музыке Караян? Он читает партитуру — и только. Он не видит всего, что за этим скрывается, потому что ему это совершенно чуждо и непонятно. Поэтому, при всей космополитичности и интернациональности, музыка Дмитрия Шостаковича может быть понята и осознана до конца только теми, кто все это пережил. [...]

Я часто спрашиваю себя, какими путями пришел Дмитрий Дмитриевич к созданию симфонии «Октябрь» (посвященной Ленину) и «1905 год». Я знал его официальное высказывание на этот счет. Оно ничего не объясняло: «*В своей творческой работе я стараюсь быть верным слугой партии и народа... Несколько дней тому назад я закончил свою Двенадцатую симфонию, которую посвящаю памяти Владимира Ильича Ленина*».

Я слушал эти симфонии. Меня удивляла в них не только тема, но и сама музыка. В ней композитор стремился передать историческую конкретность, особенно в симфонии «Октябрьская революция», где изображается приезд Ленина, слышится звук громыхающего поезда, потом появление Ленина в Разливе — такое романтическое размышление, и т. д. и т. п. Становится немножко обидно, что могучий музыкант пытается дать эту конкретность, которая, увы, приобретает иное качество — становится иллюстративностью.

Я себе представляю, как Дмитрий Дмитриевич, гениально владея оркестром, инструментами и всеми музыкальными средствами, дал бы истинную картину Октябрьской революции! С другой стороны, иногда я думаю, что, может быть, этот рассказ об Октябрьской революции запрятан в других его симфониях. Может быть, об этом сказано в Пятой, где тоже столько горечи и столько печали. Может быть, о ней музыка Восьмой, которая подавляет своим мраком, своей темнотой, своей беспросветностью... А ведь в музыке можно очень многое скрыть, зашифровать. Это не то что изобразительное искусство. Хотя и здесь есть примеры блистательного иносказания. [...]

К себе Дмитрий Дмитриевич умел относиться критически. Он анализировал себя, умел увидеть себя со стороны. Впрочем, он был так самолюбив и горд, что если и обижался когда-нибудь, то скрывал это. [...]

В сентябре 1960 года Дмитрий Дмитриевич совершенно неожиданно для окружающих вступил в коммунистическую партию. Для людей, близко его знавших, это был ошеломляющий, непонятный поступок. В эпоху так называемой хрущевской оттепели, когда сталинский террор кончился, когда никто его не заставлял сделать этот шаг, Шостакович вступает в страшную мафию, получает красную книжку и произносит традиционные слова: «*Наша советская музыкальная культура является самой передовой, самой гуманистической во всем мире. В этом большая заслуга Коммунистической партии Советского Союза, которая так любовно, бережно, тщательно помогает нам*

в наших творческих исканиях, помогает нам быть честными слугами своего народа, и которая оказывает нам высокое доверие, называя нас своими помощниками в деле коммунистического воспитания»! Человек, который презирал все эти сборища, пленумы, партсобрания, стал членом Коммунистической партии Советского Союза! Тут было чему удивляться и над чем подумать. Я не пытаюсь разгадать эту загадку, не хочу объяснять поступок Дмитрия Дмитриевича его неукротимым тщеславием и честолюбием, не хочу судить, а тем более осуждать великого трагического музыканта.

Но иногда я вспоминаю эти последние годы его жизни, когда мы виделись уже редко (он жил в Москве, болел, мало бывал в Ленинграде). Дмитрий Дмитриевич часто говорил: «Вы знаете, я исписался, я уже исписался». Думаю, он искал новых тем, новых ощущений. К юбилею Радищева я исполнил (предполагаемый материал должен был быть гранит) большую скульптуру. Фигура Радищева, одетого в грубую робу, смотрелась как монумент. Видны были только руки, закованные в тяжелые кандалы, и резко повернутая в профиль гордая голова. Я долго добивался, чтобы этот памятник поставили на улице Марата в Ленинграде, у дома, где печаталась его книга «Путешествие из Петербурга в Москву». За помощью пришлось обратиться к Дмитрию Дмитриевичу. Меня даже удивил интерес, с которым он рассматривал мою работу, а потом сказал: «Гавриил Давыдович, пожалуйста, презентуйте мне фотографию и надпишите» (фотография была сразу же повешена у него в кабинете над письменным столом). Я думаю, что интерес к фигуре закованного Радищева был не случаен. Приближалось время Четырнадцатой симфонии, вокального цикла на стихи Микеланджело и других произведений последних лет. Композитор переживал какой-то моральный кризис. Мне кажется, он пытался постичь, что такое человек с тяжелым бременем нечистой совести, или закованный в кандалы, или брошенный в застенок (недаром ему импонировал образ самого себя в виде узника ГУЛага). А может, он хотел ощутить, как живет закабаленный советский человек, как несет бремя партийного билета?! Может, он искал аналогии и для своей судьбы, хотел испытать на себе все до конца? Кто знает. Личность гения — всегда загадка, а тем более для его современников...

Вступив в партию, Дмитрий Дмитриевич как-то осел. Начались недомогания, — может быть, это просто совпало с его возрастом. Время неумолимо. После страшного рубежа, когда Дмитрий Дмитриевич вступил в партию, он заметно, на глазах у всех стал другим. Как-то осунулся, в нем произошла страшная перемена. По-видимому, душевное состояние сказалось на его здоровье. Состояние его начало резко ухудшаться. Доктора и лечение не помогали.

Потом Дмитрий Дмитриевич обратился к очень известному врачу, который жил на Урале, в городе Кургане, — Гавриле Абрамовичу Елизарову. Дмитрий Дмитриевич настолько плохо себя чувствовал, что поехал в Курган и пробыл там месяца полтора. И, представьте себе, ранней осенью я как-то

приехал в Дом композиторов, к Дмитрию Дмитриевичу, и увидел его очень молодым, каким-то удивительно посвежевшим. Он сказал: «Вы знаете, Гавриил Давыдович, я уже играю на рояле! У меня руки стали лучше... правая рука почти действует. Но вы знаете, как тяжело — два-три часа приходится заниматься гимнастикой. Гаврила Абрамович прописал мне, чтобы я растягивал эспандер по нескольку часов в день». Он улыбался и пошутил: «Я теперь иногда путаю ваши имена... Я ему рассказывал о вас... Да, сейчас я чувствую себя значительно лучше».

Но все-таки зоркий глаз замечал, что это улучшение — временное. Мои знакомые, врачи из Медицинской академии, которые обследовали Дмитрия Дмитриевича, говорили, что у него какое-то тяжелое хроническое заболевание и положение его очень серьезно. У него ломались ноги, стоило чуть поскользнуться, ноги вообще очень плохо ходили, и руки плохо двигались...

Скоро пришла страшная всепобеждающая смерть. Дмитрий Дмитриевич принял ее стоически. В нем всегда была такая жизненность, такая любовь к жизни, к прекрасному, что смерть с ним как-то не вязалась. И все-таки, когда она пришла, он встретил ее без трусости. Он не цеплялся судорожно за жизнь. Он лечился, потому что хотел быть здоровым, но всегда понимал неизбежность, закономерность смерти. И принял он ее как великий человек, как большой музыкант и художник.

Когда-то Дмитрий Дмитриевич мне говорил: «Вот, я думаю о смерти... смерть неизбежна, как говорят, так должно быть. Поэтому смерть надо воспринимать оптимистически, ее философски надо воспринимать, оптимистично» (он любил повторять особенно важные для него слова). Но думаю, что мысль эту ему не удалось воплотить в музыке. Музыка звучит трагично, музыка говорит о том, что человек больше не существует, что он исчезает. Что смерть всесильна. Все уходит и стирается из памяти. Когда в конце жизни он начал писать Пятнадцатую симфонию, то собирался создать «веселую, легкую музыку» (что тоже было в палитре этого разностороннего композитора), процитировал кусок из «Вильгельма Телля» Россини. Возможно, у него было такое стремление после мрачных раздумий Четырнадцатой симфонии. Но, несмотря на обращение к Россини и общую тональность музыки, веселой симфонию не назовешь. Глубокие пласты ее, прикрытые порой порхающими музыкальными звучаниями, изобличают Шостаковича последних лет, обуреваемого мыслью о смерти. В последние месяцы своей жизни Дмитрий Дмитриевич написал едва ли не самое мрачное из своих произведений — вокальный цикл на сонеты Микеланджело. Здесь слышится печальный итог жизни: тяжесть личной судьбы, скорбь о несовершенстве мира, боль и тоска...

В последние годы жизни он стал как-то еще более сдержан, замкнут, осторожен. Мучительно искал темы, отказывался от многих замыслов. Интересен такой малоизвестный эпизод. Дмитрий Дмитриевич бывал на даче в Жуковке (под Москвой) у М. Ростроповича и там встречался с А. Солженицыным. Преследуемый в эти годы правительством, Александр Исаевич в

течение почти двух лет пользовался гостеприимством Ростроповича. И вот, в этот период у Дмитрия Дмитриевича возникла идея на основе рассказа «Матренин двор» создать оперное произведение. Дмитрий Дмитриевич был очень увлечен этой мыслью. И не удивительно. Ведь эта тема, образы, атмосфера прямо созданы для его гения. Вероятно, он сделал бы новые открытия в оперном искусстве, в музыкальной фонетике, нашел бы новую песенную интонацию, свой, шостаковичевский речитатив... Я всегда думал, что Шостакович в своих вокальных произведениях идет слишком прямо от традиций Мусоргского, Римского-Корсакова, Даргомыжского... К сожалению, этот грандиозный замысел Дмитрий Дмитриевич не осуществил. [...]

Помню одну из моих встреч с Дмитрием Дмитриевичем в 70-е годы. В ту весну в Доме композиторов я жил в большой комнате с огромными окнами, доходящими почти до земли. Было утро, когда я услышал легкое постукиванье в окно. Открыв занавеску, я увидел Дмитрия Дмитриевича. Он был в светлом плаще, без шапки. Его мучнисто-бледное расплывшееся лицо выражало настороженность и напряженье, каждый шаг был для него труден и опасен. «Здравствуйте, можно к вам?» Я вышел ему навстречу, чтобы помочь подняться на три ступеньки, ведущие к двери. Дмитрий Дмитриевич тяжело опустился на стул и стал рассматривать мои работы. Мы долго молчали. В это утро, как всегда весной, я вспоминал конец войны, Германию, развороченную землю, разрушенные города и горы трупов среди пронзительной весенней зелени...

«Дмитрий Дмитриевич, я давно хотел рассказать вам один случай...» Он насторожился. Он обладал редким даром — уменьем слушать. Я смотрел в окно и вспоминал: «Был такой же апрель, когда все кругом чисто и омыто светом. Наша армия форсировала Одер. Мы были уже на колесах и собирались тронуться. Надо же было одному из наших солдат подойти к стогу сена и поворошить его. Там оказался пожилой немецкий солдат, испуганный, жалкий, в тяжелых сапогах и с фляжкой через плечо. Его привели к командиру полка. Тот, не раздумывая (помню, тогда меня это удивило — наш командир вообще-то не отличался такой жестокой прямолинейностью), мигнул: «В расход». Немца увели. Помню его растерянное, грязное лицо и сено, застрявшее в волосах и одежде. Где-то совсем рядом раздался выстрел и глухой стук упавшего тела. Вскоре мы проехали мимо убитого. Он лежал распростертый на земле, раздетый, без башмаков и фляжки, с выражением странного покоя на уставшем лице. Ночью мы форсировали Одер. Вой снарядов, стоны убитых и раненых... Мы чудом добрались до другого берега и свалились на землю, не в силах шевелиться. В этот момент к нам подскочил командир полка: «Окапывайтесь! А не то вас раздавят, как мух». Обстрел уже начался, когда мы взялись за лопаты, нас укрыла земля, и весь взвод уцелел. Скоро наступило затишье, и первое, что я услышал, был выстрел в тишине (может, уже последний) и потом откуда-то снизу голос: «Убит командир полка». Когда я подошел к берегу реки, у воды, раскинув руки, с лицом, залитым кровью, лежал наш командир полка. Он был раздет, без хромовых

сапог, и босые ноги его лежали в быстро текущей воде... — Я помолчал. — Вот так это было».

Дмитрий Дмитриевич грустно сказал: «“Расплата”. Вы знаете, я давно думал написать музыку на эту тему — “Расплата”. Для оркестра и голоса, такого, как у Софьи Преображенской».

«Латинский текст?» — спросил я.

«Нет. Только русский!.. Расплата за все содеянное».

Дмитрий Дмитриевич встал: «Ну, Гавриил Давыдович, мне пора». С трудом передвигаясь, он медленно пошел к выходу. Я хотел его проводить, но он возразил: «Нет, нет, спасибо! Я сам, один, один...» Мы простились.

Я долго стоял на ступеньках и смотрел ему вслед, пока фигура его не скрылась в чуть пробивающейся светлой апрельской зелени.

Я думал: все рожденное Богом, от былинки до человека, когда предстанет перед престолом Божьим, будет в ответе за прожитое и содеянное.

1983, №№ 37 – 38

ИОСИФ ДАРСКИЙ

«La Battaglia di Milano»

Чиновник особых поручений при директоре Императорских театров граф Алексей Алексеевич Бобринский, путешествуя по Италии, остановился в Милане и обратился к дирекции знаменитого Ла Скала с просьбой показать ему театр. Джулио Гатти-Казацца, директор театра, с радостью согласился и, когда хозяин с гостем прогуливались вдоль сцены, неожиданно спросил графа: «Скажите, это правда, что в ваших театрах есть необыкновенные басы?» Бобринский ответил утвердительно, сказав, что в оперных хорах имеются басы, берущие даже нижние «до» и «си», но лишь только один певец превосходит всех своими необыкновенными интерпретациями ролей, хотя и не обладает особо мощным голосом. Но почему господин директор интересуется этим? И тогда Гатти-Казацца рассказал, что вот уже третий сезон подряд он и главный дирижер Артуро Тосканини уговаривают композитора Арриго Бойто дать разрешение на возобновление его оперы «Мефистофель». Но Бойто непреклонен. Он все еще переживает неудачную премьеру оперы, состоявшуюся более трех десятилетий назад. На все просьбы о ее возобновлении он отвечает: «Найдите мне необыкновенного исполнителя главной роли, и тогда мы будем говорить серьезно. Если же нет, то нет». Однако ни один из басов, предложенных ему, не удовлетворял требованиям автора. Кто-то предложил переписать роль Мефистофеля для баритона, но и эту идею Бойто отверг.

Оставалось лишь надеяться на чудо, и оно свершилось, когда Гатти заговорил со своим гостем о русских басах. Граф заверил директора, что хотя артист этот никогда прежде не пел в опере Бойто и вообще ни разу еще не выступал за границей, но тем не менее с ролью Мефистофеля вполне справится. Артист этот еще очень молод, и зовут его Федором Шаляпиным.

В Москву была послана телеграмма, в которой Шаляпина приглашали спеть в десяти спектаклях «Мефистофеля» и спрашивали его условия. Имя Шаляпина уже гремело по всей России, но за пределами страны он действительно был еще неизвестен, поэтому, решив, что это чей-то розыгрыш, певец в своей ответной телеграмме попросил повторить текст и, получив подтверждение, растерялся. «*Двое суток провел в волнении*, — вспоминает Шаляпин, — *не спал и не ел, наконец, додумался до чего-то, посмотрел клавир*

оперы Бойто и нашел, что его "Мефистофель" по голосу мне. Но и это не внушило мне уверенности, и я послал телеграмму в Милан, назначая 15000 франков за десять спектаклей, в тайной надежде, что дирекция театра не согласится на это. Но — она согласилась!»

И не только согласилась, но и уведомила Арриго Бойто, что исполнитель на главную роль в конце концов найден и ему послано приглашение. С благословения автора, 24 мая 1900 года генеральный директор Ла Скала направляет на подпись Шаляпину контракт, к которому было приложено письмо: «[...] *Содержание контракта тождественно с тем, которым мы пользуемся всегда, когда вопрос касается артистов, контрактируемых вне Италии. Я уверен, что Вам нечего будет возразить. Мы поставили четыре представления в месяц в случае какой-либо болезни, опоздания и т. д., но обычно в Ла Скала не бывает в течение недели более трех представлений одной и той же оперы. Дата Вашего прибытия в Милан фиксирована на 28 февраля, но... мы просим Вас приехать на два-три дня раньше, ввиду того, что мы должны поставить "Мефистофеля" как можно скорее. Завтра же отправляю Вам полный клавир оперы, либретто и постановочный план "Мефистофеля" Бойто для того, чтобы Вы имели материал под рукой для изучения и могли бы детальнее ознакомиться с тем, как исполняется опера в Италии. В любом случае, касается ли это контракта или чего другого, о чем Вы хотели бы мне сказать, прошу Вас телеграфировать мне.*

Я очень рад, что имею честь впервые представить итальянской публике столь именитого артиста, каким являетесь Вы. Желаю Вам одержать здесь полный триумф и получить высшее удовлетворение. Шлю Вам наилучшие пожелания.

Генеральный директор Джулио Гатти-Казацца».

В первых числах июня Шаляпин появился в Скала и был встречен его директором и Арриго Бойто. Маэстро Тосканини в то время находился где-то с концертами, поэтому Бойто сам, сидя за фортепиано, хотя и «был *скверным пианистом, но на удивление умным собеседником, как смог, растолковал Шаляпину основные черты образа. Шаляпин промычал под рояль несколько фраз и больше ничего*»[1].

Согласившись выступить в «Мефистофеле», Шаляпин испытывал смешанные чувства: тут были и гордость, и страх, и радость, и неуверенность. Чувствами своими он поделился с другом, композитором Рахманиновым, который принял близко к сердцу волнение Шаляпина. И друзья решили поселиться летом вместе в курортном местечке Варацце, неподалеку от Генуи, и начать совместную работу по изучению «Мефистофеля». В середине июля, после визита в Париж, Шаляпин приезжает к Рахманинову, с которым приступает к работе над оперой. «*Нашим начальным этапом при анализе оперы Бойто был ее детальный разбор до мелочей. Мы обсуждали роль со всех*

[1] Здесь и далее цит. по: *Gatti-Gasazza, Giulio*. Memories of the Opera. New York, 1941.

углов зрения: музыкального, драматического и постановочного», — читаем мы в одной из статей певца.

К тому моменту уже почти восемь лет выступал он в роли Мефистофеля, но в другой опере — «Фауст» Шарля Гуно. Выступал успешно, но не был удовлетворен своим созданием, ибо чувствовал, что образ этот был далек от того, что создал Гёте. В этом плане опера Бойто была гораздо ближе к драматургическому оригиналу, и перед Шаляпиным теперь открывались новые возможности: «*Я давно мечтал о том, чтоб сыграть Мефистофеля голым. У этого отвлеченного образа должна быть какая-то особенная пластика, черт в костюме — не настоящий черт. Хотелось каких-то особенных линий. Но — как выйти на сцену голым, чтоб это не шокировало публику.*

Я рассказал о моей затее приятелям художникам, они очень одобрили ее, и А. Я. Головин сделал мне несколько рисунков, хотя голого Мефистофеля он не дал мне. Кое-чем воспользовавшись у Головина, я решил играть хоть пролог оголенным от плеч до пояса. Но этого было мало в сравнении с тем, что рисовалось мне. Да и центром роли был не пролог, а шабаш на Брокене».

За лето Шаляпин выучил наизусть всю оперу, зная назубок, по своему обыкновению, не только собственную роль, но и все партии. К февралю следующего года костюмы были готовы, до премьеры оставалось около месяца, и он отправился в Милан, где «предстал пред очи» генерального директора. Во время беседы в кабинете у Гатти одним из первых вопросов, заданных Шаляпину, был вопрос о костюмах. «*Будучи еще молодым и склонным к легкомыслию*, — писал певец много лет спустя, — *я важно заявил, что в некоторых сценах оперы я намереваюсь выступить вообще без костюма.*

Гатти известен тем, что умеет не показывать свои чувства, но в тот момент тень ужаса промелькнула в его глазах. Он пристально посмотрел на меня и вновь повторил свой вопрос о костюмах. Я снова вполне серьезно ответил ему, что моделью моих костюмов в Прологе и в сцене Брокена послужил бессмертный костюм, который когда-то носил Адам, оставив его в райских кущах». Заложив руки в прорези жилета и ничего не сказав, Гатти вышел из кабинета.

Примерно так же излагает Шаляпин эту сцену и в своей автобиографии, но она широко известна, а приведенный выше рассказ был написан им специально для американского журнала и, насколько известно, никогда не публиковался по-русски, поэтому мне и хотелось ознакомить читателей с мало известной публикацией артиста.

После первой же репетиции Тосканини направил директору театра записку (поступок, какого никогда прежде он не совершал), в которой просил отменить вечернюю репетицию. «Что случилось, маэстро?» — спросил Гатти, когда дирижер с мрачным лицом появился у него в кабинете. «*Ничего, за исключением того, что Шаляпин во время репетиции не пел, а только мямлил что-то непонятное. Я хотел бы поговорить с ним, прежде чем мы продолжим репетиции, но я боюсь испугать его этим, более того, я сам нахожусь в замешательстве, ибо в конце концов боюсь услышать его голос*».

На следующий день, с одобрения директора, когда Шаляпин снова запел вполголоса, Тосканини остановил его и попросил петь в полный голос, заявив, что, «*во-первых, в Ла Скала существует такой обычай, во-вторых, исполняя роль впервые, совсем неплохо показать, что за голос у певца в горле, и, в-третьих, весьма желательно узнать лучше друг друга, поскольку мы работаем вместе впервые*».

Энрико Карузо, исполнявший в спектакле роль Фауста и сразу же подружившийся с русским певцом, заметил Шаляпину небрежно: «*Не волнуйся. Он знает, что можно ожидать от всех нас, но твой голос — новый для него. Тосканини похож на тех собак, которые лают, но не кусают*».

Доводы и того и другого показались Шаляпину убедительными, и он запел во весь голос. В ходе репетиции Тосканини часто останавливал певцов, давая им указания и советы, но Шаляпину не сказал более ни слова, что немало озадачило певца.

Наутро в фойе театра состоялась очередная репетиция под рояль. Сцену из пролога Шаляпин запел сразу же полным голосом, «*а когда кончил, Тосканини на минуту остановился и, с руками еще лежавшими на клавишах, наклонив голову немного вбок, произнес своим охрипшим голосом:*

— Браво!

Это прозвучало неожиданно и точно выстрел. Сначала я даже не понял, что это относится ко мне, но так как пел один я, приходилось принять одобрение на свой счет. Очень обрадованный, я продолжал петь с большим подъемом, но Тосканини не сказал мне ни слова более», — так пишет Шаляпин.

В воспоминаниях же Гатти-Казацца реакция маэстро на шаляпинское пение изложена чуть по-другому. Услышав, наконец, подлинный голос певца, дирижер обратился к нему со следующими словами: «*Мой дорогой Шаляпин, у вас есть все необходимое, чтобы стать превосходным Мефистофелем. Мы будем работать вместе и создадим нечто необыкновенное*».

На сценических репетициях Тосканини показывал Шаляпину, одетому пока в обычный костюм, как ему надлежало изображать Мефистофеля: «*как сесть, как встать, как завинтить одну ногу вокруг другой штопором, складывая при этом по-наполеоновски руки на груди, вообще показывал мне все приемы тамбовских трагиков, знакомые мне по сценам русской провинции*, — вспоминал Шаляпин, — *когда я спрашивал его: почему он находит эту или иную позу необходимой? — он уверенно отвечал: — Потому что это настоящая дьявольская поза!*

— Маэстро, — сказал я ему, — я запомнил все ваши указания, вы не беспокойтесь! Но позвольте мне на генеральной репетиции играть по-своему, как мне рисуется эта роль.

Он внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Хорошо!»

Работа над спектаклем продвигалась вперед. Возникавшие недоразумения, как, к примеру, описанные выше, устранялись «в рабочем порядке», а в

то же самое время за пределами театра бушевали страсти. Назревал скандал, какого еще не бывало в истории оперного Милана.

Слух о том, что для премьеры возобновленной оперы Бойто был выписан певец из России, моментально разнесся по всему городу, вызвав бурю негодования. Особого накала достигло возмущение в знаменитой галерее Виктора-Эммануила — своеобразной театральной бирже Милана. Директора театра иначе как предателем не называли. По мнению всех, итальянскому искусству было нанесено смертельное оскорбление. До сих пор Италия — родина оперы — по праву считалась поставщиком оперных талантов во все страны, в том числе и в Россию. Больше всех негодовали, конечно, басы, уже познавшие успех в этой роли на сценах Англии и Америки.

Шаляпину предсказывали неслыханный провал: «*— Он будет освистан! — кричали итальянцы, чуть не грозя кулаками. — Он будет освистан!*

— Да! Как же! — демонически хохотали другие. — Пятнадцать тысяч франков! Есть из чего заплатить клаке. Насажает клакеров.

— Все равно он будет освистан!

— Надо освистать и дирекцию!

— И Бойто! Зачем позволил это!

Начало не предвещало ничего хорошего»[2].

А клакеры действительно не дремали. «Негодяи в желтых перчатках», как их презрительно называли артисты, которые ненавидели клаку, но платили ей свою мзду, явились однажды утром на квартиру к Шаляпину и заявили его супруге, что «берутся сделать синьору Скиаляпино успех» и поэтому просят выделить им несколько десятков билетов, а также заплатить 4 000 франков за то, что синьору будут аплодировать на первом спектакле. Самого Шаляпина не было в то утро дома, и разговор велся только с его женой и тещей. Они хорошо знали, что шутки с клакой не кончаются добром. Смельчаки, отважившиеся когда-либо отвергнуть ее услуги, жестоко поплатились.

Узнав о предложении клаки, Шаляпин «велел гнать их в шею», и, когда представители «Мартинетти и К°» — шефа миланской клаки — пришли на другой день за ответом, им был передан ответ артиста «убираться ко всем чертям».

Весть о том, что Шаляпин выгнал клакеров, лишь подлила масла в огонь. К тому же одна из газет опубликовала письмо Шаляпина, в котором говорилось: «*Ко мне в дом явился шеф какой-то клаки и предлагал купить аплодисменты. Я аплодисментов никогда не покупал, да это и не в наших нравах. Я привез публике свое художественное создание и хочу ее, только ее, свободного приговора: хорошо это или дурно. Мне говорят, что клака — это обычай страны. Этому обычаю я подчиняться не желаю. На мой взгляд, это какой-то разбой*». А политическая газета «Коррьере делла сера» вдобавок к

[2] *Дорошевич В.* Шаляпин в Scala. — Цит. по сб.: «Ф. И. Шаляпин». Т. I. М., 1976.

шаляпинскому письму поместила статью, расхваливавшую «благородный ответ» русского артиста.

Статья эта произвела сенсацию. Его называли сумасшедшим, ибо никто еще не отваживался вступить в открытую борьбу с клакой; другие, наоборот, горячо поддерживали и хвалили его. Многие из тех, кто еще вчера не мог простить Шаляпину «пятнадцать тысяч франков», теперь восторженно говорили о нем.

По-видимому, эта статья и изменение общественного мнения в пользу Шаляпина побудили клаку сменить тактику, о чем свидетельствует письмо, сохранившееся в архиве дочери певца Ирины:

«*Милан, 11 марта 1901 г.*

Достопочтимый господин Шаляпин!

Прочтя в одной из вчерашних газет резкую статью, направленную против миланской "клаки", где говорится, что Вашу супругу испугали какие-то типы, которых газета называет шантажистами, и, зная о том, что статья эта заключает в себе неправду, что могут подтвердить и Ваша глубокоуважаемая супруга и мать, с которыми мы имели беседу и которые приняли нас любезно, мы позволяем себе обратиться к Вам с этим письмом. Мы вели себя с Вашей супругой как джентльмены и сообщили ей сведения о театре, которые ее интересовали. Мы предложили ей самым вежливым образом и без каких-либо оскорблений наши услуги. Беседа наша касалась рекламы. (?? — *И. Д.*)

По этому вопросу мы просим Вас, будучи наслышаны о Вашей любезности, опровергнуть статью в газете, поскольку Вы сами знаете, что мы вели себя вежливо и благопристойно, отвечая на все вопросы, заданные нам госпожами. И мы никак не навязывались ни словами, ни угрозами, как о том пишет газета...

Мы, со своей стороны, будем способствовать, тем не менее, Вашему блестящему успеху без какого-либо вознаграждения, видя в Вас великого артиста, как нам то было сказано. Если после того, что Вы узнаете о нас, Вы сочтете возможным дать нам несколько билетов, то мы заплатим за них Вам в день выступления. Если бы Вы были так любезны и прислали нам короткий ответ на это письмо, мы были бы Вам весьма признательны.

Мартинетти и К°

P. S. Доверяя Вашей любезности, мы просим Вас сохранить в тайне все происшедшее, поскольку мы вели себя как джентльмены и всегда готовы исполнить почтительнейшим образом Ваши приказания» .

Ни ответа, ни билетов клака от Шаляпина не получила. Все его внимание было поглощено подготовкой к премьере, даже письма его, написанные в тот период, коротки: «*Усиленно репетируем Мефистофеля. Слава Богу, все идет хорошо. И я здесь пришелся, кажется, по душе. 2 или 3-го нашего марта пою первый спектакль*», — сообщал он главному дирижеру Большого театра И. К. Альтани.

За день до премьеры, 14 марта, состоялась генеральная репетиция в присутствии автора оперы. А утром того же дня Шаляпин получил записку

от Дорошевича, в которой тот, в частности, писал: «*Все идет превосходно. Весь театр по сумасшедшим ценам распродан. Секретарь говорит о Вас не иначе, как:*

— E un grande artista! При этом таращит глаза и показывает рукой выше головы, что по-итальянски совсем уж очень хорошо.

Артисты, — я наводил справки, — говорят, что очень хорошо. Да что артисты! Хористы, — разве есть судьи строже? — хористы, и при том хористы ***басы*** (подчеркнуто Дорошевичем. — *И. Д.*), *отзываются с восторгом*».

Когда во время генеральной репетиции Шаляпин появился на сцене в костюме и в гриме, все присутствовавшие были поражены. К нему подходили, щупали мышцы, а увидев, что и они загримированы, пришли в неописуемый восторг. Все это, конечно, очень тронуло и духовно подкрепило Шаляпина. Кончив петь в прологе, он подошел к Тосканини и спросил, согласен ли маэстро с тем, как Шаляпин играет: «*Он впервые открыто и по-детски мило улыбнулся, хлопнул меня по плечу и прохрипел: — Не будем говорить больше об этом*»[3].

Почти целый год работы не пропал даром. Роль Мефистофеля была изучена и продумана до мелочей. Это был тот случай, когда, по словам Гатти-Казацца, «*затасканное ныне слово "Творение" — единственное, что может в полной мере описать созданное Шаляпиным*». А Бойто, обращаясь к директору, признался: «*Мой милый Гатти, разве я не был прав, когда настаивал на настоящем Мефистофеле? Только теперь я понимаю, что вплоть до нынешнего момента единственное, что у меня было — это никудышные дьяволы*».

И вот наступил день 16 марта 1901 года, день, ставший историческим в сценической жизни Шаляпина, хотя душу его с утра омрачали недобрые предчувствия: «*В день спектакля я шел в театр с таким ощущением, как будто из меня что-то вынули и я отправляюсь на страшный суд, где меня неизбежно осудят. Вообще ничего хорошего не выйдет из этого спектакля, и я, наверное, торжественно провалюсь*».

Его успокаивали, убеждали, что все пойдет хорошо, что волноваться не стоит, что за последние два десятилетия такого артиста еще не видал миланский Оперный театр. И все же, как вспоминал впоследствии певец, он «*дрожал, как на первом дебюте в Уфе*».

На какой-то подставке его вывезли «в облака», и начался Пролог. От волнения Шаляпин не ощущал ничего вокруг, только: *«...пел, ничего не чувствуя, просто пел наизусть то, что знал, давая столько голоса, сколько мог. У меня билось сердце, не хватало дыхания, меркло в глазах, и все вокруг меня шаталось, плыло*», — так напишет он потом в своих воспоминаниях.

Когда отзвучала его ария «Ave, Signor!» — «Хвала, Господь», ему показалось, что в зале что-то треснуло, грохнуло и вместо хора, которому надлежало вступить вслед за его арией, из зала пополз на него непонятный грозный гул. Это зрители, восхищенные его пением, гримом, игрой, прер-

[3] Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин». Т. 1, 1960,

вали своей овацией «Пролог» в самой его середине и неистово требовали артиста «на поклон».

Бледный и взволнованный, с развевающимися фалдами фрака, очутился около него директор, старавшийся перекричать гром аплодисментов: «*Идите, что же вы? Идите! Благодарите! Кланяйтесь! Идите!*»[4].

Трепещущие в аплодисментах руки, лица, меха, бриллианты — все расплывалось перед глазами Шаляпина, когда он вышел к рампе. «*Никогда еще я не наблюдал такого энтузиазма публики*, — писал певец в своей автобиографии. — *Дальше петь было легче, но после напряжения в "Прологе" я чувствовал себя обессиленным, нервы упали. Но все-таки весь спектакль прошел с большим успехом*».

Влас Дорошевич находился в тот вечер по другую сторону занавеса. Его очерк «Шаляпин в Scala» появился впервые в газете «Россия» непосредственно под впечатлением шаляпинского триумфа. Вот несколько отрывков из этого обзора: «*... на ясном темно-голубом небе, среди звезд, медленно выплыла мрачная, странная фигура.*

Только в кошмаре видишь такие зловещие фигуры.

Огромная черная запятая на голубом небе. Что-то уродливое, с резкими очертаниями, шевелящееся.

Strano figlio del Caos. — «Блаженное детище Хаоса». Откровенно говоря, у меня замерло сердце в эту минуту.

Могуче, дерзко, красиво разнесся по залу великолепный голос: — Ave, Signor!

Уже эти первые ноты покорили публику. Музыкальный народ сразу увидел, с кем имеет дело. По залу пронесся ропот одобрения.

Публика с изумлением слушала русского певца, безукоризненно по-итальянски исполнявшего вещь, в которой фразировка — всё. Ни одно слово, полное иронии и сарказма, не пропадало... Он не только поет, играет, — он рисует, он лепит на сцене... Бойто был прав. ***такого*** *Мефистофеля не видела Италия. Он действительно произвел* ***сенсацию***».

Восторгались не только зрители, к ним присоединилась и пресса. Так, миланская газета «Иль Троваторе» писала: «*Новым для Ла Скала и для всей Италии был русский бас Шаляпин, исполнявший нелегкую роль Мефистофеля. Любопытство, которое возбуждал во всех этот артист, было велико, и неизвестно, чего было больше в этом интересе — ожидания или легкого недоверия... Шаляпин победил нас прежде всего своим гримом, потом очаровал нас своей блестящей и в то же время непринужденной игрой и, наконец, своим пением*».

Анджело Мазини — один из величайших теноров в истории оперного искусства, — выразил свое восхищение в записке, переданной Шаляпину на следующий день: «*Уважаемый синьор. Вчера вечером я был в Скала, с величайшим удовольствием имел счастье аплодировать Вам: браво, дважды браво. Тысячи приветствий от коллеги. А. Мазини*». Но этого Мазини показалось мало, и он направляет письмо в русскую газету «Новое время». [...]

---

[4] Там же.

Сам Бойто на премьеру из-за волнения не пошел. Кроме того, он не мог простить миланской публике обиды своих молодых лет, когда опера начинающего двадцатишестилетнего композитора была безжалостно освистана в Ла Скала. Тридцать три года спустя она была торжественно реабилитирована, и адвокатом ее выступал никому до тех пор неизвестный певец из далекой России.

От спектакля к спектаклю нарастал шаляпинский триумф. Имя его становится в один ряд с самыми знаменитыми оперными артистами. Триумф Шаляпина в Милане заставил оперный мир пересмотреть свое отношение к русским певцам. Если до Шаляпина их выступления носили случайный характер и никогда не становились событиями особого значения, то с 1901 года многие солисты Императорской сцены начали получать приглашения выступить перед итальянской публикой.

Перед Шаляпиным открылись двери всех европейских, а чуть позже и американских театров. Дирекция же Ла Скала в письме, посланном Шаляпину немедленно после завершения его гастролей, обращается к нему со следующей просьбой: «*Просим, чтобы Вы прислали нам письмо, в котором бы обещали не принимать никакого предложения в Италии, за исключением Ла Скала*» . В порядке отступления заметим, что успешное сотрудничество Шаляпина с этим самым знаменитым оперным театром продолжалось более трех десятилетий. [...]

Во время своего европейского дебюта Шаляпин не просто добился ошеломляющего успеха, ставшего переломным в его судьбе, он действительно одержал победу в «битве при Милане» («La Battaglia di Milano»). Придирчивый критик может попытаться упрекнуть русских историков в преувеличении его успеха, — пусть в таком случае последнее слово останется за беспристрастным свидетелем событий тех дней. Слово Гатти-Казацца: «*Сказать, что Шаляпин добился успеха во время премьеры, значит сказать слишком мало. Он выиграл битву такую значительную, что публика, вначале полная сомнения и даже предубеждения по отношению к нему, к концу спектакля вышвырнула в шею смельчаков, сделавших попытку освистать его*».

Пройдут годы, Шаляпин покорит своим искусством и Париж, и Лондон, и Нью-Йорк, но никогда не забудется его сенсационный успех в Милане, который стал началом его мировой славы.

1985, № 44

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Умер Аксель Шпрингер, выдающийся немецкий издатель, общественный деятель, публицист, основатель и друг журнала «Континент». Ушел из жизни человек высокой культуры, гуманист в подлинном, а не в демагогическом смысле этого слова, глубоко верующий христианин, принципиальный противник тоталитаризма, всех расцветок – от коричневого до красного, – искренний и неизменный друг России. Его символом веры была Свобода. Всю свою долгую и яркую жизнь он был ее верным рыцарем и оруженосцем. Ей посвятил он энергию гениального организатора, влияние большого общественного деятеля, дар незаурядного журналиста и писателя. С нею до конца дней связывал свои надежды и чаяния.

Он был всегда с гонимыми и угнетенными, вне зависимости от цвета их кожи и политических убеждений. В защите свободы и ее ценностей он не различал «ни эллина, ни иудея». Левые и правые, черные и белые, верующие и неверующие, когда попиралась свобода их совести или взглядов, всегда находили в нем своего последовательного и щедрого защитника.

Одним из первых в Германии, если не самым первым после крушения нацизма, он встал на мучительно трудный для обеих сторон путь примирения между немецким и еврейским народами и довел это благородное дело до более чем успешного завершения. Одно это навсегда обеспечивает ему место в мировой истории.

В своем интервью нашему журналу в 1976 г. он изложил кредо своей жизни в следующих словах: «Ликвидация свободы и ее разрушение означают конец достойной человека жизни. Поэтому я считаю: не верить в свободу, не бороться за свободу – значит отрицать Бога и предавать мир чёрту, в каком бы то ни было виде. Таким образом борьба за свободу – этическое требование. В нем есть что-то от задачи спасения. Из-за этого страстный путь свободы, по которому шел и идет круг друзей «Континента», – это подлинное начало, чтобы дать шанс свободе в несвободных странах европейского Востока».

Воистину так!

Прощай, наш дорогой друг!

«КОНТИНЕНТ»

Обратная сторона обложки «Континента», № 45

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

Колонка редактора

1983, № 38. Война без правил

Начну с банального анекдота, бытующего в современной России. Спрашивают как-то у одного мудреца:

— Скажи, мудрейший, будет война или нет?

— Войны не будет, — отвечает тот, — но будет такой мир, что на всей земле не останется камня на камне.

При всей своей кажущейся парадоксальности, простенький этот анекдот довольно точно отражает ситуацию, в которой оказалось сегодняшнее человечество.

Судите сами: вот уже более шестидесяти лет тоталитарная система, по мнению весьма компетентных специалистов, совершает сплошные ошибки во всех областях своей деятельности: внутренней и внешней политике, промышленности, сельском хозяйстве, культуре и идеологии. Казалось бы, при наличии таких перманентно катастрофических провалов система эта должна была бы давным-давно просто-напросто развалиться.

Но стоит нам с вами только взглянуть на карту современного мира, чтобы убедиться, что, несмотря на это, она — эта система — не только не сократилась в своих чудовищных размерах, а наоборот — чуть ли не вдвое увеличила собственную территорию, а сфера ее политического влияния уже просто не поддается учету, открыто проникая в самую сердцевину демократического общества.

За тридцать пять лет так называемого послевоенного мира советский тоталитаризм захватил почти в два раза больше, чем в результате своих побед в двух больших войнах, или, точнее, тридцать пять стран, то есть в год ровно по одной стране. Если события в мире будут и впредь развиваться в том же направлении, то окончательное торжество тоталитаризма можно уже сейчас вычислить с помощью двух первых правил арифметики.

К сожалению, в пылу споров вокруг конфронтации двух сверхдержав, в громких, но бесплодных дискуссиях о ядерном разоружении, в риторической перепалке глав великих государств свободный мир не хочет или не способен заметить, как советский империализм исподволь, шаг за шагом, в

обход прямого столкновения, дальновидно используя социальные противоречия и политические комплексы Третьего мира, стягивает вокруг демократии петлю идеологического кордона, в стремлении не только отрезать промышленно развитый мир от сырьевых и энергетических источников, но и в конце концов изолировать его морально, чтобы в результате в критический момент поставить ее — эту демократию — на колени, продиктовав ей безоговорочную капитуляцию.

Давайте спросим себя, почему Советский Союз и его сателлиты, практически не давая слаборазвитым странам ничего, кроме устаревшего вооружения и убогих пропагандистских брошюр, занимают в этих странах такие сильные политические позиции, а свободный Запад, при всей своей, хотя, может быть, и далеко недостаточной материальной и гуманитарной щедрости, вызывает со стороны этих же стран в лучшем случае раздраженные нарекания, а в худшем — откровенную ненависть?

Мне кажется, что это происходит потому, что советская пропаганда предлагает народам Третьего мира пусть и примитивную, но все же альтернативу существующему там социальному порядку, то есть альтернативу прямого перераспределения материальных благ, а свободный мир — ничего не решающие подачки да прекраснодушные рассуждения о преимуществах свободы и демократии.

Поэтому я убежден, что будущее демократической цивилизации решается сегодня не за столом женевских переговоров и не через коммуникации «красных телефонов», а в поисках альтернативы для слаборазвитых и порабощенных народов, альтернативы, предлагающей этим народам справедливую и достойную форму общественного существования.

А для этого свободный мир должен апеллировать не к правительствам этих стран, а непосредственно к их народам. Почему, к примеру, не предложить оппозиции каждой такой страны занять место в Организации Объединенных Наций наряду с официальными представителями, хотя бы в качестве наблюдателей? И отчего на этом почтенном форуме находится место Арафату и не находится места Сахарову или Валенсе? Видно, теперь, чтобы представлять свой народ, туда нужно являться не с Декларацией прав человека или Библией, а только с пистолетом или автоматом Калашникова наперевес?

Насилие, разрастаясь наподобие раковой опухоли, уже захлестывает и свободный мир — насилие над людьми по социальному, политическому или национальному признаку. Человек поднимается на человека, движимый темными инстинктами, которые искусно используются тоталитаризмом для дестабилизации и окончательного разрушения последних островов христианской цивилизации.

И это действительно один из видов войны и, может быть, самый опасный ее вид, ибо это война без правил. Поэтому она должна быть поставлена вне закона, какой бы благородной демагогией она не прикрывалась. Только в таком случае, на мой взгляд, мы можем оказаться в этой войне победителями.

Каждому, кто действительно озабочен судьбой Свободы в современном мире, следовало бы, на мой взгляд, усвоить истину, высказанную недавно большим румынским писателем Паулом Гомой:

— Все мы живем в одной Камбодже, и столица этой Камбоджи — Москва!

Поэтому я и позволю себе закончить вещими словами великого Джорджа Вашингтона:

— Вечная бдительность — залог Свободы!

1984, № 42. Еще один урок

После суда над Жаком Абушаром[1] мне то и дело приходится сталкиваться с почти всеобщим недоумением: как, за что, всего лишь за незаконный въезд в страну? Восемнадцать лет? Это возмутительно!

По этому поводу мой друг и коллега по работе в Интернационале Сопротивления, опытный лагерник, приговоренный в свое время в СССР к расстрелу, — Арман Малумян — с горькой иронией заметил, что Абушар получил свои восемнадцать за якобы незаконный въезд в страну, а ему — Малумяну — за его абсолютно законный дали, после отмены смертного приговора, — двадцать пять.

Вот уже почти семьдесят лет советская система чуть ли не каждый день преподает свободному Западу подобного рода уроки, но, несмотря на это, из поколения в поколение, множество — и совсем неглупых! — людей в так называемом свободном мире не перестают удивляться бессмысленной жестокости этих уроков.

Правда, удивляться-то удивляются, но, тем не менее, при всяком удобном случае услужливо спешат сесть с ее никем не избранными представителями за стол переговоров, чтобы заключить с ними очередное политическое или гуманитарное соглашение, не считаясь с тем, будут ли они его выполнять или нет.

И мне кажется, лучшая иллюстрация к этому — Хельсинкские соглашения — величайшая, на мой взгляд, мистификация второй половины XX века.

Судите сами: подписав эти соглашения и в целом, и по частям, советская сторона не только не выполнила ни одного из подписанных пунктов, но и цинично попирает их чуть ли не каждый день: воссоединение семей даже в израильской эмиграции свелось теперь почти к нулю, обмен информацией закончился тотальным глушением западных радиостанций, вещающих на СССР, а все члены советских групп по наблюдению за Хельсинкскими соглашениями упрятаны в тюрьмы, лагеря и психушки.

---

[1] Жак Абушар — репортер французского телевидения, взят в плен советскими оккупационными войсками, осужден на 18 лет тюремного заключения, но в результате франко-советских переговоров «помилован» вскоре после суда и выслан во Францию. — *Прим. ред. — 1984.*

Поэтому для меня и моих единомышленников удивление по поводу приговора Жаку Абушару выглядит по крайней мере наивно. В самом деле, почему всемирно известного ученого, лауреата Нобелевской премии мира, можно без всякого суда отправить в бессрочную ссылку в Горький, а французскому журналисту нельзя дать по суду восемнадцатилетний срок? Напрасно на Западе полагают, что «законы», по которым работает тоталитарное чудище, действительны только внутри коммунистического общества. Они действительны во всем мире и для всех живущих в нем без исключения. По этим «законам» советская система считает себя вправе финансировать международный терроризм, вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, открыто распространять и поддерживать любую самую злонамеренную дезинформацию, убивать, выкрадывать и шантажировать неугодных ей личностей.

И это будет продолжаться до тех пор, пока на Западе, на самых его верхах, функционируют политические деятели, которые не стесняются возлагать венки перед мавзолеем одного из самых величайших убийц в земной истории и называть другого, не менее гнусного убийцу светочем не только Китая, но и всего человечества; пока здесь существуют правительства, которые, принимая главу Южно-Африканского государства, выносят из приемной все диваны и стулья, чтобы гость — не дай Бог! — не мог бы присесть, и в то же время никогда не осмелятся проделать подобный эксперимент не только с Черненко или Громыкой, но даже с такой их ничтожнейшей марионеткой, как Гусак, — и пока свободный мир не обретет наконец в себе решимости к Сопротивлению.

Трудно ожидать сегодня от Запада и тех, кто его представляет на международных форумах, мужества или героизма, слишком уж обмелела здесь человеческая личность, но мы вправе ожидать от них хотя бы чувства собственного достоинства. В противном случае, советские сатрапы будут продолжать безнаказанно плевать им в лицо, пока окончательно не поставят их на колени. Или в другую, еще более унизительную, позицию.

И нечего удивляться!

1985, № 43. Окололитературная бесовщина

Не так давно, в одном из новоиспеченных журналов русского Зарубежья на глаза мне попалась весьма дельная статья с целым рядом метких и справедливых замечаний в адрес новейшей эмиграции, под одним из которых я готов подписаться, что называется, двумя руками.

В новой эмиграции, отмечает автор, — «*весьма ощутима утрата не только исторической, но и биографической памяти. Каждый третий "избравший свободу" журналист считает себя лишь на этом одном основании бóльшим пушкинистом, чем все советские пушкинисты, лучшим знатоком русского языка, чем все советские языковеды (искусствоведы, литературоведы) и пр. Такие авторы позволяют себе ругать кого угодно, не разбирая ни научных заслуг, ни*

литературной судьбы и действительной ценности работ попавшего под руку "подцензурного автора". Кажется, ни одна национальная эмиграция не проявляет "антиностальгии" в такой болезненной форме».

В самом деле, обозревая эмигрантскую критику и ее литературоведение (впрочем, не только новейшие!), только диву даешься, с какой лихостью и с каким апломбом люди весьма скромных литературных дарований, а то и вовсе без оных, сыплют банальностями из советских хрестоматий, раздают направо и налево безапелляционные оценки и приговоры, ревизуют сложившийся десятилетиями (и какими десятилетиями!) литературный процесс в России и навязывают читателю свой личный табель о литературных рангах в качестве самого что ни есть универсального.

К примеру, один уважаемый профессор — литературовед, начинавший еще в Серебряном веке и с советской психологией не имеющий как будто ничего общего, — не стесняется начинать свои статьи с сакраментальной для нас — бывших под советских — фразы: «*Книги этой я не читал, но, тем не менее, должен сказать...*». Другой, уже из новых, хотя и рангом пониже и талантом пожиже первого, считая себя выдающимся пушкинистом, с самоуверенностью золотого медалиста средней школы доверительно сообщает читателю, что Пушкина убило «царское самодержавие». Третий, не уступая второму ни в уровне, ни в наглости, проводит параллель между конформизмом Константина Симонова и... Державина с Тютчевым (представь, дорогой читатель, такую же параллель, проведенную каким-либо современным немецким ученым между конформизмом Ганса Йоста[2] и Гёте с Гегелем!).

В критике же и того хлеще. Начинающий стихотворец (из поклонников героя соцтруда Валентина Катаева), едва-едва сложивший два десятка сносных стишков, уже считает себя вправе поставить имя великой Ахматовой в ряд с Грибачевым и Софроновым, похоронившим, по его авторитетному мнению, всю русскую поэзию. Другая столь же выдающаяся «ценительница», наконец-то открыв для себя величие таких «титанов» мировой литературы, как Ильф и Петров, походя определяет бессмертного Осипа Мандельштама в «поэты иудейские», в каковых сам себя он, о чем свидетельствуют реальные факты его биографии, никогда не числил, ибо сущность творца, как известно любому школьнику, определяется не национальным происхождением, а принадлежностью к культуре. В противном случае, пришлось бы заново переписать историю чуть ли не всей мировой литературы новейших времен. [...]

Впрочем, и этот феномен уже нашел свое объяснение в «открытии» очередного знатока современной литературы из бывших дантистов, заявившего по радио «Свобода» (в передаче, предназначенной, заметьте, для русскоязычного слушателя!), что русские империалисты украли у украинского народа Гоголя, Булгакова и Ахматову. Прости, дорогой читатель, за банальность, но это было бы смешно, если б не было так грустно.

---

[2] Ганс Йост — знаменитый нацистский писатель. — *Прим. ред. – 1985.*

Разумеется, русская литература не перестанет существовать и оставаться одной из самых значительных литератур в истории только оттого, что несколько истерических неудачников попытаются выместить на ней свою творческую несостоятельность, но, к сожалению, окололитературная эта бесовщина весьма способствует разрушительной деятельности тех официальных и неофициальных сил, которые крайне заинтересованы в нашей культурной изоляции в современном мире.

1985, № 45. Внимание: провокация!

Недавно в статье Виктора Некрасова, опубликованной в «Русской мысли», я прочитал о выступлении киноактера Николая Бурляева, знакомого советскому и западному зрителю по фильмам Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Выступление это имело место на собрании в Доме кино, посвященном памяти известного сценариста Геннадия Шпаликова.

По свидетельству, полученному Виктором Некрасовым из Москвы, выступление это носило откровенно антисемитский характер. На первый взгляд, в случившемся нет ничего из ряда вон выходящего: всегда, насколько я помню, в среде нашей творческой интеллигенции находились отдельные личности, которые не считали нужным даже скрывать свои юдофобские настроения. Настораживает другое. Впервые за последние годы антисемитская вылазка не вызвала не только публичного отпора, но и кулуарного возмущения.

«*Я*, — пишет Некрасову его московский корреспондент, — *был единственный, кто ходил по фойе и возмущался, а все шарахались от меня, как от глупого, бестактного ребенка*».

Вот это, на мой взгляд, и есть то угрожающе новое, что дало себя знать в самое последнее время в среде советской интеллигенции.

Разумеется, советская система умело провоцирует и подогревает антисемитские настроения в обществе, пытаясь отвлечь сионистским жупелом внимание народа от действительно насущных проблем печальной советской действительности: духовных, политических и экономических. Но, к сожалению, росту этих настроений в немалой степени способствует и та оголтелая русофобская, а зачастую и откровенно расистская пропаганда, которую ведут на Западе некоторые политологические и советологические круги совместно с частью нашей новой эмиграции.

Во многих возникающих и вскоре исчезающих, как грибы после дождя, газетках и журнальчиках, а заодно и по многим радио, вещающим на русском языке, русскому читателю и слушателю сообщается о его духовной и политической неполноценности, о его врожденной жестокости и раболепии, о полном отсутствии или нищете его истории и культуры. Вся эта, с позволения сказать, продукция, конечно же, проникает прежде всего в образованную среду, а оттуда в виде пересказов и слухов распространяет-

ся во все слои нашего общества. И, разумеется, советская печать с охотой цитирует этих новоявленных сирен, выдавая их человеконенавистнический бред за «общественное мнение» Запада. К счастью, подлинно представительная часть западной общественности придерживается совершенно иного мнения. Но, тем не менее, как мы теперь убеждаемся, разрушительный яд русофобии делает свое дело, вводя в заблуждение легковерных и помогая советской системе шантажировать русский народ мнимыми опасностями.

Дело иногда достигает пределов, в цивилизованном обществе почти немыслимых.

Совсем недавно, к примеру, некие самозванные представители еврейского и украинского народов воздвигли в Израиле памятник «украинским жертвам нацистов и русских». Это уже попахивает не только преступной глупостью, но и просто провокацией в духе нашей незабываемой Лубянки, ибо ни еврейский, ни украинский народы, уверяю вас, не имеют к этой гнусной затее ровно никакого отношения.

Разумеется, расистские завывания разного рода окололитературной и околополитической публики, компенсирующей этим свою профессиональную несостоятельность, не могут вызвать у нормальных людей ничего, кроме брезгливости и презрения, но яд ее русофобии и человеконенавистничества, как свидетельствуют реальные факты, уже оказывает у нас в стране свое разрушительное влияние.

Поэтому всякий раз, когда розенберговские наследники в западной советологии, политологии и славистике, а также в нашей собственной среде выплескивают на страницы западных и русскоязычных изданий свои убогие по уровню, но воинствующие по содержанию псевдоконцепции, мы обязаны предупреждать наших читателей, как на Западе, так и в тоталитарном мире:

ВНИМАНИЕ: ПРОВОКАЦИЯ!

1985, № 46. Сталинизм с безусым лицом

Новому советскому Генсеку 54 года. Возраст, к которому Ленин, считавшийся в то время стариком, успел уже умереть. И все же, как в СССР, так и на Западе Михаил Горбачев единодушно признан молодым. Что ж, все на свете относительно. К примеру, по сравнению с ныне здравствующим Молотовым даже 84-летний Кузнецов выглядит молокососом. Непонятно другое: почему, по каким серьезным признакам этот очередной вождь провозглашен «*динамичным реформатором либерального толка*», способным коренным образом изменить существующую в стране систему и повести ее по пути мирного экономического развития? Не стучит ботинком по столу во время переговоров с западными партнерами и не блюет на стол в разгар званых обедов? Но ведь и Ленин со Сталиным этим не отличались. Прилично одевается? Но при наличии денег (по себе знаю!) и знающих консультантов это не такая уж хитрая наука. Сносно говорит? Но даже Хрущев, не говоря

уже о том же Сталине, говорил гораздо образнее и живее. Тогда все-таки почему же?

Свет на это проливает интервью, данное им недавно американскому журналу «Тайм». И не столько само интервью, сколько предпосланный к этому интервью редакционный комментарий. По постыдной льстивости тона комментарий этот далеко превосходит все, что писала в последнее время о Горбачеве даже газета «Правда». Чтобы позволить себе такую холуйскую лесть, надо обладать поистине абсолютным отсутствием чувства собственного достоинства или какого-либо стыда.

Следовательно, дело не в том, что общественное мнение Запада в очередной (и в который уже!) раз хотят обмануть, а в том, что оно страстно жаждет быть обманутым, ради сиюминутных политических выгод, а также связанного с ними душевного комфорта.

А ведь не надо обладать особым политологическим чутьем, чтобы прочесть в этом интервью четкую и откровенную программу возрождения сталинизма во всех сферах советской внешней и внутренней политики: жесткий централизм (от которого, кстати сказать, пусть вяло и непоследовательно, но пытались избавить систему послесталинские предшественники Горбачева), железная дисциплина в обществе и политика с позиции силы по отношению к Западу.

Да это и неудивительно. Новый Генсек, в отличие от своих предшественников, которые так и не сумели до конца своих дней изжить в себе памяти о том времени, когда жизнь каждого из них, вне зависимости от степени их лояльности, ежедневно и ежечасно висела на волоске, принадлежит к поколению, свободному от этого страха. Для него и его сподвижников Сталин — это уже не персонификация страха, а миф и желанная модель общества. К сожалению, для многих на Западе сталинизм исчерпывается трагедией ГУЛага, но это далеко не так. ГУЛаг был лишь одной и не самой характерной частью сталинской эпохи. ГУЛаг только следствие, а не причина сталинизма. Но и в этом смысле, с первых же шагов Горбачев пытается наверстать упущенное. Репрессии против инакомыслящих, о которых при Брежневе даже не вспоминали, приняли тотальный характер. В тюрьмы пошли религиозные мыслители, неомарксисты, неформальные сторонники мира и так далее и так далее. Всем ранее осужденным и уже отбывшим наказание политзаключенным в спешном порядке «наматываются» новые сроки. Кто теперь гарантирует, что выпущенный из бутылки дух репрессии удержится в заданных ему рамках и не выйдет из-под контроля? Не следует забывать, что Горбачев не только выученик «прагматика» Андропова, но и соратник по управлению комсомолом таких убежденных сталинистов, как Шелепин и Семичастный, у которых в столе в свое время уже лежали проскрипционные списки на всю советскую либеральную интеллигенцию, включая нынешних конформистов вроде Евтушенки и Рождественского.

Мне надежда видится в другом: в полном провале новоявленного сталинизма, ибо для его успешного возрождения необходима не только жесто-

кость, которой господа Горбачевы обладают в полной мере, но еще ум, воля, знание массовой психологии, глобальный уровень мышления, наконец, чего (к счастью!) эти минитираны лишены от природы. Нельзя же всерьез считать признаком «политической динамичности» смехотворную, превратившуюся уже в свою карикатуру антиалкогольную кампанию, клишированные заклинания о дисциплине, хождение в народ (прием, украденный у Хрущева), ссылки на Бога (тоже краденное, только у Брежнева: вспомните Вену!) и ужесточение агрессии в Афганистане.

Вольно «Тайму» умиляться голосом нового советского Генсека, будто он оперный певец. Журнал этот, кстати сказать, умилялся всем подряд советским вождям, начиная от Ленина, но нам не следует забывать, в какую цену уже обошлось это умиление человечеству за шестьдесят восемь лет существования всепожирающей системы советского тоталитаризма.

Сталинизм с безусым лицом может оказаться куда более опасным и беспощадным не только для своего народа, но и для окружающего его мира, чем его знаменитый предтеча в портретном исполнении Пабло Пикассо.

Интервью с Максимом Шостаковичем

— Максим Дмитриевич, говоря о вас, о вашей музыкальной карьере, никто, разумеется, не забывает упомянуть, чей вы сын. [...] ***Каковы были ваши взаимоотношения с отцом?***

Знаете, у меня вообще с родителями: и с мамой, которая умерла, когда мне было всего шестнадцать лет, и с отцом, особенно с отцом, — отношения были редкостные, можно сказать, идеальные. Я не помню, чтоб хоть раз, хоть в чем-то у нас с ним были расхождения. Всегда было теснейшее содружество. Он не давал мне, так сказать, «академических» уроков, но именно его я считаю своим главным учителем — и в жизни, и в музыке.

— А что значит для вас композитор Шостакович?

Оценивая музыку Шостаковича, я не исхожу из того, что я его сын. Он для меня поистине гениальный творец. «Гений» в моем понимании — это и художник, и человек, и мыслитель, философ, поднимающийся в своем творчестве до самых всеобъемлющих мировых и человеческих проблем в полной октаве их сочетаний.

— Всю свою сознательную жизнь ваш отец прожил советским гражданином, «советским композитором». Как, по-вашему, отразилась в его творчестве история этих десятилетий?

Рискну сказать, что, несмотря на свое привилегированное положение, несмотря на то, что лично его и нашу семью общая трагедия вроде бы пощадила, во всяком случае, не затронул террор, — Шостакович мог бы сказать о себе примерно то, что сказала о себе Анна Ахматова: «я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Испытания его соотечественников были и его испытаниями. Общенародная трагедия и трагическая судьба личности — вот основное содержание его произведений. Трагизм его сочинений становился для слушателей источником катарсиса, помогал духовно очиститься, пережить самые горькие моменты жизни.

И, как метко сказал один искусствовед, о советском времени будут судить по произведениям Шостаковича.

— Что дала советская власть Шостаковичу и что отняла у него?

Советская власть в своем отношении к Шостаковичу чередовала гонения и награды, но и то и другое служило одной цели: на протяжении всей жизни она пыталась подчинить себе творчество композитора. К счастью, она в этом не преуспела. В творчестве своем Шостакович превыше всего ставил правду.

Что отняла — сказать труднее: откуда нам знать, что могло бы быть в иной, непрожитой жизни? Можно только быть уверенным, что не «отними» она этих неразвернувшихся возможностей, она не «дала» бы и того, что отразилось в его музыке и на его музыке.

— Максим Дмитриевич, вы в Советском Союзе были в блестящем положении — не только материальном, но и творческом: глава одного из лучших оркестров, концерты, записи, гастроли, в том числе заграничные. И — «перешли на сторону врага»… Знаете, как удивляется в таком случае обыватель: «И чего ему собственно не хватало?» В самом деле, чего вам не хватало — кроме «абстрактной» свободы?

Я понимаю иронию в ваших терминах, и все же хочу подчеркнуть, что я отнюдь не «перешел на сторону врага», — наоборот, я жаждал встретить истинных друзей свободной России. За свою жизнь в СССР я столько насмотрелся на страдания отца, на страдания народа, во мне накопился такой мощный отрицательный потенциал, что больше не было сил терпеть. Передо мной стояла дилемма: или махнуть на все рукой, подчиниться, приспособиться, или — как умею — протестовать. Мое «невозвращенчество» — посильная для меня форма протеста против советского режима. Это, наверно, звучит банально, но социально это так и есть. Психологически тоже. Хотя материально я в СССР был достаточно обеспечен, я слишком остро ощущал отсутствие истинной свободы, отнюдь не абстрактной, свободы духа, остро воспринимал рабское и раболепствующее окружение. Я дошел до предела, и мой «исход» стал выходом из тупика.

— Какое последнее сочинение вы исполнили с советским оркестром?

Симфонию «Манфред» Чайковского. Это было 12 апреля 1981 года в городке Фюрт близ Нюрнберга, — мое последнее совместное выступление с оркестром, которым я руководил десять лет. Автобусы для оркестра после концерта подали к выходу, прямо впритык, а оттуда нас уже увезли бы на аэродром — и всё. Мы с моим сыном Митей вышли через запасной выход и в полиции сразу же попросили политического убежища.

— А как реагировали власти в СССР на ваш побег? Были ли преследования против кого-нибудь из ваших близких?

О преследованиях такого рода я ничего не слышал — надеюсь, что не было. А о реакции на мое невозвращение я могу судить только по статье в «Литературной газете», где сообщалось, что, во-первых, я посредственный дирижер, во-вторых, завидую имени своего отца (?!) и, в-третьих, гоняюсь за «длинным рублем». Под «длинным рублем», видимо, разумеется доллар.

— Есть ли какие-нибудь различия в работе дирижера с оркестром в СССР и здесь?

Мне нравится, что здесь, в условиях свободы, стираются отношения дирижера и оркестрантов как начальника и подчиненных, — в СССР такие отношения нередки. Здесь это в большей степени отношения соратников, единомышленников. Я думаю, что музыкант в оркестре тогда сыграет хорошо, когда он того искренне хочет, а не когда его заставляют. Какая бы то ни было грубость, а тем более административное давление на репетициях здесь исключены. Каждый раз, когда оркестр играет с новым дирижером, музыкантов — путем специальных анкет — опрашивают: как прошел концерт, каково мастерство дирижера. Они откровенно высказывают свое мнение, и с их мнением считается администрация оркестра, а не наоборот.

— Действительно ли в советской музыкальной практике проявляется антисемитизм?

Знаете, он проявляется, в основном, в кадровой политике. Например, наш оркестр принадлежал радио и телевидению, т. е. «режимной» организации, и не так-то легко было добиться зачисления в штат талантливого музыканта-еврея.

— Как вы слушаете — точнее, как вы слышите музыку?

Ушами, умом и сердцем — в той степени, какую дал мне Бог. Звуки — это как слова. Музыка — как роман. Например, «Бесы» Достоевского.

— А сами вы пробовали сочинять?

Только в раннем детстве, потом бросил. Всегда отвечаю: по-моему, одного композитора с такой фамилией вполне достаточно. [...]

— Дело вашей жизни — музыку — вы сравнили с романом, вообще со словесностью. Похоже, что вы из тех русских, что не могут жить без литературы. Что вы думаете о русской литературе в изгнании?

Я с радостью убедился, что это настоящая большая литература — и по художественному уровню, и по кругу затрагиваемых проблем. Без нее действительно трудно бы нам пришлось вдали от родины. Я только не хочу давать никаких перечислений, никаких списков имен: непременно забуду кого-нибудь упомянуть, а мне вовсе не хочется обижать тех, кого я действительно люблю.

Взял интервью А. Мирчев

1983, № 36

Балерина

Интервью с Натальей Макаровой

— Не хотите ли вы начать с рассказа о вашем детстве?

[...] Мне было шесть месяцев, когда началась война. И пять лет до конца войны я провела в деревне. Деревня дала мне силы для выживания в этом мире. Я помню деревню прекрасно, здоровый воздух, козье молоко. Наверно, последние годы моей жизни я тоже хотела бы жить в деревне — настоящей деревне, здесь такой не найдешь, — с коровами, с лесом. Леса тоже такого здесь не найти, с грибами, — я знаю все виды грибов, сама коров доила, работала в поле, вязала снопы. Маму скоро вызвал Ленинградский завод, и я осталась с бабушкой. Отец пропал без вести во время войны, так что его я не видела и не помню. От меня даже долгое время скрывали, что у меня был настоящий отец. И только позже я узнала, что мой отчим — не отец. Макарова — это фамилия от отца, я одна в семье Макарова.

— Когда вы вернулись в Ленинград?

После войны. Подстрижена я была тогда под горшок. Как мама говорит, она оставила меня цивилизованной девочкой, в хорошеньких платьицах, а приехала я абсолютно деревенской пятилетней девчонкой, окающей, как чухломинка. Надо было привыкать к отчиму, которого я не восприняла сначала, не знаю, почему.

Трудное время после войны, карточки... Помню, как однажды я потеряла хлебные карточки, это была катастрофа для семьи. Но как-то мама изворачивалась. Жизнь налаживалась. Я помню, постоянно хотелось сладкого. Вскоре пошла в школу. До школы я уже могла читать и считать, и в первом классе мне было неинтересно, совершенно. Украдкой я читала Жюль Верна «Таинственный остров» под партой. Если бы вы попросили интервью у моей мамы, она бы с энтузиазмом рассказала о моих похождениях в детстве. [...]

— Потом вы пошли в балетную школу, к Вагановой. Можете вы сказать, в чем заключалась ее методика обучения?

Попала я в школу совершенно случайно. До этого я была в кружке Дворца пионеров, занималась гимнастикой, акробатикой и, наконец, попала в хореографический. Я была как-то не к месту в этом кружке, и мне сказали: «Девочка, тебе лучше будет вон там через дорогу, там Ленинградское хореографическое училище на улице Зодчего Росси, и им ты подойдешь больше, чем нашему кружку». Ну, я пошла сама, нашла, поднялась наверх, попала в медпункт. Меня взвесили, измерили, поднимали ноги, и, по-моему, я произвела впечатление. Пришел толстый директор Шелков, спросил номер телефона, что я делаю, в какой школе учусь. Я была очень рассеянная девочка и в силу этого — дала другой номер телефона. И как-то все это вылетело из головы, для меня это была своего рода авантюра, и я забыла о ней. Меня нашли через несколько месяцев все-таки и стали уговаривать моих родителей, чтобы я перешла к ним, потому что у меня есть способности, данные. Однако родители были совершенно другого мнения, поскольку в школе я была первой ученицей и они мне прочили иную карьеру. Балет тогда еще не ценился как-то высоко как профессия. Но после долгой борьбы дирекция хореографического училища отвоевала меня.

Я попала в экспериментальный класс, поскольку к тому времени мне было тринадцать лет. Вместо девятилетней программы была шестилетняя, из-за возраста. [...]

Метод Вагановой. Он заключался в полном и всестороннем образовании. Не ограничивался только хореографическими знаниями. Во-вторых, танцевальное образование включало не только классику, но и характерные танцы, актерское мастерство, музыку и даже фехтование. Потом — мы жили по соседству с театром, и эта близость тоже помогала в творческом плане, сама атмосфера, история театра, история балета, история литературы, живописи. Все это нужно для творческого человека, если впоследствии он становится таковым.

В училище я больше стремилась к общеобразовательным предметам, сосредоточилась я на профессии, которая станет моим будущим, только в последний год. Вдруг меня ударило, что я все-таки должна танцевать. Пробыла я там с тринадцати до девятнадцати лет. На выпускном танцевала «Лебединое озеро» — Одетту — и второй акт из «Жизели». Неожиданно пришел успех, всем очень понравилось. Я до сих пор помню свои возбужденные смешанные чувства, связанные с первым в жизни букетом цветов, первым поклонником.

Я еще так и не знала, хочу ли быть балериной.

После выпускных экзаменов — меня приняли в Кировский. Я не была особенно счастлива. Как многие русские, которые переначитались Достоевским, я была очарована идеей страдания. Не желая легкой жизни, я хотела уехать в Сибирь в Новосибирск и там начинать... Благо умные люди отговорили.

— Как началась ваша жизнь в Кировском театре?

Осенью 1959 года я впервые появилась в Кировском театре, театре, которого смертельно боялась.

Я была толстой, то есть не толстой, но у меня были округленные формы. Я начала курить, чтобы похудеть. Вы знаете, что все начинают с кордебалета. Это было очень трудное время, потому что я не чувствовала в унисон со всеми, всегда выделялась либо в плохую сторону, либо в хорошую. Я все никак не могла быть одинаковой. Так что вскоре меня оттуда, к моему счастью, выгнали и стали поручать сольные партии и даже целый балет. Мне не долго пришлось ждать.

— То есть вы хотите сказать, что вы шли от обратного: чтобы вас убрать из кордебалета, вам стали давать сольные партии?!

Да, да! Серьезно, потому что это было бесполезно держать меня в кордебалете. В конце концов, я похудела. Мне повезло, в меня как-то поверили с самого начала, в талант поверили. В то же время у меня не было никакой технической подготовки: мышцы еще не держали тело. Но мне давали много ролей, не обращая внимания на то, что я не справляюсь с ними чисто технически. Их продолжали давать. И так я росла, пока не выросла. [...]

— Десять лет в Кировском театре, как бы вы охарактеризовали эти годы?

Я жила не так, как другие. Мне многое прощалось. Я не была ни во что вовлечена, ни в политическую, ни в общественную жизнь. Меня даже всерьез не воспринимали. Воспринимали как талант, но не как личность. Я была своего рода ребенком, занятая своими разводами и прочими атрибутами личной жизни.

— И между этим танцевали?

Да. Поэтому все были удивлены, когда я осталась на Западе. [...]

— Что привело вас к такому, с советской точки зрения, «дурному» поступку?

Это чувство, которое, конечно, вам знакомо, вероятно... — беспросветность. Все время находишься под какой-то властью, никаких решений сама не можешь принять, многое от тебя просто не зависит. Все катится, и ты уже знаешь, как это покатится и... к какому углу тебя прикатит. Все уже ясно было, что со мной произойдет, а натура, вероятно, у меня беспокойная. И, честно говоря, мне стало скучно, мне стало скучно до ужаса, я стала бояться за себя, что со мной будет, внутри, за свое внутреннее состояние. Снаружи — я знала, что все у меня будет благополучно, не произойдет никаких катастроф, но я очень не хотела, чтобы у меня внутри что-то умерло. Мне

было страшно потерять духовный стимул. Ну, сколько можно разводиться, сколько можно танцевать ролей, когда других не предвидится. Значит, нужно было тянуть лямку удобной жизни. А я хотела перемен. Очевидно, это было в подсознании, подоплека, почему я осталась. Но как я уже говорила — действительно, честно: я не планировала остаться, у меня бы не хватило мужества все это подготовить, рассчитать и сделать такой шаг. Но подготовлена я была внутри, абсолютно. Психологически.

— И как же это конкретно произошло? Как вы остались на Западе?

Гастроли были в Лондоне, выступали в Фестивальном зале. Я танцевала «Жизель», успешно очень, у меня всегда Жизель получалась хорошо, с самого первого раза. Я познакомилась с весьма интересными людьми, мне понравился их образ мышления, свобода суждений и разговоров, обо всем, о жизни, о происходящем. Это было поразительно, видеть, как люди раскрепощены психологически. Я обнаружила, что у меня тоже есть свои собственные мысли и я могу поддерживать подобные разговоры и быть интересной. Никогда такой уверенности я не испытывала в себе.

Звали этих людей Родзянко, Владимир и его жена Ирина, они были русского происхождения, их дедушка был известен в России. В один прекрасный день, 3 сентября, они ждали меня на ужин. В этот день я не танцевала. Как правило, я всем должна говорить, куда я ухожу, но в этот вечер я никому не сказала, не знаю почему, подсознательно, фатальность (?). Мне также непонятно, почему я попросила, чтобы они ждали меня далеко от театра, а не близко. В лифте я встретила Дудинскую. Мы спускались вместе. А мне было совершенно все равно, но подсознательно, беспричинно я подумала, что она не должна видеть, куда я пойду. С ней были двое мужчин из театра, стукачи.

И без всякого умысла я обогнула театр два раза и пришла к ждущей машине. Но в голове у меня ничего особенного не было. Думала: ну, поужинаем, поговорим, привезут назад в отель. И тут началось: они первые подали мне мысль. Идея сбежать мне никогда не приходила в голову. Стали говорить, что я должна остаться, что это единственный путь для меня выжить, чтобы выжило мое искусство, сама я как личность.

Я начала смеяться и говорить: ну, куда же я, куда мне без России! Но капля попала на благодатную почву, к концу вечера я была уже готова. Я фаталист по натуре. И верю в предзнаменования. Повинуюсь эмоциям, а не разуму. Позволяю судьбе вести, а не стараюсь руководить ею. Это, пожалуй, единственные объяснения, которые я нашла позже тому вечеру. Я плакала. Потом неожиданно сказала: «Вызывайте полицию. Я готова». В полицейском участке я выкурила, как мне казалось, десять пачек сигарет. Наутро я получила разрешение остаться в Англии. После этого два приятных джентльмена из Скотланд-Ярда увезли меня за город на специальную виллу, где я находилась какое-то время, пока не улеглись страсти.

— Ваше первое выступление здесь?

Я танцевала «Умирающего лебедя» для телевидения. И вместе с Нуреевым мы сделали па-де-де Черного лебедя из «Лебединого озера». Телевизионная программа была записана и показана по Би-Би-Си.

— А затем Америка — страна сбывающихся надежд и разрушенных мечтаний?

Слава Богу, для меня ничего не разрушалось. Я сидела посредине Лондона и не знала вообще, что мне делать: не имела никаких планов и не пила из родника надежд. Отпал Королевский Балет из-за внутренних интриг между прима-балеринами, которые не хотели чужестранку. Век балерины короткий — я их не виню. И в это время я получила приглашение из Американского Балетного Театра (АБТ) от его художественного директора Лючии Чейс. Поскольку ничего другого не предполагалось и театр нравился мне разнообразием своего репертуара, я согласилась. Так осенью 1970 года я прибыла в Нью-Йорк. Моя задача была проста — выжить. На это ушли мои первые два года. Я была довольно одинока. Не знала языка, образа жизни, правил, привычек — одинокая женщина на Западе, друзья появились позже. И единственная отдушина была работа — сцена, театр. В свой первый вечер в Нью-Йорке — мой дебют с театром — я танцевала Жизель. [...]

— Как произошла ваша первая встреча с Барышниковым?

Когда я осталась в 1970 году в Лондоне, то все в театре были удивлены, что я, а не он. Этого ожидали скорее от него, но не от меня. Летом 74-го я работала в Лондоне снова с Королевским Балетом. И вот 30 июня в 5 часов утра резко зазвонил телефон в моей лондонской квартире: это был Миша Барышников, который звонил из Торонто, где он находился на гастролях с Кировским. Дрожащим голосом, запинаясь и сбиваясь, он сообщил мне, что принял твердое решение остаться на Западе и уже попросил политического убежища в Канаде. Я постаралась всячески уверить его и пообещала, что сделаю все возможное для него в АБТ (театре, директором которого он сейчас является). В Нью-Йорк я улетала на следующий день. Я сознавала, что для такого танцора, как Миша, АБТ был единственным местом в Америке, где он мог сразу показать свою феноменальную технику и артистичность. Вскоре все было договорено, и Миша прибыл в Нью-Йорк во второй половине июля. Наша встреча была наполнена эмоциями: мы не видели друг друга целых четыре года. В моей памяти он остался как юный и довольно талантливый танцор, без особого опыта партнерства. На нашей первой репетиции в Нью-Йорке я была приятно удивлена, найдя в нем замечательного партнера и зрелого артиста. [...]

Первое выступление Миши после побега — со мной. Наше первое выступление — балет «Жизель» — 27 июля было триумфом: Барышников обрушился на Нью-Йорк как шторм. В этот вечер я танцевала для него. Я помнила, как важна была психологическая поддержка для меня в первые выступления в Америке, которую я полностью получила от моих тогдашних партнеров, — и я пыталась сделать то же самое для Миши.

— Вы сказали «побег»?

Это действительно так и было. Когда Барышников после выступления выскользнул за кулисы торонтского театра, а потом на улицу — он бежал, мчался, так быстро, что пронесся мимо машины с ожидающими его друзьями, которые должны были отвезти его в полицию.

— Почему бегут из «самой лучшей» страны на свете? Из страны, где балет по-прежнему на высоком профессиональном уровне?

Бегут по разным причинам. Одни — потому что здесь удобнее и лучше жить, другие — из чисто артистических соображений. Третьи бегут и по первой и по второй причине. И бегут просто для свободы духа, — звучит, может быть, банально, но это действительно так. Я лично, хотя сейчас многое уже забыто, не могу себе представить, как бы я там ужилась: ведь это же надо лгать, надо приспосабливаться, и это нужно делать официально. Потом с точки зрения творческой свободы — все ограничено, везде лимит, это накладывает свой отпечаток на репертуар. А ограниченный репертуар — ограничение искусства. Что может быть ужасней? Ограниченный, без свободы. Единственное, что я должна сказать хорошее о России: я им благодарна за школу. Я через многие школы прошла, русская школа — лучшая. Говорю от чистого сердца.

— В 1983 году в Нью-Йорке на Бродвее прогремел ваш мюзикл «На пуантах». Как вы «дошли до жизни такой»?

Как я дошла до такой жизни: кончила Бродвеем... Ну, во-первых, я еще не кончила, продолжаю. А во-вторых, я очень рада, что прошла через этот опыт. Это большая редкость, особенно для русских. Попасть после Кировского театра, классического репертуара, на Бродвей — даже моя буйная фантазия себе подобного не рисовала. Мюзикл имел необыкновенный успех и получил все возможные награды, которые присуждаются бродвейским постановкам. Не обойдена, естественно, была и прима, так как являлась главным ядром спектакля. Газеты наперебой писали о творческой удаче — я сама не ожидала. Протанцевала я его несколько месяцев и больше не могла (благо у меня были льготные условия и договор). Меня вообще поражает система Бродвея, я не могу понять, как они, актеры, могут выдержать восемь

спектаклей в неделю (два дневных) в течение года, иногда двух, — тот же самый репертуар, один спектакль. Но я получила большое удовольствие и огромное удовлетворение. По-моему, это дает мне дорогу на будущее, если я захочу перейти в другую сферу, пограничную область... Помимо этого, я поняла, что могу говорить со сцены, не только двигать ногами и руками. Хотя трудно было произносить английские слова, чтобы дошло до публики через оркестровую яму, чтобы понимали все. Так что мне пришлось и с голосом работать.

— А что ваши последние балеты, последние выступления?

Сразу после Бродвея я перешла в Метрополитен Оперу, у меня был сезон с Роланом Пети. За короткий срок я выучила три новых балета. А после этого два месяца танцевала в Ковент-Гардене — «Манон Леско», «Месяц в деревне». Ну, а теперь наступил 1984 год...

Есть некоторые мысли, скорее планы — я бы хотела играть в театре, актрисой. Все-таки век актрисы дольше, чем век балерины. И когда мое тело станет непослушно мне, откажется повиноваться (а и такое когда-нибудь произойдет), тогда, возможно, и случится этот переход, транзит. А пока...

— Несколько личных вопросов. Всем известна ваша любовь к чтению. Ваше мнение о русской литературе там и здесь. Ваши любимые писатели?

Я попеременно увлекалась Толстым, Достоевским, Чеховым, пожалуй, я остановилась на Достоевском. Из двадцатого века: как только приехала, набросилась на литературу здесь как голодная, столько всего перечитала, особенно первые три года, пока догнала... Потом увлеклась философией.

О литературе там и здесь. Я думаю, что ее там нет, потому что просто и невозможно. Последние, кто были там, — уже здесь, высланы или выгнаны. Там можно жить только на прошлом. Возможно, я что-то пропустила, за тринадцать лет отсутствия. Но даже те, которые достойны быть названы писателями, свое лучшее, наверно, в стол пишут. А как иначе — я не представляю.

— Ваш любимый балет?

«Жизель» прежде всего, вошла в мою кровь. «Манон Леско» — балет Макмиллана, всегда доставляет мне большое удовольствие танцевать. Чем хороша эта роль — там все есть: и различные чувства женщины, и драматизм, и юмор, и возможность бесконечно расти в роли. Можно назвать много других — «Евгений Онегин» и... но вы хотите «один». Скажу, что меня всегда больше привлекает танцевать роль там, где есть драма, где есть за что-то ухватиться, из чего можно сделать образ. Наверно, поэтому меня сейчас и тянет все ближе к театру.

— Вопрос, который вы хотели бы задать самой себе?

Зачем я танцую?!. Зачем я стала балериной? Слава Богу, что я стала балериной: по-моему, это самая лучшая профессия для женщины, которую можно придумать. Но для этого нужно родиться балериной, нужны кое-какие другие пустяки: талант, школа, техника, артистичность. Я часто сама сижу и думаю, задаю себе вопрос — про себя, надо подвести все-таки итог: довольна ли я достигнутым, удовлетворена тем, что сделала в балете? Я скажу, что нет. Вы возразите: «Да что вы! У вас такая карьера!» И все равно недовольна, вот какой-то одной роли, в которой бы все воплотилось... так и не было. Возможно, еще появится, а я... хотя я еще жду.

— Арманд Хаммер только что выпустил фильм «Кировский театр», о балете, вы там есть?

Что вы, я там даже не существую! Я и в энциклопедии не существую: они составили энциклопедию, интернациональную, и здесь выпускают, — так, ни я, ни Барышников, ни Нуреев попросту не существуем. Фильм скучный, но приятно было видеть старых коллег. Кстати, хочу сказать, и я очень довольна, что жена Леонида Якобсона приехала, начинает новую жизнь, трудно поначалу, но большие знания и школа помогут, — я уже с ней занималась. Она сейчас в Брюсселе, эмигрировала со своим сыном и матерью.

— По какому пути пойдет АБТ? И здесь же о его директоре: двум звездам подчас бывает трудно ужиться на одном небосклоне — каковы ваши взаимоотношения?

[...] С Барышниковым у нас нормальные отношения, но никакой дружбы, близости, которой русские известны, нет. Я ему помогла поначалу, просто помогла вступить в эту жизнь. А потом мы разошлись.

— Если б была когда-нибудь возможность съездить в гости, поехали бы? Ну, представим себе утопию: вдруг переменится все (не все, но хотя бы, как в Польше...)?

Да, поехала бы, и из аэропорта — прямо в лес!..

Взял интервью А. Мирчев

1984, № 39

«Простите им, ибо не ведают, что творят...»

Беседа с Армандо Валъядаресом

— Прежде всего, мы благодарим вас за любезное согласие ответить нашему журналу на предлагаемые нами вопросы. Читатели «Континента» уже знают вас как поэта и человека по опубликованным нами стихам. Поэтому сейчас мы хотели бы поговорить о вашем мировоззрении, внутренней философии и взглядах на окружающий вас мир.

По причине, к которой я вернусь позже, ваше решение мне предоставить ваши страницы имеет особое значение для моих братьев, сидящих в кастровских тюрьмах. Прежде чем начать разговор об этом, я хочу поделиться с вами некоторыми соображениями о своем собственном религиозном опыте. Меня посадили, когда мне было двадцать три года, обвинив в преступлениях, которые я никогда не совершал. В этот момент мои религиозные убеждения были искренними, но, вероятно, поверхностными. Религиозные верования сводились для меня к тому, чему меня учили дома и в школе, как учат детей правилам поведения или азбуке.

Тем не менее, эти минимальные религиозные убеждения делали из меня врага коммунистической революции на Кубе и в какой-то мере помогли убедить моих судей и обвинителей, что я — потенциально опасный противник. Как бы то ни было, как только я попал в тюрьму, я стал ощущать глубокие изменения в своих религиозных чувствах. Я полностью отдался Богу, может быть от страха, что потеряю жизнь, ибо меня могли просто убить.

— В чем выразились для вас эти изменения?

Сегодня, двадцать два года спустя, после этих ночей, наполненных ужасом и страхом, такой путь, ведущий к Христу, мне кажется человечным, но неполным. Позже я пережил второй христианский опыт: мне пришлось видеть, как молодые ребята, в большинстве своем крестьяне и студенты, умирали на изнурительных работах с последним криком: «Долгая жизнь Христу-Господу!» Я понял тогда, что помощь в Нем. И не только потому, что Он спасает жизнь, а потому тоже, что Он придает жизни и смерти, когда она случается, этический смысл, облагораживающий их. Я думаю, что

именно в этот самый момент, — а не раньше, — когда христианство, помимо религиозной веры, стало для меня и образом жизни, оно и вылилось в сопротивление. Сопротивление пыткам, сопротивление изоляции, сопротивление голоду, сопротивление постоянному соблазну капитулировать. Но мое сопротивление как христианина не должно было превращаться в слепую форму личной отваги, а стать спокойной и всепронизывающей борьбой за свои демократические убеждения, непоколебимой волей сохранить свое достоинство и уважение к самому себе даже брошенному голым на дно камеры, и превратиться в человеческий Отказ.

— Была ли ваша религиозная эволюция в тюремные годы уникальной или она проявлялась и в других окружавших вас людях?

Я видел десятки страдавших и умиравших христиан, полных решимости сохранить свое достоинство и духовные богатства, несмотря на страдания и нищету. Быть христианином в такой обстановке означает отказаться от ненависти к своим мучителям; это означало сохранить веру в то, что страдания полны высшего смысла, ибо, если человек отступает от моральных и религиозных ценностей, если он позволяет себе держаться только чувством ненависти или жажды мести, его существование теряет всякий смысл.

— Могли ли бы вы привести наиболее яркий пример из этого опыта?

Сердце сжимается, когда я вспоминаю сегодня Герардо Гонзалеса, протестанского священника, знавшего на память целые куски из Библии, которые он переписывал от руки, чтобы делиться ими со своими братьями по вере. Я не могу забыть этого человека, которого все звали «Братом по Вере». Во время широко известного теперь эпизода истребления заключенных в тюрьме Бонатио, он пожертвовал собой, чтобы защитить их и спасти. Умирая, Герардо повторил слова, сказанные Христом на кресте: «*Простите им, ибо не ведают, что творят...*» Но всем нам после этого долго еще пришлось бороться со своей совестью, чтобы достигнуть такого труднодоступного и прекрасного чувства: прощать врагам.

— Возможно ли в таких нечеловеческих условиях сохранить в себе это чувство? По силам ли это человеку?

Для Бога нет ничего невозможного. Как нет ничего невозможного для тех, кто любит и ищет Его. Чем меньше я ненавидел своих тюремщиков, тем больше мое сердце заполнялось любовью и верой, и это давало мне силы перетерпеть все. Нет, я не становился конформистом или мазохистом; просто из-за полноты радости, внутреннего покоя и свободы, которые я ощущал, — Христос ходил со мной по камере.

— Но согласитесь, что в таком случае человеку трудно избавиться от чувства одиночества? Не правда ли?

Я уже сказал, что честь, оказанная мне «Континентом», имеет особое значение для кубинских политзаключенных. Я сейчас объяснюсь. В течение всех этих лет, пока нас стремились заставить отказаться от нашей веры и деморализовать, кубинские коммунистические пропагандисты не раз использовали для поддержки кастровской революции материалы, написанные некоторыми представителями американских Церквей. Каждый раз, когда правда о Кубе публиковалась в США, находился церковник, который писал статью в защиту диктатуры Фиделя Кастро; до нас доходили переводы, и это было для христианских политзаключенных хуже, чем избиения или голод. В то время, когда мы ждали солидарности от своих братьев во Христе, — непонятно почему, солидарность проявлялась ими по отношению к нашим мучителям. Политическая полиция Кубы пользовалась этими документами в поддержку Кастро так искусно и так долго, что сегодня христиане в кубинских тюрьмах страдают не только от пыток и изоляции, но также от мысли, что они брошены своими братьями по вере. Вот почему, дорогие друзья, я сказал, что честь, оказанная мне вами, очень важна для всех кубинских политзаключенных. Когда об этом станет известно в кастровских политических тюрьмах, — а об этом станет известно, — для них это будет огромной радостью. Они перестанут ощущать себя одинокими, поймут, что они не забыты, что их братья во Христе поддерживают их издалека. И, кроме того, они поймут, что ядовитые памфлеты, которые им читаются политическими комиссарами, содержащие статьи, подписанные американскими религиозными лидерами, представляют не мнения американских верующих, а лишь точку зрения немногочисленной, хотя и весьма шумной, группы. Мы должны простить этим людям, потому что и они, вероятно, не ведают, что творят...

— К сожалению, не только шумной, но и влиятельной группы. К примеру, один из самых высоких прелатов Ватикана, монсиньор Касаролли, вернувшись из поездки на Кубу, не моргнув, как говорится, глазом, заявил, что кубинские католики счастливы жить при таком режиме. Интересно, с какими такими «католиками» позволили говорить этому прелату на Кубе?

Еще плохо известно, насколько свобода религии отсутствует на Кубе. Свобода — абсолютное понятие: или она есть, или ее нет вообще. Я утверждаю, что сегодня религиозной свободы на Кубе нет. Некоторые протестантские церкви закрыли. Собственными глазами я видел церковь на острове Пинос, превращенную в хранилище под удобрения. Та же судьба постигла католические церкви в Вилланиева и Сан-Франциско. Адвентисты седьмого дня, Конгрегация Гидеона, Свидетели Иеговы считаются контрреволюционными «сектами». Если кого-либо из них ловят во время религиозного

деяния, то бросают в тюрьму. В тюрьме я видел многих из них. Один сидел за то, что переписывал библейские тексты; его обвинили в «изготовлении и распространении религиозной пропаганды». Кастро запретил праздновать Рождество; он даже запретил рождественские елки. Елка, как он считает, — религиозный и контрреволюционный символ. Если о студенте узнают, что он ходит в церковь, его исключают из университета. Если ребенок говорит о Боге или о Христе в школьной среде, его родителей вызывают в школу, где им втолковывается, что идеи такого рода ненаучны и являются пережитками темного прошлого. Если родители упираются, им грозит обвинение в идеологическом отклонении, согласно революционному кодексу. Редким детям, ходящим на уроки Закона Божьего, сами священники объясняют, что то, что им рассказывается, не должно выходить из их узкого круга, что они ничего об этом не должны говорить своим товарищам, ни при каких обстоятельствах. Это делается, чтобы защитить детей.

— Что, по-вашему, мы — политические эмигранты — могли бы сделать здесь, на Западе, чтобы если не спасти, то хотя бы облегчить участь ваших друзей на Кубе?

Я вас прошу не забывать в своих молитвах моих братьев, товарищей, сидящих в тюрьмах, особенно пастора Умберто Нобле Александра. Они страдают за свои убеждения и веру, и единственный способ помочь им — это говорить миру о том, что они есть, о том, что их унижают, наказывают, мучают. Молчание никогда никого не освободит из тюрьмы. Только кампания среди мировой общественности, гласные усилия, чтобы обратить внимание на их судьбу, общественное давление могут вернуть им свободу. Мой собственный случай это доказывает. В заключение я хочу процитировать несколько строк из более высокого писателя, чем я, который тоже знает, что такое преследование, — евангелиста Матфея: «*Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас*». [...]

Беседу вела Ольга Свинцова

1983, № 38

Интервью с Оливье Клеманом

— Можете ли вы рассказать, как вы искали Бога? Как пришли к Богу?

Следует, очевидно, перевернуть формулу: не как я искал Бога, а как меня искал Бог. Бог ищет каждого человека, и каждый человек имеет с Ним связь, сознаёт он это или не сознаёт.

Я родился в среде полностью дехристианизированной. Эта среда до некоторой степени похожа на вашу, в Советском Союзе, но большая разница состояла в том, что у нас не было единой и воинствующей атеистической идеологии. Мои родители были учителями, они окончили специальные школы для учителей в то время, когда там преподавали чисто атеистические идеи.

О реальности западных вероисповеданий я фактически ничего не узнал, пока был ребенком. Я скорее был язычником, я любил красоту космоса. Я жил между двумя полюсами жизни: между изумлением и тоской. Я изумлялся красоте неба, сверкающего звездами, — только на побережье Средиземного моря бывает такое небо. С другой стороны, меня охватывала тоска. Чудесно было существовать, но, когда я спросил отца, что происходит после смерти, он ответил: «Ничего».

У меня был чудовищный опыт познания небытия. Я думал, что все существующее будет поглощено небытием. Все, что я любил, все эти существа, живущие сейчас на земле. Я жил возле вокзала, и, когда проходили поезда, я думал, что все эти пассажиры умрут и обратятся в небытие. Для чего тогда жить? Все абсурдно. Одновременно все было таким красивым.

Была вещь, которая меня поражала более других, — это тайна лица. Что такое лицо? Это ведь только плоть, но почему иногда оно лучится? Почему от лица исходит свет еще более прекрасный, чем свет солнца и неба? Почему? В особенности меня поражали лица пожилых людей. Старых крестьян. Морщинистые, с печатью опыта прожитой жизни. Лицо, как куколка, которая скоро освободит свою бабочку. Для меня это было, действительно, великой загадкой.

Когда я стал подростком, я делал то, что делают многие подростки, т. е. мысленно структурировал свой опыт. Мне в наследство достался атеизм, и я начал изучать все формы современного атеизма. Одно время меня покорил Ницше. Я читал его со страстью. Меня привлекала и мысль Маркса.

Я чувствовал, что должен активно участвовать в политической жизни. Это было время Второй мировой войны. Я был знаком с коммунистами, но опыт партизанской войны меня оттолкнул от них. Почему? У меня было впечатление, что они не сознавали ценности жизни других людей, играя чужими судьбами. Я чувствовал в них дух Великого Инквизитора.

Помню, один раз я читал Маркса в библиотеке и вдруг почувствовал, что читаю эту книгу не из-за того, что в ней находится, — это меня не интересует, — я читаю книгу, чтобы найти смысл жизни. И я открыл, что в этой книге я не найду ответа на этот вопрос.

В то время со мной произошло первое обращение. Но не обращение к христианству. Это было обращение к неизвестному Богу. Я изучал историю и часто прогуливался в одиночестве в горах и по берегу моря. Там я видел много романских церквей, в которые я любил входить. Внутри церкви была особая тишина и мир, рождающие предчувствия. Как историк я понял, что атеистическая цивилизация, западная атеистическая современность — это исторически очень ограниченное явление. Ограниченное всего двумятремя веками. История полна примеров цивилизаций и культур, вдохновленных духовным горением. Я в этом, конечно, еще не очень разбирался: Древний Китай, Индия, ислам, иудаизм, древние религии...

Я начал читать книги по истории религии и осознал, что это реальность, о которой мне никогда не говорили ни дома, ни в школе, ни в лицее. Есть духовное измерение реальности. Поэтому существует и мистика, существуют святые, поэтому есть великие творцы красоты. Я был ослеплен этим светом, и в то же время это соединяло меня с тайной романских церквей, в которых я бывал; может быть, и с тайной лиц, но это было уже сложнее. В течение десяти лет бродил я в этом мире религии и духовной традиции. Куда мне было идти?

Я долго думал и спрашивал себя: что самое лучшее во французской или во всей европейской традиции? И мне пришли в голову две вещи: традиция портрета. Портрет — это лицо; это лицо, которое открывается мне, которое соглашается на откровение. С другой стороны, оно не хочет отождествляться со мной. В то же время я прочел книгу Мартина Бубера «Я и Ты». В ней мне приоткрылась библейская традиция, реальность личности в ее различии. С другой стороны, меня поражала красота французских пейзажей. В этих пейзажах чувствовалась любовь человека. Если человек — это образ некоторой тайны, то эти пейзажи являются образом образа.

Я должен сказать, что это был трудный для меня момент, я никак не мог найти себя. Я занимался практикой некоторых индийских методов: концентрацией, связанной с йогой. Однажды я пришел к чувству собственного несуществования. Это чувство во мне присутствовало давно, — может быть, психоанализ объяснит его мне, — чувство, что я не существую. Сейчас это чувство связано с верой в Бога: Бог хочет, чтобы я существовал. Поэтому я соглашаюсь на это. Если бы Он не хотел, я не совсем уверен, существовал бы я или нет.

В это время я покинул родной юг и приехал в Париж. Я был один, мое положение было трудным, даже трагичным. Главным образом, по моей собственной вине, я вел существование очень хаотичное, страстное. С одной стороны, я «не существовал», с другой, — я считал себя, как говорил в то время Сартр (это была эпоха Сартра), негодяем. Говорят, что у современного человека нет чувства греха, но когда читаешь Сартра, то находишь у него хороший подход к понятию греховности. В это время я не был особенно уверен, что я должен продолжать свое существование. Зачем жить? Это был старый вопрос моего детства. Иначе высказанный, конечно. Почему не раствориться в этом безличном божестве?

Случайно я купил икону, триптих (но мы-то прекрасно знаем, что все, что мы называем случаем, — фактически встреча с вечностью). В этот же момент я встретился с Евангелием. Я был поражен изречением Христа: «*Я есмь путь, истина и жизнь*». Что это значит? Можно подумать, что Он сумасшедший, или же можно релятивизировать это изречение. Можно сказать, что Христос — великий посвященный, как Будда, или великий пророк, как и другие. Тогда можно было бы принять концепцию трансцендентального единства религий. А можно решить, что Он прав и надо только доверять Ему. Итак, я колебался. И в это же время я не знал, должен ли я существовать или же мысль о смерти — это искушение. Я находился на границе метафизического самоубийства. И как раз тогда произошла эта встреча с Ним. У меня вдруг создалось впечатление, что я должен все вынести за скобки, все, что знал: о буддизме, о суффизме, о древних религиях. Обо всем этом поговорим потом. Сейчас же нужно все вынести за скобки. И я буду Ему доверять. Это всё.

С этого момента поиски мои приняли другой характер. В Евангелии я нашел слова: «*Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот войдет в жизнь вечную*». Где же можно приобщиться к Телу и Крови Христа? Так встала передо мной проблема Церкви.

С самого моего детства Католическая церковь была для меня чем-то чуждым и враждебным, протестантская казалась мне непонятной, непривлекательной. В этот период я напал на Достоевского, на Бердяева. «Философия духа». Книга, в которой я ничего не понял, но которая меня перевернула. И тогда я сказал себе: можно быть христианином. Были удивительные вещи. Каждая травка растет в Церкви. Бердяев не мог думать о Царствии Божьем, если бы Ницше не был в него впущен. Я никогда не думал так о христианстве. Это было совсем другое христианское слово.

Также и «Преступление и наказание», когда Раскольников слушает Соню, читающую Евангелие о воскресении Лазаря. Так поразительно все это: убийца и проститутка читают Евангелие. Для меня христианство было, прежде всего, моралью и скукой. Когда я был маленьким, меня однажды повели на ночную мессу. Было три мессы подряд по-латински. Я ничего не понял, был в страшной ярости. И я ушел возмущенным. И потом все эти истории на темы сексуальной морали. Этот пиетизм и морализм. И вдруг приходят Достоевский и Бердяев.

В это время я познакомился также с книгой Владимира Лосского «Мистическое богословие Восточной церкви». Для меня это было решением дилеммы единства и различия. Решение этой дилеммы может, конечно, многих удивить и даже вызвать улыбки. Этим решением был догмат о Троице. И человек, как подобие божественной Троицы. Поскольку троичность — это полное, абсолютно полное единство, как в индийской мысли. Но одновременно это и таинственное различие любви, различие «меня» и «тебя», которое я нашел в еврейской традиции и в лучшей части европейского и французского искусства.

Когда я был еще ребенком, когда мне было девять лет, меня интересовал вопрос: зачем изучать историю? Учитель объяснял, что Карл Великий умер в 815 году, и у меня в тот момент появилось что-то вроде сартровской тошноты: они все умерли, какое мне дело до них? Но вот меня это так интересует. Почему? И тут я получил ответ: во Христе нет мертвых. Во Христе человечество едино. Во Христе мы все друг от друга зависим. И, значит, Карл Великий и все остальные живы, это тайна общения святых. [...]

Книги, которые я прочел, открыли мне новое измерение христианства, открыли мне православие. И тогда я решил познакомиться с людьми.

Я познакомился с Владимиром Лосским, который ввел меня в православную среду. Тогда еще она существовала. Это было православие, глубоко укорененное в русской жизни и очень открытое европейской современной реальности, в частности, католической мысли. Владимир Лосский спорил с будущим кардиналом Даниэлу, но они принадлежали к одному кругу. Эти русские приняли меня с такой добротой, непосредственностью. Был приход, где служили по-славянски, я мало что понимал, но я нашел переводы и погрузился в этот мир. В течение многих лет я молчал, ничего не писал, молился.

Вы меня спросили, как я стал христианином, но я еще совсем не уверен, что я им стал. Скажем, что я стараюсь. Я всем обязан Православной церкви: она меня научила всему — понимать Евангелие, мысль Отцов, мысль удивительную.

— Вы написали книгу о Солженицыне. Что вы можете рассказать о своем восприятии русской литературы?

Сначала о литературе девятнадцатого века, потом двадцатого. Русская литература девятнадцатого века была так же тронута атеизмом, как и западная. Но на Западе атеизм никогда не принимал библейских форм — он был связан с античностью. Вспомните об amor fati у Ницше и Эдиповом комплексе у Фрейда. Тогда как в русской литературе девятнадцатого века слышен крик Иова. Атеизм — это крик Иова. Достоевский рассказывает, что, когда он ходил в церковь в первые дни Страстной седмицы и читалась книга Иова, он плакал. И вот это меня и поражает: даже тоска может быть связана с Богом, через тайну Бога, спускающегося в ад, Бога распятого и воскресшего, даже бунт может быть общением с Богом.

Я очень глубоко нес в себе западный бунт. Я думаю, что на Западе этот бунт разбился о бронзовую стену античного фатализма. Морис Бланшо где-то пишет, что все кончается крахом, что в остаток западной культуры всегда выпадает идея смерти. В России это тоже бунт, но это бунт против *кого-то*. Это крик не перед бронзовой стеной безличного рока, а перед личным Богом, крик Иова. Думаю, что одна из наших задач сегодня — перечитать книгу Иова и понять ее во всей ее глубине. Святые Отцы говорили часто о терпении Иова, я же думаю, что в этой книге есть и другие измерения, которые может понять только наша эпоха.

Теперь о литературе двадцатого века.

Современная западная литература — эта литература нигилизма. Кроме, конечно, тех, кого можно назвать великими католическими писателями: Пеги, Блуа, Клодель, Бернанос, может быть, даже Мориак (в особенности поздний Мориак, Мориак внутренних мемуаров). Я думаю, что есть сейчас и молодые писатели, которые предчувствуют, что на дне нигилизма можно найти Христа. Но это опять-таки влияние Достоевского и Солженицына.

Если западная литература двадцатого века в основном нигилистична, русская литература — это литература Воскресения. Это люди, которые прошли сквозь опыт нигилизма, были на грани смерти и, пройдя сквозь все это, нашли жизнь, которая сильнее смерти. Поэтому я говорю, что это литература людей воскресших. Литература эта бывает очень скромной, смиренной. Я вспоминаю книгу Евгении Гинзбург. Она не разглагольствует. Но такая в этом аду способность к нежности, к благословению, как будто одно то, что ты живешь, — уже благословение.

Жизнь неуничтожима даже в этом ужасе. Помню, с каким восхищением я читал «Живаго» и стихи, помню, как был поражен Солженицыным. Мой интерес к Солженицыну основан не на политической стороне его сочинений, как это часто бывает у французских интеллигентов, которые используют Солженицына как экзорциста — для изгнания духа тоталитаризма. Меня интересовал духовный путь этого человека: как он прошел через войну, через лагерь, через рак. И как через все это он открыл духовное измерение жизни. И я скажу то же самое о романах Максимова, в частности, «Семь дней творения», или «Карантин», или «Прощание из ниоткуда», где он рассказывает о своей судьбе подростка, потерянного на дне советского общества. И через все это он пронес некий кристалл, который не может быть сломлен и который находится в сердце каждого человека. Это образ Божий, не уничтожимый в человеке. Вот что я люблю в этой литературе. В русской поэзии мы тоже находим это.

Фактически, православное богословие — единственное, которое говорит, что в глубине всего существующего хранится благодать. Благодать находится в самом корне творения. Все, что существует, — благодать, благословение. Это очень чувствуется у сибирских писателей — у Астафьева, Распутина. Они говорят о лесе с литургической точки зрения, о лесе как о храме. Это поразительно, это пересекается с моим личным опытом.

Я не знаток русской литературы, но я любитель в глубоком смысле слова, т. е. люблю.

— Вы часто путешествуете, можете ли вы сравнить религиозное состояние Франции с Италией, Германией?

Мне кажется, что во Франции самое интересное сейчас — это встреча католицизма, протестантства и православия. Значительные русские философы приехали во Францию как эмигранты, и во Франции благодаря им возникло течение православной мысли, которое существует и сегодня. Меня поражает в сегодняшней Франции большая тяга к углублению духовной жизни, — во многих монастырях, в «группах молитвы» можно заметить ее. И это углубление связано с растущим интересом к православию. Существует огромный интерес к иконе, к Иисусовой молитве, к византийской литургии, к мысли греческих Отцов.

Это все есть во Франции — рост интереса к духовному, к молитве и мистике, но все это пока не имеет выхода к культуре, в то время как в Италии мы встречаемся уже с попытками создать новую христианскую культуру. В Италии, может быть, благодаря тому, что там существует христианско-демократическая партия, которая, несмотря на свое загнивание, предоставляет возможность политического и культурного существования христианства, растет интерес и к русской религиозной философии. В Италии ищут христианскую альтернативу в основных вопросах культурной и даже социальной жизни. Может быть, они менее глубоки, чем французы, но у них гораздо больше творчества. Они создают школы, дома культуры, кооперативы и т. д.

— А что вы думаете о немецком пацифизме ?

Я думаю, что феномен сегодняшнего пацифизма в Германии очень знаменателен. Я бы определил этот пацифизм как некую религию жизни. Меня поразило выступление одного немецкого философа в Ванкувере, который сказал, что цель его в том, чтобы его дети жили до девяноста лет. Единственный интерес — это выжить. Жизнь, лишенная своей тайны, своего источника и духовного смысла. С одной стороны, они оправдывают аборты, с другой, — эвтаназию. Но не будем слишком суровы — вспомним о словах Версилова из «Подростка»: «*Люди остались сиротами*». Всю свою нежность, все то, что раньше они испытывали к Абсолюту, сегодня они дарят друг другу, они встречаются, ласкают друг друга, любят друг друга — это огромное стадо сирот. Желание выйти из одиночества, поиск тепла и очага. (Мы-то знаем, что нет другого очага, кроме Иисуса Христа.) Их мысль — это мысль без трансценденции, это тоска по земле. Это древняя германская ностальгия — был культ земли у нацистов, теперь это культ экологистов. В немецком пацифизме есть очень существенное экологическое измерение, есть

протест против механической цивилизации, против машин, против общества потребления. И одновременно это религия жизни. Я думаю, что сегодняшний пацифизм — одна из форм милленаризма.

Германия создала много форм милленаризма. Думаю, что сегодняшний милленаризм был подготовлен двумя течениями: с одной стороны, эволюцией марксизма, с другой, — эволюцией христианства. Немецкий марксизм, рафинированный, эзотерический марксизм франкфуртской школы пытался показать, что и в марксизме существует «духовное» измерение личности, но в чисто имманентном значении слова: эта интенсивность — чисто витальная. Человек должен жить интенсивно и гениально. Так, в мысли Эрнста Блока гениальность приравнивается к Параклету (Святому Духу), и одновременно она люциферична.

И, с другой стороны, все это развитие христианских идей. Демифологизация. Дошли до того, что считают задачей христиан осуществление счастья человека на этой земле. Цель христианства для них — революция и создание совершенного общества. И вот все это переплелось — марксизм, открывший духовное, но имманентное измерение личности, экологизм и, что очень существенно, — страх. Страх, который систематически раздувается со стороны Советского Союза. Ясно, что цель советских сломать Европу страхом: «всё лучше, чем умирать» — их лозунг.

Можно сказать также, что пацифизм — это один из элементов потребительского сознания. Я вспоминаю книгу французского социолога Жана Будриара. Он пишет, что признак общества потребления — это не унифицированное общество, а общество, состоящее из отдельных личностей-гедонистов. Это невероятно персонализированный гедонизм, где каждый должен уважать удовольствие другого. Это одно из измерений сегодняшнего пацифизма. Думаю, что оригинальность Парижа сегодня состоит в том, что это единственная европейская столица, где нет пацифизма.

Я как-то сказал, что война происходит уже и сейчас. Советские ракеты уже разрушают — они не истребляют тело, но разрушают душу, вносят в нее страх. И сегодняшняя война — это война сознаний.

— А почему Париж свободен от пацифизма ?

Французская интеллигенция испытала огромное влияние Солженицына. Они поняли, что такое тоталитаризм, и поняли, что СС-20 — орудие психологической войны, которая происходит сейчас.

— Сейчас многие христиане на Западе считают, что на агрессию нужно отвечать непротивлением в духе Ганди. Каково ваше мнение по этому вопросу?

Я думаю, что непротивление типа Ганди может функционировать только в обществе с правовыми основами. В случае с Ганди это была Британская Империя. Так же подействовало непротивление в США во главе с Марти-

ном Лютером Кингом, поскольку это было правовое общество. Этого совсем не понимают на Западе. Здесь не понимают, что если общество может еще протестовать и выражать свой гнев, то, значит, диктатура слабая, а если общество молчит, то это совсем не значит, что все в нем хорошо. Как раз наоборот.

В системе до конца тоталитарной, где нет законности, непротивление теряет всякий смысл. Вообразите, что произошло бы, если бы Индия была под руководством Гитлера или Сталина. Ганди долго не прожил бы. Его сторонников сейчас же бы расстреляли, послали бы в лагеря и о «непротивлении» или «сопротивлении» не было бы и речи. В России двадцатых годов, когда большевики начали конфискацию церковных имуществ, патриарх Тихон призвал к «непротивлению», и эта форма сопротивления была уничтожена арестами и расстрелами. В Чехословакии в 68-м году был тот же призыв и тоже не дал результата. Значит, наши непротивленцы должны понять, что непротивление действует только в определенном социологическом, этическом и политическом контексте. И что в тоталитарном режиме непротивление не может существовать в такой форме. Могут быть отдельные люди, которые как христиане стараются делать добро там, где они находятся, но это не является политическим способом действовать против тоталитаризма.

Непротивление — это не просто любовь к ближнему, оно имеет и политическое измерение. Сейчас над нами висит именно угроза тоталитаризма, и эта угроза несет антихристов характер. Проблема в том, отдадим ли мы своих детей под опеку КГБ или Гестапо, раз мы непротивленцы.

— И традиционный вопрос. Чем вы занимаетесь сегодня? Какие темы вас волнуют?

У меня несколько проектов. Я сейчас готовлю очень простую вещь. Это книга благодарности людям, которые мне столько дали: Владимир Лосский, Павел Евдокимов и Бердяев.

Одновременно в течение нескольких лет я размышляю об аскетическом наследии в православии. У святых Отцов есть огромное знание о человеке — надо его сегодня выразить иначе, принимая во внимание все, что открыли современные науки о человеке.

Мы должны сейчас разработать новый подход ко многим христианским истинам. Я думаю о том, что говорил, например, Афанасий Великий. На вопрос: «*Почему христианство — это правда?*» — он ответил: «*Потому что все христиане, даже император*». Сегодня это не действует. Не действует и традиционное понимание Промысла Божия или Бога, Который наказывает или Который создает ад и посылает туда людей, которые Ему не милы. Мы все это прожили уже в двадцатом веке: Хиросима, ГУЛаг, Освенцим, — надо говорить о Боге и о человеке иначе. Как найти эти новые понятия и слова, которые помогли бы современному человеку приблизиться к христианской

тайне? Может быть, надо вспомнить Кьеркегора, который углубил представление о трагической экзистенции, или Солженицына с его Нобелевской речью, где он говорит о смысле красоты? Я думаю также о красоте космоса — обо всех этих молодых людях, которые уходят летом в леса, в горы, к берегам Средиземного моря, — тут, несомненно, есть путь к тайне. И тоже лицо. Не зря мысль Эммануэля Левинаса имеет такое значение сегодня во Франции. Он очень глубоко говорил о лице. Вот предпосылки к новому пониманию человека.

В истории всегда старались сократить, редуцировать человека. Весь девятнадцатый век сводит человека или к производственным отношениям, или к отношениям либидо. Но двадцатый век явился веком испытания этих редукционистских концепций. Двадцатый век — это лаборатория понимания человека. Опыт называется тоталитаризм («тотальная война», «тоталитарный режим»). И было обнаружено, что есть люди, которые не поддаются. Которые не сводимы к идеологии. Почему? Тут и можем мы говорить об образе Божьем. И именно такую идею дает нам Бердяев. Он сказал, что если мы идем до конца гуманистической редукции человека, то человек или растворяется в ничто, или же открывает себя как микрокосм и микротеос (выражение Св. Григория Нисского), как образ Бога.

Другая вещь, которая меня очень интересует, это проблема встречи различных религий. Мне кажется, что нельзя больше избежать этой проблемы. Меня поражает широкое распространение во Франции буддизма и дзена, трансцендентальной медитации и иной восточной практики. Надо бы и нам, христианам, понять, что это значит и что мы можем сказать об этом. Жалко, что афонские монахи немного замкнуты на своем Афоне. Они смогли бы, наверное, расшифровать нам опыт буддистского монаха и показать, как идти дальше.

В современных духовных поисках надо многое уточнить. Мы часто будем встречаться с гностиками, которые будут искать власти, — это предчувствовал Владимир Соловьев в своей «Легенде об Антихристе». Антихрист — большой спиритуалист и, я бы сказал, великий гностик. Есть люди типа «метафизических полицейских», которые хотят пользоваться «метафизической властью». Может быть, Андропов хотел достичь именно этого, когда добился «покаяния» о. Дмитрия Дудко. Это больше не полицейский, который убивает физически, но полицейский, который «владеет». И вся наша задача — противопоставить соборное христианское знание фальшивому и ложному гнозису.

— Как вы думаете, что может дать сегодняшний русский опыт Западу и Запад — русским?

Это большой вопрос. Прежде всего, русские могут передать западным людям реальный опыт самого ледяного, «сибирского» нигилизма. А также опыт Воскресения. То, чего мы ждем здесь, это свидетельство Воскресения,

свидетельство глубоко евангельского христианства. Опыт людей, которые прошли через смерть и ад и пережили катарсис. Опыт большой простоты: есть только смерть и любовь, и любовь сильнее смерти. И есть также очень простые вещи: уважение, дружба. Вот этого свидетельства мы ждем от России. А Запад, с другой стороны, ускоряет историю и толкает ее к «последним вопросам». Миссия Запада — в поиске (средневековая тема поиска чаши Грааля). Это первая цивилизация в истории, которая поставила самое себя под сомнение. Это первая открытая самокритике цивилизация, которая самосознается как гетерогенная и критикует себя вплоть до мазохизма. И это первая цивилизация, где люди стараются понять другие культуры, другие подходы. Запад пытается понять Китай, Индию, архаические религии, суфизм. Все это понимается Западом, но исходя из чего? Задавая себе этот вопрос, Запад приближается к «последним» вопросам бытия и небытия. И одновременно увеличиваются пустота и тоска. Россия, которая есть Восток на Западе, — я не противопоставляю Россию Западу, — Россия уже имеет опыт того, что сейчас ищет Запад. Она прожила уже свое схождение во ад и имела своих многочисленных мучеников — она могла бы помочь Западу нести благую весть о Воскресении Христа. О том, что Христос спускается в ад, чтобы победить ад. Потому что в какой-то момент западной истории христианство потеряло способность об этом говорить. Оно вошло в тупик со своими спорами о свободе и благодати.

Я вспоминаю одну историю, — не знаю, правдива ли она. Это тип историй, которые правдивее, чем правда. Говорят, что в России во времена НЭПа была относительная свобода религиозной пропаганды. Однажды происходил атеистический диспут. Агитатор очень долго говорил против христианства. И в конце он сказал: «Теперь я даю пять минут тому, кто хочет возразить». Один из слушателей взошел на трибуну: «Вы знаете, мне не надо пяти минут — Христос воскресе!» И все встали и ответили: «Воистину воскресе!» Или во время Пасхи хулиганы кричали: «Бог умер!» — а народ отвечал: «Христос воскресе!»

Вот встреча между Россией и Западом. Повсюду сегодня мы переживаем «Бог умер», — и повсюду происходит Его Воскресение. Мне кажется, в конце концов, что разница между Россией и Западом намного меньше, чем принято считать.

Если б русское православие поддалось искушению русского национализма, это было бы драматично. Тогда оно поставило бы себя против западного христианства и возможность диалога перестала бы существовать. А на Западе есть тоже достоинства, которые нужны и России: критический подход, открытость, внимание к Другому.

Интервью взяла Татьяна Горичева

1984, № 41

НАША ПОЧТА

Письмо в редакцию журнала «Континент»

Многоуважаемые коллеги!

В «Континенте» № 35 напечатаны главы из книги А. Зиновьева о природе сталинизма под общим названием «Нашей юности полет»[1]. Я не хочу подробно анализировать эту не полностью опубликованную работу. В ее напечатанных главах, на мой взгляд, верные наблюдения и обобщения досадным образом переплелись с умозаключениями, не имеющими под собой основания и неспособными выдержать серьезную критику. К сожалению, всезаслоняющее стремление самовыражаться нетривиально порой толкает А. Зиновьева к совершенно не обеспеченным фактами суждениям. Мимо нескольких таких суждений я не могу пройти. И потому, что я много лет занимаюсь этим вопросом, и потому, что он мне близок биографически.

А. Зиновьев пишет: *«...возьмите, к примеру, коллективизацию. Чего о ней только ни наговорили! Ошибка! Преступление! Бессмысленная жестокость! И ни слова о ее великой исторической роли»*.

Знаки в этом отрывке свидетельствуют о том, что все эти характеристики коллективизации (ошибка, преступление, бессмысленная жестокость) неверны. Вне иронической интонации остается только ее великая историческая роль. Мне же представляется, что мера обоснованности всех этих суждений определяется тем, в чьей системе отсчета они произносятся. Полностью неуместно здесь, пожалуй, одно слово: *ошибка*. Коллективизация осуществлялась ее инициаторами совершенно сознательно и целеустремленно и отнюдь не была ошибкой относительно их интересов и задач. С точки же зрения основной массы народонаселения СССР, коллективизация была слишком жестока и имела слишком тяжелые, по сей день живые последствия, чтобы именоваться мягким словом «ошибка». Неуместен здесь и эпитет «бессмысленная». Эта завершившая социалистическую революцию акция имела судьбоносный смысл для обеих сторон, в ней столкнувшихся. Для Кремля она знаменовала победу над активно и пассивно противостоявшим ему в экономике и, в значительной мере, уже и в политике крестьянством. Иными методами, чем она проводилась, коллективизация, отвергнутая большинством крестьян, осуществлена быть не могла. И в этом смысле все действия правящей силы целесообразны и с ее точки зрения не преступ-

[1] См. в настоящем томе в разделе «Россия и действительность».

ны. Но на чьей позиции стоим мы? Для крестьянства коллективизация имела губительный смысл, прекративший его существование в качестве свободной экономически силы. Была ли коллективизация преступлением, если руководствоваться в ответе на этот вопрос не только критериями Кремля? В 1929 – 1934 гг. погибло, по данным, опубликованным в свободной русской прессе, примерно 14 млн. человек. Это ли не преступление? Преобразования, проводимые такими методами, какими проводилась коллективизация, преступны независимо от своих целей и смысла. В данном же случае цель и смысл преобразований состояли исключительно в обеспечении прочного и всеобъемлющего господства силы, стоящей у власти и не намеренной ни с кем делить свою политико-экономическую и идеологическую монополию. А крестьянство этой монополии угрожало. И Кремль себе, уничтожив независимое крестьянство, обеспечил теперь уже всеобъемлющее господство.

Мне возразят, что спустя три года и коммунисты-коллективизаторы начали гибнуть под катком «большого террора». Коммунисты гибли, но партия, с каждой чисткой все более бездумная и монолитная, непрерывно росла. Сколько бы атомов ни выбраковывалось и ни сменялось в ее структуре, она увеличивалась и крепла за счет тех, кто массово приходил на смену выброшенным и уничтоженным. Вновь поступивших оказалось в конечном счете многократно больше, чем выбракованных, и качества их стали удобней для монополии. Сегодня их 16 млн., и выбраковка среди них свелась к ничтожному необходимому уровню. Их верхушке живется лучше, чем всем остальным в стране, и это в ее судьбе коллективизация сыграла «великую историческую роль». Пусть блага, добытые этой верхушкой такой ценой, невелики с точки зрения нормально обеспеченного общества. Для страны, в которой коллективизация создала хронический дефицит самых необходимых вещей, эти преимущества грандиозны. С точки же зрения интересов огромного большинства населения СССР, коллективизация — преступление, независимо от того, осознают ли это ее жертвы или уже не осознают. За эти десятилетия люди о ходе коллективизации успели забыть, но ее воздействие на их жизнь продолжается, и ему не видно конца. [...]

Несколько слов об «*идиотизме деревенской жизни*» (Маркс). Труд свободно (или в свободной, добровольной, суверенной от государства общине, подобной израильским кибуцам) работающих крестьян куда осмысленней, инициативней, богаче творчеством, чем труд многих рабочих и служащих. Свободный сельскохозяйственный труд продуктивен, быстро приносит зримые результаты, эстетизирован постоянной связью с природой и при своей современной технической оснащенности здоровее городского труда. А. Зиновьев пишет о массовом бегстве крестьян в города. За последний век во всех развитых странах естественно сократилось число крестьян. Технологическое совершенствование их труда позволило к нашему времени 3 – 6% населения этих стран кормить остальные 94 – 97%, да еще создавать при этом резервы для экспорта. В таких условиях переток работников из сельского хозяйства в промышленность, обслуживание, науку и управление естестве-

нен. Если бы России суждено было мирное завершение реформ П. А. Столыпина, то и в России передислокация доставшегося ей еще от крепостного права избытка сельскохозяйственного населения в города создала бы такое же соотношение сил, как во всех развитых странах. В СССР в годы НЭПа село тоже теряло работников лишь в меру естественного технологического высвобождения рабочих рук. Но в годы «военного коммунизма» (продразверстки) и в годы коллективизации и большого голода бегство крестьян из сел было паническим и трагичным. Это было бегство не от крестьянского труда, как представляется А. Зиновьеву, а от разорения и обессмысливания этого труда. Отталкивал крестьян и практически бесплатный до 1954 года труд в колхозах, из которых тоже бежали и продолжают бежать. Прилично оплачиваемый, более или менее квалифицированный и механизированный труд в колхозах и совхозах требует не столь уж многих рук. А дешевый, тяжелый и скучный ручной труд с его повседневной рутиной и обезличенными результатами при неблагоустроенности советского сельского быта не привлекает современную молодежь.

Действительно ли, как говорит А. Зиновьев, колхозный труд производительней труда сельских жителей на их небольших приусадебных участках? Я могу судить о производительности этого маленького хозяйства и на основании собственного опыта, и по статистике.

Приусадебный сельскохозяйственный труд, кроме весенней вспашки огорода, за которую иногда ставят знакомому трактористу поллитра или что-то ему приплачивают, — это ручной труд. Следовательно, в него почти не вложен прошлый труд, овеществленный в технике и удорожающий весь процесс. Иногда участки пахали в послевоенное время конной тягой цыгане, специально ездившие весной и осенью (вспашка на зиму) по деревням. Неудобья, куда трактор или лошадь не могут заехать, вскапываются лопатой. Меня каждый год наново поражала удивительная продуктивность приусадебного труда. Несколько часов на вспашку или несколько дней (очень редко) на вскопку. Два-три дня на посадку картофеля, рассады и посев различных семян. Поливка рассады в первые пару недель, но сколько ее, этой рассады, на огороде? Две, от силы три за лето двухдневные, а то и однодневные, если семьей, прополки и одно окучивание картофеля. Два-три дня веселой и спорой уборки. И есть картофель для себя и кабана на зиму, кукуруза для кур, всякие овощи для семьи, а у многих, с хорошими большими участками, — и на продажу. Уход за курами пустяковый. Кормить поросенка, а то и двух несколько труднее, но дружная семья справляется с этим между делом. Тяжелее с коровой. Но и она отнимает у хозяев меньше времени, чем ежедневная восьмичасовая, а в страду и более продолжительная работа в колхозе.

А. Зиновьев не считает доказательством неэффективности колхозно-совхозной системы и высокой производительности приусадебного труда тот многократно сообщенный советскими официальными источниками факт, что 3% (по другим данным — 2%) обрабатываемых земель, приходящиеся

на приусадебные участки, дают сегодня стране 24 – 30% потребляемых ею продуктов. Он предлагает «*полученные в обоих случаях цифры разделить на величины затрат усилий людей соответственно на приусадебных участках и на колхозных полях. И тогда первая величина продуктивности будет много ниже второй*».

В том-то и дело, что не будет!

2 – 3% земель почти без помощи техники дают 24 – 30% потребляемых страной продуктов питания. Значит, 98 – 97% земель дают остальные 70 – 76%? Нет, не дают: существует еще и значительный импорт, растущий из года в год. Кроме того, на этих 97 – 98% земель сосредоточена еще и вся дорогостоящая и сложная техника, удорожающая производство и вовлекающая в него еще миллионы людей. Можно ли забывать и то, что на полях и огородах, а теперь все чаще и на животноводческих фермах и птичниках не в шутку заняты сельские школьники, а летом еще и городские? Почитайте нынешнюю «Учительскую газету» и журнал «Народное образование» с их постоянной с конца 1981 года рубрикой «Продовольственная программа и школа»!

А куда отнести «агротехнические комплексы» и все прочие, вошедшие в обыкновение приемы вовлечения горожан в сельскохозяйственный труд?

Колхозники и совхозники трудятся на казенных землях все рабочие дни и положенное количество часов. Для работы дома им остаются обеденный перерыв (если поле или ферма близки к дому), вечер долгого летнего дня, выходные да праздники. Так же и сельские служащие и живущие в селах рабочие обрабатывают свои участки урывками, мимоходом. При всем желании они физически не могли бы затратить на своих участках столько времени, сколько затрачивают в колхозах-совхозах, в учреждениях и на заводах. Дома подолгу копаются на своих участках разве что старики да старухи, которые в колхозах-совхозах свое отработали. Но не у всех они есть.

Зато работают на своих участках споро, в охотку, от всего сердца, в каждый свободный да погожий миг. И что главное — не отдают 80% выращенного и выкормленного за бесценок по обязательным и «добровольным» поставкам, как отдают колхозы.

Вот все, что я хотела сказать по поводу сельскохозяйственных размышлений А. Зиновьева.

С уважением и наилучшими пожеланиями

Дора Штурман

Примечание редакции-1983. Публикуя письмо уважаемого в эмиграции публициста, мы считаем необходимым заметить, что статья Александра Зиновьева гораздо сложнее и значительнее по своей структуре и содержанию, чтобы ее можно было прочесть так удручающе однозначно.

1983, № 37

Корректор — *Ю. Маслов*

ЛР № 066469
Подписано в печать 27.12.2013. Формат 60×84/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Ньютон». Печ. л. 39,00.
Заказ №